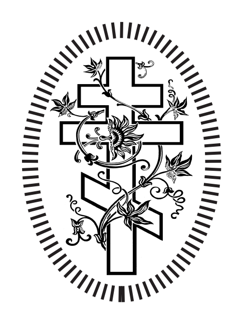
НИКОЛАЙ ДАНИЛЕВСКИЙ

РОССИЯ И ЕВРОПА

Русская цивилизация



РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Серия самых выдающихся книг великих русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения:

Св. митр. Иларион
Св. Нил Сорский
Св. Иосиф Волоцкий
Иван Грозный
«Домострой»
Посошков И. Т.
Ломоносов М. В.
Болотов А. Т.
Пушкин А. С.
Гоголь Н. В.
Тютчев Ф. И.
Св. Серафим Саровский
Муравьев А. Н.
Киреевский И. В.
Хомяков А. С.
Аксаков И. С.
Аксаков К. С.
Самарин Ю. Ф.
Валуев Д. А.
Черкасский В. А.
Гильфердинг А. Ф.
Кошелев А. И.
Кавелин К. Д.
Коялович М. О.
Лешков В. Н.
Погодин М. П.
Беляев И. Д.
Филиппов Т. И.
Гиляров-Платонов Н. П.
Страхов Н. Н.
Данилевский Н. Я.
Достоевский Ф. М.
Одоевский В. Ф.
Григорьев А. А.
Мещерский В. П.
Катков М. Н.
Леонтьев К. Н.
Победоносцев К. П.
Фадеев Р. А.
Киреев А. А.
Черняев М. Г.
Ламанский В. И.
Астафьев П. Е.
Св. Иоанн Кронштадтский
Архиеп. Никон (Рождественский)
Тихомиров Л. А.
Соловьев В. С.
Бердяев Н. А.
Булгаков С. Н.
Хомяков Д. А.
Шарапов С. Ф.
Щербатов А. Г.
Розанов В. В.
Флоровский Г. В.
Ильин И. А.
Нилус С. А.
Меньшиков М. О.
Митр. Антоний Храповицкий
Поселянин Е. Н.
Солоневич И. Л.
Св. архиеп. Иларион (Троицкий)
Башилов Б.
Концевич И. М.
Зеньковский В. В.
Митр. Иоанн (Снычев)
Белов В. И.
Лобанов М. П.
Распутин В. Г.
Шафаревич И. Р.

Н. Я. ДАНИЛЕВСКИЙ

РОССИЯ И ЕВРОПА

Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому

МОСКВА
Благословение
Институт русской цивилизации
2011

Рекомендовано к публикации
Издательским советом Русской Православной Церкви
Номер Издательского Совета ИС 10-21-2190

Данилевский Н. Я. Россия и Европа. / Составление и комментарии А. В. Белова / Отв. ред. О. А. Платонов. Изд. 2-е — М.: Институт русской цивилизации, Благословение, 2011. — 816 с.

В настоящем издании представлен главный труд великого русского мыслителя, основоположника учения о цивилизациях Николая Яковлевича Данилевского. В своей книге «Россия и Европа» он впервые дал определение цивилизации как главной формы человеческой организации пространства и времени, выражающейся качественными началами, лежащими в особенностях духовной природы народов, составляющих самобытные культурно-исторические типы. Каждая цивилизация представляет собой замкнутую духовную общность, существующую в собственной шкале координат. Попытка одной цивилизации навязать другой собственную систему духовных ценностей ведет к катастрофе и разрушению последней. В наше время столкновение цивилизаций составляет главное содержание эпохи. Основным нарушителем мирового порядка выступает цивилизация западная, объединяющая США и ее западноевропейские сателлиты, стремящиеся навязать свои ценности человечеству, называя этот разрушительный процесс глобализацией. В свете происходящего труд Данилевского очевидно сохраняет свою актуальность и по сей день, позволяя найти ответ на многие вопросы современности.

Издание второе

ISBN 978-5-902725-73-2

ПРЕДИСЛОВИЕ

Русский мыслитель, философ, социолог, естествоиспытатель Николай Яковлевич Данилевский родился в селе Оберец Ливенского уезда на Орловщине, в семье генерала. В 1842 году окончил Царскосельский лицей и поступил в качестве вольного слушателя на физико-математический факультет Петербургского университета, но впоследствии перевелся и степень магистра ботаники получил уже на естественном факультете. Увлекшись идеями Фурье, примкнул к петрашевцам и за принадлежность к этой группе 100 дней просидел в Петропавловской крепости. Был выслан из Петербурга, работал чиновником в канцелярии вологодского губернатора, а затем при губернаторе Самары. Свою научно-литературную деятельность начал в конце 50-х, опубликовав в журнале «Отечественные записки» статьи об Александре фон Гумбольдте. В 1850-х занимался рыбоводством на Волге, в Каспийском море, на Русском Севере. В 1860-х приступил к исследованию проблем цивилизации. В книге «Россия и Европа» (1871) развивает теорию культурно-исторических типов человечества. Согласно его учению, общечеловеческой цивилизации нет и быть не может. Существуют лишь ее различные типы, такие как египетский, китайский, ассиро-вавилоно-финикийский, еврейский, греческий, римский, германо-романский, славянский (русский).

Каждая цивилизация имеет самобытный характер и развивается по собственным законам.

В целом выводы Данилевского о природе цивилизации сводятся к следующему:

– всякое племя или семейство народов, характеризуемое отдельным языком или группой языков, близких между собой, составляет самобытный культурно-исторический тип, если оно по своим духовным задаткам способно к историческому развитию;

– чтобы цивилизация, свойственная самобытному культурно-историческому типу, могла зародиться и развиваться, необходима политическая независимость ее народов;

– начала цивилизации одного культурно-исторического типа не передаются народам другого типа. Каждый тип вырабатывает ее для себя при большем или меньшем влиянии чуждых ему предшествовавших или современных цивилизаций;

– цивилизация, свойственная каждому культурно-историческому типу, только тогда достигает полноты, разнообразия и богатства, когда разнообразны этнографические элементы, его составляющие, когда они, не будучи поглощены одним политическим целым, пользуясь независимостью, составляют федерацию или политическую систему государства.

Говоря о современной истории, наибольшее внимания Данилевский уделяет германо-романскому и славянскому типам, последние из которых только начинают оформляться. Основы цивилизации одного культурно-исторического типа не передаются цивилизации другого типа. Период роста культурно-исторического типа неизвестен. Период же его цветения и плодоношения краток и при этом раз и навсегда исчерпывает жизненные силы культурно-исторического типа. «Человечество», по мнению Данилевского, это абстракция, пустое понятие, а народ — конкретная и существенная действительность. Значение культурно-исторических типов состоит в том, что каждый из них выражает идею человека по-своему, а эти идеи, взятые как целое, составляют нечто всечеловеческое. Господство одного культурно-исторического типа, распространенное на весь мир, означало бы постепенную деградацию народов. Данилевский подчеркивал враждебный и агрессивный характер западной цивилизации по отношению к формирующемуся

самобытному славянскому типу и настаивал на необходимости образования Всеславянского союза – призванного служить гарантом всемирного равновесия добровольного объединения славянских народов вокруг России. Столица этого равноправного союза славянских народов должна быть установлена в бывшем Константинополе, «пророчески именуемом славянами Царьградом». Такой союз, с точки зрения Данилевского, должен стать «мерой чисто оборонительной», ибо «всемирная ли монархия, всемирная ли республика, всемирное ли господство одной системы государств, одного культурно-исторического типа – одинаково вредны и опасны для прогрессивного хода истории».

Данилевский полагал, что ни один из культурно-исторических типов не может претендовать на то, что он представляет высшую точку мирового развития человечества. Вместе с тем ученый подразделяет культурно-исторические типы на уединенные, которые не передают плоды своей деятельности, и преемственные, способные подготавливать почву для развития последующих культурно-исторических типов. Воздействие преемственных культурно-исторических типов определяется им как пересадка, прививка и удобрение. Пересадка обычно осуществляется посредством колонизации. Народ, подвергнувшийся прививке, превращается в средство для чужеродного культурно-исторического типа. Удобрение же, напротив, способствует развитию и того народа, который удобряет, и того, который удобряется. Но, знакомясь с ценностями другого культурно-исторического типа, новый тип может заимствовать только то, что «стоит вне сферы народности». Каждый культурно-исторический тип должен создавать свои собственные основы самостоятельно. «Дух», «природа» народов не заимствуется, ибо в противном случае они усваивают чужую культуру, утрачивая собственную. А это для народа означает обречь себя на подражательность, признать бессмысленным свое историческое прошлое и будущее.

Хотя сам Данилевский может быть причислен к славянофилам, путь, который он прошел, чтобы получить схожие с ними выводы, был совершенно самостоятельным, решительно

иным, нежели у его предшественников Хомякова и Киреевского. Сам Данилевский оценивал славянофилов так: «Учение славянофилов было не чуждо оттенка гуманности, что, впрочем, иначе и не могло быть, потому что оно имело двоякий источник: германскую философию, к которой оно относилось только с бóльшим пониманием и большею свободой, чем его противники, и изучение начал русской и вообще славянской жизни — в религиозном, историческом, поэтическом и бытовом отношениях. Если оно напирало на необходимость самобытного национального развития, то отчасти потому, что, сознавая высокое достоинство славянских начал, а также видя успевшую уже высказаться в течение долговременного развития односторонность и непримиримое противоречие начал европейских, считало, будто бы славянам суждено разрешить общечеловеческую задачу, чего не могли сделать их предшественники».

В отличие от большинства славянофилов, веривших в мессианские задачи русского народа, Данилевский, исходя из своей теории культурно-исторических типов, отрицал возможность существенного влияния славяно-русской цивилизации на западную и другие цивилизации. Вместе с тем он считал, что славянской (русской) цивилизации принадлежит будущее. Именно славянская цивилизация должна прийти на смену угасающей западной. Славянская цивилизация в отличие от западной не агрессивна. В ней общественный элемент преобладает над личным, индивидуальным, ибо психология славян сложилась преимущественно под влиянием православия. России предстоит сделать выбор: либо вместе с другими славянскими народами создать всеславянскую цивилизацию, либо полностью утратить свое культурно-историческое значение и стать этнографическим материалом для других цивилизаций.

Связывая главные понятия бытия – Бога и материи – Данилевский осознавал их через понятия красоты. «Бог пожелал создать красоту, – писал он, – и для этого создал материю». «Красота есть единственная духовная сторона материи – следовательно, красота есть единственная связь этих двух основных начал мира. То есть красота есть единственная сторона,

по которой она (материя) имеет цену и значение для духа, – единственное свойство, которому она отвечает, соответствует потребностям духа и которое в то же время совершенно безразлично для материи как материи. И наоборот, требование красоты есть единственная потребность духа, которую может удовлетворить только материя».

Данилевский считал, что гармонию Вселенной, которая явлена человеку в красоте окружающего мира, невозможно объяснить без допущения идеи целеустремленности всего сущего к взаимной согласованности. В основе ее лежит недоступное человеческому разумению божественное целеполагание, проявляющееся также в функционировании каждого организма, в приспособленности растений и животных к окружающей среде, в общей направленности жизненных процессов на Земле. Все сущее, считал Данилевский, развивается по единому закону – закону зарождения, расцвета и увядания. Каждая более или менее целостная система любого уровня сложности есть замкнутый мир, живущий и умирающий в меру отпущенных ему внутренних сил и возможностей. В результате исчерпывания внутренних потенций восходящее развитие формы сменяется нисходящим, и она деградирует. Подобный процесс и приводит, по Данилевскому, к вымиранию определенных видов растений и животных. По аналогии с природой, с многообразием видов, которым отведено свое место во времени и пространстве, историю можно считать чередованием (или сосуществованием) самобытных, эквивалентных по своей ценности больших и малых культур. Одни из них преимущественно религиозны (Древний Восток), другие ориентированы на создание художественных ценностей (Греция), третьи основаны на стремлении сформулировать юридические установления и следовать им (Рим) и т. п. В основе каждой из культур в качестве ее энергетического центра лежит национальное начало, способное к развитию благодаря сообщенной ему божественной энергии. Совокупность племен, ощущающих внутреннее единство и говорящих на родственных языках, может развиться в культурно-исторический тип.

В 1864 Данилевский покупает имение на Южном берегу Крыма. Здесь в гостях у ученого бывали славянофилы Н. Н. Страхов, И. С. Аксаков, здесь же в 1885 году побывал Л. Н. Толстой, который с глубокой симпатией отнесся к Данилевскому. В Крыму Данилевский ведет научно-исследовательскую работу, является директором Никитского ботанического сада. В последние годы жизни он работал над трудом, в котором решительно опроверг дарвинизм. Критикуя дарвиновскую теорию естественного отбора, Данилевский объясняет происхождение организмов деятельностью высшего разума. Сам ученый называл эту свою работу трудом «естественного богословия». Он стремился рассмотреть природную эволюцию, исходя из единства материи и духа. Данилевский не успел закончить работу над новым произведением – он скоропостижно скончался в Тифлисе во время очередной научной поездки. Похоронен в своем крымском имении.

Труды Данилевского оказали большое влияние на развитие русской и мировой философской мысли, и в частности на формирование взглядов О. Шпенглера и А. Тойнби.

Д. Кузнецов

I

РОССИЯ И ЕВРОПА

ВЗГЛЯД НА КУЛЬТУРНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ СЛАВЯНСКОГО МИРА К ГЕРМАНО-РОМАНСКОМУ

ГЛАВА I
1864 и 1854 годы
(Вместо введения)

Летом 1866 года совершилось событие огромной исторической важности. Германия, раздробленная в течение столетий, начала сплачиваться, под руководством гениального прусского министра[1] в одно сильное целое. Европейское status quo, очевидно, нарушено, и нарушение это, конечно, не остановится на том, чему мы были недавними свидетелями. Хитро устроенная политическая машина, ход которой был так тщательно уравновешен, оказалась расстроившеюся. Всем известно, что события 1866 года были только естественным последствием происшествий 1864 года. Тогда, собственно, произошло расстройство политико-дипломатической машины, хотя оно и не обратило на себя в должной мере внимания приставленных для надзора за ней механиков. Как ни важны, однако же, оказались последствия австро-прусско-датской войны 1864 года, я совсем не на эту сторону ее желаю обратить внимание читателей.

В оба года, которыми я озаглавил эту главу, на расстоянии десяти лет друг от друга, произошло два события, заключающие в себе чрезвычайно много поучительного для каждого русского, хотящего и умеющего вглядываться в смысл и значение совершающегося вокруг него. Представленные в самом сжатом виде, события эти состояли в следующем. В 1864 году Пруссия и Австрия, два первоклассные государства, имевшие в совокупности около 60 000 000 жителей и могущие располагать чуть не миллионной армией, нападают на Данию – одно из самых маленьких государств Европы, населенное двумя с половиной миллионами жителей, не более, – государство невоинственное, просвещенное, либеральное и гуманное в высшей

степени. Они отнимают у этого государства две области с двумя пятыми общего числа его подданных, – две области, неразрывная связь которых с этим государством была утверждена не далее тринадцати лет тому назад Лондонским трактатом[2], подписанным в числе прочих держав и обеими нападающими державами. И это прямое нарушение договора, эта обида слабого сильным не возбуждают ничьего противодействия. Ни оскорбление нравственного чувства, ни нарушение так называемого политического равновесия не возбуждают негодования Европы, ни ее общественного мнения, ни ее правительств – по крайней мере, не возбуждают настолько, чтобы от слов заставить перейти к делу, – и раздел Дании спокойно совершается. Вот что было в 1864 году.

Одиннадцать лет перед этим Россия, государство, также причисляемое к политической системе европейских государств, правда, очень большое и могущественное, оскорбляется в самых священных своих интересах (в интересах религиозных) Турцией – государством варварским, завоевательным, которое хотя уже и расслаблено, но все еще одним только насилием поддерживает свое незаконное и несправедливое господство, государством, тогда еще не включенным в политическую систему Европы, целость которого поэтому не была обеспечена никаким положительным трактатом. На эту целость никто, впрочем, и не посягает. От Турции требуется только, чтобы она ясно и положительно подтвердила обязательство не нарушать религиозных интересов большинства своих же собственных подданных, – обязательство не новое какое-либо, а уже восемьдесят лет тому назад торжественно данное в Кючук-Кайнарджийском мирном договоре[3]. И что же! Это справедливое требование, каковым признало его дипломатическое собрание первостепенных государств Европы, религиозные и другие интересы миллионов христиан, ставятся ни во что; варварское же государство превращается в глазах Европы в палладиум цивилизации и свободы. В 1854 году, как раз за десять лет до раздела Дании, до которого никому не было дела, Англия и Франция объявляют войну России, в войну вовлека-

ется Сардиния, Австрия принимает угрожающее положение, и, наконец, вся Европа грозит войной, если Россия не примет предложенных ей невыгодных условий мира. Так действуют правительства Европы; общественное же ее мнение еще более враждебно и стремится увлечь за собой даже те правительства, которые, как прусское и некоторые другие германские, по разного рода побуждениям не желали бы разрыва с Россией. Откуда же это равнодушие к гуманной, либеральной Дании и эта симпатия к варварской, деспотической Турции, – эта снисходительность даже к несправедливым притязаниям Австрии с Пруссией и это совершенное неуважение к самым законным требованиям России? Дело стоит того, чтобы в него вникнуть. Это не какая-нибудь случайность, не журнальная выходка, не задор какой-нибудь партии, а коллективное дипломатическое действие всей Европы, то есть такое обнаружение общего настроения, которое менее всякого другого подвержено влиянию страсти, необдуманного мгновенного увлечения. Поэтому и выбрал я его за исходную точку предлагаемого исследования взаимных отношений Европы и России.

Прежде всего посмотрим, нет ли в отношениях Дании к Пруссии и Австрии какого-нибудь дерзкого вызова, словом, чего-нибудь извиняющего в глазах Европы это угнетение слабого сильным и, напротив того, в действиях России чего-либо оскорбившего Европу, вызвавшего ее справедливые гнев и негодование?

Мы не будем вникать в подробности шлезвиг-голштейнского спора между Германией и Данией, тянувшегося, как известно, целые семнадцать лет и, я думаю, мало интересного для русских читателей. Сущность дела в том, что Дания установила общую конституцию для всех своих составных частей – одну из самых либеральных конституций в Европе, при которой, конечно, и речи не могло быть о каком-либо угнетении одной национальности другой. Но не того хотелось Германии: она требовала для Голштейна конституции хотя бы и гораздо худшей, но зато такой, которая совершенно разрознила бы эту страну с прочими частями монархии, – требовала даже не личного сое-

динения наподобие Швеции с Норвегией[4] (это бы еще ничего), а какого-то примененного к целой государственной области права, вроде польского «*не позволям*»[5], пользуясь которым чины Голштейна могли бы уничтожать действительность всякого постановления, принятого для целой Дании. Но Голштейн принадлежал к Германскому союзу, следовательно, этим путем достигалось бы косвенным образом господство союза над всей Датской монархией. Это господство он считал для себя необходимым по тому соображению, что кроме Голштейна, в дела которого Германский союз имел право некоторого вмешательства, в состав Датского государства входил еще и Шлезвиг, страна, по трактатам совершенно чуждая Германии, но населенная в значительной части немцами, которые ее мало-помалу колонизировали и из скандинавской обратили в чисто немецкую. В глазах всех немцев, сколько-нибудь интересовавшихся политикой, Шлезвиг составлял нераздельное целое с Голштейном; но такой взгляд не имел ни малейшей поддержки в основанном на положительных трактатах международном праве. Чтобы провести его на деле, необходимо было употребить Голштейн как рычаг для непрерывного давления на всю Данию. При этом средстве датское правительство могло бы провести в Шлезвиге те лишь только меры, которые были бы угодны Германии. Дания, очевидно, не могла на это согласиться, и патриотическая партия (так называемых эйдерских датчан) готова была совершенно отказаться от Голштейна, лишь бы только единство, целость и независимость остальной части монархии не нарушались беспрерывно чужеземным вмешательством. О тяжести такого вмешательства мы можем себе составить легкое понятие по собственному опыту. Вмешательство, основанное на придирчивых толкованиях некоторых статей Венского трактата[6], привело в негодование всю Россию. Хорошо, что негодование России, будучи так полновесно, перетягивает на весах политики много дипломатических и иного рода соображений; но кто же обращает внимание на негодование Дании? К тому же у Дании руки были в самом деле связаны трактатом, не дававшим ей полной свободы распоряжаться формой правления, ко-

торую ей хотелось бы дать Голштейну[7]. Об истинном смысле этого трактата шли между Данией и Германским союзом бесконечные словопрения. Каждая сторона толкует, конечно, дело в свою пользу; наконец и Германский союз, не отличавшийся-таки быстротой действия, теряет терпение и назначает экзекуцию в Голштейн. Голштейн принадлежит к Германскому союзу, и против такой меры нельзя еще пока ничего возразить. Но известное дело, что Германский союз, хотя узами его и было связано до пятидесяти миллионов народа, не внушал никому слишком большого уважения и страха, – ни даже крохотной Дании, которая, несмотря на союзную экзекуцию, преспокойно продолжает свое дело. Пруссия (или, точнее, г. Бисмарк), однако же, видит, что для нее, во всяком случае, это дело ничем хорошим кончиться не может. Возьмет верх Дания – пропали все планы на Кильскую бухту, флот, господство в Балтийском море, на гегемонию в Германии, одним словом, пропали все немецкие интересы, которых Пруссия себя считала и считает, и притом совершенно справедливо, главным, чуть ли не единственным представителем. Восторжествует Германский союз – Голштейн один или вместе с Шлезвигом, обратится в самостоятельное государство, которое усилит собой в союзе партию средних и мелких государств, что, как весьма справедливо думает г. Бисмарк, только повредит прусской гегемонии. Надо и союзу не дать усилиться, надо и Голштейн с Шлезвигом прибрать к своим рукам, чтобы общегерманские, а с ними вместе и частично прусское дела должным образом процвели. Следуя этим совершенно верным (с прусской точки зрения) соображениям, обеспечившись союзом с Австрией, которой во всем этом деле приходится своими руками для Пруссии жар загребать, г. Бисмарк вступается за недостаточно уваженный и оскорбленный Данией Германский союз и требует уничтожения утвержденной палатами, общей для всей монархии конституции, – хотя и в высшей степени либеральной, но вовсе не соответствующей ни общим видам Германии, ни частным видам Пруссии, – угрожая в противном случае войной. Дания с формальной стороны не была совершенно права, ибо, не будучи в состоянии испол-

нить невозможного для нее трактата или, по крайней мере, исполнить его в том смысле, в каком понимала его Германия, она решилась рассечь гордиев узел этой общей для всей монархии конституцией, которая, удовлетворяя, в сущности, всем законным требованиям как Голштейна, так и Шлезвига, устраняла, однако, совершенно вмешательство союза в дела этого последнего и делала его излишним для первого. Не будучи, таким образом, правой с формальной стороны, Дания, угрожаемая войной с двумя первоклассными государствами, легко могла уступить столь положительно выраженному требованию. Такую уступчивость необходимо было во что бы то ни стало предупредить. Средство к тому было найдено очень легкое. Для исполнения своего требования Пруссия и Австрия назначили столь короткий срок, что в течение его датское правительство не имело времени созвать палаты и предложить на их обсуждение требование этих держав. Таким образом, датское правительство было поставлено в необходимость или отвергнуть требования иностранных держав и навлечь на себя неравную войну, или нарушить конституцию своего государства; нарушить же конституцию при тогдашнем положении дел, – при только что вступившем на престол и не успевшем еще на нем утвердиться государе, непопулярном по причине его немецкого происхождения, – значило бы, по всей вероятности, вызвать революцию. Датскому правительству ничего не оставалось, как избирать из двух зол меньшее. Оно и выбрало войну, имея, по-видимому, достаточные основания считать ее за зло меньшее. Во-первых, Дания уже вела подобную войну и с Пруссией и с Германией, не далее как 15 лет тому назад и вышла из нее скорее победительницей, чем побежденной; она могла, следовательно, рассчитывать на подобный же исход и в этот раз. Соображение весьма хорошее, только при нем не было принято в расчет, что в тогдашней Германии существовал бестолковый Франкфуртский парламент[8], а в тогдашней Пруссии не было Бисмарка. Кроме того, датское правительство могло надеяться, что политическая система государств, основанная на положительных трактатах, – не пустое только слово; что после того,

как Европа около ста лет не переставала кричать о великом преступлении раздела Польши[9], она не допустит раздела Дании; что примет же она во внимание приставленный к ее горлу нож и, по крайней мере, потребует от нападающих на нее государств, чтобы они дали ей время опомниться. Во всем этом она ошиблась. Война началась. Неприготовленные к ней датчане, конечно, понесли поражение. Чтобы положить конец этой невозможной борьбе, собралась в Лондоне Конференция европейских государств. Нейтральные державы предложили сделку, при которой приняли во внимание победы, одержанные Пруссией и Австрией, но эта сделка не удовлетворила союзников; они продолжали настаивать на своем, и Европа, ограничив этим свое заступничество, предоставила им разделываться с Данией, как сами знают. Итак, если и можно считать Данию не совершенно правой с формальной стороны, то эта неправота была с избытком заглажена поступком Пруссии и Австрии, не только не давших Дании возможности отступиться от принятой ею слишком решительной меры, но воспользовавшихся этим только как предлогом для исполнения задуманной цели: отторжения от нее не только Голштейна, но и нераздельного с ним, по их понятиям, Шлезвига. Дипломатические обычаи – почитающиеся охраной международного права так же, как юридические формы почитаются охраной права гражданского и уголовного, – были нарушены, и нарушителем их была не Дания, а Пруссия с Австрией. Следовательно, эти два государства, а не Дания, оскорбили Европу.

Но иногда незаконность, то есть формальная, внешняя несправедливость, прикрывает собой такую внутреннюю правду, что всякое беспристрастное чувство и мнение принимают сторону мнимой несправедливости. Было ли, например, когда-либо совершено более дерзкое, более прямое нарушение формального народного права, чем при образовании Кавуром и Гарибальди Итальянского королевства? Поступки правительства Виктора-Эммануила[10] с Папской областью и Неаполитанским королевством никаким образом не могут быть оправданы с легальной точки зрения; и, однако же, всякий, не потеряв-

ший живого человеческого чувства и смысла, согласится, что в этом случае форма должна была уступить сущности, внешняя легальность – внутренней правде. Не таково ли и шлезвиг-голштейнское дело, не подходило ли и оно под категорию дел формально несправедливых, но оправдываемых скрытой под этой оболочкой внутренней правдой и не эта ли внутренняя правда обезоружила Европу? И на это придется отвечать отрицательно. Во-первых, национальное дело, имеющее своим защитником Австрию, может возбуждать только горький смех и негодование. Во-вторых, принцип национальностей пока еще не признается – по крайней мере официально – Европой и, без разного рода побочных соображений, сам по себе ничего не оправдывает в глазах ее. Даже справедливое дело Италии восторжествовало лишь в силу взаимных отношений между главнейшими государствами, так расположившихся, что на этот раз дело легальности не нашло себе защитников. В самом общественном мнении начало национальностей распространено лишь во Франции и в Италии, и то потому только, что эти страны считают его для себя выгодным. В-третьих, наконец, – и это главное – принцип национальностей неприменим вполне к шлезвиг-голштейнскому делу. Немецкий народ в 1864 году не составлял одного целого; он не имел политической национальности, и, пока она не образовалась, во имя чего он мог требовать отделения Голштейна и Шлезвига от Дании, не требуя в то же время уничтожения Баварии, Саксонии, Липпе-Детмольда, Саксен-Альтенбурга и т.п. как самостоятельных политических единиц? Правда, между разными немецкими государствами существовала слабая политическая связь, именовавшаяся Германским союзом; но точно таким же членом союза, как Бавария и Пруссия, Липпе и Альтенбург, был и Голштейн. Шлезвиг, конечно, не принадлежал к союзу; но если и не обращать внимания на то, что эта датская область была только колонизирована немцами, и придерживаться исключительно принципа этнографического, совершенно отвергая историческое право, то и с этой точки зрения крайним пределом немецких требований все-таки могло быть только присоединение Шлезвига к

Германскому союзу, а не совершенное отделение и Голштейна и Шлезвига от Дании. Скажут ли, что Бавария и Пруссия, Липпе-Детмольд и Саксен-Альтенбург, хотя и составляют самостоятельные политические единицы, но суть единицы совершенно немецкие, а Шлезвиг и Голштейн соединены с национальностью датской; но так же точно соединены Лимбург и Люксембург с национальностью голландской; а главное, так же точно шесть или семь миллионов австрийских немцев были соединены с 30 миллионами славян, мадьяр, румынов, итальянцев[11]. Если это аномалии, то, казалось бы, надо уничтожить главную из них, прежде чем приниматься за мелочи. Но 6 или 7 миллионов австрийских немцев составляют не подчиненную национальность, как миллион голштинцев и шлезвигцев, а, напротив того, национальность господствующую. Нельзя не согласиться, что это обстоятельство имеет первостепенную важность в глазах немцев, что оно дает совершенно противоположный оборот делу; но трудно понять, какое значение может оно иметь в глазах беспристрастной Европы, для которой и германская, и скандинавская, и итальянская (о славянской мы не говорим) национальности имеют одинаковую цену. Если, следовательно, немецкий народ не составлял политической национальности, если значительная доля его была соединена под одним управлением с другими национальностями, то он мог справедливо требовать от Дании только того, чтобы немецкая национальность не угнеталась в Голштейне и Шлезвиге, а пользовалась равноправностью с датской; но этого и требовать было нечего, это исполнялось и без всяких требований.

Представим себе, что первоначальный план Наполеона III относительно Италии осуществился бы[12]. Она составляла бы, наподобие Германского, Итальянский союз, в состав которого входило бы и Венецианское королевство, оставаясь, однако же, в соединении с Австрией. На каких основаниях мог бы тогда король сардинский в союзе с королем неаполитанским требовать от Австрии отделения Венеции, если бы итальянская национальность в ней ничем не угнеталась и, вообще, права венециянцев не нарушались бы? Такое положение дел

итальянцы могли бы считать – и совершенно основательно – весьма неудовлетворительным. Но главной причиной неудовлетворительности была бы не принадлежность Венеции Австрии, а раздельность итальянских государств при единой итальянской народности; и только сплотясь сама в одно политическое целое, имела бы эта народность если не формальное, на трактатах основанное, то прирожденное естественное право требовать своего дополнения от Австрии. Подобного права нельзя отрицать и у Германии; но прежде надлежало бы ей соединиться в одно политическое немецкое целое, отделив от себя все не немецкое, требующее самостоятельной национальной жизни, а тогда уже требовать своего и от других. Наконец, с национальной точки зрения, восстановления нарушенного германского национального права мог, во всяком случае, требовать только Германский союз, как это и было вначале; а он был, очевидно, оттеснен далее чем на задний план после того, как все здесь приняли в свои руки Пруссия и Австрия.

Впрочем, так ли это или не так, – дело, собственно, идет тут вовсе не о том, чтобы неопровержимо доказать существенную несправедливость поступка Пруссии и Австрии с Данией; мы хотим лишь показать, что в глазах Европы внутренняя правда шлезвиг-голштейнского дела не могла оправдать его нелегальности. Для нас важно не то, каково это дело само в себе, но то, каким оно представлялось глазам Европы; а едва ли кто решится утверждать, что оно пользовалось симпатией европейских правительств и европейского (за исключением германского, конечно) общественного мнения. Во мнении Европы, к нарушениям формы международных отношений присоединялась здесь и неосновательность самой сущности прусско-австрийско-немецких притязаний. Почему же, спрашивается, не вооружили эти притязания против себя Европы? Очевидно, что невиновность Дании и не внешняя или внутренняя правота Пруссии и Австрии были тому причиной. Надо поискать иного объяснения.

Но прежде обратимся за десять или одиннадцать лет назад к более для нас интересному Восточному вопросу.

По требованию Наполеона, выгоды которого заставляли льстить католическому духовенству, турецкое правительство нарушило давнишние исконные права Православной Церкви в Святых Местах. Это нарушение выразилось главнейше в том, что ключ от главных дверей Вифлеемского храма должен был перейти к католикам. Ключ сам по себе, конечно, – вещь ничтожная, но большей частью вещи ценятся не по их действительному достоинству, а по той идее, которую с ними соединяют. Какую действительную цену имеет кусок шелковой материи, навязанный на деревянный шест? Но этот кусок шелковой материи на деревянном шесте называется знаменем, и десятки, сотни людей жертвуют жизнью, чтобы сохранить знамя или вырвать его из рук неприятеля. Это потому, что знамя есть символ, с которым неразрывно соединена, во мнении солдат, военная честь полка.

Подобное же значение имел и Вифлеемский ключ. В глазах всех христиан Востока с этим ключом было соединено понятие о первенстве той церкви, которая им обладает. Очевидно, что для магометанского правительства Турции, совершенно беспристрастного в вопросе о преимуществе того или другого христианского вероисповедания, удовлетворение желаниям большинства его подданных, принадлежащих к Православной Церкви, долженствовало быть единственной путеводной нитью в решении подобных спорных вопросов. Невозможно представить себе, чтобы какое-либо правительство, личные выгоды, мнения или предрассудки которого нисколько не затронуты в каком-либо деле, решило его в интересах не большинства, а незначительного меньшинства своих подданных, и притом вопреки исконному обычаю, и тем без всякой нужды возбудило неудовольствие в миллионах людей. Для такого образа действий необходимо предположить какую-либо особую побудительную причину. Страх перед насильственными требованиями Франции тут ничего не объясняет, потому что Турции не могло не быть известно, что от нападения Франции она всегда нашла бы поддержку и защиту в России, а, вероятно, также в Англии и в других государствах Европы, как это было в 1840 году[13]. Очевидно, что эта уступка требованиям Франции была

для Турции желанным предлогом нанести оскорбление России. Религиозные интересы миллионов ее подданных нарушались потому, что эти миллионы имели несчастье принадлежать к той же церкви, к которой принадлежит и русский народ.

Могла ли Россия не вступиться за них, могло ли русское правительство, не нарушив всех своих обязанностей, не оскорбив религиозного чувства своего народа, не отказавшись постыдным образом от покровительства, которое оно оказывало восточным христианам в течение столетий, – дозволить возникнуть и утвердиться мысли, что единство веры с русским народом есть печать отвержения для христиан Востока, причина гонений и притеснений, от которых Россия бессильна их избавить; что действительное покровительство можно найти только у западных государств, и преимущественно у Франции? Кроме этого, для всякого беспристрастного человека ясно, что самое требование Франции было не что иное, как вызов, сделанный России, не принять которого не позволяли честь и достоинство. Этот спор о ключе, который многие даже у нас представляют себе чем-то ничтожным, недостойным людей, имеющих счастье жить в просвещенный девятнадцатый век, имел для России, даже с исключительно политической точки зрения, гораздо более важности, чем какой-нибудь вопрос о границах, спор о более или менее обширной области; со стороны Франции был он, конечно, не более как орудием для возбуждения вражды и нарушения мира. Так понимало в то время это дело само английское правительство.

На справедливое требование России турецкое правительство отвечало обещанием издать фирман, подтверждающий все права, коими искони пользовалась Православная Церковь, – фирман, который долженствовал быть публично прочитан в Иерусалиме. Это обещание не было исполнено; обещанный фирман не был прочитан, хотя этого чтения ожидало все тамошнее православное население. Россия была недостойным образом обманута, правительство ее выставлено в смешном и жалком виде бессилия, между тем как все требования Франции были торжественно выполнены. Что оставалось делать после этого?

Могла ли Россия довольствоваться обещаниями Турции, могла ли давать им малейшую веру? Не говоря уже о нанесенном ей оскорблении, не должна ли была она думать, что Турция после столь счастливого начала, так благополучно сошедшего ей с рук, могла, когда ей только вздумается, отнимать одно за другим права Православной Церкви, чтобы показать несчастным последователям ее тщету всякой надежды на Россию? Могла ли Россия не видеть, какое поприще открывалось для интриг латинства, которое умело ценить полученные им выгоды и, конечно, на них бы не остановилось. Чтобы предупредить это, оставалось одно средство: вытребовать у Турции положительное обязательство, выраженное в форме какого-либо дипломатического договора, что все права, которыми пользовалась доселе Православная Церковь, будут навсегда сохранены за ней. Можно ли было требовать меньшего, когда эти права только что были нарушены, а обещание восстановить их фирманом не исполнено? Не самая ли натуральная вещь – требовать формального обязательства или контракта от того, кто показал, что его слову, его простому обещанию нельзя давать веры? Требование Россией этого формального обязательства назвали требованием покровительства над Православной Церковью в Турецкой империи и нарушением верховных прав этой последней. Конечно, это было требование покровительства; но что же было в этом нового и странного, чтобы возбудить такое всеобщее против России негодование? Уже около восьмидесяти лет, именно с 1774 года, Россия имела формальное, выраженное в трактате право на такое покровительство; требовалось только более ясное и точное определение его. Фактическое же право покровительства, проистекающее не из трактатов, а из сущности вещей, Россия имела всегда и всегда им пользовалась с тех пор, как сделалась достаточно для того сильной. Такое фактическое право имели испокон века все государства, когда чувствовали, что какое-либо дорогое для них дело терпело притеснение в иностранном государстве. Так протестантские государства нередко покровительствовали протестантскому вероисповеданию в католических государствах. Так Россия и Пруссия оказывали покровительство диссидентам,

православным и протестантам, угнетаемым в бывшем королевстве Польском. Так уже после Восточной войны Франция оказала даже вооруженное покровительство сирийским христианам. И не в одном религиозном отношении оказывалось такое покровительство. Не сочли ли себя Англия и Франция вправе покровительствовать всем вообще неаполитанским подданным, по их мнению (впрочем, совершенно справедливому), жестоко и деспотически управляемым, и требовать от неаполитанского короля улучшения в способе и форме его управления? Не покровительствовала ли Франция бельгийцам, восставшим против Голландии?[14] Если, таким образом, покровительство дорогим для одного государства интересам, угнетаемым в другом, всегда фактически существовало и, несмотря ни на какую теорию невмешательства, всегда будет существовать (как основанное на самой сущности вещей), то что же ужасного и оскорбительного в том, ежели это естественное право покровительства получает формальное выражение в трактате? Римский двор заключает конкордаты с католическими и даже с некатолическими государствами, которыми выговаривает – дипломатическим путем – известные права для Католической церкви в этих державах, и такие конкордаты не считаются, однако же, нарушениями верховенства этих государств. Вестфальским миром[15] заключившие его государства обязались друг перед другом не стеснять прав своих подданных, не принадлежащих к господствующей в них религии. Иногда это постановление не исполнялось католическими державами; протестанты вмешивались в это дело и вынуждали исполнение трактата. Так, Фридрих-Вильгельм, отец Фридриха Великого, два раза оказал весьма действительное покровительство угнетенным протестантам в Зальцбурге. Правда, в Вестфальском договоре обязательство было взаимное; но в отношениях России к Турции в этой взаимности не было никакой надобности, ибо магометанские подданные России никогда никаких притеснений не терпели. Конечно, на трактатах основанное право чужеземного покровительства над частью подданных другого государства не может быть для него приятно; но что же делать, если оно служит только выражением действительно су-

ществующей потребности? Единственное средство избегнуть этой неприятности – уничтожить самый факт, обусловливающий необходимость иностранного покровительства; пока же самый факт будет существовать, то неосвящение покровительства формальностью договора нисколько сущности дела не изменяет. Можно даже сказать, что через такое формальное признание права покровительства и вмешательства в ясно определенных случаях уменьшаются шансы к фактическому применению этого права. В самом деле, разве Россия в 1853 году и без дипломатической ноты, и вообще без всякого определительного дипломатического договора, которого она стала себе требовать в этом году, – что будто бы так напугало Европу, – не вмешалась в дела Турции, не приняла на себя покровительства Православной Церкви? А, наоборот, если бы такой положительный, ясный и определительный договор существовал до этого времени, то не воспрепятствовал ли бы он Турции в ее враждебном к большинству ее же подданных поступке и тем не отклонил ли бы фактического вмешательства России? Но какие бы кто ни имел понятия о допускаемости или недопускаемости договоров, дающих одному государству формальное право на покровительство части подданных другого государства, – право, которое и без договора фактически всегда существует, – одно останется несомненным, что договор, выраженный в точных и определенных выражениях, всегда предпочтительнее договора, дающего место неопределенным толкованиям, договора, вводящего одну сторону в соблазн уменьшать принятые ею на себя обязательства, а другую – преувеличивать свои права. В настоящем случае дело и шло именно только о такой замене одного договора другим, чтобы предупредить на будущее время подобные столкновения и необходимость фактического вмешательства. Если подобные договоры нарушают верховенство государства, то нарушение это было уже сделано 80 лет тому назад; теперь ему придавалась только безвредная форма. Все, о чем можно было толковать, состояло, следовательно, только в том, чтобы принятая форма была вместе с этим и самая безобидная, наиболее удовлетворяющая щепетильной заботливости европейских государств о достоин-

стве Турции, а в этом отношении уступчивости России не было пределов. Она не действовала нахрапом, как германские союзники против Дании, и когда великие европейские державы предложили свое посредничество, она приняла его, предоставив их благоусмотрению определение выражений, в которых Турция должна была удовлетворить ее требованиям. Сама зачинщица дела – Франция – составила проект ноты; дипломатические представители великих европейских держав одобрили и приняли его. Так составилась знаменитая Венская нота[16]. Россия, признав посредничество держав, безусловно приняла решение посредников. Казалось бы, дело кончено. Если и могли прежде основательно или неосновательно предполагать со стороны России честолюбивые намерения, она, видимо, отказывалась от них, принимая решение коллективной дипломатической мудрости Европы. Ясное дело, что намерение ее ограничивалось получением, во-первых, удовлетворения за нарушение прав ее единоверцев, естественной покровительницей которых, по самой сути вещей, она всегда была, есть и будет, по трактатам или без них; во-вторых, обязательства, выраженного хотя бы в самой деликатной для турецкого самолюбия форме, в том, что впредь таких нарушений не будет. И что же? – Турция отвергает эту составленную четырьмя великими державами и принятую Россией ноту, делая в ней такие изменения, которые лишают ее всякого значения и обязательного смысла. Самый факт изменения ноты был уже знаком неуважения, и не к одной России, но и к прочим четырем державам, если только они сами серьезно смотрели на свое дело, а не видели в нем ловушки, в которую надеялись поймать Россию, думая, что она не примет предложенного ими текста и что тогда можно будет обвинять ее сколько угодно в задних мыслях и тайных честолюбивых замыслах и, умывая руки, взвалить на нее всю ответственность за последствия. Турция неизвестно откуда набирается духу объявить России войну и находит себе между подписавшими Венскую ноту двух явных и одного тайного союзника; только четвертый остается нейтральным зрителем.

Политические страсти удивительно как отуманивают ум: самое прямое и бесспорное дело становится сомнительным и

извращается в глазах пристрастного судьи. Попытаемся же перевести этот неслыханный образ действий из сферы политической в сферу частных отношений. Некто, считающий себя оскорбленным, требует удовлетворения от оскорбителя; во внимание к общим друзьям делает он уступку за уступкой в форме требуемой им сатисфакции, наконец, соглашается предоставить все решению самих этих друзей – третейскому суду чести, как это, например, водится между военными и студентами; соглашается, несмотря на уверенность в том, что друзья эти большей частью ложные друзья, что один из них был даже подстрекателем в нанесенном ему оскорблении. Так убежден он в правоте своего дела. Друзья постановляют решение, – заметьте, решение, предложенное самим подстрекателем, – и оскорбленный безусловно ему покоряется, считает его вполне для себя достаточным. Прибавим к этому, что оскорбленный, как не раз доказал, отлично владеет оружием, оскорбитель же плоховат в этом деле; тем не менее этот последний воодушевляется неожиданной храбростью, отвергает решение принятых им прежде посредников и вызывает своего противника на дуэль.

Друзья, конечно, приходят в негодование, объявляют себя сторонниками вызванного и настаивают на том, чтобы ему было сделано удовлетворение, признанное ими всеми за справедливое, принуждают к этому так не к месту расхрабрившегося господина, или, по крайней мере, оставляют поединщиков расправляться друг с другом как сами знают? Ничуть не бывало; оказывается, что у друзей какие-то странные понятия о чести и справедливости. Расхрабрившийся, изволите ли видеть, куда какой плохой воитель, не справиться ему никак с вызванным им противником, – это ясно, как дважды два – четыре. Ну, а долг рыцарской чести – стоять за слабых и защищать от нападения сильных да и неожиданный задор взялись ведь у него не откуда, как от их же рыцарских нашептываний; честь, следовательно, велит стоять за него грудью. Так решают двое из друзей. Но ведь нужен же для этого какой-нибудь резон; а если не резон, то, по крайней мере, хоть предлог, и предлог по обыкновению находится, – конечно, столь же странный, как и вся эта история.

Оскорбленный и вызванный из уважения ли к друзьям, по добродушию что ли, или уж так, Бог его знает почему, предлагает противнику такие условия боя: «Ты, брат, я знаю, плохо драться умеешь, так вот тебе что: если нападешь на меня, буду защищаться; повезет тебе – хорошо, – твое счастье; а чуть неустойка, уходи за эту черту, и я уже за ней тронуть тебя не смею; беру в этом всех друзей в свидетели и поруки». Умно ли это или нет, уж не знаю; но зато великодушно в высшей степени, из рук вон как великодушно. Однако двум друзьям, подстрекателю и другому, и этого показалось мало: «Черта чертой – это хорошо, только ты еще руку и ногу дай себе связать и стой на одной ноге, и одной только рукой дерись; а мы любоваться будем, как ты фокусы эти будешь выкидывать. Если же нет, то втроем на тебя нападем». Руки и ноги не дал себе связать великодушный воитель, – ну и предлог, слава тебе Господи, нашелся; а то куда в каких затруднениях были оба друга: драться смерть как хочется, а драться не за что. Уговаривали они и третьего заодно с ними драться, да этому напрямик в драку лезть чересчур уж непристойно было: не дальше как пять лет тому назад обижаемый его из воды, что ли, или из огня вытащил, когда тот уже совсем было захлебывался или дымом задыхался, – одним словом, жизнь спас. Он и поднимается на хитрость. «Место, – говорит, – где вы драться думаете, у меня под боком; вашей дракой вы мешать мне будете; я пока займу его, а вы деритесь где знаете. Правда, место для тебя будет очень неудобно: и ветер, и солнце прямо в глаза тебе; из него нападать нельзя будет, только защищаться с грехом пополам; ну, да это уж твое дело; если же не хочешь, то пока те трое спереди нападать на тебя будут, я сзади за шиворот схвачу». Только четвертый отошел себе в сторону. «Моя, – говорит, – хата с краю, я ничего не знаю».

Как стали бы мы, спрашиваю, судить о подобных поступках? А в этой притче нет ни малейшего преувеличения или карикатуры, только простая перефразировка: суд чести – Венская конференция; черта – Дунай; рука и нога, которым надлежало быть связанными, – флот, которым Россия не должна была препятствовать подвозу оружия черкесам, и т.д. Разве, в

самом деле, не Синопское сражение[17] послужило более нежели странным предлогом к объявлению войны морскими державами? Разве Австрия не требовала очищения и нейтралитета Дунайских княжеств[18], подвергая тем Россию ударам ее врагов и лишая ее возможности самой наносить их, заставляя вместо сухопутной вести морскую войну? Кто же тут, спрашивается, оскорбленный и обиженный? Не до очевидности ли ясно, что войны с Россией искали во что бы то ни стало? Не Франция ли с самого начала нарушила своими неумеренными требованиями мир между соперничествующими церквами и заставила Россию вступиться за своих единоверцев? Не Турция ли после сего обманула Россию, не сдержав данного обещания о фирмане? Не Франция ли опять, придвинув свой флот к Дарданеллам, вынудила Россию к занятию Дунайских княжеств? Затем, когда Россия согласилась предоставить решение спора посредничеству четырех великих держав и безусловно приняла предложенный ими текст ноты, не западные ли державы, а преимущественно не Англия ли через своего посланника, постоянно враждебного России лорда Редклифа, подстрекнула Турцию не принимать ее и,– чтобы разом покончить с дипломатией, посредством которой никак не удавалось выставить Россию зачинщицей дела, – прямо объявить ей войну?

Есть ли в самом деле малейшая возможность думать, чтобы Турция решилась пренебречь мнением всей Европы и, отвергнув его, объявить войну России при убеждении, что предложенная ей нота составляла не ловушку, а действительное, честно выраженное мнение Европы, и без подстрекательства обещанием самой деятельной помощи? Наконец, не дики ли требования западных держав, чтобы Россия, будучи в войне с Турцией, спокойно смотрела на то, как будут подвозить оружие и вообще помогать черкесам, и употребляла для своей защиты одну лишь армию, но никак не флот? Не эти ли нелепые требования, по необходимости ею отвергнутые, послужили предлогом к войне? Что же сказать еще о требованиях Австрии, которая, выгораживая Турцию, вносит войну в пределы самой России? Что сказать, наконец, о Сардинии, так себе, здорово живешь, ни с

того ни с сего объявляющей войну России не только уж без причины, но даже и без малейшей тени предлога? Неужели все это не показывает какого-то озлобления, какой-то решимости пренебречь всем, лишь бы только удовлетворить своему желанию унизить Россию, когда к тому представляется наконец благоприятный, по-видимому, случай? Все это становится особливо любопытным, если сравнить такое озлобление против России с той снисходительностью, которая была оказана к действиям Пруссии и Австрии относительно Дании. И если б еще можно было отнести это к макиавеллизму дворов или только правительственных сфер европейских держав, увидавших благоприятный случай поживиться на счет России, – совсем нет! В настоящее время интриги вроде замыслов кардинала Альберони[19] стали совершенно невозможны. Все европейские правительства должны сообразжаться с настроением общественного мнения и весьма часто даже вынуждаются им к действиям. Так было и в Восточном вопросе. Правительство Англии, т.е. министерство Абердина, было не только миролюбиво, но даже дружественно расположено к России; то же самое должно сказать и о большей части германских правительств. Одна только сила общественного мнения принудила Англию к войне и сменила министерство за то, что оно не вело войны с достаточной энергией. Столь же враждебно, ежели не более, было это мнение в Пруссии и в остальной Германии и если не увлекло их в войну, то потому, что не получило еще там такого могущества, как в Англии. Каждый успех, одержанный не только западными державами, но даже и турками, праздновался везде как успех общего дела всей Европы. Правда, что новое правительство Франции искало случая к войне[20]; но почему же выбрало оно именно эту войну, которая сама по себе не представляла ему никаких положительных выгод, была даже противна здраво понятым политическим интересам Франции? А Наполеон, конечно, понимал их здраво. Но он знал, что это будет самая популярная в Европе война, единственная, способная примирить ее с Наполеоновской династией, на которую она вообще смотрела с недоверием и недоброжелательством; и результат вполне оправдал такой расчет.

Следовательно, в этом деле общественное мнение Европы было гораздо враждебнее к России, нежели ее правительственные дипломатические сферы. Совершенно наоборот, в шлезвиг-голштейнском вопросе общественное мнение вне Германии хотя вообще и не одобряло действий Австрии и Пруссии и стояло почти повсеместно за Данию, но было вообще холодно, вяло, не имело той стремительности, которая увлекает за собой правительства, и потому оставляло им не только полную свободу действовать по усмотрению их благоразумия, но даже высказывалось как в журналах, так и в многочисленных митингах против войны. Откуда же, спрашивается опять, это меряние разными мерами и это вешание разными весами, когда дело идет о России и о других европейских государствах? Представленный разбор и тщательное сравнение шлезвиг-голштейнского вопроса с Восточным в их сущности и в их форме не дает, как мы видели, ключа к этой загадке, а, напротив, еще более затрудняет ее отгадку. Не возбудила ли Россия своими прежними делами, своими вероломствами, своими насилиями справедливых опасений и негодования Европы, так что Европа воспользовалась первым представившимся случаем, чтобы рассчитаться за прошедшее и оградить себя в будущем? Посмотрим, может быть, оно и в самом деле так!

ГЛАВА II
Почему Европа враждебна России?

Мы слышим клеветы, мы знаем оскорбленья,
Тысячеглавой лжи газет,
Измены, зависти и страха порожденья.
Друзей у нашей Руси нет![1]

«Взгляните на карту, – говорил мне один иностранец, – разве мы можем не чувствовать, что Россия давит на нас своей массой, как нависшая туча, как какой-то грозный кошмар?» Да, ландкартное давление действительно существует, но где же оно

на деле, чем и когда выражалось? Франция при Людовике XIV и Наполеоне, Испания при Карле V и Филиппе II, Австрия при Фердинанде II действительно тяготели над Европой, грозили уничтожить самостоятельное, свободное развитие различных ее национальностей, и большого труда стоило ей освободиться от такого давления. Но есть ли что-нибудь подобное в прошедшей истории России? Правда, не раз вмешивалась она в судьбы Европы, но каков был повод к этим вмешательствам? В 1799, в 1805, в 1807 годах сражалась русская армия[1] с разным успехом не за русские, а за европейские интересы. Из-за этих же интересов, для нее, собственно, чуждых, навлекла она на себя грозу Двенадцатого года; когда же смела с лица земли полумиллионную армию и этим одним, казалось бы, уже довольно послужила свободе Европы, она не остановилась на этом, а, вопреки своим выгодам, – таково было в 1813 году мнение Кутузова и вообще всей так называемой русской партии, – два года боролась за Германию и Европу и, окончив борьбу низвержением Наполеона, точно так же спасла Францию от мщения Европы, как спасла Европу от угнетения Франции. Спустя тридцать пять лет она опять едва ли не вопреки своим интересам спасла от конечного распадения Австрию[3], считаемую, справедливо или нет, краеугольным камнем политической системы европейских государств. Какую благодарность за все это получала она как у правительств, так и у народов Европы, – всем хорошо известно, но не в этом дело. Вот, однако же, все, чем ознаменовалось до сих пор деятельное участие России в делах Европы, за единственным разве исключением бесцельного вмешательства в Семилетнюю войну[4]. Но эти уроки истории никого не вразумляют. Россия, – не устают кричать на все лады, – колоссальное завоевательное государство, беспрестанно расширяющее свои пределы, и, следовательно, угрожает спокойствию и независимости Европы. Это – одно обвинение. Другое состоит в том, что Россия будто бы представляет собой нечто вроде политического Аримана[5], какую-то мрачную силу, враждебную прогрессу и свободе. Много ли во всем этом справедливого? Посмотрим

сначала на завоевательность России. Конечно, Россия не мала*, но большую часть ее пространства занял русский народ путем свободного расселения, а не государственного завоевания. Надел, доставшийся русскому народу, составляет вполне естественную область, – столь же естественную, как, например, Франция, только в огромных размерах, – область, резко означенную со всех сторон (за некоторым исключением западной) морями и горами. Область эта перерезывается на два отдела Уральским хребтом, который, как известно, в своей средней части так полог, что не составляет естественной этнографической перегородки. Западная половина этой области прорезывается расходящимися во все стороны из центра реками: Северной Двиной, Невой – стоком всей озерной системы, Западной Двиной, Днепром, Доном и Волгой, точно так же, как в малом виде Франция: Маасом, Сеной, Луарой, Гаронной и Роной. Восточная половина прорезывается параллельным течением Оби, Енисея и Лены, которые также не разделены между собой горными преградами. На всем этом пространстве не было никакого сформированного политического тела, когда русский народ стал по-

* Здесь кстати будет заметить, что Россия вовсе не составляет огромнейшего государства в мире, как привыкли думать и говорить. Эта честь, бесспорно, принадлежит Британскому государству. Чтобы убедиться в этом, стоит только хорошенько посчитать хотя бы с календарем в руках. Пространство России по новейшим сведениям составляет около 375 000 кв. миль. Посмотрим же, сколько наберется во всех английских владениях. В Европе 5570; в Азии 63 706; в Африке 6636; в Южной и Средней Америке 5326; в Северной Америке: Канада с принадлежностями – 64 000 и полярные страны, за исключением Гренландии (20 000) и бывших русских владений (24 000), – 130 000; наконец, в Австралии более 150 000. Итого с лишком 425 000 кв. миль, то есть около 50 000 кв. миль более, чем во всей России. Скажут, может быть, не вся *Новая Голландия* [так первоначально именовали Австралию] занята английскими колониями. Это так; но разве Англия допустит другие государства заводить свои колонии на этом материке, и не считает ли она его поэтому своею собственностью? Или возразят, что полярные страны Америки составляют ледяную пустыню, в сущности никому не принадлежащую? Но не то ли же самое можно сказать о Северной Сибири, которая тем не менее, однако ж, входит в состав Русской империи? (*Здесь и далее примечания, помеченные звезочкой, принадлежат перу Николая Яковлевича Данилевского. Пометка «Посмертн. примеч.» сопровождает те из них, которые впервые были опубликованы уже после смерти автора – Ред.*).

степенно выходить из племенных форм быта и принимать государственный строй. Вся страна была или пустыней, или заселена полудикими финскими племенами и кочевниками; следовательно, ничто не препятствовало свободному расселению русского народа, продолжавшемуся почти во все первое тысячелетие его истории при полном отсутствии исторических наций, которые надлежало бы разрушать и попирать ногами, чтобы занять их место. Никогда занятие народом предназначенного ему исторического поприща не стоило меньше крови и слез. Он терпел много неправд и утеснений от татар и поляков, шведов и меченосцев, но сам никого не утеснял, если не назовем утеснением отражения несправедливых нападений и притязаний. Воздвигнутое им государственное здание не основано на костях попранных народностей. Он или занимал пустыни, или соединял с собой путем исторической, нисколько не насильственной ассимиляции такие племена, как чудь, весь, меря или как нынешние зыряне, черемисы, мордва, не заключавшие в себе ни зачатков исторической жизни, ни стремлений к ней; или, наконец, принимал под свой кров и свою защиту такие племена и народы, которые, будучи окружены врагами, уже потеряли свою национальную самостоятельность или не могли долее сохранять ее, как армяне и грузины. Завоевание играло во всем этом самую ничтожную роль, как легко убедиться, проследив, каким образом достались России ее западные и южные окраины, слывущие в Европе под именем завоеваний ненасытимо алчной России. Но прежде надо согласиться в значении слова «завоевание». Завоевание есть политическое убийство или, по крайней мере, политическое изувечение; так как, впрочем, первое из этих выражений употребляется совершенно в ином смысле, скажем лучше: национальное, народное убийство или изувечение. Хотя определение это метафорическое, тем не менее оно верно и ясно. Впоследствии представится случай подробно изложить наши мысли о значении национальностей, но пока удовольствуемся афористическим положением, которое, впрочем, и не требует особенных доказательств в наше время, ибо составляет – в теории, по крайней мере – убеждение большинства мыслящих

людей: *что всякая народность имеет право на самостоятельное существование в той именно мере, в какой сама его сознает и имеет на него притязание.* Это последнее условие очень важно и требует некоторого разъяснения. Если бы, например, Пруссия покорила Данию или Франция Голландию, они причинили бы этим действительное страдание, нарушили бы действительное право, которое не могло бы быть вознаграждено никакими гражданскими или даже политическими правами и льготами, дарованными датчанам или голландцам; ибо кроме личной и гражданской, кроме политической, или так называемой конституционной свободы народы, жившие самостоятельной государственной и политической жизнью, чувствуют еще потребность, чтобы все результаты их деятельности – промышленной, умственной и общественной – составляли их полную собственность, а не приносились в жертву чуждому им политическому телу, не терялись в нем, не составляли материала и средства для достижения посторонних для них целей. Они не хотят им служить, потому что каждая историческая национальность имеет свою собственную задачу, которую должна решить, свою идею, свою отдельную сторону жизни, которые стремится осуществить, – задачу, идею, сторону жизни тем более отличные и оригинальные, чем отличнее сама национальность от прочих в этнографическом, общественном, религиозном и историческом отношениях. Но необходимое условие для достижения всего этого составляет национально-политическая независимость. Следовательно, уничтожение самостоятельности такой национальности может быть по всей справедливости названо национальным убийством, которое возбуждает вполне законное негодование против его совершителя. К этому же разряду общественных явлений относится и то, что я назвал национальным изувечением. Италия, например, ощущала действительное страдание оттого, что часть ее – Венеция – оставалась присоединенной к чуждому ей политическому телу – Австрии, хотя это и не составляло непреодолимого препятствия к развитию ее национальной жизни; точно так, как отсечение руки или ноги не прекращает жизни отдельного человека, но тем не менее лиша-

ет ее той полноты и разносторонности проявлений, к которым она была бы способна без этого увечья. Исторический народ пока не соберет воедино всех своих частей, всех своих органов, должен считаться политическим калекой. Таковы были в недавнее время итальянцы; таковы до сих пор греки, сербы и даже русские, от которых отделены еще три или четыре миллиона их галицких и угорских единоплеменников. А сколько еще пока под спудом почивающих народностей, чающих своего воскресения! Сказанное здесь было бы, однако ж, несправедливо и неразумно относить и к таким племенам, которые не жили самостоятельной исторической жизнью, потому ли, что вовсе не имели для сего внутренних задатков, или потому, что обстоятельства для них сложились неблагоприятно и возможность их исторического развития была уничтожена в такой ранний период их жизни, когда они составляли только этнографический материал, еще не успевший принять формы политической индивидуальности – так сказать, прежде, чем в них был вдунут дух жив. Такие племена, как, например, баски в Испании и Франции, кельты княжества Валисского[6] и наши многочисленные финские, татарские, самоедские, остяцкие и другие племена, предназначены к тому, чтобы сливаться постепенно и нечувствительно с той исторической народностью, среди которой они рассеяны, ассимилироваться ею и служить к увеличению разнообразия ее исторических проявлений. Эти племена имеют, без сомнения, право на ту же степень личной, гражданской и общественной свободы, как господствующая историческая народность, но не на политическую самостоятельность, ибо, не имея ее в сознании, они и потребности в ней не чувствуют и даже чувствовать не могут. Нельзя прекратить жизни того, что не жило; нельзя изувечить тела, не имеющего индивидуального объединения. Тут нет, следовательно, ни национального убийства, ни национального увечья, а потому нет и завоевания. Оно даже невозможно в отношении к таким племенам. Самый этимологический смысл слова «завоевание» неприменим к подчинению таких племен, ибо они и сопротивления не оказывают, если при этом не нарушаются их личные, имущественные и

другие гражданские права. Когда эти права остаются неприкосновенными, им, собственно, и защищать более нечего.

После этого небольшого отступления, необходимого для уяснения понятия о завоевании, начнем наш обзор с северо-западного угла Русского государства, с Финляндии, – прямо с одного из политических преступлений, в которых нас укоряет Европа. Было ли тут завоевание в том именно значении национального убийства, которое придает ему ненавистный, преступный характер? Без сомнения, нет, так как не было и национальности, которую лишили бы при этом своего самостоятельного существования или изувечили отделением какой-либо составной ее части. Финское племя, населяющее Финляндию, подобно всем прочим финским племенам, рассеянным по пространству России, никогда не жило исторической жизнью. Коль скоро нет нарушения народной самостоятельности, то политические соображения относительно географической округленности, стратегической безопасности границ и т.п., сами по себе еще не могущие оправдать присоединения какой-либо страны, получают свое законное применение. Россия вела войну с Швецией, которая с самого Ништадтского мира[7] не могла привыкнуть к мысли об уступке того, что по всем правам принадлежало России, и искала всякого, по ее мнению, удобного случая возобновить эту войну и возвратить свои прежние завоевания. Россия победила и приобрела право на вознаграждение денежное, земельное или другое, лишь бы оно не простиралось на часть самой Швеции; ибо национальная территория не отчуждаема и никакие договоры не могут освятить в сознании народа такого отчуждения, пока отчужденная часть не потеряет своего национального характера. Тогда, конечно, но только тогда, приходится покориться невозвратно. Но мало сказать, что присоединением Финляндии от Швеции к России ничьи существенные права не были нарушены; выгоды самой Финляндии, т.е. финского народа, ее населяющего, более, чем выгоды России, требовали перемены владычества. Государство столь могучее, как Россия, могло в значительной мере отказаться от извлечения выгод из приобре-

тенной страны; народность столь могучая, как русская, могла без вреда для себя предоставить финской народности полную этнографическую самостоятельность. Русское государство и русская народность могли довольствоваться малым; им было достаточно иметь в северо-западном углу своей территории нейтральную страну и доброжелательную народность вместо неприятельского передового поста и господства враждебных шведов. Государство и народность русская могли обойтись без полного слияния с собой страны и народности финской, к чему, конечно, по необходимости, должна была стремиться слабая Швеция, в отношении к которой Финляндия составляла три четверти ее собственного пространства и половину ее населения. И действительно, только со времени присоединения Финляндии к России начала пробуждаться финская народность и достигла наконец того, что за языком ее могла быть признана равноправность со шведским в отношении университетского образования, администрации и даже прений на сейме. Сделанное Россией для финской национальности будет, без сомнения, оценено беспристрастными людьми; во враждебном лагере, конечно, возбуждает оно пока только негодование, доходящее иногда до смешного. В мою бытность в Норвегии меня серьезно уверял один швед, что русское правительство из вражды к Швеции искусственно вызвало финскую национальность и сочинило с этой именно целью эпическую поэму Калевалу. Удивительное правительство, которое, по отзывам поляков, указами создает русский язык и научает ему своих монгольских подданных, а по отзывам шведов, сочиняет народные эпосы!

За Финляндией, пропуская Ингерманландию[8], – за обладание которой на нас, кажется, не сыплется укоров, хотя и она была отбита у шведов, – мы встречаем так называемые немецкие Остзейские провинции (die deutschen Ostsee – Provinzen), то есть немецкие владения по берегам Балтийского моря. По названию можно, пожалуй, подумать, что дело идет о завоеванных и отторгнутых русскими от Священной Римской империи или от заменившего ее Германского союза провинциях Пруссии и Померании, составляющих в настоящее время единственные

действительно немецкие провинции при Балтийском море, а не о населенном эстами и латышами пространстве от Чудского озера и реки Наровы до прусской границы, – исконной принадлежности России, где еще Ярослав основал Юрьев, переименованный потом в Дерпт, – о пространстве, на поселение в котором первые рижские епископы считали нужным испрашивать дозволение у полоцких князей. Кто были завоевателями в этой стране: русские ли, то есть славяне, которые в союзе с разными чудскими племенами положили основание Русскому государству и мирными путями вносили христианство с зачатками образованности в эту прибалтийскую страну точно так же, как и в прочие части своей составляющей одно физическое целое государственной области, – или незваные и непрошеные немецкие искатели приключений, явившиеся сюда огнем и мечом распространять духовное владычество пап, обращать туземцев в рабство и присваивать себе чужую собственность? Россия никогда не признавала этого вторжения пришельцев! Псков и Новгород, стоявшие здесь на страже земли Русской в тяжелую татарскую годину, не переставали протестовать против него с оружием в руках. Когда же Москва соединила в себе Русь, она сочла своим первым долгом уничтожить рыцарское гнездо и возвратить России ее достояние. Первое удалось на первых же порах, но сама страна перешла в руки Польши и Швеции, и борьба за нее соединилась с борьбой за прочие области, отторгнутые этими государствами от России. Но это только еще одна сторона дела; самое присоединение главной части Прибалтийского края совершилось даже не вопреки желанию пришлого дворянства, а по его же просьбам и наущениям, при стараниях и помощи его представителя, героя Паткуля. Можно утверждать, что для самого народа, коренного обладателя страны, эстов и латышей, Россия хотя и сделала уже кое-что, однако ж далеко не все, чего могли они от нее ожидать; но, конечно, не за это упрекает ее Европа, не в этом видит она ту черту, по которой в ее глазах присоединение Прибалтийского края имеет ненавистный завоевательный характер. Совершенно напротив, в том немногом, что сделано (или, лучше сказать, в том, чего она опасается со сторо-

ны России) для истинного освобождения народа и страны, она и видит собственно русскую узурпацию, оскорбление германской и вообще европейской цивилизации.

За Прибалтийскими областями начинается страна, известная ныне под именами Северо-Западного и Юго-Западного края, а прежде именовавшаяся польскими провинциями. Недалеко то время, когда было бы нелишним исписать не одну страницу всевозможных доказательств для убеждения в том, что это – русский край, что Россия никогда его не завоевывала; ибо нельзя завоевать того, что наше без всякого завоевания, всегда таким было, всегда даже таким считалось всем русским народом, пока в высших слоях его не начали иссякать живой народный смысл и живое народное чувство, пока, вследствие того, многие из этих слоев не допустили отуманить свой ум нелепыми гуманитарными бреднями, не имеющими даже достоинства искренности и беспристрастия. Поляки и Европа взяли на себя, к счастью, труд несколько протрезвить русских в этом отношении, и хотя, к сожалению, несмотря на все свои старания, не столько еще успели в этом, как бы следовало желать, – так крепко забились гуманитарные бредни в русские головы, – достигли, однако же, того, чего не сделали бы самые основательные и длинные диссертации, – избавили от труда доказывать, что Северо-Западный и Юго-Западный край – точно такая же Россия и на точно таких же основаниях, как и сама Москва.

Но в Северо-Западном крае есть небольшая землица, именно Белостоцкая область, на которой нелишним будет несколько остановиться. Эта область вместе с северной частью нынешнего Царства Польского, Познанским герцогством и Западной Пруссией, досталась при разделе Польши на долю Пруссии. В седьмом году по Тильзитскому миру она отошла к России. Сколько возгласов по этому случаю в немецких сочинениях о вероломстве России, постыдно согласившейся принять участие в разграблении бывшей своей несчастной союзницы! Стоит только бросить взгляд на карту, чтоб убедиться в недобросовестности такого обвинения.

Белостоцкая область прилегает к восточной границе Царства Польского. Из северной части теперешнего Царства, к которой через два года присоединена была и южная, и из Познанской провинции составил Наполеон герцогство Варшавское. Этим была разорвана связь между Белостоцкой областью и уцелевшими от разгрома прусскими владениями. Для Пруссии, следовательно, Белостоцкая область была во всяком случае потеряна; Пруссии оставалось одно из двух: видеть ее или в руках враждебного ей Варшавского герцогства, соединенного с враждебной же Саксонией, или в руках дружественной России. Могло ли тут быть сомнение в выборе самой Пруссии? Что касается до России, то очевидно, что она считала Белостоцкую область присоединяемой к ней не от Пруссии, – от которой эта область была уже отнята самим фактом образования Варшавского герцогства, – а от этого последнего, обеим им неприязненного государства. Где же тут вероломство? Впоследствии же, когда Царство Польское в возмездие за услуги, оказанные Россией Европе, было присоединено к России, Пруссия получила достаточное вознаграждение за отошедшую от нее часть Польши, а Белостоцкая область не могла быть ей возвращена, потому что оставалась отделенной от нее Царством Польским, как прежде герцогством Варшавским, которое (если не считать выделенного из него Познанского герцогства) переменило только название.

Не может ли, однако, самое Царство Польское называться завоеванием России, так как в силу выше данного определения тут было, по-видимому, национальное убийство? Этот вопрос заслуживает рассмотрения, потому что в суждениях и действиях Европы по отношению к нему проявляется так же – если еще не более, чем в Восточном вопросе сравнительно с шлезвиг-голштейнским, – та двойственность меры и та фальшивость весов, которыми она отмеривает и отвешивает России и другим государствам.

Раздел Польши считается во мнении Европы величайшим преступлением против народного права, совершенным в новейшие времена, и вся тяжесть его взваливается на Россию. И это мнение не газетных крикунов, не толпы, а мнение

большинства передовых людей Европы. В чем же, однако, вина России? Западная ее половина во время татарского господства была покорена Литвой, вскоре обрусевшей, затем через посредство Литвы – сначала случайно (по брачному союзу[9]), а потом насильственно (Люблинской унией[10]) – присоединена к Польше. Восточная Русь никогда не мирилась с таким положением дел.

Об этом свидетельствует непрерывный ряд войн, перевес в которых сначала принадлежал большей частью Польше, а со времени Хмельницкого и воссоединения Малороссии окончательно перешел к России. При Алексее Михайловиче Россия не имела еще счастья принадлежать к политической системе европейских государств, и потому у ней были развязаны руки, и она была единственным судьей в своих делах. В то время произошел первый раздел Польши. Россия, никого не спрашиваясь, взяла из своего, что могла, – Малороссию по левую сторону Днепра, Киев и Смоленск, взяла бы и больше, если бы надежды на польскую корону не обманули царя и заставили упустить благоприятное время. Раздел Польши, насколько в нем участвовала Россия, мог бы совершиться уже тогда, – с лишком за сто лет ранее, чем он действительно совершился, и, конечно, с огромной для России пользой, ибо тогда не бродили еще гуманитарные идеи в русских головах; и край был бы закреплен за православием и русской народностью прежде, чем успели бы явиться на пагубу русскому делу Чарторыйские[11] с их многочисленными последователями и сторонниками, процветающими под разными образами и видами даже до сего дня. Как бы то ни было, дело не было окончено, а едва только начато при Алексее, и раз упущенное благоприятное время возвратилось не ранее как через сто лет, при Екатерине II. Но почему же то, что было законно в половине XVII века, становится незаконным к концу XVIII? Самый повод к войне при Алексее одинаков, – все то же утеснение православного населения, взывавшего о помощи к родной России. И если справедливо было возвратить Смоленск и Киев, то почему же было несправедливо возвратить не только Вильну, Подолию, Полоцк, Минск, но даже Галич, который, к

несчастью, вовсе не был возвращен? А ведь в этом единственно и состоял раздел Польши, насколько в нем участвовала Россия! Форма была, правда, иная. В эти сто лет Россия имела счастье вступить в политическую систему европейских государств, и руки ее были связаны. Свое ли, не свое родовое достояние ты возвращаешь, как бы говорили ей соседи, нам все равно; только ты усиливаешься, и нам надобно усилиться на столько же. Положение было таково, что Россия не имела возможности возвратить по праву ей принадлежащего, не допуская в то же время Австрию и Пруссию завладеть собственно Польшей и даже частью России – Галичем, на что ни та, ни другая, конечно, не имели ни малейшего права. Первоначальная мысль о таком разделе принадлежит, как известно, Фридриху; и в уничтожении настоящей Польши в ее законных пределах Россия не имела никакой выгоды. Совершенно напротив, Россия, несомненно, сохранила бы свое влияние на Польшу и по отделении от нее русских областей, тем более, что в ней одной могла бы Польша надеяться найти опору против своих немецких соседей, которым (особенно Пруссии) было весьма желательно, даже существенно необходимо получить некоторые части собственной Польши. Но не рисковать же было России из-за этого войной с Пруссией и Австрией! Не очевидно ли, что все, что было несправедливо в разделе Польши, – так сказать, убийство польской национальности, – лежит на совести Пруссии и Австрии, а вовсе не России, удовольствовавшейся своим достоянием, возвращение которого не только составляло ее право, но и священнейшую обязанность. Или найдутся, быть может, гуманитарные головы, которые скажут, что великодушие требовало от России скорее отказаться от принадлежащего ей по праву, чем согласиться на уничтожение самой Польши? Ведь это все, чем можно упрекнуть Россию, став на самую дон-кихотскую точку зрения. Такой образ действий был бы, пожалуй, возможен, если бы Польша иначе поступала со своими русскими и православными подданными; в данных же обстоятельствах это было бы смешным и жалким великодушничаньем на чужой счет. Если бы частный человек, лишенный части своего достояния, для

возвращения его принужден был, не имея возможности этого иначе достигнуть, войти в соглашение с соседями, заведомо желающими воспользоваться сим благоприятным случаем, дабы без малейшего на то права захватить и ту долю собственности неправого владельца, которая, несомненно, ему принадлежит, – мы, без сомнения, должны были бы сказать, что он поступил несогласно с правилами христианской нравственности. Но применение этих правил к междугосударственным и даже международным отношениям было бы странным смешением понятий, доказывающим лишь непонимание тех оснований, на которых зиждятся эти высшие нравственные требования. Требование нравственного образа действий есть не что иное, как требование самопожертвования. Самопожертвование есть высший нравственный закон. Собственно говоря, это тождественные понятия. Но единственное основание для самопожертвования есть бессмертие, вечность внутренней сущности человека; ибо для того, чтобы строгий закон нравственности или самопожертвования не был нелепостью, заключающей в себе внутреннее противоречие, очевидно необходимо, чтоб он вытекал из внутренней природы того, кто должен на его основании действовать, точно так же, как и во всех природных или, что то же самое, божественных законах. Но если для человека все оканчивается здешней жизнью, то, без сомнения, и законы его деятельности не могут ниоткуда иначе почерпаться, как из требований этой же жизни – из того, что составляет ее сущность, то есть из требований временного спокойствия, счастья, благоденствия, в которых каждое существо находит конечную и даже единственно вообразимую цель своего бытия. Только в том случае, ежели не в этом заключается внутренняя потребность нашей сущности, духа, как мы его называем, – если в нем содержится нечто иное, неисчерпываемое содержанием временной земной жизни, – может быть выставляемо и иное начало для его деятельности, начало нравственности, любви и самопожертвования. Но государство и народ суть явления преходящие, существующие только во времени, и, следовательно, только на требовании этого их временного существования могут основываться законы их дея-

тельности, то есть политики. Этим не оправдывается макиавеллизм, а утверждается только, что всякому свое, что для всякого разряда существ и явлений есть свой закон. «Око за око, зуб за зуб» – строгое право, бентамовский принцип утилитарности, то есть здраво понятой пользы, – вот закон внешней политики, закон отношений государства к государству. Тут нет места закону любви и самопожертвования. Не к месту примененный, этот высший нравственный закон принимает вид мистицизма и сентиментальности, как мы видели тому пример в блаженной памяти Священном союзе. Заметим, кстати, что начало здраво понятой пользы, очевидно, недостаточное и негодное как основание нравственности, должно дать гораздо лучшие результаты как принцип политический по той весьма простой причине, что он применяется здесь к своему настоящему месту. В самом деле, в течение долговечной жизни государства есть большое вероятие, что угроза, служащая основой утилитарного начала, то есть его санкция, заключающаяся в словах: «…ею же мерой мерите – возмерится и вам», – успеет возыметь свое действие; тогда как в кратковременную жизнь человека каждый, имеющий достаточно средств, власти, хитрости, может весьма основательно надеяться, что ему удастся избежать последствий, выраженных в приведенных словах.

Итак, раздел Польши, насколько в нем принимала участие Россия, был делом совершенно законным и справедливым, был исполнением священного долга перед ее собственными сынами, в котором ее не должны были смущать порывы сентиментальности и ложного великодушия, как после Екатерины они, к сожалению и к общему несчастью России и Польши, смущали ее и смущают многих еще до сих пор. Если при разделе Польши была несправедливость со стороны России, то она заключалась единственно в том, что Галич не был воссоединен с Россией. Несмотря на все это, негодование Европы обрушилось, однако же, всей своей тяжестью не на действительно виновных – Пруссию и Австрию, а на Россию. В глазах Европы все преступление раздела Польши заключается именно в том, что Россия усилилась, возвратив свое достояние. Если бы не

это горестное обстоятельство, то германизация славянской народности, – хотя для нее самой любезной из всех, но все же славянской, – не возбудила бы столько слез и плача. Я думаю даже, что совершенно напротив, – после должных лицемерных соболезнований она была бы втайне принята с общей радостью, как желательная победа цивилизации над варварством. Ведь знаем же мы, что она не пугает европейских и наших гуманитарных прогрессистов, даже когда является в форме австрийского жандарма (см. *Атеней*[12]). Разве одни французы пожалели бы, что лишились удобного орудия мутить Германию? Такое направление общественного мнения Европы очень хорошо поняла и польская интеллигенция; она знает, чем задобрить Европу, и отказывается от кровного достояния Польши, доставшегося Австрии и Пруссии, лишь бы ей было возвращено то, что она некогда отняла у России; чужое ей милее своего. Кому случалось видеть отвратительное, но любопытное зрелище драки между большими ядовитыми пауками, называемыми фалангами, тот, конечно, замечал, как нередко это злобное животное, пожирая с яростью одного из своих противников, не ощущает, что другой отъел уже у него зад. Не представляют ли эти фаланги истинную эмблему шляхетско-иезуитской Польши – ее символ, герб, выражающий ее государственный характер гораздо вернее, чем одноглавый орел?

Но как бы ни была права Россия при разделе Польши, теперь она владеет уже частью настоящей Польши и, следовательно, должна нести на себе упрек в неправом стяжании, по крайней мере, наравне с Пруссией и Австрией. Да, к несчастью, владеет! Но владеет опять-таки не по завоеванию, а по тому сентиментальному великодушию, о котором только что было говорено. Если бы Россия, освободив Европу, предоставила отчасти восстановленную Наполеоном Польшу ее прежней участи, то есть разделу между Австрией и Пруссией, а в вознаграждение своих неоцененных, хотя и плохо оцененных заслуг потребовала для себя восточной Галиции, частью которой – Тарнопольским округом – в то время уже владела, то осталась бы на той же почве, на которой стояла при Екатерине, и никто ни в чем не мог

бы ее упрекнуть. Россия получила бы значительно меньше по пространству, немногим меньше по народонаселению, но зато скольким больше по внутреннему достоинству приобретенного, так как она увеличила бы число своих подданных не враждебным польским элементом, а настоящим русским народом. Что же заставило императора Александра упустить из виду эту существенную выгоду? Что ослепило его взор? Никак не завоевательные планы, а желание осуществить свою юношескую мечту – восстановить польскую народность и тем загладить то, что ему казалось проступком его великой бабки. Что это было действительно так, доказывается тем, что так смотрели на это сами поляки. Когда из враждебного лагеря, из Австрии, Франции и Англии, стали делать всевозможные препятствия этому плану восстановления Польши, угрожая даже войной, император Александр послал великого князя Константина в Варшаву призывать поляков к оружию для защиты их национальной независимости. Европа, по обыкновению, видела в этом со стороны России хитрость, – желание под предлогом восстановления польской народности мало-помалу прибрать к своим рукам и те части прежнего Польского королевства, которые не ей достались, – и потому соглашалась на совершенную инкорпорацию Польши, но никак не на самостоятельное существование Царства в личном династическом союзе с Россией, чего теперь так желают. Только когда Гарденберг, который, как пруссак, был ближе знаком с польскими и русскими делами, разъяснил, что Россия требует своего собственного вреда, согласились дипломаты на самостоятельность Царства*. Последующие события доказали, что планы России были не честолюбивы, а только великодушны. Если бы русское правительство поддерживало в поляках надежду на присоединение к царству прусских и австрийских частей бывшей Польши, как этого, например, впоследствии желал маркиз Велёпольский, или бы только сквозь пальцы смотрела на клонящиеся к тому интриги, конечно, не случилось бы того, что восстание вспыхнуло в Царстве Поль-

* *Русский Вестник*. Февр. 1865 г. Статья проф. Соловьева: «Венский конгресс». С. 433 и 434.

ском, а не в Познани или в Галиции, ибо внутренних причин, заключающихся в неудовлетворительном состоянии края, для этого восстания не было. Как бы кто ни судил о дарованной Царству конституции, – свобода, которой оно пользовалось, была, во всяком случае, несравненно значительнее, чем в означенных провинциях Пруссии и Австрии, чем в самой Пруссии и Австрии, чем даже в большей части тогдашней Европы. Время с 1815 по 1830 год, в которое Царство пользовалось независимым управлением, особой армией, собственными финансами и конституционными формами правления, было, без сомнения, и в материальном, и в нравственном отношениях счастливейшим временем польской истории. Восстание ничем другим не объясняется, как досадой поляков на неосуществление их планов к восстановлению древнего величия Польши, хотя бы то было под скипетром русских государей; конечно, только для начала. Но эти планы были направлены не на Галицию и Познань, а на Западную Россию, потому что тут только были развязаны руки польской интеллигенции – сколько угодно полячить и латынить. И только когда, по мнению польской интеллигенции, стало оказываться недостаточно потворства или, лучше сказать, содействия русского правительства, – ибо потворства все еще было довольно, – к ополячению Западной России, тогда негодование поляков вспыхнуло и привело к восстанию 1830, а также и 1863 года. Вот как честолюбивы и завоевательны были планы России, побудившие ее домогаться на Венском конгрессе присоединения Царства Польского!

В юго-западном углу России лежит Бессарабия[13], также недавнее приобретение. Здесь христианское православное население было исторгнуто из рук угнетавших его диких и грубых завоевателей, турок, – население, которое торжествовало это событие как избавление из плена. Если то было завоевание, то и Кир, освободив иудеев из плена вавилонского, был их завоевателем. Об этом и распространяться больше не стоит.

Все южно-русские степи также были вырваны из рук турок. Степи эти принадлежат к Русской равнине. Спокон века, еще со времен Святослава, боролись за них с ордами кочевни-

ков сначала русские князья, потом русские казацкие общины и русские цари. Зачем же и с какого права занесло сюда турецкую власть, покровительствовавшую хищническим набегам? То же должно сказать и о Крымском полуострове[14], хотя и не принадлежавшем исстари к России, но послужившем убежищем не только ее непримиримым врагам, но врагам всякой гражданственности, которые делали из него набеги при всяком удобном случае, пожигали огнем и посекали мечом южные русские области до самой Москвы. Можно, пожалуй, согласиться, что здесь было завоевано государство, лишена своей самостоятельности народность; но какое государство и какая народность? Если я назвал всякое вообще завоевание национальным убийством, то в этом случае это было такое убийство, которое допускается и Божескими и человеческими законами, – убийство, совершенное в состоянии необходимой обороны и вместе в виде справедливой казни.

Остается еще Кавказ. Под этим многообъемлющим именем надобно отличать в рассматриваемом здесь отношении закавказские христианские области, закавказские магометанские области и кавказских горцев.

Мелкие закавказские христианские царства еще со времен Грозного и Годунова молили о русской помощи и предлагали признать русское подданство. Но только император Александр I в начале своего царствования, после долгих колебаний, согласился наконец исполнить это желание, убедившись предварительно, что грузинские царства, донельзя истомленные вековой борьбой с турками, персиянами и кавказскими горцами, не могли вести долее самостоятельного существования и должны были или погибнуть, или присоединиться к единоверной России. Делая этот шаг, Россия знала, что принимает на себя тяжелую обузу, хотя, может быть, не предугадывала, что она будет так тяжела, что она будет стоить ей непрерывной шестидесятилетней борьбы. Как бы то ни было, ни по сущности дела, ни по его форме тут не было завоевания, а было подание помощи изнемогавшему и погибавшему. Прежде всего это вовлекло Россию в двукратную борьбу с Персией, причем не Россия была

зачинщицей. В течение этой борьбы ей удалось освободить некоторые христианские населения от двойного ига мелких владетельных ханов и персидского верховенства. С этим вместе были покорены магометанские ханства: Кубанское, Бакинское, Ширванское, Шекинское, Ганджинское и Талышенское, составляющие теперь столько же уездов, и Эриванская область. Назовем, пожалуй, это завоеваниями, хотя завоеванные через это только выиграли. Не столь довольны, правда, русским завоеванием кавказские горцы.

Здесь точно много погибло если не независимых государств, то независимых племен. После раздела Польши едва ли какое другое действие России возбуждало в Европе такое всеобщее негодование и сожаление, как война с кавказскими горцами и, особливо, недавно совершившееся покорение Кавказа. Сколько ни стараются наши публицисты выставить это дело как великую победу, одержанную общечеловеческой цивилизацией, ничто не помогает. Не любит Европа, чтобы Россия бралась за это дело. Ну, на Сырдарье, в Коканде, в Самарканде, у дикокаменных киргизов еще куда ни шло, можно с грехом пополам допустить такое цивилизаторство, все же вроде шпанской мушки оттягивает, хотя, к сожалению, и в недостаточном количестве, силы России; а то у нас под боком, на Кавказе; мы бы и сами тут поцивилизировали. – Что кавказские горцы – и по своей фанатической религии, и по образу жизни и привычкам, и по самому свойству обитаемой ими страны, – природные хищники и грабители, никогда не оставлявшие и не могущие оставлять своих соседей в покое, – все это не принимается в расчет. Рыцари без страха и упрека, паладины свободы да и только! В шотландских горах с небольшим лет сто тому назад жило несколько десятков, а может и сотен тысяч таких же рыцарей свободы; хотя те были и христиане, и пообразованнее, и нравом посмирнее, – да и горы, в которых они жили, не Кавказским чета, – но, однако же, Англия нашла, что нельзя терпеть их гайлендерских привычек, и при удобном случае разогнала на все четыре стороны. А Россия под страхом клейма гонительницы и угнетательницы свободы терпи с лишком

миллион таких рыцарей, засевших в неисследимых трущобах Кавказа, препятствующих на целые сотни верст кругом всякой мирной оседлости; и, – в ожидании, пока они не присоединятся к первым врагам, которым вздумается напасть на нее с этой стороны, – держи, не предвидя конца, двухсоттысячную армию под ружьем, чтобы сторожить все входы и выходы из этих разбойничьих вертепов. И по этому кавказскому (как и по польскому, как и по восточному, как и по всякому) вопросу можно судить о доброжелательстве Европы к России.

О Сибири и говорить нечего. Какое тут, в самом деле, завоевание? Где тут завоеванные народы и покоренные царства? Стоит лишь счесть, сколько в Сибири русских и сколько инородцев, чтобы убедиться, что большей частью это было занятие пустопорожнего места, совершенное (как показывает история) казацкой удалью и расселением русского народа почти без содействия государства. Разве еще к числу русских завоеваний причислим Амурский край, никем не заселенный, куда всякое переселение было даже запрещено китайским правительством, неизвестно почему и для чего считавшим его своей собственностью?

Итак, в завоеваниях России все, что можно при разных натяжках назвать этим именем, ограничивается Туркестанской областью, Кавказским горным хребтом, пятью-шестью уездами Закавказья и, если угодно, еще Крымским полуостровом. Если же разбирать дело по совести и чистой справедливости, то ни одно из владений России нельзя называть завоеванием – в другом, антинациональном и потому ненавистном для человечества смысле. Много ли государств, которые могут сказать про себя то же самое? Англия у себя под боком завоевала независимое Кельтское государство, – и как завоевала! – отняла у народа право собственности на его родную землю, голодом заставила его выселяться в Америку, а на расстоянии чуть не полуокружности Земли покорила царства и народы Индии в числе почти двухсот миллионов душ; отняла Гибралтар у Испании, Канаду – у Франции, мыс Доброй Надежды – у Голландии и т.д. Земель пустопорожних или заселенных дикими неисторическими племенами в количестве без малого 300 000

квадратных миль я не считаю завоеваниями. Франция отняла у Германии Эльзас, Лотарингию, Франш-Конте, у Италии – Корсику и Ниццу; за морем покорила Алжир. А сколько было ею завоевано и опять от нее отнято! Пруссия округлила и соединила свои разбросанные члены за счет Польши, на которую не имела никакого права. Австрия мало или даже почти ничего не отняла мечом, но самое ее существование есть уже преступление против права народностей. Испания в былые времена владела Нидерландами, большей частью Италии, покорила и уничтожила целые цивилизации в Америке.

Ежели нельзя упрекнуть Россию в действительно совершенных ею завоеваниях, то, может быть, к ним были направлены ее стремления: неудача покушения не оправдывает еще преступника. Бросим взгляд на характер войн, которые она вела. Далеко заходить незачем. Все войны до Петра велись Россией за собственное существование, – за то, что в несчастные времена ее истории было отторгнуто ее соседями. Первая война, которую она вела не с этой целью и которой, собственно, началось ее вмешательство в европейские дела, была ведена против Пруссии. Достаточного резона на участие в Семилетней войне со стороны России, конечно, не было. Злословие Фридриха оскорбило Елизавету; его поступки, справедливо или нет, считались всей Европой наглыми нарушениями как международного права вообще, так и законов Священной Германско-Римской империи в частности. Если тут была вина, то ее разделяла Россия со всей Европой; так или нет, но это было явление случайное, не лежавшее в общем направлении русской политики. Во все царствование Екатерины Великой Россия деятельным образом не вмешивалась в европейские дела, преследовала свои цели, и цели эти, как мы видели, были цели правые. С императора Павла, собственно, начинаются европейские войны России. Война 1799 г., в чисто военном отношении едва ли не славнейшая изо всех веденных Россией, была актом возвышеннейшего политического великодушия, бескорыстия, рыцарства в истинно мальтийском духе. Была ли она актом такого же политического благоразумия – это иной вопрос. Для России,

впрочем, война эта имела значительный нравственный результат: она показала, к чему способны русские в военном деле. Такой же характер имели войны 1805 и 1807 годов. Россия принимала к сердцу интересы, ей совершенно чуждые, и с достойным всякого удивления геройством приносила жертвы на алтарь Европы. Тильзитский мир[15] заставил ее на время отказаться от этой самоотверженной политики и повернуть в прежнюю екатерининскую колею; но выгоды, которые она могла очевидно приобрести, продолжая идти по ней, не удовлетворяли ее, не имели в глазах ее ничего приманчивого. Интересы Европы, особливо интересы Германии, так близко лежали к ее сердцу, что оно билось только для них. Что усилия, сделанные Россией в 1813 и 1814 годах были сделаны в пользу Европы, – в этом согласны даже и теперь беспристрастные люди, к какому бы политическому лагерю они ни принадлежали, а тогда все прославляли беспримерное бескорыстие России. Но что самый Двенадцатый год был борьбой, предпринятой Россией из-за интересов Европы, – это едва ли многими сознается. Конечно, война Двенадцатого года была войной по преимуществу народной – народной в полном смысле этого слова, если принимать в расчет сам способ ее ведения и те чувства, которые в то время одушевляли русский народ. Но такова ли была эта славная война в своих причинах, то есть желание ли нарушить русские интересы побудило Наполеона предпринять ее? На это едва ли можно отвечать утвердительно. Причины этой колоссальной борьбы, низвергнувшей Наполеона и приведшей к таким громадным последствиям, до того ничтожны, что невозможно понять, как могли они заставить Наполеона ринуться в такое опасное, рискованное предприятие без всякой нужды, имея на руках у себя Испанию. Что приводится в самом деле поводом, побудившим Наполеона собрать 600 000 армию и вторгнуться с ней в отдаленную страну – неизобильную ресурсами, с дурными путями сообщения – для борьбы с войском и народом, мужество которых было ему хорошо известно?.. Неточное соблюдение Тильзитского договора Россией, допускавшей под рукой некоторую торговлю с Англией, когда Наполеон сам у

себя допускал подобные же уклонения от правил континентальной системы, и протест России против захвата Ольденбурга[16] – вот и все. Всю неудовлетворительность этих резонов думают достаточно дополнить, ссылаясь на ненасытимое честолюбие Наполеона. Конечно, Наполеон был честолюбив сверх меры, но был ведь также и расчетлив. Истинную причину войны, как Наполеон ее понимал, выразил он в словах, сказанных им Балашову[17]: государь окружен личными его врагами, низкими людьми, как он выражался, – в том числе Штейном, негодяем, изгнанным из своего отечества, – то есть людьми, которым дороги были интересы Германии и которые старались образ мыслей императора Александра направить в эту сторону. Хорошо понятый и должным образом развитый смысл этих намеков объясняет все. Наполеон не мог не чувствовать, что сооруженное им здание очень шатко и кроме его высокого гения никаких других подпор не имеет. Жеромы, Иосифы Мюраты не в состоянии были поддержать его. Что же будет после его смерти, что оставит он своему сыну? Всемирное владычество, чувствовал он, даже ему не под силу; надо было найти, с кем его разделить, и он думал после Тильзитского мира, что нашел этого товарища и союзника в России; другого, впрочем, и отыскать негде было. Он думал, что Россия из прямого политического расчета, из-за собственных своих целей и выгод будет с ним заодно. И в самом деле, чего бы не могла достигнуть Россия в союзе с ним, если бы смотрела на дело исключительно со своей точки зрения? Ревностная помощь в войне 1809 года дала бы ей всю Галицию; усиленная война против Турции доставила бы ей не только Молдавию и Валахию, но и Булгарию, – дала бы ей возможность образовать независимое Сербское государство с присоединением к нему Боснии и Герцеговины. Наполеон не хотел только, чтобы наши владения переходили за Балканы, но Наполеон был не вечен. Самым герцогством Варшавским, которое в его глазах было только угрозой против России, он, вероятно, пожертвовал бы, раз убедившись, что Россия действительно вошла во все его планы, что, идя к выполнению своих целей, она столько же нуждается в нем, сколько он в ней, что

сама она заинтересована в сохранении его могущества. Но вскоре после Тильзитского мира Наполеон увидел, что он не может полагаться на Россию, не может рассчитывать на ее искреннее содействие, основанное не на букве связывающего их договора, а на политическом расчете, – что она формально держится данного обещания, но сердце ее не лежит к союзу с ним. В войне 1809 года помогала она только для виду; заступничество за Ольденбургское герцогство и еще более наплыв немецких патриотов, – которых Наполеон, со своей точки зрения, называл негодяями (конечно, вовсе несправедливо), – показывали ему, что Россия горячо принимает к сердцу так называемые европейские или, точнее, немецкие интересы, – горячее, чем свои собственные. Что оставалось ему делать? К чему влекла его неудержимо логика того положения, в которое его поставило как собственное его честолюбие, так и самый ход событий? Очевидно, к тому, чтобы обеспечить себя иным способом, независимо от России, – к тому, чтобы отыскать для подпоры своему зданию какой-нибудь другой столб, хотя бы и менее надежной крепости. Этот столб думал он вытесать на счет самой России, восстановив Польское королевство в его прежнем объеме. В нем надеялся он, по крайней мере, найти всегда готовое орудие против враждебной ему Германии. Иначе поступить Наполеону едва ли было возможно. И без войны политическое здание, им воздвигнутое, должно было рухнуть, если Россия не заинтересована в его поддержке, – рухнуть если не при нем, так после его смерти. Война, руководимая его гением, представляла, по крайней мере, шансы или вынудить Россию к этой поддержке, или заменить ее другим хотя и менее твердым, но зато более зависимым и податливым орудием. Одним словом, если бы Наполеон мог рассчитывать на Россию, которая, как ему казалось, сама была заинтересована в его деле, он никогда бы не подумал о восстановлении Польши. От добра добра не ищут. В тринадцатом году, во главе новой собранной им армии, он высказал эту мысль самым положительным образом: «Всего проще и рассудительнее было бы сойтись прямо с императором Александром. Я всегда считал Польшу средством, а не главным

делом. Удовлетворяя Россию на счет Польши, мы имеем средство унизить Австрию, обратить ее в ничто»*. Может ли что-нибудь быть яснее, откровеннее и притом сообразнее с действительным характером Наполеона! Не из-за Европы ли, следовательно, не из-за Германии ли в особенности, приняла Россия на свою грудь грозу Двенадцатого года? Двенадцатый год был, собственно, великой политической ошибкой, обращенной духом русского народа в великое народное торжество.

Что не какие-либо свои собственные интересы имела Россия в виду, решаясь на борьбу с Наполеоном, видно уж из того, что, окончив с беспримерной славой первый акт этой борьбы, она не остановилась, не воспользовалась представлявшимся ей случаем достигнуть всего, чего только могла желать для себя, заключив с Наполеоном мир и союз, как он этого всеми мерами домогался и как желали того же Кутузов и многие другие замечательные люди той эпохи. Что мешало Александру повторить Тильзит с той лишь разницей, что в этот раз он играл бы первостепенную и почетнейшую роль? Даже для Пруссии, которая уже скомпрометировала себя перед Наполеоном, император Александр мог выговорить все, чего требовала бы, по его мнению, честь.

Через четырнадцать лет после Парижского мира пришлось России вести войну с Турцией. Русские войска перешли Балканы и стояли у ворот Константинополя. С Францией Россия была в дружбе, у Австрии не было ни войск, ни денег; Англия, хотя бы и хотела, ничего не могла сделать, – тогда еще не было военных пароходов; прусское правительство было связано тесной дружбой с Россией. Европа могла только поручить Турцию великодушию России. Взяла ли тогда Россия что-нибудь для себя? А одного слова ее было достаточно, чтобы присоединить к себе Молдавию и Валахию. Даже и слова было не надо. Турция сама предлагала России княжества вместо недоплаченного еще долга. Император Николай отказался от того и от другого.

---

* *Богданович М. И.* Ист[ория] войны 1813 года [за независимость Германии: в 2 т. – СПб., 1863]. Т. I. С. 2.

Настал 1848 год. Потрясения, бывшие в эту пору в целой Европе, развязывали руки завоевателя и честолюбца. Как же воспользовалась Россия этим единственным положением? Она спасла от гибели соседа, – того именно соседа, который всего более должен был противиться ее честолюбивым видам на Турцию, если бы у нее таковые были. Этого мало, тогда можно было соединить великодушие с честолюбием. После венгерской кампании был достаточный предлог для войны с Турцией; русские войска занимали Валахию и Молдавию, турецкие славяне поднялись бы по первому слову России. Воспользовалась ли всем этим Россия? Наконец, в самом 1853 году если бы Россия высказала свои требования с той резкостью и неуступчивостью, пример которых в том же году подавало ей посольство графа Лейнингена, и, в случае малейшей задержки удовлетворения, двинула войска и флот, когда ни Турция, ни западные державы нисколько не были приготовлены, чего не могла бы она достигнуть?

Итак, состав Русского государства, войны, которое оно вело, цели, которые преследовало, а еще более – благоприятные обстоятельства, столько раз повторявшиеся, которыми оно не думало воспользоваться, – все показывает, что Россия не честолюбивая, не завоевательная держава, что в новейший период своей истории она большей частью жертвовала своими очевиднейшими выгодами, самыми справедливыми и законными, европейским интересам, – часто даже считала своей обязанностью действовать не как самобытный организм (имеющий свое самостоятельное назначение, находящий в себе самом достаточное оправдание всем своим стремлениям и действиям), а как служебная сила. Откуда же и за что же, спрашиваю, недоверие, несправедливость, ненависть к России со стороны правительств и общественного мнения Европы?

Обращаюсь к другому капитальному обвинению против России. Россия – гасительница света и свободы, темная мрачная сила, политический Ариман, как выразился я выше. У знаменитого Роттека[18] высказана мысль, – которую, не имея под рукой его «Истории…», не могу, к сожалению, буквально

цитировать, – что всякое преуспеяние России, всякое развитие ее внутренних сил, увеличение ее благоденствия и могущества есть общественное бедствие, несчастье для всего человечества. Это мнение Роттека есть только выражение общественного мнения Европы. И это опять основано на таком же песке, как и честолюбие, и завоевательность России. Какова бы ни была форма правления в России, каковы бы ни были недостатки русской администрации, русского судопроизводства, русской фискальной системы и т.д., до всего этого, я полагаю, никому дела нет, пока она не стремится навязать всего этого другим. Если все это очень дурно, тем хуже для нее и тем лучше для ее врагов и недоброжелателей. Различия в политических принципах еще не могут служить препятствием к дружбе правительств и народов. Не была ли Англия постоянным другом Австрии, несмотря на конституционализм одной и абсолютизм другой? Не пользуется ли русское правительство и русский народ симпатиями Америки и наоборот? Только вредное вмешательство России во внутреннюю политику иностранных государств, давление, которым она препятствовала бы развитию свободы в Европе, могут подлежать ее справедливой критике и возбуждать ее негодование. Посмотрим, чем же его заслужила Россия, чем так провинилась перед Европой? До времен Французской революции о таком вмешательстве, о таком давлении и речи быть не могло, потому что между континентом Европы и Россией не существовало тогда никакой видимой разности в политических принципах. Напротив того, правление Екатерины по справедливости считалось одним из самых передовых, прогрессивных, как теперь говорится. Под конец своего царствования Екатерина имела, правда, намерение вооружиться против революции, что наследник ее и сделал. Но если Французская революция должна считаться светильником свободы, то гасить и заливать этот светильник спешила вся Европа, и впереди всех – конституционная и свободная Англия. Участие России в этом общем деле было кратковременно и незначительно. Победам Суворова, впрочем, рукоплескала тогда вся Европа. Войны против Наполеона не были, конечно, да и не считались войнами против сво-

боды. Эти войны окончились, и ежели побежденная Франция тогда же получила свободную форму правления, то была обязана этим единственно императору Александру. Во время войны за независимость многие государства обещали своим подданным конституции, и никто не сдержал своих обещаний, кроме опять-таки императора Александра относительно Польши.

После Венского конгресса, по мысли русского императора, Россия, Австрия и Пруссия заключили так называемый Священный союз, приступить к которому приглашали всех государей Европы. Этот Священный союз составляет главнейшее обвинение против России и выставляется заговором государей против своих народов. Но в этом союзе надо строго отличать идею, первоначальный замысел, которые одни только и принадлежали Александру, от практического выполнения, которое составляет неотъемлемую собственность Меттерниха. В первоначальной же идее, каковы бы ни были ее практические достоинства, конечно, не было ничего утеснительного. Император Александр стоял, бесспорно, за конституционный принцип везде, где, по его мнению, народное развитие допускало его применение. Он был противником и врагом хартий, насильственно вынужденных бунтом и революцией, но зато был другом октроированных конституций[19]; и после недавних опытов, после стольких бедствий, претерпенных Европой, можно ли было думать иначе? Да и без отношения к обстоятельствам, не справедлив ли вообще такой взгляд? Разве добросовестное соглашение, сознательная уступка могут быть хуже насилия и по принципу и по последствиям? Вынудивший силой, если сила остается на его стороне, редко остается доволен вынужденным: можно ли ожидать умеренности от разгоряченных страстей, упоенных гордостью успеха? Если, наоборот, после первой вспышки, первого удачного натиска сила переходит опять на сторону уступившей этому натиску власти, – можно ли ожидать от нее добросовестного выполнения вынужденного? Напротив того, уступка, сделанная в полноте силы, по сознанию ее пользы и справедливости, заключает в себе все залоги долговечности. Что прочнее и добросовестнее исполня-

ется: октроированная ли конституция Сардинии и заменившей ее Италии или вынужденная конституция Франции после 1830 и Пруссии после 1848 года? Если скажут, что и октроированная конституция Франции 1814 и 1815 годов не слишком-то добросовестно выполнялась, то всякому известно, что эта конституция имела лишь форму добровольно данной Бурбонами хартии, в сущности же была с их стороны вынужденной обстоятельствами уступкой; притом на всем их правлении лежала печать чужеземного вмешательства, ненавистная для всякого уважающего себя народа.

На дипломатических конгрессах двадцатых годов наиболее умеренным и либеральным был голос Александра. В этом я сошлюсь на Гервинуса, не слишком-то доброжелательного к России и ко всему русскому. Корнем всех реакционных, ретроградных мер того времени была Австрия и ее правитель Меттерних, который, опутывая всех своими сетями, в том числе и Россию, заставил последнюю отказаться от ее естественной и национальной политики помогать грекам и вообще турецким христианам против их угнетателей, – отказаться вопреки всем ее преданиям, всем ее интересам, всем сочувствиям ее государя и ее народа. Россия была также жертвой Меттерниховой политики; почему же на нее, а не на Австрию, которая всему была виновницей и в пользу которой все это делалось, взваливается вся тяжесть вины? Сама Англия не подчинилась ли тогда Меттерниховой политике? Разве русские войска усмиряли восстание в Неаполе и Испании и разве эти восстания и введенный ими на короткое время порядок вещей были такими светлыми явлениями, что стоит о них жалеть? Русские ли наущения были причиной всех утеснений, которые терпела немецкая печать, немецкие университеты и вообще стремления немецкого юношества? Не сами ли германские правительства и во главе их Австрия должны почитаться виновниками всех этих мер; не для них ли исключительно были они полезны? Или, может быть, все эти немецкие либеральные стремления имели такую силу, что без надежды на поддержку России германские правительства не дерзнули бы им противостоять? Но разве она

помешала им осуществиться там, где они имели какое-нибудь действительное значение, – помешала Франции или даже маленькой Бельгии дать себе ту форму правления, которой они сами захотели? Помешала ли Россия чему-нибудь даже в самой Германии в 1848 году, да и в 1830 году? Не собственное ли бессилие хотят оправдать, взваливая неудачу на давление, оказываемое будто бы мрачным абсолютизмом Севера?

Лучшим доказательством, впрочем, того, что не действительная какая-нибудь вина, не какое-нибудь деятельное вмешательство России ко вреду свободы человечества вообще и Германии в особенности были причиной общей к ней ненависти, служит убийство Коцебу[20]. Важен тут не самый поступок несчастного студента-фанатика, а то общее сочувствие, которое возбудило к себе это политическое преступление не только в революционных кружках, но и в спокойной, здравомыслящей части общества, чему едва ли можно найти другой пример. В чем состояла, однако же, вина Коцебу? Он доносил, говорят, русскому правительству о состоянии общественного мнения Германии (преимущественно же ее университетской молодежи), то есть делал то, чем занимается, между прочим, всякий дипломатический агент или иностранный корреспондент любой газеты. Вина его ни в каком случае не превышала вины многих петербургских корреспондентов иностранных газет, – с теми, однако же, circonstances attenuantes[21] в пользу Коцебу, что недоброжелательство к России и клеветы петербургских корреспондентов для всех открыты и могут возбуждать совершенно основательное негодование, а то, что писал Коцебу, никому не было известно, и вся виновность его основывалась на предположениях. И разве во время Коцебу не было множества лиц, которые сообщали германским правительствам (особливо же австрийскому) о духе и направлении мыслей, господствовавших между германской молодежью, – что, конечно, для нее было гораздо опаснее? Отчего же такой взрыв негодования, откуда такое оскорбление народного чувства, что оно доходит даже до сочувствия убийству, если только убийство совершено во вред России? А ведь то было еще до знаменитых конгрессов;

ничем еще Россия не успела провиниться, в свежей еще памяти было избавление от французского ига. Общественное мнение Германии оказало тут, как и после, не более благодарности, чем 34 года спустя австрийское правительство.

Если уж гневаться за взаимные советы и за влияние, оказываемое правительством на правительство, то, конечно, Россия имела бы столько же (если не более) права негодовать на Австрию, да и на другие немецкие дворы, как и Германия на Россию. Не влиянию ли Меттерниха приписывается перемена образа мыслей, происшедшая в императоре Александре после 1822 года? Не это ли влияние было причиной немилости Каподистрии[22], враждебного отношения, принятого относительно Греции и вообще относительно национальной политики, наконец, не это ли влияние было причиной самой перемены в направлении общественного образования во времена Шишкова и Магницкого? А после (не в угоду ли Австрии) считалась всякая нравственная помощь славянам чуть не за русское государственное преступление? Пусть европейское общественное мнение, если оно хочет быть справедливым, отнесет даже оказанное Россией на германские дела вредное влияние к его настоящему источнику, то есть к германским же правительствам и в особенности к австрийскому. Нет, не действия Коцебу и все подобные (в сущности, весьма невинного свойства) вмешательства русского правительства в европейские дела объясняют ненависть, которую питают в Европе к России, а самое убийство Коцебу и, главное, то сочувствие, которое оно возбудило, только этой ненавистью и объясняются; причина же ее лежит глубже.

Впрочем, тому, что не в антилиберальном вмешательстве России в чужие дела лежат начало и главная причина неприязненных чувств Европы, можно представить доказательство самое строгое, неопровержимое. Когда думают видеть в чем-либо причину данного явления, то очень легко убедиться в справедливости предположения, если только возможно устранить действие предполагаемой причины. Ясно, что предположение ложно, когда явление продолжается и по устранении этой причины. Например, замедление в качании маятника, за-

меченное в экваториальных странах, приписывали удлинению его от теплоты. Придумали снаряд, устраняющий влияние теплоты, но маятник продолжал качаться медленнее, чем на севере. Это показало до очевидности, что дело тут не в теплоте. В вопросах общественных почти никогда нельзя прибегать к опытам, но относительно занимающего нас предмета был сделан опыт в самых широких размерах, и что же оказалось? Вот уже с лишком тринадцать лет, как русское правительство совершенно изменило свою систему, совершило акт такого высокого либерализма, что даже совестно применять к нему это опошленное слово; русское дворянство выказало бескорыстие и великодушие, а массы русского народа – умеренность и незлобие примерные. С тех пор правительство продолжало действовать все в том же духе. Одна либеральная реформа следовала за другой. На заграничные дела оно не оказывает уже никакого давления. Этого мало, оно употребляет свое влияние в пользу всего либерального. И правительство, и общественное мнение сочувствовали делу Северных Штатов искреннее, чем большая часть Европы. Россия из первых признала Итальянское Королевство и даже, как говорят, своим влиянием помешала Германии помогать неправому делу. И что же, переменилась ли хоть на волос Европа в отношении к России? Да, она очень сочувствовала крестьянскому делу, пока надеялась, что оно ввергнет Россию в нескончаемые смуты, – так же точно, как Англия сочувствовала освобождению американских негров. Мы много видели с ее стороны любви и доброжелательства по случаю польских дел. Вешатели, кинжальщики и поджигатели становятся героями, коль скоро их гнусные поступки обращены против России. Защитники национальностей умолкают, коль скоро дело идет о защите русской народности, донельзя угнетаемой в западных губерниях, – так же точно, впрочем, как в деле босняков, болгар, сербов или черногорцев. Великодушнейший и вместе действительнейший способ умиротворения Польши наделением польских крестьян землей находил ли себе беспристрастных ценителей? Или, может быть, английский способ умиротворения Ирландии выселением вследствие

голода предпочтительнее с гуманной точки зрения? Опыт сделан в широких размерах. Медицинская пословица говорит: «Sublata causa tollitur effectus»[23]. Но здесь и по устранении причины действие продолжается: значит, причина не та.

Еще в моде у нас относить все к незнанию Европы, к ее невежеству относительно России. Наша пресса молчит или по крайней мере до недавнего времени молчала, а враги на нас клевещут. Где же бедной Европе узнать истину? Она отуманена, сбита с толку. Risum teneatis, amici, или, по-русски, – курам на смех, друзья мои. Почему же Европа, – которая все знает от санскритского языка до ирокезских наречий, от законов движения сложных систем звезд до строения микроскопических организмов, – не знает одной только России? Разве это какой-нибудь Гейс-Грейц, Шлейц и Лобенштейн[24], не стоящий того, чтобы она обратила на него свое просвещенное внимание? Смешны эти оправдания мудрой как змий Европы – ее незнанием, наивностью и легковерием, точно будто об институтке дело идет. Европа не знает, потому что не хочет знать, или, лучше сказать, знает так, как знать хочет, то есть как соответствует ее предвзятым мнениям, страстям, гордости, ненависти и презрению. Смешны эти ухаживания за иностранцами с целью показать им Русь лицом, а через их посредство просветить и заставить прозреть заблуждающееся и ослепленное общественное мнение Европы. Почему и не удовлетворить любопытству доброго человека; только напрасно соединять с этим разные окулистические мечтания. Нечего снимать бельмо тому, кто имеет очи и не видит; нечего лечить от глухоты того, кто имеет уши и не слышит. Просвещение общественного мнения книгами, журналами, брошюрами и устным словом может быть очень полезно и в этом отношении, как и во всех других, только не для Европы, а для самих нас, русских, которые даже на самих себя привыкли смотреть чужими глазами, для наших единоплеменников. Для Европы это будет напрасный труд: она и сама без нашей помощи узнает, что захочет, и если захочет узнать.

Дело в том, что Европа не признает нас своими. Она видит в России и в славянах вообще нечто ей чуждое, а вместе с

тем такое, что не может служить для нее простым материалом, из которого она могла бы извлекать свои выгоды, как извлекает из Китая, Индии, Африки, большей части Америки и т.д., – материалом, который можно бы формировать и обделывать по образу и подобию своему, как прежде было надеялась, как особливо надеялись немцы, которые, несмотря на препрославленный космополитизм, только от единой спасительной германской цивилизации чают спасения мира. Европа видит поэтому в Руси и в Славянстве не чуждое только, но и враждебное начало. Как ни рыхл и ни мягок оказался верхний, наружный, выветрившийся и обратившийся в глину слой, все же Европа понимает или, точнее сказать, инстинктивно чувствует, что под этой поверхностью лежит крепкое, твердое ядро, которое не растолочь, не размолотить, не растворить, которое, следовательно, нельзя будет себе ассимилировать, претворить в свою кровь и плоть, которое имеет и силу и притязание жить своей независимой, самобытной жизнью. Гордой, и справедливо гордой, своими заслугами Европе трудно – чтобы не сказать невозможно – перенести это. Итак, во что бы то ни стало, не крестом, так пестом, не мытьем, так катаньем, надо не дать этому ядру еще более окрепнуть и разрастись, пустить корни и ветви вглубь и вширь. Уж и теперь не поздно ли, не упущено ли время? Тут ли еще думать о беспристрастии, о справедливости. Для священной цели не все ли средства хороши? Не это ли проповедуют и иезуиты, и мадзинисты, – и старая, и новая Европа? Будет ли Шлезвиг и Голштейн датским или германским, он все-таки останется европейским; произойдет маленькое наклонение в политических весах, стоит ли о том толковать много? Державность Европы от того не потерпит, общественному мнению нечего слишком волноваться, надо быть снисходительным между своими. Склоняются ли весы в пользу Афин или Спарты, не та же ли Греция будет царить? Но как дозволить распространяться влиянию чуждого, враждебного, варварского мира, хотя бы оно распространялось на то, что по всем Божеским и человеческим законам принадлежит этому миру? Не допускать до этого – общее дело всего, что только чувствует себя Европой. Тут можно и турка взять в союзники и даже

вручить ему знамя цивилизации. Вот единственное удовлетворительное объяснение той двойственной меры и весов, которыми отмеривает и отвешивает Европа, когда дело идет о России (и не только о России, но вообще о славянах) – и когда оно идет о других странах и народах. Для этой несправедливости, для этой неприязненности Европы к России, – которым сравнение 1864 с 1854 годом служит только одним из бесчисленных примеров, – сколько бы мы ни искали, мы не найдем причины в тех или других поступках России; вообще не найдем объяснения и ответа, основанного на фактах. Тут даже нет ничего сознательного, в чем бы Европа могла дать себе самой беспристрастный отчет. Причина явления лежит глубже. Она лежит в неизведанных глубинах тех племенных симпатий и антипатий, которые составляют как бы исторический инстинкт народов, ведущий их (помимо, хотя и не против их воли и сознания) к неведомой для них цели; ибо в общих, главных очертаниях история слагается не по произволу человеческому, хотя ему и предоставлено разводить по ним узоры. Что вело древних германцев к непрестанным нападениям на Рим? Говорят, что Юг имеет непреодолимую прелесть для сынов Севера. Не нужно обширных этнографических сведений, чтобы видеть, что это совершенно несправедливо. Ежедневный опыт удостоверяет, что каждый некочующий народ, – а германцы во время войны с Римом были уже оседлы – в первобытное время столько же, по крайней мере, как и впоследствии, имеет почти непреодолимую привязанность к своей Родине, – к своему климату, как бы он ни был суров, к окружающей его природе, как бы она ни была бедна. Юг для народов Севера имеет в себе что-то убийственное. Возьмите для примера хоть поселение русских на Кавказе. К благословенным ли странам Кавказа стремится русский народ, предоставленный своей собственной воле? Нет, для него Сибирь имеет несравненно более привлекательности. Не приманка Юга, а какая-то ненависть влекла народы на гибель Риму. Почему так хорошо уживаются вместе и потом мало-помалу сливаются германские племена с романскими, а славянские с финскими? Германские же со славянскими, напротив того, друг друга отталкивают, антипатичны одно другому; и если где

одно замещает другое, то предварительно истребляет своего предшественника, как сделали немцы с полабскими племенами и с прибалтийскими славянскими поморянами. Это-то бессознательное чувство, этот-то исторический инстинкт и заставляет Европу не любить Россию. Куда девается тут беспристрастие взгляда, – которым не обделена, однако же, и Европа, и особливо Германия, – когда дело идет о чуждых народностях? Все самобытно русское и славянское кажется ей достойным презрения, и искоренение его составляет священнейшую обязанность и истинную задачу цивилизации. «Gemeiner Russe, Bartrusse»[25] суть термины величайшего презрения на языке европейца, и в особенности немца. Русский в глазах их может претендовать на достоинство человека только тогда, когда потерял уже свой национальный облик. Прочтите отзывы путешественников, пользующихся очень большой популярностью за границей, вы увидите в них симпатию к самоедам, корякам, якутам, татарам, к кому угодно, только не к русскому народу; посмотрите, как ведут себя иностранные управляющие с русскими крестьянами; обратите внимание на отношение приезжающих в Россию матросов к артельщикам и вообще биржевым работникам; прочтите статьи о России в европейских газетах, в которых выражаются мнения и страсти просвещенной части публики; наконец, проследите отношение европейских правительств к России. Вы увидите, что во всех этих разнообразных сферах господствует один и тот же дух неприязни, принимающий, смотря по обстоятельствам, форму недоверчивости, злорадства, ненависти или презрения. Явление, касающееся всех сфер жизни – от политических до обыкновенных житейских отношений, – распространенное во всех слоях общества, притом не имеющее никакого фактического основания, может внедриться только в общем инстинктивном сознании той коренной розни, которая лежит в исторических началах и в исторических задачах племен. Одним словом, удовлетворительное объяснение как этой политической несправедливости, так и этой общественной неприязненности можно найти только в том, что Европа признает Россию и Славянство чем-то для себя чуждым, и не только чуждым, но и враждебным. Для беспристраст-

ного наблюдателя это неотвержимый факт. Вопрос только в том, основательны ли, справедливы ли такой отчасти сознательный взгляд и такое отчасти инстинктивно бессознательное чувство, или же составляют они временный предрассудок, недоразумение, которым суждено бесследно исчезнуть. Исследованию этого вопроса намерен я посвятить следующую главу.

ГЛАВА III
Европа ли Россия?

Стократе семь млувиль, тедь уж кричим
К вам розкидани Словове,
Будьме целек, а не дробмове,
Будьме анеб вщецко, анеб ничим[1].
Коллар. Slavg Dcera.

Права или не права Европа в том, что считает нас чем-то для себя чуждым? Чтобы отвечать на этот вопрос, нужно дать себе ясный отчет в том, что такое Европа, дабы видеть, подходит ли под родовое понятие *Европа – Россия* как понятие видовое. Вопрос, по-видимому, странный. Кому же может быть неизвестен ответ? Европа есть одна из пяти частей света, скажет всякий ученик приходского училища. Что же такое часть света, спросим мы далее? На это мне как-то нигде не приходилось читать ответа, потому (вероятно) что понятие это считается столь простым, что давать ему определение может показаться пустым, излишним педантизмом. Так ли это или нет, – нам, во всяком случае, надо доискаться этого определения, иначе не получим ответа на заданный себе вопрос. Части света составляют самое общее географическое деление всей суши на нашей планете и противополагаются делению жидкого элемента на океаны. Искусственно или естественно это деление? Под естественным делением, или естественной системой разумеется такая группировка предметов или явлений, при которой принимаются во внимание все их признаки, взвешивается относительное до-

стоинство этих признаков, и предметы располагаются между прочим так, чтобы входящие в состав какой-либо естественной группы имели между собой более сродства, более сильную степень сходства, чем с предметами других групп. Напротив того, искусственная система довольствуется одним каким-либо или немногими признаками, по чему-нибудь резко заметными, хотя бы и вовсе несущественными. В этой системе может разделяться самое сходное в сущности и соединяться самое разнородное. Рассматривая с этой точки зрения части света, мы сейчас же придем к заключению, что это – группы искусственные. В самом деле, южные полуострова Европы: Испания, Италия, Турция (к югу от Балкан) – имеют несравненно более сходства с Малой Азией, Закавказьем и северным прибрежьем Африки, нежели с остальной Европой. Так же точно Аравия имеет гораздо более сходства с Африкой, чем с Азией; мыс Доброй Надежды более сходен с материком Новой Голландии[2], чем с Центральной или Северной Африкой; полярные страны Азии, Европы и Америки имеют между собой более сходства, чем каждая из них – с лежащим к югу от нее материком, и т.д. Иначе, впрочем, это и быть не могло, потому что при разделении суши на части света не принимались во внимание ни климат, ни естественные произведения, ни другие физические черты, обусловливающие характер страны. Правда, иногда с границами так называемых частей света совпадают и эти характеристические признаки, но только отчасти и, так сказать, случайно. Можно даже сказать, что это сходство в физическом характере никогда не распространяется на целые части света, за единственным разве исключением Новой Голландии, сравнительно небольшой. Итак, деление это – очевидно, искусственное, при установлении которого принимались в расчет собственно только граничные очертания воды и суши; и хотя различие между водой и сушей весьма существенно не только в применении к нуждам человека, но и само по себе, однако же водным пространством разделяются весьма часто такие части суши, которые составляют по всем естественным признакам одно физическое целое, и наоборот, части совершенно разнородные часто спаиваются материковой непрерывностью. Так,

например, Крымский полуостров (окруженный со всех сторон водой, кроме узкого Перекопского перешейка) не представляет, однако, однородного физического целого; спаянный Крымской степью Южный берег составляет нечто гораздо более от нее отличное, чем Крымская степь от прочих степей Южной России (совершенно однородных с первой, несмотря на то, что она почти совершенно отделена от них морем). Ежели бы с начала исторических времен у берегов Азовского и северных берегов Черного моря происходило медленное поднятие почвы, подобное замечаемому у берегов Швеции, то Крым давно бы уже потерял характер полуострова и слился бы с прилегающей к нему степью; различие же между Южным берегом и остальной частью Крыма запечатлено неизгладимыми чертами. То же самое можно во многих случаях сказать о частях света, которые, в сущности, не что иное, как огромные острова или полуострова (точнее бы было сказать, *почти острова,* переводя это слово не с немецкого, а с французского). Это суть понятия более или менее искусственные, и в этом качестве не могут иметь притязаний на какой-либо им исключительно свойственный характер. Когда мы говорим «азиатский тип», то разумеем собственно тип, свойственный среднеазиатской, пересеченной горными хребтами, плоской возвышенности, под который вовсе не подходят ни индийский, ни малоазийский, ни сибирский, ни аравийский, ни китайский типы. Точно так же, говоря о типе африканском, мы имели в виду собственно характер, свойственный Сахарской степи, который никак не распространяется на мыс Доброй Надежды, остров Мадагаскар или побережье Средиземного моря, но к которому, напротив того, весьма хорошо подходит тип Аравии. Собственно говоря, подобные выражения суть метафоры, которыми мы присваиваем целому характер отдельной его части.

Но может ли быть признано за Европой значение части света, даже в смысле искусственного деления, основанного единственно на расчленении моря и суши, на взаимно ограничивающих друг друга очертаниях жидкого и твердого? Америка есть остров; Австралия – остров; Африка – почти остров; Азия вместе с Европой также будет почти островом. С какой

же стати это цельное тело, – этот огромный кусок суши, как и все прочие куски окруженный со всех или почти со всех сторон водой, – разделяют на две части на основании совершенно иного принципа? Положена ли тут природой какая-нибудь граница? Уральский хребет занимает около половины этой границы. Но какие же имеет он особые качества для того, чтобы изо всех хребтов земного шара одному ему присваивать честь служить границей между двумя частями света, – честь, которая во всех прочих случаях признается только за океанами и редко за морями? Хребет этот по вышине своей – один из ничтожнейших, по переходимости – один из удобнейших; в средней его части, около Екатеринбурга, переваливают через него, как через знаменитую Алаунскую плоскую возвышенность[3] и Валдайские горы, спрашивая у ямщика: «Да где же, братец, горы?» Если Урал разделяет две части света, то что же отделять после того Альпам, Кавказу или Гималаям? Ежели Урал обращает Европу в часть света, то почему же не считать за часть света Индию? Ведь и она с двух сторон окружена морем, а с третьей –горами (не Уралу чета); да и всяких физических отличий (от сопредельной части Азии) в Индии гораздо больше, чем в Европе. Но хребет Уральский, по крайней мере, – нечто; далее же честь служить границей двух миров падает на реку Урал, которая уже – совершенное ничто. Узенькая речка, при устье в четверть Невы шириной, с совершенно одинаковыми по ту и по другую сторону берегами. Особенного известно за ней только то, что она очень рыбна; но трудно понять, что общего в рыбности с честью разграничивать две части света. Где нет действительной границы, там можно выбирать их тысячу. Так и тут: обязанность служить границей Азии с Европой возлагалась, вместо Урала, то на Волгу, Сарпу и Маныч[4], то на Волгу с Доном; почему же не Западную Двину и Днепр, как бы желали поляки, или на Вислу и Днестр, как поляки бы не желали? Можно ухитриться и на Обь перенести границу. На это можно сказать только то, что настоящей границы нет; а впрочем, как кому угодно: ни в том, ни в другом, ни в третьем, ни в четвертом, ни в пятом – нет никакого основания, но также нет никому никакой обиды. Говорят, что природа Европы

имеет свой отдельный, даже противоположный азиатскому тип. Да как же части разнородного целого и не иметь своих особенностей? Разве у Индии и у Сибири одинаковый тип? Вот если б Азия имела общий однородный характер, а из всех ее многочисленных членов только одна Европа – другой, от него отличный, тогда бы другое дело; возражение имело бы смысл.

Дело в том, что когда разделение Старого Света на три части входило в употребление, оно имело резкое и определенное значение в том именно смысле больших, разделенных морями, материковых масс, которое составляет единственную характеристическую черту, определяющую понятие о части света. Что лежало к северу от известного древним моря – получило название Европы, что к югу – Африки, что к востоку – Азии. Само слово «Азия» первоначально относилось греками к их первобытной родине – к стране, лежащей у северной подошвы Кавказа, где, по преданиям, был прикован к скале мифический Прометей, мать или жена которого называлась Азия; отсюда это название перенеслось переселенцами на полуостров, известный под именем Малой Азии, а потом распространилось на целую часть света, лежащую к востоку от Средиземного моря*. Когда очертания материков стали хорошо известны, отделение Африки от Европы и Азии действительно подтверди-

* Вот что говорит об этом предмете знаменитый путешественник Дюбуа де Монпере: «Все это доказывает, что была прикавказская страна, носившая название Азии. В самом деле, откуда это древнее и странное разграничение Европы от Азии, отделяемой Танаисом (странное, конечно, но все-таки менее странное, чем разграничение Уралом. – *Н. Д.*) если бы не было к северу от Кавказа страны, называемой Азией».

«Доказано также, что Страбон разумел под Азией особую страну около Синдики (части Таманского полуострова. – *Н. Д.*) – Азию в собственном смысле этого слова, и что всегда в этом именно смысле принимает он это название, описывая берега Меотийского моря (то есть Азовского моря – *Н. Д.*). Любопытно заметить, что по-гречески asij означает ил, который река несет с собой и осаждает, «asioj», «asia» – илистый, топкий, как берега устьев реки, – название, которое так хорошо применимо к устьям Кубани, на которые распространялась Азия в собственном смысле. Из собственной Азии вышли асканазы-гомериты Малой Азии, девкалиониды, дарданиды и проч. Вероятно, что асканазы в своих переселениях принесли с собой название своей родины, которое было таким образом пересажено в Малую Азию и там укоренилось, чтобы распространиться на целую часть света».

лось; разделение же Азии от Европы оказалось несостоятельным; но такова уже сила привычки, таково уважение к издавна утвердившимся понятиям, что, дабы не нарушить их, стали отыскивать разные граничные черты вместо того, чтоб отбросить оказавшееся несостоятельным деление.

Итак, принадлежит ли Россия к Европе? Я уже ответил на этот вопрос. Как угодно, пожалуй – принадлежит, пожалуй – не принадлежит, пожалуй – принадлежит отчасти и притом насколько кому желательно. В сущности же, в рассматриваемом теперь смысле, и Европы вовсе никакой нет, а есть западный полуостров Азии, в начале менее резко от нее отличающийся, чем другие азиатские полуострова, а к оконечности постепенно все более и более дробящийся и расчленяющийся.

Неужели же, однако, громкое слово «Европа» – слово без определенного значения, пустой звук без определенного смысла? О, конечно, нет! Смысл его очень полновесен, – только он не географический, а культурно-исторический, и в вопросе о принадлежности или непринадлежности к Европе география не имеет ни малейшего значения. Что же такое Европа в этом культурно-историческом смысле? Ответ на это – самый определенный и положительный. Европа есть поприще германо-романской цивилизации – ни более ни менее; или, по употребительному метафорическому способу выражения, Европа есть сама германо-романская цивилизация. Оба эти слова – синонимы. Но германо-романская ли только цивилизация совпадает с значением слова *Европа*? Не переводится ли оно точнее «*общечеловеческой цивилизацией*» или, по крайней мере, ее цветом?

Не на той же ли европейской почве возрастали цивилизации греческая и римская? Нет, поприще этих цивилизаций было иное. То был бассейн Средиземного моря – совершенно независимо от того, где лежали страны этой древней цивилизации – к северу ли, к югу или к востоку, на европейском, африканском или азиатском берегу этого моря. Гомер, в котором, как в зеркале, заключалась вся (имевшая впоследствии развиться) цивилизация Греции, родился, говорят, на малоазиатском берегу Эгейского моря. Этот малоазиатский

берег с прилежащими островами был долго главным поприщем эллинской цивилизации. Здесь зародилась не только эпическая поэзия греков, но и лирика, философия (Фалес), скульптура, история (Геродот), медицина (Гиппократ), и отсюда они перешли на противоположный берег моря. Главным центром этой цивилизации сделались, правда, потом Афины; но закончилась она и, так сказать, дала плод свой опять не в европейской стране, а в Александрии, в Египте. Значит, древнеэллинская культура, совершая свое развитие, обошла все три так называемые части света – Азию, Европу и Африку, а не составляла исключительной принадлежности Европы. Не в ней она началась, не в ней и закончилась.

Греки и римляне, противополагая свои образованные страны странам варварским, включали в первое понятие одинаково и европейские,[и] азиатские, и африканские побережья Средиземного моря, а ко второму причисляли весь остальной мир, точно так же как германо-романы противополагают Европу, то есть место своей деятельности, прочим странам. В культурно-историческом смысле то, что для германо-романской цивилизации – Европа, тем для цивилизации греческой и римской был весь бассейн Средиземного моря; и хотя есть страны, которые общи им обеим, несправедливо было бы, однако же, думать, что Европа составляет поприще человеческой цивилизации вообще или, по крайней мере, всей лучшей части ее; она есть только поприще великой германо-романской цивилизации, ее синоним, и только со времени развития этой цивилизации слово «Европа» получило тот смысл и значение, в котором теперь употребляется.

Принадлежит ли в этом смысле Россия к Европе? К сожалению или к удовольствию, к счастью или к несчастью – нет, не принадлежит. Она не питалась ни одним из тех корней, которыми всасывала Европа как благотворные, так и вредоносные соки непосредственно из почвы ею же разрушенного Древнего мира, – не питалась и теми корнями, которые почерпали пищу из глубины германского духа. Не составляла она части возобновленной Римской империи Карла Великого,

которая составляет как бы общий ствол, через разделение которого образовалось все многоветвистое европейское дерево, – не входила в состав той теократической федерации, которая заменила Карлову монархию, – не связывалась в одно общее тело феодально-аристократической сетью, которая (как во время Карла, так и во время своего рыцарского цвета) не имела в себе почти ничего национального, а представляла собой учреждение обще-европейское, в полном смысле этого слова. Затем, когда настал новый век и зачался новый порядок вещей, Россия также не участвовала в борьбе с феодальным насилием, которое привело к обеспечениям той формы гражданской свободы, которую выработала эта борьба; не боролась и с гнетом ложной формы христианства (продуктом лжи, гордости и невежества, величающим себя католичеством) и не имеет нужды в той форме религиозной свободы, которая называется протестантством. Не знала Россия и гнета, а также и воспитательного действия схоластики, и не вырабатывала той свободы мысли, которая создала новую науку; не жила теми идеалами, которые воплотились в германо-романской форме искусства. Одним словом, она не причастна ни европейскому добру, ни европейскому злу; как же может она принадлежать к Европе? Ни истинная скромность, ни истинная гордость не позволяют России считаться Европой. Она не заслужила этой чести, и если хочет заслужить иную, не должна изъявлять претензий на ту, которая ей не принадлежит. Только выскочки, не знающие ни скромности, ни благородной гордости, втираются в круг, который считается ими за высший; понимающие же свое достоинство люди остаются в своем кругу, не считая его (ни в каком случае) для себя унизительным, а стараются его облагородить так, чтобы некому и нечему было завидовать.

Но если Россия, скажут нам, не принадлежит к Европе по праву рождения, она принадлежит к ней по праву усыновления; она усвоила себе (или должна стараться усвоить) то, что выработала Европа; она сделалась (или, по крайней мере, должна сделаться) участницей в ее трудах, в ее триумфах. Кто же ее усыновил? Мы что-то не видим родительских чувств Европы в

ее отношениях к России; но дело не в этом, а в том – возможно ли вообще такое усыновление? Возможно ли, чтоб организм, столько времени питавшийся своими соками, вытягиваемыми своими корнями из своей почвы, присосался сосальцами к другому организму, дал высохнуть своим корням и из самостоятельного растения сделался чужеядным? Если почва тоща, то есть если недостает ей каких-либо необходимых для полного роста составных частей, ее надо удобрить, доставить эти недостающие части, разрыхлить глубокой пахотой те, которые уже в ней есть, чтобы они лучше и легче усвоялись, а не чужеядничать, оставляя высыхать свои корни. Но об этом после. Мы увидим, может быть, насколько и в какой форме возможно это усвоение чужого, а пока пусть будет так; если не по рождению, то по усыновлению Россия сделалась Европой; к дичку привит европейский черенок. Какую пользу приносит прививка, тоже увидим после; но на время признаем превращение. В таком случае, конечно, девизом нашим должно быть: «Europaeus sum et nihil, europaei a me alienum esse puto»[5].

Все европейские интересы должны сделаться и русскими. Надо быть последовательным: надо признать европейские желания, европейские стремления своими желаниями и стремлениями; надо жениться на них, il faut les èpouser, как весьма выразительно говорят французы. Будучи Европой, можно, конечно, в том или другом быть не согласным в отдельности с Германией, Францией, Англией, Италией; но с Европой, то есть с самим собой, надо непременно быть согласным, надо отказаться от всего, что Европа – вся Европа – единодушно считает несогласным с своими видами и интересами, надо быть добросовестным, последовательным принятому на себя званию.

Какую же роль предоставляет нам Европа на всемирно-историческом театре? Быть носителем и распространителем европейской цивилизации на Востоке – вот она, та возвышенная роль, которая досталась нам в удел, – роль, в которой родная Европа будет нам сочувствовать, содействовать своими благословениями, всеми пожеланиями души своей, будет рукоплескать нашим цивилизаторским деяниям к великому

услаждению и умилению наших гуманитарных прогрессистов. С Богом, отправляйтесь на Восток! Но, позвольте, на какой же это Восток? Мы было и думали начать с Турции. Чего же лучше? Там живут наши братья по плоти и по духу, живут в муках и страданиях и ждут избавления; мы подадим им руку помощи, как нам священный долг повелевает. «Куда? Не в свое дело не соваться!» – кричит Европа. Это не ваш Восток, и так уже много развелось всякой славянщины, которая мне не по нутру. Сюда направляется благородный немецкий Drang nach dem Osten[6] по немецкой реке Дунаю. Немцы кое-где умели справиться со славянами; они и здесь получше вашего их объевропеизируют. К тому же Европа, которой так дорог священный принцип национальностей, почла за благо отнять у немцев Италию, бывшую и без них вполне Европой – настоящей, природной, а не усыновленной или привитой какой-нибудь; почла за нужное дозволить вытеснить Австрию из Германии – надо же чем-нибудь и бедных австрийских немцев вкупе с мадьярами потешить: пусть себе европеизируют этот Восток, а вы отправляйтесь дальше. Принялись мы также за Кавказ – тоже ведь Восток. Очень маменька гневаться изволили: не трогайте, кричала, рыцарей, паладинов свободы; вам ли браться за такое благородное племя; ну да на этот раз, слава Богу, не послушали, забыли свое европейское призвание. Ну так в Персии нельзя ли подзаняться разбрасыванием семян цивилизации и европеизма? Немцы, пожалуй, и позволили бы: они так далеко своего «дранга» не думают, кажется, простирать; но ведь дело известное, – «рука руку моет», – из уважения к англичанам нельзя. Индию они уже на себя взяли; что и говорить, отлично дело сделают первого сорта цивилизаторы, на том уже стоят. Нечего их тут по соседству тревожить, отправляйтесь дальше. В Китай, что ли, прикажете? Ни-ни, вовсе незачем туда забираться; чаю надо? – кантонского сколько хотите привезем. Цивилизация, европеизация, как и всякое учительство, не даром же делается; и гонорарии кое-какие получаются. Китай – страна богатая, есть чем заплатить, сами поучим. И успехи, благодаря Бога, старинушка хорошие оказывает – индийский опиум

на славу покуривает; не надо вас здесь. Да где же, Господи, наш-то Восток, который нам на роду написано цивилизировать? Средняя Азия – вот ваше место; «всяк сверчок знай свой шесток». Нам ни с какого боку туда не пробраться, да и пожива плохая. Ну, так там и есть ваша священная историческая миссия – вот что говорит Европа, а за ней и наши европейцы. Вот та великая роль, которую сообразно с интересами Европы [уместно] нам предоставить, и никакой больше: все остальное разобрано теми, которые почище, как приказывает сказать Хлестакову повар в «Ревизоре».

Тысячу лет строиться, обливаясь потом и кровью, и составить государство в восемьдесят миллионов (из коих шестьдесят – одного роду и племени, чему, кроме Китая, мир не представлял и не представляет другого примера) для того, чтобы потчевать европейской цивилизацией пять или шесть миллионов кокандских, бухарских и хивинских оборванцев, да, пожалуй, еще два-три миллиона монгольских кочевников, – ибо таков настоящий смысл громкой фразы о распространении цивилизации в глубь Азиатского материка. Вот то великое назначение, та всемирно-историческая роль, которая предстоит России как носительнице европейского просвещения. Нечего сказать – завидная роль; стоило из-за этого жить, царство строить, государственную тяготу нести, выносить крепостную долю, Петровскую реформу, бироновщину и прочие эксперименты. Уж лучше было бы в виде древлян и полян, вятичей и радимичей по степям и лесам скитаться, пользуясь племенной волей, пока милостью Божией ноги носят. «Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus»[7]. Поистине горой, рождающей мышь, – каким-то громадным историческим плеоназмом[8], чем-то гигантски лишним является наша Россия в качестве носительницы европейской цивилизации.

Зачем с такой узкой точки зрения смотреть на предмет, скажут мне? Под распространением цивилизации и европеизма на Востоке надобно разуметь не только внесение этих благ в среднеазиатские степи, но и усвоение их себе, разлитие их по лицу всей обширной русской земли. Пусть же так думающие

понапрягут несколько свою фантазию и представят себе, что на всем этом обширном пространстве нет могучего русского народа и созданного им царства, а раздолье лесов, вод и степей, по которым бродят только финские звероловы: зыряне, вогуличи, черемисы, мордва, весь, меря да татарские кочевники; и пусть в таком виде открывают эту страну настоящие европейские цивилизаторы (ну, хоть Ченслер и Вилоуби, например). Сердце должно забиться восторгом от такой картины у настоящего европейца. Вместо сынов противления, которым обухом приходилось прививать европеизм (и все еще дело плохо на лад идет), сюда нахлынули бы поселенцы чисто германской крови, без сомнения, под предводительством благороднейшей из самых германских – англо-саксонской расы. Ведь тут бы на просторе завелись восточноевропейские, или западноазиатские, – называйте как хотите, – соединенные штаты. Цивилизация полилась бы волной, и к нашему времени все обстояло бы давным-давно благополучно. Каналов было бы невесть сколько накопано, железных дорог десятки тысяч верст настроено, о телеграфах и говорить нечего; на Волге, что на Миссисипи, не сотни, а тысячи бы пароходов плавало; да на одной ли только Волге? – и Дон был бы сделан, как надо, судоходным, и Днепровские пороги – взорваны, что ли, или прорыты; и какой бы славный Far East[9] открывался в дальней перспективе. А спичей-то, спичей лилось бы, я думаю, в самом маленьком штате (в каком-нибудь на Неве или даже на Москве лежащем Мери- или Бетсилэнде) более, чем на всех теперешних земских и дворянских собраниях, вместе взятых. Общины, ненавистной высокопросвещенному уму, и в помине не было бы и пр. и пр. Несомненно, что общечеловеческая цивилизация, – если только европейская есть действительно единственно возможная цивилизация для всего человечества, – неизмеримо бы выиграла, если бы вместо славянского царства и славянского народа, занимающего теперь Россию, было тут (четыре или три века тому назад) пустопорожнее пространство, по которому изредка бы бродили кое-какие дикари, как в Соединенных Штатах или в Канаде при открытии их европейцами.

Итак, при нашей уступке, что Россия если не прирожденная, то усыновленная Европа, мы приходим к тому заключению, что она – не только гигантски лишний, громадный исторический плеоназм, но даже положительное, весьма трудно преодолимое препятствие к развитию и распространению настоящей общечеловеческой, то есть европейской, или германо-романской, цивилизации. Этого взгляда, собственно, и держится Европа относительно России. Этот взгляд, выраженный здесь только в несколько резкой форме, в сущности, очень распространен и между корифеями нашего общественного мнения и их просвещенными последователями. С такой точки зрения становится понятным (и не только понятным, а в некотором смысле законным и, пожалуй, благородным) сочувствие и стремление ко всему, что клонится к ослаблению русского начала по окраинам России, – к обособлению (даже насильственному) разных краев, в которых кроме русского существуют какие бы то ни было инородческие элементы, к покровительству, к усилению (даже искусственному) этих элементов и к доставлению им привилегированного положения в ущерб русскому. Если Русь в смысле самобытного славянского государства есть препятствие делу европеизма и гуманитарности, и если нельзя притом, к сожалению, обратить ее в tabula rasa[10] для скорейшего развития на ее месте истинной европейской культуры pur sang[11], то что же остается делать, как не ослаблять то народное начало, которое дает силу и крепость этому общественному и политическому организму? Это жертва на священный алтарь Европы и человечества. Не эта ли возвышенная и благородная любовь к человечеству, чуждая всякого народного эгоизма и национальной узости взгляда, возведена в идеал в маркизе Позе[12], этом идеальном создании Шиллера, перед которым мы с детства привыкли благоговеть? Будучи природным испанцем, ведь странствовал же благородный маркиз по Европе, отыскивая врагов своему отечеству, которое считал препятствием для свободы и благоденствия человечества, и даже Солимана уговаривал выслать турецкий флот против Испании. Такая аберрация, такое искажение естественного человеческого чувства на

основании логического вывода, конечно, более извинительно в немецком поэте конца прошедшего столетия, чем в ком-нибудь другом. Ведь он, родившись в каком-нибудь Виртемберге, собственно говоря, не имел Отечества и не приобрел его до тех пор, пока в лице Валленштейна не сознал, что это Отечество – целая Германия. Но и такое Отечество только постигалось мыслью, а не непосредственным чувством. Русскому такое состояние духа должно бы быть менее возможно, но и оно объясняется тем же не находящим себе примирения противоречием между *народным чувством и идеей о возвышенности пожертвования низшим для высшего* и, хотя и в искаженном виде, выказывает черту чисто славянского бескорыстия, так сказать, порок славянской добродетели. Этим объясняется и то, что русский патриотизм проявляется только в критические минуты. Победа односторонней идеи над чувством бывает возможна только при спокойном состоянии духа; но коль скоро что-либо приводит народное чувство в возбужденное состояние, логический вывод теряет перед ним всякую силу, и бывший гуманитарный прогрессист, поклонник [маркиза] Позы, становится на время настоящим патриотом. Такие вспышки патриотизма не могут, конечно, заменить сознательного, находящегося в мире с самим собой чувства народности, и понятным становится, что страны, присоединенные к России после Петра[13], не русеют, несмотря ни на желания правительства достигнуть этого, ни на бесконечно усилившиеся средства его действовать на народ, между тем как в старину все приобретения без всякого насилия, которое не было ни в духе правительства, ни вообще в духе русского народа, быстро обращались в чисто русские области.

Столь же непримиримым с самим собой (более сочувственным, но зато гораздо менее логическим) представляется другой взгляд, получивший такое [широкое] распространение в последнее время. Он признает бесконечное во всем превосходство европейского перед русским и непоколебимо верует в единую спасительную европейскую цивилизацию; всякую мысль о возможности иной цивилизации считает даже нелепым мечтанием, а между тем, однако, отрекается от всех логических по-

следствий такого взгляда; желает внешней силы и крепости без внутреннего содержания, которое ее оправдывало бы, – желает свища с крепкой скорлупой. Здесь, очевидно, народное чувство пересилило логический вывод, и потому-то этот взгляд более сочувствен. Народное чувство, конечно, не имеет нужды ни в каком логическом оправдании; оно, как всякое естественное человеческое чувство, само себя оправдывает и потому всегда сочувственно; но тем не менее жалка доля того народа, который принужден только им довольствоваться, который как бы принужден, если не говорить, так думать: я люблю свое Отечество, но должен сознаться, что проку в нем никакого нет. Под таким внешним политическим патриотизмом кроется горькое сомнение в самом себе, кроется сознание жалкого банкротства. Он как бы говорит себе: я ничего не стою; в меня надобно вложить силу и вдунуть дух извне, с Запада; меня надобно притянуть к нему, насильно в него втиснуть, – авось выйдет что-нибудь вылепленное по той форме, которая одна достойна человечества, которая исчерпывает все его содержание. В нашей литературе с лишком тридцать лет тому назад появилась журнальная статья покойного Чаадаева, которая в свое время наделала много шума. В ней выражалось горькое сожаление о том, что Россия вследствие особенностей своей истории была лишена тех начал (как, например, католицизма), из развития которых Европа сделалась тем, что она есть. Соболезнуя об этом, автор отчаивается в будущности своего Отечества, не видя и не понимая ничего вне европеизма. Статья эта имела на своей стороне огромное преимущество внутренней искренности. В сущности, то же горькое сознание лежит и в основе нашего новейшего, чисто внешнего политического патриотизма; он только менее искренен сам с собой, менее последователен, – надеется собирать там, где не сеял. Если в самом деле европеизм заключает в себе все живое, что только есть в человечестве, – столь же всесторонен, как и оно, в сущности, тождественен с ним; если все, что не подходит под его формулу, – ложь и гниль, предназначенные на ничтожество и погибель, как все неразумное, то не надобно ли скорее покончить со всем, что держится на

иной почве своими корнями? К чему заботиться о скорлупе, не заключающей в себе здорового ядра, – особенно ж к чему стараться о придании большей и большей твердости этой скорлупе? Крепкая внешность сохраняет внутреннее содержание; всякая твердая, плотная, компактная масса труднее подвергается внешнему влиянию, не пропускает животворных лучей света, теплоты и оплодотворяющей влажности. Если внешнее влияние благотворно, то не лучше ли, не сообразнее ли с целью широко открыть ему пути, – расшатать связь, сплачивающую массу, дать простор действовать чуждым, посторонним элементам высшего порядка, вошедшим, по счастью, кое-где в состав этой массы? Не скорее ли проникнется через это и вся масса влиянием этих благодетельных элементов? Не скорее ли, в самом деле, проникнется европеизмом, очеловечится вся Русь, когда ее окраины примут европейский склад, – благо, в них есть уже европейские дрожжи, которые – только не мешайте им – скоро приведут эти окраины в благодетельное брожение. Это брожение не преминет передаться остальной массе и разложить все, что в ней есть варварского, азиатского, восточного; одно чисто западное останется. Конечно, все это произойдет в том только случае, когда в народных организмах возможны такие химические замещения, но в такой возможности ведь не сомневается просвещенный политический патриотизм. Зачем же мешать благодетельному химическому процессу? Corpora non agunt nisi fluida[14]. Если бы, например, политический организм Римской империи сохранил свою крепость, то разве могли бы вошедшие в состав его народы подвергнуться благодетельному влиянию германизма? Нет, как хотите: г. Шедо-Ферроти прав[15]. Справедливо также и название ультрарусской партии, придаваемое такому чисто внешнему политическому патриотизму. Если Русь есть Русь, то, конечно, смешно говорить о русской партии в этой Руси. Но если Русь есть вместе с тем и Европа, то почему же не быть в ней русской, и европейской, и ультрарусской, и ультраевропейской партии? Отчего же, однако, нет чего-либо подобного в других государствах, – отчего не может быть, например, ультрафранцузской партии во Франции? От-

того, что Франция есть вместе с тем и настоящая Европа, что существенного противоречия между интересами Франции и интересами Европы быть не может, как и не может его быть (в нормальном положении вещей, по крайней мере) между целым и его частью. Но в некоторых исключительных обстоятельствах и это, однако же, может случиться. Так, при Наполеоне I была партия, обнимавшая собой почти всех французов, которая желала поработить Европу; так и теперь есть партия, которая желает присоединить Бельгию и вообще левый берег Рейна. Такая партия может быть названа ультрафранцузской, в противоположность партии европейской, не желающей этих захватов. Но Россия, по мнению Европы, не составляет плоти от плоти ее и кости от костей ее. По мнению самих русских европейцев, Россия только еще стремится сделаться Европой, заслужить ее усыновление. Не вправе ли Европа сказать им: «Если вы истинно хотите быть Европой, зачем же вам противодействовать германизации Балтийского края, – вы еще только хотите сделаться европейцами (и я не знаю, как это вам удастся), а вот тут уже есть настоящие природные европейские деятели, – зачем же вы хотите остановить их действия во благо Европы, а следовательно, и человечества? Значит, слова ваши неискренни; вы свои частные русские интересы ставите выше европейских, – вы, значит, ультрарусская партия». То же самое могут сказать и по отношению к западным губерниям, и по многим другим вопросам. Противоположность интересов, которая временно возникает между Европой и Францией, – между Россией и Европой постоянна, по крайней мере, во мнении самой Европы. Не вправе ли после этого Европа в стране, имеющей претензию на принадлежность к Европе, называть ультрарусской ту партию, которая, разделяя эту претензию, не хочет вместе с тем подчинять частных русских интересов интересам общеевропейским? Как примирить со всем этим естественное и святое чувство народности, – не знаю; думаю, что на почве чисто политического патриотизма примирение это вовсе и немыслимо.

Чисто политический патриотизм возможен для Франции, Англии, Италии, но невозможен для России, потому что

Россия и эти страны – единицы неодинакового порядка. Они суть только политические единицы, составляющие части другой высшей культурно-исторической единицы – Европы, к которой Россия не принадлежит по многим и многим причинам, как постараюсь показать дальше. Если же – наперекор истории, наперекор мнению и желанию самой Европы, наперекор внутреннему сознанию и стремлениям своего народа – Россия все-таки захочет причислиться к Европе, то ей, чтобы быть логической и последовательной, ничего другого не остается, как отказаться от самого политического патриотизма, от мысли о крепости, цельности и единстве своего государственного организма, от обрусения своих окраин, ибо эта твердость наружной скорлупы составляет только препятствие к европеизации России. Европа, не признающая (что и естественно) другого культурного начала, кроме германо-романской цивилизации, так и смотрит на это дело. Наши шедо-ферротисты и вообще гуманитарные прогрессисты, великодушничая a la Поза, разделяют этот же взгляд, хотя (к извинению их, должно полагать) и не совсем сознательно; только наши политические патриоты, желая результатов, отвергают (к чести их народного чувства, но не их логики) пути, ведущие к ним самым скорым, легким и верным образом.

Где же искать примирения между русским народным чувством и признаваемыми разумом требованиями человеческого преуспеяния или прогресса? Неужели в славянофильской мечте, в так называемом учении об особой русской или всеславянской цивилизации, над которым все так долго глумились, над которым продолжают глумиться и теперь, хотя уже и не все? Разве Европой не выработано окончательной формы человеческой культуры, которую остается только распространять по лицу земли, чтоб осчастливить все племена и народы? Разве не пройдены все переходные фазисы развития общечеловеческой жизни, и поток всемирно-исторического прогресса, столько раз скрывавшийся в подземные пропасти и низвергавшийся водопадами, не вступил, наконец, в правильное русло, которым остается ему течь до скончания веков, наполняя все народы и

поколения, увлажняя и оплодотворяя все страны земли? Несмотря на всю странность такого взгляда, который в подтверждение свое не может найти решительно ничего аналогического в природе (где все, имеющее начало, имеет и конец, все исчерпывает наконец свое содержание), таков, однако же, исторический догмат, в который верует огромное большинство современного образованного человечества. Что в него верует Европа – в этом нет ничего удивительного, это совершенно сообразно с законами человеческого духа. Только та деятельность плодотворна, то чувство искренне и сильно, которые не сомневаются в самих себе и считают себя окончательными и вечными. Не считает ли всякий истинный художник создаваемые им формы последним словом искусства, далее которого уже не пойдут; не считает ли ученый, вырабатывающий какую-нибудь теорию, что он сказывает последнее слово науки, объясняет всю истину, – что после него, конечно, будут пополняться частности, но данное им направление останется навсегда неизменным? Не считает ли государственный муж, что принятая им система должна на века облагодетельствовать его страну? Не считает ли, наконец, влюбленный, несмотря на знаменитый стих «а вечно любить невозможно» и на опыт огромного большинства людей, что его чувство составляет исключение и продлится в одинаковой силе столько же, сколько сама жизнь? Без этой иллюзии ни истинно великая деятельность, ни искреннее чувство невозможны. Рим считался вечным, несмотря на то, что Мемфис, Вавилон, Тир, Карфаген, Афины уже пали, и потому только казался он римлянам стоящим тех жертв, которые для него приносились. Но и те, которые, собственно, не могут претендовать на честь принадлежать к Европе, так ослеплены блеском ее, что не понимают возможности прогресса вне проложенного ею пути, хотя при сколько-нибудь пристальном взгляде нельзя не видеть, что европейская цивилизация так же одностороння, как и все на свете. Теперь поняли, что политические формы, выработанные одним народом, собственно только для одного этого народа и годятся, но не соглашаются распространить эту мысль и на прочие отправления общественного организма.

Кроме только что упомянутого мной личного чувства, требующего нескончаемости, есть еще причины, по которым мысль о возможности возникновения иной цивилизации, кроме европейской, или германо-романской, кажется более чем странной огромному большинству образованных людей не только в самой Европе, но и между славянами. Причины эти заключаются, по моему мнению, главнейше в неверном понимании самых общих начал хода исторического процесса, – в неясном, так сказать, туманном представлении исторического явления, известного под именем прогресса, в неправильном понятии, которое обыкновенно составляют себе об отношении национального к общечеловеческому, и еще в одном предрассудочном понятии о характере того, что называется Западом и Востоком, – понятии, принимаемом за аксиому и потому не подвергаемом критике. Обращаюсь прежде к этому предрассудку, хотя он далеко не имеет того значения, которое я приписываю первым причинам. Это поможет нам несколько расчистить почву под ногами, ибо весьма часто мы не принимаем какой-либо истины не потому, чтобы вывод ее казался сам по себе сомнительным, а потому, что он противоречит другим нашим убеждениям, этому выводу, собственно, посторонним.

ГЛАВА IV
Цивилизация европейская тождественна ли с общечеловеческой?

Запад и Восток, Европа и Азия представляются нашему уму какими-то противоположностями, полярностями. Запад, Европа составляют полюс прогресса, неустанного усовершенствования, непрерывного движения вперед; Восток, Азия – полюс застоя и коснения, столь ненавистных современному человеку. Это историко-географические аксиомы, в которых никто не сомневается; и всякого русского правоверного последователя современной науки дрожь пробирает при мысли о возможности быть причисленным к сфере застоя и коснения. Ибо если

не Запад, так Восток; не Европа, так Азия – средины тут нет; нет Европо-Азии, Западо-Востока, и если б они и были, то среднее междуумочное положение также невыносимо. Всякая примесь застоя и коснения – уже вред и гибель. Итак, как можно громче заявим, что наш край европейский, европейский, европейский, – что прогресс нам пуще жизни мил, застой пуще смерти противен, – что нет спасения вне прогрессивной, европейской, всечеловеческой цивилизации, – что вне ее даже никакой цивилизации быть не может, потому что вне ее нет прогресса. Утверждать противное – зловредная ересь, обрекающая еретика если не на сожжение, то, во всяком случае, на отлучение от общества мыслящих, на высокомерное от него презрение. И все это – совершеннейший вздор, до того поверхностный, что даже опровергать совестно. Я только что говорил о том, что деление на части света есть деление искусственное, что единственный критериум его составляет противоположность между сушей и морем, не объемлющая собой всех других различий, представляемых физической природой (различий топографических, климатических, ботанических, зоологических, этнографических и проч.), критериум, не обращающий даже на них внимания; что по одному этому уже, следовательно, части света не представляют и не могут представлять свойств, которые одну из них ставили бы в противоположность другой; что выражения: европейский, азиатский, африканский тип суть только метафоры, которыми мы приписываем целому свойства его части. Приведем еще пример. В самой Африке, представляющей на большей части своего пространства наименее удобств для развития человеческих обществ, Египет и вообще побережье Средиземного моря суть страны, в высшей степени способные к культуре. Я говорил также, что Европе даже вовсе не может быть присваиваемо значение части света, – что она только часть Азии, не более отличная от других частей ее, чем эти части между собой, и что она поэтому не может противополагаться своему неоднородному целому без нарушения всех правил логики (точно так же, как Васильевский остров, например, на том основании, что имеет некоторые особенности, не

может противополагаться всему Петербургу, а только – Петербургской или Выборгской стороне, Адмиралтейской части, Коломне и так далее, из которых каждая имеет свои не менее существенные особенности, чем Васильевский остров). Прибавим к этому, что той противоположности, которой не находится в самих странах, нельзя отыскать и в их населении; ибо хотя почти вся Европа заселена арийскими племенами, эти же племена, в немного меньшем числе, заселяют и значительную часть Азии. Так же точно мнимая привилегия прогрессивности вовсе не составляет какой-либо особенности Европы.

Дело в том, что во всех частях света есть страны очень способные, менее способные и вовсе не способные к гражданскому развитию человеческих обществ, что европейский полуостров в этом отношении весьма хорошо наделен, хотя не обделена и остальная Азия, которая *абсолютно* имеет больше годных для культуры стран, чем ее западный полуостров, и только в смысле *относительном* (ко всему пространству) должна ему уступить. Везде же, где только гражданственность и культура могли развиться, они имели тот же прогрессивный характер, как и в Европе. Возьмем самый тип застоя и коснения – Китай, выставляемый как наисильнейший контраст прогрессивной Европе. В этой стране живет около 400 миллионов народа в гражданском благоустройстве. Если бы имелись точные цифры о количестве производительности китайского труда, то перед ними, может быть, побледнели бы цифры английской и американской промышленности и торговли, хотя китайская торговля почти вся внутренняя. Многие отрасли китайской промышленности находятся до сих пор на недосягаемой для европейских мануфактур степени совершенства, как, например, краски, окрашивание тканей, фарфор, многие шелковые материи, лаковые изделия и т.д. Китайское земледелие занимает, бесспорно, первое место на земном шаре. По словам Либиха, это – единственное рациональное земледелие, ибо только оно одно возвращает почве все, что извлекается из нее жатвами, не прибегая притом ко ввозу удобрений из-за границы, что также должно, без сомнения, считаться земледельческим хищением. Китайское садоводство

также едва ли не первое в свете. Китайские садовники делают с растением то, что английские фермеры с породами рогатого скота, то есть дают растению ту форму, которую считают наиболее выгодной или приятной для известной цели, заставляют его приносить изобильные цветы и плоды, не давая увеличиваться его росту и т.д. В разведении садов китайцы достигли замечательных результатов, даже в отношении изящества, к которому этот народ вообще оказывает мало склонности. Ландшафтные сады их составляют, по словам путешественников, верх прелести и разнообразия. Китайская фармация обладает, вероятно, драгоценными веществами, и только гордость или странная невнимательность европейской науки до сих пор еще не [позволили] воспользоваться ими. Искусственное рыбоводство давно известно Китаю и производится в громадных размерах. Едва ли могут другие страны представить, по громадности размеров, что-либо подобное китайским каналам. Во многих отношениях китайская жизнь удобствами не уступает европейской, особливо если сравнить ее не с настоящим временем, а хоть с первой четвертью нынешнего столетия. Порох, книгопечатание, компас, писчая бумага давно уже известны китайцам и, вероятно, даже от них занесены в Европу. Китайцы имеют громадную литературу, своеобразную философию, весьма, правда, несовершенную в космологическом отношении, но представляющую здравую возвышенную для языческого народа систему этики. Когда на древних греков кометы наводили суеверный страх, китайские астрономы, говорит Гумбольдт, наблюдали уже научным образом эти небесные тела. Науки и знания нигде в мире не пользуются таким высоким уважением и влиянием, как в Китае. Неужели же эта высокая степень гражданского, промышленного и в некотором отношении даже научного развития, которое во многом оставляет далеко за собой цивилизацию древних греков и римлян, в ином даже и теперь может служить образцом для европейцев, – вышла во всеоружии из головы первого китайца, как Минерва из головы Юпитера[1], а все остальные четыре или пять тысяч лет своего существования этот народ пережевывал старое и не подвигался вперед? Не

были ли эти успехи, добытые на крайнем востоке Азиатского материка, таким же результатом постепенно накоплявшегося умственного и физического, самостоятельного и своеобразного труда поколений, как и на крайнем его западе – на Европейском полуострове? И что же это такое, как не прогресс? Правда, что прогресс этот давно прекратился, что даже многие прекрасные черты китайской гражданственности (как, например, влияние, предоставляемое науке и знанию) обратились в пустой формализм, что дух жизни отлетел от Китая, что он замирает под тяжестью прожитых им веков. Но разве это не общая судьба всего человечества и разве один только Восток представляет подобные явления? Не в числе ли прогрессивных западных, как говорят, европейских, народов считаются древние греки и римляне; и, однако же, не совершенно ли то же явление, что и Китай, представляла греческая Византийская империя? С лишком тысячу лет прожила она после отделения от своей римской, западной сестры; каким же прогрессом ознаменовалась ее жизнь после последнего великого дела эллинского народа – утверждения православной христианской догматики?

Народу одряхлевшему, отжившему, свое дело сделавшему и которому пришла пора со сцены долой, – ничто не поможет, совершенно независимо от того, где он живет – на Востоке или на Западе. Всему живущему – как отдельному неделимому, так и целым видам, родам, отрядам животных и растений – дается известная только сумма жизни, с истощением которой они должны умереть. Геология и палеонтология показывают, как для разных видов, родов, отрядов живых существ было время зарождения, наивысшего развития, постепенного уменьшения и, наконец, совершенного исчезновения. Как и почему это так делается – никто не знает, хотя и стараются объяснять на разные лады. В сущности же это остарение, одряхление целых видов, родов и даже отрядов не более удивительно, чем смерть отдельных индивидуумов, настоящей причины которой также никто не знает и не понимает. История говорит то же самое о народах: и они нарождаются, достигают различных степеней развития, стареют, дряхлеют, умирают – и умирают не от

внешних только причин. Внешние причины, как и у отдельных лиц, по большей части только ускоряют смерть больного и расслабленного тела, которое в состоянии крепости сил, в пору юношества или мужества, очень хорошо перенесло бы их вредоносное влияние. Внешние причины помогают также разложению после смерти как растительных и животных, так и политических организмов. Но иногда, хотя в редких случаях, потому ли, что вредоносные внешние влияния действуют слабо, или организм успешно им противится, умирает он тем, что называется естественной смертью или старческой немощью. Китай представляет именно такой редкий случай. Тело столь однородно и плотно, так разрослось в тиши и уединении, что скопило огромную силу противодействия, как те старики, про которых говорят, что они чужой век заживают, что смерть их забыла. Живая, свежая деятельность давно заснула в них, но животная жизненность, или, скорее, растительная прозябаемость, осталась. Что же удивительного, что в таких организмах остыл огонь юности, иссякла сила прогресса? И что дает право предполагать, что с ними всегда так было, вопреки очевидному свидетельству результатов трудов, некогда совершенных старцами? В таком же дряхлеющем состоянии находится и теперь Индия, находились долгое время Египет и Византия, прежде чем иноземные вторжения и вообще внешние влияния их доконали и разложили самые составные части их умершего тела. Эти страны находились более или менее на перепутье народов, да и не составляли таких огромных, плотных, компактных масс, как Китай, и потому процесс совершался скорее, и место одряхлевшего занимал новый, свежий народ. Только это – преемственность замещения одних племен другими – придает истории более прогрессивный вид на Западе, чем на Востоке, а не какое-либо особенное свойство духа, которое давало бы западным народам монополию исторического движения. Прогресс, следовательно, не составляет исключительной привилегии Запада или Европы, а застой – исключительного клейма Востока или Азии; тот и другой суть только характеристические признаки того возраста, в котором

находится народ, где бы он ни жил, где бы ни развивалась его гражданственность, к какому бы племени он ни принадлежал. Следовательно, если бы и в самом деле Азия и Европа, Восток и Запад составляли самостоятельные, резко определенные целые, то и тогда принадлежность к Востоку и Азии не могла бы считаться какой-то печатью отвержения.

Вторая и важнейшая причина, по которой отвергается мысль о какой-либо самостоятельной цивилизации вне германо-романских, или европейских, форм культуры, принимаемых за общечеловеческие, выработанные всей предыдущей историей, – заключается, сказал я, в неправильном понимании самых общих начал исторического процесса и в неясном, туманном представлении об историческом явлении, называемом прогрессом.

Степень совершенства, достигнутого какой-либо наукой, степень понимания входящих в круг ее предметов или явлений в точности отражается в том, что называется системой науки. Под системой разумею я здесь вовсе не систему изложения, которая есть не более как мнемоническое средство, дабы лучше запечатлеть в памяти факты науки или яснее представить их уму. Систематика, принимаемая в этом смысле, весьма справедливо не пользуется большим уважением в настоящее время, потому что весьма часто употреблялась во зло, и своими бесконечными делениями и подразделениями часто только затрудняла дело, будучи большей частью остатком схоластического педантизма. Эта система не более как леса научного здания, без которых хотя и нельзя обойтись, но которые должны бы ограничиваться действительно необходимым, дабы не заслонять собой линии самого здания. Я говорю о внутренней системе наук, то есть о расположении, группировке предметов или явлений, принадлежащих к кругу известной науки, сообразно их взаимному сродству и действительным отношениям друг к другу. Поясню это примером. Астрономию, как и всякую науку, можно излагать весьма различно, принимая ту или другую методу, чтобы сделать истины ее легче постижимыми или основательнее усвояемыми уму; но не этот порядок изло-

жения, составляющий внешнюю систему астрономии, имею я в виду, а расположение самих объектов науки, то есть (в настоящем случае) небесных тел, которое, конечно, не может быть произвольно, а должно вполне соответствовать действительно существующим между ними отношениям. Степень совершенства этой системы будет отражать в себе степень совершенства, на которой находится сама наука. Сначала представляли себе, что Солнце, планеты и Луна вертятся около Земли; видоизменяли это представление так, что ближайшие к Солнцу планеты вертятся около Солнца, а уже вслед за ним и около Земли, или же, что таким образом вертятся не одни ближайшие, а все вообще планеты. Первое из этих представлений усложняли еще системой эпициклов. Потом убедились, что и планеты, и Земля вертятся около Солнца, но описываемые ими пути представляли себе концентрическими кругами. Это представление опять изменили и стали представлять себе Солнце в фокусе эллипсисов своеобразной формы для каждой из планет; этим эллипсисам придали, наконец, не простое очертание, а как бы слегка волнообразно–извилистое. Всякое усовершенствование в науке, в способах наблюдения, в физическом объяснении явлений, в методах вычисления, отражалось в астрономической системе. То же самое окажется и во всякой другой науке, так что когда какая-либо наука начнет уяснять себе истинную или, как обыкновенно выражаются, естественную систему входящих в круг ее предметов или явлений, то лишь с этого момента и считают ее достойной названия науки, хотя, собственно говоря, это неосновательно, потому что нельзя ставить определение науки в зависимость от возраста, от ступени развития, на которой она находится. Наука – все наука, как и человек – все человек, дитя ли он или взрослый; лишь бы только она имела предметом своим такой круг явлений или предметов, который имеет действительное, реальное существование, а не есть более или менее произвольное отвлечение.

Развить понятие об естественной системе, показать все значение и всю важность ее выпало на долю естественных наук в тесном смысле этого слова, то есть на долю ботаники

и зоологии. Подавляющая громадность массы предметов, подлежащих их рассмотрению, поневоле привела к необходимости систематизировать их и, следовательно, к тщательнейшему наблюдению их особенностей для отыскания признаков деления. Наблюдения же эти привели мало-помалу к сознанию, что растения и животные представляют собой не хаос разнообразных случайных форм, которые можно было бы так или иначе группировать, чтобы только как-нибудь выпутаться из их лабиринта, а суть выражение глубокого внутреннего плана, как бы воплощение творческой идеи во всем разнообразии, какое только допускалось как внешними условиями, так и внутренней сущностью самой идеи. Оказалось, что все эти формы располагаются по степеням их сродства (то есть по степеням отношения между их сходствами и различиями) на группы определенного порядка, названные родами, семействами, отрядами, классами и, наконец, типами растительного или животного царства. Оказалось также, что и внутреннее устройство и физиологические отправления разнообразятся соответственно этим же группам. При историческом ходе развития естественной системы обнаружилась та общая истина, что все, что дается легко (так сказать, с первого взгляда), не возбуждает достаточно нашего внимания и мыслительной деятельности. Поэтому не изучение животных (наиболее доступные формы которых, как, например, млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, носят в своем наружном виде столь резкий отпечаток внутреннего сродства, что он бросается в глаза) повело к сознательному пониманию требований естественной системы и различению ее от искусственного деления, имеющего значение только как вспомогательное средство для памяти и как облегчение к отысканию названия предмета. Это было делом ботаники. Растительные формы при поверхностном взгляде на них нисколько не обнаруживают своего сродства, часто даже как бы противоречат ему. Кусты малины и крыжовника, по-видимому, более между собой сходны, нежели розан и земляника, хотя устройство их цветов и плодов показывает, что два последних растения принадлежат к группе определенной степени сродства, называемой

семейством, а малина и крыжовник – к совершенно разным семействам. Наоборот, странные наружные формы кактусов ставят их, по-видимому, гораздо дальше от обыкновенных лиственных растений, с которыми они составляют тот же растительный тип, чем, например, папоротники, которые, однако же, принадлежат по своему строению к совершенно другому растительному типу. Эта невозможность группировать растения по их наружному облику заставила глубже вникнуть в более существенные черты их строения и привела к ясному сознанию условий и требований естественной системы. Честь этого сознания и проведение его в ботанике принадлежит знаменитым Жюсье, которые (по словам Кювье) произвели этим совершенный переворот в естествоведении. По утверждении основных начал естественной системы всякое усовершенствование в анатомии, физиологии, эмбриологии необходимо отражалось и в усовершенствовании системы, так что слова Линнея: тот будет великим Аполлоном науки, кто введет в нее вполне естественную систему, – остаются и до сих пор справедливыми, несмотря на увеличившиеся требования от естествознания. Но ежели понятие о естественной системе и было выработано ботаникой и зоологией, оно, без сомнения, не составляет какой-либо особенной их принадлежности, а есть общее достояние всех наук, необходимое условие их совершенствования. Сравнительная филология применила уже систему естественной классификации к выработанным ею результатам; то же, без сомнения, предстоит и другим наукам, по мере их развития и усовершенствования. Как бы частности ни были хорошо исследованы, как бы хорошо ни были разъяснены отдельные вопросы науки, но пока факты не сопоставлены сообразно их естественному сродству, не приведены в естественную систему, они не дадут правильных выводов, не выкажут своего настоящего полного смысла. Поясню и это примером.

Как только ложное понятие о центральности Земли было заменено естественной системой Коперника, то есть каждое небесное тело поставлено и в умах астрономов на подобающее ему место, сейчас же открылась возможность определять

относительное расстояние этих тел от Солнца; сравнение же расстояния от Солнца той же планеты в различных точках ее орбиты, сравнение скорости ее движения при оказавшихся различных расстояниях и сравнение времен обращения с расстояниями разных планет – имели своим результатом три мироправительных Кеплеровых закона, которых никакие усилия ума не могли бы вылущить из массы фактов, хотя бы они имелись уже в достаточном количестве и в достаточной для этой цели точности, если бы они не были поставлены каждый на истинное свое место при помощи Коперниковой системы. Подобные же результаты имело применение естественной системы к изучению животных и растительных организмов. Без нее не были бы возможны никакие обобщения ни в анатомии, ни в физиологии. Каждый добытый в этих отраслях знания факт оставался бы уединенным, бесплодным и только увеличивал бы громадную массу собранного материала; самые же науки сравнительной анатомии и физиологии были бы невозможны. Итак, если мы вправе считать систему науки за сокращение самой науки, – сокращение, в котором выражается существенное ее содержание и отражается степень ее совершенства, – если от этой системы зависит тот свет, который освещает все ее факты, то посмотрим, насколько удовлетворяет система истории основным требованиям естественной системы. Поименую сначала эти требования, которые, как само собой разумеется, должны быть и требованиями здравой логики.

1. Принцип деления должен обнимать собой всю сферу делимого, входя в нее как наисущественнейший признак.

2. Все предметы или явления одной группы должны иметь между собой большую степень сходства или сродства, чем с явлениями или с предметами, отнесенными к другой группе.

3. Группы должны быть однородны, то есть степень сродства, соединяющая их членов, должна быть одинакова в одноименных группах.

Два последних требования сами по себе ясны, но первое нуждается, может быть, в некотором разъяснении. Если принять за принцип деления любой первый попавшийся на глаза

признак и, охарактеризовав им одну группу, характеризовать все остальное отсутствием этого признака, то при такой методе каждый признак может быть, конечно, назван принципом, обнимающим всю сферу деления. Но такой отрицательной характеристики ни естественная система, ни даже простой здравый смысл не допускают. Например, можно разделить животных на имеющих четыре ноги и не имеющих четырех ног. Первая группа четвероногих еще годилась бы кое-как, но вторая включала бы человека и петуха, у которых по две ноги, жука, у которого их шесть, рака, у которого их десять, и устрицу, у которой ни одной нет, – в одну категорию существ. В таком смехотворном делении были бы две ошибки: первая, что принципом деления принят признак не довольно существенный, а вторая, что одна из групп не охарактеризована ничем положительным, что у нее ничего нет общего, кроме известного недостатка. Одной этой второй ошибки достаточно, чтобы сделать систему негодной. Так, например, имение внутреннего скелета – признак весьма существенный и определяет собой весьма естественную группу животного царства; но все животные, не имеющие скелета, столь разнородны, что отсутствие у них скелета не дает никакого права составлять из них одну самостоятельную группу в противоположность первой. Так же и в растительном царстве: группа тайнобрачных, характеризуемая только отрицательным признаком неимения настоящего цветка, соединяет в себе и мясистый гриб, и развесистый папоротник, и нежный мох – растения совершенно разнородные и по наружному виду, и по внутреннему строению; и потому в здравой классификации эта группа не может быть допускаема. Ни скелет в животных, ни цветок в растениях, как они ни важны и ни существенны, не могут, однако же, считаться обнимающими собой всю сферу делимого – на основании их присутствия или отсутствия – животного и растительного царства.

Перехожу теперь к оценке общепринятой системы в науке всемирной истории.

Самая общая группировка всех исторических явлений и фактов состоит в распределении их на периоды Древней,

Средней и Новой истории. Насколько же удовлетворяет то деление вышеизложенным требованиям естественной системы? Основанием отделения Древней истории от Средней и Новой принято падение Западной Римской империи[2]. В новейших исторических сочинениях, конечно, дело не представляется уж так, чтобы с 476 годом на исторической сцене упал занавес, вслед за чем имеет начаться новая пьеса; но самая сущность мало выигрывает от этого улучшения в изложении. Как бы медленно и постепенно занавес ни спускался и как бы, по мере этого спускания, ни вплеталась новая пьеса своей интригой в старую, вопрос в том: достаточно ли велик занавес, чтобы перегородить собой всю сцену, и можно ли найти какой-либо другой, который был бы для этого достаточно велик? Какое дело Китаю, какое дело Индии до падения Западной Римской империи? Даже для соседних заевфратских стран – не гораздо ли важнее было падение Парфянского и возникновение Сасанидского царства, чем падение Западной Римской империи? Пала ли бы или не пала эта Империя, – не одинаково ли бы произошел имевший такие огромные последствия религиозный переворот в Аравии?[3] Главное же – почему падение этой Империи соединило в одну группу явлений (противополагаемую другой группе) судьбы Древнего Египта и Греции, уже и без того отживших, с судьбами Индии и Китая, продолжавших себе жить, как если бы Рима вовсе и на свете не было? Одним словом, составляет ли падение Западной Римской империи (как оно ни многозначительно само по себе) такой принцип деления, который обнимал бы собой всю сферу делимого? Ответ будет по необходимости отрицательный. Не менее очевидно, что это происходит не оттого, что принцип был дурно выбран (выбран был наивозможно лучший), но оттого, что вообще нет такого события, которое могло бы разделить судьбу всего человечества на какие бы то ни было отделы; ибо до сих пор, собственно говоря, не было ни одного одновременного общечеловеческого события, да, вероятно, никогда и не будет. Даже само христианство – явление, имевшее до сих пор самое огромное влияние на судьбы человечества и которое должно со

временем обнять его вполне, становится исторической гранью судеб каждого народа в различное время. Если принять христианство за главную историческую грань, то история Рима, имеющая своим предметом жизнь одного и того же народа, была бы расколота на две части, между тем как вторая есть очевидно дальнейшее развитие первой, – ее результат, который не мог даже быть существенным образом изменен внесением в римскую жизнь христианской идеи, уже не могшей возбудить изжившиеся начала ее. Итак, деление истории на Древнюю (с одной стороны) и Среднюю и Новую (с другой стороны) точно так же не удовлетворяет первому требованию естественной системы, как деление растений на явнобрачные и тайнобрачные или животных на позвоночных и беспозвоночных, – совершенно независимо от того, какие бы события мы ни приняли за исторические грани. И действительно, Древняя история есть настоящее линнеевское тайнобрачие, куда (подобно тому, как гриб соединен с папоротником, потому что они цветов не имеют) вкомканы греки с египтянами и китайцами потому только, что жили до падения Западной Римской империи.

Не лучше выполнено и второе требование, чтобы явления одной группы имели между собой более сродства, чем с явлениями, отнесенными к другой группе. Неужели в самом деле история Греции и Рима имеет более аналогии и связи с историей Египта и даже с историей Индии и Китая, чем с историей новейшей Европы? Весьма позволительно в этом усомниться. Но вся неверность, вся уродливость системы всемирной истории открывается самым разительным образом по отношению к третьему требованию: чтобы степень сродства была одинакова в одноименных группах, то есть в группах того же порядка. Между тем как в группе Древней истории соединены Египет, Индия, Китай, Вавилон и Ассирия, Иран, Греция, Рим, которые все проходили через различные ступени развития, мы видим, что ступени развития одного и того же племени германо-романского отнесены в различные группы, – в так называемые Среднюю и Новую истории, которые, очевидно, представляют одну и ту же группу явлений, ибо Новая история есть только

или развитие заложенного в Средние века, или его отрицание и отвержение, совершаемое в той же самой среде, так что много было исторических деятелей, которые, начав свою деятельность в Средней истории, заканчивали ее в Новой. Между тем как не только Катон и император Константин, Перикл и Феодосий Великий, но даже император Фоги, фараон Рамзес и царь Соломон соединены в одну группу с Эпаминондом и Гракхами, мы видим, что какой-нибудь Рудольф Габсбургский с императором Максимилианом, Филипп Красивый с Людовиком XI и Ришелье, и даже султан Баязид с султаном Солиманом, которые делали одно и то же дело – тем же плугом ту же борозду проводили, – разнесены в разные века истории, так сказать, в разные возрасты человечества. Не совершенно ли это то же самое, что соединять ворону с устрицей, потому что ни у той, ни у другой четырех ног нет?

Поводом, или ближайшей причиной к такой ни с чем не сообразной группировке явлений была, очевидно, ошибка перспективы. Различия, замечаемые в характере событий Средних и Новых веков, должны были показаться столь важными и существенными для историков, к которым они были ближе (и по времени, и потому, что совершались в среде того же племени, к которому принадлежали эти историки), что все остальное человечество и все предшествовавшие века представлялись им как бы на заднем плане ландшафта, где все отдельные черты сглаживаются и он служит только фоном для первых планов картины. Но не кажущееся и видимость, а сущность и действительность составляют дело науки. Этот перспективный взгляд на историю произвел ту ошибку, что вся совокупность фазисов совершенно своеобразного развития нескольких одновременно и даже последовательно живших племен, названная Древней историей, была поставлена наряду, на одну ступень с каждым из двух фазисов развития одного только племени, как бы третий первоначальный фазис развития этого племени. Короче сказать, судьбы Европы, или германо-романского племени, были отождествлены с судьбами всего человечества. Немудрено, что из этого нарушения правил естественной системы вышло совер-

шенное искажение пропорций исторического здания, что линии его потеряли всякую соразмерность и гармонию.

Собственно говоря, и Рим и Греция, и Индия и Египет, и все исторические племена имели свою Древнюю, свою Среднюю и свою Новую историю, то есть, как все органическое, имели свои фазисы развития, хотя, конечно, нет никакой надобности, чтоб их насчитывалось непременно три – не более не менее. Как в развитии человека можно различать или три возраста (несовершеннолетие, совершеннолетие и старость – деление, принимаемое, например, для некоторых гражданских целей), или четыре (детство, юность, возмужалость, старость), или даже семь (младенчество, отрочество, юность, молодость, или первая пора зрелости, возмужалость, старость и дряхлость), так же точно можно отличать и различное число периодов развития в жизни исторических племен, что будет зависеть отчасти от взгляда историка, отчасти же от самого характера их развития, могущего подвергаться более или менее частным переменам. Так и история Европы имеет настоящую, свою собственную, не основанную на перспективном обмане, Древнюю историю во временах, предшествовавших Карлу Великому, когда выделялись и образовывались из нестройного хаоса, последовавшего за переселением народов, новые народности и государства, представлявшие пока еще только зародыш тех начал, разработка и развитие которых составит главное содержание Средних, отрицание же и отвержение – главное содержание Новых веков.

Может показаться, что такая перспективная ошибка не имеет существенной важности и что для исправления ее стоит только несколько изменить границы между великими группами исторических явлений – соединить, например, историю древних народов Востока в одну группу под именем Древней или Древнейшей истории, отделить от нее в особую группу историю Греции и Рима, назвав ее средней историей, а судьбы Европы соединить в одно целое под именем Новой истории. Конечно, такое деление было бы значительно менее уродливо; но, не говоря уже о том, что Древняя история все еще представляла бы странное смешение, – что за отсутствием настоя-

щих общечеловеческих событий (в полном смысле этого слова) первое требование естественной системы – чтоб принцип деления обнимал всю сферу делимого – все-таки оставалось бы неудовлетворенным; главный, коренной недостаток разбираемой здесь системы истории нисколько бы не устранился. Перспективный обман составляет только ближайшую причину или только повод, заставивший прийти к неверной группировке, а следовательно, и к неверному пониманию исторических явлений. Самая же неверность этой группировки, этого неверного понимания, к которому перспективная ошибка только привела, заключается в совершенно ином, несравненно более важном и существенном.

Обращаюсь за сравнением опять к наукам, в которых понятие естественной системы получило самое широкое, самое полное развитие и применение; тем более, что в ботанике и в зоологии также своего рода перспективный обман приводил к подобной же ошибке и долгое время препятствовал усовершенствованию системы. Перспективный обман зависел здесь от того, что высшие растения и животные несравненно более поражают внимание наблюдателя и (что касается животных, по крайней мере) могут считаться более к нему близкими, подходя по своей организации ближе к человеку. Все так называемые тайнобрачные растения вместе с низшими животными, известными прежде под именем червей, рассматривались как бы какой-то прибавок, appendix, к явно цветным растениям и позвоночным животным, как бы не стоящий большего внимания пьедестал к тому, что составляет собственно здание ботаники и зоологии. Мы видели, что сознательная естественная система началась собственно в ботанике. Группы растений той степени сродства, которую принято называть семействами, были уже довольно хорошо и верно очерчены младшим Жюсье; но расположение самих семейств оставалось, однако же (и затем), совершенно искусственным, – главнейше от того, что тогда представляли себе формы растительного царства расположенными в виде лестницы постепенного развития и совершенствования, отыскивали какой-либо один или немногие признаки, которые

служили бы мерилом этого совершенства, и, сообразно его изменениям, располагали семейства в линейном порядке, подрывая этим основное начало естественной системы, состоящее в возможно всесторонних изучениях и оценке совокупности признаков. Начатое ботаникой довершила зоология, когда Кювье, основываясь на изучении низших животных, гениальным взглядом отличил так названные им «типы» организации. Эти типы не суть ступени развития в лестнице постепенного совершенствования существ (ступени, так сказать, иерархически подчиненные одна другой), а совершенно различные планы, в которых своеобразными путями достигается доступное для этих существ разнообразие и совершенство форм, – планы, собственно говоря, не имеющие общего знаменателя, через подведение под который можно бы было проводить между существами (разных типов) сравнения для определения степени их совершенства. Это, собственно говоря, величины несоизмеримые. Чтобы перейти к кругу предметов более общеизвестных и уяснить значение этих типов организации сравнением, скажем, что они соответствуют не частям какого-либо здания, построенного в одном стиле (цоколю, колоннаде, архитраву, круглой башне, куполу, главе какого-нибудь храма), а совершенно разным архитектурным стилям: готическому, греческому, египетскому, византийскому и т.д. Хотя эти стили и не все способны к достижению одинаковой степени совершенства, и хотя есть между ними такие, которые соответствуют младенческому состоянию искусства, нельзя, однако же, про них сказать, чтоб они служили ступенями в развитии архитектуры, и расположить их в такой ряд, в котором всякий последующий член был бы совершеннее предыдущего и составлял его развитие и усовершенствование. Между архитектурными стилями есть и такие, про которые можно только сказать, что каждый в своем роде прекрасен и все они выражают собой способность искусства не только совершенствоваться последовательными ступенями развития, но и разнообразиться, принимая различные типы прекрасного. Так же точно, если между типами животных есть абсолютно низшие, каковы первообразные (инфузории, губки) и лучистые

(кораллы, медузы, морские звезды), и есть абсолютно высшие, каковы позвоночные (млекопитающие, птицы, рыбы), то есть и такие, как моллюски (раковины) и членистые (насекомые, раки, кольчатые черви), про которых трудно сказать, которые из них представляют высшую ступень организации. Одна сторона организма лучше развита в одних, а другая – в других. Это понятие о типах организации было потом распространено и на растения; и вообще, без различения групп, определяемых степенью развития, усовершенствования организации, от групп, определяемых особенностью плана, типом развития, – естественная система невозможна ни в зоологии, ни в ботанике.

Без подобного же различения – степеней развития от типов развития – невозможна и естественная группировка исторических явлений. Отсутствие этого различения и составляет тот коренной недостаток исторической системы, о котором только что было говорено. Деление истории на Древнюю, Среднюю и Новую, хотя бы и с прибавлением Древнейшей и Новейшей, или вообще деление по степеням развития не исчерпывает всего богатого содержания ее. Формы исторической жизни человечества как формы растительного и животного мира, как формы человеческого искусства (стили архитектуры, школы живописи), как формы языков (односложные, приставочные, сгибающиеся), как проявление самого духа, стремящегося осуществить типы добра, истины и красоты (которые вполне самостоятельны и не могут же почитаться один развитием другого), не только изменяются и совершенствуются повозрастно, но еще и разнообразятся по культурно-историческим типам. Поэтому, собственно говоря, только внутри одного и того же типа, или, как говорится, цивилизации, и можно отличать те формы исторического движения, которые обозначаются словами: Древняя, Средняя и Новая история. Это деление есть только подчинение; главное же должно состоять в отличении культурно-исторических типов, так сказать, самостоятельных, своеобразных планов религиозного, социального, бытового, промышленного, политического, научного, художественного – одним словом, исторического развития. В самом деле, при великом влиянии Рима на

образовавшиеся на развалинах его романо-германские и чисто германские государства, разве история Европы есть дальнейшее развитие начал исчезнувшего римского мира? К какой области только что перечисленных категорий исторических явлений ни обратитесь, везде встретите другие начала. Христианская религия принимает папистский характер, и хотя римский епископ и прежде носил название папы, но папство, как мы теперь его понимаем, образовалось лишь в романо-германское время, и для этого должно было совершенно уклониться от своего первоначального значения и смысла. Отношения между общественными классами совершенно изменились, ибо общество построилось на началах феодализма, который не находит себе ничего соответственного в Древнем мире. Нравы, обычаи, одежда, образ жизни, общественные и частные увеселения – становятся совершенно иными, чем в римское время. Хотя через триста лет после падения Западной Римской империи она восстанавливается в форме Карловой монархии, но новый римский император, несмотря на то, что имелось в виду создать его по образу и подобию древнего, получает на деле совершенно иной характер – характер феодального сюзерена, которому, в светском отношении, должны так же точно подчиняться все главы нового общества, как в духовном отношении – папе. Но и этот идеал (долженствовавший, по католическому понятию, составлять на земле отражение царства небесного) никогда, впрочем, после Карла не осуществлялся, и германские императоры, несмотря на все свои притязания, были, в сущности, такими же феодальными монархами, как и короли французские или английские, и скоро стали даже уступать им в могуществе. Наука, в течение нескольких веков постепенно замиравшая, принимает форму схоластики, которую нельзя же считать продолжением ни древней философии, ни древнего богословского мышления, как оно проявлялось в великих отцах Вселенской церкви. Потом европейская наука переходит в положительное исследование природы, которому Древний мир почти не представляет образцов. Большая часть искусств, именно архитектура, музыка и поэзия, принимают совершенно отличный характер, нежели в

древности; живопись в Средние века преследует также совершенно самобытные цели, отличается идеальным характером и чересчур даже пренебрегает красотой формы, – ежели же потом и старается усвоить себе древнее совершенство формы, то все же мы не можем даже судить, насколько она продолжает или не продолжает направление древней живописи, от которого до нас почти ничего не дошло. Одна только скульптура имеет подражательный характер и тщится идти по тому же пути, по которому шли и древние; но зато именно это искусство не только не подвинулось вперед, не создало ничего нового, но даже несомненно отстало от своих первообразов. Во всех отношениях основы римской жизни завершили круг своего развития, дали все результаты, к которым были способны, и наконец изжились – развиваться далее было нечему. Пришлось идти вовсе не оттуда, где остановился Рим – по своему пути он дошел уже до предела, его же не прейдеши; и, чтобы было куда идти, надо было начать с новой точки отправления и идти в другую сторону, в которой, как оказалось, открытое пространство было обширнее; но и оно, разумеется, не бесконечно, и этому шествию будет предел, его же не прейдеши. Так всегда было, так всегда и будет. Кому суждено будет вновь идти, тот также должен будет отправляться с иной точки и идти в другую сторону. Прогресс состоит не в том, чтобы все шли в одном направлении, а в том, чтобы все поле, составляющее поприще исторической деятельности человечества, исходить в разных направлениях, ибо доселе он таким именно образом проявлялся. Но об этом после.

Такое подчинение в исторической системе степеней развития типам развития имеет еще то преимущество, что избавляет от необходимости прибегать к помощи ни на чем не основанных гипотез о той точке пути, на которой в тот или в другой момент находилось человечество. Рассматривая историю отдельного культурного типа, если цикл его развития вполне принадлежит прошедшему, мы точно и безошибочно можем определить возраст этого развития, – можем сказать: здесь оканчивается его детство, его юность, его зрелый возраст, здесь начинается его старость, здесь его дряхлость, или, что то же самое, разделить

его историю на Древнейшую, Древнюю, Среднюю, Новую, Новейшую и т.п. Мы можем сделать это с некоторым вероятием, при помощи аналогии, даже и для таких культурных типов, которые еще не окончили своего поприща. Но что можно сказать о ходе развития человечества вообще и как определить возраст всемирной истории? На каком основании отнести жизнь таких-то народов, такую-то группу исторических явлений – к Древней, Средней или Новой истории, то есть к детству, юношеству, возмужалости или старости человечества? Не обращаются ли термины: Древняя, Средняя и Новая история (хотя бы и правильнее употребленные, чем это теперь делается) – в слова без значения и смысла, если их применять не к истории отдельных цивилизаций, а к истории всемирной? В этом отношении историки находятся в том же положении, как и астрономы. Эти последние могут определить со всей желаемой точностью орбиты планет, которые во всех точках подлежат их исследованиям, – могут даже приблизительно определять пути комет, которые подлежат их исследованиям только в некоторой их части; но что могут они сказать о движении всей Солнечной системы, кроме того разве, что и она движется, и кроме некоторых догадок о направлении этого движения? Итак, естественная система истории должна заключаться в различении культурно-исторических типов развития как главного основания ее делений от степеней развития, по которым только эти типы (а не совокупность исторических явлений) могут подразделяться.

Отыскание и перечисление этих типов не представляет никакого затруднения, так как они общеизвестны. За ними не признавалось только их первостепенного значения, которое, вопреки правилам естественной системы и даже просто здравого смысла, подчинялось произвольному и, как мы видели, совершенно нерациональному делению по степеням развития. Эти культурно-исторические типы, или самобытные цивилизации, расположенные в хронологическом порядке, суть:

1) египетский, 2) китайский, 3) ассирийско-вавилоно-финикийский, халдейский, или древнесемитический, 4) индийский, 5) иранский, 6) еврейский, 7) греческий, 8) римский, 9) ново-

семитический, или аравийский, и 10) германо-романский, или европейский. К ним можно еще, пожалуй, причислить два американские типа – мексиканский и перуанский, погибшие насильственной смертью и не успевшие совершить своего развития. Только народы, составлявшие эти культурно-исторические типы, были положительными деятелями в истории человечества; каждый развивал самостоятельным путем начало, заключавшееся как в особенностях его духовной природы, так и в особенных внешних условиях жизни, в которые они были поставлены, и этим вносил свой вклад в общую сокровищницу. Между ними должно отличать типы уединенные от типов, или цивилизаций, преемственных, плоды деятельности которых передавались от одного другому, как материалы для питания, или как удобрение (то есть обогащение разными усвояемыми, ассимилируемыми веществами) той почвы, на которой должен был развиваться последующий тип. Таковыми преемственными типами были: египетский, ассирийско-вавилоно-финикийский, греческий, римский, еврейский и германо-романский, или европейский. Так как ни один из культурно-исторических типов не одарен привилегией бесконечного прогресса и так как каждый народ изживается, то понятно, что результаты, достигнутые последовательными трудами этих пяти или шести цивилизаций, своевременно сменявших одна другую и получивших к тому же сверхъестественный дар христианства, должны были далеко превзойти совершенно уединенные цивилизации, каковы китайская и индийская, – хотя бы эти последние и одни равнялись всем им продолжительностью жизни. Вот, кажется мне, самое простое и естественное объяснение западного прогресса и восточного застоя. Однако же и эти уединенные культурно-исторические типы развивали такие стороны жизни, которые не были в той же мере свойственны их более счастливым соперникам, и тем содействовали многосторонности проявлений человеческого духа, – в чем, собственно, и заключается прогресс. Не говоря о тех открытиях и изобретениях, которые (как, например, десятичная система цифирных знаков, компас, шелководство, а может быть, порох и гравюра) перенесены в Европу с Востока,

через посредство арабов, – разве индийская поэзия и архитектура не должны считаться обогащением общечеловеческого искусства? Гумбольдт замечает во второй части «Космоса», что открытия индийских ученых в алгебре могли бы составить обогащение европейской науки, если бы сделались известны несколько ранее. Но в другой области знания европейская наука действительно много обязана индийской, именно – понятие о корнях, играющее столь важную роль в лингвистике, было выработано индийскими грамматиками. Китайское земледелие составляет до сих пор высочайшую степень, до которой достигало это полезнейшее из искусств.

Но и эти культурно-исторические типы, которые мы назвали положительными деятелями в истории человечества, не исчерпывают еще всего круга ее явлений. Как в Солнечной системе наряду с планетами есть еще и кометы, появляющиеся время от времени и потом на многие века исчезающие в безднах пространства, и есть космическая материя, обнаруживающаяся нам в виде падучих звезд, аэролитов и зодиакального света; так и в мире человечества кроме положительно-деятельных культурных типов или самобытных цивилизаций есть еще временно появляющиеся феномены, смущающие современников, как гунны, монголы, турки, которые, совершив свой разрушительный подвиг, помогши испустить дух борющимся со смертью цивилизациям и разнеся их остатки, скрываются в прежнее ничтожество. Назовем их отрицательными деятелями человечества. Иногда, впрочем, и зиждительная, и разрушительная роль достается тому же племени, как это было с германцами и аравитянами. Наконец, есть племена, которым (потому ли, что самобытность их прекращается в чрезвычайно ранний период их развития, или по другим причинам) не суждено ни зиждительного, ни разрушительного величия – ни положительной, ни отрицательной исторической роли. Они составляют лишь этнографический материал, то есть как бы неорганическое вещество, входящее в состав исторических организмов – культурно-исторических типов; они, без сомнения, увеличивают собой разнообразие и богатство их, но сами не

достигают до исторической индивидуальности. Таковы племена финские и многие другие, имеющие еще меньше значения.

Иногда нисходят на эту ступень этнографического материала умершие и разложившиеся культурно-исторические типы в ожидании, пока новый формационный (образовательный) принцип опять не соединит их в смеси с другими элементами в новый исторический организм, не воззовет к самостоятельной исторической жизни в форме нового культурно-исторического типа. Так случилось, например, с народами, составлявшими Западную Римскую империю, которые и в своей новой форме, подвергшись германскому образовательному принципу, носят название романских народов.

Итак, или положительная деятельность самобытного культурно-исторического типа, или разрушительная деятельность так называемых бичей Божьих, предающих смерти дряхлые (томящиеся в агонии) цивилизации, или служение чужим целям в качестве этнографического материала – вот три роли, которые могут выпасть на долю народа.

Вникнем теперь несколько ближе в свойство и характеры различных культурно-исторических типов; не окажется ли в них таких общих черт, таких обобщений, которые могли бы считаться законами культурно-исторического движения и которые, будучи выводами из прошедшего, могли бы служить нормой для будущего? Если группировка исторических явлений по культурно-историческим типам действительно соответствует требованиям естественной системы в применении к истории, то такие общие выводы, такие обобщения непременно должны, так сказать, сами собой оказаться. Они должны проистечь из самого расположения фактов, как только исторические явления станут на подобающее им относительно друг к другу место, не будучи насильственно натягиваемы в угоду какой-либо предвзятой идее, из них самих не вытекающей; таковой мы считаем идею расположения явлений всемирной истории по ступеням развития, приведшую к нерациональному делению ее на Древнюю, Среднюю и Новую – три отряда, составляющие будто бы эволюционные фазисы развития всего человечества, взятого в

целом, – причем качественное различие племен человеческого рода совершенно упускается из вида.

ГЛАВА V
Культурно-исторические типы и некоторые законы их движения или развития

За волною
Ваших мысленных морей
Есть земля, над той землею
Блещет дивною красою
Новой мысли эмпирей.
Хомяков[1]

Начну прямо с изложения некоторых общих выводов или законов исторического развития, вытекающих из группировки его явлений по культурно-историческим типам.

Закон 1. Всякое племя или семейство народов, характеризуемое отдельным языком или группой языков, довольно близких между собой для того, чтобы сродство их ощущалось непосредственно, без глубоких филологических изысканий, – составляет самобытный культурно-исторический тип, если оно вообще по своим духовным задаткам способно к историческому развитию и вышло уже из младенчества.

Закон 2. Дабы цивилизация, свойственная самобытному культурно-историческому типу, могла зародиться и развиваться, необходимо, чтобы народы, к нему принадлежащие, пользовались политической независимостью.

Закон 3. Начала цивилизации одного культурно-исторического типа не передаются народам другого типа. Каждый тип вырабатывает ее для себя при большем или меньшем влиянии чуждых, ему предшествовавших или современных цивилизаций.

Закон 4. Цивилизация, свойственная каждому культурно-историческому типу, тогда только достигает полноты, разноо-

бразия и богатства, когда разнообразны этнографические элементы, его составляющие, – когда они, не будучи поглощены одним политическим целым, пользуясь независимостью, составляют федерацию или политическую систему государств.

Закон 5. Ход развития культурно-исторических типов всего ближе уподобляется тем многолетним одноплодным растениям, у которых период роста бывает неопределенно продолжителен, но период цветения и плодоношения – относительно короток и истощает раз [и] навсегда их жизненную силу.

Первые два вывода не требуют больших пояснений; сомневаться в них невозможно. В самом деле, из десяти культурно-исторических типов, развитие которых составляет содержание всемирной истории, три принадлежат племенам семитической породы или расы, и каждое племя, характеризованное одним из трех языков семитической группы, – халдейским, еврейским и арабским, имело свою самобытную цивилизацию. Арийская группа языков подразделяется, как известно, на семь главных лингвистических семейств: санскритское, иранское, эллинское, латинское, кельтическое, германское и славянское. Из племен, соответствующих этим семи семействам языков, пять – индийское, персидское, греческое, римское, или древнеиталийское, и германское – представляли или представляют самобытные культурно-исторические типы, развившиеся в самобытные цивилизации. Правда, одно племя – кельтское – не составило самостоятельного типа, а (в смешении с разложившимися элементами римской цивилизации и под влиянием германского образовательного и формационного принципа) вошло как этнографический материал в состав германо-романского культурно-исторического типа. Но кельты потеряли свою политическую независимость в ранний период своего общественного возраста; и хотя у галлов и британцев были все задатки самобытного развития, как в особенностях народного характера, так и в самостоятельном религиозном и поэтическом мировоззрении, к тому же при выгодных местных условиях обитаемой ими страны, – все эти задатки были задавлены римским завоеванием. Нет ни одной цивилизации,

которая бы зародилась и развилась без политической самостоятельности, хотя, достигнув уже известной силы, цивилизация может еще несколько времени продолжаться и после потери самостоятельности, как видим на примере греков. Явление это, из которого нет ни одного исключения в истории, понятно, впрочем, и само по себе. Та же причина, которая препятствует развитию личностей в состоянии рабства, препятствует и развитию народностей в состоянии политической зависимости, так как в обоих случаях индивидуальность, имеющая свои самостоятельные цели, обращается в служебное орудие, в средство для достижения чужих целей. Если такие обстоятельства застигнут личность или народность в раннем возрасте развития, то очевидно, что самобытность их должна погибнуть. Итак, кельты представляют кажущееся исключение из первого закона культурно-исторического движения только потому, что этого требует второй закон.

Вне семитических и арийских племен два других самобытных племени, хамитское, или египетское, и китайское, тоже образовали своеобразные культурно-исторические типы. Все же прочие сколько-нибудь значительные племена не образовали самобытных цивилизаций – или потому, что были, подобно кельтскому, поглощены другими племенами, подчинены другим культурно-историческим типам (как, например, племена финские), или потому, что, живя в странах, малоудобных для культуры, не вышли из состояния дикости или кочевничества (как вся черная раса, как монгольские и тюркские племена). Эти племена остались на степени этнографического материала, то есть вовсе не участвовали в исторической жизни или возвышались только до степени разрушительных исторических элементов.

Более подробного рассмотрения и разъяснения требует третий закон культурно-исторического развития. История древнейших культурно-исторических типов – Египта, Китая, Индии, Ирана, Ассирии и Вавилона – слишком мало известна в своих подробностях, чтобы можно было подвергнуть наше положение критике самих событий из истории этих цивили-

заций; но сами результаты этой истории вполне его подтверждают. Не видно, чтобы у какого-либо народа не египетского происхождения принялась египетская культура; индийская цивилизация ограничилась народами, которые говорили языками санскритского корня. К древне-семитическому культурному типу принадлежали, правда, финикияне и карфагеняне: но первые были народом того же корня с вавилонянами, а последние – колонией финикиян; цивилизация же Карфагена не передалась нумидянам и другим аборигенам Африки. Китайская цивилизация распространена между китайцами и японцами – первоначально, вероятно, переселенцами из Китая же. Евреи не передали своей культуры ни одному из окружавших или одновременно живших с ними народов.

С Грецией вступаем в область более известную. Греция, столь богатая своей цивилизацией, была, однако же, слишком бедна политической силой, чтобы думать о распространении эллинизма между другими народами, пока македоняне – народ эллинского же происхождения или эллинизированный еще в ранний этнографический период своей жизни – не приняли от нее цивилизации и не сообщили ей политической силы. Представитель эллинизма – Александр – взялся не только покорить Восток, но и распространить в нем греческую цивилизацию, которая, по господствующим теперь теориям, должна была считаться общечеловеческой в четвертом веке до Рождества Христова. За эту возвышенно-гуманитарную цель Александровых завоеваний ему прощаются его завоевательные замыслы и он принимает в глазах истории размеры героя человечества. На деле же эти цивилизаторские замыслы оказались гораздо неосуществимее его завоевательных планов, которые, по крайней мере, удались на время. В восточной Азии Александровой монархии через 70 или 80 лет при помощи парфян и скифов был восстановлен культурный тип Ирана, где и продолжал господствовать в новом Парфянском, а потом в Сасанидском царствах. В западных областях, по сю сторону Евфрата, повидимому, лучше принялась греческая культура. В Сирии, Малой Азии царствовали цари греческого происхождения;

двор, столица и большие города приняли греческие обычаи и моды; греческим архитекторам, скульпторам, резчикам, золотых дел мастерам и т.п. открылось выгодное поприще деятельности и выгодный сбыт для их произведений, как в наше время французским модисткам – в России. Всего лучше пошло дело в Египте. В Александрии образовались библиотеки, музей, академии, процветала философия и положительная наука. Но кто были философы, кто – ученые, на каком языке писали они? Все – природные греки, и все – по-гречески. Собственно Египту от всего этого было, что называется, ни тепло, ни холодно. Ученая Александрия была греческой колонией. Птолемеи щедрой рукой покровительствовали греческим ученым, доставляли им все средства для полезной деятельности, и греки стекались сюда со всех сторон. При обильных вспомогательных средствах результаты их деятельности вышли, вероятно, гораздо плодотворнее, нежели могли быть в том случае, если бы греки оставались при своих частных средствах, каждый в своем городке, во время смут, раздиравших падавшую и разлагавшуюся Грецию; и нельзя не поблагодарить Птолемеев за их просвещенную щедрость, которая принесла большую пользу греческой науке; но греческая цивилизация от этого нисколько не передалась Египту, как и вообще Востоку. И теперь англичане завели очень много весьма деятельных и полезных ученых обществ в Калькутте, но еще нисколько не передали Индии европейской цивилизации. Передать цивилизацию какому-либо народу, очевидно, значит заставить этот народ до того усвоить себе все культурные элементы (религиозные, бытовые, социальные, политические, научные и художественные), чтоб он совершенно проникнулся ими и мог продолжать действовать в духе передавшего их с некоторым, по крайней мере, успехом, так чтобы хотя отчасти стать в уровень с передавшим, быть его соперником и вместе продолжателем его направления.

Ничего подобного, конечно, не было достигнуто при начавшейся с Александра Македонского эллинизации Востока. Не счастливее ли были греки на Западе? Я не говорю о греческой культуре в Сицилии и южной Италии: Пифагор и Архимед

были такими же греками, как Платон и Аристотель, точно так, как Франклин – таким же англичанином, как Локк или Ньютон; но так как грекам не удалось передать своей цивилизации посредством завоевания, то не были ли они вознаграждены за это передачей ее римлянам, которые их завоевали? В некотором смысле – да, несмотря на сопротивление римских латинофилов. Какие плоды принесла бы римская цивилизация, если бы ей позволили обстоятельства самобытно развиваться, – об этом никому не дано судить; но что Катон был прав, – что его партия, стоявшая за самобытное развитие, была партией истинного, то есть единственно возможного, прогресса, – что принятие чуждых греческих элементов или отравило, или, по меньшей мере, поразило бесплодием все те области жизни, в которые они проникли, – в этом едва ли может быть сомнение; и только в том, в чем римляне остались римлянами, произвели они нечто великое. В нравах и в быте – роскошь, изнеженность, страсть к наслаждениям, умерявшиеся у греков их эстетической природой, на все налагавшей печать меры и гармонии, – перешли у римлян в грубый разврат, которому (за исключением разве Вавилона) ни прежде, ни после ничего подобного не было. В науке и философии оказалось полнейшее бесплодие. Немногое, что было сделано в этом отношении в римское время, даже вне Александрии, было сделано греками же. Умозрительное, метафизическое направление греческого ума было, по-видимому, несвойственно людям латинской расы, и они были поражены бесплодием, когда из подражания Греции вступили в эту область. Между тем едва ли справедливо было бы сказать, что вообще дух научного исследования был несвойствен древнеиталийскому племени. По немногим остаткам от первобытной италийско-этрусской цивилизации можно, кажется, заключить, что этруски с успехом занимались наблюдением природы: есть основание, например, предполагать, что им известны были громоотводы. На то же указывают наблюдения над полетом птиц, над внутренностями животных, примененные пока к религиозным целям, к гаданиям о судьбе государства и частных лиц, но которые при свете греческой, и особливо аристотелевской философии, могли бы

привести к положительным физиологическим и вообще биологическим исследованиям, точно так же, как астрология и алхимия привели к астрономии и химии. Если б потомки этрусков продолжали следовать этому более свойственному их племени пути, – римская наука не была бы, может быть, столь ничтожна и бесплодна. В пластических искусствах было лишь подражание греческим образцам, по большей части греками же производимое, между тем как и в этом отношении в произведениях этрусков остались следы самобытного творчества, задавленные подражательностью. В драме и эпосе латинская цивилизация завещала потомству лишь несколько цветов подражательной поэзии, далеко уступающей своему подлиннику и отличающейся только достоинством формы, без всякого оригинального содержания. Следовательно, и тут собственно передача не удалась; она была испробована, но оказалась невозможною, потому что осталась бесплодной. Совершенно противоположные результаты видим мы там, где римские начала остались самобытными. Верность началам национального государственного строя сделала из Рима относительно самое могущественное политическое тело изо всех когда-либо существовавших. Правила гражданских отношений между римскими гражданами, перешедшие из обычая в закон и приведенные в стройную систему, положили основание науке права и представили образец гражданского кодекса, которому удивляются юристы всех стран. В архитектуре, где римляне своей аркой и куполом осмелились быть самобытными, они создали Колизей и Пантеон, стоящие наравне с лучшими произведениями греческого искусства. Наконец, в поэзии, там, где она была отражением римской жизни, в одах Горация, в элегиях и сатире, римляне расширили ее область. То же должно сказать и об отражении государственной жизни в науке, – об истории; и здесь Тацит стоит наравне с Фукидидом, не как подражатель, а как достойный соперник.

Сами римляне, покорив, как обыкновенно говорится, мир, правильнее же – бассейн Средиземного моря и европейское прибрежье Атлантического океана, насильственно передавали свою цивилизацию покоренным ими народам. Но им

это удалось не лучше их предшественников. Они уничтожили зачатки самобытной культуры там, где она была (как, например, в друидической Галлии[2]), на месте их завели города, как бы колонии римской жизни и римского быта; но нигде не возбудили цивилизации, которая, сложившись из народных элементов (галльских, иберийских, иллирийских, нумидийских и других), имея своим органом национальный язык, приняла бы римскую форму и римский дух. Все вековое господство Рима и распространение римской цивилизации имели своим результатом только подавление ростков самобытного развития. Все немногие ученые, художники, писатели, которые родились и жили не на национальной римской почве, были, однако же, или потомки римских колонистов, или облатинившиеся туземцы из высших классов общества (подобно нашей ополячившейся интеллигенции Западного края), которые не имели и не могли иметь никакого влияния на массу своих соотечественников.

Такой результат может быть приписываем тому, что римская культура передавалась не путем свободного сообщения благ цивилизации, а путем насильственного покорения, уничтожившим вместе с политической независимостью и всякую национальную самодеятельность. В этом есть, без сомнения, доля правды, но далеко, однако же, не вся правда, как показывают приведенные уже примеры и как покажут те, которые еще приведутся. Одним из наиболее способных к цивилизации, одним из наилучше одаренных германских племен, разрушивших Римскую империю, были, конечно, готы[3]. Они проникли в Италию и образовали могущественное царство, во главе которого стал один из мудрейших и благонамереннейших государей, когда-либо царствовавших, – Феодорик. Он поставил себе, по-видимому, самую благородную и гуманную цель – слить победителей с побежденными, привить к первым римскую цивилизацию. Что же оказалось? Готы, находясь в слишком близких отношениях с цивилизацией Рима, не могли развивать своих национальных начал, будучи подавлены ее блеском, а усвоить себе чуждую – также не усвоили и вместе со своей народностью потеряли и свою политическую силу. Еще около

трех столетий продолжал сгущаться мрак варварства в Европе, чтобы под тенью его успели окрепнуть своеобразные начала вновь возникающего культурно-исторического типа, и чтобы тип этот мог начать безопасно пользоваться плодами исчезнувшей цивилизации, которая из дали прошлого не могла уже действовать с такой силой соблазна, как при непосредственном прикосновении. Видно, великий законодатель еврейского народа[4] лучше Феодорика понимал законы исторического движения, когда заповедал своему народу, грубому и необразованному, но хранившему в себе залог самобытного развития, не вступать в тесные сношения с окружавшими его народами (стоявшими на высшей точке культуры), дабы вместе с заимствованием обычаев и нравов не потерять своей самобытности. Пример готов прекрасно показывает, что начала, лежащие в народе одного культурно-исторического типа (которые при самобытном развитии должны принести самые богатые плоды), могут быть искажены, уничтожены, но не могут быть заменены другими началами, составляющими принадлежность другого культурно-исторического типа, иначе как с уничтожением самого народа, то есть с обращением его из самостоятельного исторического деятеля в этнографический материал, имеющий войти в состав новой образующейся народности.

Неужели же историческая деятельность, результаты, достигнутые жизнию одного культурно-исторического типа, остаются совершенно бесплодными для всех остальных ему современных или последующих типов? Неужели должны типы эти оставаться столь же чужды один другому, как, например, Китай для остального мира? Конечно, нет. Выше было уже замечено, что преемственные культурно-исторические типы имеют естественное преимущество перед уединенными. Каким же образом происходит это преемство? Вся история доказывает, что цивилизация не передается от одного культурно-исторического типа другому; но из этого не следует, чтоб они оставались без всякого воздействия друг на друга, – только это воздействие не есть передача, и способы, которыми распространяется цивилизация, надо себе точнее уяснить.

Самый простейший способ этого распространения есть пересадка с одного места на другое посредством колонизации. Таким образом финикияне передали свою цивилизацию Карфагену, греки – Южной Италии и Сицилии, англичане – Северной Америке и Австралии. Если бы где-либо и когда-либо существовала общечеловеческая цивилизация, то, очевидно, должно было бы желать в ее интересах, чтоб этот способ распространения был повсеместно употреблен, то есть чтобы других народов, кроме выработавших эту общечеловеческую цивилизацию, вовсе не было, – точно так, как, например, в интересах земледелия весьма было бы желательно, чтобы никаких сорных трав на свете не было; и, пожалуй, как позволительно земледельцу всеми мерами их уничтожать, так было бы позволительно распространителям единой общечеловеческой цивилизации уничтожать прочие народы, служащее более или менее тому препятствием. Ибо, без сомнения, те, которые выработали цивилизацию в наичистейшем виде, способны ее сохранить и распространить ее по лицу земли, что было бы самым прямейшим, легчайшим и действительнейшим методом осуществления прогресса. Если же такая метода, не раз, впрочем, с успехом употребленная в Америке и других местах, показалась бы слишком радикальной, то, во всяком случае, следовало бы народы и государства, не принадлежащие к общечеловеческому культурному типу, лишать силы противодействия, то есть политической самобытности (хотя бы то было посредством пушек или опиума, – как говорится, не мытьем, так катаньем), дабы обратить их со временем в подчиненный, служебный для высших целей этнографический элемент, мягкий как воск и глина и принимающий без сопротивления все формы, которые ему заблагорассудят дать.

Другая форма распространения цивилизации есть прививка, и обыкновенно это и разумеют под передачей цивилизации. Но, к сожалению, прививку разумеют здесь в таинственном, мистическом смысле, приписываемом этой операции людьми, не знакомыми с физиологической теорией, ни с садоводной практикой, – в том смысле, по которому привитый глазок или при-

щепленный черенок обращает дичок в благородное плодовитое дерево или даже яблоню в грушу, сливу абрикос, и обратно. Но в этом таинственном, так сказать, волшебном смысле прививки нет ни между растениями, ни между культурно-историческими типами, как тому представлено было довольно примеров. Почка, вставленная в разрез древесной коры, как черенок, прикрепленный к свежему срезу ствола, нисколько не изменяют характера растения, к которому привиты. Дичок остается по-прежнему дичком, яблоня – яблоней, груша – грушей. Привитая почка или черенок также сохраняют свою природу, только почерпают нужные им для роста и развития соки через посредство того растения, к которому привиты, и перерабатывают их сообразно своему специфическому и формационному образовательному началу. Дичок же обращается в средство, в служебное орудие для лелеемого черенка или глазка, составляющих как бы искусственное чужеядное растение, в пользу которого продолжают обрезывать ветви, идущие от самого ствола и корня, чтобы они его не заглушили. Вот истинный смысл прививки. Таким точно греческим черенком или глазком была Александрия на египетском дереве, так же точно привил Цезарь римскую культуру к кельтскому корню, – с большой ли пользой для Египта и для кельтского племени, предоставляю судить читателям. Надо быть глубоко убежденным в негодности самого дерева, чтобы решаться на подобную операцию, обращающую его в средство для чужой цели, лишающую его возможности приносить цветы и плоды sui generis[5]; надо быть твердо уверенным, что из этих цветов и плодов ничего хорошего в своем роде выйти не может. Как бы то ни было, прививка не приносит пользы тому, к чему прививается, ни в физиологическом, ни в культурно-историческом смысле.

Наконец, есть еще способ воздействия цивилизации на цивилизацию. Это тот способ, которым Египет и Финикия действовали на Грецию, Греция – на Рим (поскольку это последнее действие было полезно и плодотворно), Рим и Греция – на германо-романскую Европу. Это есть действие, которое мы уподобим влиянию почвенного удобрения на растительный орга-

низм, или, что то же самое, влиянию улучшенного питания на организм животный. За организмом оставляется его специфическая образовательная деятельность; только материал, из которого он должен возводить свое органическое здание, доставляется в большем количестве и в улучшенном качестве, и результаты выходят великолепные; притом всякий раз – результаты своего рода, вносящие разнообразие в область всечеловеческого развития, а не составляющие бесполезного повторения старого, как это неминуемо должно произойти там, где один культурно-исторический тип приносится в жертву другому посредством прививки, требующей к тому же для своего успеха частого обрезывания ветвей, все продолжающих расти из первобытного ствола, несмотря на прививку. Только при таком свободном отношении народов одного типа к результатам деятельности другого, когда первый сохраняет свое политическое и общественное устройство, свой быт и нравы, свои религиозные воззрения, свой склад мысли и чувств, как единственно ему свойственные, – одним словом, сохраняет всю свою самобытность, – может быть истинно плодотворно воздействие завершенной или более развитой цивилизации на вновь возникающую. Под такими условиями народы иного культурного типа могут и должны знакомиться с результатами чужого опыта, принимая и прикладывая к себе из него то, что, так сказать, стоит вне сферы народности, то есть выводы и методы положительной науки, технические приемы и усовершенствования искусств и промышленности. Все же остальное, в особенности все относящееся до познания человека и общества, а тем более до практического применения этого познания, вовсе не может быть предметом заимствования, а может быть только принимаемо к сведению как один из элементов сравнения – по одной уже той причине, что при разрешении этого рода задач чуждая цивилизация не могла иметь ввиду чуждых ей общественных начал и что, следовательно, решение их было только частное, только ее одну более или менее удовлетворяющее, а не общеприменимое.

Четвертый общий вывод, сделанный на основании группировки исторических явлений по культурно-историческим

типам, говорит нам, что цивилизация, то есть раскрытие начал, лежащих в особенностях духовной природы народов, составляющих культурно-исторический тип под влиянием своеобразных внешних условий, которым они подвергаются в течение своей жизни, тем разнообразнее и богаче, чем разнообразнее, независимее составные элементы, то есть народности, входящие в образование типа. Самые богатые, самые полные цивилизации изо всех доселе на земле существовавших принадлежат, конечно, мирам Греческому и Европейскому.

Одной из причин такой полноты и богатства нельзя не видеть, между прочим, и в том обстоятельстве, что миры эти состояли из более или менее самостоятельных политических единиц, из которых каждая, при общем характере, свойственном вообще греческому и европейскому типам, могла свободно развивать и свои особенности, заключавшиеся в тех политических подразделениях, на которые разбились эти миры, и которые более или менее соответствовали для греческого типа племенам дорическому, ионическому и эолийскому, а для европейского – племенам англо-саксонскому, верхне-германскому (получившему преобладание в самой Германии), нижнегерманскому (достигшему самобытного развития в Голландии), норманнскому, или скандинавскому, а также племенам французскому, итальянскому и испанскому, происшедшим из разложившихся элементов римского и кельтского, измененных под влиянием германского начала. Все прочие культурно-исторические типы были лишены такого оживляющего разнообразия и оказались несравненно беднее в своих результатах. Из этого мы вправе, кажется, заключить, что такое разнообразие состава есть одно из условий полноты жизни и развития культурно-исторических типов. Хотя разнообразие это не может быть, конечно, искусственно создаваемо там, где нет для него этнографической основы, – оно, без сомнения, необходимо для правильного развития культурно-исторического типа там, где он имеет по природе своей этот сложный характер. Однако политическое раздробление в среде одного и того же культурно-исторического типа имеет и вредную сторону, со-

стоящую в том, что оно лишает его политической силы, а следовательно, возможности успешного противодействия внешнему насилию. Пример этому также представляет Греция, в которой не только всякий мелкий этнографический оттенок, но часто даже совершенно случайные обстоятельства служили основанием для образования самостоятельных политических единиц. Это давало возможность высказаться вполне всякой особенности направления; но зато было причиной кратковременности независимой политической жизни Греции, так что она должна была доканчивать свое развитие под чуждым игом. Политическая система Европы в этом отношении несравненно лучше устроилась, потому что соединяет условия, требуемые разнообразием и силой. Только в двух подчиненных группах, в Италии и Германии, это политическое дробление далеко переходило за нужные пределы, и вредные следствия этого не замедлили сказаться не только на политической силе, но и на самой культуре этих стран. Не только более других были они лишены гражданской и политической свободы, но даже самое развитие литературы и науки, сначала ускоренное благоприятными обстоятельствами, было задержано в этих странах именно вследствие политической слабости и происходящих от того смут, так что только с половины прошедшего столетия началось сильное и самобытное развитие в Германии. Нередко случается слышать, что такая политическая раздробленность служила в Германии гарантией свободного развития науки и литературы; но позволительно, кажется мне, думать, что если бы немецкий народ составлял одно великое политическое целое, то не нуждался бы в таких жалких гарантиях.

При этом сам собой рождается вопрос: где же проходит настоящая граничная черта между требованиями национальной самобытности, обеспечивающей свободное выражение всех особенностей направления и разнообразие в жизненных проявлениях культурно-исторического типа, так сказать, его внутреннюю независимость, и между требованиями национального единства, обеспечивающего политическую силу и независимость внешнюю? Черта эта, кажется мне, проведена

весьма ясно самой природой. Народ, говорящий языком, коего отдельные наречия и говоры столь близки между собою, что в практической жизни – общественной, торговой, политической – не представляют затруднения к взаимному пониманию, должен составлять и одно политическое целое. Так, народ русский, несмотря на различия в наречиях великорусском, малорусском и белорусском, или народ немецкий, несмотря на более сильное различие в наречиях верхне- и нижне-немецком, должны составлять самостоятельные однородные политические целые, называемые государствами. Напротив того, для целых народов, говорящих на отдельных языках, принадлежащих к одному лингвистическому семейству, соответствующему самобытному культурно-историческому типу, должна предпочитаться слиянию в одно государственное целое, лишающее культурную жизнь разнообразия, менее тесная связь, которая, смотря по обстоятельствам, требующим более или менее тесного между ними соединения, может проявляться или в виде правильной федерации, основанной на положительном законодательстве, или даже только в виде политической системы (какова, например, европейская, основанная на случайных трактатах, частое повторение которых, вследствие тесных сношений, образовало род обычного международного права).

Такая более или менее тесная связь, – будет ли то федерация или только политическая система государств, – может и должна существовать только между членами одного культурно-исторического типа, и лишь искусственно и не иначе, как к общему вреду, может распространяться далее пределов того же типа; ибо общественная связь требует как необходимого своего условия подчинения частных интересов (личных, общественных, областных, даже государственных) более общим интересам высшей группы; и, следовательно, если связь переходит за границу культурно-исторического типа – высшей исторической единицы, то лишает его должной самостоятельности в достижении его целей. Против этого нельзя возразить, что сам культурно-исторический тип есть понятие подчиненное в отношении к человечеству и, следовательно, должен подчинять

свои интересы и стремления общим интересам человечества. Человечество не представляет собой чего-либо действительно конституированного, сознательно идущего к какой-либо определенной цели, а есть только отвлечение от понятия о правах отдельного человека, распространенное на всех ему подобных. Потому все, что говорится об обязанностях в отношении к человечеству, приводится собственно к обязанностям в отношении к отдельным людям, к какому бы роду или племени они ни принадлежали; между тем как независимо от этих обязанностей существуют особые обязанности не только к государству, но и к той высшей единице, которую мы называем культурно-историческим типом. Так, грек имел обязанности не только к республикам – афинской, спартанской, фивской, в которых он состоял гражданином, но и к целой Греции. Фокион, говоривший о необходимости подчинения Филиппу или Александру, не мог почитаться дурным гражданином, хотя в этом отношении частные интересы Афин, по-видимому, не совпадали с интересами Греции; но афинянин, который бы стал проповедовать о подчинении персам или (в позднейшее время) римлянам, долженствовал бы считаться изменником в полном смысле этого слова; и это вовсе не потому, что Греция как Греция имела некоторые общие учреждения, как, например, Амфиктионов суд[6], Дельфийский оракул[7] и т.п., а потому, что Греция имела свои общие интересы, основанные на самой природе вещей, на сущности эллинизма, которые могли и долженствовали быть понятными для всякого истинного и хорошего грека, каким и был в действительности Фокион. То же самое относится и к Европе в ее настоящих и естественных границах, как к культурно-исторической единице, объемлющей собой Германо-Романский мир. Слово «европейский интерес» не есть простое слово для француза, немца или англичанина, а имеет смысл каждому из них понятный, независимо от интересов Англии, Германии или Франции, которые, будучи здраво поняты, не могут противоречить более общим интересам Европы. Это, однако же, совершенно извращается, если нарушены истинные границы культурно-исторического типа.

Но что же такое интерес человечества? Кем сознаваем он, кроме одного Бога, которому, следовательно, только и принадлежит ведение его дел? Без сомнения, в интересах человечества лежало, чтобы Рим был разрушен, и на месте его цивилизации временно воцарилось варварство; но, конечно, ни один римлянин и ни один германец не знал и не мог знать, что этого требовал интерес человечества; каждый же из них если не понимал, то, по крайней мере, чувствовал, чего требовал интерес того племени, к которому он принадлежал. Не могло ли даже казаться, что интересы человечества требовали, чтобы германцы спокойно оставались в своих лесах и не тревожили своими нападениями вместилища тогдашней всемирной цивилизации и тогдашнего прогресса? Нечего сказать, большую услугу оказал бы человечеству какой-нибудь древнегерманский мудрец или вождь, который, будучи убежден в этой гуманитарной мысли, имел бы достаточно влияния, дабы убедить своих соотечественников в таком сообразном с интересами человечества образе действий. Но, с другой стороны, сознание той пользы для человечества, которая имела произойти от нашествия варваров (если бы это сознание было даже возможно), конечно, не только не могло обязывать римского гражданина содействовать такому вожделенному для человечества событию, но не могло бы даже оправдывать его от обвинения в измене за деятельность, в эту сторону направленную. Таким образом, если та группа, которой мы придаем название культурно-исторического типа, и не есть абсолютно высшая, то она, во всяком случае, высшая изо всех тех, интересы которых могут быть сознательными для человека, и составляет, следовательно, последний предел, до которого может и должно простираться подчинение низших интересов высшим, пожертвование частных целей общим.

Из неразличения этой тесной связи, которая всегда существует между членами одного культурно-исторического типа, от тех совершенно внешних и как бы случайных отношений, которые существуют между народами разных типов, вывели, между прочим, одно из характеристических отличий так называемой Новой истории от Древней, – отличие, по которому народы

Древнего мира развивались будто бы отдельно один от другого, а, напротив того, связь между народами нового мира так тесна, что невозможно отделить истории одного народа от истории другого. Конечно, связь истории народов германо-романского типа весьма тесна, но тесна потому, что это собственно история одного целого, и такую же точно тесную связь представляет история государств Греции. Как никто не думает об отдельной истории Афин или Спарты, так точно нечего бы говорить об отдельной истории Франции, Италии или Германии; такой истории, собственно говоря, на деле и нет вовсе, а есть только история Европы с французской, итальянской, английской или немецкой точки зрения, с обращением преимущественного внимания на события каждой из этих стран. Как скоро же мы выйдем из границ культурного типа, – будет ли то в древние или в новые времена, то общая история разных типов становится в обоих случаях одинаково невозможной без самых странных натяжек, состоящих в делении на периоды, при которых события одного типа совершенно произвольным образом разрываются сообразно с ходом происшествий в другом. Как в Древнем мире история Греции и история Персии, например, остаются совершенно отдельными, за исключением внешних войн, приводивших их временно в чисто внешнее соприкосновение, так же точно и в новом времени история России или история магометанского Востока имеет, в сущности, только временные, случайные точки соприкосновения с историей Европы; и всякое старание связать историческую жизнь России внутренней органической связью с жизнию Европы постоянно вело лишь к пожертвованию самыми существенными интересами России. Можно только сказать, что в новые времена вследствие улучшений в мореплавании и вообще в средствах сообщения, сношения между народами разных типов сделались чаще, но не стали от этого нисколько теснее. Китай и Индия – все такой же чуждый Европе мир, каковым он был для Греции и Рима, хотя теперь между ними беспрестанно снуют корабли, тогда как прежде раз в год совершался обмен между произведениями бассейна Средиземного моря и юга Азии через Александрию.

Пятый закон культурно-исторического движения состоит в том, что период цивилизации каждого типа сравнительно очень короток, истощает силы его и вторично не возвращается. Под периодом цивилизации разумею я время, в течение которого народы, составляющие тип, выйдя из бессознательной чисто этнографической формы быта (что, собственно, должно бы соответствовать так называемой Древней истории), создав, укрепив и оградив свое внешнее существование как самобытных политических единиц (что, собственно, составляет содержание всякой Средней истории), проявляют преимущественно свою духовную деятельность во всех тех направлениях, для которых есть залоги в их духовной природе, не только в отношении науки и искусства, но и в практическом осуществлении своих идеалов правды, свободы, общественного благоустройства и личного благосостояния. Оканчивается же этот период тем временем, когда иссякает творческая деятельность в народах известного типа: они или успокаиваются на достигнутом ими, считая завет старины вечным идеалом для будущего, и дряхлеют в *апатии самодовольства* (как, например, Китай); или достигают до неразрешимых, с их точки зрения, антиномий, противоречий, доказывающих, что их идеал (как, впрочем, и все человеческое) был неполон, односторонен, ошибочен, или что неблагоприятные внешние обстоятельства отклонили его развитие от прямого пути – в этом случае наступает разочарование и народы впадают в *апатию отчаяния.* Так было в Римском мире, во время распространения христианства. Впрочем, пример Византии показывает, что эта вторая форма не может быть продолжительна и переходит в первую, если после иссякновения нравственного принципа жизни народы не сметаются внешними бурями, не обращаются снова в первобытную этнографическую форму быта, из коего снова может возникнуть историческая жизнь. Период цивилизации может считаться для Римского мира с окончания Пунических войн[8] и покорения Греции до третьего века от Рождества Христова, то есть около 400 лет. Для Греции – от начала пятого века до Рождества Христова и до окончания плодотворной деятельности Алексан-

дрийской школы[9] тоже в третьем веке, то есть около шести столетий; но с уничтожением самобытности Греции цивилизация эта ограничивалась одной сферой науки, наиболее отвлеченной и могущей всего долее сохранять свою жизненность, по оторвании от родной почвы. Время цивилизации индийской также продолжается не долее нескольких столетий. Для евреев его можно считать от времен Самуила до времен Ездры и последних пророков[10], то есть от пяти до шести столетий.

Если период цивилизации бывает относительно так краток, то зато предшествующее ему время – и особливо древний, или этнографический, период, начинающийся с самого момента выделения культурно-исторического племени от родственных с ним племен, – бывает чрезвычайно длинным. В этот-то длинный подготовительный период, измеряемый тысячелетиями, собирается запас сил для будущей сознательной деятельности, закладываются те особенности в складе ума, чувства и воли, которые составляют всю оригинальность племени, налагают на него печать особого типа общечеловеческого развития и дают ему способность к самобытной деятельности, – без чего племя было бы общим местом, бесполезным, лишним, напрасным историческим плеоназмом в ряду других племен человеческих. Эти племенные особенности, какова бы ни была их первоначальная причина, выражаются в языке (вырабатывающемся в этот длинный период времени), в мифическом мировоззрении, в эпических преданиях, в основных формах быта, то есть в отношениях как ко внешней природе, источнику материального существования, так и к себе подобным. Если бы в племени не выработалась особенность психологического строя, то каким бы образом могли произойти столь существенные различия в логическом построении языков? Отчего один народ так заботится об отличении всех оттенков времени, а другой (как славянский) почти вовсе опускает их из виду, но обращает внимание на качества действия; один употребляет как вспомогательное средство при спряжении глагол *иметь,* другой же – глагол *быть* и т.д. Сравнительная филология могла бы служить основанием для сравнительной психологии

племен, если бы кто успел прочесть в различии грамматических форм различия в психических процессах и в воззрениях на мир, от которых первые получили свое начало.

Если этнографический период есть время собирания, время заготовления запаса для будущей деятельности, то период цивилизации есть время растраты – растраты полезной, благотворной, составляющей цель самого собирания, но все-таки растраты; и как бы ни был богат запас сил, он не может, наконец, не оскудеть и не истощиться, тем более, что во время возбужденной деятельности, порождающей цивилизацию и порождаемой ею, живется скоро. Каждая особенность в направлении, образовавшаяся в течение этнографического периода, проявляясь в период цивилизации, должна непременно достигнуть своего предела, далее которого идти уже нельзя, или, по крайней мере, такого, откуда дальнейшее поступательное движение становится уже медленным, и ограничивается одними частными приобретениями и усовершенствованиями. Тогда происходит застой в жизни, прогресс останавливается; ибо бесконечное развитие, бесконечный прогресс в одном и том же направлении (а еще более – во всех направлениях разом) есть очевидная невозможность. Каким, в самом деле, образом возможно, чтобы существо ограниченное, как человек, могло бесконечно развиваться и совершенствоваться, не изменяясь в то же время в своей природе, то есть не перестав, наконец, быть человеком? Я знаю, что тем, которые думают, будто бы подобное происшествие из «Тысячи и одной ночи» или Овидиевых «Метаморфоз» уже случалось раз с обезьянами (которые, не выдержав натиска прогресса, превратились в людей) и будто бы в конце концов человек не что иное, как усовершенствованная губка или инфузория, – не покажется странным, что и форма человека, сделавшись слишком тесной для прогресса, превратится, по щучьему велению, еще в что-нибудь более совершенное; но могу вывести из этого только то заключение, что ложное основание, к чему бы его ни применили (к истории или к зоологии), приведет к ложным выводам и что к числу самых высочайших нелепостей, когда-либо

приходивших в человеческую голову, принадлежит и мысль о бесконечном развитии, или бесконечном прогрессе. Никто не скажет, чтобы голова Кювье была лучше устроена, чем голова Аристотеля, чтобы ум Лапласа был проницательнее ума Архимеда, чтобы Кант мыслил лучше Платона, чтобы Фридрих и Наполеон имели более быстрый военный взгляд, более глубокие тактические и стратегические соображения, чем Аннибал и Цезарь; еще менее скажет кто-нибудь, чтобы понимание красоты было выше у Кановы и Торвальдсена, чем у Фидия и Праксителя; но, несомненно, что масса научного материала, сложность отношений в мире и войне безмерно увеличились, так что выполнение задачи ученого, полководца, государственного мужа стоит гораздо более времени и труда теперь, чем прежде. Зато Аристотель мог с успехом заниматься зоологией, ботаникой, физикой, логикой, метафизикой, политикой, теорией изящных искусств, а Кювье – только зоологией; но и эта наука стала уже теперь слишком сложна, чтобы возможно было обнять все ее отрасли одному человеку; поэтому, по мере того как суживается кругозор ученых, открытия должны принимать все более и более характер частностей. Этому стараются пособить разделением труда и систематическим соединением усилий отдельных лиц посредством ученых обществ, съездов, конгрессов и т.п.; но это искусственное объединение, вполне удовлетворительное для фабрики и имеющее свою пользу и в научном отношении, не может, однако, заменить собой естественного сосредоточения разносторонних материалов в уме одного человека. Таким образом, усложнение, нераздельное с совершенствованием, кладет необходимый предел существенному прогрессу в той отрасли человеческого ведения (или вообще человеческой деятельности), на которую в течение долгого времени было обращено внимание, – в том направлении, на которое преимущественно употреблялись усилия. Дабы поступательное движение вообще не прекратилось в жизни всего человечества, необходимо, чтобы, дойдя в одном направлении до известной степени совершенства, началось оно с новой точки исхода и шло по другому пути, то есть надо, чтобы вступи-

ли на поприще деятельности другие психические особенности, другой склад ума, чувств и воли, которыми обладают только народы другого культурно-исторического типа.

Прогресс, как мы сказали выше, состоит не в том, чтобы идти все в одном направлении (в таком случае он скоро бы прекратился), а в том, чтобы исходить все поле, составляющее поприще исторической деятельности человечества, во всех направлениях. Поэтому ни одна цивилизация не может гордиться тем, чтоб она представляла высшую точку развития, в сравнении с ее предшественницами или современницами, во всех сторонах развития. Так, в отношении идеи красоты Греческий мир дошел, можно сказать, до крайнего предела совершенства, и новая европейская цивилизация не произвела ничего такого, что бы могло не только затмить, но даже сравняться с произведениями греческого пластического искусства, которое поэтому изучается наравне с природою, как самое полное и лучшее ее истолкование. Греческое искусство сделалось достоянием всего человечества, собственностью последующих цивилизаций, но именно только собственностью, то есть тем, чем они могут пользоваться, наслаждаться, что они могут понимать, но не приобретать вновь, как приобрели его греки, а тем менее идти в том же направлении дальше. Потому народы европейского культурного типа пошли по другому направлению, по пути аналитического изучения природы, и создали положительную науку, которой ничего подобного не представляет никакая другая цивилизация. Конечно, духовные дары народов каждого типа не так односторонни, чтоб исключительно преследовать одну сторону жизни, – чтобы греки осуществляли только изящное и прекрасное, а европейцы – одно положительное знание. И греки сделали много для науки, выставили даже одного гения – Аристотеля, который среди Греческого мира был как бы предвозвестником европейского направления. Точно так же и европейцы сделали много для искусства; и если не в состоянии были повести его далее, то расширили его область. В чистой области прекрасного, то есть в красоте формы и в полной гармонии содержания с формой, народы Германо-Романского

мира, конечно, не произвели ничего подобного поэмам Гомера, статуям Фидия или трагедиям Софокла[11]; но зато пошли далее в глубине психического анализа, в выражении характеров, в живописи страстей, хотя и не без нарушения гармонии формы. Там же, где они думали идти совершенно по стопам древних, как во французской псевдоклассической трагедии, – произвели только карикатуры. Подобным образом высшие религиозные идеи вырабатывались только семитическими племенами. Этим я вовсе не думаю отвергать сверхъестественности полученного евреями откровения, – ибо и в этом случае только семитическое племя (без сомнения, по особенностям своей психической природы) могло принять и сохранить вверенную ему истину единобожия. То же применяется и к более частным сферам. Система гражданского права, выработанная римской жизнью, составляет до сих пор недосягаемый образец. Не имеет себе также ничего подобного величие политического здания, созданного небольшим римским народом, который, жертвуя всем носимому им в душе идеалу вечного государства, умел привить дух свой стольким чуждым народностям, заставить их поклоняться его идолу и даже признать этого идола своим. С Римом сравнивают часто в этом отношении Англию, но ничто не может быть несправедливее такого сравнения. Англия даже собственные свои колонии, населенные английским же народом, не умела заставить разделять чувства ее государственного величия; а уж о прививке этого чувства к другим народностям и говорить нечего. Я говорю это вовсе не в укор ей; как достоинства, так и недостатки Англии – совершенно иного рода. Скорее за Францией можно признать этот римский дух, хотя и в гораздо меньших размерах; а желание вполне ему подражать в больших размерах (как во времена Карла Великого, так и во времена Людовика XIV[12] и Наполеона) произвело опять-таки одни карикатуры, окончившиеся совершенным фиаско.

Эта двойственность в жизни культурно-исторических племен, выражающаяся в неопределенно длинном периоде образовательном, когда бессознательным образом заготовляется материал и кладутся основы будущей деятельности, и в срав-

нительно кратком проявительном, или деятельном, периоде, когда эти запасы истрачиваются на создание цивилизации, – имеет своим посредником тот промежуток времени, в который народы приготовляют, так сказать, место для своей деятельности, строят государство и ограждают свою политическую независимость, без которой, как мы видели, цивилизация ни начаться, ни развиться, ни укрепиться не может. Переход как из этнографического состояния в государственное, так и из государственного в цивилизационное или культурное обусловливается толчком или рядом толчков внешних событий, возбуждающих и поддерживающих деятельность народа в известном направлении. Так, нашествие Гераклидов[13] послужило началом образования греческих государств, а знакомство с восточной мудростью и еще более Персидские войны[14], которые напрягли дух народа, определяют вступление Греции в период цивилизационный. Неизвестное нам основание древнеиталийских государств и борьба их между собою, окончившаяся победой Рима, а также аристократическое господство патрициев над плебеями характеризуют государственный период Рима; возбудившие же народный дух Пунические войны и знакомство с Грецией вводят Рим в период цивилизации. Столкновения германских народов с Римом выводят германцев из этнографического состояния, а распространение знакомства с греко-римской цивилизацией через византийских эмигрантов, морские открытия и некоторые изобретения – открывают период цивилизации. Борьба с ханаанскими народами[15] приводит евреев к государственному устройству; разделение царств и противодействие культурным началам Ассирии, Вавилона и Финикии возбуждают развитие пророческой цивилизации Израиля. Государственность Индии началась с борьбы вторгнувшихся арийцев с аборигенами. Собственно же цивилизационный период Индии начинается, кажется, с буддийского движения[16]. Конечно, нельзя ожидать, чтоб это совершалось правильным образом по известной схеме. Явления перепутываются, усложняются; часто явления одного и того же порядка разделяются длинными промежутками времени и дополняют

друг друга, а явления одного периода продолжают действовать в другом. Даже не все культурные типы успевают переходить вполне все фазисы этого развития – потому ли, что разрушаются внешними бурями, или потому, что самый запас собранных ими сил был недостаточен, что полученное направление слишком односторонне для полного развития. Так, культурный тип Ирана, побужденный принять форму государственности вследствие борьбы с туранскими племенами никогда не переходит на степень цивилизации, – как потому, что в самый блистательный период своей государственности, при Кире и Дарии, теряет свой самобытный характер вследствие инкорпорации древнесемитической цивилизации Ассирии, Вавилона и Финикии (имевшей на него то же вредное влияние, как Греция на Рим, без полезных сторон последнего), так и потому, что неоднократно возобновляемая государственность Ирана последовательно разрушается македонянами, арабами и монголами. Что касается до истории древнейших культурных типов, то она так неполна и отрывочна, что смысл ее событий совершенно ускользает. Впрочем, из данных, представляемых историей известных культурно-исторических типов, можно вывести как общую черту государственного периода их развития – потерю большей или меньшей части первобытной племенной независимости (племенной воли в той или в другой форме) и как общую же черту цивилизационного периода – стремление к освобождению от этой зависимости и к замене утраченной древней воли правильной свободой, – замене, которая, впрочем, еще ни разу вполне не была достигнута. Пока ограничиваюсь этим намеком, предоставляя себе развитие этой мысли впоследствии на своем месте; теперь же обращусь к разбору господствующего мнения об отношениях национального к общечеловеческому.

Выше я старался показать, что правильная, сообразная с законами естественной системы группировка исторических явлений приводит нас к тому выводу, что до сих пор развитие человечества шло не иначе как через посредство самобытных культурно-исторических типов, соответствующих великим

племенам, то есть через посредство самобытных национальных групп; остается показать, что оно иначе идти и не может.

ГЛАВА VI
Отношение народного к общечеловеческому

a + b > a
Из любой алгебры

Отношение национального к общечеловеческому обыкновенно представляют себе как противоположность случайного – существенному, тесного и ограниченного – просторному и свободному, как ограду, пеленки, оболочку куколки, которые надо прорывать, чтобы выйти на свет Божий; как бы ряд обнесенных заборами двориков или клеток, окружающих обширную площадь, на которую можно выйти, лишь разломав перегородки. Общечеловеческим гением считается такой человек, который силой своего духа успевает вырваться из пут национальности и вывести себя и своих современников (в какой бы то ни было категории деятельности) в сферу общечеловеческого. Цивилизационный процесс развития народов заключается именно в постепенном отрешении от случайности и ограниченности национального для вступления в область существенности и всеобщности общечеловеческого. Так, и заслуга Петра Великого состояла именно в том, что он вывел нас из плена национальной ограниченности и ввел в свободу часть человечества, по крайней мере, указал путь к ней. Такое учение развилось у нас в тридцатых и в сороковых годах, до литературного погрома 1848 года[1]. Главными его представителями и поборниками были Белинский и Грановский; последователями – так называемые западники[2], к числу которых принадлежали, впрочем, почти все мыслившие и даже просто образованные люди того времени; органами – «Отечественные записки»[3] и «Современник»[4]; источниками – германская философия и французский социализм; единственными противни-

ками – малочисленные славянофилы[5], стоявшие особняком и возбуждавшие всеобщий смех и глумление. Такое направление было очень понятно. Под национальным разумелось не национальное вообще, а специально русское национальное, которое было так бедно, ничтожно, особливо если смотреть на него с чужой точки зрения; а как же было не стать на эту чужую точку зрения людям, черпавшим поневоле все образование из чужого источника? Нужны были смелость, независимость и прозорливость мысли в более нежели обыкновенной степени, чтобы под бедным, нищенским покровом России и Славянства видеть скрытые самобытные сокровища, – чтобы сказать России:

Былое в сердце воскреси,
И в нем сокрытого глубоко
Ты духа жизни допроси![6]

Под общечеловеческим же разумели то, что так широко развивалось на Западе в противоположность узконациональному русскому, то есть германо-романское, или европейское. К смешению этого европейского с общечеловеческим могло быть два повода. Во-первых, общечеловеческим считалось не немецкое или французское (об английском уж и не говорим), – то и другое было также запечатлено характером узконационального, – а нечто, прорвавшее национальную ограниченность и являвшееся общеевропейским. Следовательно, обобщение уже началось, и ему следовало только продолжаться, чтобы сделаться общечеловеческим. Мало того, оно уже было таковым в сущности, и ему недоставало только внешнего повсеместного распространения, которое должно было совершиться посредством пароходов, железных дорог, телеграфов, прессы, свободной торговли и т.п. Здесь не принималось во внимание того, что Франция, Англия, Германия были только единицами политическими, а культурной единицей всегда была Европа в целом, что, следовательно, никакого прорвания национальной ограниченности не было и быть не могло, что германо-романская цивилизация как была всегда принадлежностью

всего племени, так и оставалась ею. Во-вторых, – и это главное – казалось, что европейская цивилизация в последних результатах своего развития (в германской философии и французском социализме, начавшемся с Декларации des droits de l'homme[7]) порвала последние путы национального, даже высоко-европейски-национального, и, как в научной теории, так и в общественной практике, ни с чем не хотела больше иметь дела, как с наиобщечеловечнейшим. Германская философия, с презрением устраняя все имевшее сколько-нибудь характер случайности и относительности, схватилась бороться с самим абсолютным и, казалось, одолела его. Так же точно социализм думал найти общие формы общественного быта, в своем роде также абсолютные, могущие осчастливить все человечество, без различия времени, места и племени. При таком направлении умов понятно было увлечение общечеловеческим. Само учение славянофилов было не чуждо оттенка гуманитарности, что, впрочем, иначе и не могло быть, потому что оно также имело двоякий источник: германскую философию, к которой оно относилось только с большим пониманием и с большей свободой, чем его противники, и изучение начал русской и вообще славянской жизни – в религиозном, историческом, поэтическом и бытовом отношениях. Если оно напирало на необходимость самобытного национального развития, то отчасти потому, что, сознавая высокое достоинство славянских начал, а также видя успевшую уже выказаться в течение долговременного развития односторонность и непримиримое противоречие начал европейских, считало, будто бы славянам суждено разрешить общечеловеческую задачу, чего не могли сделать их предшественники. Такой задачи, однако же, вовсе и не существует, по крайней мере в том смысле, чтобы ей когда-нибудь последовало конкретное решение, чтобы когда-нибудь какое-либо культурно-историческое племя ее осуществило для себя и для остального человечества. Задача человечества состоит ни в чем другом, как в проявлении, в разные времена и разными племенами, всех тех сторон, всех тех особенностей направления, которые лежат виртуально (в возможности, in

potentia) в идее человечества. Ежели бы, когда человечество совершит весь свой путь или, правильнее, все свои пути, нашелся кто-либо, могущий обозреть все пройденное, все разнообразные типы развития во всех их фазисах, тот мог бы составить себе понятие об идее, осуществление которой составляло жизнь человечества, – решить задачу человечества; но это решение было бы только идеальное постижение ее, а не реальное осуществление. Какая форма растительного царства осуществляет наиполнейшим во всех отношениях образом идею или, пожалуй, задачу растения: пальма или кипарис, дуб, лавр или розан? Очевидно, что такой формы вовсе нет, что иная сторона растительной жизни выражается совершеннее мхом, чем более развитыми формами. Полное осуществление идеи растения заключается лишь во всем разнообразии проявлений, к которому она способна, во всех типах и на всех ступенях развития растительного царства, и может быть только идеально постигаемо, а не реально осуществляемо. Может показаться, что это иначе в царстве животном. Человек кажется высшим осуществлением идеи животного. Нисколько! Человек как животное во многом стоит гораздо ниже других животных. Свободное движение принадлежит, конечно, к идее животного; но человек несравненно хуже двигается в воде, чем рыба; в воздухе – чем птица; на земле – чем лошадь, олень или собака; на дереве – чем обезьяна или белка и т.д., хуже даже при посредстве искусственно созданных им себе органов – пароходов, паровозов, воздушных шаров и т.д. К понятию животности принадлежит также способность превращать в составные части своего собственного тела извне почерпаемое вещество; и в этом отношении пищеварительные органы лошади или коровы гораздо совершеннее устроены, потому что способны извлекать химически однородные с их телом части из веществ столь мало питательных (то есть столь мало этих частей в себе заключающих), как трава. Способность получать впечатления от предметов внешнего мира есть также одна из принадлежностей животности; и тут зрение орла или сокола гораздо превосходнее человеческого: это настоящие зрительные трубы, которые

могут приспособляться к зрению вблизи и к зрению вдали; обоняние собак бесконечно совершенное, чем у человека; слух или осязание у летучих мышей равняется как бы шестому чувству, удостоверяющему их в присутствии предметов, до которых они не прикасаются и которых они не видят. Животное совершенство человека заключается только в том, что он изо всех животных – наименее животное и потому способен к соединению с духом, который должен победить эти остатки животности. Следовательно, и животность осуществляется вполне также не в одной какой-либо форме, а во всех типах и во всех ступенях развития животного царства. Возьмем отдельного человека: какой возраст осуществляет вполне все стороны его природы? Когда достигают все его способности своего наивысшего развития? Никогда. В одних отношениях он бывает, так сказать, вполне человеком только в зрелом возрасте, в других – в юношеском, в третьих – в старческом (опытность), в некоторых – даже в детском (память), и полным человеком называем мы того, который совершенно проявил все разнообразие своей природы во всех фазисах своего развития. Итак, и идея человека может быть постигаема только через соединение всех моментов его развития, а не реально осуществляема в один определенный момент; хотя тут есть то существенное различие, что человек сохраняет сознание своей индивидуальности через все возрасты, через которые прошел, и, следовательно, это идеальное постижение выполнения им своей задачи может им почитаться за реальное ее осуществление. Если бы, однако, человек осуществил свою задачу в один фазис (в один момент) своего существования, то – вследствие единства сознания – мог бы еще видеть в этом частном осуществлении вознаграждение за недостаточность ее полного решения во все времена своей жизни; но ни человечество, как существо коллективное, ни отдельный какой-либо человек не носят в себе сознания человечества. Поэтому какой удовлетворительный смысл имело бы полное осуществление задачи человечества в какой-либо момент его истории? Что значила бы цивилизация, которая соединила бы в себе (если бы даже это было возможно

и совместимо) все стороны в отдельности, проявленные доселе разными культурно-историческими типами, – соединила бы совершенство положительной науки, достигнутое цивилизацией Европы; полное развитие и осуществление идеи изящного, как во времена греков; живое религиозное чувство и сознание евреев или первых веков христианства; богатство фантазии Индии, прозаическое стремление к практически полезному Китая, государственное величие Рима и т.д., – довела бы еще это все до высшей степени развития с прибавлением идеально совершенного общественного строя? Какой удовлетворительный смысл имел бы этот несколько веков или хотя бы и тысячелетий продолжающийся золотой век в сравнении со всеми прежде истекшими тысячелетиями? Чтобы придать ему этот смысл, нужно принять фантазии Леру («De L'humanite»)[8] или Перти («Die mystischen Erscheinungen der menschlichen Natur»)[9] о существовании какого-то демиурга – духа земли, который всю коллективную жизнь человечества сознает как свою индивидуальную. Иначе все усилия отдельных цивилизаций, из которых каждая осуществила наиполнейшим образом известную сторону идеи человечества (хотя эти стороны и не одинакового значения), оказались бы не живыми вкладами в общую его сокровищницу, а только жалкими подмостками, ни на что не годными, – не стоющими того, чтоб обращать на них внимание, – детскими попытками, не имеющими более значения с тех пор, как лежавшие в них обещания достигли своего исполнения. Отдельная личность может достигнуть разрешения своей задачи – реального осуществления своего назначения, потому, что она бессмертна и потому, что ей преподано это разрешение свыше, независимо от времени, места или племени; но это осуществление лежит за пределами этого мира. Для коллективного же и все-таки конечного существа – человечества – нет другого назначения, другой задачи, кроме разновременного и разноместного (то есть разноплеменного) выражения разнообразных сторон и направлений жизненной деятельности, лежащих в его идее и часто несовместимых как в одном человеке, так и в одном культурно-историческом типе развития.

Но теперь никто не верит или очень немногие верят тому, чтобы германская философия действительно низвела абсолютное в человеческое сознание или чтобы французский социализм нашел трансцендентальную формулу, разрешающую общественную задачу; но, несмотря на это, все же продолжают смешивать Европу с человечеством, утверждать, что она вышла из сферы ограниченно-национального – в сферу общечеловеческого. Я вижу в этом только смешение понятия о цивилизационной ступени развития культурного типа с понятием об общечеловеческом на том основании, что цивилизация всегда стремится разрушить те специальные формы зависимости, которые были наложены на племенную волю при переходе народов каждого культурного типа из этнографической в государственную форму быта, и заменить их известными формами свободы. Эти формы зависимости принимаются за национальное, а соответствующие им формы свободы – за человеческое (соответственно общей неверности исторического взгляда, смешивающего ступени развития с типами, планами организации и принимающего, например, Новую историю, или историю цивилизационного периода германо-романского племени, за непосредственную ступень развития всего человечества); хотя как эти формы развития, так и соответственные им формы свободы равно национальны и обусловливают друг друга. Так, например, религиозный деспотизм римского католичества принимается за национальную принадлежность европейских народов; а анархическая свобода протестантизма – за общечеловеческую форму христианства; или религиозная нетерпимость и вмешательство церкви во все государственные, гражданские и семейные отношения почитаются узконациональным явлением, свойственным Средним векам, то есть национальному периоду жизни европейских народов, а религиозный индифферентизм и государственный атеизм с гражданскими браками и т.п.– за явление общечеловеческое; монархический феодализм – за явление национально-германское, а конституционализм на английский лад – за явление общечеловеческое. В такую же точно противоположность ставят: феодальное крепостное право – с

неограниченной личной экономической свободой, то есть пролетариатом и коллективным рабством; цехи и корпорации – с экономической неурядицей, выражаемой формулой «Laissez faire, laissez aller»[10]; меркантилизм и эксплуатация колоний – с фритредерством[11]. Но каковы бы ни были причины, заставляющие смешивать национально-европейское с общечеловеческим, нам надо рассмотреть, можно ли вообще противополагать национальное общечеловеческому?

Человечество и народ (нация, племя) относятся друг к другу как родовое понятие – к видовому; следовательно, отношения между ними должны быть вообще те же, какие вообще бывают между родом и видом. Возьмем же для примера какой-нибудь общеизвестный род, например, растительный род – малину или животный род – кошку. Я не думаю делать никаких унизительных для человека сравнений, а только хочу выяснить отношения видового понятия к родовому на осязательных примерах. В понятие рода входит то, что есть общего во всех видах. Таким образом, род малины характеризуется цветком, похожим на маленькую розу, с чашечкой о пяти разрезах (а не о десяти, как у земляники), с плодом, составленным из отдельных ягодок или просто сухих костяночек, вместе слепленных и надетых, как колпачок, на коническое полукругло-выпуклое окончание стебелька. Род кошки характеризуется круглой головой и тупым рылом, определенной формою, расположением и числом зубов, пятью пальцами на передних и четырьмя на задних лапах, с выпускными когтями. Очевидно, что ни малины, ни кошки как рода мы себе вовсе представить не можем. Это нечто отвлеченное, неполное; для того, чтобы получить действительное существование и сделаться удобопредставляемым, оно требует себе дополнений. Цветок и плод известной формы должны получить известный цвет, соединиться с известной формой листьев и стеблей, и все это должно быть травой или кустарником. С этими дополнениями родовые свойства малины образуют более определенные понятия садовой малины, ежевики, морошки, поленики и т.п., принадлежащих к роду малины. Так же точно с кошачьими отличительными чер-

тами зубов, лап, когтей и т.п. соединяются: различного размера тело, различной длины хвост, присутствие гривы, круглый или щелеобразный зрачок, уши с кисточками или без кисточек на конце, шерсть одноцветная, полосатая или пятнистая и т.д. и образуют определенные формы льва, тигра, барса, рыси, домашней кошки и т.д., которые все принадлежат к кошачьему роду. Род, понимаемый в этом смысле, есть только отвлечение, получаемое через исключение всего, что есть особенного в видах; это – сумма свойств всех видов, за вычетом всего, что есть в них необщего всем им, и потому род есть нечто в действительности невозможное, по своей неполноте нечто более бедное, чем каждый вид в отдельности, который, кроме общеродового, заключает в себе еще нечто особенное, хотя это особенное и менее существенно, менее важно, чем общее.

Но род может быть понимаем в ином смысле. Именно: то, что в нем есть общего, может для своего осуществления соединиться с особенностями, но только с известными, почему-то ему соответствующими, а не со всякими возможными особенностями. Общемалинное может соединяться с травянистой формой, с широким округленным простым листом, с белой окраской цветка, с оранжевой окраской плода – и образовать морошку; или с кустарниковой формой, со сложным, состоящим из пяти отдельных листочков, листом, с черной окраской плода – и образовать ежевику; но не может соединяться с древесной формой, с длинным узеньким листом, с желтой окраской цветка, с белой окраской плода и т.д. Так же точно общекошачье может соединяться с средним ростом, с гладкой одноцветной плотно прилегающей жесткой шерстью, с оканчивающимся шишкой хвостом, с гривой, с круглым зрачком – и образовать форму льва; или с маленьким ростом, с мягкой шерстью, с продольным, щелеобразным зрачком – и образовать форму домашней кошки; но не может соединяться с волосистым хвостом, как у лошади, с пушистым, как у белки, с висячими ушами, как у слона, с прямоугольным поперечным зрачком, как у оленя и т.д. Следовательно, в каждом родовом понятии, кроме отвлеченной совокупности его признаков, за-

ключается еще способность дополняться известным только образом – для своего осуществления в действительности, – способность, которая теоретически неопределима, а только эмпирически исследуема. Если эту способность, лежащую в сущности (или в идее) рода, присоединить к отвлеченному родовому понятию, то род будет состоять не из того только, что общо всем его видам, а из этого общего с прибавкой всех тех дополнений, к которым он способен. В этом смысле род не будет уже одним отвлечением, а ему будет соответствовать нечто реальное, только не в одном существе, – одновременно и одноместно, а лишь в разных существах, – разновременно и разноместно осуществимое. В этом смысле род малины не будет заключаться в отвлеченном понятии *общего* между садовой малиною, ежевикою, костяникою, морошкою, поленикою, а – в совокупности малины, ежевики, костяники, морошки, поленики и т.д. Род кошки – не в отвлечении *общего* между львом, тигром, барсом, кошкою, рысью, а в реальной совокупности всех их. В первом смысле род есть только *общевидовое*, и в этом смысле понятие родовое будет у́же и ниже всякого видового в отдельности; во втором же смысле род будет *всевидовое*, и потому – шире и выше всякого вида. Для избежания недоразумений надо еще прибавить, что это отношение родового к видовому совершенно не зависимо от того генетического представления, которое мы соединяем с понятием о виде, – то есть не зависимо от того, представляем ли мы себе вид как нечто генетически самобытное, непосредственно созданное, или только с течением времени, под влиянием внешних обстоятельств дифференцировавшееся, осамобытившееся; ибо все сказанное о настоящих родах и видах в естественно-историческом смысле прилагается вполне к отношению пород или разновидностей (в которых никто не предполагает генетической самобытности) к видам. Понятие о лошади в обыкновенном не систематически научном смысле – точно такое же отвлечение, не дающее никакого полного реального представления, как и зоологическое понятие о роде кошки; потому что всякая лошадь принадлежит к какой-либо породе и на деле никогда не бывает *просто лоша-*

дью, про которую мы даже не знаем, как она выглядит, а – или породистой арабской, или легкой, быстрой, поджарой английской, или массивной, тяжелой мекленбургской, или нестатной, но неутомимой степной и т.д.

Применим теперь эти аналогии к отношениям, существующим между народом (нацией, племенем) и человечеством. Нет нужды, что племена не составляют генетически самобытных единиц, а только с течением тысячелетий [образуют] осамобытившиеся группы, получившие не только особый характеристический наружный облик, но и особый психический строй; из этого следует только то, что отвлеченная сфера общечеловеческого обширнее, чем это было бы в противном случае; отношение же видового понятия народа, племени к родовому понятию человечества остается в сущности то же. Все-таки понятие об общечеловеческом не только не имеет в себе ничего реального и действительного, но оно у́же, теснее, ниже понятия о племенном или народном; ибо это последнее по необходимости включает в себе первое и, сверх того, присоединяет к нему нечто особое, дополнительное, которое именно и должно быть сохраняемо и развиваемо, дабы родовое понятие о человечестве во втором (реальном) значении его получило все то разнообразие и богатство в осуществлении, к какому оно способно. Следовательно, *общечеловеческого* не только нет в действительности, но и желать быть им – значит желать довольствоваться общим местом, бесцветностью, отсутствием оригинальности – одним словом, довольствоваться невозможной неполнотой. Иное дело – *всечеловеческое,* которое надо отличать от *общечеловеческого;* оно, без сомнения, выше всякого отдельно-человеческого, или народного; но оно и состоит только из совокупности всего народного, во всех местах и временах существующего и имеющего существовать; оно несовместимо и неосуществимо в какой бы то ни было одной народности; действительность его может быть только разноместная и разновременная. Общечеловеческий гений не тот, кто выражает в какой-либо сфере деятельности одно общечеловеческое за исключением всего национально-особенного (такой человек был бы не гением, а пошляком в полнейшем

значении этого слова), а тот, кто, выражая вполне сверх общечеловеческого и всю свою национальную особенность, присоединяет к этому еще некоторые черты или стороны, свойственные другим национальностям, – почему и им делается в некоторой степени близок и понятен, хотя и никогда в такой же степени, как своему народу. Англичане вполне основательно смеются над немцами, имеющими претензию лучше их самих понимать Шекспира, и не так бы еще посмеялись греки над подобными же претензиями относительно Гомера или Софокла; точно так же никто так по-бэконовски не мыслил, как англичане, или по-гегелевски, как немцы. Таких богато одаренных мыслителей правильнее было бы называть не общечеловеческими, а всечеловеческими гениями, хотя, собственно говоря, был только один Всечеловек, – и Тот был Бог.

Итак (чтобы возвратиться к употребленному мной в начале этой главы сравнению), оказывается, что отношение национального к общечеловеческому вовсе не уподобляется тесным дворикам или клетушкам, окружающим обширную площадь, а может быть уподоблено улицам, взаимно пересекающимся и своими пересечениями образующим площадь, которая в отношении каждой улицы составляет только часть ее и равно принадлежит всем улицам, а потому меньше и теснее каждой из них в отдельности. Чтобы содействовать развитию города, который представляет в нашем уподоблении всечеловечество, ничего не остается делать, как отстраивать свою улицу по собственному плану, а не тесниться на общей площади и не браться за продолжение чужой улицы (план и характер зданий которой известен только первым ее жителям, имеющим все нужное для продолжения строения) и тем не лишать город подобающего разнообразия и распространения во все стороны.

Применим теперь все сказанное в этой и в двух предыдущих главах к отношениям России или, лучше сказать, всего Славянства (которому Россия служит только представителем) к Европе.

Общечеловеческой цивилизации не существует и не может существовать, потому что это была бы только невозможная и

вовсе нежелательная неполнота. Всечеловеческой цивилизации, к которой можно было бы примкнуть, также не существует и не может существовать, потому что это недостижимый идеал, или, лучше сказать, идеал, достижимый последовательным или совместным развитием всех культурно-исторических типов, своеобразной деятельностью которых проявляется историческая жизнь человечества в прошедшем, настоящем и будущем. Культурно-исторические типы соответствуют великим лингвистико-этнографическим семействам, или племенам, человеческого рода. Семь таких племен, или семейств, народов принадлежат к арийской расе[12]. Пять из них выработали более или менее полные и совершенно самостоятельные цивилизации; шестое – кельтское[13], лишенное политической самостоятельности еще в этнографический период своего развития, не составило самобытного культурно-исторического типа, не имело свойственной ему цивилизации, а обратилось в этнографический материал для римского, а потом, вместе с его разрушенными остатками, для европейского культурно-исторического типа и произведенных ими цивилизаций. Славянское племя составляет седьмое из этих арийских семейств народов. Наиболее значительная часть славян (не менее, если не более, двух третей) составляет политически независимое целое – Великое Русское царство. Остальные славяне, хотя не составляют самостоятельных политических единиц, но выдержали все пронесшиеся над ними бури, и ныне еще продолжающие бушевать, – немецкую, мадьярскую и турецкую, не потеряв своей самобытности, сохранив язык, нравы и (в значительной части) принятую ими в начале форму христианства – православие. Частнонародное и общеславянское сознание пробудилось как у турецких, так и у австрийских славян, и надобны лишь благоприятные обстоятельства, чтобы доставить им политическую самобытность. Вся историческая аналогия говорит, следовательно, что и славяне, подобно своим старшим на пути развития арийским братьям, могут и должны образовать свою самобытную цивилизацию, что Славянство есть термин одного порядка с Эллинизмом, Латинством, Европеизмом, – такой же культурно-исторический

тип, по отношению к которому Россия, Чехия, Сербия, Болгария должны бы иметь тот же смысл, какой имеют Франция, Англия, Германия, Испания по отношению к Европе, какой имели Афины, Спарта, Фивы по отношению к Греции. Далее, всемирно-исторический опыт говорит нам, что ежели Славянство не будет иметь этого высокого смысла, то оно не будет иметь никакого, – что вся тысячелетняя этнографическая подготовка, вся многовековая народно-государственная жизнь и борьба, все политическое могущество, достигнутое столькими жертвами одного из славянских народов, есть только мыльный пузырь, форма без содержания, бесцельное существование, убитый морозом росток; ибо цивилизация не передается (в едином истинном и плодотворном значении этого слова) от народов одного культурного типа народам другого. Ежели они по внешним или внутренним причинам не в состоянии выработать самобытной цивилизации, то есть стать на ступень развитого культурно-исторического типа – живого и деятельного органа человечества, то им ничего другого не остается, как распуститься, раствориться и обратиться в этнографический материал, в средство для достижения посторонних целей, потерять свой формационный или образовательный принцип и питать своими трудами и по́том, своей плотью и кровью чужой, более благородный прививок, и чем скорее это будет, тем лучше. К чему поддерживать бесполезное, во всяком случае, обреченное на погибель? Выше представлены были примеры мнимой передачи цивилизации от одного культурно-исторического типа народам другого (примеры так называемого *культуртрегерства* и результаты, которые имели эти не раз повторявшиеся попытки) – из Греческого, Римского и Германского миров. Нет недостатка в этих примерах и между отношениями германских народов к славянским, где эти примеры более специально для нас поучительны.

Начала германо-романского типа были более или менее насильственно навязаны полякам и чехам. И что же произвела чешская и польская цивилизация? Форма, в которой европейские народы усвоили себе христианство, – католицизм, как несвойственная славянскому духу, именно в Польше (где, по

обстоятельствам, она была усвоена самым искренним образом) приняла самый карикатурный вид и произвела самое разъедающее действие, несравненно вреднейшее, чем в самой Испании (где католицизм, несмотря на то, что дошел до своих крайних результатов, не исказил, однако же, народного характера). Германский аристократизм и рыцарство, исказив славянский демократизм, произвели шляхетство; европейская же наука и искусство несмотря на долговременное влияние не принялись на польской почве так, чтобы поставить Польшу в числе самобытных деятелей в этом отношении. Чехи, по счастью, не отнеслись столь пассивным образом к чуждым народному характеру началам, старались сбросить с себя иго их; и только эти самостоятельные порывы чехов, эти противогерманские антиевропейские подвиги, каковыми их Европа считала и считает (как-то: религиозная реформа на православный лад и борьба из-за нее с Европой во времена Гуса и Жижки и начатое ими в наше столетие панславистское движение), могут и должны считаться всемирно-историческими подвигами чешского народа, его заветом потомству. В европейском, или германо-романском, духе и направлении чехи были столь же бесплодны, как и поляки. Нужно ли добавлять, что то же самое относится и к России? Прививку европейской цивилизации к русскому дичку хотел сделать Петр Великий, принимая прививку, конечно, в том таинственном (самую природу дичка изменяющем) значении, о котором было говорено. Но кто бы ни думал о вещи, хотя бы думающим был сам Петр, сущность вещи от того не изменяется: прививка осталась прививкою, а не сделалась метаморфозой в Овидиевом смысле. Народ продолжал сохранять свою самобытность; много и часто надо было обрезывать ростки, которые пускал дичок ниже привитого места, дабы прививка не была заглушена... Но результаты известны: ни самобытной культуры не возросло на русской почве при таких операциях, ни чужеземное ею не усвоилось и не проникло далее поверхности общества; чужеземное в этом обществе произвело ублюдков самого гнилого свойства: нигилизм, абсентизм, шедо-ферротизм, сепаратизм, бюрократизм, навеянный демократизм[14] и самое

новейшее чудо – новомодный аристократизм a la «Весть»[15], вреднейший изо всех «*измов*».

Слава Богу, что, по крайней мере, дичок пока уцелел и сохранил свою растительную силу. Такое навязывание чужеземных начал (чуждой цивилизации) славянскому племени вообще и России в особенности, – столько же неудачное, как и все прочие попытки этого рода, – тем неуместнее, что не имеет тех оправданий, которые могут быть приведены в пользу некоторых других подобных попыток, как, например, касательно александрийского эллинизма[16]. Здесь, с одной стороны, богато одаренный культурно-исторический тип, по недостаткам политического устройства входивших в круг его государств (слишком много заботившихся об удовлетворении потребности разнообразия в развитии и слишком мало – о единстве и крепости), должен был заглохнуть на своей родной почве, не успев завершить своего развития и принести всех плодов, к которым способен; с другой стороны, египетская народность, к которой был привит эллинизм, уже совершила свой цикл, дала своеобразный цвет и плод, давно уже пришла в состояние застоя и должна была так или иначе снизойти на этнографическую ступень развития. Поэтому то, что не могло принести пользы для Египта, могло быть и было действительно полезно в человеческом смысле. Но зачем же жертвовать славянским племенем, молодым и самобытным, от которого должно ожидать своеобразного развития и своеобразных результатов его, когда притом европейская цивилизация находится в совершенно ином положении, чем была греческая в македонские времена? Крепкая на своей почве, она может достигнуть на ней своего окончательного предназначения без всякого чужеядства. Жертва не только слишком многоценна, но и совершенно напрасна.

Итак, для *всякого славянина*: *русского*, *чеха, серба*, *хорвата*, *словенца*, *словака*, *болгара* (*желал бы прибавить: и поляка*), – *после Бога и Его святой Церкви*, – *идея Славянства должна быть высшей идеей*, *выше свободы*, *выше науки*, *выше просвещения*, *выше всякого земного блага*, ибо ни одно из них для него не достижимо без ее осуществления, – без духовно,

народно и политически самобытного, независимого Славянства; а напротив того, все эти блага будут необходимыми последствиями этой независимости и самобытности.

К этому выводу привело нас все предшествовавшее развитие занимавшего нас вопроса. Вывод этот не имеет, конечно, ничего нового для тех, которые от начала проводили или усвоили себе так называемую славянофильскую идею. Но я ставлю себя на место читателя, для которого взгляд этот более чужд, и мне слышится вопрос: в чем же, однако, может состоять эта новая славянская цивилизация? Зачатки ее на блестящем фоне европейской цивилизации становятся невидимыми для ослепленного глаза. Неужели эта глубокая наука с ее богатыми практическими результатами, покоряющими природу к ногам человека, требует коренной реформы? Неужели деятели, сделавшие так много на поприще науки и продолжающие делать, устали, истощились и требуют замены какими-то новичками, ничем или почти ничем еще себя не ознаменовавшими? Если мне удалось доселе ясно выразить мою мысль, то это сомнение не может, кажется мне, никого смущать. Народы каждого культурно-исторического типа не вотще трудятся; результаты их труда остаются собственностью всех других народов, достигающих цивилизационного периода своего развития, и труда этого повторять незачем. Но деятельность эта бывает всегда односторонняя и проявляется преимущественно в одной какой-либо категории результатов. Развитие положительной науки о природе составляет именно существеннейший результат германо-романской цивилизации, плод европейского культурно-исторического типа; так точно, как искусство, развитие идеи прекрасного было преимущественным плодом цивилизации греческой; право и политическая организация государства – плодом цивилизации римской; развитие религиозной идеи единого истинного Бога – плодом цивилизации еврейской. Поэтому совершенно невероятно, чтобы дальнейшее развитие аналитической положительной науки о природе в том же (давшем столь богатые плоды) направлении было преимущественной задачей славянского культурно-исторического

типа. Во-первых, европейские народы, как показывает опыт, еще не истощили своих сил по отношению к науке и лучше всякого другого могут продолжать дело, ими начатое и так далеко уже проведенное. В этом славянские народы, как и все другие, могут только соревновать им и быть только их помощниками. Во-вторых, необходимость в перемене направления (в новом предмете деятельности) для того, чтобы прогресс мог продолжаться, составляет внутреннюю причину того, почему необходимо появление на историческом поприще новых народов с иным психическим строем, – народов, составляющих самобытный культурно-исторический тип. Из этого не следует, чтобы цивилизация иного типа не могла с успехом действовать на поприщах, уже с успехом пройденных другими; но не такого рода деятельность может составлять ее главную задачу.

Новейшая наука составляет явление столь величественное, что перед ней все прочие стороны жизни как будто утрачивают свою значительность. Разве многие не считают искусства как бы забавою, развлечением от нечего делать, годным занимать тунеядцев, но, собственно говоря, недостойным нашего богатого практическим смыслом века? Нет надобности упоминать, какую роль этот односторонний взгляд отмежевывает религии. Религия обращается не более как в суеверие, приличное векам мрака и невежества, не только лишнее в века просвещения и прогресса, но составляющее даже положительное препятствие для дальнейшего развития и преуспеяния. Все несовершенства общественного устройства (или что таковым кажется) являются точно так же плодом невежества, а не необходимым следствием коренных условий исторического развития и потому будто бы могут быть устранены применением общественной теории, выработанной таким-то ученым или утопистом. При таком взгляде, конечно, наука (и притом именно положительная наука о природе) как бы поглощает собой всю цивилизацию, становится ее синонимом. Мало того: все, что не подходит под эту науку, составляет тормоз, гири, пуды, замедляющие шествие по пути прогресса. Доказывать односторонность такого взгляда – нет надобности. Цивилиза-

ция есть понятие более обширное, нежели наука, искусство, религия, политическое, гражданское, экономическое и общественное развитие, взятые в отдельности; и цивилизация все это в себе заключает. Я говорю, что даже и религия есть понятие, подчиненное цивилизации. Это справедливо, конечно, только по отношению к государствам или вообще к человеческим обществам, а не к отдельным лицам, для которых религия имеет, без сомнения, несравненно большую важность, нежели все остальное, что мы разумеем под именем цивилизации, и не объемлется цивилизацией, потому что по самой сущности своей выходит за пределы земного. Из этого следует, что цивилизация, или, другими словами, культурно-исторический тип, не только может считаться новым и самобытным, но и имеющим весьма большое значение в общем развитии человечества, – ежели бы даже относительно положительной науки он и не произвел ничего нового, ничего самобытного, а шел бы только по старому, правильно пробитому пути. Примером может служить Рим, который занимает не последнее место в числе культурно-исторических типов человечества, хотя был почти совершенно бесплоден в научном отношении. Хотя науки и искусства (и преимущественно науки) составляют драгоценнейшее наследие, оставляемое после себя культурно-историческими типами, хотя они составляют самый существенный вклад в общую сокровищницу человечества, однако же не они дают основу народной жизни. В этом отношении религия (как нравственная основа деятельности), политическое, гражданское, экономическое и общественное устройство имеют гораздо большее значение. Если для нас Гомер, Фидий, Пракситель, Пиндар, Софокл, Платон, Аристотель представляют собой сущность эллинизма, заключают в себе главнейший интерес две тысячи лет тому назад процветавшей жизни Греции, то для самих греков этот интерес едва ли не в большей степени выражался и сосредоточивался в Ликурге, Солоне, Фемистокле, Перикле, Эпаминонде, Демосфене, которые устраивали в Греции практическую жизнь или руководили ею. Наука и искусства, как продукты жизни народной, уподобляются

скорей тем благородным отложениям растительного организма (бальзамам, эфирным маслам, красильным веществам), которые придают блеск и благоухание их цветам и плодам, или более подобны крахмалу, составляющему запас для будущего питания растения, нежели самим клеточкам листа и ствола, в которых лежит самое начало жизни и роста растения.

Если, таким образом, нельзя отрицать возможности существования самобытных культурно-исторических типов, не лишенных важного значения в общей жизни человечества и без научной и художественной самодеятельности, то все же нельзя не сказать, что такая жизнь бедна и одностороння, что и могучий Рим в глазах потомства должен уступить место не только народам германо-романского типа, превосходящим Рим даже своим абсолютным политическим могуществом, но и политически ничтожной Элладе. Конечно, не такой бесцветной будущности мы вправе желать и ожидать для народов славянских. Что они могут иметь свое искусство, – этого обыкновенно не оспаривают, да и трудно было бы оспаривать, когда зачатки его в разных отраслях изящного у всех перед глазами. Но что такое самобытная славянская наука? Есть ли ей место, да и вообще возможна ли национальная наука? Как ни устарел этот вопрос, составлявший некогда предмет оживленного спора в нашей литературе, я не могу [его] оставить без рассмотрения в этой главе, имеющей своим предметом отношение национального к общечеловеческому.

Все известные мне возражения против возможности народного характера науки подводятся под три следующие: 1) Истина – одна, следовательно, и наука, имеющая истину своим предметом, также одна. 2) Наука преемственна; выработанное одним народом, одним веком переходит в наследие другим векам и народам, которые могут продолжать здание науки только на прежнем основании. Того же нельзя сказать (по крайней мере, нельзя сказать в той же силе) об искусствах, ибо всякое произведение искусства составляет самобытное целое и продолжаемо быть не может. Искусство других веков и народов содействует общему прогрессивному его ходу – или только

выработкой технических приемов, или тем, что служит примером, материалом изучения, дополняющим материал, доставляемый самой природою; всякий же истинный художник творит самобытно и начинает, так сказать, сызнова. Шекспир мог бы написать свои трагедии, если бы и не было прежде него Эсхила и Софокла, но Ньютон немыслим без Эвклида, без Коперника и Кеплера. 3) Самый язык, общий поэту и его соотечественникам, поставляет художника в теснейшую зависимость от его слушателей или читателей и составляет уже необходимую причину национального характера произведений словесности; при переводе же красота их всегда теряется. Между тем язык не имеет большого значения в деле науки, и для нее может быть употребляем какой бы то ни было известный большинству образованных, или ученых, людей язык, хотя бы даже мертвый, как, например, латинский.

Два последние возражения стараются объяснить, почему народность, всеми признанная в искусстве, не может применяться и к науке; и они действительно имеют некоторую силу. Но то, что говорится о влиянии языка на придание произведениям искусства народного характера, относится только к поэзии. Между тем прочие отрасли искусства: музыка, живопись, ваяние, архитектура, употребляющие для всех общепонятный язык звуков и форм, тем не менее, однако же, бывают народны, – и тогда только хороши, когда народны.

Большая способность науки к передаче, к преемству составляет неотъемлемое ее качество, но нисколько не противоречит тому, чтобы каждый самобытно трудящийся народ избирал из этого наследия (так же точно, как из материала, предлагаемого его исследованиям самой природой) то, что соответственнее специальным наклонностям и способностям этого народа, и перерабатывал это теми приемами и методами мышления, которые ему свойственнее.

Что касается до главного возражения, – что истина одна и что, следовательно, и наука одна, – то оно основывается на чистом недоразумении. Что такое истина? Самое простое, а вместе и самое точное ее определение, какое только можно

сделать, кажется мне, будет: *истина есть знание существующего именно таким, каким оно существует.* В этом понятии заключаются, следовательно, два элемента: элемент внешний – не истина, а действительность, которая, конечно, не зависима не только от национального, но и вообще от человеческого; и элемент внутренний – отражение этой действительности в нашем сознании. Если это отражение совершенно точно и совершенно полно, то есть если при нем не затерялось ни одной черты, ни одного оттенка действительности, ни одной черты не исказилось, ни одной черты не прибавилось, то такая совершенная истина, конечно, также не будет носить на себе никакой печати национальности или личности. Но такое отражение действительности в человеческом сознании невозможно, или, по крайней мере, в большинстве случаев невозможно; точно так же, как невозможно такое изображение предмета в зеркале, к которому бы не присоединялось каких-либо качеств, свойственных не отражаемому предмету, а отражающему зеркалу. Поэтому все (или почти все) наши истины или односторонни, или содержат большую или меньшую примесь лжи, – или то и другое вместе. Если бы этого не было, то понятия всех людей о том, что им хорошо известно, должны бы быть тождественны. Но они различны – и притом в двух отношениях. Во-первых, разные разряды истины в различной степени интересуют разных людей, так что каждый остается более или менее равнодушным к некоторым отраслям знания (разрядам истин), питая живейшее сочувствие к другим отраслям; во-вторых, ученые, занимающиеся теми же отраслями знания, составляют себе, однако же, совершенно различные воззрения на такие предметы, которые должны быть им в одинаковой степени известны. Таким образом, Кювье и Жоффруа Сент-Илер или Кювье и Окен, жившие в одно и то же время и занимавшиеся той же наукою, имели, однако же, совершенно иной взгляд не только на мир вообще, но и на специальный предмет их занятий – царство животных, которое, однако же, оставалось одним и тем же, кто бы ни подвергал его своим исследованиям – Кювье, Жоффруа Сент-Илер или Окен. Но каждый из них

придавал тому отражению, которое оно должно было составить в их сознании, особого характера односторонность и даже прибавлял к нему особого рода субъективные черты. Теперь спрашивается: все эти особенности в приемах мышления, в методах изыскания, случайно ли рассеяны между людьми, или сгруппированы по национальностям – так же точно, как сгруппированы нравственные свойства, эстетические способности? В последнем едва ли может быть какое-нибудь сомнение; а если это так, то и наука по необходимости должна носить на себе отпечаток национального точно так же, как носят его искусство, государственная и общественная жизнь – одним словом, все проявления человеческого духа. Из этого, конечно, не следует, чтобы тот или другой ученый не мог стоять ближе (по своему направлению, по своим воззрениям и по методам своих изъяснений и своего мышления) к чужой народности, чем к своей собственной, и это вовсе не от подражательности, а по особенностям своей психической природы. Таким образом, Жоффруа Сент-Илер был более немец, чем француз, приближаясь к школе натурфилософов; Аристотель – более европеец новых времен, чем древний грек; но такие примеры всегда останутся исключениями.

Из сказанного можно, по-видимому, вывести то заключение, что односторонность направления, примесь лжи, присущие всему человеческому, и составляют именно удел национального в науке. Оно отчасти и так, но, однако же, не совсем. Истина как бы уподобляется благородным металлам, которые мы могли бы извлекать не иначе, как обратив их сначала в сплав с металлами недрагоценными. Эта примесь, конечно, уменьшала бы ценность их; но не надо ли с этим примириться, если только под условием такой примеси можно их приобретать, если в чистом виде они нам не даются и если известного сорта примесь обусловливает и добычу драгоценного металла известного сорта? Сама примесь не получает ли в таком случае достоинства в наших глазах, как орудие, как условие sine qua non[17] дальнейшего успеха в открытии истины? Правда, что с течением времени при разновидности различных национальных направлений (и, глав-

нейшее, именно под условием этой разновидности), эти примеси выделяются, элиминируются – и остается чистый благородный металл истины. Однако же роль национальности, то есть известных индивидуальных особенностей, группирующихся по народностям, не уменьшается, не ослабевает через это в науке; ибо для науки открываются все новые и новые горизонты, которые требуют все той же работы, не могущей производиться иначе, как под теми же условиями примеси индивидуальных, а следовательно, и национальных черт к отражениям действительности в зеркале нашего сознания.

Но это только еще одна сторона предмета. Особый психический строй, характеризующий каждую народность (особенно же каждый культурно-исторический тип), проявляется не в том только, что присоединяет некоторую субъективную примесь к добываемым ими научным истинам, но еще и в том, что заставляет смотреть каждый народ на подлежащую научным исследованиям действительность с несколько иной точки зрения. Потому и отражения этой действительности в духе разных народов не совершенно между собой совпадают, но имеют в себе нечто такое, что взаимно дополняет их односторонность. Весьма странно, что отрицающие народность в науке, потому что истина – одна, допускают, однако же, ее разновременность. Слова *современная наука, новейшая наука* не сходят у них с языка. Если наука может быть разновременна смотря по возрасту, которого достигло народное сознание, почему же не может она быть и разноместна по тем особенностям психического строя, которые отличают всякий народ на всех ступенях его развития? Если мы хотим получить точное и полное представление о каком-нибудь сложном предмете, например, о горе, то недостаточно подниматься все выше и выше, чтобы обозревать ее с разных горизонтов, а надо еще заходить с разных сторон. Эта необходимость тем больше, чем многосложнее предмет исследования. Если вместо горы мы возьмем пирамиду или колонну, то, конечно, достаточно обзора ее с какой бы то ни было одной точки зрения, чтобы составить себе ясное понятие об ее форме, так как она проста и следует простому, легко постижи-

мому закону, понимание которого избавляет от необходимости обозревать предмет с разных точек зрения.

Кроме специфически субъективной примеси и необходимой односторонности, зависящих от особенностей в психическом строе разных народностей, национальный характер придается науке еще тем предпочтением, той предилекцией, которые каждый народ оказывает некоторым отраслям знания, – что так же ни от чего другого не может зависеть, как от известной соответственности, существующей между разными категориями, на которые разделяется предмет научного исследования, и между склонностями, а следовательно, и способностями разных народов. Точно так, как есть отдельные лица, чувствующие склонность к математике, к естествознанию, к филологии, к истории, к наукам общественным, так точно есть и народы – по преимуществу математики, по преимуществу филологи и т.д. Например, по любви, а следовательно, и по способности к чистой и прикладной математике первое место принадлежит, без сомнения, французам. Они одни выставили на этом поприще более первоклассных ученых, чем все остальные европейские народы вместе взятые: Паскаль, Декарт, Клеро, Даламберт, Монж, Лаплас, Фурье, Лежандр, Лангранж, Пуассон, Коши, Леверрье – французы. Германия, в которой так развита самая многосторонняя научная деятельность, может выставить против этой плеяды великих математиков – не более трех-четырех, именно: Лейбница, Эйлера, Гаусса. Еще в большей степени принадлежит Германии первенство в лингвистике или сравнительной филологии, которую Германия почти создала и далее развивает. Против имен Боппа, Потта, Вильгельма Гумбольдта, Гримма, Лассена, Шлейхера, Макса Мюллера – Франция может выставить не много равносильных соперников. Это несомненное первенство немцев в области лингвистики тем замечательнее, что его невозможно объяснить какими-либо случайными причинами. Изучение классической филологии, которое, несомненно, составляет ближайшее подготовление к занятию сравнительной филологией, не было специальностью Германии. Во французских школах, а

особенно в английских, латинский и греческий языки изучались с не меньшим, а может быть, с большим рвением, чем в Германии. С другой стороны, английские ученые имели гораздо более поводов и удобств к изучению санскритского языка, который, как известно, послужил точкой отправления для построения новой науки сравнительного языкознания. Первые немецкие лингвисты должны были даже отправляться в Лондон для изучения санскритского языка, так как в начале нынешнего столетия один этот город представлял достаточно средств для этого изучения. Я ничего не говорю о таких предметах, как практическая, наблюдательная астрономия, в которой первенство, долго принадлежавшее Англии, может быть объяснено тем, что британское правительство устраивало превосходные обсерватории и вообще доставляло средства ввиду того практического значения, которое эта наука имеет для нации по преимуществу мореходной. Но и Англия имеет свою любимую науку – это геология, которая главными своими успехами обязана англичанам.

Таким образом, мы находим три причины, по которым и наука наравне с прочими сторонами цивилизации необходимо должна носить на себе печать национальности несмотря на то, что в научном отношении влияние народа на народ и влияние прошедшего на настоящее – сильнее, чем в прочих сторонах культурно-исторической жизни. Причины эти суть: 1) предпочтение, оказываемое разными народами разным отраслям знания; 2) естественная односторонность способностей и мировоззрения, отличающая каждый народ и заставляющая его смотреть на действительность со своей особой точки зрения; 3) некоторая примесь субъективных индивидуальных особенностей к объективной истине, – особенностей, которые (как и все прочие нравственные качества и свойства) не случайно и безразлично разделены между всеми людьми, а сгруппированы по народностям и в своей совокупности составляют то, что мы называем народным характером.

Эти две последние причины не в одинаковой, однако же, степени применимы ко всем отраслям научных исследований.

Чем самый предмет проще, тем меньшую важность имеет односторонность точки зрения, с которой мы на него смотрим, для получения правильного о нем представления, как показывает вышеприведенный пример горы и колонны или пирамиды. Но точно такое же влияние имеет и самая степень совершенства, какого достигла наука. Именно, если развитие какой-либо отрасли знания дошло до того, что к исследованию ее приложима точная и положительная метода, то этим в значительной мере устраняется как односторонность личного и национального взгляда, так и субъективная примесь. Точная метода исследования как бы заставляет обозревать предмет со всех точек зрения и как бы усовершенствует то духовное зеркало, отражение в котором действительности и составляет то, что мы называем истиной. Пример влияния, оказываемого методою, лучше всего пояснит это. Пусть несколько человек примутся чертить круги от руки. Один будет делать их удлиненными, растягивающимися в овал; другой придаст своим кругам какую-то прямолинейность, сделает их похожими на квадраты с закругленными углами; у третьего они выйдут похожими на многоугольники; – и при некотором навыке можно будет отличить, кто начертил какой круг. Но снабдите чертильщиков циркулями, то есть укажите точную методу чертить круги, и индивидуальное различие пропадет: вы уже не отличите, кто начертил тот или другой круг. Относительно кругов можно достигнуть почти такого же результата долгим навыком и без циркуля. В этом примере индивидуальная примесь устранена как простотой предмета, так и применением точной методы. Возьмем предмет сложнее. Пусть несколько человек станут чертить лестницу, колоннаду, мост, внутренность церкви и т.д. Если им известны точные правила перспективы, они проведут линию горизонта, назначат несколько вспомогательных точек и, начертив план, поведут от различных его точек разные линии к принятым точкам. Соединив пересечения этих линий между собой сообразно правилам перспективы, все рисовальщики представят нам перспективные виды, как две капли воды похожие друг на друга. Но пусть они же нарисуют на глаз простой

цветок (не говоря уже о целом ландшафте, портрете или группе лиц в мгновение какого-нибудь события) – и в этом цветке отразится индивидуальность живописца, а так как национальность входит в состав индивидуальности, то и можно всегда отличить национальный характер живописи, между тем как не существует никаких школ черчения – ни национальных, ни других. Невозможно себе представить, почему бы то же самое не относилось и к наукам. Некоторые науки выработали себе точные и обыкновенно весьма простые методы исследования. Например, вся практическая астрономия приводится к определению места светила на небе, то есть, по техническому выражению, к определению его склонения и прямого восхождения, что опять-таки делается строго определенным способом. На этом основаны все дальнейшие соображения и выкладки, которые, в свою очередь, производятся по определенным методам вычисления; простора личному произволу, личному взгляду тут немного. Или возьмем органическую химию. Исследуемое вещество подвергают действию разных жидкостей, про которые известно, что одна растворяет вещества одного разряда, другая – другого; таким образом выделяется всякая посторонняя примесь. Полученное вещество в чистом виде, так называемое непосредственное вещество (substance immediate), подвергают всесожжению, собирают продукты горения, взвешивают их и по ним определяют состав вещества. Изучение вещества есть не что иное, как последовательное приведение его в соприкосновение с разными веществами при разных условиях, и подобным же образом произведенный разбор происшедших от сего результатов. Конечно, получаемые таким образом факты приводятся в связь комбинирующим умом, и в высших сферах наук (даже и таких точных, как химия и астрономия) остается еще довольно простора для личных особенностей ученого; но по мере усовершенствования науки и этот простор все более и более стесняется. Со всем тем, однако же, и в этих точных науках, руководимых строгой методою, проявляется характер различных народностей – именно в способах изложения наук и в выборе метод научного исследования.

Что может быть точнее чистой математики и где тут, казалось бы, проявляться национальному характеру? Однако же он проявляется – и самым резким образом. Известно, что греки в своих математических изысканиях употребляли так называемую геометрическую методу, между тем ученые новой Европы употребляют преимущественно методу аналитическую. Это различие в методах исследования не есть случайность, а находит себе самое удовлетворительное изъяснение в психических особенностях народов эллинского и германо-романского культурного типов. Геометрическая метода требует, чтобы геометрическая фигура, свойства которой исследуются, непрестанно представлялась воображению с полной очевидностью, что при некоторой сложности фигур (особливо когда они имеют все три протяжения, как, например, в стереометрии или в начертательной геометрии) требует большого усилия воображения, и в этом именно заключается одно из педагогических достоинств этой методы. Напротив того, при методе аналитической, составив из рассмотрения фигуры уравнение, которое связывало бы между собой некоторые существенные свойства фигуры, подвергают это уравнение процессу диалектического развития, совершенно оставляя в стороне представление о самой фигуре. Из этого диалектического развития, если оно произведено правильно, вытекают сами собой выводы, к которым могут подать повод свойства фигуры. Руссо в своих «Confessions»[18] замечает, что он никогда не мог усвоить себе математического анализа, чувствуя к нему непреодолимое отвращение; мне всегда казалось, говорит Руссо, что какое-либо положение вкладывается в шарманку, повертят ручку – и высыпаются новые математические истины. Что Руссо сказал о себе, то применяется ко всем почти людям с художественными наклонностями, то есть с сильной представительной способностью, хотя бы эти люди и не были лишены способности к тонкому диалектическому развитию мысли. Упомянем лишь о Пушкине, неспособность которого к математике сохранилась как предание в лицее. Но греки были народом по преимуществу художественным. Одно отношение предметов и понятий их не удовлетворяло, им не-

обходимо было живое, образное представление самих предметов. Нельзя также объяснить предпочтения, оказывавшегося греками геометрической методе, слабой степенью развития у них математики, при которой эта трудная метода могла удовлетворять своей цели, тогда как она уже совершенно недостаточна при нынешнем развитии науки. Мы знаем, что другой народ, стоявший вообще на низшей степени развития, нежели греки, но имевший большую склонность к отвлеченному мышлению, весьма далеко довел развитие аналитической методы в математике. Это были индийцы, изобретатели алгебры, – по словам Гумбольдта, сделавшие такие открытия в этой области, которые могли бы принести пользу европейской математике, если бы сочинения их сделались несколько ранее известными. Пример этот может быть перетолкован против делаемого мной объяснения того предпочтения, которое греки оказывали геометрической методе. Именно, индийцы слывут за народ с особенно сильной фантазией, а следовательно, и с сильным воображением. Но воображение или фантазия, которыми отличаются индийцы, совершенно иного свойства, нежели воображение греков. Воображение индийцев сочетает и нагромождает самые странные фантастические образы, но вместе с тем и самые неясные, неотчетливые; а я говорю о точности, определенности, так сказать, пластичности представления, которой именно отличалось воображение греков и которая именно и нужна для геометрических представлений; а ее вовсе не заметно ни в созданиях индийского искусства, ни в метафизических построениях индийской философии, которая, напротив того, отличается смелыми, весьма далеко проведенными диалектическими выводами.

По мере усложнения предмета наук и отсутствия строгой определенной методы в приемах научного исследования, присутствие индивидуального, а следовательно, и национального элемента становится в них все более и более ощутительным. Во время спора в нашей литературе о национальности в науке защитниками ее было, помнится мне, приведено несколько довольно удачных примеров в подтверждение ее. Но можно при-

вести примеры гораздо более сильные, против которых трудно что-либо возразить. Можно представить целый ряд теорий, которые все носят несомненный признак всеми признанного отличительного характера той национальности, которая их произвела. Я думаю, со мной охотно согласятся, что существенную преобладающую черту в английском национальном характере составляет любовь к самодеятельности, ко всестороннему развитию личности, индивидуальности, которая проявляется в борьбе со всеми препятствиями, противопоставляемыми как внешней природой, так и другими людьми. Борьба, свободное соперничество есть жизнь англичанина: он принимает их со всеми их последствиями, требует их для себя как права, не терпит никаких ограничений, хотя бы они служили ему же в облегчение, находит в них наслаждение. Начиная со школы, англичанин ведет эту борьбу, – и где жизнь не представляет достаточных для нее элементов, он создает их искусственно. Он бегает, плавает, катается на лодках взапуски, боксирует один на один – не массами, как любят драться на кулачки наши русские, которых и победа в народной забаве радует только тогда, когда добыта общими дружными усилиями. Борьбу вводит англичанин во все свои общественные учреждения. В суде ли или в парламенте – везде личное состязание. В подражание парламентской борьбе они учреждают общества прений (debating society), где обсуждаются предложенные темы и решения поставляются большинством голосов. Всякую забаву англичане приправляют посредством пари, которое есть форма борьбы мнений. Эти пари приведены в настоящую систему. У англичан есть клуб лазильщиков по горам, не с ученой целью исследований (что если и бывает, то – так, между прочим), а единственно для доставления себе удовольствия преодоления трудностей и опасностей, и притом не просто, а состязательно с другими. Итак, борьба и соперничество составляют основу английского народного характера; и вот трое знаменитых английских ученых создают три учения, три теории в различных областях знания, которые все основаны на этом коренном свойстве английского народного характера.

В половине XVII века англичанин Гоббс[19] создает политическую теорию образования человеческих обществ на начале всеобщей борьбы, на войне всех против всех (bellum omnium contra omnes).

В конце XVIII века шотландец Адам Смит* создает экономическую теорию свободного соперничества – как между производителями и потребителями (что устанавливает цену предмета), так и между производителями (что удешевляет и улучшает произведения промышленности) – теорию непрестанной борьбы и соперничества, которые должны иметь своим результатом экономическую гармонию.

Наконец, на наших глазах англичанин Дарвин[20] придумывает в области физиологии теорию борьбы за существование (struggle for existence), которая должна объяснить происхождение видов животных и растений и производить биологическую гармонию.

Эти три теории имели весьма различную судьбу. Теория Гоббеса совершенно забыта. Теория Смита разрослась в целую науку политической экономии, составляя существеннейшее ее содержание. Теория Дарвина получила большое распространение и дает направление современным ботаническим и зоологическим воззрениям. Здесь не место входить в разбор этих учений. По моему мнению, все они односторонни и носят на себе тот же характер преувеличения, как преувеличена общая их основа в английском народном характере. Как бы то ни было, для нас важно то, что печать национальности, которой они запечатлены, лежит вне всякого сомнения.

Известно, напротив того, что понятие о необходимости государственной опеки над личным произволом, над личностью человека глубоко вкоренено во французском народном характере. И вот три французские экономические школы – меркантилистов, физиократов[21] и защитников *права на труд*, требуют

* Шотландцы составляют незначительный племенной оттенок в англосаксонском племени, так, как у нас великорусы, малорусы и белорусы; следовательно, и Смит – английский ученый, точно так, как Вальтер Скот – английский романист. Главная заслуга А. Смита – трудовая теория стоимости, но здесь у него выделена теория соперничества и всеобщей конкуренции.

государственного покровительства, одна – мануфактурной промышленности, другая – земледельческой промышленности, третья требует искусственного доставления выгодного труда рабочим, когда он не в достаточной мере им предлагается самой потребностью в произведениях их труда. Француз Сен-Симон и его школа создают даже целую теорию общественного и политического устройства общества, по которой государство (в лице так называемого отца человечества и его сотрудников) управляет всем общественным трудом, раздавая добытые богатства каждому соответственно его способностям и каждой способности соответственно ее труду. Опять, не входя в разбор достоинства этих теорий, не вправе ли мы утверждать, что все они носят на себе печать французского национального характера? Нужно ли еще указывать на практическое направление бэконовой философии, которое так превосходно выставил на вид Маколей в своем биографическом этюде великого английского философа[22], или на утилитаризм Бентама[23]?

Примеры эти, кажется мне, довольно сильны и убедительны, но можно представить и еще более убедительный, потому что более общий. Он нам покажет, что некоторые периоды, некоторые фазисы в развитии наук составляют как бы удел одних национальностей, тогда как другие национальности, общая деятельность которых на научном поприще весьма обширна и плодотворна, вовсе не принимали участия в сообщении наукам этих ступеней развития. Для этого я должен войти в довольно длинные предварительные рассуждения.

При изложении истории наук, перечисляя их постепенные усовершенствования и те внешние благоприятные и вредные влияния, которые ускоряли или замедляли ход их, обыкновенно недостаточно обращают внимания на внутренний их рост и потому часто наряду с эволюционными фазисами их развития принимают и внешние влияния за основу деления истории развития наук на периоды. Поэтому ход этого развития представляется как бы случайным, и нет никакой возможности параллелизировать ступени развития, на которых стоят одни науки сравнительно с другими. Одним словом, или представ-

ляют только внешнюю историю науки (как на пример укажу на знаменитую историю естественных наук, составленную по лекциям, читанным Кювье), или смесь внешней истории с внутренней. Между тем, если даже в политической истории необходимо представить внутренний процесс развития обществ и на нем по преимуществу сосредоточить внимание, то это еще гораздо необходимее в истории наук, в развитии которых все внешнее не может не играть весьма второстепенной роли, так как всякая наука есть последовательное логическое развитие и построение истин, принадлежащих к известной сфере или категории предметов.

Чтобы отыскать этот всем наукам общий ход внутреннего развития, возьмем науку с возможно однородным составом; ибо при разнородности его одни части науки могут уйти далеко вперед, а другие – значительно от них отстать, что спутывает и усложняет общий ход развития. Кроме этого, для нашего исследования нужна такая наука, которая достигла уже значительной степени совершенства, то есть прошла через значительное число фазисов развития. Все эти желаемые условия соединяет в себе астрономия.

Как самый предмет астрономии, так и ход ее развития так просты, что тут не могло быть сомнения, какие моменты ее развития принять за поворотные пункты, начиная с которых она вступала в новый период своего усовершенствования. Эти пункты обозначены четырьмя великими именами: греком Гиппархом, славянином-поляком Коперником, немцем Кеплером и англичанином Ньютоном.

До Гиппарха вся деятельность астрономов состояла в собирании фактов, материалов для будущего научного здания. Если и в это время были известны некоторые законы, по которым могли предсказывать заранее небесные явления, например, затмения и тому подобное, то это, собственно говоря, были не законы в настоящем смысле этого слова, а, так сказать, рецепты или формулы, точно такие же, какие употребляются нередко при разных фабричных производствах. Эти рецепты предписывают взять столько-то того-то, смешать, дать проки-

петь три часа и так далее, – нисколько не выводя этих правил из сущности процесса, а почерпая их единственно из долговременного неосмысленного опыта и наблюдения. Это будет, следовательно, *период собирания материалов.*

Но масса фактов скопляется, и обозреть ее становится невозможным. Тогда является существенная потребность привести их в какую-либо взаимную связь, привести в систему. При этом избирается какой-либо принцип, бросающийся в глаза или почему-либо особенно удобный. Весьма невероятно, чтобы этот избранный для систематизирования принцип прямо сразу соответствовал самой природе приводимых в порядок фактов, обнимая собой все представляемые ими данные. Поэтому более чем вероятно, что первый опыт систематизации даст нам только систему искусственную. Так случилось и с астрономией. Система Гиппарха была системой искусственной. Она не выражала собой сущности явлений, не соответствовала им, а представляла лишь вспомогательное средство для ума и памяти, дабы эти последние могли находиться, ориентироваться в массе частностей. При этом она давала и некоторое удовлетворение пытливости ума, представляя ему множество сложных явлений в гармонической связи. Всякая система, хотя бы и искусственная, представляет ту неоцененную пользу, что дает возможность вставлять всякий новый факт на свое место. Он не остается в отдельности, а, вступая в систему, должен с ней гармонировать. Если он действительно гармонирует, то тем самым ее подтверждает; если же не гармонирует, то указывает на необходимость усовершенствовать систему. Уже и те факты, которые были известны александрийским ученым, плохо гармонировали с системой центральности Земли. Чтобы подвести их под эту систему, потребовалось усложнение. Выдумали эпициклы, то есть круги, описываемые планетами около воображаемых центров. Эти центры движутся по кругу около Земли, планеты же – около воображаемых центров, а за ними уже около Земли. С увеличением точности наблюдений громоздили эпициклы на эпициклы. Гиппарховский период должно, следовательно, назвать *периодом искусственной системы.*

Эта крайняя сложность привела ясный славянский ум Коперника в сомнение, и он заменил Гиппархову, или (как ее обыкновенно называли) Птоломееву, искусственную систему своей естественной системой, в которой всякому небесному телу назначено было то именно место в науке, которое оно занимает в действительности. Следовательно, этот великий человек ввел *астрономию в фазис или период естественной системы.*

Постановление фактов науки в их настоящее соотношение дает возможность отыскать ту зависимость, в которой они между собой находятся. Посему с принятием Коперниковой системы открылась возможность вычислить расстояния той же планеты от центрального тела на разных точках ее пути. Эти расстояния оказались не случайными, а связанными как между собою, так и со скоростью обращения, известными простыми отношениями, получившими название Кеплеровых законов, по имени их великого открывателя. Но сами законы эти оставались между собой разъединенными, как бы случайными, не вытекающими из одного общего, ясного и понятного уму начала. Поэтому такого рода законы, только связывающие между собой известные явления, но не объясняющие их, называются частными эмпирическими законами. Следовательно, Кеплеровский период развития астрономии мы можем назвать *периодом частных эмпирических законов.*

Наконец, Ньютон открывает то общее начало, которое не только объемлет собой все частные законы (так что они проистекают из него как частные выводы), но, будучи само по себе понятно уму, дает им и объяснение. В самом деле, в Ньютоновом законе непонятна только самая сущность притяжения. Но само по себе ясно, что оно должно быть во столько раз сильнее, во сколько больше число (или масса) притягивающих частичек, и что оно должно ослабляться по мере удаления притягивающего тела, как квадраты чисел, выражающих это удаление; ибо исходящая из тела сила рассеивается во все стороны равномерно и, следовательно, как бы располагается по поверхностям шаров с разными поперечниками, а эти поверхности увеличиваются, как квадраты их поперечников. Следовательно, Нью-

тоновский период астрономии должен быть назван периодом *общего рационального закона.*

Он завершает собой науку. Дальше идти некуда. Конечно, можно еще расширять, обогащать науку новыми открытиями фактов (новых планет, комет и т.д.), улучшать методы вычисления, проводить основной закон до мельчайших частностей, расширять его область на другие системы и т.д. Но никакой переворот в науке, достигшей этой степени совершенства, уже не возможен и не нужен. Единственный шаг вперед в философском значении, который еще возможен, состоял бы в таком обобщении общего рационального закона, которое, в свою очередь, связало бы его с общим рациональным законом, господствующим в другой категории явлений, в области другой самостоятельной науки.

Итак, всеми признанное деление истории астрономии по периодам ее внутреннего развития привело к отличению в нем пяти ступеней, или фазисов (*собирания материалов*, *искусственной системы*, *естественной системы*, *частных эмпирических законов*, *общего рационального закона*), которые для краткости можно назвать Догиппарховским, Гиппарховским, Коперниковским, Кеплеровским и Ньютоновским периодами. При этом оказывается, что эти ступени развития не случайны, а требуются самым естественным ходом научного развития, то есть необходимы, и потому мы должны ожидать, что они повторяются и во всякой другой науке. Прежде чем перейти к этой проверке выказавшегося в астрономии естественного логического хода развития науки, независимого от внешних благоприятствующих или препятствующих влияний, на других науках, – заметим, что до него нельзя дойти, придерживаясь внешней истории науки или смешивая ее с внутренней. В этом случае пришлось бы говорить об истории астрономии у халдеев, у египтян, у греков, о влиянии аравитян, о значении для астрономии успехов оптики, об улучшении методов наблюдения английскими астрономами и т.д., причем можно легко упустить из виду то преобладающее влияние, которое оказали великие реформаторы науки, или, по крайней мере, поставить их заслуги наравне с обстоятельства-

ми побочными. В астрономии, правда, роль этих архитекторов науки так видна, что почти невозможно не придать ей должного преобладающего значения; но тем легче сделать это в других науках. Другая наука, которая не достигла еще, правда, такой степени совершенства, как астрономия, но тоже перешла уже большое число фазисов развития и, отличаясь однородностью своего состава, очень ясно выказывает главные фазисы своего развития, – есть химия. И она без малейшей натяжки покажет нам совершенно тот же ход развития.

В древние времена и в так называемые средневековые столетия собирались только химические факты, частию при разных промышленных производствах, частию же под влиянием фантастических и мистических идей. Они вовсе не были сгруппированы между собой – ни искусственно, ни естественно, – ни хорошо, ни дурно. Ибо Аристотелево понятие о четырех элементах не заключает в себе никакой химической основы, а имеет скорее биологический характер, так как воду, воздух, землю и огонь (понимая под этим последним теплоту, свет и вообще так называемые прежде невесомые) можно рассматривать только как источник, из которого происходят и в который возвращаются органические тела. Эти элементы, как нечто извне привнесенное, не могли служить, конечно, связующей нитью для химических явлений, известных алхимикам, и потому учение об элементах не заслуживает даже названия искусственной системы.

В период искусственной системы ввел химию немец Шталь, который поэтому может быть назван Гиппархом химии. Он придумал флогистон[24], который будто бы отделяется от тела при горении, так что продукты горения или окисления (ржавчины, извести, щелочи, окиси) суть тела простые, а металлы – их соединения с флогистоном. Эта система, столь же искусственная, как Гиппархова, подобно этой последней соединяла, однако, одной общей нитью все известные тогда химические явления и позволяла давать себе отчет во взаимодействиях друг на друга и вставлять вновь открываемые факты в ее рамку. Так, вновь открытый хлор назвали обесфлогистонен-

ной соляной кислотой и т.д. Сбор фактов получил стройный порядок; всякое явление теряло свою отдельность (случайность) и должно было непременно или подтверждать систему, гармонируя с ней, или же, не согласуясь с ней, опровергать ее, – по крайней мере, усложнять ее новыми вводными положениями. Сообразно этому и Шталева теория не осталась без своего рода эпициклов, еще более мудреных, чем те, которые обезобразили Гиппархову систему. Когда оказалось, что при предполагаемом отделении флогистона вес продуктов от этого процесса увеличивается (то есть что тело одно без флогистона весит более, чем с флогистоном), то Птоломей этой системы – французский физик Гюитон де Морво придал флогистону особое беспримерное качество отрицательного веса.

Гениальный француз Лавуазье ниспроверг всю эту (в свое время чрезвычайно полезную) путаницу, придав преобладающее, так сказать, центральное значение действительному кислороду вместо мнимого флогистона, и этим поставил все на надлежащее место, соответствующее самой действительности. Лавуазье, следовательно, ввел в химию естественную систему – был *Коперником химии.*

И тут опять, точно так же, как в астрономии, вследствие естественности системы оказалось вскоре возможным отыскать частные связывающие начала, которые приводят во взаимную зависимость химические явления. Немец Венцель открывает законы соединения солей; француз Гей-Люссак – законы соединения газов в простых отношениях объемов; француз Пруст открывает самый плодотворный химический закон, по которому тела соединяются между собой не во всевозможных, а только в некоторых, весьма простых отношениях, единицами для которых служат определенные по весу количества, известные под именем пропорционалов или паев; Дюлонг и Пети открывают отношения, связывающие эти пропорциональные веса с удельным теплородом. Все эти открытия носят на себе характер Кеплеровых законов и могут быть названы частными эмпирическими законами химии. В этот Кеплеровский период развития введена химия не одним гениальным химиком, а несколькими более или

менее талантливыми или гениальными учеными. Общего рационального закона химия еще не имеет. Дальтонова атомистическая теория[25], хорошо объясняющая законы пропорциональных весов и объемов, не вполне ограждена от возражений, а главное, нисколько не объясняет самого химического сродства, степень которого может быть узнаваема только эмпирическим путем и не находится ни в какой известной зависимости от атомистического веса и других свойств, приписываемых атомам. Для этого была придумана так называемая электро-химическая теория, которая также оказалась несостоятельной, и потому должно признать, что химия не вышла еще из Кеплеровского периода развития – периода частных эмпирических законов.

Одна часть химии, именно химия органическая, долго отставала от своей старшей сестры. Хотя, конечно, система Лавуазье имела влияние и на ее развитие, однако значение кислорода здесь далеко не такое преобладающее, как в химии неорганической. Поэтому для классификации тел и реакций органической химии долго принимали чисто внешний (в химическом отношении) принцип их происхождения и некоторых наружных качеств. Трактовали о телах растительных, будто бы трехстихийных, и о телах животных, будто бы четырехстихийных, о кислотах, щелочах, смолах, жирных и летучих маслах, даже о красильных и вытяжных веществах. Такая система, как и Аристотелево учение о четырех стихиях, не может быть названа даже искусственной системой, ибо ничего собой не объясняет, ничего не приводит в связь и соотношение. Честь введения искусственной системы в химию принадлежит шведу Берцелиусу и немцу Либиху. Они, руководствуясь аналогией аммония и синерода, придумали ряд тел, названных ими «сложными радикалами», то есть телами, которые, будучи сложными, играют в соединениях совершенно ту же роль, как тела простые. Саму органическую химию Либих назвал химией сложных радикалов в отличие от химии неорганической – химии простых элементов. Эти сложные радикалы по большей части – тела гипотетические, которых никто нигде никогда не видел, но которые, однако, очень многое хорошо объясняли. Однако же многое под них и не подводилось. Думали,

что это зависит от недостаточного еще знакомства с реакциями этих тел, и надеялись, что со временем все подойдет под систему сложных радикалов. Вместо этого химики принуждены были отказаться от этой теории и перейти к системе химических типов и замещений, развитой преимущественно во Франции Дюма, Лораном и Жераром. Эта система, по-видимому, носит на себе характер системы естественной; такова ли она на самом деле – покажет будущее.

Переходя к физике, мы найдем, что эта наука, давно уже достигшая высокой ступени совершенства, отличалась в противоположность астрономии и химии чрезвычайной разнородностью состава: так что не только различные ее части всегда стояли на весьма разных ступенях развития, но даже трудно было найти такое определение этой науки, которое бы ясно и точно выражало ее содержание, и должно приписать скорее счастливому инстинкту ученых чем сознательной идее то обстоятельство, что весь этот разнородный комплекс фактов и учений оставался постоянно подведенным под общий свод одной науки – физики. Только открытия самого новейшего времени оправдали этот, так сказать, научный инстинкт. Благодаря этим открытиям можно дать физике самое краткое, простое, а вместе точное и ясное определение. Это есть наука о движении вещества, если считать равновесие частным случаем движения, – в параллель или, пожалуй, в противоположность с химией, которая есть наука о веществе в самом себе. Движение это двоякое: или оно состоит в ощутительном перемещении в пространстве, или же в колебательном движении частичек внутри тела, обнаруживающемся для наших чувств как теплота, свет, а вероятно, и электричество. Переход между этими двумя родами движения составляют волнообразное движение капельных жидкостей и звук, – так как характер движения и тут тот же, что и при так называвшихся невесомых, но движению подлежат не самые интимные частички тел, и с ним сопряжено ощутимое перемещение, как, например, в дрожащей струне. Учение о движениях первого рода, составляющее предмет первой части физики (как принято это называть в изложениях

этой науки), состоит из приложения математического анализа, из отдельных наблюдений над некоторыми свойствами тел и из приложения теорий, выработанных другими науками (теория притяжения, химическая теория). Поэтому, не имея самостоятельности, эти учения не могут ясно выказать излагаемого здесь хода развития. Что касается до учения о невесомых, то первенствующую руководительную роль играла в нем оптика, и в развитии этой частной науки ясно выражается ход его.

За сбором фактов, из которых к некоторым было приложено математическое построение (отражение и преломление света), последовала их искусственная систематизация Ньютоном посредством теории истечения. Почти одновременно с ним голландец Гюйгенс[26] применил к световым явлениям естественную систему, известную под именем теории волнений. Многие законы, открытые Малюсом, Френкелем, Юнгом, Фраунгофером, составили период частных эмпирических законов, которые утвердили эту естественную систему. Учение о теплороде[27] следовало за успехами оптики. Большая часть оптических явлений и законов (даже интерференция) были отысканы и в явлениях теплородных, преимущественно итальянцем Меллони. С другой стороны, указана была связь явлений, собственно, так называемого электричества, гальванизма и магнетизма Эрстедом, Араго и Ампером, а также и связь с теплородом и даже светом – Меллони и Фарадеем. Наконец, первенство в развитии, долгое время принадлежавшее оптике, перешло к учению о теплороде. Предварительными трудами Румфорда, а главное, гениальными соображениями немецкого ученого, доктора Майера и опытами англичанина Джуля учение о теплороде, а вместе с ним и о свете были возведены на Ньютоновскую ступень развития общего рационального закона – *сохранения движения,* по которому так называемые невесомые вещества лишаются своей самобытности, а являются лишь видоизменением движения, переходящего из перемещения тела в пространстве – во внутреннее колебание или дрожание частиц, в свою очередь, могущее переходить в движение в тесном общепринятом смысле этого слова. Тут (как сама сила притяжения в Ньютоновом законе[28]) остается непо-

нятным только гипотетический эфир[29], который служит передаточным средством для этих движений. Этому учению остается только развиваться и применяться с тем же успехом к явлениям электричества и его видоизменений. Таким образом, специальный предмет физики – учение о невесомых – вступило первым после астрономии в высший фазис научного развития.

В ботанике опыты установления системы начались с XVII или с XVI столетия, но вполне удалось это великому шведу Линнею. Введенная им система была вполне искусственная, и составляет даже как бы тип искусственной системы, представляя все ее достоинства (то есть большое удобство и простоту в подведении под нее классифицируемых предметов) и вместе с тем чрезвычайную неестественность, соединение разнородного, разделение сродного, – одним словом, поставление предметов не в ту взаимную связь, которая существует между ними в действительности. Но и тут искусственная система имела то же выгодное влияние на развитие науки, как и всегда. Явилась возможность группировать факты, пользоваться трудами предшественников и свои собственные труды передавать другим в общей связи со всем материалом науки, – и результаты оказались те же. Рамка искусственной системы скоро сделалась узка: втиснутые в нее факты сами ее разорвали. Гениальные французы Адансон и два Жюссье, дядя и племянник, установили в ботанике естественную систему и тем не только ввели свою науку в новый Коперниковский период развития, но (по словам Кювье) произвели переворот во всем естествознании; потому что естественная система растений не только послужила примером для зоологии, но дала возможность обобщать в должной именно мере все анатомические и физиологические наблюдения и опыты, производимые над растениями и животными. Без естественной системы невозможны ни сравнительная анатомия, ни сравнительная физиология (как растительная, так и животная). Кроме того, так как в растительном мире видимость мало соответствует существенному морфологическому характеру растений, то установление естественной системы не могло быть здесь чем-либо случайным, счастливой

догадкой, а требовало выработки самой теории естественной системы (принятие во внимание всех признаков предметов, взвешивание относительного достоинства этих признаков и т.д.). Это и было сделано ботаникой, а затем усовершенствовано зоологией (установлением типов организации) – для примера и руководства всем прочим наукам.

В зоологии искусственная система была также введена Линнеем. Здесь надо заметить, что, по самой сущности дела, искусственных систем может быть очень много, одновременно существующих или последовательно заменяющих одна другую. Так и в астрономии, кроме системы Гиппарха, усовершенствованной и усложненной Птоломеем, была еще система египетская, и даже после Коперника появилась еще искусственная система Тихо де Браге, желавшего примирить привычную ложь, от которой трудно было отказаться, с истиной. Так и в ботанике, и в зоологии было несколько искусственных систем; но я беру здесь за грань двух периодов развития только ту из них, которая полнее других выразила идею и цель искусственной системы и которая, следовательно, в сильнейшей степени оказала то влияние на развитие науки, которое вообще свойственно искусственной системе.

Введению естественной системы обязана зоология Кювье. В противоположность искусственной системе, естественная система, как и все истинное, может быть только одна, но она может беспрестанно усовершенствоваться, все более и более приближаясь к выражению того соотношения предметов и явлений, которое существует в самой природе. Говоря об естественной системе, надо сделать еще замечание, которое нам пригодится. Именно: Линнеева зоологическая система не была вполне искусственной. Высшие отделы животного царства установлены Линнеем вполне естественно. Но это зависело от того, что характеры главных естественных групп высших животных так резко напечатлены самой природой, что не признать их не было никакой возможности. Эти группы были верно установлены еще Аристотелем; можно даже сказать, что они никогда и никем в особенности установлены не были, а

всегда были ясны и для простого неученого человека: звери, птицы, рыбы, – возможно ли неверно схватить характеры этих групп? Это уже возможнее относительно пресмыкающихся (змей, ящериц, черепах, лягушек), и в них и была сделана Линнеем ошибка. Если бы различие в характере прочих животных было столь же резко запечатлено во внешней форме, как в животных высших, то искусственная система, по самой силе вещей, была бы невозможна. Поэтому может случиться, что иная наука перескочит в своем развитии через ступень искусственной системы. Мы скоро увидим тому пример.

Минералогия есть собственно учение о морфологических явлениях неорганического царства; своей физиологии она не имеет, ибо она совпадает с химией и отчасти с физикой. Первый опыт классификации минеральных форм, который можно признать системою, принадлежал великому немецкому ученому Вернеру, и его система опять-таки была искусственная и оказала то же влияние на эту отрасль знания, как ботаническая и зоологическая классификация Линнея, привлекши к ней значительное количество ученых сил. Французскому аббату Гаюи принадлежит честь установления естественной морфологии минералов. За ним некоторые немецкие ученые – Моос, Розе, особенно же Митшерлих – открыли частные эмпирические законы, обусловливающие формы кристаллов, и именно Митшерлих открытием изоморфизма указал на связь между формами кристаллов и химическим составом тел. Но общий принцип образования кристаллов, рациональная зависимость наружной формы от внутреннего расположения частиц остаются еще неизвестными.

Тот же Вернер представил первую научную систему геологии, явления которой до того времени приводились в связь только для подтверждения или опровержения библейского сказания о днях творения или же служили основой для разных фантастико-космогонических мечтаний. Система Вернера, желавшая все произвести из воды, оказалась искусственною; но влияние этой системы на развитие науки было так велико, что введенные Вернером термины: первозданных, флецевых

гор, первичных, вторичных, переходных образований – доселе сохранились в науке. Шотландец Гуттон и его последователи поставили на подобающее место воду и огонь – Нептуна и Вулкана – в образовании земной коры и тем ввели науку в период естественной системы, в котором она теперь и находится.

Мы обозрели, таким образом, весь круг естествознания и, как мне кажется, без малейшей натяжки подвели все относящиеся сюда науки под тот общий план развития, который с такой ясностью выказывается в астрономии. Из прочих наук только одна еще сравнительная филология, или лингвистика, причисляемая некоторыми также к числу наук естественных, достигла достаточной степени совершенства, чтобы в ней можно было указать на несколько перейденных эволюционных фазисов.

До конца прошедшего столетия вся обширная область языкознания представляла лишь массу научного материала, не приведенного в взаимную связь. Как в геологии, так и тут некоторые теоретики подчиняли факты извне почерпнутому началу, – узко понятому богословскому воззрению, по которому еврейский язык должен был быть первым языком человечества, от которого проистекли все остальные, что, конечно, доставляло обширное поприще произволу и натяжкам.

Открытие санскритского языка произвело переворот в этой науке. Тут случилось то же, на что я указывал, говоря о зоологической системе Линнея, по отношению к высшим животным. Первый знаток санскритского, англичанин Вильсон, обладая знанием языков греческого и латинского и своего родного языка (отрасль германского корня), не мог не заметить соединявшего их сродства, что и высказал совершенно определительно. Поэтому первая систематизация языков оказалась естественной. Ступень искусственной системы была тут перешагнута, и языкознание прямо перешло в период естественной системы из периода собирания материалов. Но и естественная система, по самой ее легкости и очевидности, не могла долго останавливать на себе внимания, и потому, вслед за английскими санскритистами, немецкие филологи Бопп и Гримм (относительно немецкого языка) ввели свою науку в период

частных эмпирических законов, состоящих в законах фонетического изменения звуков при этимологической деривации языков. В отдельной группе языков романских, происшедших заведомо от латинских или древнеитальянских наречий, также не было места искусственной системе. Естественная система дана была тут самой историей. В прочих группах языков повторяется только тот ход научного развития, который начался с группы языков арийских.

Из прочих наук логика и чистая математика, не имея внешнего объекта и состоя, так сказать, из чистого диалектического развития мысли, не только не представляют тех фазисов развития, которые выводятся из истории прочих наук, но даже по самой сущности своей не могут представлять никаких переворотов в своем прогрессивном ходе. Между тем как науки объективные исходят от данных видимого мира, представляющихся во всей их сложности и раздробленности, и постепенной группировкой восходят к более общим и простым началам, – точкой отправления наук субъективных служат именно простейшие начала, так сказать, присущие нашему уму, из которых все дальнейшее развитие проистекает как следствие. Эти науки, следовательно, суть науки выводные, дедуктивные. Затем остальные науки суть или науки прикладные, не самостоятельные (как, например, терапия, агрономия, технология и проч.), которые заимствуют свои начала и свои материалы из других отраслей знания и прикладывают их только к известным целям, или (как науки общественные, исторические, философские) находятся то в периоде собирания материалов, то в периоде непрестанной замены одной искусственной системы другой.

Замечательно, что для четырех из пяти периодов развития результаты, достигнутые в предыдущем периоде, сохраняют все свое значение и в последующих; организм науки только дополняется. Исключение составляет только второй период – период искусственной системы. Он похож на те преходящие органы животных, которые играют лишь временную роль, как, например, вольфовы тела[30], исчезающие после зародышного состояния, не оставляя после себя следов. В самом деле, Ньютонов

закон не устраняет из астрономии законов Кеплеровых, ни эти последние – системы Коперника; даже все частные наблюдения, сделанные александрийскими или халдейскими астрономами, сохраняют всю свою силу для науки. Но системы Гиппарха, Птоломея, Тихо де Браге теперь как бы не существуют для науки; они остались лишь в истории и в ней только изучаются. То же самое относится к системам Шталя, Вернера, Линнея, к Ньютоновой теории истечения. В этом смысле, кажется мне, должно понимать то положение, что факты в науке остаются, а теории преходящи. Преходящи не все теории, а те только, которые имеют соотношение к периоду установления искусственной системы; эта система как бы соответствует лесам и подмосткам научного здания, которые потом снимаются, но без которых здания невозможно было бы построить. С другой стороны, искусственная система составляет в известном смысле, может быть, самый полезный и плодотворный шаг в развитии самой науки. Она придает собранному материалу единство, выводит его на свет Божий, лишает характера таинственности, отдельных рецептов и формул, составляющих лишь собственность так называемых адептов, – делает массу фактов доступной всякому, желающему посвятить свои труды и силы какой-либо отрасли знания. Хотя эта система примешивает, по необходимости, нечто ложное к сумме добытых фактов, но она же дает и средство разрушить, устранить это ложное постановлением его в противоречие с самим собой. Поэтому только с введением искусственной системы знание получает достоинство науки. Но в этом периоде науке предстоит опасность вращаться в ложном кругу, заменять одну искусственную систему другой, не подвигаться существенным образом вперед. Эта опасность устраняется только введением естественной системы, после чего наука, так сказать, входит в правильное русло.

После этого длинного отступления, я, наконец, перехожу к выводам относительно влияния, оказываемого особенностями национального психического строя на науку. Мы рассмотрели историю развития девяти наук и отметили в них в совокупности 22 периода или фазиса развития, разграниченных 24 научными

реформами. Национальность того ученого или тех ученых, которые возвели свою науку на непосредственно высшую ступень развития, мы с намерением всегда отмечали. Это даст нам возможность составить следующую весьма поучительную табличку, в графы которой мы разместим названия национальностей, к которым принадлежали эти великие двигатели науки.

НАЗВАНИЯ НАУК	**НАЗВАНИЯ ПЕРИОДОВ РАЗВИТИЯ**			
	Искусственной системы	Естественной системы	Частных эмпирических законов	Общего рационального закона
Астрономия	грек	славянин	немец	англичанин
Неорг. химия	немец	француз	немец, француз	–
Орг. химия	швед и немец	французы	–	–
Учение о невесомых	англичанин	голландец	француз, немец, англичанин	немец и англичанин
Ботаника	швед	француз	–	–
Зоология	швед	француз	–	–
Минералогия	немец	француз	немцы	–
Геология	немец	англичанин	–	–
Лингвистика	–	англичанин	немцы	–

Из этой таблицы оказывается, что вообще содействовали возведению наук из одного периода в другой:

Немцы	в 10 случаях
Французы	в 7 случаях
Англичане	в 6 случаях
Шведы	в 3 случаях
Голландцы	в 1 случае
Славяне	в 1 случае
Греки	в 1 случае

Следовательно, первенство в сообщении плодотворного движения наукам вперед бесспорно принадлежит немцам. Но эта прогрессивная деятельность разных национальностей является весьма различной в различные периоды научного развития. Именно, обращая внимание лишь на народы, бывшие главными деятелями в науке, – на немцев, англичан и французов, – мы видим, что англичане более или менее содействовали возведению наук на все четыре ступени их развития; немцы оказали преимущественное участие в возведении наук на ступень частных эмпирических законов или более или менее участвовали в этом труде во всех науках, достигших этого периода развития; вместе с англичанами разделяют они славу возведения наук на высшую ступень их совершенства; в четырех случаях из восьми – были единственными деятелями или главными участниками в искусственной систематизации знаний, *но ни одной науки не ввели в период естественной системы.* Совершенно напротив того, французы были главными деятелями в сообщении движения наукам в периоде естественной системы, именно из девяти случаев в пяти, и ни в одной науке не установили искусственной системы.

Из этого мы видим, во-первых, что роль каждой из трех национальностей в общем научном движении совершенно соответственна степени различия их национального характера: так что между французами и немцами замечается наибольшая противоположность, а англичане, которые и этнографически, и лингвистически соединяют немцев с французами, занимают и тут как бы посредствующее звено. Во-вторых (и это главное), неучастие немцев в возведении наук на степень развития естественной системы, сильное участие их в установлении систем искусственных и, напротив того, преобладающее участие французов в естественно-систематическом периоде научного развития и совершенное их неучастие в периоде искусственно-систематическом – изъясняются самым удовлетворительным образом общепризнанными особенностями в психическом строе этих двух богато одаренных народов.

Мы видели, что искусственная система почти всегда предшествует естественной. Это зависит от того, что весьма мало вероятия на то, чтобы в неприведенной в порядок груде материалов можно было прямо схватить между ними все сходства и различия и притом каждое из них должным образом взвесить и оценить. Гораздо вероятнее, что сначала бросится в глаза какой-либо признак, кажущийся почему-либо преобладающим. Так, в астрономии этим преобладающим признаком была сочтена обманчивая видимость явлений; в химии – также обманчивая видимость отделения *чего-то* при горении, что и было названо Шталем флогистоном. Но это только одна из причин искусственности систем, так сказать, причина объективная, проистекающая из самой сущности группируемых данных. Но есть и другая причина – причина субъективная, зависящая от психического строя классификатора. Если он одарен способностями по преимуществу умозрительными, то сложность отношений между предметами мало удовлетворит его; она будет казаться ему неразумной случайностью. Он будет непременно отыскивать насквозь проницающее начало, ein durchgreifendes Princip, как говорят немцы, и, думая, что нашел его, подвергнет его всем видоизменениям диалектического процесса развития, будет варьировать эту тему на все лады и подводить под эти вариации своей главной темы все разнообразие классифицируемого. Но это и есть способ, неминуемо ведущий к искусственной группировке предметов. Поэтому, когда естественная система была уже установлена и в ботанике и в зоологии и оставалось бы только все более и более ее усовершенствовать, – она мало удовлетворяла умозрительные умы, и они старались переделать ее на свой лад, втиснув в свои логические категории, в рамку какого-либо диалектически развиваемого, якобы насквозь проницающего начала. Так, Окен, исходя из того начала, что животное царство должно дифференцироваться, или расчленяться, – аналогически с расчленением отдельного и притом наиболее совершенного животного организма – составил группы головных, грудных, брюшных животных, в которых как бы преобладает характер головы, груди или брюха. Каждая

из этих групп может быть (по системе Окена) типической или составлять переходы к прочим, и потому являются животные голово-головные, голово-брюшные, голово-грудные, брюхо-брюшные, брюхо-грудные, брюхо-головные и т.д. все в том же роде. Другой немецкий ученый, на этот раз ботаник, – Рейхенбах, уже в последней половине тридцатых годов думал найти этот насквозь проницающий принцип деления прямо в диалектической методе Гегелевой логики. Он отличает сначала формы, в которых будущее диалектическое развитие заключается еще как бы в зерне, находится еще в состоянии безразличия, что называет prothesis. Развитие его протезиса ведет к установлению типической формы thesis и ее противоположности antithesis, которые затем как бы примиряются в высшем единстве synthesis. В каждой из растительных групп, будто бы соответствующих этим протезису, антитезису и синтезису, конечно, повторяется тот же самый диалектический процесс.

Оставя в стороне то, что есть странного и утрированного в этих примерах, не так ли точно располагаются по строгой системе пишущиеся диссертации? Здесь это не составляет недостатка, потому что идея, положенная в основание деления, может быть, действительно, составляет мысль, которая насквозь проникает всю диссертацию: но чтобы идея, подкладываемая бесконечно разнообразной природе, действительно имела это качество и действительно так же бы варьировалась или диалектически развивалась, как ее варьирует и развивает систематик, – на это нет никакого вероятия.

Понятно, что такое направление ума, которым немцы особенно отличаются, вовсе не благоприятно для схватывания и оценивания признаков, предметов и явлений без предвзятой идеи. Напротив того, французы, менее искусные диалектики и глубокие мыслители, имеют более острый ум для непосредственного восприятия внешних впечатлений и их комбинаций по степеням действительно существующего между ними сродства, причем отсутствие всепроницающего начала не тревожит их ума. Посмотрите, как устанавливается естественная система в ботанике, где ее всего труднее было установить. Бернард

Жюссье был смотритель королевского сада, то есть садовник. Он подыскивал те формы, которые, на его физиогномический взгляд, гармонировали между собой, и сажал их близко друг к другу, постепенно исправляя свои ошибки; а его племянник научно устанавливал группы, составленные таким физиогномическим путем. Но ежели умозрительное направление ума и одержание его какою-либо все подчиняющей себе идеей мало благоприятствуют установлению естественной системы в какой-либо области знания, – они поистине драгоценны при открытии как частных, так и общих законов природы, происходящем почти всегда путем умозрения. Кеплером всецело владела мысль, что планеты совершают свои пути согласно каким-либо гармоническим сочетаниям, и он старается подвести отношение между расстояниями и временами обращения планет то под отношения между различными измерениями правильных геометрических тел, то под законы музыкальной гармонии и, наконец, под влиянием этого одержания идеей, отыскивает свои бессмертные законы.

За результат всех этих многочисленных примеров должно, кажется, принять, что плоды науки суть действительно достояние всего человечества в большей мере, чем прочие стороны цивилизации, которые в такой полноте не могут передаваться от народа к народу, особливо же – от одного культурно-исторического типа другому; но что самое произращение этих плодов, то есть обработка и развитие наук, носит на себе не менее национальный характер, чем искусство, народная и государственная жизнь. Но различием в субъективных свойствах (в психическом строе) народностей, обрабатывающих науки, не исчерпываются еще все причины, по которым и развитие науки носит на себе национальный отпечаток. В некоторых науках сам объект их существенно национален. Таковы все науки общественные.

Чтобы доказать национальность характера наук вследствие особенностей психического строя, присущего разным народностям, мы прибегли, между прочим, к изложению хода их исторического развития; для доказательства высшей степе-

ни национальности некоторых наук, – национальности, проявляющейся не только в субъективном, но и в объективном смысле, – прибегнем к классификации наук; но в этом отношении не будем далеко ее проводить, а остановимся на том только, что нам нужно для нашей частной цели.

За главное деление наук должно, кажется мне, признать их субъективный или объективный характер, – разумея под науками субъективными такие, которые не имеют внешнего предмета, а суть, по существу своему, изложение самого хода человеческого мышления; таковы только математика и логика. Все прочие науки имеют внешнее содержание, и оно обусловливает их характер.

Некоторые из этих наук могут быть названы общими или теоретическими, потому что они имеют своим предметом общие мировые сущности, безотносительно к специальным формам, в которые они облечены. Таких общих мировых сущностей три: материя, движение и дух. Изучение материи самой в себе составляет предмет химии; изучение движения – предмет физики; изучением духа, безотносительно к его частным проявлениям, должна заниматься метафизика. Однако не только существование, но даже самая возможность существования такой науки весьма сомнительна. Чтобы возможно было изучение законов духа вообще, нужно бы иметь, по крайней мере, несколько духовных существ, дабы смочь элиминировать то, что в них случайно (то, что зависит от образа соединения духа с материей и от организации этой материи), от того, что существенно принадлежит духу, как духу. Но мы знаем лишь одно духовное существо – человека; поэтому, кажется, осторожнее заменить метафизику психологией. Но возможна ли или невозможна метафизика, – которая (в параллель с химией) была бы наукой о духе, безотносительно к его проявлениям в соединении с известными формами, – для нас важно теперь лишь то, что психология представляет нам такие явления, которые не подводятся под законы материи и ее движения. Поэтому все первоначальные, самобытные законы, которым подлежит вся область нашего знания, почерпаются только из трех наук: химии, физи-

ки, психологии. Если астрономические исследования привели к открытию закона тяготения, то этот закон тем не менее есть закон физический, а не специально-астрономический.

Затем все остальные науки имеют своим предметом лишь видоизменения материальных и духовных сил и законов под влиянием морфологического принципа, о котором мы заметим только, что он так же точно не проистекает из свойств материи и ее движения, как паровая машина не проистекает из расширительной силы пара. Морфологический принцип есть идеальное в природе. Развивать мысль эту здесь не у места. Для нас важно то различие, которое проистекает для характера наук, имеющих своим предметом общие мировые сущности – материю, движение и дух, – от тех, которые рассматривают лишь их разнообразные осуществления под влиянием морфологического принципа. Это различие заключается в том, что только первые науки могут вырабатывать общие теории, остальные же могут отыскивать лишь частные законы, простирающиеся на более или менее обширные группы предметов или существ, расположенных по естественной системе, но ни в каком случае не объясняющие всех их собой. Для пояснения сделаем сравнение некоторых химических законов (с одной стороны) с физиологическими законами (с другой).

Химия говорит нам, что тела соединяются не иначе как в определенных для каждого тела по весу количествах, известных под именем химических пропорционалов, паев или атомистических весов. И мы вполне убеждены, что так же точно происходят эти соединения на Луне, Солнце, Юпитере, Сириусе и в отдаленнейших туманных пятнах. Так же точно мы уверены, что свет, проходя через прозрачные средины, преломляется, – что от полированных поверхностей он отражается, сохраняя равенство угла падения с углом отражения, где бы это отражение ни происходило – на Земле ли, или на звездах Медведицы, и откуда бы свет ни исходил – от лампы, от Солнца или от любой звезды. Но из физиологических законов общи для всех животных или растений только те, которые обусловливаются всем им общими химическими и физическими свойствами, как, например, весом.

На что казался общим закон, что размножение живых существ состоит в воспроизведении себе подобных, а между тем так называемая перемежаемость поколений (Generations-wechsel) показывает нам, что есть множество существ, у которых не дети походят на родителей, а только внуки – на дедов или правнуки – на прадедов. На что также общим казался закон, что при половом размножении необходимо присутствие двух элементов – мужского и женского, разъединенных в двух индивидуумах или соединенных в одном; а между тем явления партеногенезиса, или деворождения, показывают нам, что даже совершенно девственные самки бабочек кладут яйца, из которых развиваются вполне образовавшиеся животные. Следовательно, и эти, казавшиеся столь общими для всего живого законы применимы лишь к некоторым группам известной обширности. Если относительно других законов не делали подобных же обобщений, то только потому, что с самого начала физиологических исследований им подлежали уже существа довольно разнородные. Но представим себе, что мы не знали бы ни одного водяного животного. Мы, без сомнения, утверждали бы, что всякое живое существо, погруженное в воду, непременно задохнется, ибо не может дышать в воде; мы думали бы, что легкие и, пожалуй, воздухоносные трубочки (трахеи) суть единственно возможные органы дыхания, и, конечно, никогда не придумали бы жабр путем теории.

Этих примеров достаточно, чтобы показать, что только химия, физика и наука о духе могут быть науками теоретическими; что не может быть теоретической физиологии или анатомии, а только – физиология и анатомия сравнительная. Точно то же относится к наукам филологическим, к историческим и, наконец, к общественным. Общественные явления не подлежат никаким особого рода силам, следовательно, и не управляются никакими особыми законами, кроме общих духовных законов. Эти законы действуют особым образом, под влиянием морфологического начала образования обществ; но так как эти начала для разных обществ различны, то и возможно только не теоретическое, а лишь сравнительное обществословие и части его: политика, политическая экономия и т.д.

Что невозможна общая теория устройства гражданских и политических обществ – это осознано давно, и мало уже таких доктринеров, которые бы думали, что, например, английское государственное устройство есть некий идеал, которого все должны стремиться достигнуть, что между государствами (или вообще обществами) есть, так сказать, только различие возрастное, а не качественное. Но один уголок общественных наук упрямо сохраняет это доктринерство, именно политическая экономия. Она думает, что всякое господствующее в ней учение есть общее для всех царств и народов, – что, например, так как нет земледельческой общины в тех обществах, которые эта наука изучила и на изучении которых выводила свои теории, то общины и нигде быть не должно, что она составляет явление анормальное. Политическая экономия утверждает, что так называемая свободная торговля, которая есть выгоднейшая форма мены для Англии, где эта наука изучала торговые и промышленные явления, должна непременно применяться и к Америке, и к России. По-моему, это то же самое, как бы утверждать, что дышать можно только жабрами или только легкими, невзирая на то, живет ли животное в воде или на суше. Теоретическая политика или экономия так же невозможна, как невозможна теоретическая физиология или анатомия. Все эти науки и вообще все науки, за исключением трех вышеупомянутых, могут быть только сравнительными. Следовательно, за неимением теоретической основы – каких-либо особенного рода самобытных, не производимых экономических или политически сил и законов, – все явления общественного мира суть явления национальные и как таковые только и могут быть изучаемы и рассматриваемы. Они, конечно, могут и должны быть сравниваемы между собой, и из такого сравнения могут проистекать правила для более или менее обширной группы политических обществ, но никогда политическое или экономическое явление, замечаемое у одного народа и там уместное и благодетельное, не может считаться уже по одному этому уместным и благодетельным у другого. Это может быть, но может и не быть. Следовательно, общественные науки народны по самому своему объекту.

Итак, мы можем заключить, что и наука может быть национальна, но что в разных науках степень национальности различна. Национальность менее всего проявляется в науках простых по своему содержанию или очень высоко стоящих по своему развитию, – в таких науках, к которым приложимы строгие методы исследования. Эти методы и составят препятствие к проявлению народности или вообще индивидуальности в несколько значительной степени. Здесь роль народности ограничивается почти лишь способом изложения и выбором методы исследования, если таких приложимых метод несколько. Роль народности в науках увеличивается по мере усложнения предмета, не допускающего введения точной и строгой методы. Если науки эти не принадлежат к разряду наук общественных, то причина национального характера, который они могут и должны принимать, зависит от особенности психического строя каждой народности, в особенности же каждого культурно-исторического типа. Наиболее же национальный характер имеют (или, по крайней мере, должны бы иметь для успешности своего развития) науки общественные, так как тут и самый объект науки становится национальным. Это, как само собой разумеется, относится и к наукам словесным, но о них и говорить нечего, так как никто никогда не утверждал, что правила немецкой грамматики обязательны и для русского языка.

ГЛАВА VII
Гниет ли Запад?

О, никогда земля, от первых дней творенья,
Не зрела над собой столь пламенных светил.
Но, горе – век прошел – и мертвенным покровом
Задернут Запад весь. Там будет мрак глубок...
Услышь же глас судьбы, воспрянь в сиянье новом,
Проснися дремлющий Восток.

Хомяков[1]

В предыдущих главах я старался показать, что одно различение и сопоставление исторических событий по ступеням

возрастного развития, по ступеням совершенства, противоречит правилам естественной системы, ибо не объемлет всего многообразия этих явлений и необходимо ведет, точно так же, как в зоологии, ботанике, к искусственной системе построения науки; что необходимо присоединять к этому делению по степеням развития на периоды Древней, Средней и Новой истории или на более многочисленные группы качественное различие культурно-исторических типов как высший принцип деления. Я старался далее определить те признаки, которые обусловливают эту группировку исторических явлений, и такими признаками оказались крупные этнографические различия, на основании которых человечество разделяется на несколько больших групп. Одну из этих групп составляют народы славянского семейства, которые представляют ту же меру различия, как и группы санскритская, иранская, эллинская, латинская, германская. Из этого следует, что и славянское семейство народов образует столь же самобытный культурно-исторический тип, как и только что поименованные племена, и ежели откажется от самостоятельного развития своих начал, то и вообще до́лжно отказаться от всякого исторического значения и снизойти на ступень служебного для чуждых целей этнографического материала, – и чем скорее, тем лучше. Для устранения некоторых недоразумений мне казалось небесполезным сделать довольно длинное отступление, чтобы уяснить отношения народного к общечеловеческому, как вообще, так и в частности, относительно развития научного, против народности в котором обыкновенно всего более восстают. Характер употреблявшихся мной доказательств был внешний, так сказать, формальный. Я не касался ни сущности славянского характера, ни сущности характера прочих культурно-исторических типов, а только старался показать, что ежели степень различия славянского семейства от прочих этнографических семейств человечества вообще, и в особенности семейств арийского корня, равнозначительна с различием их между собой, то и проистекающие из сего коренного различия разности в ходе культурно-исторического развития

должны быть также равнозначительны. Против такой методы доказательств, кажется мне, можно сделать только следующее возражение. Действительно, аналогия говорит за самобытную славянскую цивилизацию; но славянское племя может составлять исключение, не имея в себе достаточных особенностей, чтобы развить, выработать эту самобытную культуру. Это возражение часто и делают, требуя категорического ответа на то, в чем именно будет состоять эта новая цивилизация, каков будет характер ее науки, ее искусства, ее гражданского и общественного строя и т.д. В таком виде возражение это совершенно нелепо, ибо удовлетворительный на него ответ, если бы он был возможен, сделал бы самое развитие этой цивилизации совершенно излишним. В общих чертах, насколько это возможно сделать на основании существенного характера доселе бывших цивилизаций, в сравнении с теми зачатками ее, которые успели уже выразиться в славянском культурно-историческом типе, я постараюсь представить ответ и на этот затруднительный вопрос; но до этого посильного ответа предстоит пройти еще длинный путь. А теперь мы должны обратиться к исследованию не более или менее вероятных результатов этого будущего векового развития, а тех основных различий, которые существуют между типом славянским и германо-романским, или европейским, – так как в этом различии и состоит весь вопрос. Исчерпать всю сущность этого различия я также не надеюсь, но желал бы представить некоторые его черты, главнейше на основании выработанного уже славянофильской школой, с некоторыми, может быть, дополнениями, которые удастся мне сделать. Но прежде чем вступить на этот путь, мне хотелось бы устранить еще одно, в сущности, неважное возражение, которое, имея также характер формальный, должно найти свое место прежде, чем вступим в иной порядок мыслей и доказательств.

Возражение это, о котором также много препирались в былое время, состоит в следующем. Если славяне имеют право на культурно-историческую самобытность, то надо сознаться, что они имели несчастье явиться со своими требованиями в весьма

неблагоприятное для таких притязаний время. Запад, Европа, находится в апогее своего цивилизационного величия: блеск его идет во все концы земли, все освещает и согревает исходящими из него светом и теплотой. Удобное ли это время для скромных задатков новой культуры, новой цивилизации? Да и зачем она, когда та, которую мы видим, так могущественна, находится в полноте своих сил, и не видно, чтоб они слабели, чтобы ощущалась потребность заменить ее чем-либо новым? Европа ведь не императорский Рим или Византия. Неужели же можно не в шутку утверждать, как то некогда делали Хомяков и Киреевский, что Запад гниет? Сами славянофилы, по-видимому, отказались от этой экстравагантности. Защищать такие парадоксы – не значит ли хотеть быть plus royaliste que le roi[2]?

Возражение это назвал я, в сущности, неважным. Разве не повторялось уже несколько раз, что во времена блеска одной культуры зарождалась новая? Не тогда ли начал Рим свое торжественное шествие, когда Греция озарялась полным блеском цивилизации и тщилась, хотя, конечно, и неудачно, передать ее отдаленнейшим народам Востока? Собственно говоря, идеальнейшим порядком вещей на земле был бы тот, когда бы все великие этнографические группы, на которые разделено человечество, одновременно развили лежащие в них особенности направления до культурного цвета; когда бы древние Китай, Индия, Иран, возмужалая Европа, юное Славянство и еще более юная Америка разом выказали всю полноту и все разнообразие заключающихся или заключавшихся в них сил, которые бы усугублялись плодотворным взаимодействием друг на друга. Такое состояние вселенской культуры имело бы только один недостаток со всемирно-исторической точки зрения. Сколько оно выигрывало бы в отношении пространственного протяжения – столько теряло бы во временнóй последовательности и тем противоречило бы требованиям экономии, всегда соблюдаемой природой. Ни одна культура не может быть вечной, и ежели бы все разом проливали свет свой, то все разом (или почти разом) и померкли бы, и мрачная ночь варварства распространилась бы над всей землей, так что новой культур-

ной жизни не у чего бы было и зажечь свой светильник. Как в начале, пришлось бы добывать огонь цивилизации трудным и медленным трением дерева об дерево. Поэтому хотя мы и не видим, почему бы не существовать еще раз двум самобытным цивилизациям одновременно бок о бок, однако же более склонны думать, что ежели вызывается культурная жизнь нового исторического типа, то, должно быть, жизнь старого угасает. Не в этом ли и главное объяснение вражды, инстинктивно чувствуемой прежним историческим деятелем к новому, предшественником к преемнику? Сама мысль, высказанная славянофилами о гниении Запада, кажется мне совершенно верной, только выразилась она в жару борьбы и спора слишком резко и потому с некоторым преувеличением.

Гниение есть полное разложение состава органических тел, и притом с выделением разных неприятно действующих на орган обоняния газов. Этот последний, весьма несущественный признак гниения и обращал на себя преимущественное внимание наших западников, как бы наносил им самое чувствительное оскорбление. В полемических статьях того времени с насмешкой говорилось о химиках, не умевших отличать гниения от жизненного брожения.

Невежество тут было на стороне не этих химиков, а тех остроумцев, которые видели существенное различие между гниением и каким-то жизненным брожением, которого, как известно, в природе не существует. Всякое брожение есть разложение, то есть переход из сложных форм организованного вещества в более простые формы, приближающиеся к неорганическим формам соединений. Следовательно, гниение ли, брожение ли – это в рассматриваемом нами отношении решительно одно и то же. Если брожение, то и разложение форм, – вещественных ли соединений или общественного быта. Чтобы из такого разложения на элементы составилась новая органическая форма, необходимо присутствие образовательного принципа, под влиянием которого эти элементы могли бы сложиться в новое целое, одаренное внутренним оживотворяющим началом. Но на такой принцип не было указано, а в этом-то

сущность дела. Впрочем, мы пойдем гораздо далее в наших уступках. Искренне и охотно скажем, что явлений полного разложения форм европейской жизни, – будет ли то в виде гниения, то есть с отделением зловонных газов и миазмов, или без оного – в виде брожения, еще не замечается. Дело не в этом. Оставив преувеличения, вопрос заключается в том, в каком периоде своего развития находятся европейские общества, на какой точке своего пути: восходят ли они еще по кривой, выражающей ход общественного движения, достигли ли кульминационной точки или уже перешли ее и склоняются к закату своей жизни? Относительно индивидуальной жизни отдельных существ вопрос этот решается легко, потому что имеется для каждого из них множество предметов сравнения. Когда волосы начинают белеть, прямой стан сгибаться, лицо морщиниться – мы знаем значение этих признаков, потому что они бесчисленное число раз уже повторялись. Относительно целых обществ это не так. Правда, история представляет нам несколько культурных типов, перешедших полный цикл своего развития, но обстоятельства этого развития большей части из них нам плохо известны. Собственно, только жизни Греции и Рима сохранились для нас в достаточной полноте, чтобы служить элементами сравнения, да и из них жизнь Рима была далеко не полной, претерпев слишком сильное искажение через влияние Греции. Кое-что ответит нам и Индия. Но всего этого мало. Возможностью этих сравнений надо, конечно, воспользоваться; но, за неимением достаточного числа данных, мы должны еще обратиться к аналогии других явлений, хотя и неоднородных с явлениями жизни цивилизаций, но имеющих с ними то общее, что они представляют развитие под влиянием причин, правильно и постепенно изменяющихся в своей напряженности.

Возьмем для первого примера ход дневной температуры. Она зависит от видимого движения Солнца по небесному своду. Высшей точки своей кульминации достигает Солнце в момент полудня, но результат этого движения – теплота – продолжает еще возрастать два или три часа и после того, как причина, ее производящая, стала уже склоняться.

Затем обратимся к аналогии того процесса в жизни Земли, который обусловливается годичным периодом. Время летнего солнцестояния, которому соответствует наибольшая долгота дня и высшее стояние Солнца, падает на июнь месяц, а результаты этого периодического движения относительно температуры достигают своей наибольшей величины только в июле или в августе. К этому же времени или еще позднее выказываются результаты для жизни растительной. В конце лета и в начале осени наступает период исполнения обещаний весны, тогда как дни уже много сократились и солнце стало гораздо ниже ходить.

Возьмем жизнь отдельного человека: полноты своих нравственных и физических сил достигает он около тридцатилетнего возраста, несколько времени стоят они на одном уровне, а за сорок лет начинают видимо ослабевать. Когда же дают эти силы самые обильные, самые совершенные результаты? Не ранее сорока лет. В одном из своих образцовых критических или биографических опытов, – не могу, к сожалению, вспомнить, в котором именно, – Маколей замечает, что ни одно истинно первоклассное произведение человеческого духа, будет ли то в области науки или в области искусства, не было выполнено ранее сорокалетнего возраста, – хотя, без сомнения, их первоначальная идея зародилась в уме в более ранний возраст. Если и можно найти исключения из этого положения английского историка, то их, во всяком случае, очень мало.

То же показывает нам и развитие языков. Филологи единогласно утверждают, что все совершеннейшие языки, не исключая древнейших – санскритского, зендского, греческого, латинского, еврейского – окончили уже рост свой ранее того периода, в который оставили они нам следы своего существования и находились уже в состоянии вырождения и упадка в те отдаленные времена, в которые они становятся нам известны. По весьма убедительному объяснению Мюллера, в этом заключается даже причина, дающая возможность генетической классификации языков арийского корня, так что кульминационный период развития этого семейства языков падает на то время, когда общий всем арийцам коренной язык не распался

еще на свои отрасли. Но когда же дала та сила, которая образовала языки, свои самые большие результаты, то есть литературный цвет и плод? В несравненно позднейший период, а для некоторых языков, как, например, для славянских, вероятно, еще и теперь не наступивший.

Из всех этих явлений неоспоримо следует, что момент высшего развития тех сил или причин, которые производят известный ряд явлений, не совпадает с моментом наибольшего обилия результатов, проистекающих из постепенного развития этих сил, – что этот последний всегда наступает значительно позже первого. Сравнение – не доказательство, comparaison n'est pas raison, говорит французская пословица. Это так. Но если можно отыскать одну общую причину во всех случаях, которые берутся для сравнения, и если эта же общая причина необходимо должна иметь место и в том явлении, которое этими сравнениями доказывается или поясняется, то сравнения получают доказательную силу, потому что и та частная причина, от действия которой зависит ход развития того процесса, для уяснения которого мы прибегаем к сравнениям, должна принадлежать к той же категории причин, иметь одинаковые свойства с теми причинами, которые действуют в аналогических явлениях, взятых для сравнения. Общая причина, по которой в четырех взятых нами явлениях (в ходе суточной температуры, ходе годичной температуры и в связанных с ней периодических явлениях растительной жизни, в индивидуальном развитии человека и в развитии языков) момент кульминации, достигаемый силой, их обусловливающей, не совпадает с моментом наисильнейшего проявления результатов этой причины, а всегда ему предшествует, так что в этот последний момент причина, обусловливающая собой эти результаты, уже более или менее значительно ослабла, уже нисходит по кривой своего движения, – объясняется из следующего простого и очевидного соображения. Результаты действия причины все более и более накопляются, так сказать, капитализируются до тех пор, пока расходование их не превзойдет притока; и хотя бы сам приток ослабел сравнительно с прошедшим временем, сумма полез-

ного действия все еще должна возрастать, пока он превышает расход. Это само собой понятно относительно дня и года. Но не то же ли относительно развития человека? Если примем, что с тридцатилетнего возраста силы его начинают слабеть, масса сведений, опытность, умение комбинировать умственный материал, метода мышления все еще могут возрастать и улучшаться вследствие, так сказать, духовной гимнастики; и эти приобретения, следовательно, могут еще долгое время перевешивать ослабление непосредственных сил. То же самое происходит и в развитии целых обществ, конечно, несколько непонятным образом. В развитии искусств, например, непосредственные творческие силы могут уменьшаться, но выработанная техника, влияние примеров, образовавшиеся предания, указывающие на ошибки, которых должно избегать, облегчая труд, могут иметь своим последствием то, что искусства будут продолжать процветать еще долгое время и даже достигать высшего совершенства. Почему слабеют силы в отдельном человеке, – это нам кажется понятным или, по крайней мере, столь привычным, что и не возбуждает удивления. Но каким образом могут слабеть творческие силы целых обществ, – это решительно не поддается объяснению, так как общество состоит из непрестанно возобновляющихся элементов, то есть отдельных людей. Однако история, несомненно, указывает, что это так, – и притом не от внешних каких-либо причин, а от причин внутренних. После Юстиниана, например, греческий народ не производит более истинно великих людей ни на каком поприще в течение почти тысячелетнего еще существования Империи.

Я сказал: одряхление несколько понятно по отношению к отдельным индивидуумам. Это несправедливо; в сущности, оно столь же непонятно, как и одряхление обществ. И отдельный человек состоит из беспрестанно возобновляющихся элементов. Частички тела его сгорают, разлагаются и выделяются под разными видами, замещаясь новыми. Почему же эти новые частички хуже старых или хуже соединены между собой, хуже расположены относительно друг друга, так что общий эффект их деятельности менее благоприятен для целого? Это не менее

трудно объяснить, как и то, почему при беспрестанном возобновлении неделимых, составляющих общественное тело, эти неделимые теряют свои превосходные качества. Почему, когда прежде между греками нарождались Периклы и Эпаминонды, Эсхилы и Софоклы, Фидии, Платоны и Аристотели и даже еще в более позднее время – Велисарии, Трибонианы, Анфимии[3], Иоанны Златоусты, они замещаются потом сплошь людьми незначительными? Старается, значит, в обоих случаях сам принцип, производящий и сочетающий эти элементы как человеческого или вообще животного, так и общественного тела. Как бы то ни было, приведенные для сравнения аналогии делают чрезвычайно вероятным, что само обилие результатов европейской цивилизации в нашем XIX столетии есть признак того, что та творческая сила, которая их производит, уже начала упадать, начала спускаться по пути своего течения.

Обратимся к аналогии, представляемой другими, уже совершившими цикл своего развития культурно-историческими типами. В какое время достигли творческие силы, произведшие греческую цивилизацию, своего апогея? Без сомнения, век Перикла представляет уже окончание этого периода. На это время падает цвет искусств и закладка того философского мышления и того рода научного исследования, которые составляют характер греческой науки. Уже с Пелопоннесской войны[4] Греция очевидно клонится к своему падению. Век Аристотеля есть уже время полного упадка, но тут только и философия и даже искусство достигают своего апогея; и только еще позже, в то время, которое можно назвать временем разложения, или, пожалуй, менее вежливо, гниения, достигает положительная наука своего полного развития в Александрии. Так же точно время полной силы римского народа совпадает с временем окончания войн Пунических и Македонских, ибо, начиная с Гракхов, внутренняя болезнь римского общественного тела начинает уже с силой обнаруживаться и требует героического, хотя и паллиативного лечения цезаризмом. Но время процветания римской цивилизации, когда она начала давать лучшие свои плоды, принадлежит царствованию Августа. Даже

во времена Антонинов[5], непосредственно предшествовавшие началу окончательного разложения, результаты римской цивилизации представлялись еще во всем блеске. Рим почти ничего не произвел самостоятельного ни в философском мышлении, ни в положительном научном исследовании. Единственное исключение составляет практическая область права, и научная обработка его соответствует очень позднему времени римской жизни; она, собственно, начинается в век Антонинов, а блестящий период этого права переживает самое Западно-Римское государство, давшее ему начало, переселившись на почву Византии. По тем немногим сведениям, которые удалось извлечь науке из разных памятников индийской культуры, временем ее творческого периода должно считать то, когда развилась браманская цивилизация[6] после покорения пригангских стран, и когда односторонность ее вызвала буддийский протест. Но блистательнейшие свои результаты представила эта культура в начале новой эры, во времена царя Викрамадитьи[7], когда жил Калидаси[8], когда возводились великолепные пагоды Эллоры и Бенареса[9] и процветали науки философские и математические. Не выходит ли из этого троекратного примера, что кульминационная точка творческих общественных сил, создающих цивилизацию, совпадает с высшим цветом искусств и с временем философски-энциклопедического знания, которое дает характер будущему направлению научного развития, и что период положительной, особенно же практической, применительной, науки характеризует то время, когда творческие общественные силы уже довольно далеко оставили за собой эпоху своего летнего солнцестояния?

Какое же время цивилизации Европы соответствует этим эпохам апогея творческих сил и какое – этим эпохам наибольшего накопления их результатов, исчезнувших цивилизаций Индии, Греции и Рима? Аналогия так поразительна, что трудно не ответить, что первым соответствует XVI и XVII века, когда возводился храм Петра[10], писали Рафаэль, Микел-Анджело и Кореджио, Шекспир сочинял свои драмы, Кеплер, Галилей, Бэкон и Декарт закладывали основы нового мышления и но-

вых метод научного исследования; а вторым – столь обильный результатами теоретическими и практическими XIX век. В первую эпоху заложено все самобытное в европейском искусстве и в европейской науке, так что в последующее время оно только продолжало развиваться по тому же пути. Плод есть по преимуществу дар начала осени, а цвет – по преимуществу дар конца весны. Точно так, как образование растительного зародыша совершается в оболочке, поражающей прелестью формы и блеском красок, так и зародыш новой философии и научной мысли бывает окружен всей прелестью поэзии, всей роскошью искусства. Момент цветения представляет нам последнюю закладку нового в жизни растения, а потому и должно считать его высшим моментом творчества растительной силы, за которым следует уже одно созревание. Оно продолжается после того, как и листья, [и] главные органы питания, засохнут; продолжается даже иногда, когда сам плод оторван от растения, на котором завязался и образовался; продолжается даже на полках кладовой. Точно так же и высшим моментом творчества общественных сил должно признать то время, когда проявляются окончательно те идеи, которые будут служить содержанием всего дальнейшего культурного развития. Результаты этого движения, этого толчка долго могут еще возрастать и представлять собой всю роскошь и изобилие плодов цивилизации; но уже создающая ее и руководящая ею сила будет ослабевать и клониться к своему упадку. Таков общий характер всякого постепенного развития, проявившийся во всех цивилизациях, совершивших свой цикл, где ход его нам сколько-нибудь известен. Если культурно-исторический тип Европы должен составлять исключение из этого общего характера, то надо указать причины такого единственного в своем роде исключения, а мы их, признаться, не видим.

При этом не надо выпускать из виду следующего: культурный тип Рима был простой, осуществляясь в одном государстве. Более сложен был тип Греции, а вследствие этой сложности различные периоды его развития не могли быть совершенно одновременны. Когда жизнь иссякла уже в Афи-

нах, живших лишь своими славными воспоминаниями, союзы Ахейский[11] и Этолийский[12] на некоторое время сохранили еще жизненность греческого начала. Еще полнее и долее сохранилось оно в Александрийской колонии, а потом в Царьграде. Еще сложнее двуосновный европейский тип, и потому естественно, что ежели в каком-либо из составляющих его народов ход развития был задержан неблагоприятными обстоятельствами, то в этом народе и высшее развитие творческого начала и его результатов появится позднее, чем у остальных народов. Это случилось, например, с Германией, в которой Тридцатилетняя опустошительная междоусобная война[13] задержала начавшееся во время Реформации развитие высшей культуры. Поэтому наступивший только в половине прошедшего столетия период высшего поэтического творчества в Германии и последовавшее за тем развитие самобытного германского философского мышления, а наконец и положительной науки, в которой только по истечении первой четверти XIX столетия заняла она первенствующее место, не может считаться противоречием высказываемому здесь взгляду на общий ход европейской цивилизации, – взгляду, по которому ее творческие созидательные силы вступили уже около полутораста или двухсот лет тому назад на нисходящую сторону своего пути. – Наступило уже время плодоношения! Жатва ли это, или сбор плодов, или уже сбор винограда; позднее ли лето, ранняя ли или уже поздняя осень, – сказать трудно; но, во всяком случае, то солнце, которое взращало эти плоды, перешло за меридиан и склоняется уже к западу. Это положение стало бы гораздо яснее и очевиднее, если бы разобрать самый характер тех зиждительных сил, которыми построено и на которых держится здание европейской цивилизации, как это и делали Хомяков и Киреевский. Я предоставляю себе высказать мои мысли об этом впоследствии, при изложении существеннейших различий между народами славянского и германо-романского типа, к которому без дальнейших проволочек теперь же и приступаю. Пока же заключаю, что развитие самобытной славянской культуры не только вообще необходимо, но теперь именно своевременно.

ГЛАВА VIII
Различия в психическом строе

Милостивый Бог снабдил род наш такою кротостью и добросердечием, яких у других народов нет, к яким другие народы лишь посредством долгого процесса цивилизации с великим трудом приходят.

(*Галицкий сатирический журнал «Страхопуд»*[1])

О, Русь моя! как муж разумный,
Сурово совесть допросив,
С душою светлой, многодумной
Идем на Божеский призыв.

Хомяков[2]

Различия в характере народов, составляющих самобытные культурно-исторические типы, те различия, на которых должно основываться различие в самих цивилизациях, составляющих существенное содержание и плод их жизненной деятельности, могут быть подведены под следующие три разряда: 1) под различия этнографические; это те племенные качества, которые выражаются в особенностях психического строя народов; 2) под различия руководящего ими высшего нравственного начала, на котором только и может основываться плодотворное развитие цивилизации как со стороны научной и художественной, так и со стороны общественного и политического строя; 3) под различия хода и условий исторического воспитания народов. С этих трех точек зрения и будем мы рассматривать особенности славянского и в особенности русского характера, так как пока один русский народ достиг политической самостоятельности и сохранил ее – условие, без которого, как свидетельствует история, цивилизация никогда не начиналась и не существовала, а поэтому,

вероятно, и не может начаться и существовать. Цель, с которой мы займемся этим рассматриванием, будет заключаться в том, чтобы оценить, достаточно ли велики эти различия для того, чтобы славянские народы могли и должны были выработать свою самобытную культуру (под страхом утратить значение исторического племени) в высшем значении этого слова. Приступая к определению некоторых существенных черт этнографического различия народов славянских от германских, мы встречаем прежде всего на нашем пути физиологическое различие, которое, по мнению некоторых антропологов, проводит резкую, глубокую черту между племенем славянским и племенем германо-романским, что, с нашей точки зрения, должно бы быть нам на руку. Но вместе с тем это физиологическое различие относит нас к числу низших племен человеческого рода и таким образом устраняет от притязаний на высшую степень культурного развития, как бы обрекает на роль служебного этнографического материала. Я разумею здесь Ретциусово деление[3] человеческих племен на длинноголовых (dolichocephali) и короткоголовых (brachycephali). Нечего говорить, что наши многочисленные доброжелатели сильно напирают на это будто бы унизительное для славян различие. Как бы в параллель ему немецкий историк Вебер, соответственно рифмованному разделению сословий, государств и вообще обществ на Lehr-, Wehr- и Nahrstand[4], разделяет на те же классы и народы, населяющие Европу в общепринятом смысле этого слова, и, конечно, относит славян к нэр-, а немцев к лэр-штанду, то есть обрекает славянское племя на материальный труд в пользу высших племен. Рассмотрим же знаменитое Ретциусово деление: к чему-то оно нас приведет?

Кроме длинноголовости, при которой продольный диаметр головы, от лба к затылку, превосходит поперечный по крайней мере в отношении 9 к 7, и короткоголовости, при которой это отношение превосходит 9 к 7, Ретциус принимает в основу своего деления еще другой признак, заключающийся в направлении передних частей челюстей (зубных отростков) и передних зубов. Зубные отростки челюстей и зубы могут лежать в вертикальной плоскости, что составляет прямочелюст-

ность (orthognathismus), или они могут иметь косое, выдавшееся вперед направление – косочелюстность (prognathismus). Эти характеры направления челюстей и зубов в соединении с длинноголовостью и короткоголовостью дают повод к установлению четырех отделов, по которым племена человеческого рода размещаются следующим образом:

Длинноголовые прямочелюстные. Индийцы (арийского корня), иранцы, немцы, кельты, греки, римляне, евреи, аравитяне, нубийцы, абиссинцы, берберы, финны, восточные американские племена, населяющие равнины Северной и Южной Америки (называемые Латамом американскими семитами).

Длинноголовые косочелюстные. Негры, кафры, готтентоты, копты, жители Новой Зеландии, эскимосы и гренландцы.

Короткоголовые прямочелюстные. Славяне, литва, тюркские племена, лапландцы, баски, ретийцы, албанцы, древние этруски.

Короткоголовые косочелюстные. Китайцы, японцы, монголы, малайцы, полинезийцы, папуасы и американские кордильерские народы, к которым относятся и древние перуанцы (по Латаму, американские монголы).

Прежде всего нельзя не заметить, что такое деление имеет совершенно характер искусственности. Здесь выставляется одно насквозь проницающее начало, которое, как это обыкновенно бывает, соединяет разнородное и разделяет сродное в других отношениях; так, например, строго придерживаясь этого деления, пришлось бы разнести южных и северных немцев в разные классы человечества, так как только последние длинноголовы, первые же короткоголовы.

Как согласовать это деление с делением по цвету кожи, по свойствам волос, по Камперову личнóму углу[5] и, наконец, с делением лингвистическим? Здесь все подчиняется одному признаку, которому придается преобладающее значение. Если славяне, невзирая на то, что говорят арийскими языками, имеют особую форму черепа, то необходимо принять, что они заимствовали свой язык от какого-нибудь длинноголового арийского племени, говорившего славянским языком, – конечно, весьма многочисленного и могущественного, если оно могло передать

свой язык такому крупному отделу человечества, имевшему, в сущности, тюркское происхождение, так как по соседству тех мест, где теперь живут или прежде жили славяне, только одни тюркские племена соединяют характер короткоголовости с прямочелюстностью. Как же не осталось никаких следов от этого коренного праславянского племени? Из этого, казалось бы, всего ближе заключить, что отношения между продольным и поперечным диаметром черепов хотя могут и должны быть принимаемы в число антропологических признаков, характеризующих группы человеческого рода, но не могут иметь того преобладающего значения, которое им придается. Сохраним, однако же, за ним это преобладающее значение и посмотрим, какие делают из него выводы.

Народы, достигшие высшей культуры, как арийского, так и семитического племени, в древние и новые времена, все принадлежат и принадлежали к числу длинноголовых; следовательно, короткоголовые славяне не принадлежат к числу высших племен человечества. Такое заключение было бы весьма приятно пану Духинскому[6], но, к сожалению, если по этому взгляду русские – туранцы, то такие же туранцы и поляки, так что volens nolens[7] и им приходится разделять эту судьбу наравне с русскими и со всеми славянами. Но если какое-либо явление может быть одинаково хорошо истолковано двумя различными способами, двумя различными предположениями, то, конечно, каждый имеет полное право принимать то истолкование, которое ему более нравится.

Из того, что до сих пор только длинноголовые племена достигали высшей степени культуры, можно, конечно, заключить, что короткоголовость составляет некоторое к тому препятствие, указывает на меньшую способность к высшему развитию; но можно также заключить, что это произошло лишь оттого, что короткоголовые славяне, попав в благоприятные для культуры обстоятельства, позже начав развиваться, еще не успели произвести той культуры, к которой они по задаткам своей природы способны; можно заключить, что так как ведь история еще не закончена, то сообразно с общим законом природы высшим *фор-*

мам принадлежит высшее же, но позднейшее развитие. Первое толкование имело бы еще некоторое преимущество на своей стороне, если бы славянское племя, не достигши в целом высшей степени культуры, не представляло бы и отдельных примеров высшей даровитости. Но славяне произвели таких гениальных ученых, как Коперник; таких религиозных реформаторов, как Гус; таких государственных мужей, как Иоанн III, Петр Великий; таких поэтов, как Пушкин, Гоголь, Мицкевич; таких полководцев, как Суворов, таких деятелей просвещения, как Ломоносов. Следовательно, в задатках к высшему человеческому развитию нет недостатка в славянском племени. Чтобы заставить нас принять первое толкование, надо бы доказать, что короткоголовость составляет уже сама по себе признак низшей организации, и что вышеприведенные примеры высокоодаренных короткоголовых личностей суть только случайное исключение, может быть, результат какой-нибудь племенной помеси. Но внутренней причины, по которой бы преимущественное развитие черепа в продольном направлении стояло выше, нежели более равномерное развитие обоих горизонтальных диаметров, не найдено. Остается, следовательно, обратиться к самому систематическому расположению классифицируемых племен. Оно показывает нам, что из двух признаков рассматриваемого нами деления один – направление челюстей и зубов – может служить к бесспорному установлению степеней совершенства между племенами человеческого рода, именно: племена прямочелюстные стоят бесспорно выше племен косочелюстных. Этот признак установляет в человеческом роде деление горизонтальное. Вопрос о том, можно ли приписать и другому принципу деления, основанному на отношении диаметров черепа, такой же иерархический характер? Если допустим это предположение, то увидим, что между низшими косочелюстными племенами человеческого рода превосходство, очевидно, принадлежит короткоголовым, так как китайцы*, мон-

* Если считать китайцев за среднеголовых (mesocephali), у которых череп представляет среднюю форму между длинноголовым и короткоголовым, то они должны, конечно, остаться в стороне при решении разбираемого здесь вопроса. Но и за исключением их, умственное превосходство в косочелюстных племенах, бесспорно, остается на стороне короткоголовых.

голы, малайцы, полинезцы стоят гораздо выше негров, кафров, готтентотов и жителей Новой Голландии, составляющих самые низшие людские расы; а если это так, то очевидная аналогия заставляет признать, что короткоголовость должна сохранять то же преимущество и между племенами прямочелюстными, так что восходящий порядок племен человеческих представлялся бы нам в следующем виде:

Косочелюстные длинноголовые племена (негры и проч.).

Косочелюстные короткоголовые племена (монголы и проч.).

Прямочелюстные длинноголовые племена (европейцы и проч.).

Прямочелюстные короткоголовые племена (славяне и проч.).

Если кто не захочет принимать этого вывода, к которому нас приводит самое простое и естественное заключение, вывода неизбежного, если придавать длинноголовости и короткоголовости иерархический характер, – то останется признать, что отношение между различными поперечниками черепа вообще не может служить к горизонтальному, а только к вертикальному делению человечества, то есть что оно не дает права устанавливать верхнюю и нижнюю группу, а устанавливает только две боковые, параллельные в своем развитии, группы, так сказать, правую и левую.

Таким образом, Ретциусово деление приводит логически к одному из трех следующих заключений, которые, с точки зрения национального самолюбия, мы можем все одинаково принять: 1) или это лишь искусственное деление, не имеющее того преобладающего значения, которое ему приписывается некоторыми, – и признаки, на которых оно основано, могут лишь служить вместе с другими для характеризации пород, рас или вообще групп, на которые разделяется род человеческий; это заключение и кажется мне единственно основательным и разумным; 2) или оба начала этого деления – направление передних зубов и отношение черепных диаметров – суть начала иерархические, определяющие собой степень совершенства рас; в таком случае это первенство принадлежит короткоголовым прямочелюстным племенам, то есть славянам; 3) или, наконец, только направление зубов устанавливает степень совершенства между племена-

ми; отношение же между головными диаметрами ведет лишь к вертикальному делению на племена различные, но не на племена высшие и низшие. При этом последнем взгляде мы имели бы точно так же, как при общезоологическом делении на типы и на классы, два разнохарактерные систематизирующие начала: одно – устанавливающее этнографические типы, не подчиняющиеся друг другу как низшее высшему, а только отличающиеся друг от друга как различное; другое же – устанавливающее этнографические классы, обозначающие степени совершенства организации. После этого небольшого отклонения перехожу к настоящему предмету этой главы.

Верно, определительно схватить и ясно выразить различие в психическом строе разных народностей – весьма трудно. Различия этого рода как между отдельными лицами, так и между целыми народами имеют только количественный, а не качественный характер. Едва ли возможно найти какую черту народного характера, которой бы совершенно недоставало другому народу; разница только в том, что в одном народе она встречается чаще, а в другом – реже, в большинстве лиц одного племени она выражается резко, в большинстве лиц другого племени слабо, но эти степени, эта частость или редкость, числами невыразимы. Такой статистики еще не существует. Потому всякое описание народного характера будет походить на тот ничего не говорящий набор эпитетов, которым в плохих учебниках истории характеризуют исторических деятелей; потому и выходят эти описания народного характера иногда столь различными у разных путешественников, нередко одинаково добросовестных и наблюдательных. Одному случалось встретить одни свойства, другому – другие, но в какой пропорции встречаются они вообще у целого народа – это по необходимости осталось для обоих неизвестным и неопределенным.

Для отыскания таких свойств, которые можно бы было считать поистине чертами национального характера, и притом существенно важными, надо избрать иной путь, нежели простая описательная передача частных наблюдений. Ежели бы нам удалось найти такие черты национального характера, ко-

торые высказывались бы во всей исторической деятельности, во всей исторической жизни сравниваемых народов, то задача была бы решена удовлетворительно, ибо если какая-либо черта народного характера проявляется во всей истории народа, то необходимо заключить, во-первых, что она есть черта, общая всему народу, и только по исключению может не принадлежать тому или другому лицу; во-вторых, что эта черта постоянная, не зависящая от случайных и временных обстоятельств того или другого положения, в котором народ находится, той или другой степени развития, через которые он проходит; наконец, в-третьих, что эта черта существенно важная, если могла запечатлеть собой весь характер его исторической деятельности. Такую черту вправе мы, следовательно, принять за нравственный этнографический признак народа, служащий выражением существенной особенности всего его психического строя. Одна из таких черт, общих всем народам романо-германского типа, есть *насильственность* (Gewaltsamkeit). Насильственность, в свою очередь, есть не что иное, как чрезмерно развитое чувство личности, индивидуальности, по которому человек, им обладающий, ставит свой образ мыслей, свой интерес так высоко, что всякий иной образ мыслей, всякий иной интерес необходимо должен ему уступить, волей или неволей, как неравноправный ему. Такое навязывание своего образа мыслей другим, такое подчинение всего своему интересу даже не кажется с точки зрения чрезмерно развитого индивидуализма, чрезмерного чувства собственного достоинства чем-либо несправедливым. Оно представляется как естественное подчинение низшего высшему, в некотором смысле даже как благодеяние этому низшему. Такой склад ума, чувства и воли ведет в политике и общественной жизни, смотря по обстоятельствам, к аристократизму, к угнетению народностей или к безграничной, ничем не умеряемой свободе, к крайнему политическому дроблению; в религии – к нетерпимости или к отвержению всякого авторитета. Конечно, он имеет и хорошие стороны, составляет основу настойчивого образа действия, крепкой защиты своих прав и т.д. Проследим же события европейской истории, дабы

увидеть, действительно ли насильственность составляет одно из коренных свойств германо-романских народов.

Ранее всего проявляется эта насильственность европейского характера в сфере религиозной, так как эта сфера составляла долгое время преимущественный интерес, который преобладал над всеми прочими. Насильственность в религии, то есть нетерпимость, проявилась одинаково как в племенах романского, так и в племенах германского корня. Первая еретическая кровь пролилась, как известно, на Западе, хотя число ересей было гораздо многочисленнее на Востоке.

В 385 году испанский еретик Прискиллиан с шестью сообщниками были пытаны и казнены в Бордо после осуждения их на соборах Сарагосском, Бордосском и Трирском. Православная Церковь, в лице Амвросия Медиоланского и Мартина Турского, в ужасе отвратилась от этого преступления. Эта казнь, эта религиозная насильственность, совершенные еще во время Римской империи, еще при общем господстве православия, послужили как бы началом той нетерпимости, которую выказал впоследствии католицизм. Но, может быть, признав казнь Прискиллиана за частный случай, припишут всю религиозную нетерпимость и насильственность последующих веков именно влиянию католицизма, а не воздействию национального характера германо-романских народов на религиозные убеждения и деятельность, как они проявились в Средних и в начале Новых веков. Но что же такое сам католицизм, как не христианское учение, подвергнувшееся искажению именно под влиянием романо-германского народного характера? Само христианское учение не содержит никаких зародышей нетерпимости, следовательно, нельзя сказать, чтоб оно придало насильственность характеру народов, его исповедующих, как, например, это можно с полным правом утверждать относительно влияния исламизма. Если, следовательно, католичество выказало свойства нетерпимости и насильственности, то, конечно, не могло ниоткуда заимствовать их, как из характера народов, его исповедующих.

Христианство в чистой форме православия, прилаживаясь к свойствам романо-германского народного характера, об-

ратилось чрез это в католичество. Католичество зародилось собственно со времен Карла Великого, когда он своим покровительством утвердил власть римского епископа во всем своем государстве, границы которого почти совпадали с тем, что, собственно, должно называть Европой. До этого времени римские первосвященники пользовались только тем уважением, которое сопряжено было с именем Рима, а также тем, которое они утвердили за собой в глазах покоренных романских народов Италии, Галлии и Испании своей верностью православию, исповедовавшемуся этими народами до покорения их варварами, тогда как варвары-покорители приняли по большей части арианство[8]. Это же уважение, по подобной же причине, начало утверждаться и на Востоке во время гонений, воздвигнутых иконоборцами[9]. Ежели бы папы остались верными догматам православия, то весьма вероятно, что они получили бы не главенство, конечно, но преобладающее влияние и уважение на Востоке, точно так же, как и на Западе; ибо восточные христиане видели бы в них прибежище против деспотизма, который нередко позволяли себе византийские императоры в церковных делах. От посредничества, от звания верховного третейского судьи недалеко, как известно, до преобладания. Папы не могли не видеть открывавшейся пред ними перспективы, которая могла составлять достаточную цель для их честолюбия в то время, когда не были еще изобретены Лжеисидоровы декреталии[10] и угнетенные ломбардцами римские епископы не могли еще предвидеть ни своего светского владычества, ни учреждения феодально-теократической монархии в Европе, наполовину еще наполненной язычниками, угрожаемой магометанами и представлявшей бессмысленную кровавую неурядицу меровингской Франции[11]. Очевидно, что догматическое различие с Востоком не могло входить в их планы, да оно и не входило. Не папы произвели догматический раскол в церкви, как это превосходно доказано в известной брошюре Хомякова[12]; они только приняли его после долгого сопротивления, а приняв, конечно, и воспользовались им.

Причина догматической разницы между Церквами Западной и Восточной не имеет иного источника, кроме невеже-

ства, господствовавшего на Западе в первые века средней истории, и той насильственности характера, которая составляет основу всякого деспотизма, – насильственности, считающей, что личное частное мнение достаточно освящается и утверждается тем, что оно есть *наше мнение.* Совещание с Востоком являлось как бы унижением в собственных глазах западного духовенства. Таким образом часть – *церковь Западная* – похитила, узурпировала актом насилия права целого – *Церкви Вселенской.* В этом, собственно, папы были неповинны.

Второе насилие проявилось в том, каким образом это частное мнение приобрело санкцию общественного догмата на Западе. Это сделал, как известно, Ахенский собор 809 года, который, по понятиям самих католиков, есть не более как собор поместный, решение которого не имело даже на своей стороне санкции папского авторитета. Ходатаем за доставление ему оной явился Карл Великий, действовавший в этом случае по примеру многих восточных императоров с той, однако же, существенной разницей, что те нередко употребляли свою власть и влияние для доставления перевеса тому или другому православному или еретическому мнению вследствие внутреннего убеждения в его истинности, которого Карл ни в каком случае иметь не мог. В самом деле, догмат об исхождении Святого Духа от Отца только или вместе от Отца и Сына принадлежит к числу таких учений, которые сами по себе не представляют чего-либо ясного уму. То и другое одинаково непонятные, недоступные разуму таинственные учения. Учение Ария могло казаться более понятным, более простым, менее таинственно-возвышенным, чем православное учение о Троице, и потому могло иметь внутреннюю привлекательную силу для умов, склонных к рационализму. То же можно сказать о несторианстве, о монофизитизме и монофилитизме[13]. Еще в большей степени применяется это к иконоборству. Другие учения, как, например, гностицизм[14], могли, напротив того, иметь мистическую привлекательность для людей, у которых преобладала фантазия. Учение же об исхождении Святого Духа могло составлять убеждение схоластика с изощренным умом,

дошедшего до него путем тонких диалектических выводов и различении, – или экзегета и эрудита, почерпнувшего его из одностороннего, неполного изучения текстов Писания и писаний отцов церкви. Но каким образом могло оно составлять предмет внутреннего убеждения для ума столь практического, как Карл Великий, когда притом высший ученый авторитет того времени, имевший это значение не только в глазах всех современников, но и в глазах самого Карла, – Алкуин – держался противного, то есть православного мнения? Очевидно, что у Карла должна была быть иная, менее идеального свойства побудительная причина, заставлявшая его настаивать перед Львом III о согласии на изменение Никео-Царьградского Символа[15]. Причину эту, кажется мне, нетрудно открыть. Вся деятельность Карла заключалась в осуществлении носимого в душе его идеала – всемирного христианского государства, в котором вся высшая, как светская, так и духовная, власть сосредоточивалась бы в лице императора; идеал того цесаропапизма[16], которым иностранцы любят укорять Россию. Возвышая значение во всем обязанного ему, им облагодетельствованного, им держащегося против многочисленных врагов папства, он думал возвысить собственные свои власть и значение. Для этой цели было необходимо, чтобы и церковь так же, как государство, была свободна от всякого внешнего влияния или вмешательства. Но могла ли она таковой считаться, когда папа был только одним из пяти Вселенских патриархов, когда для установления или изменения не только догматов веры, но и общих норм богослужения и канонического церковного порядка нужен был авторитет Вселенских соборов, которые до того времени всегда собирались на Востоке, или, по крайней мере, согласие высших иерархов Востока? Одним словом, Карлу нужно было то, что мы теперь называем государственной церковью, и для установления ее он воспользовался зародившеюся на Западе догматической разницей совершенно в тех же видах, в которых впоследствии Генрих VIII отделил Англиканскую церковь от Римской. Католичество, которое, как показывает самое имя его, присваивает себе по преимуществу вселенский

характер, получило, однако же, истинное свое начало именно из стремления Карла создать для своего государства самостоятельную государственную церковь, отделив ее от Вселенской.

По искреннему ли убеждению в непозволительности изменять Вселенский Символ, или по желанию сохранить себе точку опоры против все подчинявшей себе императорской власти, Лев III, как известно, не согласился на настойчивые требования Карловых послов. Несмотря на такое сопротивление папы, новый лжедогмат, однако же, утвердился, чего, конечно, не могло бы быть, если бы во всем западном духовенстве, то есть во всем просвещенном слое тогдашнего общества, не господствовал тот дух насильственности, который ничего знать не хочет, кроме своего личного убеждения, хотя бы дело шло о таком предмете, в котором, по самой сущности дела, это убеждение должно быть некомпетентным.

То же самое видим мы при проповеди христианства апостолами славян, свв. Кириллом и Мефодием, в Моравском государстве. И здесь противодействие славянской проповеди исходило не от пап, а от немецких епископов. Папы неоднократно покровительствовали и даже уже после Николая I[17] одобряли чтение Символа без Filioque[18]. Наконец, сама фабрикация подложных Исидоровых декреталий, основание будущего католического здания, произошла не от пап, даже не под их влиянием, а совершенно от них независимо, с целью усиления епископской власти в ущерб местных областных митрополитов. Я привожу это в доказательство того, что католицизм возник и утвердился не столько вследствие папского честолюбия, сколько от насильственного характера западного духовенства, видевшего в себе все, а вне себя ничего знать не хотевшего. Папы, конечно, воспользовались таким выгодным для себя направлением и, опираясь на него, стремились уже подчинить себе и Восток.

Дальнейшая религиозная история Европы подтверждает то же самое. Если бы не общий дух насильственности германо-романских народов, откуда взялся бы несвойственный христианству прозелитизм[19], огнем и мечом принуждавший креститься племена Восточной Германии еще при Карле Великом, а при по-

следующих императорах и северо-западные славянские племена? Откуда эти рыцарские ордена, Тевтонский и Меченосцев, внесшие насильственную проповедь к Литве, к латышам и к эстам и закрепостившие себе имущество и личность этих народов? Где бы взяли папы средства для кровавого подавления альбигойцев и вальденцев[20]? Откуда навербовала бы Екатерина Медичи убийц Варфоломеевской ночи[21]? Могли ли бы без насильственности в самом народном характере явиться ревнители папства, часто более ревностные, чем сами папы, распространявшие и защищавшие его господство тонким насилием иезуитизма и грубым насилием инквизиции? Но лучшим доказательством, что не католицизм как христианское учение, так сказать, извне навязал характер насильственности на всю религиозную деятельность европейских народов, служит то, что и там, где протестантизм, имеющий притязание на учение свободное по преимуществу, заменил собой католичество, мы не видим в его последователях большей терпимости. Кальвин сжигает своего противника Серве не хуже какого-нибудь Констанцского собора[22]; англичане гонят одинаково как католиков, так и пресвитериан[23]; пуритане[24] представляют собой образец религиозной нетерпимости. Но ведь это, скажут мне, все дела давно минувших дней, результат грубости, варварства, и не подает ли теперь Европа, не только протестантская, но и католическая, пример религиозной терпимости – совершенного невмешательства в дела человеческой совести? Правда. Но когда же случился этот спасительный переворот? Не раньше, чем когда вообще религиозный интерес отступил на второй, третий, четвертый – одним словом, задний план и стушевался перед прочими интересами дня, волнующими европейское общество. Когда религия потеряла большую часть своего значения, так сказать, потеряла свой общественный характер, перестала быть res publica[25], удалившись в глубь внутренней семейной жизни, тогда немудрено было сделаться наконец терпимым в отношении к ней, то есть, в сущности, равнодушным, по пословице: «На тебе, Боже, что нам негоже».

Насильственность как коренная черта европейского характера через это не уничтожилась. Гони природу в дверь, она

влетит в окно. Когда явился новый предмет, сосредоточивший на себе главный интерес общества, в нем должны были по преимуществу проявляться и все черты народного характера. Еще религия не потеряла своего первенствующего значения для европейского общества, как внимание его было обращено на отдаленные морские открытия, обещавшие обширное и выгодное поле действия всем предприимчивым людям, которые к нему обратятся. Колониальные завоевания и колониальная политика составляли главные интересы европейских народов одновременно с Реформацией и долго после нее. Земной шар оказался тесным для честолюбия Испании и Португалии; понадобилось разделить его демаркационной линией. Подвиги конквистадоров[26] слишком известны, чтобы нужно было на них останавливаться; притом же они могут быть истолкованы грубостью, алчностью искателей приключений, принадлежавших нередко к отребьям человеческого общества. Да и не это желал бы я выставить на вид; для своей цели я должен ограничиваться самыми общими крупными чертами, в которых, так сказать, замешано все общество. И факт достаточной крупноты представляет нам торговля неграми: охота за людьми, упаковка их как товар, выбрасывание десятками за борт, тяжелое рабство миллионов! Несмотря на разведение негров на людских заводах и на крепкую природу их, они не могли выдерживать тяжести неволи, безустанного труда, и потому должны были быть непрестанно пополняемы из Африки, неоскудевающего их источника. Другого столь же крупного факта не представляет всемирная история. Чтобы найти ему некоторое подобие, конечно, в микроскопически малых размерах, надо обратиться к тем разбойничьим государствам, которые существовали в некоторых городах Сицилии и южной Италии во время борьбы греков с Карфагеном и в начале Пунических войн.

Но если это и не дела давно минувших дней, то, во всяком случае, принадлежат прошедшему; а главное – зло уничтожено, или, по крайней мере, значительно ослаблено самими же европейскими филантропами. Я и не думаю уменьшать ни заслуг великодушных людей, которые, подобно Вильберфорсу и

Букстону, употребили всю жизнь свою на противодействие и борьбу с вкоренившимся злом, ни заслуг Англии вообще в ее деятельности к прекращению постыдного торга. Согласен считать неосновательными те объяснения, которыми старались набросить тень на бескорыстие Англии в усилиях и пожертвованиях, ею деланных с этой целью, и охотно принимаю, что самая сила зла вызвала против него великодушную реакцию; но факт столетия продолжавшегося беспримерного насилия все-таки остается и ничем другим не может быть объяснен, как насильственностью в самом характере, так как эта торговля не была каким-либо правительственным политическим действием, насильно навязанным народам, а делом, в котором добровольно принимала участие значительная часть общества, – вся та часть его, которая имела в нем какой-либо интерес. Однако же если торговля неграми прекращена, или почти прекращена, если даже негры в большой части колоний и колониальных государств освобождены, то не проглядывает ли та же торговля людским товаром и в вольном найме «кулиев»[27]?

Главный интерес европейских народов после того, как прошла колониальная горячка, обратился на вопросы гражданской и политической свободы. И опять насильственность характера проявилась не в меньшей силе, чем в религии и в колониальной политике. Не устающая действовать гильотина, лионские расстреливания картечью[28], Нантские потопления[29], внешние войны, которыми проповедовались с мечом в руках равенство, братство и свобода, точно так, как некогда христианство Карлом Великим и рыцарскими орденами, – что же это такое, как не нетерпимость, не насильственное навязывание своих идей и интересов во что бы то ни стало? И тут не так ли же, как у иезуитов, господствовало правило, что цель оправдывает средства, – эта истинная формула насильственности?

Но и революционный дух улегается, политический интерес отступает на второй план, хотя и не на столь далекий, как религия, и снова первую роль играют интересы материального свойства, интересы торговли и промышленности. Это интересы по самому существу своему личные и не допускают, каза-

лось бы, насильственности в своем применении. И однако же и европейская торговля, эта мирная проводница цивилизации, представляет уже в наш просвещенный и гуманный век пример насильственности, столь же единственный в своем роде, как и торговля неграми. В начале сороковых годов Англия прокладывает пушками путь отраве в Китай[30]. Неужели все конквистадоры, лигисты, инквизиторы или террористы на волос хуже, на волос более насильственны, чем цивилизованные купцы, заставляющие целый мирный и почтенный уже одной своей древностью народ стравливаться нравственно и физически в угоду своим коммерческим выгодам? Святость или величие интересов, во имя которых неистовствовали первые, составляет скорее в их пользу извиняющее обстоятельство, если только подобные насилия могут иметь какое-нибудь извинение.

Не так же ли насильственно отношение западных государств к угнетаемым Турцией славянским народам? Эгоистический интерес, даже ложно понимаемый, заставляет их всеми мерами величайшей несправедливости противиться освобождению этих несчастных народов – противиться даже с оружием в руках. Интересы религии требовали некогда Варфоломеевской ночи, интересы свободы – сентябрьской резни и неустанно действующей гильотины[31]; интересы политического равновесия и неизвестно кем угрожаемой цивилизации требуют теперь сохранения турецкого варварства, и свобода, жизнь, честь славян и греков приносится в жертву этому новому Молоху.

Что же представляет нам в параллель этой насильственности европейской истории, проявлявшейся во всяком интересе, получавшем преобладающее значение, история России? Религия составляла и для русского народа преобладающий интерес во все времена его жизни. Но он не ожидал проповеди энциклопедистов[32], чтобы сделаться терпимым. Терпимость составляла отличительный характер России в самые грубые времена. Скажут, что таков характер исповедуемого ею православия. Конечно. Но ведь то же православие было первоначально и религией Запада, однако же, как мы видим, оно исказилось именно под влиянием насильственности романо-германского характера.

Если оно не претерпело подобного же искажения у русского и вообще у славянских народов, значит, в самых их природных свойствах не было задатков для такого искажения, или, по крайней мере, они были так слабы, что не только не могли осилить того кроткого духа, который веет от христианства, но, напротив того, усвоив его себе, совершенно ему подчинились. Мало того, и те славянские племена, как, например, чехи, у которых вследствие германской насильственности православие уступило место католицизму, никогда не проявляли религиозной нетерпимости. Они только терпели от нее, а не сами заставляли терпеть; в их крови были потушены те православные воспоминания, которые с такой силой пробивались наружу в славные времена Гуса и Жижки. Один из славянских народов – поляки – представляет действительное и грустное исключение. Насильственность и нетерпимость отметили характер их истории. Но та сравнительно небольшая доля польского народа – шляхетство, к которой только и может по справедливости относиться этот упрек, могла усвоить себе европейскую насильственность не иначе как исказив и весь свой славянский образ, совершенно отказавшись от него, сделавшись ренегатом Славянства во всех отношениях до такой степени, что обращается в орудие Турции для угнетения славян[33]. И в самой русской истории проглядывают временами черты религиозной нетерпимости, именно относительно старообрядцев. Мы не оправдываем их, но должны, однако же, сказать, что, во-первых, эти гонения в сравнении с европейскими религиозными гонениям, представляются лишь слабыми бледными отпечатками; во-вторых, что для правильного понятия об этих гонениях надо отличить в них два различные характера. Именно они имеют совершенно различные свойства до и после Петра. Только в первый непродолжительный период характер их был действительно религиозный, и таковой получили они, без сомнения, от начинавшего в то время оказываться влияния западнорусского, киевского духовенства, которое, терпя само непрестанное гонение от латинства, находясь в непрерывных с ним отношениях, невольно заразилось в некоторой степени духом католической нетерпимости, который и передало

Московскому государству тем успешнее, что было образованнее духовенства восточнорусского. Во второй период гонение имело исключительно характер политический, и старообрядство преследовалось как сильнейший протест русской жизни против иноземщины, в самый сильный разгар которой – при Бироне, преследовалось даже и само православие. Кроме этого, надо помнить, что русский народ никогда не сочувствовал гонению на старообрядство и тем менее в нем участвовал: оно производилось одной внешней силой полиции. Надо также принять во внимание, что, взявшись за не свойственное народному характеру дело, правительство выказало в нем полную свою неумелость. К русскому религиозному гонению можно бы применить слова расходившегося взяточника: «А если уж на то пошло, так и взятки не так берут».

Русский народ имел также период обширных, отдаленных завоеваний, или, лучше сказать, расселений; эти завоевания производились, как и во времена испанских конквистадоров, почти без участия правительства, искателями приключений и даже разбойничьими атаманами; – и, однако же, какая разница! Слабые, полудикие и совершенно дикие инородцы не только [не] были уничтожены, стерты с лица земли, но даже не были лишены своей свободы и собственности, не были обращены победителями в крепостное состояние.

Итак, вот одно существенное различие. Славянские народы самой природой избавлены от той насильственности характера, которую народам романо-германским, при вековой работе цивилизации, удается только перемещать из одной формы деятельности в другую. Неужели же такая прирожденная гуманность не отразится, как совершенно особая, своеобразная черта в характере той цивилизации, которую им удастся создать? Она и отражается во многом и многом, например, в русском законодательстве относительно смертной казни. При самом принятии христианства Владимиром[34] он почувствовал всю несообразность ее с высоким учением, которым просветился, и тем доказал, что более проникся духом его, чем его учителя и наставники, которые софистическими доказательствами умели

устранить великодушные сомнения равноапостольного князя. Так же думал о смертной казни и Мономах, – и все это в разгар средневекового варварства в Европе. Когда, после реформы Петра, русская жизнь начала опять понемногу поворачивать в русскую колею, императрица Елизавета, женщина с истинно русским сердцем, опять отменила смертную казнь, гораздо ранее, чем в Европе даже в теории против нее восстали. Ее русскому сердцу не надо было для этого никаких Беккариев[35]. Если этот великодушный закон не всегда осуществлялся на практике, то опять, как в религиозных гонениях, ни от чего другого, как от европейских влияний, на которые мы, к сожалению, так податливы. В принципе, по крайней мере, смертная казнь и до сих пор имеет в нашем законодательстве только характер необходимой обороны, а не правомерной кары, как это, например, видно из того, что она налагается за нарушение карантинных правил, а в других случаях налагается не иначе как судом по полевому уложению. Так же точно и отношение всего народа к преступникам запечатлено совершенно особенным, человечным и истинно христианским характером. Можно еще указать на чуждые всякой насильственности отношения как русского народа, так и самого правительства к подвластным России народам – чуждые до такой степени, что нередко обращаются в несправедливость к самому коренному русскому народу. Тот же характер имеет и вся внешняя политика России, также нередко к ущербу России. Эта чересчур бескорыстная политика часто имела весьма невыгодные результаты для тех, которые имели всего более прав на нашу помощь и на наше сочувствие; но самая несправедливость, самые ошибки эти имели тем не менее своим источником отсутствие насильственности в характере, побуждавшее жертвовать своими интересами – чужим.

Другую общую черту русского характера можно, кажется мне, извлечь из изучения того способа, которым совершались все великие перевороты в жизни русского народа, сравнительно с таковыми же в жизни других народов. Я не намерен рассматривать этих главных моментов русской истории, я хочу только извлечь из них некоторые черты русской народной

психологии. Покойный К. С. Аксаков сказал, что историю русского народа можно назвать его житием, – и это глубокая истина. Как совершаются обыкновенно великие события в жизни народов не только европейских, но и других? Какой-либо интерес зарождается вследствие ли исторических обстоятельств или как плод мысли одного из великих двигателей истории. Интерес этот постепенно возрастает, борется с существующим порядком вещей, который он в большей или меньшей степени отрицает, побеждается, восстает вновь, сначала обороняется, потом наступает, становится наконец победителем и начинает, в свою очередь, преследовать те интересы, которые были некогда господствующими, а теперь, постепенно уступая своему противнику, несколько раз восстают из своего падения, пока, наконец, не сойдут, совершенно обессиленные, с исторической сцены. Не таков ли был ход Реформации, революции и, в меньших размерах, не так ли прошла парламентская реформа, или отмена хлебных законов в Англии[36], не так ли происходила там же новая парламентская реформа или в Америке – уничтожение невольничества? Каждый интерес представляется партией, и борьба этих партий составляет историческую жизнь как новой Европы, так, кажется мне, и Древних Рима и Греции.

Совершенно иначе происходит процесс исторического развития в России. Все великие моменты в жизни русского народа как бы не имеют предвестников, или, по крайней мере, значение и важность этих предвестников далеко не соответствуют значению и важности ими предвозвещаемого. Сам переворот, однако же, не происходит, конечно, как Deus ex machina[37]. Только предшествующий ему процесс есть процесс чисто внутренний, происходящий в глубине народного духа, незримо и неслышимо. Старый порядок вещей или одна из сторон его, не удовлетворяет более народного духа, ее недостатки уясняются внутреннему сознанию и постепенно становятся для него омерзительными. Народ отрешается внутренне от того, что подлежит отмене или изменению; борьба происходит внутри народного сознания, и когда приходит время заменить старое новым на деле, эта замена совершается с изумительной

быстротой, без видимой борьбы, к совершенному ошеломлению тех, которые думают, что все должно совершаться по одной мерке, считаемой ими за нормальную. В народном сознании происходит тот же процесс внутреннего перерождения, который совершается в душе отдельного человека, переходящего из одного нравственного состояния в другое, высшее, получив к прежнему полное отвращение, – тот психологический процесс, о котором нам повествуют многие сказания о жизни христианских подвижников и который обращает египетскую блудницу Марию в идеал святости и целомудрия, – процесс, которому каждому из нас случалось слышать или видеть примеры, очень нередко встречающиеся в жизни русских людей.

Самое первое историческое деяние русского народа, положившее основание Русскому государству, представляет нам этот характер. Новгородские славяне свергают с себя иго иноплеменников, но внутренние смуты внушают им отвращение к окружающему их порядку вещей. Представителем народного сознания является некто Гостомысл, историческое лицо, или олицетворение народной идеи – это все равно; без борьбы партий, как бы единогласным мирским решением, шлют послов за море просить себе князя; и раз избранной власти остается народ верным в течение всей своей исторической жизни. Это происшествие казалось таким из ряду вон выходящим, что ему одно время не хотели даже верить и думали видеть в правдивом сказании летописца приноровленный к народному самолюбию рассказ о норманнском завоевании, – точно как будто бы дело шло о повествовании французского историка новейших времен, желающего замаскировать неудачу великой армии, сваливая ее на мороз[38], и т.п.

Гораздо яснее, потому что само событие гораздо известнее, проявляется та же черта в принятии русским народом христианской веры. Обращение народов в новую веру, сколько мы тому знаем примеров, совершалось одним из следующих способов. Апостолы или миссионеры долговременной проповедью, постоянными усилиями, мученичеством прокладывали путь новому учению, которое, постепенно увеличивая число своих

последователей, при более или менее долговременной борьбе партий, одерживало наконец победу. Так восторжествовало христианство в Римской империи. Или победители навязывают свое исповедание побежденным, как аравитяне покоренным ими народам Азии и Африки, как Карл Великий саксонцам, как меченосцы эстам и латышам; или, наконец, победители принимают веру побежденных, как франки от романизированных галлов. Ни первого, ни второго, ни третьего не было в России; по крайней мере, то, что можно считать в некотором смысле миссионерством, далеко по своей силе не соответствовало быстроте и беспрепятственности распространения христианства. Один человек, который по всему своему характеру представляет самое живое олицетворение славянской природы, является как бы представителем своего народа. Гостеприимный, общительный, веселый, несмотря на свои увлечения, насквозь проникнутый славянским благодушием, Великий князь Владимир начинает чувствовать пустоту исповедуемого им язычества и стремление к чему-то новому, лучшему, способному удовлетворить душевную жажду, хотя для него и неясную. На его зов стекаются миссионеры от разных религий; он свободно обсуживает, совещаясь со своими приближенными, излагаемые перед ним учения, посылает доверенных лиц исследовать характер этих религий на месте и, убедившись этим путем свободного исследования в превосходстве православия, принимает его. За ним, почти без сопротивления, принимает его и весь русский народ. Процесс, который происходил в душе князя, был только повторением, более определенным и сознательным, того, что смутно передумала и прочувствовала вся тогдашняя Русь. Ибо этим только и можно объяснить отсутствие сопротивления столь коренному нововведению. Все совершилось без наружной борьбы, потому что видимому действию предшествовала уже борьба внутренняя, отрешение от старого, отжитого и внутренняя жажда лучшего, нового. Рассказ о принятии христианства Владимиром считается легендой. Ежели это легенда, то она говорит еще гораздо более, нежели историческое событие, которое могло бы быть не более как случайностью, тогда как леген-

да служит выражением того, как по понятиям русского народа должен был произойти переход от язычества к христианству. Заподозривают также справедливость или, по крайней мере, полноту летописного рассказа о ходе распространения христианства и в некоторых летописных сказаниях, как, например, о волхве[39] в Ростове, хотят видеть указание на продолжительную борьбу новой религии со старой. Но ежели бы новой религии пришлось выносить сильную борьбу с язычеством, то каким образом при тогдашней слабости государственной власти, при бездорожии, при бесконечных лесах, разделявших область от области, волость от волости, могла бы власть способствовать водворению христианства против воли народа? А главное, каким бы образом монахи-летописцы, в глазах которых все прочие события, все прочие подвиги были ничто в сравнении с подвигами апостольства и мученичества (которые должны бы были сопровождать распространение христианства, если бы народ серьезно противился его введению), именно об этих-то подвигах и умолчали? Не может служить опровержением мирному и беспрепятственному распространению христианства в России и то часто выставляемое на вид обстоятельство, что языческие понятия и обряды долгое время продолжали господствовать в народе, да и теперь еще далеко не вполне устранены. Содержание христианства по его нравственной высоте бесконечно и вполне едва ли осуществляется даже в отдельных, самого высокого характера личностях, не говоря уже о целой народной массе. Но иное дело – полное осуществление христианского идеала в жизни и деятельности, иное дело – более или менее неясное сознание его превосходства, его властительной силы над душой, о чем я только и говорю.

Подобный же характер имеет и подвиг Минина. И он является представителем мысли и чувства, живших в целом русском народе, им только яснее сознанных и разом одушевивших народ.

Но всего очевиднее выразилась особенность русского народного характера, о которой теперь идет речь, в том событии, которому все мы были очевидцами. И в освобождении крестьян, как в призвании варягов, введении христианства,

освобождении от поляков, выразились в лице одного человека, в лице императора Александра, мысли и чувства всего русского народа. Все мы очень хорошо знаем, что освобождению крестьян не предшествовало никакой агитации, никакой, ни изустной, ни печатной, пропаганды; все, казалось, были одинаково к нему не подготовлены; интересы единственного образованного сословия в государстве ему противоположны и по самой сущности дела враждебны. Однако все совершилось быстро, с невероятным успехом. Крестьяне не просто освобождаются на европейский лад, а наделяются землей, и все это без всякой борьбы, без всякого сопротивления с какой бы то ни было стороны и без каких-либо партий, кроме разве некоторых уродливых и ничтожных претензий на партию, представляемых газетой «Весть». Что все обойдется благополучно со стороны народа, – в этом были уверены все, сколько-нибудь знавшие Россию. Но уверенность в едином спасительном исходе дела, я думаю, поколебалась у многих, когда сделалось известным, что введение реформы поручается лицам от дворянства, предлагаемым предводителями и утверждаемым губернаторами, без участия депутатов со стороны крестьян, без всякого влияния их на выбор посредников. По всем европейским понятиям, от которых всем нам так трудно вполне отрешиться, дóлжно было полагать, что интерес крестьян, переданный в руки противоположного ему интереса дворян, будет нарушен, насколько это только возможно без нарушения буквы закона; а мы знаем, как широка эта возможность. Казалось, что исполнение, применение лишат закон его существеннейшего значения. И такое опасение оказалось совершенно основательным там, где исполнителями, посредниками явилось не русское дворянство, а польское шляхетство. В России реформа совершилась так, как не только Европа, но и большинство из нас самих не могли себе представить. Русский народ – как крестьянство, так и дворянство, выказали себя в таком свете, что, дабы достойным образом обозначить характер их деятельности в это время, дóлжно обратиться к языку народа, у которого все нравственно высокое, все добродетельное имело характер гражданский.

То была virtus[40] в полном значении этого слова. Перенесемся мысленно на несколько столетий в будущее и представим себе, что о пережитом нами времени остались лишь такие же скудные следы, как те, которые мы имеем об основании Русского государства или о введении христианства в Россию; представим себе также, что в течение этих столетий не утратилась привычка судить о явлениях русской жизни с европейской точки зрения, и пусть были бы тогда открыты в пыли архивов история о происхождении в селе Бездне Казанской губернии[41] и немногие ей подобные. Как бы возликовали тогдашние европействующие историки! Фактические следы борьбы интересов и сословий найдены; отдельные примеры ничтожных исключений, даже не исключений, а жалких недоразумений, были бы раздуты в целую систему, по которой своеобразные события русской жизни благополучно подводятся под общий нормальный, единственно возможный характер – общеевропейского хода исторического развития. Теперь, конечно, к такому толкованию прибегнуть невозможно. Надо объяснить дело давлением власти, отсутствием энергии в защите своих интересов, влиянием бюрократического элемента и т.д. Конечно, правительственная власть в России имеет большую силу материальную и еще большую нравственную, но мы очень хорошо знаем, что в этом деле ей вовсе не приходилось себя обнаруживать. Мы знаем также, что, дабы сделать все усилия ее бесплодными, не было бы надобности ни в каком деятельном сопротивлении; что для этого было бы вполне достаточно сопротивления пассивного, недобросовестного отношения к делу. Шляхетство западных губерний показало пример, как это делается, и если бы не счастливая случайность открытого восстания – крестьянская реформа в западных губерниях не только не принесла бы ожидаемых от нее плодов, но принесла бы последствия самые вредные. Ежели бы и русское дворянство было одержимо тем же узким эгоистическим направлением, если бы главной побудительной причиной его действий был бы интерес, то, несмотря ни на какие усилия власти (органы которой ведь также все должны бы были разделять те же узкие сословные воззрения),

дело не пошло бы лучше, чем в западных губерниях при польских мировых посредниках.

Так же точно несправедливо бы было заключить из общего характера, которым отличались все главные перевороты в жизни русского народа, об отсутствии в нем всякой энергии и самодеятельности, о его воскоподобной мягкости, по которой из него можно лепить что угодно. Мы видим другие примеры, что величайшие усилия правительства не приводили ровно ни к чему там, где цели его были противны народному убеждению или даже где народ относился к его целям совершенно равнодушно. Пример старообрядства доказывает первое, пример же множества учреждений, реформ, нововведений, оставшихся мертвой буквой, пустой формой без содержания, хотя против них не только не было активного, но даже и пассивного сопротивления, а было только совершенно равнодушное, безучастное к ним отношение, достаточно доказывает второе.

Из выставленной здесь черты русского народного характера, проявлявшейся при самых важных торжественных мгновениях его жизни, выводится то заключение, что вообще не интерес составляет главную пружину, главную двигательную силу русского народа, а внутреннее нравственное сознание, медленно подготовляющееся в его духовном организме, но всецело охватывающее его, когда настает время для его внешнего практического обнаружения и осуществления. А так как интерес составляет настоящую основу того, что мы называем партиями, то во всей исторической жизни России нет ничего, что бы соответствовало этому по преимуществу западноевропейскому, или романо-германскому, явлению. Все, что можно назвать у нас партиями, зависит от вторжения в русскую жизнь иностранных и инородческих влияний; поэтому, когда говорят у нас об аристократической или демократической партии, о консервативной или прогрессивной, все очень хорошо знают, что это одни пустые слова, за которыми не скрывается никакого содержания. Напротив того, для всех ясен смысл партии немецкой, партии польской, в противоположность партии русской, которая не есть и не может быть партией уже по само-

му названию, которое ей дают. Что за названиями этих партий скрывается действительная, более или менее могущественная сила, – это также мы знаем. Конечно, и у нас есть различные мнения относительно того или другого явления общественной жизни, но потому именно они и суть только мнения, что не представляют собой никакого интереса. Это выказалось бы до очевидности ясно, если бы мы имели статистически обработанные данные о кругах подписчиков на все наши политические журналы; тогда ясно бы оказалось, что все различия в цветах и мнениях журналов не соответствуют никакому сословному или иному какому интересу в кругу их подписчиков. Один только журнал, без сомнения, представил бы исключение – это пресловутая «Весть», которую одну только и можно назвать органом партии; но и эта партия выросла так же точно не на русской почве, как и партия польская и немецкая, которым газета эта так сочувствует. Партия эта называлась некогда боярской, а ныне может быть названа псевдоаристократической. Начало ее одушевляющее, в более здоровой и народной форме, конечно, применяясь к жизни народов, в которой имело корни, доставило могущество и благоденствие Англии, сохранило и укрепило маленький мадьярский народ, подчинив ему весьма обширное для его сил королевство Венгерское, доставляло в течение целого ряда веков если не свободу и благоденствие, то силу и величие республике Венецианской. Оно же, будучи менее соответственным с характером французской нации, принесло ей много бедствий и довело до страшной катастрофы; но, по крайней мере, сообщило много блеску длинному периоду ее истории. Но на совершенно несвойственной ему почве Славянства это начало не могло не принять самой ложной формы и не иметь самых гибельных последствий. Высшие сословия Польши, всосав его вместе с католицизмом и разными немецкими порядками, внесли отраву во всю жизнь Польши, и оно не только наконец погубило ее, но всю историю ее обратило в притчу во языцех. В Сербии склонило оно голову под иго мусульманства, в Чехии подало руку онемечению, а в Западной России к ополячению народа. В России, где, благодаря Бога, никогда не имело оно ни

большой силы, ни большого значения, оно крамольничало во время детства и юношества Иоанна, целовало крест королевичу Владиславу[42], и будучи побеждено мещанином Мининым и князем Пожарским, задавленное мощью Петра, при последнем уже издыхании навело на Россию десятилетнюю казнь бироновщины, – и имело бы гораздо худшие последствия, если бы не было подсечено под самый корень русским дворянством. Немудрено, что такое антирусское, антиславянское начало принимает несвойственные русской жизни аллюры партии, образцы и идеалы которой, быв прежде польско-шляхетскими, стали теперь немецко-баронскими, сохранив, однако же, горячие симпатии и к своему древнему первообразу.

Другой вывод из вышеизложенной исторической особенности важнейших моментов развития русского народа состоит в огромном перевесе, который принадлежит в русском человеке общенародному русскому элементу над элементом личным, индивидуальным. Поэтому-то между тем как англичанин, немец, француз, перестав быть англичанином, немцем или французом, сохраняет довольно нравственных начал, чтобы оставаться еще замечательной личностью в том или другом отношении, русский, перестав быть русским, обращается в ничто – в негодную тряпку, чему каждый, без сомнения, видел столько примеров, что не нуждается ни в каких особых указаниях.

Особенности в психическом строе народа, кроме подмеченных некоторых черт, проявляющихся в особенном характере его истории, могли бы еще быть определены при посредстве естественной классификации нравственных качеств по видам, родам, семействам, классам, так, чтобы качества эти и в системе были бы расположены в группы, все более и более удаленные друг от друга по мере их внутренней несовместности между собой. Очевидно, что при таком расположении, чем выше группа качеств (в систематическом порядке), которыми можно характеризовать народы (отвлекаясь, конечно, от частных исключений, которые не могут не представляться), тем глубже должно быть существующее между ними различие, тем менее общего будет в направлении всей их деятельности.

Нравственные качества (я не говорю – добродетели, потому что не только недостаток, но и самый их излишек может составить порок), кажется мне, весьма естественно разделяются на три группы: на качества благости, справедливости и чистоты. Эти последние, состоящие в противодействии разного рода материальным соблазнам и принадлежащие к области обязанностей человека к самому себе, не могут доставить какой-либо народной характеристики. Они суть, так сказать, венец личных человеческих добродетелей. Оба остальные разряда составляют качества общественные, так как они обусловливают собой характер взаимных отношений людей между собой. Не нужно большой наблюдательности, чтобы признать, во-первых, по преимуществу свойства славянского, а во-вторых, – свойства германского народного характера. Конечно, весьма хорошо усваивать себе и те добрые качества, которые менее нам сродны, в той мере, в которой они не поставляют препятствия развитию наших личных или народных добродетелей, и в известной мере это, конечно, возможно; но тем не менее возможность с верностью характеризовать два народные характера не частными какими-либо чертами, но целыми высшего разряда группами нравственных качеств, соответствующими их основному делению, должна указывать на весьма существенные различия во всем психическом строе народов славянских и народов германских.

Характеристические особенности в умственных свойствах славянского племени если не труднее подметить, чем в области нравственном, то, однако же, труднее изложить с некоторой доказательностью. По недавности и малому еще развитию у славянских народов науки, в которой эти особенности умственного склада всего яснее отражаются, как тому были представлены примеры в шестой главе, – недостает нужных для сравнения материалов.

Это было бы легче сделать относительно эстетических свойств славянского духа, ибо для такого изучения есть уже гораздо более материала. Но для углубления в эту область потребовалось бы сравнительное изучение славянских литератур

с литературами других народов. Я не имею ни достаточных познаний, ни нужных для этого способностей, и поэтому все, что мог бы в этом отношении сказать, оказалось бы недостаточно подтвержденным фактами, а с другой стороны, заставило бы слишком далеко удалиться от истинной цели этой статьи, – цели, которая имеет весьма мало общего с эстетикой.

ГЛАВА IX
Различие вероисповедное

Le romanisme, en remplacant l'unité de la foi universelle, par l'indépendance de l'opinion individuelle ou diocèsaine a été la premiére hérésie contre le dogme de la nature de l'Eglise ou de sa foi en ellememe.

La Reforme n'a été qu'une continuation de cette même hérésie sous une apparence diffèrente.

Quelques mots par un chrétien orthodoxe sur les communions occidentales1.

Различие в просветительных началах русского и большинства других славянских народов от народов германо-романских состоит в том, что первые исповедуют православие, а вторые – римский католицизм или протестантство. Достаточно ли велико различие между этими исповеданиями, чтобы основывать, между прочим, и на нем культурно-историческое различие славянского от германо-романского типа? Не составляет ли оно малосущественную особенность, так сказать, исчезающую в общем понятии христианской цивилизации? И с другой стороны, не существеннее ли даже различие между католичеством и протестантством, чем между первым и православием, догматическая разность между которыми для многих представляется не очень большой, так как они оба основываются на авторитете, в противоположность протестантству, основывающемуся на свободном

исследовании? На это можно бы ответить очень коротко, именно: что отличие истины от лжи бесконечно и что две лжи всегда менее между собой отличаются, чем каждая из них – от истины; но такой ответ был бы удовлетворителен только для тех, которые и в нем далее не нуждаются; для тех же, которые в трех названных формах христианства видят не более как формальное различие, соответствующее различным ступеням развития религиозного сознания, такой ответ не сказал бы ровно ничего, и посему-то я позволю себе несколько остановиться на этом существенно важном предмете.

Сущность христианской догматики излагается в Символе веры, и действительно все мы – православные, католики, протестанты читаем этот Символ почти одинаково, соединяя, однако же, совершенно различный смысл со словами: «Верую во единую, святую, соборную и апостольскую церковь», – смысл столь различный, что Хомяков в известных своих брошюрах мог сказать, что все западные христианские общества суть ереси *против* церкви, в противоположность неправославным обществам восточным, которые, неправильно толкуя и понимая разные другие догматы, выраженные в Символе, и тем, конечно, удаляясь от истинной церкви, о сущности самой церкви сохраняют, однако же, понятие правильное. Но важность правильного понятия о церкви такова, что между тем как ложный догмат, касающийся даже самых основных истин христианства, может ограничивать свое вредоносное влияние одним кругом понятий, к нему относящихся, оставляя все прочее неповрежденно-истинным, ложное понятие о церкви неминуемо ведет, хотя иногда и медленным, но неизбежным логическим процессом к ниспровержению всего христианского учения, лишая его всякого основания и всякой опоры.

Как христианская церковь, так и все, называющие себя церквами христианские общества одинаково признают своим основанием Божественное Откровение и всякое учение, отвергающее Откровение, не признают уже христианским. Следовательно, необходимость Откровения может служить точкой исхода для обсуждения разных проявлений христианства; далее

заходить незачем. Необходимость же Откровения признается потому, что только оно одно может дать вполне достоверное, незыблемое основание для веры и для нравственности. Откровение, то есть сообщение созданию воли Божества, можно представлять себе или как непосредственно действующее на его волю, то есть принудительное, действующее как непреоборимый инстинкт, или как влияющее на нее посредственно, через понимание и сознание. Очевидно, что по отношению к человеку, признаваемому существом свободным, возможно только этого последнего рода Откровение. Но все, что предлагается нашему пониманию, может нами приниматься или во всей его объективной истинности, или совершенно не согласным с ней образом, или же отчасти согласно с ней – и этот последний способ понимания есть единственно вероятный, даже почти единственно возможный. Следовательно, Откровение, предоставленное такому пониманию, по необходимости теряет на деле свой достоверный смысл, а следовательно, теряет самую сущность свою, причину самого своего существования, становится лишенным своей силы и значения, делается как бы несуществующим. Очевидно, следовательно, что одно Откровение есть нечто совершенно бесполезное, совершенно не достигающее своей цели и потому невозможное, если вместе с ним не преподано способа сохранения его достоверности, его истинного смысла и правильного применения к каждому данному случаю. Это совершается посредством того, что мы называем церковью, которая по необходимости столь же непогрешима, как непогрешимо само Откровение, есть единственно возможное ручательство за его непогрешимость, не в нем самом, а в нашем понимании его. Отношение церкви к Откровению совершенно то же, как отношение суда к гражданскому закону, с той конечной разницей, что внутренняя достоверность заменяется в последнем случае внешней обязательностью. Представим себе идеально совершенный гражданский кодекс. Без судебной власти для его истолкования и применения, при всем своем совершенстве, он был бы бесполезнейшей из книг. Двое тяжущихся, конечно, никогда не решили бы своей тяжбы, если б им обоим было предоставлено справ-

ляться в законе о том, кто из них прав. А если бы все тяжущиеся были достаточно проницательны, достаточно свободны от личного эгоистического взгляда, заволакивающего для них правое, чтобы решать таким образом свои тяжбы, то опять-таки закон был бы для них совершенно излишним; ибо это значило бы, что они носят его в своем уме и сердце во всей полноте и совершенстве. Итак, в конце концов, самое значение Откровения будет зависеть от того, какое значение придается понятию о церкви и нераздельному с нею понятию о ее непогрешимости.

Таких понятий существует, как известно, в христианском мире четыре. Понятие православное, утверждающее, что церковь есть собрание всех верующих всех времен и всех народов под главенством Иисуса Христа и под водительством Святого Духа, и приписывающее церкви, таким образом понимаемой, непогрешимость. Понятие католическое, сосредоточивающее понятие о церкви в лице папы и потому приписывающее ему непогрешимость. Понятие протестантское, переносящее право толкования Откровения на каждого члена церкви и потому переносящее на каждого эту непогрешимость, конечно, только относительно его же самого, или, что то же самое, совершенно отрицающее непогрешимость где бы то ни было. Наконец, понятие некоторых сект, как, например, квакеров[2], методистов[3] и так далее, которое можно назвать мистическим, так как оно поставляет непогрешимость в зависимость от непосредственного просветления каждого Духом Святым, и признаком такого просветления выставляет собственное сознание каждого, считающего себя вдохновенным или просветленным. Из этих четырех понятий все, кроме третьего – протестантского, представляются теоретически возможными, не представляют внутреннего противоречия, если только могут доказать справедливость своего воззрения. Напротив того, понятие протестантское, отвергая всякую непогрешимость и представляя все произволу личного толкования, тем самым отнимает всякое определенное значение у самого Откровения, ставит его в одну категорию со всяким философским учением, с той, однако же, невыгодой для Откровения, что так как это последнее выставляет свои истины

как определенные положения, которых вовсе не доказывает, а не как выводы из общего начала, добытого посредством логического построения, то лишается и той доказательной силы, которая свойственна систематизированной науке. Поэтому вся сущность религии, по протестантскому воззрению, необходимо сводится на одно лишь личное субъективное чувство. Но субъективная религия, то есть верование тому, чему хочется, или, пожалуй, чему верится, есть отрицание всякого положительного Откровения или отнятие у него не только всякой внешней, но и всякой внутренней обязательности, то есть всякой достоверности, а следовательно, отрицание религии вообще, которая немыслима без полной достоверности, подчиняющей себе весь дух человека, подобно тому как достоверность логическая подчиняет себе один его ум. Очень верной эмблемой или символом протестантского взгляда может, кажется мне, служить следующая черта из жизни президента Соединенных Штатов Джефферсона. Джефферсон был, что называется, вольнодумцем или esprit fort[4] и, следовательно, не признавал божественности христианства, но, однако же, уважал многие из его истин. Желая отделить справедливое от того, что, по его мнению, ложно, он взял два экземпляра Евангелия и вырезывал из них [то], что казалось ему сообразным с здоровым понятием о нравственности, или, проще сказать, то, что ему нравилось. Свои вырезки наклеивал он в особую тетрадку и таким образом составил себе свод нравственных учений, или, ежели угодно, систему религии для своего обихода. Каждый приверженец протестантского учения поступает, в сущности, совершенно таким же образом, или даже, собственно говоря, иначе и поступать не может. При этом, конечно, у каждого соберется тетрадка с особым содержанием, и мудрено себе представить, чтобы оно не носило на себе печати своего хозяина. Мистик не удостоит вырезки всего, что покажется ему слишком простым или естественным, рационалист – того, что покажется слишком таинственным и сверхъестественным. Мудрено, чтобы ножницы не получили иного направления у склонного к мстительности, к честолюбию, к тщеславию, к корыстолюбию, к сладострастию и т.д.

Неизбежные последствия такого взгляда устраняются, насколько возможно, протестантами установлением условных, произвольных, искусственных ортодоксий, которые и известны под именем вероисповеданий англиканского, лютеранского, реформатского, пресвитерианского и т.д., которые, очевидно, никакого авторитета у своих мыслящих последователей иметь не могут, потому что ни за Генрихом VIII, ни за Лютером, ни за Кальвином, ни за Цвинглием не признают они никакого вдохновенного авторитета, а так же точно и за своими церковными собраниями, как, например, за Аугсбургским[5] не признают значения соборного. Все эти ортодоксии суть, следовательно, только различные системы вырезок. Отвергнув церковное предание, Лютер с тем вместе вырезал и текст апостола Павла, в котором повелевается держаться преданий; отвергнув некоторые таинства, вырезал и тексты, которыми апостол Иаков установляет елеосвящение или которыми апостол Павел утверждает, что брак есть великая тайна, и т.д. Кальвин пошел дальше в своих вырезках, вырезав, например, из Ев. Иоанна всю беседу Иисуса Христа с учениками о значении причащения. Переходя от вырезки к вырезке, мне кажется, трудно усмотреть границу между этими вырезками, устанавливающими произвольные ортодоксии, и вырезками Ренана, который счел нужным вырезать все, что имеет сколько-нибудь характер сверхъестественного, и даже само Воскресение. На какой же ступени этой лестницы остановиться, на каком основании останавливаться, и есть ли даже какая-нибудь возможность остановиться, пока не спустишься до самого низу, откуда уже больше спускаться некуда?

Мистическое воззрение на церковь квакеров, методистов и других сектантов может быть оставлено в стороне, так как учения этих сект не могут считаться просветительным началом народов Европы, будучи лишь незначительным исключением среди господствующих между ними религиозных воззрений.

Про католическое понятие о церкви нельзя сказать, чтобы оно заключало в себе какое-либо внутреннее противоречие, как протестантское. Оно мыслимо, если бы возможно было его доказать. Но в том-то и дело, что доказать можно только его не-

возможность. Для этого не нужно углубляться в факты церковной истории, тем более что этот способ доказательства вполне убедителен только для того, кто сам до него доискался по источникам. Для прочих же, которые должны принимать слова исследователей на веру, трудно при господствующем разноречии исследователей, принадлежащих к разным учениям, с совершенным беспристрастием принять ту или другую сторону. Но этого вовсе и не нужно. Невозможность непогрешимости и главенства пап, кажется, очень легко может быть доказана из небольшого числа самых известных фактов и оснований, признаваемых самими католиками. Но защитники католицизма, будучи весьма часто сознательно недобросовестны, похожи на скользких ужей, выскользающих из рук, когда думаешь их схватить. Поэтому у них о каждом из их отличительных догматов есть по нескольку мнений, которые вынимаются из их полемического арсенала, смотря по удобствам. Так и о главенстве и непогрешимости пап и об отношении их власти к власти Вселенских соборов встречаются разные мнения у самих католиков. Одни считают пап выше всякого собора, другие же подчиняют пап соборам. Очевидно, что только ультрамонтанское воззрение[6], считающее авторитет папский выше соборного или, по крайней мере, равным ему, может быть защищаемо с католической точки зрения, признающей в папе наместника Иисуса Христа. Если папа не заключает в себе всей полноты церковного авторитета, то, спрашивается, каким же образом может он устанавливать новые догматы без созвания Вселенского собора? Если не признавать всей полноты этого авторитета, то на чем основывается все католическое учение? Кто установил все разности, замечаемые между нынешним католичеством и прежним Вселенским православием? Вселенского собора для этого никогда не собиралось. Кто добавил Вселенский Символ веры? Ведь сделать это мог лишь равный собору авторитет. Но Вселенского собора по этому поводу не было; даже один собор, и в числе его членов послы Иоанна, осудили это нововведение[7], – осуждение, которого папа впоследствии только не ратификовал, так как надежды, с которыми он делал все эти уступки, не исполнились. Следовательно,

это изменение Символа может лишь в том случае иметь значение, с самой точки зрения католиков, если они признают за папой авторитет, по крайней мере равный авторитету Вселенского собора. Но ежели папы имеют такой авторитет и соединенную с ним непогрешимость, то этот авторитет, эта высшая степень церковной благодати должна кем-нибудь им быть передаваема. Католики утверждают, что она передана им апостолом Петром. Принимая значение верховенства Петра над прочими апостолами именно в этом католическом его смысле, соглашаясь и с тем, что Петр был римским епископом, оставляя без внимания, что первые два римских епископа, Лин и Анаклет[8], были рукоположены Павлом, а не Петром, – все-таки остается еще узнать, когда и посредством какого акта передал апостол Петр свое верховенство над церковью своему якобы преемнику? Сколько известно, апостол Петр никого после себя папой не назначал. Он поставил нескольких лиц епископами, но ни одному епископу, по понятиям самих католиков, не присваивается непогрешимости. Для этого, очевидно, нужно получить степень благодати гораздо выше епископской, нужно, чтобы вся благодать, заключающаяся вообще в церкви, сосредоточилась на одном лице, которое и было бы ее видимым источником. Точно так, как ни из чего не следует, что лицо, посвященное епископом в священники, могло б занять без особого посвящения кафедру посвятившего его епископа; так же точно не следует, чтобы из числа нескольких епископов, посвященных апостолом Петром, один из них мог без нового, особого сообщения даров благодати тем же апостолом, вступить в обладание всей полнотой церковного авторитета. В противном случае необходимо принять, что и всем епископам, посвященным апостолом Петром, прилична вся та полнота авторитета, которая соединялась в лице апостола (а следовательно, и всем тем епископам, которых они посвятили), так что или верховенство апостола Петра никому не было передано, ибо собственно в папы он никого не посвящал, или оно было передано весьма многим, и число этих лиц все возрастало с течением веков. Если, наконец, мы и согласимся, что апостол Петр особенным актом назначил своего преемника на римскую

кафедру и сообщил ему всю полноту церковного авторитета, которым сам обладал, то такую же точно передачу надо доказать при каждом переходе папского престола к новому папе. Но все очень хорошо знают, что такой передачи вовсе не делается, и что, следовательно, всякий новый папа получает главенство над церковью и все соединенные с ним свойства, в том числе непогрешимость, не от своего предшественника, который, однако же, один только в целом мире ими обладал. Спрашивается, откуда же берется, где источник той высшей степени благодати, которой будто бы обладают папы? Это тот же вопрос, который так смущал наших старообрядцев, пока согласие Амвросия не вывело их из этого затруднения. Но кто же выведет из него пап? Возможных выходов остается еще только два. Именно, если признать, что власть пап не выше, а равна власти Вселенского собора, то такой собор, собираемый при вступлении каждого нового папы, мог бы, конечно, сообщать ему всю власть, весь авторитет, которым сам пользуется. Но Вселенского собора после смерти каждого папы не собирается; ибо хотя католики и насчитывают таковых двадцать, все же число бывших пап гораздо больше этого. Остается, наконец, последний способ: надо, чтобы папы почерпали своей авторитет непосредственно из того же источника, из которого почерпнули его сами апостолы, то есть чтобы при избрании каждого нового папы повторялось то высокое событие, которое совершилось в Иерусалиме в пятидесятый день после Воскресения Христова, именно сошествие Св. Духа. Так как и этого сами католики не утверждают, то должно признать, что не существует источника, из которого можно бы было произвести папскую власть; значит, она самозванна и должна быть таковой даже в глазах каждого рассудительного католика.

Неосновательность папских притязаний, а следовательно, и всего католического понятия о церкви можно доказать еще и другим, столь же простым и очевидным способом. Становясь опять на католическую точку зрения и признавая верховенство апостола Петра над прочими апостолами в том именно смысле, в каком понимают его католики, спрашивается: кому принадлежит высший в церкви авторитет после апостола Петра? Оче-

видно, что он принадлежит другим апостолам. Но по кончине апостола Петра апостол Иоанн жил еще более 30 лет и, однако же, не занимал римской кафедры, и даже призываем на нее не был. Следовательно, если утверждают, что папам принадлежит главенство над церковью потому, что они суть наследники апостола Петра на римской кафедре, то против этого можно возразить с такой же точно силой, что так как высший церковный авторитет после кончины Петра на эту кафедру призван не был, то из этого необходимо следует, что по понятиям первых христиан верховный авторитет в церкви вовсе не соединялся необходимым образом с римским епископством, ибо иначе надо признать, что папы Лин, Анаклет и св. Климент[9] имели преимущество власти и авторитета над самим апостолом Иоанном, или что в то время были в церкви два равносильные авторитета, из которых каждый соединял в себе всю полноту церковной власти. Для уяснения представим себе, что предстоит решить следующий исторический вопрос. В столице какого-нибудь государства существовала некоторая важная и значительная должность, точного значения которой мы, однако же, не знаем, – не знаем, соединялась ли с ней вся полнота самодержавной царской власти, или же это была только должность, весьма уважаемая и высокая, но, однако же, без преимуществ верховенства. Данные для решения этого вопроса имеются следующие: 1) известно, что первый, занимавший эту должность, имел царскую власть; 2) известен закон перехода этой власти; например, известно, что она передавалась от отца к сыну по первородству, так что сын этот имел в глазах народа высший авторитет после своего отца. При этих несомненных данных события имели следующий ход. Отец умер. На должность, которую он занимал, поступает не сын, а кто-либо другой, даже не по назначению отца, а по избранию; и затем по понятиям всего народа вновь вступивший на должность (объем власти которой составляет искомое задачи) занимает ее законным образом; сам ее занимающий считает себя также законным образом ее занимающим; наконец, тот, который по первородству должен был бы ее занимать, если бы она была царская, также считает выбранного помимо его закон-

ным образом ее занимающим; и нераздельно и одновременно с этим, однако же, весь народ, сам поставленный на должность и наследник царской власти одинаково признают, что царская власть (то есть в нашем случае – высший церковный авторитет), несомненно, принадлежит никому другому, как этому наследнику. Если при всем этом мы признаем, что должность, точное значение которой нам неизвестно и которое мы отыскиваем, тем не менее была должностью царской, то придем к следующему неразрешимому противоречию: что весь народ (то есть все первые христиане), сами лица, занимавшие означенную должность (Лин, Анаклет, св. Климент), и даже сам законный наследник царства (апостол Иоанн) признавали этих лиц, занимавших более чем в течение 30 лет эту мнимоцарскую должность, одновременно и нераздельно и законными государями, и похитителями престола. Чтобы выйти из этого противоречия, необходимо признать, что должность сама по себе не имела царского значения, и что если первый ее занимавший и был вместе с тем царем, то это было лишь случайное совпадение, вроде того, как, например, римские императоры принимали на себя часто и должность консулов. Нельзя против этого сделать и того возражения, что обстоятельства или собственное нежелание апостола Иоанна воспрепятствовали ему занять римскую кафедру, ибо все-таки ее должны бы были ему предложить, даже он сам должен бы был потребовать ее для себя, дабы выяснить ее значение для предбудущих веков, а затем уже по каким-либо причинам от нее отказаться. Не подумали об этом заблаговременно отцы иезуиты[10], а то непременно отыскали бы какое-нибудь свидетельство о таковом событии, за несуществованием которого необходимо признать, что ни первые христиане, ни первые папы, ни сам апостол Иоанн не соединяли с римским епископством никакого понятия о церковном главенстве, а, следовательно, такового единоличного главенства не имел в виду и сам Иисус Христос.

Независимо от того, доходит ли до сознания самих католиков вся несостоятельность папских притязаний, самые практические последствия власти и значения, приписываемого папам, таковы, что католические народы не могут сносить их бремени и

стараются высвободиться от них разного рода непоследовательностями. Например, непогрешимость папы ограничивают одной духовной областью, на основании слов: «Царство мое не от мира сего» и «Воздадите Божие Богови и кесарево кесареви». Такое разграничение, без сомнения, справедливо, но как же решить, где границы мира сего, где кончается кесарево и где начинается Божие? Очевидно, что ни мир, ни кесарь этого решить не могут, ибо они погрешительны и могут положить неправильную границу, – могут выйти из своих пределов, как вышел из них Пилат, которому сказаны были первые из этих слов; как выходили Римские кесари, которые, как известно, вообще не были склонны к нетерпимости и гонениям за веру, а думали, что требовали именно кесарева, заставляя христиан приносить жертву богам, нераздельным с римским государством, воскуривать фимиам на алтаре статуй, воздвигнутых кесарю, представителю обожествленного государства. Если папа – наместник Христов, то очевидно, что никому, кроме его, не может принадлежать и разграничение Божьего от кесарева. Пий IX обнародовал свою знаменитую энциклику[11]. Нельзя даже и с посторонней беспристрастной точки зрения сказать, чтобы многие параграфы ее не относились действительно к области Божией, как, например, вопрос о религиозной терпимости. Что же против нее возражают? Что она противоречит духу времени, и приглашают папу согласоваться с ним, если он хочет сохранить свою власть и значение. Как смешны и ничтожны должны казаться такие возражения истинному католику! Велика важность в самом деле – дух времени, сопоставленный с тем, кто, по католическому понятию, есть уполномоченный Духа вечности! Если дух времени в противоречии с ним, то это уже не в первый раз; этот дух времени есть дух того, кого называют царем века сего. Приглашение папе поклониться ему, чтобы сохранить свою власть, не было ли сделано в тех же почти выражениях на горе в пустыне Тому, чьим наместником католики считают папу? Таковы практические затруднения, которые уже давно существуют для государств и народов, называющих себя католическими, а теперь возведены на степень непримиримых противоречий Пиевыми «non possumus»[12], перед

которыми, впрочем, нельзя не благоговеть, как перед выражением бесстрашной последовательности мысли и внутреннего убеждения. Противоречия эти на наших глазах если не усилились, то, по крайней мере, получили печать неизгладимости окончательным словом римского лжевселенского собора. Вообще роль Пия IX заключается в том, чтобы формулировать со всей резкостью, выставить на вид со всей яркостью притязания и требования католичества так, чтобы они били в глаза своим противоречием со всеми наизаконнейшими требованиями других областей жизни и мысли, чтобы разрыв между теми и другими дошел до сознания самых близоруких, самых тупоумных людей, чтобы уничтожить всякую возможность неопределенного, междоумочного положения между католицизмом и европейской цивилизацией. Католические народы поставляются в необходимость выбирать одно из трех: или отказаться от всех плодов, выработанных кровью и по́том многовековой борьбы и многовекового труда, и возвратиться к временам Григория VII и Урбана II; или отказаться от католического понимания церкви и, следовательно, либо перейти на скользкий путь протестантства, либо возвратиться в лоно православия; или же, наконец, отречься вместе с католичеством и от самого христианства. Как ни покажется странным, однако же под невыносимым бременем, налагаемым католичеством, народы и государства католической Европы склоняются, по-видимому, к этой последней альтернативе. Это выражается в знаменитом, пользующимся таким всеобщим фавором афоризме Кавура: «Свободная церковь в свободном государстве», то есть, выражаясь полнее и точнее, свободная от государства церковь в государстве, свободном от церкви. Что же это такое значит? Церковь, по нашему православному понятию, есть собрание верующих всех времен и народов под главенством Иисуса Христа и под водительством Св. Духа. Каким же образом может государство быть от нее свободным – свободным от Христа? Конечно, не иначе как перестав быть христианским. Про Турцию мы можем, например, без всякого сомнения утверждать, что это есть государство, свободное от церкви (то есть от церкви христианской). Этого ли хотят поборники знаменитой Кавуровой

формулы? Конечно, нет, по крайней мере, не все они этого хотят. И действительно, с католической точки зрения, вопрос и не представляется столь радикальным. Церковь, по католическим понятиям, сосредоточивается в иерархии, а иерархия – в папе, так что, собственно, государство, свободное от церкви, означает не более как государство, свободное от папы, что далеко не так страшно. Но хотя, однако, церковь, по католическому понятию, и сосредоточивается в папе, однако же внутреннее содержание ее не заключается вполне в папской власти. Католическое вероисповедание, будучи католическим, вместе с тем, однако же, и христианское. Поэтому не все в католичестве – ложь, многое истинное, действительно церковное в нем сохранилось, и государство, объявляя себя свободным от церкви, следовательно, объявляя себя вне церкви существующим, по необходимости выделяет себя и от того, что неразлучно с христианством.

Во многое существенно христианское, государство, по ограниченности сферы своих действий, не может и не должно вмешиваться; но во многом также обе эти сферы, церковная и государственная, столь же тесно связаны, столько же проникают друг друга, как дух и тело. Таков, например, супружеский союз, который есть существенно церковный, христианский, а вместе с тем и существенно гражданский. Объявляя себя свободным от церкви, государство необходимо должно нарушить и эту неразрывную связь, должно видеть в браке учреждение исключительно гражданское и тем лишить его всякой нравственной основы. Не говоря о всей оскорбительности для нравственного чувства – подчинять любовь, самое свободное, самое стыдливое, наиболее чуждающееся всякого грубого внешнего соприкосновения человеческое отношение, соизволению мэров, становых или квартальных надзирателей, – оскорбительности, которая заставляет предпочитать отношения между полами, основанные на одном природном влечении, такому неуместному административному вмешательству; обратим лишь внимание на те необходимые логические последствия, к которым ведет так называемый гражданский брак. Последствия эти противохристианские, противонравственные и вместе с тем

нелепые, и, утверждая это, я имею в виду именно тот гражданский брак, который введен или вводится в разных европейских государствах, предъявляющих более или менее претензии на свободу от церкви, а не гражданский брак, как его понимают некоторые наши умствователи, ибо хотя в этом последнем смысле он также противен христианству, но не нелеп с их точки зрения, то есть не ведет к последствиям, которые привели бы самих защитников его к противоречию с самими собой.

Ежели брак есть учреждение гражданское только, то он не может быть чем-либо иным, как обыкновенным контрактом между двумя лицами, утверждаемым правительственной властью, которая принимает на себя ручательство за его соблюдение каждой из заключающих сторон, поскольку другая сторона этого будет требовать, но никак не более. Ежели, следовательно, обе стороны пожелают расторгнуть этот договор или как-нибудь изменить его с обоюдного согласия, то гражданская власть, под страхом непоследовательности и превышения своей власти, никоим образом этому воспротивиться не может, не имеет на это ни малейшего права, ни основания. Следовательно, гражданский брак расторжим ad libitum[13]. От такого расторжения могут, правда, пострадать третьи лица – дети; но подобные же последствия нередко сопровождают и расторжение контрактов другого рода, что, однако же, не дает государству права объявлять их нерасторжимыми. Например, два лица заключают контракт, которым обязуются на общий счет устроить фабрику. Но через несколько времени они, с обоюдного согласия, решаются закрыть свою фабрику и расторгнуть связывающий их договор. Через это работники, работавшие на фабрике, могут лишиться средств к жизни и прийти в самое бедственное положение, которое принудит даже государство позаботиться об их судьбе; но это не резон отказывать в просьбе расторгнуть, по обоюдному согласию, свободно заключенный договор. Так же точно и относительно брачного договора: государство может принять меры к обеспечению детей, наложив известные обязательства на их родителей, учредив над детьми опеку и т.д. Ведь прибегает же оно к этим средствам обеспечения детей в случае расторжения

брака смертью или по другим причинам, считаемым законными при браке церковном. Итак, гражданский брак может быть расторгаем и вновь заключаем хотя бы каждый месяц и каждую неделю. Единственное ограничение, представляющееся возможным с этой точки зрения, есть излишнее обременение брачных чиновников делами при слишком часто возобновляемых расторжениях и заключениях браков.

Но свободный договор не только может быть по обоюдному согласию расторгаем, он точно так же может быть и изменяем на том же основании. Ежели, например, жена вовсе не причастна чувству ревности, то почему бы ей не согласиться на принятие в супружеское общество третьего лица – еще другой жены, на равных с ней правах? Не представляется никаких резонов, почему бы брачный чиновник мог отказать в своем утверждении такому дополнению к брачному договору. Обопрется ли он на нравственность, – но на какую, – на христианскую? От нее государство, свободное от церкви, должно быть свободно, как и от всего церковного. На общечеловеческую? Если и признать такое неуловимое, никаким определениям не подчиняющееся начало, то многоженство никак не может считаться ему противным, потому что существует и признается нравственность и в Турции, и в Персии, и в Китае, и в Индии, жители которых имеют самые основательные претензии на право называться людьми и, следовательно, требовать, чтобы считаемое ими за нравственное не исключалось из понятия общечеловечески нравственного. Многоженство существовало у царей и даже у первосвященников иудейских, которые признаются весьма нравственными людьми. Может также, конечно, случиться и обратный казус, – может найтись неревнивый муж, который согласится на изменение брачного контракта в смысле многомужия, и ежели бы брачный чиновник опять восстал против этого во имя общечеловеческой нравственности, то муж мог бы указать на пример тибетцев или, еще лучше, на пример благородных и рыцарских гуанхов, древних обитателей Канарских островов, уничтоженных испанцами. Основываясь на этих неопровержимых, с точки зрения общечеловеческой нравственности, фактах, целая компа-

ния неревнивых жен и столь же мало ревнивых мужей могли бы пойти далее по пути прогресса и неопровержимой логической последовательности и возжелать осуществить на практике соединение общечеловеческой нравственности по понятиям турок, персиан, китайцев, индийцев с таковой же по понятиям тибетцев и гуанхов, то есть заключить контракт на началах общности жен и мужей. Далее нельзя не предвидеть затруднения брачного чиновника, к которому явились бы для заключения брачного контракта брат с сестрой, и на его разглагольствования о противоестественности и безнравственности такого союза победоносно бы возражали на первое, что они сами судьи естественности или противоестественности союза, в который желают вступить, и что хотя считается противоестественным питаться гнилым мясом или тухлыми яйцами, однако же никакая административная власть не сочтет себя вправе изменять menu обеда лиц с такими противоестественными вкусами; а на второе представили бы столь же победоносный пример, что поклонники религии Зороастра не считали противным общечеловеческой нравственности супружества между братьями и сестрами и что в глазах чиновников, служащих свободному от церкви государству, огнепоклонничество и христианство должны иметь одинаковую цену. Несчастному приставленному к брачным делам административному лицу ничего бы не оставалось, как опереться на правила нравственности, выработанные коннозаводской практикой, если таковые могут почитаться достаточными для регуляции междучеловеческих отношений. Можно, конечно, возразить, что никакому административному лицу нет надобности справляться с началами общечеловеческой нравственности и тому подобными отвлеченностями, что для него достаточно положительного закона. Не позволяется, и баста. Это, конечно, так, но позволительно, однако же, думать, что сам закон не может же служить выражением того, что кому-нибудь во сне пригрезилось, а что сам закон должен на чем-нибудь основываться.

С освобождением государства от церкви и признанием формулы, также некогда произнесенной знаменитым государственным мужем, что закон атеистичен (la loi est athée), всякое

христианское основание у закона отнимается если и не сейчас, после принятия означенных формул, то со временем, потому что и в мире общественном существует своего рода инерция или косность, по которой он движется в известном направлении еще долго после того, как сила, его толкавшая, перестала уже действовать. Но непобедимая логика, наконец, всегда-таки берет свое. Может быть, приведут в пример Римское государство, в котором гражданский брак подлежал существенно тем же условиям, как христианский церковный. Пример справедлив только отчасти, потому что римский брак нельзя назвать браком гражданским. Римское государство не только не было свободно от своей языческой церкви, но, напротив того, представляло теснейшее с ней соединение, так что Римское государство было вместе и церковью. Римский император был вместе с тем и pontifex maximus[14]. Известно, что император Грициан был даже за то убит языческой партией, что, будучи христианином, не хотел облечься в одежду языческого первосвященника. Или укажут на Соединенные Штаты, в которых государство свободно от церкви и наоборот без всяких вредных от того последствий. Пример Соединенных Штатов указывает только на то фальшивое положение, в которое неминуемо поставляется государство, принявшее ложное начало, – положение, из которого только один выход – крайняя непоследовательность. На берегах Соленого озера, в территории Юта существует общество мормонов[15], принимающее, как известно, многоженство; и Соединенные Штаты, объявляющие свое государство свободным от церкви и церковь свободной от государства, отказываются признать за мормонами право образовать самостоятельный штат. На каком же это, спрашивается, основании? И спрашивается еще: если бы собралось более 40 000 китайцев, которых и теперь уже в Калифорнии очень много, и поселившись на пустопорожнем месте, каковых в Соединенных Штатах еще так много, потребовали бы признать их область штатом, что, любопытно бы знать, ответило бы на это федеральное правительство? Если бы оно допустило китайский штат, то официально допустило бы и освятило своим авторитетом многоженство и не имело бы ни малейшего основа-

ния не допустить и не освятить того же и у мормонов, а затем и у всех, кто пожелал бы жить в этой форме полового союза; если бы же все-таки продолжало не признавать его у мормонов и у прочих граждан союза, то показало бы, что оно вовсе не свободно от церкви, а имеет свою господствующую церковь, условно установленную государственную религию и основанную на ней государственную мораль, – как это и теперь несомненно делают Соединенные Штаты. И эта impliciter[16] принимаемая Соединенными Штатами государственная религия отличается лишь тем от других протестантских государственный религий, что тетрадка, в которую они, по примеру Джефферсона, наклеивают свои вырезки, очень мало объемиста.

Из этого выходит, что христианство как в протестантском, так и в католическом сознании подпилено под самый корень, что оно, с их точки зрения, не выдерживает самой простой критики и держится лишь до поры до времени только по инерции или косности, присущей и нравственному миру. Если эта шаткость основы не столь ясно дошла до сознания католического мира, как до сознания мира протестантского, то зато необходимые практические следствия католического воззрения легли уже всей своей тяжестью на народы этого исповедования, и тяжесть эта стала для них невыносимой. Это внутреннее противоречие касается уже не одного только догматического содержания христианского учения, что, по утилитарному взгляду на религию, не составляло бы еще большой беды, но проникло уже до самых плодов его, то есть до этической, нравственной стороны христианства, как это, впрочем, иначе и быть не может, ибо одно от другого отделяется лишь большим или меньшим промежутком времени, смотря по большей или меньшей быстроте вывода практических последствий из данного основания, – быстроте, которой разные народы одарены в различной степени.

Ни теоретических противоречий, ни практической невыносимой тяжести не сопрягается с православным понятием о церкви и о ее непогрешимости. Понятие это не отнимает у религии твердой незыблемой почвы Откровения, как протестантство, и не выходит из пределов, обозначенных в самом Писании: «Аз

созижду церковь Мою, и врата адовы не одолеют ю», – произвольными к нему дополнениями, не основанными ни на Писании, ни на предании, как католичество, которое сосредоточивает эту неодолимость церкви в лице папы, приписывая ему непогрешимость вопреки истории. Православное понятие о непогрешимости церкви не налагает на ум неудобоносимого бремени, ибо хотя она по справедливости считается чудесной, однако принадлежит к тому разряду чудесного, которое необходимо проявляется во всем, в чем ощущается непосредственное действие божественного Промысла. И стройный порядок природы непогрешим, и история непогрешима; в непогрешимости церкви этот божественный Промысл проявляется только более прямым и непосредственным образом. Непогрешимость эта выражается во всем том, что составляет голос всей церкви, и, следовательно, самым явным и определенным образом во Вселенских соборах. Но собрать Вселенский собор не во власти никакого царя, никакого патриарха – одним словом, ни в чьей власти в отдельности; ибо Вселенским становится только тот собор, который в этом качестве утверждается самим Божественным Промыслом, так как внешних признаков для придания собору характера Вселенского не существует; и тем только соборам присваивается это качество, которые были признаны за таковые сознанием всей церкви, то есть, если позволено будет так выразиться, которые были ратифицированы самим Главой церкви и Духом Святым.

Между тем как против непогрешимости пап не раз свидетельствует история, непогрешимость соборов запечатлена в истории чудодейственной силой. Все христианские историки видят в распространении христианства явление чудесное и выставляют его как одно из доказательств божественности христианского учения. Но совершенно таким же характером чудесности запечатлены и действия Вселенских соборов. Анафема собора прогремела – и пораженное ею учение теряет жизненную силу, иссыхает, как пораженная проклятием смоковница, хотя нередко все внешние обстоятельства, вся сила мирской власти были на стороне отверженного, признанного ересью учения. После смерти Константина арианство господствует на Востоке

и на Западе, целый ряд императоров употребляет все усилия для доставления ему торжества, точно так же, как ряд языческих императоров до Константина и Юлиан Отступник напрягали все усилия язычества. Кроме Империи могущественнейшие народы того времени – готты, занимавшие страны прибалканские и придунайские, Иллирию, Италию, Южную Францию и Испанию, а также бургунды, занимавшие юго-запад Германии, и вандалы[17], основавшиеся в Африке, – ревностные последователи Ария. Сравнительно с этим могуществом, какое жалкое место занимает гонимое православие! Но анафема собора произнесена – и все это могущество осуждено на ничтожество; не проходит и трех веков, как исчезают уже и последние следы арианства. То же явление повторяется с иконоборством. Ежели несторианство, монофизитство и монофелитство, которым также нередко покровительствуют императоры, и не совершенно исчезли, то слабые следы их сохранились только в трущобах и захолустьях Азии и Африки, вне всякого исторического и религиозного движения, как медленно умирающие остатки племен, составляющих этнографические курьезы, в непроходимых горных котловинах Кавказа или Пиреней. Слово соборов было словом власть имеющих. Таковы ли были действия папской анафемы, подкрепляемой светским мечом и всей мощью императоров и королей?*

* В одной из немногих заметок, которыми был удостоен наш труд, такой взгляд на действия соборных приговоров был поставлен нам в вину как признак грубого, внешнего понимания исторических явлении. Автор заметки, очевидно, представлял себе мысль нашу в таком виде: анафема собора прогремела, и магическим действием ее, как от какой-то заклинательной формулы или абракадабры, пораженное учение теряет свою силу, свое влияние, свою жизненность. А выше ведь упомянуто, к какому разряду чудесного принадлежит, по нашему мнению, церковная непогрешимость. Почему бы не понять наших слов таким образом: анафема значит отлучение, следовательно, пораженное анафемой учение, признанное ложным, несообразным с исповедываемой истиной и, как ложное, обречено на смерть и гибель, каким бы внешним покровительством эта ложь ни пользовалась. Итак, если церковь и высшее выражение ее – Вселенский собор заключает в себе свойство непреложного отличения религиозной истины от лжи, то тем самым, как говорится, ipso facto, (само по себе, в силу самого факта (*лат.*) – *Ред.*), и решения соборов будут облечены даром произносить смертные приговоры над осужденными ими учениями, – приговоры такой силы и власти, что они непременно, во что бы то ни стало, так или иначе исполняются.

Что касается до практического влияния церкви на гражданское положение общества, то вопроса об отношении церкви к государству, имеющего столь преобладающее значение для народов Европы, на почве православия в принципе, в идее, вовсе и возникнуть не могло. Грань между Божьим и кесаревым, предел между царствами обоих миров не может быть нарушен, потому что сама церковь во всем, что до нее касается, непогрешимая, никогда не может его переступить; если же его когда переступает государство, то это не более как частное и временное насилие, могущее, правда, причинить бедствие или страдание отдельным христианам, иерархам, даже целым народам, но совершенно бессильное по отношению к церкви вообще. Свобода ее ненарушима по той простой причине, что ни для какой земной власти недосягаема. Церковь остается свободной и под гонениями Неронов и Диоклетианов, и под еретическими императорами Византии, и под гнетом турецким. Император Констанций, принудивший папу Либерия признать полуарианский Символ и отречься от св. Афанасия[18], не только бы нарушил, но уничтожил бы свободу церкви, ежели бы в то время христианская церковь имела действительно то значение, которое ей приписывают католики. По случаю придания титула *Вселенского* константинопольскому патриарху папа Григорий Великий пишет патриарху антиохийскому: «Вы не можете не согласиться, что если один епископ назовется Вселенским, то вся церковь рушится, если падет этот *Вселенский*». Но что могли сделать все гонения Льва Исаврянина[19] или Константина Копронима[20], что значили все отступничества того или другого патриарха при православном понятии о церкви? Они увеличили только число ее мучеников или дали случай выказаться новым примерам человеческой слабости.

Нельзя не упомянуть при этом о том непонимании или о той недобросовестности, которые выказывают западные писатели во всем, как только дело коснется Славянства или православия: как будто бы и просвещенным умам, принадлежащим к одному культурно-историческому типу, не дано

понимать явлений другого типа, к которому они по своему положению должны относиться враждебно. Историки, писавшие о Византийской империи, непременно говорят о так называемом ими придворном православии (hoforthodoxie), которое будто бы установлялось императорским произволом. Они забывают при этом одно, что каковы бы ни были религиозные верования императоров, которые они старались навязать своим подданным, православие оставалось всегда одно и то же и было в Византийской империи то же самое, которое существовало тогда и на Западе, на который власть императоров или вовсе не распространялась, или распространялась на небольшие местности, и то на короткое время. Ежели православие сообразовалось с тем, что исповедовали Феодосий, Юстиниан, Феодора или Ирина, то почему же не сообразовалось оно с тем, что исповедовали Констанций, Валентиниан, Ираклий, Лев Исаврянин или Константин Копроним[21]? Не значит ли это, что только когда императоры признавали то, что церковь признавала православным, их религиозная ревность оставляла после себя постоянные результаты; когда же они следовали своим личным внушениям, их старания и домогательства исчезали бесследно? Церковное ли православие или придворное господствовало после этого в Византии? Православие ли придавало силу и значение императорам, его державшимся, или оно заимствовало свою силу от их личных воззрений и взглядов?

Из этого краткого взгляда на православное, католическое и протестантское понимание значения церкви уже достаточно выказывается существенность различия между просветительными началами, исповедуемыми русским и большинством славянских народов, и теми, на которых основывается европейская цивилизация. Различие это не поглощается родовым понятием христианской цивилизации, потому что вследствие вольного и невольного искажения правильного понятия о церкви европейская цивилизация, произрастив немало действительно христианских плодов, – на основании неудержимого хода развития того зерна западной лжи, ко-

торое примешалось к вселенской истине, – дошла до непримиримого противоречия, теоретического и практического, с обеими западными формами христианства, которые, однако же, как протестантская, так и католическая Европа отождествляет с самим христианством и потому тщится заменить его рационализмом, более или менее радикальным, в области убеждения, а в области практической старается устранить противоречие разрывом между государством и церковью, то есть между телом и духом; другими словами, хочет излечить болезнь смертью. Этот замен и этот разрыв еще не вполне совершились, но последний обхватывает все большее и большее число государств и приближается к своему кризису. Первый же проникает все глубже в такие слои общества, в которых этот рационализм, проходящий всевозможные градации между деизмом[22] и нигилизмом с огромным преобладанием последнего, по степени их развития и образованности не может уже составлять философского убеждения, а принимает характер веры – и веры по преимуществу атеистической, а следовательно, и с утилитарной точки зрения лишенной всякого этического значения. Это противоречие выказалось ранее в странах католических, потому что практическое противоречие между католическим воззрением и новой гражданственностью ранее ощутилось под католическим гнетом. Но после первой вспышки последовало условное, наружное примирение, потому что противоречие было почувствовано только высшими сословиями, и открывавшаяся бездна казалась слишком ужасной. Так как католический принцип не носит на себе печати необходимого внутреннего противоречия, то стоило только отвратить взор и не вглядываться слишком пристально в его гнилые корни и расшатавшиеся подставки, чтобы временное и наружное примирение сделалось возможным. Напротив того, противоречие с протестантской точки зрения оказалось позднее, когда исчезла надежда на возможность отыскания положительной религиозной истины посредством критики, основанной на рационализме, – критики, уже приступающей к своей работе с предвзятой, хотя

и бессознательно, может быть, идеей отвергнуть все, по ее понятиям выходящее из порядка вещей самого тесного круга реальности. Начавшись позднее, оно проникло глубже, потому что по самому основному началу протестантизма он ни на чем остановиться не может. Тут не поможет никакое отвращение взора в сторону; противоречие видимо для внутреннего глаза, который и закрыть нельзя. Надо или возвести Лютера, Кальвина, Цвинглия, Генриха VIII, Шлейермахера, или кого угодно в сан пророка, пришедшего объяснить закон, или если не прямо перейти к Бюхнеру, то остановиться на узенькой и скользкой ступеньке к нему ведущей лестницы. С другой стороны, оказывается, что продолжительное примирение, даже наружное, с Римом невозможно, что чуть задумаешь отдохнуть, как папская милиция уже начинает свое наступление, свое неустанное, достойное лучшей цели упорство, постепенное нечувствительное заворачивание назад к порядкам Григориев, Урбанов и Бонифациев. Что же тут делать? Есть ли исход? Для отдельных лиц, алчущих правды, – да; двери православия отверзты. Для целых народов, вероятно, нет исхода прямого, непосредственного; надо сначала перейти все ступени дряхлости, болезни, смерти и разложения, чтобы из разложившихся элементов составилось новое этнографическое целое, новый культурно-исторический тип. Для народов, как и для отдельного человека, нет ни живой воды, ни источника юности. «Не оживешь, аще не умрешь», – относится также и к народам.

Православное учение считает Православную Церковь единой спасительной. Здесь не место касаться того, как понимать это по отношению к отдельным лицам. Но смысл этого учения кажется мне таков по отношению к целым народам: неправославный взгляд на церковь лишает само Откровение его достоверности и незыблемости в глазах придерживающихся его и тем разрушает в умах медленным, но неизбежным ходом логического развития самую сущность христианства, а без христианства нет и истинной цивилизации, то есть нет спасения и в мирском смысле этого слова.

Глава X
Различия в ходе исторического воспитания

Или, еще лучше, я мог бы назвать их двумя беспредельными и поистине беспримерными электрическими машинами (которые вертятся общественным механизмом) с батареями противоположных свойств; горемычный рабочий класс – батарея отрицательная, дендизм – положительная: одна ежечасно притягивает и присваивает себе все положительное электричество нации (то есть деньги); другая трудится подобным образом над отрицательным (то есть над голодом), которое одинаково могущественно. До сих пор вы видите только отдельные, преходящие искорки; но подождите немного, пока вся нация не очутится в электрическом состоянии, пока все ваше жизненное электричество, перестав быть здорово-нейтральным, не разделится на две разобщенные доли положительного и отрицательного (денег и голода), и они не противостанут друг другу, заключенные в лейденских банках двух мировых батарей! Прикосновение детского пальца приводит их в соединение, и тогда – что тогда? Земля расшибается в неосязаемый прах этим громовым ударом страшного суда, Солнце недосчитывает одной из своих планет, и впредь уже нет более лунных затмений.

Carlyle. Sartor resartus[1]

Существенная разница – разница типическая между миром Германо-Романским, или Европейским, и миром Славянским заключается еще в ходе исторического воспитания, которое по-

лучили тот и другой. Прежде изложения этого различия необходимо уяснить себе некоторые общие теоретические понятия о государстве. Что такое государства и в чем существенно состоит процесс их образования и развития? Оставляя всякие мистические, ничего ясного уму не представляющие определения государства (как, например, то, которое мы во время óно заучивали на школьных скамьях: что государство есть высшее проявление закона правды и справедливости на земле), мне кажется, надо остановиться на более удовлетворительном, в сравнении с прочими, английском понятии, что государство есть такая форма или такое состояние общества, которое обеспечивает членам его покровительство личности и имущества, понимая под личностью жизнь, честь и свободу. Такое определение кажется мне вполне удовлетворительным, если жизнь, честь и свободу личности понимать в обширном значении этого слова, то есть не одну индивидуальную жизнь, честь и свободу, но также жизнь, честь и свободу национальную, которые составляют существенную долю этих благ. Без этого распространения понятия о личной чести, свободе, – явления, представляемые государствами, не подойдут под определение его. Для чего, в самом деле, скопляться миллионам и десяткам миллионов людей в громадные политические единицы, если бы этим соединением сил имелось в виду только обеспечить жизнь, имущество и личную честь и свободу? Для этого достаточно, казалось бы, и таких групп, как швейцарские кантоны или немецкие герцогства средней руки. Если бы одни эти личные блага имелись в виду при жизни в государстве, то для чего бы, например, в 1813 году восставать народам Германии против власти Наполеона? Власть эта была достаточно просвещенная, чтобы обеспечить им все эти блага настолько же, по крайней мере, насколько делали это в то время немецкие правительства. В государствах Рейнского союза она даже обеспечивала их лучше, нежели это прежде делала Священная Римская империя немецкой национальности или после – Германский союз. Например, Наполеонов кодекс, усовершенствованные формы судопроизводства – были дарами Наполеонова владычества, которые, по его низвержении, нередко

заставляли по нем вздыхать. Для чего бы и нам было приносить в жертву сотни тысяч людей и сотни миллионов денег, жечь города и села, если бы дело шло только о защите жизни, имущества, личной чести и свободы? Наполеон, без сомнения, их не нарушил бы, ежели бы власть его была признана с покорностью, – может быть, даже доставил бы им такие гарантии, которых тогдашнее общественное и гражданское состояние России не представляло. Очевидно, потому, что все эти блага и немцам, и нам казались ничтожными – в сравнении с честью и свободой национальной. Если посмотрим на те жертвы, которых каждое государство требует от своих подданных в виде имущественных взносов и личных услуг, то увидим, что по крайней мере четыре пятых из этих жертв идут на обеспечение не личных, а национальных благ. Сюда относится содержание почти всего флота, – ибо много ли надо судов для защиты частного имущества от морских разбоев, – почти всей армии, – ибо для сохранения внутреннего порядка также не много надо войска, – весь государственный долг, который всеми почти государствами был заключаем для расходов, сопряженных с сохранением национальной чести и свободы или национальных интересов, а не для обеспечения этих благ частным лицам. Так же точно и значительность расходов по финансовому управлению объясняется лишь значительностью сборов, которые должны быть взимаемы на содержание армии, флота и уплату государственного долга. Без этих надобностей и сама администрация могла бы быть гораздо проще и дешевле стоить.

Народности, национальности суть органы человечества, посредством которых заключающаяся в нем идея достигает в пространстве и во времени возможного разнообразия, возможной многосторонности осуществления, как это было показано в предыдущих главах; следовательно, жертвы, требуемые для охранения народности, суть самые существенно-необходимые, самые священные. Народность составляет поэтому существенную основу государства, самую причину его существования, – и главная цель его и есть именно охранение народности. Из самого определения государства следует, что государство, не имею-

щее народной основы, не имеет в себе жизненного начала, и вообще не имеет никакой причины существовать. Если, в самом деле, государство есть случайная смесь народностей, то какую национальную честь, какую национальную свободу может оно охранять и защищать, когда честь и свобода их могут быть (и в большинстве случаев не могут не быть) друг другу противоположны? На что идут миллионы, поглощаемые флотами, армиями, финансовым управлением, государственным долгом таких государств? – ни на что, как на оскорбление и лишение народной чести и свободы народностей, втиснутых в его искусственную рамку. Что значит честь и свобода Турции, честь и свобода Австрии, честь и свобода бывшей Польши? – не иное что, как угнетение и оскорбление действительного народного чувства и действительной национальной свободы народов, составляющих эти государства: греков, сербов, болгар, чехов, русских, румын, недавно еще итальянцев. Эти государства могут быть по сердцу только тем, кому они дают средства к этому угнетению и оскорблению: турецкой орде в Турции, небольшому клочку немцев, а с недавнего времени и мадьяр, в Австрии, оторвавшемуся от своей народности и от славянского корня польскому шляхетству и католическому духовенству.

Из этого национального значения государства следует, что каждая народность, если получила уже и не утратила еще сознание своего самобытного исторического национального значения, должна составлять государство и что одна народность должна составлять только одно государство. Эти положения подвержены, по-видимому, многим исключениям, но только по-видимому.

Первое положение, утверждающее, что всякая национальность имеет право на государственное существование, по необходимости ограничивается условием сознания этого права, ибо бессознательной личности, ни индивидуальной, ни народной, быть не может, и лишать этой личности того, кто ее не имеет – невозможно. Это несознание народом своей народной личности может происходить от различных причин: от коренной неспособности возвыситься над состоянием дикости и племенной

разрозненности или только от недостижения достаточной зрелости возраста. Весьма вероятно, что обе эти причины в сущности сливаются всегда в одну последнюю. Но как бы то ни было, если племя, находящееся на такой еще несознательной ступени развития, обхватывается другим, уже начавшим свой политический рост, то первое поглощается последним; ибо не может же племя более могучее и зрелое остановить рост свой потому, что ему на пути встречаются эти племенные недоростки. Если между деревом и его корой попадается посторонний предмет, – дерево обрастает его, включает в свою массу. Но с народами бывает еще нечто иное: в племенной, этнографический, а не исторический, период своего бытия они обладают значительной гибкостью, мягкостью организма. Не подвергнувшись еще влиянию своего особого образовательного начала, они сохраняют способность легко вступать в тесное соединение с другими народностями, точно так же, как многие химические вещества вступают в соединение между собой только в состоянии зарождения (in statu nascenti[2]). Эти этнографические элементы производят смешанный тип, если они между собой равносильны; или только немного изменяют главный тип, если одно из соединяющихся племен значительно преобладает численностью или нравственной уподобляющей силой. Если бы этим поглощаемым племенам предоставлена была возможность долее продолжать свое независимое существование, или если бы влияние на них племен, далее подвинувшихся в своем развитии, было отдаленнее, то, может быть, и они достигли бы исторического момента своей жизни и образовали бы самобытные государства. Но не имев этого счастия или не будучи к тому способны, они входят в состав какого-либо преобладающего (предназначенного к исторической судьбе) племени. Процесс этого поглощения совершается, конечно, не вдруг, а тем медленнее, чем естественнее и менее насильственно он происходит. Такова была судьба финских племен, рассеянных по пространству России. Славяне никогда их не покоряли: с самого начала истории племена их являются в дружном союзе с племенами славянскими и сообща кладут основание государства. Но более сильное племя погло-

щает их естественным путем ассимиляции. Процесс этот еще не кончен, и мы видим финское племя до сих пор на всех ступенях слияния, – начиная от той, при которой остались только следы бывшей розни (в фински звучащих названиях урочищ), до сохранивших еще свою полную племенную физиономию эстов, и, несмотря на это, желающих слиться с русским народом, если бы мы сами не поставляли тому преград. Само собой разумеется, что весь, корелы, зыряне, мордва, черемисы, чуваши так же как остяки, вогуличи или самоеды, – не могут составлять государств; но они и притязаний на это никаких не имеют, не имеют сознания исторического и политического характера своей народности, – его, следовательно, и вовсе не существует. Таково же, например, положение басков во Франции и в Испании.

Другие народы умерли для политической жизни, сохранив еще, однако, свои этнографические особенности. Типом таких народов могут служить евреи, которые нигде не выказывают ни малейшего поползновения соединиться в особую политическую группу. Точно так же, как разные стороны личного, так и разные стороны народного характера лишь постепенно обнаруживаются и также постепенно замирают. Близко к евреям (по замиранию политической, а следовательно, и исторической стороны народного характера) стоят армяне, которые, желая сохранить особенности своего вероисповедания, свой язык, свои нравы, нигде не выказывают стремлений к политической жизни, – между тем как греки, находящиеся в Турции в таком же состоянии угнетения, не перестают выказывать свою политическую жизненность. Наконец, есть народы, точно так же, как и отдельные лица, заслуживающие (по отношениям их к самим себе и к соседним народам) лишения свободы, которую всегда употребляли во зло. Таковы – поляки. Неисправимое отношение высших классов к низшим, неумение охранять собственную народность, – а между тем беспрестанное стремление угнетать другие народности, лишая их не только политической жизни, но и всякой свободы религиозной и бытовой, – смуты, производимые в соседних государствах, и наконец, измена своему племени – достаточно доказали неспособность поляков к госу-

дарственной жизни. Если, несмотря на то, что каждый человек имеет бесспорное право развивать свою личность, никто, однако, не задумывается лишить этой свободы человека, который бы оказался виновным в том же, в чем виновны поляки (то есть высшие классы польского общества), то мудрено понять, почему бы и целый народ должен пользоваться привилегией безнаказанности. Только наказывать Польшу, делать ее безвредной имела право одна Россия, против которой, равно как и против всего Славянства, Польша постоянно была виновата. Каковы были на это права Австрии и Пруссии – это другой вопрос.

Если цель государства состоит главнейше в защите и охране жизни, чести и свободы народной, и так как эта жизнь, честь и свобода у одной народной личности может быть только одна, то, само собой понятно, справедливо и второе положение, то есть, что одна народность может составлять только одно государство. Если какая-либо часть народности входит в состав другого государства, то это нарушает уже и ее свободу, и ее честь. Если часть народности составляет другое самобытное государство, то цель, для которой оба эти государства существуют, не может быть хорошо достигнута ни тем, ни другим; собственно говоря, самой цели этой уже не существует, или, по крайней мере, она существует не вполне. Оба эти государства не достигли, значит, истинного сознания своей народной личности; цель их может быть только какая-нибудь временная или случайная. По-видимому, такому понятию совершенно противоречит существование Соединенных Штатов, национальность которых есть английская. Но как существование мелких финских племен в составе Русского государства указывает лишь на незавершившийся, неокончившийся еще процесс их ассимиляции, так существование самобытного государства Соединенных Штатов указывает, напротив того, на зародившееся только образование новой национальности, совершенно различной от английской. Мы присутствуем теперь, сами мало это замечая (ибо так мало резок, так мало заметен бывает всякий процесс нового образования), при переселении народов – совершенно подобном тому, которое породило нынешний европейский, или романо-

германский, культурно-исторический тип. Причины этого переселения народов совершенно однородны с теми, которые произвели так называемое Великое переселение[3]: в обоих случаях тот же недостаток средств к существованию на местах родины переселенцев. Объем нового переселения нисколько не меньше, если даже не больше, происходившего в первые века христианской эры. Сотни тысяч, а иногда и до полумиллиона народа переселяются ежегодно через океан. Результаты переселения одни и те же: смешение народов, приходящих на новую почву не в государственной, туго поддающейся слиянию форме, а в виде более свободных, так сказать, разжиженных этнографических элементов. Весьма было бы странно, если бы это смешение голландцев, англичан, немцев, кельтов, французов, испанцев и даже славян (чехов), при совершенно особых физических и нравственных условиях страны не производило бы новой или новых народностей, – как некогда смешение разных германских, галльских, романских и отчасти славянских и арабских элементов произвело новые народности: английскую, немецкую, французскую, итальянскую, испанскую. Эти элементы, в различной пропорции смешения занявшие западные части Римской империи и Германии, не были уже в то время совершенно дикими, и потому должны были иметь какое-либо общественное или даже государственное устройство, тем более, что находились под влиянием культурного элемента римского. Поселившись на новой почве, они не представляли уже племени без всякой политической связи, каковы, например, американские дикари; но политическая связь их не могла быть государством, основанным на народном национальном характере, ибо такового еще не выработалось. Старый римский, галльский, бретонский мир был разрушен, новый (преимущественно, хотя и не исключительно, германский) не успел еще с ним слиться в новое или в новые целые. Поэтому первые государства, последовавшие за падением Римской империи, имели, так сказать, временной, провизуарный характер, дабы под кровом их могли выработаться новые народности. Государства Лангобардское, Ост-Готское, Вест-Готское, Свевское, Бургундское, Франкское (времен Меровин-

гов) не выражали собой определенных народностей. Общегерманский элемент до того даже в них преобладал, что они могли еще составить одно целое под скипетром Карла Великого, – и истинным моментом рождения новых народностей: французской, итальянской и специально немецкой, по справедливости считается Вердюнский договор[4], заключенный около 400 лет после занятия варварами своих новых местожительств. Такой же временной, провизуарный характер носят на себе и Соединенные Штаты. Государственный характер их развился очень сильно (как доказывает энергия, выказанная ими в недавней междоусобной борьбе), но особого народного характера еще не выразилось, или он выразился еще очень слабо. Я этим вовсе не хочу утверждать, чтобы Соединенным Штатам непременно угрожала гибель и что на их месте должны возникнуть новые государства, основанные каждое на самобытной народности. Нет основания проводить аналогию так далеко, да и сама аналогия этого не требует. Если развалины империи го́тов вошли в состав нескольких государств, то зато Монархия франков, в тесном смысле этого слова, продолжает существовать от времен Хлодовика или Меровея до наших времен. Продолжает же она существовать потому, что под кровом старой, не национальной еще Франкской монархии развилась особая французская национальность. Я хочу выразить только ту мысль, что теперешние Штаты составляют форму провизуальную, под кровом которой должны образоваться одна или несколько национальностей, и смотря по этому будет одно или несколько государств.

Если существеннейшая цель государства есть охрана народности, то очевидно, что сила и крепость этой народной брони должна сообразоваться с силой опасностей, против которых ей приходилось и приходится еще бороться. Поэтому государство должно принять форму одного централизованного политического целого там, где опасность еще велика; но может принять форму более или менее слабо соединенных федеративной связью отдельных частей, где опасность мала.

Национальность не составляет, однако, понятия столь резкого, чтобы все не принадлежащее к ней было ей совершен-

но чуждо в одинаковой мере. Такого резкого отграничения не представляет даже индивидуальность личная. Та и другая имеют с другими национальностями или индивидуальностями более или менее тесную родственную связь, которая может быть столь тесна, что свобода и честь этих сродных существ столь же близко до них касаются, как и их собственные, и совершенно между собой неразделимы. Такие группы образуют семейства лиц и народов; и народы, если имеют такие семейства, не могут оставаться в совершенной между собой отдельности. Как, однако же, ни тесна эта связь, она не может совершенно стереть границ ни народной, ни индивидуальной личности. Поэтому, хотя бы народы были и очень близки между собой, но если они сознают себя особыми политическими целыми, они в одно государство безнасильственно сложиться не могут; но для взаимной защиты, для возвеличения каждой отдельной народности и для укрепления их естественной связи должны составлять федерацию, которая в свою очередь (смотря по величине опасностей, среди которых предназначено ей жить и действовать) может представлять связь различной силы и крепости: может принять форму союзного государства, союза государств или просто политической системы. Первая будет иметь место, когда вся политическая деятельность союза сосредоточена в руках одной власти, а членам союза предоставлена самая обширная административная автономия. Вторая – когда при политической самостоятельности частей они связаны неразрывным договором общего внешнего действия, как оборонительного, так и наступательного. Третья – когда эта общность действия обусловлена лишь одним нравственным сознанием, без всякого определенного положительного обязательства. В первых двух случаях связь обеспечена не только общей законодательной властью, объемлющей более или менее обширную сферу деятельности членов союза, но и властью судебной, разрешающей вопросы, которые возникают от приложения этих законов к частным случаям, и властью исполнительной, имеющей приводить в исполнение судебные решения. Напротив того, в случае политической системы – ни судебной, ни исполнительной союз-

ной власти не существует; само же союзное законодательство, выражающееся в международных договорах, относится лишь к частным случаям, имеет силу именно только относительно этих случаев, во всей их частности, без всякой обязательности (даже нравственной) подчиняться проистекающим из них выводам, хотя бы и самым естественным, логически необходимым. Можно, конечно, сказать, что и в союзе государств фактически может не существовать принудительной власти, как мы недавно видели на примере Пруссии, не подчинившейся союзному решению. Но такой случай возможен и в государстве, если только ослушник имеет достаточно силы, дабы противиться государственному закону. Напротив того, в системе государств, по самой сущности ее, не существует имеющей обязательную силу судебной и исполнительной власти, что, в сущности, равнозначно совершенному отсутствию таковых, почему и всякое нарушение интересов одного или нескольких членов системы другими может быть не иначе восстановлено, как насилием, то есть войной, или добровольным примирением.

Итак, формы политически централизованного государства, союзного государства, союза государств и политической системы обусловливаются, с одной стороны, отдельностью народных личностей, служащих их основанием, и степенью их сродства между собой, с другой стороны, – степенью опасности, угрожающей национальной чести и свободе, которым государства должны служить защитой и обороной. Неверное понимание этих отношений никогда не остается безнаказанным и ведет к самым пагубным последствиям. Так, например, по степени национального сродства все греческие племена могли бы составлять одно государство, ибо имели один язык, одну религию, одни предания и т.д. Но, развиваясь в стране, весьма хорошо защищенной природой – морем и горами, удаленной от враждебных народностей, еще даже не образовавшихся, – они долгое время находились вне всякой внешней опасности; поэтому без неудобства могли бы образовать из себя союзное государство или даже союз государств, чему и было положено начало в некоторых общих учреждениях: в амфиктионовом

суде, в общем дельфийском казнохранилище, в общих играх и т.п. Но греческие государства тяготились всякой связью и составили из себя только политическую систему. Внешние опасности наступили, но они не могли заставить их теснее соединиться между собой; и когда рознь их зашла уже очень далеко, они отвергли якорь спасения, брошенный им великим македонским государем Филиппом. Только силой подчинились они спасительному единству, и сохраняли его только пока эта сила действовала. Поэтому греки погибли как нация гораздо ранее, чем живые народные эллинские силы совершенно иссякли. Греческая культура должна была доживать свой век, слоняясь по чужим углам – в Египте, в Пергаме, и, наконец, везде она должна была подчиниться уже чуждому ей Риму.

Ежели национальность составляет истинную основу государства, самую причину и главную цель его бытия, то, конечно, и происхождение государства обусловливается сознанием этой национальности как чего-то особого и самобытного, требующего соединения всех личных сил для своего утверждения и обезопасения; и поводом к образованию государства будет служить всякое событие, которое возбуждает это сознание, – всякое противоположение других национальностей, точно так, как ощущение противоположности внешнего мира с внутренним приводит к сознанию индивидуальной личности. Никто теперь не думает, чтобы какое-либо условие, договор, контракт служили основанием государства; так же, как никто не думает, чтобы подобное условие создало язык. Но таким основанием не может даже считаться прирожденный человеку инстинкт общественности, ведущий только к сожительству в обществе (родом, племенем, общиной), а не к государству. Для сего последнего нужно нечто большее, необходим внешний толчок, приводящий племена к ясному сознанию их народной личности, а следовательно, и к необходимости ее защиты и охранения. По крайней мере, мы не знаем примера, чтобы какое-либо государство образовалось без такого внешнего толчка – одного или нескольких, одновременно или последовательно возбудивших в племени народное сознание. Могло ли бы без него развиться государство – сказать

трудно. Во всяком случае, для такого образования государства (из одних внутренних побуждений) было бы потребно неосуществимое на практике стечение обстоятельств. Именно, необходимо бы было отсутствие всяких внешних и внутренних возмущающих влияний в течение чрезвычайно долгого времени, чтобы присущая человеку усовершаемость, приводящая к усложнению его отношений к природе и к себе подобным, могла выказать, будучи совершенно предоставлена самой себе, всю заключающуюся в ней внутреннюю силу под влиянием одних природой противопоставляемых препятствий.

По всем вероятиям, государство, образующееся в таких идеальных условиях, приняло бы форму федерации, – но федерации совершенно иного характера, нежели все те, которые мы знаем. Именно государственное верховенство должно бы в ней заключаться не в целом, а в самом элементарном общественном союзе – в деревенской или в волостной общине, и взаимная связь и зависимость должна бы быть тем слабее, чем выше порядок группы, этими общинами составляемый, то есть связь окружная была бы сильнее и теснее уездной, уездная – областной, областная – краевой, краевая – государственной.

Это разделение на общины должно непременно предшествовать всякому дальнейшему развитию, потому что оно требуется оседлой жизнью; оседлая же жизнь возможна лишь в стране, представляющей физические препятствия к кочеванию большими массами. Номады[5] к усовершенствованию неспособны, и хотя пастушеская жизнь составляет очевидный прогресс сравнительно с звероловной, однако же прогресс этот обманчивый, потому что из него нет дальнейшего исхода. Кочевничество представляет слишком много удобств, слишком большое обеспечение существованию посредством многочисленных стад, слишком большое потворство лени. Но физическим препятствием к кочевой жизни могут служить только горы, леса или периодические речные разливы, как, например, в Египте. Эти последние, однако же, составляют слишком сильное препятствие, требуют слишком большой наблюдательности от дикого племени, чтобы оно могло извлечь из них для себя пользу.

Горы совершенно разъединяют людей, запирают их в долины и котловины, и, будучи весьма удобными для сохранения этнографических отличий, совершенно неспособны служить почвой для развития первоначальной самобытной цивилизации. Остаются, следовательно, одни леса, которые, представляя достаточное препятствие для развития кочевой жизни, не составляют, однако, непреодолимой преграды к основанию оседлой жизни, а следовательно, и к развитию первоначальной культуры слабыми средствами племени, выходящего под давлением нужды из состояния первобытной дикости. Лес имеет поэтому огромную культуророднуюсилу. Он имеет и другое влияние: своей таинственной гущей и полумраком он навевает поэтическое настроение духа на живущий в нем народ. Я не думаю, чтобы самобытная культура, *вне всякого постороннего влияния,* могла возникнуть иначе, как в лесной стране. Но каким образом происходит рассеяние в лесу? Не иначе – как отдельными островами. Стоит только проехать со вниманием по обширной лесной стране (какова, например, Северная Россия), чтобы проследить, как это делается. Сначала отдельные поселения рассеяны редкими островами в лесном море. Отселки, хутора, починки занимают новые места неподалеку от своей метрополии; разделяющие их небольшие лесные преграды вырубаются – и образуется волость, состоящая из нескольких деревень, между которыми нет разделяющего лесного пространства. Около этого большого острова оседлости сгруппированы мелкие островки. Сами волости отделены между собой значительными лесными пространствами. Число волостей увеличивается, и лес, в котором были сначала вкраплены редкие поселки, из лесного океана принимает форму сети, все нити которой между собой соединены. Но другие препятствия – обширные болота – препятствуют тому, чтобы эта лесная сеть была равномерно прорешетена поселками. Остаются обширные лесные пространства – вóлоки, как их называют у нас на Севере, которые разделяют одну группу поселков (волостей, общин) от другой. С увеличением населения сеть во многих местах прерывается, волости соединяются между собой, сливаются, и наконец сами образуют уже

сплошную сеть, в которой отдельными группами разбросаны куски леса, как прежде были разбросаны поселки в лесной сети. Эти куски леса уменьшаются, и является сплошное море или, лучше сказать, озеро поселков, в котором разбросаны лесные острова. Эти озера не сливаются, однако, в одно обширное море, оставаясь долго еще разделенными обширными волоками. Этому ходу расселения в лесной стране должен следовать и ход развития общественности. Долго обособленные от своих соседей волости образуют самобытные верховные общественные единицы. Они должны составить маленькие независимые политические центры. Когда они вступают в связь с другими волостями, эта самобытность уже утвердилась у них временем. Конечно, от увеличения числа людей, вступивших в непосредственную связь, усложняются между ними отношения, являются такие нужды, которым волость удовлетворить уже не может, – и она бывает поэтому принуждена отделить часть своей власти всей той группе волостей, которые вошли в близкие, непосредственные сношения, и т.д., от более тесной к более обширной группе. Но каждая группа отделит в пользу высшей, в состав которой она войдет, конечно, только возможно меньшую долю власти над собой, касающуюся только тех предметов и интересов, которые не могут входить в круг деятельности группы более тесной. Из этого должна, естественно, проистечь федеративная связь, – но такая, в которой власть разливалась бы не сверху вниз, а восходила бы снизу вверх. Этим, кажется мне, объясняется федеративное устройство всех народов, живших в лесной стране, которых история застала еще во время этнографического периода их жизни (как, например, у германцев и у славян). Этим объясняется федеративное устройство Соединенных Штатов, где внешние возмущающие влияния по местным особенностям должны были иметь – и до самого новейшего времени имели – сравнительно весьма слабое влияние. Но достигло ли бы этим путем племя, предоставленное одному лишь воздействию на него местных влияний страны (обусловливающих ход его расселения), до сознания своей народности, как бы ни был длинен период, в течение которого это воздей-

ствие продолжалось, а следовательно, возникла ли бы из этого действительно государственная связь, в которой, собственно, не ощущалось бы никакой нужды, – это весьма сомнительно. Еще сомнительнее возможность достаточно продолжительного отсутствия всякого возмущающего влияния как со стороны чуждых племен, так и со стороны внутри племени возникающих страстей, а главное – сильных личностей, возвышающихся над уровнем общих народных понятий и стремящихся подчинить соплеменников своему влиянию. Я хотел только показать, что племя, предоставленное собственному своему развитию и устраненное от всяких возмущающих влияний, но находящееся в условиях, побуждающих его принять оседлую жизнь, вероятно, приняло бы федеративное устройство.

На деле это, конечно, происходит не так. Различные племена между собой сталкиваются, и это столкновение ведет к уяснению их народного сознания и возбуждает чувство необходимости оградить свободу и честь своей народности, восстановить их, если они были нарушены, или сохранить преобладание, раз приобретенное над другими народностями. Если бы под влиянием ничем не возмущаемых воздействий природы и успела образоваться слабая федеративная связь, она должна бы уступить более крепкой связи для успешности борьбы. Но и необходимость охранения народности, проистекающая из племенной борьбы, бывает недостаточна для того, чтобы племя наложило на себя государственное бремя. Борьба бывает кратковременна; для ее целей достаточно временного усилия и временной централизации власти, – как, например, в казацких общинах, признававших власть атаманскую только в военное время, или в еврейских коленах, признававших диктаторскую власть судей только в эпохи величайших опасностей. Уроки прошедшего скоро забываются вообще, а еще скорее – в первобытное время народной или еще только племенной жизни. Племенная необузданная воля имеет столько прелести для первобытного человека, что он расстается с ней только под давлением постоянно действующей причины. *Борьба для этого недостаточна – необходима зависимость.*

Зависимость напрягает силы народа (или племени) к свержению ее и постоянно приводит народ к сознанию значения народной свободы и чести, приучает подчинять личную волю общей цели. Но не только подчинение, а даже преобладание, приобретенное одним народом над другим, также действует на сплочение этого преобладающего народа, ибо устанавливает между составляющими его лицами прочную связь, постоянное подчинение частной воли общей для сохранения приобретенного владычества. Зависимость играет в народной жизни ту же роль, какую играет в жизни индивидуальной школьная дисциплина, или нравственная аскеза, которые приучают человека обладать своей волей, подчинять ее высшим целям. Для этого вовсе не нужно, чтобы школьная дисциплина требовала только того, что действительно необходимо для достижения школьной цели, – чтобы аскеза налагала только те ограничения, те лишения, которые кажутся необходимыми для нравственных целей. Не только этого не нужно, но даже этого в большей части случаев недостаточно. Пост, обеты, послушничество, пустынническая жизнь, которым непременно подвергались даже те из великих подвижников христианства, которые предназначали себя не для чисто созерцательной, а для практической жизни, – имеют значение не сами по себе (не в том, чтобы они составляли самобытную нравственную заслугу), а в том, что они служат нравственной гимнастикой воле, делая ее гибкой, готовой на всякий подвиг. Такой же характер имеет и та историческая или политическая аскеза, заключающаяся в различных формах зависимости, которую выдерживает народ, предназначенный для истинно исторической деятельности. Это зависимость, приучающая подчинять свою личную волю какой-либо другой воле (хотя бы и несправедливой), для того, чтобы личная воля всегда могла и умела подчиняться той воле, которая стремится к общему благу – иметь своим назначением возведение народа от *племенной воли* к *состоянию гражданской свободы.* Следовательно, те только формы исторической зависимости, которые служат к достижению этой цели, могут считаться соответствующими своей цели; и как бы они ни ка-

зались тяжелыми для народа, они должны считаться благодетельными. Но точно так, как та школьная дисциплина, которая совершенно убивает самодеятельность, достоинство и оригинальность личности, – точно так, как та религиозная аскеза, которая делает человека трупом в руках иезуитского настоятеля, не могут считаться соответствующими своей цели, – так же точно и эта зависимость, которую переносит народ во время своей исторической жизни, тогда только должна считаться действительно необходимой и полезной, когда не уничтожает нравственного достоинства народа и не лишает его тех условий существования, без которых гражданская свобода не может заменить племенной воли, без которых гражданская свобода вполне даже и существовать не может. Это-то странствование по пустыне, которым народ ведется из состояния племенной воли в обетованную землю гражданской свободы путем различных форм зависимости, и называю я историческим воспитанием народа. Вот это-то воспитание было существенно различно для народов германо-романских и для русского народа, так же как и для многих его соплеменников. При сем не должно забывать, что части этого тернистого пути, пройденные теми и другими, далеко не одинаковы.

Вообще, история представляет нам три формы народных зависимостей, составляющих историческую дисциплину и аскезу народов: *рабство, данничество и феодализм.*

Рабство (то есть полное подчинение одного лица другому, по которому первое обращается в вещь по отношению к своему хозяину), как показывает история, есть форма зависимости, своей цели не достигающая. Оно в такой мере растлевает, как рабов, так и господ, что, продолжаясь несколько долго, уничтожает возможность установления истинной гражданской свободы в основанных на рабстве государствах. Это достаточно показал пример Рима, Греции и предшествовавших им культурно-исторических типов, в которых во всех существовало рабство, за исключением одного Китая, этому обстоятельству отчасти, может быть, и обязанного своим беспримерно долгим существованием.

Данничество происходит, когда народ, обращающий другой в свою зависимость, так отличен от него по народному или даже по породному характеру, по степени развития, образу жизни, что не может смешаться, слиться с обращаемым в зависимость, и, не желая даже расселиться по его земле, дабы лучше сохранить свои бытовые особенности, обращает его в рабство коллективное, оставляя при этом его внутреннюю жизнь более или менее свободной от своего влияния. Посему данничество и бывает в весьма различной степени тягостно. Россия под игом татар, славянские государства под игом Турции представляют примеры этой формы зависимости. Действие данничества на народное самосознание очевидно, равно как и то, что если продолжительность его не превосходит известной меры, – народы, ему подвергнувшиеся, сохраняют свою способность к достижению гражданской свободы.

Слово «феодализм» принимаю я в самом обширном смысле, разумея под ним такое отношение между племенем, достигшим преобладания, и племенем подчиненным, при котором первое не сохраняет своей отдельности, а расселяется между покоренным народом. Отдельные личности его завладевают имуществом покоренных, но если не юридически, то фактически оставляют им пользование частию прежней их собственности – за известные подати, работы или услуги в свою пользу.

Эта последняя форма зависимости наступила для народов, входивших в состав Римской империи, после покорения их германскими племенами; а потом была внесена укрепившимися там народами, достигшими уже некоторой степени государственности под влиянием римских начал, и в самое первоначальное их отечество – Германию. Обыкновенно за начало феодализма принимают заведенный Карлом Великим порядок, по которому он раздавал королевские имущества под условием выполнения известных государственных обязанностей. Но это было только формальное узаконение того порядка вещей, который сам собой произошел из завоевания, введенное именно с целью возобновить и поддержать его, когда он расшатался – вследствие того, что франкские владельцы, успевшие

уже совершенно сломить всякое сопротивление покоренного народа, перестали чувствовать необходимость взаимной связи и иерархической подчиненности для охранения своего преобладания. Реформа Карла[6], следовательно, расширила только область феодализма, распространив его и на королевские имущества. При сильном государе и те владельцы, которые пользовались своими участками не на праве бенефиций[7], вошли, в сущности, однако же, в те же отношения к сюзерену, как и бенефициальные владельцы; с другой стороны, последние, при слабых наследниках Карла, в свою очередь достигли той же наследственности, как и первые, так что все приняло более или менее однообразный характер.

К этому феодальному гнету присоединились еще два других, из которых один в некоторой степени его уравновешивал. Это были: гнет мысли под безусловным поклонением авторитету древних мыслителей (преимущественно Аристотеля)[8], к тому же дурно понятых, и гнет совести под папским деспотизмом, который помогли наложить на себя как сами народы насильственным введением своего частного мнения на степень Вселенского догмата, так и государи, хотевшие учредить государственную церковь вместо Вселенской. Под этим трояким гнетом мысли, совести и жизни происходило средневековое развитие.

После героического периода крестовых походов[9], раскрывшего все силы средневекового общества и приведшего их в соприкосновение с арабской цивилизацией, наступил XIII век – период света средневековой теократо-аристократической культуры, период гармонического развития всех заключавшихся в нем сил, при котором низшие общественные классы составляли в полном смысле то, что называют немцы нэр-штанд, заменивший собой афинских и римских рабов, носивших, как Атлас[10], на плечах своих небо культуры, кряхтя и сгибаясь. Этот первый цвет европейской культуры составляет идеал романтиков. Но и само высшее общество, особенно мыслящие в нем люди, почувствовало тяготевший над ним гнет, когда одновременное стечение некоторых изобретений, открытий и политических переворотов ознакомило их ближе с древней

мыслию и возбудило самодеятельность собственной мысли. Первым был почувствован и свергнут гнет авторитета в области мышления – что и называется временем Возрождения, которому соответствовал XV век; а за ним, при помощи этой самодеятельной мысли, свергнут и гнет религиозный – что составило время Реформации, соответствующее XVI веку.

Этим высшие общественные классы могли удовольствоваться. Гнет, который был на них наложен косвенным влиянием побежденного римского элемента, был свергнут, а тот, который они сами наложили на побежденных, оставался в полной силе и не дошел еще до полного, ясного и определенного сознания угнетаемых. Из такого положения вещей произошел второй период гармонического развития, второй цвет европейской культуры, который вместе с тем был и апогеем творческих сил, составляющих внутренний залог развития европейского культурно-исторического типа. Ему соответствовал XVII век. Он-то, собственно, составляет идеал того направления, которое теперь считается ретроградным, – идеал европейского консерватизма, к которому и желали бы повернуть все его поклонники, за исключением небольшой партии ультрамонтанов и романтиков, идеал которых еще далее позади.

Но и этот век был только паузой в общем европейском движении. Колесо европейского движения (по выражению К.С. Аксакова) обращается раз в столетие – так, впрочем, что началом нового оборота служит не начало, а середина каждого века. Наступил XVIII век, и очередь дошла до свержения третьего гнета – гнета феодального. Оно совершается французской революцией. За этим должен был наступить третий период гармонического развития, третий цвет европейской культуры, которому, казалось бы, и конца не предвидится, как это и думают слывущие под именем либералов, точнее – неоконсерваторов. Идеалом их служит XIX век, который действительно представляет (подобно XIII и XVI) характер третьего цвета европейской культуры. Это век промышленного развития, век осуществления и распространения того, что называют великими началами 1789 года.

Но колесо европейского движения оборачивается каждые сто лет. Ход развития европейской культуры символизируется средневековым городом или замком, состоящим из нескольких, одна в другую, стен и оград. По мере развития городской жизни, эти стены начинают ее стеснять, и вот одна за другой ограды падают – и на месте их разводят широкие бульвары, увеличивающие удобства сообщения, вводящие в город больше света и воздуха. Последняя ограда сломана XVIII веком. Но вот к половине XIX оказывается, что сами жилища, заложенные и выстроенные сообразно требованиям и нуждам староевропейского общества, неудобны и на каждом шагу стесняют живущих в них. Ограды можно было заменить бульварами; чем заменить самые дома и где жить, пока не выстроятся новые; да где и материалы для них, а главное – где план новой постройки? Не придется ли жить на биваках, под открытым небом, под холодным дождем и солнечным жаром? В 1848 году в первый раз выступили торжественно с требованиями всеобщей ломки. Никогда в прежние времена не требовали с таким ожесточением сломки внешних оград, как теперь – самих жилищ европейской цивилизации и культуры. Ни штурм Бастилии, ни взятие Тюльери[11] не представляют примера такого уличного побоища, как Июньские дни 1848 года[12]. Наступили дни Мáрия; новые кимвры и тевтоны – у ворот Италии[13]. Наступило начало конца[*].

Европейские народы прошли через горнило феодальной формы зависимости и не утратили в нем ни своего нравственного достоинства, ни сознания своих прав; но в течение своего тяжелого развития они утратили одно из необходимых условий, при котором только гражданская свобода может и должна заменить племенную волю, – утратили самую почву свободы – землю, на которой живут. Эту утрату стараются заменить всевозможными паллиативами: придумали даже нелепое право на труд, который неизвестно чем бы оплачивался, – чтобы не

* Через 23 года наступил второй акт, второй призыв ко всеобщей ломке, еще более ужасный, – дни Коммуны в Париже. Не замедлит и третий, пока цель разрушения не будет достигнута. – *Посмертн. примеч.*

назвать страшного слова *права на землю,* которое, впрочем, также было уже громко произносимо. Ежели и это требование должно быть удовлетворено, если и этот след завоевания должен быть изглажен, то все основы общественности должны подвергнуться такому потрясению, перед которым все прежние теряют свое значение, – потрясению, которое едва ли может пережить сама цивилизация, сама культура, имеющая подвергнуться такой отчаянной операции, – а подвергнуться ей должна она неминуемо. Конечно, общественные силы Европы живучи, крепки и в состоянии, по-видимому, противиться всякому напору – как внешних, так и внутренних варваров! Это ведь не расслабленный, не истощенный Рим IV и V столетий! Европа, может быть, и воспротивилась бы ему с успехом, если бы не внутреннее непримиримое противоречие, которое парализует ее силы и которое, как всякое непримиримое противоречие, одарено непреодолимой силой.

Нравственное достоинство европейских народов пережило все испытания и возросло в течение долгой борьбы, ими вынесенной. Притом как сам политический строй европейских народов, так и события их жизни благоприятствовали чрезмерному развитию личности. Индивидуальная свобода составляет принцип европейской цивилизации; не терпя внешнего ограничения, она может только сама себя ограничивать. От этого возникает принцип народного верховенства, получающий все большее и большее значение не только в теории, но и на практике европейского государственного права. Применение его неудержимо ведет к демократической конституции государства, основанной на всеобщей подаче голосов. Хотя демократия, всеобщая подача голосов, означает владычество всех, но в сущности она значит так же точно владычество некоторых, как и аристократия, – то есть владычество многочисленнейшего и (по общественному устройству европейских государств) совершенно неимущего класса общества, и притом непременно той доли его, которая, по своей большей сосредоточенности, всегда будет иметь на своей стороне преимущество силы: это владычество больших центров рабочего населения – столиц и мануфактурных городов.

Видано ли когда, да и мыслимо ли, чтобы владычествующий класс не воспользовался тем, что власть предоставляет в его распоряжение для улучшения своего материального положения, хотя бы в сущности и мнимого? Не говорит ли Брайт работникам, что их положение тогда только улучшится, когда они получат подобающее им положение в парламенте, – и не верят ли ему работники более, чем всем доводам экономистов? Пусть покажут аристократию, имеющую власть в своих руках и принявшую, однако, обет добровольной нищеты; тогда можно поверить, что такое же самообладание выкажет и голодающий народ, окруженный всеми соблазнами и возведенный в сан верховного властителя. Если принцип народного верховенства должен осуществиться на деле, то надо приготовиться и к тому, что обладатель власти потребует и приличного для себя содержания, цивильного листа и разных дотаций. Во время прений о реформе английского парламента, в начале тридцатых годов, один из поборников ее, знаменитый Маколей, сказал (в одной из своих исполненных ясности мысли речей), что он отвергает всеобщую подачу голосов, потому что она может иметь своим последствием только коммунизм или военный деспотизм. Не далее как через двадцать лет события, совершившиеся во Франции, оправдали слова знаменитого английского историка. Военный деспотизм окрещен даже громким именем цесаризма, возведен в теорию; установитель его заслужил имя спасителя общества, и признаюсь, я думал, получил его по всей справедливости.

Но, скажут, Франция – еще не Европа. Нет, Франция – именно Европа, ее сокращение, самое полное ее выражение. От самых времен Хлодовика история Франции есть почти и история Европы, с одним исключением, которое, впрочем, также совершенно удовлетворительно изъясняется и подтверждает собой общее правило. Все, в чем Франция не участвовала, составляет частное явление жизни отдельных европейских государств; все же истинно общеевропейское (хотя и не всемирно-человеческое, как его любят величать) есть непременно и по преимуществу явление французское. Можно знать превос-

ходно историю Англии, Италии, Германии и все-таки не знать истории Европы; будучи же знаком с историей Франции, знаешь, в сущности, и всю историю Европы. Франция была всегда камертоном Европы, по тону которого всегда настраивались события жизни прочих европейских народов.

Принятие Хлодовиком христианства по римским формам было внешней причиной торжества католицизма (тогда еще православного) над арианством и подготовило его господство в Европе. Услуги и защита франкских королей положили основание папской власти. Империя Карла составляет общее зерно, из которого развился тот порядок вещей, который называется европейским. Во время ослабления той части Франкской империи, которая составила собственную Францию при последних Карловингах и первых Капетингах[14], история Европы не представляет никакого общего истинно европейского события, как ни возвеличивают немецкие историки времена Оттонов и Генрихов[15]. Только когда француз по происхождению, папа Урбан II, вняв голосу француза Петра Амиенского, во французском городе Клермонте провозгласил крестовый поход, в котором главнейшее участие приняли французские же короли, вассалы и рыцари, – события получают опять общеевропейский характер; и в течение с лишком двух веков это движение сохраняет, за небольшими изъятиями, по преимуществу французский характер. Французами начинаются, французами и оканчиваются крестовые походы. Рыцарство носит на себе характер по преимуществу французский; французское рыцарство служит во всем примером и образцом для других народов. Государственной централизации, союзу королей с общинами, всей борьбе против феодализма подает пример Франция и ранее других государств ее оканчивает. Так называемое Возрождение хотя и происходит из Италии, но получает общее значение, пройдя через французскую переработку. Наступает Реформация – и здесь является то исключение, о котором я говорил. Первая роль бесспорно принадлежит тут Германии: но потому-то и явление это не имеет общеевропейского характера, а ограничивается, собственно, кругом народов немецкого корня и издает

лишь слабые отзвуки в странах романских, из которых, однако же, движение это всего сильнее проявляется во Франции. Первый толчок к тем политическим отношениям, которые известны под именем политического равновесия государств, дает Франция. Когда улегается буря Реформации, вся политическая жизнь Европы вращается около Людовика XIV. Придворный этикет, вся внешняя обстановка цивилизации, моды с этого времени и до наших дней устанавливаются Францией. Французский язык делается языком дипломатическим и общественным для всей Европы, вытесняя язык латинский. Французская литература становится образцом для всей Европы – и это тем удивительнее, что не оправдывает этого преобладания своим внутренним достоинством. Она получает перевес даже в таких странах, как Англия, имевшая уже Шекспира и Мильтона, как Италия, имевшая Данте, как Испания, имевшая Сервантеса и Кальдерона, – литературы которых бесконечно превосходят своим внутренним достоинством и значением литературу французскую (я разумею одну изящную словесность). Когда французская литература изменяет свой псевдоклассический характер на философский, то и это новое направление не только сохраняет, но еще усиливает ее господство. Вольтер представляет пример небывалого прежде и не повторявшегося после литературного владычества над общественным мнением. Самые пороки французского общества имеют заразительную силу. Между тем как разврат английского общества при Карле II[16] ограничивается Англией – разврат регентства и времени Людовика XV[17] сообщается всей Европе. Так же точно французская революция (несмотря на то, что по действительной пользе, ею принесенной, далеко уступает революции английской) воспламеняет всю Европу. Наполеон I еще в сильнейшей степени, нежели Людовик XIV, составляет центр политической жизни Европы в течение 15 лет. Побежденная Франция возвращает себе господство своей политической трибуной и новым направлением своей литературы, хотя сама заимствовала его от Германии и Англии, и хотя там это направление принесло несравненно совершеннейшие плоды. Июльская революция[18] производит

ряд подобных ей вспышек на всем материке, и еще сильнейшее влияние оказывает революция 1848 года; и как прежде философская и политическая пропаганда, так теперь пропаганда социалистическая во Франции волнует всю Европу. Наконец, Наполеон III в третий раз делает Францию центром политической жизни Европы, дает ей тон и направление*.

Такое значение Франции весьма понятно. Французский народ представляет собой полнейшее слияние обоих этнографических элементов, образующих европейский культурно-исторический тип, – есть результат их взаимного проникновения. Следовательно, все, что волнует Францию, все, что идет из нее, имеет по необходимости отголосок как нечто свое, родное и в Германском, и в Романском мире, между тем как эти миры с трудом действуют непосредственно друг на друга, как слишком разнородные, а все ими выработанное передают через посредство Франции; и только во французской переработке становится добытое ими общеевропейским. Такая взаимная нейтрализация германского и романского элементов во французском народе составляет причину того, что все произведения его менее оригинальны, имеют меньшее внутреннее достоинство, нежели произведения гения германских или романских народов, более сохранивших свою своеобразность и самобытность. Единственное исключение составляет положительная наука природы, в чем французы, по меньшей мере, никому не уступят. Но эта наука и есть явление европейское по преимуществу – самый характеристический плод европейского культурного типа развития: неудивительно, что истинный (нормальный) представитель Европы – Франция занимает именно в этом отношении такое высокое место. Все национально-французское сравнительно слабо, ибо носит на себе какой-то характер средней величины; но зато имеет оно в сильнейшей степени свойство распространяться на всю область европейской культуры. Поэтому и то внутреннее

* Победительница его – Германия, с гениальным Бисмарком во главе, никак не может занять этого преобладающего центрального положения. Все ограничивается лишь чисто политическим влиянием Бисмарка и уважением, внушаемым отличной военной организацией Германии, которую другие государства не успели еще себе усвоить. – *Посмертн. примеч.*

противоречие, которое проявилось в политической полноправности и в экономическом илотизме[19] низших слоев европейского общества (только вполовину вышедших из той зависимости, которая на них была наложена при самом основании европейского порядка вещей, и не могущих вполне из нее выйти, не разрушив самого этого порядка), необходимо должно было прежде всего выказаться во Франции, но также необходимо должно распространиться и на всю остальную Европу.

Те же причины должны непременно произвести то же действие, и распространение это сильно заметно и в других странах, далее подвинувшихся по пути политического движения. В Англии означенное противоречие само по себе гораздо сильнее, чем во Франции, и если не в той еще степени созрело, не дошло до кризиса, то вследствие лишь особых благоприятных обстоятельств.

1) Во-первых, вследствие счастливого отсутствия строгой логической последовательности в умственном складе англичан, заботящихся более о практичности, чем о логичности своей деятельности. У них на все – компромиссы, которых ни французы (на деле), ни немцы (в теории) не терпят. Лучший пример представляет английская религиозная реформа[20], которая остановилась на полупути. Взяв достаточно из протестантства, чтобы освободиться от папской власти, англичане заменили ее непогрешимостью государства в делах церкви (что, конечно, уже верх нелепости), но на практике избавились от ее последствий новой непоследовательностью, придав этой непогрешимости, этому главенству государства чисто формальный характер, а на деле допустив полную религиозную свободу. Свои претензии на Вселенское значение своей церкви основали англичане на чисто внешнем апостольском преемстве, будто бы существующем в их епископстве, – не обратив внимания на то, что, признав католицизм (через посредство которого это преемство передалось Англиканской церкви) ересью, они признали существование бездны, через которую передача истинно апостольского преемства совершенно невозможна. Но счастливый дар принесения логической последовательности в жерт-

ву практической полезности есть все-таки только паллиатив. И вот, Англиканская церковь, не чувствуя под собой почвы, разделяется на потоки, стремящиеся или далее в бездну последовательного протестантизма, или обратно в ложь католицизма, или даже (тонкой струей) к истине православия. Потоки все более и более удаляются от общего их центра, вероятно, совсем от него и друг от друга оторвутся, и, зная английские порядки, можно надеяться, что когда-нибудь придется увидеть курьезное зрелище господствующей государственной церкви, у которой (как у армии на мирном положении) останутся только одни кадры епископов, деканов, викариев и т.п. с огромными материальными средствами, но вовсе без стада.

Эта же непоследовательность позволяет Англии медленно идти по пути парламентской реформы, позволяет знаменитому Маколею употреблять все свое старание, чтобы доставить победу этой реформе, ведущей английскую Конституцию по скользкой наклонной плоскости демократизма, – при полной уверенности, что продолжение ее в том же духе приведет к коммунизму или военному деспотизму. Англичане надеются, что для них история остановит логическую последовательность своего развития, как Солнце остановило путь свой для Иисуса Навина[21]. Но вот с небольшим через тридцать лет приходится уже делать новый шаг по пути к коммунизму или цесаризму. Много ли пройдет лет, когда придется, волей или неволей, шагнуть еще раз? Как ни упирайся, а который-нибудь из этих шагов приведет-таки к пугавшему Маколея страшилищу.

2) Особым счастливым для Англии обстоятельством должно считать, что самая радикальная, самая последовательная часть ее народонаселения, в лице пуритан, заблагорассудила удалиться за океан для скорейшего осуществления своих идеалов. Это отвлечение демократических элементов надолго обезопасило Англию.

3) Обладание Индией, доставляющее Англии огромную массу богатств (служащих как к поддержанию ее промышленного и торгового движения, так и к наделению местами, приносящими большие жалования, младших сыновей аристократии),

заглаживает многие недостатки английского общественного устройства и придает искусственную силу аристократическому элементу в его борьбе с прочими классами. Такое же действие имеет и устройство английской церкви.

4) Но самый действительный паллиатив – ненормальное сосредоточение в руках Англии всемирной торговли. Масса богатств, приливающая через нее к Англии, составляет как бы масло, обильно смазывающее все оси, валы, винты и шестерни английской общественной машины, и предотвращает слишком сильное трение, от которого они должны бы раскалиться или сломаться. Выгоды, извлекаемые Англией из этого сосредоточения в ее руках всемирной торговли, неисчислимы. Что получает она за фрахты от иностранных потребителей продуктов, не только не добытых на почве Англии, но даже и не переработанных английским трудом? Что получает за комиссию всемирного торгового посредничества? Что, наконец, – за обработку сырых произведений, которые могли бы обрабатывать сами те народы, в области которых они добываются, или те, которые потребляют эти произведения в обработанном виде? Распределение богатств происходит в Англии весьма неравномерно, но масса богатств так велика, что все еще порядочная доля приходится на неимущие классы.

Такое положение дел нельзя не считать ненормальным, хотя оно и естественно; точно так, как и много других монополий, хотя и образовались естественным путем, но тем не менее все-таки ненормальны. Сосредоточение всемирной торговли, обусловливающее и мануфактурное развитие Англии, естественно потому, что составляет результат многих благоприятных условий, в которых она находится, а главное – ее островного положения, которое от самых времен Вильгельма-Завоевателя[22] ограждало ее от вторжений неприятельских и давало возможность скопляться капиталам. То же островное положение развило английский флот, торговый и военный, так что этот последний во время войны с другими морскими державами (как, например, во время войны за наследство испанского и австрийского престолов, во время войны Семилетней и войн Наполео-

новских) несколько раз уничтожал торговлю и отнимал колонии Голландии, Франции и Испании, и тем обеспечивал преобладание Англии в торговом, а косвенно и в мануфактурном отношении. Но тем не менее положение это ненормально, потому что нормальный ход торговли и промышленности заключался бы в том, чтобы каждое государство производило у себя все, что с выгодой может производить, само обрабатывало бы свои сырые произведения и лишь излишек их выменивало на то, чего само, по климатическим или другим условиям, производить не может, но выменивало бы не иначе, как непосредственно из первых рук. Такое нормальное положение всемирной торговли и промышленности, которое Наполеонова континентальная система хотела породить искусственно и насильственно для ослабления Англии, неминуемо должно наступить путем естественного промышленного развития, если торговая политика государств сумеет с пользой и уместно применять оба средства, находящиеся для этого в их руках: поощрение соперничества свободной торговлей и обеспечение внутреннего сбыта покровительством там, где по слабости еще промышленных сил соперничество было бы гибельно. Генуя и Венеция пользовались в свое время естественной, но ненормальной торговой монополией; она была отнята у них открытием морских путей, расширением торгового мореплавания за пределы Средиземного моря и промышленным развитием других стран. Более благоприятное положение Англии отняло эту естественную, но ненормальную монополию у Голландии. Неужели она вечно сохранится в руках Англии? Уже прорытие Суэцкого перешейка повлечет за собой непременно следствие, обратное открытию морского пути вокруг Африки, и отчасти повернет всемирную торговлю на старые пути, по отношению к которым положение многих стран выгоднее Англии.

С ослаблением действия всех перечисленных паллиативов, логическое развитие противоположности между демократическими стремлениями (в области политической) и аристократическим устройством общественно-экономического порядка должно неминуемо повести и в Англии к тому кризису, который, по-видимому, наступил уже для Франции.

Но на деле и для Франции грозный момент кризиса еще не настал; мы видели только его предвестников. В течение веков, в которые Европа последовательно освобождалась от трех гнетов, наложенных на нее при самом ее нарождении (гнета схоластики, гнета религиозного деспотизма и гнета феодализма), незаметно сковывалась и опутывала собой ее народы новая цепь, налагался новый гнет, – гнет отвлеченного государства на живые национальности. Когда закладывались основы европейского общества, различные народности, составляющие Европу, еще не образовались; государства, современные этому порядку вещей, имели по необходимости временной, провизуарный характер. Все германские и романские племена in statu nascenti объединялись принципом божественного государства, служившего продолжением римского предания и осуществленного Карлом Великим, а потом принципом иерархического единства, осуществленного Григорием VII. Кроме того, связывались они сетью общеевропейской аристократии, так как владения вассалов Империи Карла не совпадали с границами тех государств, или, правильнее сказать, тех уделов, на которые она распалась. Этот общий европейский характер аристократии поддерживался и после обособления европейского дворянства по национальностям институтом рыцарства. Общее всем европейским народам предприятие крестовых походов также поддержало это единство. Между тем происходил медленный этнографический процесс образования отдельных национальностей из племенного хаоса, последовавшего за переселением народов.

Весьма естественно, что результаты этого процесса долго оставались незаметными и незамеченными, – так что, в сравнении с поименованными объединявшими началами, казавшимися началами высшего порядка, этим вновь народившимся национальным различиям не придавалось большого значения. Что значили, в самом деле, особенности языка, быта, народных представлений каких-нибудь виленей, в сравнении с единством церкви, империи, рыцарства! Здесь у места будет заметить еще одно различие между миром Германо-Романским и миром Славянским. Между тем как единство первого коренится в сверху

наложенных (так сказать, соединительных) обручах иерархии церковной и гражданской, в аристократическом институте рыцарства, а народ все более и более обособляется, единство второго коренится во внутреннем, сначала инстинктивно чувствуемом, но становящемся все более и более сознательным сродстве народных масс, искусственно разделенных историческими случайностями, интригами католического духовенства, беззаконным шляхетским честолюбием*.

Но с течением времени и власть иерархии, и понятие об империи как о продолжении римского всемирного государства, и всеевропейское рыцарство исчезают или теряют свое значение; сознание же национальности как государственного принципа еще не выясняется. Даже в последнее время идея политической свободы получает космополитическую окраску. Очевидно, что при таком положении династические права получают преобладающее значение, и единственным противовесом им служит понятие о равновесии частей, которое должно противодействовать случайному скоплению территорий с их населениями в руках одного монарха (как это, например, случилось при императоре Карле V). Но это равновесие нисколько не служит к исправлению этого искусственного, случайного порядка вещей. Как принцип династического наследства совокупляет самое разнородное, так принцип равновесия раздробляет самое сродное, режет по живому. Таким образом, во второй период гармонического развития культурных европейских сил, после окончания Тридцатилетней войны, на место идеи божественного государства Карла Великого, на место идеи сюзеренства наместника Иисуса Христа над мирскими властями, выступает на первый план идея отвлеченного государства. Конгрессы суть ее соборы, дипломаты – ее жрецы, политическое равновесие – ее регулятивное начало. Во имя ее произносит Людовик XIV свое знаменитое «L'état c'est moi»[23]. Но как в области наук – искусственная система иногда совпадает с естественным порядком, изображением которого должна служить система, так и в искусственной

* А теперь скудоумием так называемой интеллигенции, видящей свой идеал в нелепостях либерализма. – *Посмертн. примеч.*

политической системе – основанное на отвлеченном принципе значение государств может иногда совпасть (под влиянием преобладающей силы естественных условий) с естественным значением их, основанным на начале национальности. Таким образом, Франция была и при Людовике XIV (как прежде, как и теперь) государством вполне естественным, национальным. Но не везде было столь счастливое совпадение, и противоположный Франции случай представляет государство Австрийское. Между этими двумя крайностями существовало множество промежуточных степеней. Сознания значения национальности как коренного начала, на котором должно основываться государство, достигла Европа только в XIX столетии.

Столетний период, как я уже заметил, имеет самым очевидным образом существенное значение в ходе развития Европы, по крайней мере, в последнее время ее истории; но преобладающий характер века обозначается ясно не ранее его половины, по хронологическому летосчислению. Конечно, зарождение нового направления заметно гораздо ранее; но между многими сторонами, в которых обнаруживается общественная жизнь, трудно бывает угадать, какая именно из этих сторон, какое из этих направлений получит тот преобладающий характер, которым век будет запечатлен. Так, только с половины XV столетия книгопечатание, морские открытия португальцев, расселение византийских ученых по взятии Константинополя, а также ослабление феодализма усилившейся монархической властью – начинают то умственное движение и ту практическую деятельность, которые характеризуют переход к так называемой Новой истории. Это век Возрождения более чем в одном, обыкновенно разумеемом, смысле. С половины XVI столетия религиозные интересы охватывают всю Европу, и реформационные бури улегаются окончательно только к половине следующего столетия (1648 год[24]). С половины XVII века до половины XVIII продолжается собственно то время, которое понимают под именем века Людовика XIV. Век революции с возбужденными ею реакциями, реставрациями и новыми победами политической революции продолжается до половины XIX столетия. До этого времени и

относительно XIX века трудно было сказать, какая из разнообразных сторон общественного движения наложит на него свою печать, с которой он перейдет в потомство.

Сильное развитие умозрительного идеально-философского направления в Германии, в противоположность материалистическому направлению XVIII века[25], заставляло некоторых думать, что век наш заслужит имя философского. Но уже с сороковых годов положительная наука получила несомненное преобладание, и развивающимся материализмом он [век] не уступит своему предшественнику. Однако же признать положительно научное направление преобладающим характером XIX века потому нельзя, что оно не исключительно ему свойственно, а составляет вообще характер европейской науки, и века Галилея, Бэкона, Ньютона, Лавуазье были не менее положительны в этом смысле. Нельзя также и потому, что именно в течение значительной части XIX века наука отклонилась было от этого направления. Развитие промышленности с большим правом может характеризовать наш век, но и в этом отношении он продолжает лишь общее направление последних столетий европейской жизни. Притом торговля и колониальная политика, – следовательно, интересы также материальные – играли преобладающую роль и в прежние периоды европейской истории. Наконец, казалось, что вопросы социально-экономические возьмут верх как в области теории, так и в направлении, которое примут народные движения, и к концу сороковых годов это, казалось, уже и начало осуществляться*. Ко всеобщему ужасу, казалось, наступил страшный кризис. Но с того же времени выяснилось, что пора еще не пришла. Умы получили как бы другое направление, но перемена была только кажущаяся. Направление, сделавшееся господствующим, началось гораздо ранее; его только мало примечали; под влиянием идей другого порядка смешивали, умышленно и неумышленно, национальные движения с движениями политическими. На деле же эти национальные движения были господствующим явлением деятельной жизни народов с самого начала столетия.

* Повторилось и в 1871 году. – *Посмертн. примеч.*

Толчок, который довел национальный вопрос до сознания европейских народов, дан был Наполеоном I. Побуждаемый как честолюбием, так и роковым положением, в которое он был поставлен, от победы к победе дошел он до восстановления империи Карла Великого. Но через 1000 лет после Карла народы, входившие в состав его монархии, уже вполне обособились в национальные группы. Те принципы объединения, которыми обладал Карл, уже давно перестали существовать; новый же принцип политической свободы, будто бы представляемый Наполеоном, можно разве только в шутку подкладывать в основу здания, воздвигавшегося французским императором. Следовательно, вместо нового объединения народов Европы предприятия Наполеона могли только заставить их сильнее почувствовать свои национальные различия и свои национальные сродства. Где Наполеон имел дело с политическим телом, основанным на отвлеченном государственном принципе, там победа была легка. Одержав своим военным искусством стратегический и тактический перевес над противником, ему уже не оставалось ничего более преодолевать. Но не так легко решалась победа там, где ему приходилось иметь дело с живыми народными единицами, хотя бы и столь малосильными, как Испания. С Испании и началось национальное движение в отпор французскому завоевателю. В 1809 году была первая вспышка германского национального духа[26], обратившаяся в 1813 году в сильное народное движение. Русское народное движение 1812 года не было собственно пробуждением народного духа, потому что в русском народе он никогда и не спал в национально-политическом отношении. Народное восстание в Сербии падает также на первые годы нашего столетия. После замирения Венский конгресс также мало или еще меньше обращал внимание на национальность, чем его предшественник – Вестфальский конгресс, и, возбуждая против себя реакцию, также содействовал сознанию начал народности. Итальянское движение, начавшееся с двадцатых годов, хотя и было окрашено светом политических революций, но в сущности было движением национальным и, продолжаясь с небольшими промежутками до нашего времени, привело к единству и к политической самобыт-

ности итальянского народа. Греческое восстание заняло собой почти все третье десятилетие XIX века и недавно возобновилось в Крите. Только злонамеренность могла смешивать это движение с политическими революциями. Бельгийская революция имела существенно национальный характер. Подобно тому, как при господстве какой-либо эпидемии и все прочие болезни принимают под ее влиянием особый, этой эпидемии свойственный, характер, так и оба ксензо-шляхетские польские мятежа приняли национальную же окраску, хотя по существу своему имели (как и все польское) противонародный характер. Восточная война была ведена западными державами против национальной политики России по отношению к народам Балканского полуострова, а война Итальянская – в помощь национальной политике Пьемонта. Война Шлезвиг-Голштейнская и последняя Прусско-Австрийская* также имели своей целью интересы немецкой народности и послужили увенчанием германского движения, имевшего с 1848, и даже с 1813 года, постоянно национальный характер, который везде одерживает верх там, где приходит в столкновение с интересами политической свободы, чего не могут понять только отвлеченные демократы в роде Якоби. То же самое замечается и в Италии. Все движения мадьярские преисполнены национального духа – и из него только и происходят; временная примесь политически-революционного элемента была только случайностью, которая не имела на своей стороне народных симпатий. Славянское движение, начавшееся с двадцатых годов в области мысли и науки, почти не имеет в себе примеси политической, и предмет его – исключительно интересы народности. Под влиянием национальной же идеи предпринял Наполеон III свою неудавшуюся Мексиканскую экспедицию[27] **.

* Равно и Франко-Прусская. – *Посмертн. примеч.*

** Последняя Русско-Турецкая война и предшествовавшая ей Сербо- и Черногорско-Турецкая были уже чисто национальные; со стороны России вдруг пробудившийся национально-славянский интерес пересилил все чисто политические соображения, которые возобладали только по окончании войны в Берлинском конгрессе, и надо быть слепым, чтобы не видеть, что те же национальные вопросы вызовут в недалеком будущем войну России с Австрией, а может быть, и с Германией. – *Посмертн. примеч.*

Зоркий глаз Наполеона III заметил существенно национальный характер всех стремлений XIX века, и искусная рука его воспользовалась им для своих целей, то есть для отвлечения умов от вопроса социального. Цель эта была достигнута, опасность отклонена на время, пока ряд движений в духе народности не довершит своего круга, пока возбужденные ими столкновения, которые надолго привлекут к себе внимание народов, не выкажут всех своих последствий, конечно, и не подозреваемых Наполеоном III в то время, когда он провозглашал новый политический принцип. В мыслях Наполеона этот новый принцип был, конечно, только предлогом для достижения личных целей. Он надеялся им управлять по своей воле и, кроме отвлечения народного внимания от вопросов, казавшихся ему более опасными, думал извлечь из него и другие побочные выгоды. Как бы ни были эгоистичны, неискренни, недальновидны и, пожалуй, мелочны расчеты, которыми руководствовался повелитель Франции, провозглашая национальность высшим политическим принципом*, он заслуживает полной благодарности уже за одно это провозглашение, выведшее это начало из-под спуда (где его смешивали с разными подпольными революционными махинациями) на свет Божий.

Обоим Наполеонам суждено было, сознательно или бессознательно, выдвинуть на первый план вопрос о политическом значении народности, – хотя Франции и при втором Наполеоне, вероятно, принесет он столь же мало пользы, как и при первом. С точки зрения французских интересов, нельзя не отдать справедливости критике Тьера[28]. Франция пользуется той выгодой, что, будучи государством вполне национальным, она в то же время признается всеобщим сознанием европейских государств, во всем объеме своем, необходимым членом системы, основанной на начале политического равновесия. Очевидно, что для французского политика необходимо опереться на то из этих начал, которое обещает ему больше выгод. Опираясь на политическое равновесие, Франция, конечно, могла бы препятствовать как объединению Италии, так и объединению

* В конце концов погубившим его. – *Посмертн. примеч.*

Германии; сама же если ничего не приобретала, то ничего и не теряла. Опираясь на принцип национальности, она, правда, приобрела Савойю и может иметь притязание на французскую часть Бельгии и, пожалуй, Швейцарии, но зато должна внутренне сознаться, что приобрела вопреки этому праву Ниццу и так же точно, вопреки ему, владеет Корсикой. Но, если даже оставить это последнее обстоятельство без внимания, не очевидно ли, что небольшие округления французской территории не могут идти в сравнение с теми невыгодами, которые представляет для нее объединение Германии, угрожающее сосредоточением 45 миллионов в одно государственное целое, – на совершенно точном основании принципа национальности. Мало того, так как ведь с европейской точки зрения за славянами не признается никакой правоспособности, то немецкое государство может возрасти до 55 миллионов – присоединением всей невенгерской Австрии, на что некоторые ораторы Северогерманского сейма и изъявляли уже надежды. Наконец, в Восточном вопросе принцип национальности ставит Францию в самое возмутительное противоречие с самой собой.

Чтобы отчасти нейтрализовать те невыгодные последствия, которые принцип национальности мог бы иметь для Франции, придали ему мелочный характер, придумав странный и совершенно нелепый способ его применения – посредством всеобщей подачи голосов. В самом деле, всякая подача голосов предполагает подчинение воли меньшинства – воле большинства. На каком же это основании? Очевидно, на таком, что выше того интереса, в котором выказывается противоположность большинства и меньшинства, существует другой интерес или, по крайней мере, предполагается существование высшего интереса, относительно которого большинство и меньшинство между собой согласны, – и это-то согласие по высшему интересу, имеющему большее значение, чем оказавшееся разногласие, заставляет меньшинство подчиняться большинству, если бы даже последнее не имело принудительной силы на своей стороне. Французский народ избирал президента республики: большинство выбрало Наполеона; довольно значительное

меньшинство подало голоса в пользу Ламартина, Кавеньяка и Ледрю-Роллена. На каком же основании эти поклонники различных республик (сентиментальной, идеальной и социальной) подчинились республике бонапартистской, очевидно маскировавшей собой империю? Они подчинились потому, что приверженцы их считали выше всего – начало единства Франции, и так как, не нарушив его, нельзя было не подчиниться решению большинства, то ему и покорились добровольно. При выборе Линкольна в Соединенных Штатах оказалось противное этому явление. Та система, которую представлял собой Линкольн, была южанам более противна, чем самое распадение Союза, и они восстали. Тут не было высшего принципа, соединявшего меньшинство с большинством, и оно не подчинилось последнему, надеясь на свои силы. Но какое же это высшее начало, которое при подаче голосов о национальной судьбе какой-либо страны должно одинаково признавать и большинство, и меньшинство? Оно заключается не в чем ином, как в совершенно произвольном предрешении вопроса о том, что призванная к подаче голосов страна составляет неразделимое и нераздробимое целое. У Савойи спрашивают, желает ли она принадлежать к Италии или Франции. Но сама Савойя, неизвестно почему, считается каким-то неделимым политическим атомом. Очевидно, что результат дачи голосов будет зависеть главнейше от того, какие границы наперед будут определены для страны, призываемой выразить свою народную волю. Если бы, например, принять за целое Польшу в границах 1772 года, то не может быть ни малейшего сомнения, что вся она была бы включена в состав Российской империи; ибо, – не говоря о том, что большинство народа в Царстве Польском подало бы голоса в этом смысле, – одних западных губерний и Восточной Галиции было бы достаточно, чтобы перетянуть большинство на русскую сторону. Но можно подыскать такое дробление округов, что значительные части западных губерний пришлось бы отделить от России. Если строго держаться принципа выражения народной воли, пришлось бы учредить немыслимую чересполосицу. С другой стороны, что значит комедия подачи голосов,

например, в Венеции, в сравнении с пятидесятилетним непрерывным заявлением, что она хочет принадлежать Италии? Народность не есть только право, но и обязанность. Один народ не только может, но должен составлять одно государство. Какая же еще нужна тут подача голосов?

Итак, ход исторического воспитания европейских народов и свойства пройденной ими школы зависимости имели тот результат, что, хотя эти народы и не утратили тех нравственных свойств, которые делают их способными заменить первобытную племенную волю гражданской свободой, но все же имели несчастие, пройдя через феодализм, по большей части утратить необходимую для этой свободы почву – право на землю, на которой живут. Они отвоевали в полном объеме свои личные права от своих завоевателей, но земля осталась во власти этих последних; а это противоречие неизбежно ведет к такому столкновению, которое грозит всеобщей гибелью и разрушением. Лишившись материальной основы гражданской свободы, они с этим вместе лишились и нравственной основы – как этой свободы, так и вообще всей жизни, утвердив свои религиозные верования или на хрупком и гнилом столбе папской непогрешимости, или на личном произволе протестантства. Следствия этой религиозной лжи развиваются непрерывно и неудержимо, но еще не дошли до крайних своих пределов в общем сознании народов; следствия же противоречия в области политической уже выказывались в первом столкновении, но дальнейшее его развитие было предотвращено отклонением умов к вопросам национальным. Эти национальные задачи на западной, европейской почве сами по себе не имеют большого значения и далеко уступают по важности прочим задачам (научной, религиозной, политической, общественно-экономической), вырабатывавшимся историей романо-германских народов; они даже почти развили все свое содержание и скоро должны были бы уступить место другим сторонам проявления общественной жизни; но истинная важность их заключается в том, что в них лежит узел, связывающий мир Европейский с миром Славянским, – узел, чреватый событиями, которым на долгое время

суждено запечатлеть и определить собой характер истории обоих сталкивающихся культурно-исторических типов: романо-германского и славянского.

Все политические события, проистекающие из других сторон европейского развития, не имели прямого отношения к славянам. В вопросе научном, в освобождении мысли от угнетавшего ее авторитета славяне не принимали деятельного, активного участия. Результаты этого движения идут и должны идти еще в большей степени в пользу славян (как и всех вообще народов), но не иначе, как и те результаты, которые достались в наследство от греков и римлян. Вопрос религиозный до огромного большинства славян не касался вовсе; те же, которые были в него по несчастью впутаны, – имели в нем лишь участие пассивное, были угнетаемы, стеснены, насильственно лишаемы истины, им всем вначале преподанной. Единственное активное участие славян в религиозной жизни Европы – Великое Гуситское движение – было направлено к отрешению от европейского понимания веры, было стремлением к возвращению в православие. Вмешательство Славянского мира в политическую борьбу Европы было также или невольное, как для народов Австрии, или хотя и вольное, но основанное на недоразумении, как для России. Буря Французской революции вызвала продолжительное (и имевшее решительное влияние) участие России. Но с чисто русской и славянской точки зрения, можно только пожалеть о громадных усилиях, сделанных Россией для направления в известном смысле этой борьбы, – которая в сущности так же мало касалась России, как и революция тайпингов в Китае[29], и не должна была бы вызывать ни так называемых консервативных, ни так называемых прогрессивных инстинктов и симпатий России как к делу, для нее совершенно безразличному. Остается только жалеть, что эти громадные усилия не были (в столь удобное время) обращены на решение вопросов чисто славянских – как Тильзитский мир предоставлял к тому полную возможность. Конечно, так представляется вопрос с чисто славянской точки зрения. Вмешательство России было, конечно, необходимо с общей исторической точки зрения, ко-

торой Россия и подчинилась. Как природа, так и история извлекают всевозможные результаты из каждой созданной ими формы. Европе предстояло еще совершить обширный цикл развития, правильности которого преобладание Франции противопоставляло преграды, и Россия была призвана освободить от него Европу. Роль России была, по-видимому, царственная; но, в сущности, это была лишь роль служебная. Теперь Европа, и именно Франция, провозглашает принцип национальности, который не только не имеет большого значения, но даже вреден для нее, – и тем отплачивает России и Славянству, играя по отношению к ним также служебную роль и воображая, что действует сообразно со своими собственными интересами.

Поэтому вопрос о национальностях (начавший теперь занимать первое место в жизни и деятельности народов и связывающий миры Романо-Германский и Славянский) составит самый естественный переход к тем особенностям исторического воспитания, которое получила Россия во время сложения ее государственного строя, – к особенностям тех форм зависимости, которым подвергался русский народ при переходе от племенной воли к гражданской свободе, в пользование которой и он начинает вступать.

Первый толчок, положивший начало тысячелетнему процессу образования Русского государства, был сообщен славянским племенам, рассеянным по пространству нынешней России, призванием варягов. Самый факт призвания, заменивший для России завоевание, существенно важный для психологической характеристики Славянства, в занимающем нас теперь отношении не имеет большого значения. И англо-саксы были призваны британцами для защиты их от набегов пиктов и скоттов; со всем тем, однако же, порядок вещей, введенный первыми в Англии, ничем существенным не отличается от того, который был введен в других европейских странах, – и призвание в этом случае по своим последствиям было равносильно завоеванию. Это, конечно, могло бы случиться и с русскими славянами, если бы пришельцы, призванные для избавления от внутренних смут, были многочисленнее. Но, по счастью, призванное пле-

мя было малочисленно, – как это доказывается уже тем, что до сих пор существует возможность спорить о том, кто такие были варяги. Если бы их численность была значительнее, то они не могли почти бесследно распуститься в массе славянского народонаселения, – так что уже внук Рюрика носит славянское имя, а правнук его, Владимир, сделался в народном понятии типом чисто славянского характера. Если бы и не осталось никаких летописных известий о том, кто были англы, саксы, франки или норманны Вильгельма Завоевателя, то вопрос этот подлежал бы бесспорному решению – на основании одного изучения языка и учреждений, в которых отпечатался характер национальностей названных завоевателей.

Эта-то малочисленность варягов, даже помимо их призвания, не позволила им внести в Россию того порядка вещей, который в других местах был результатом преобладания народности господствующей над народностью подчиненной. Поэтому варяги послужили только закваской, дрожжами, побудившими государственное движение в массе славян, живших еще одной этнографической, племенной жизнью; но не могли положить основания ни феодализму, ни другой какой-либо форме зависимости одного народа от другого. Между первым толчком, сообщившим государственное направление жизни русским славянам, и между германским завоеванием, положившим начало европейской истории, существует (если мне позволено будет сделать это сравнение) то же отношение, как между оспой прививной и оспой натуральной. Последняя, действуя сильно на организм, производит в нем органический переворот и большей частью, даже при счастливом исходе, оставляет за собой на всю жизнь сохраняемые следы. Она проводит глубокие борозды по лицу, искажает его, уродует, и нередко поражает зрение и другие существенно важные органы. Оспа прививная, напротив того, имеет лишь одни благодетельные последствия натуральной, охраняет организм от будущей заразы, но не искажает, не уродует его. С другой стороны, однако же, и охранение, ею доставляемое на будущее время, не столь действительно, как то, которое дает оспа натураль-

ная. Действуя слабее, прививная оспа, чтобы сохранить свою действительность, должна время от времени повторяться. Первобытная государственность России, лишенная помощи феодализма, или не могла бы сообщаться из Новгорода и Киева обширным странам, населенным славянскими и финскими народами, племенная воля которых находилась под охраной необозримого пространства лесов, болот и степей; или между обширными окраинами и небольшим ядром должно бы установиться отношение метрополии к колониям, род данничества, в котором исчезла бы равноправность всех частей России по отношению к правительственному центру. Этому недостатку пособила удельная система[30]. Посредством ее, с одной стороны, распространилась государственность, с другой – каждой части сохранена была равноправность как особому самостоятельному княжеству. Этот процесс можно уподобить так называемому физиологическому процессу проборождения, которым сообщается оплодотворяющая сила всему содержанию желтка. Взаимные отношения членов княжеского дома сохранили связь частей государства; но с умножением княжеского рода, с ослаблением связи между его членами в последовательности поколений одного великокняжеского центра становилось недостаточно. Не только увеличивалось число княжений, но по мере этого увеличения образовывались и новые великокняжеские центры. Процесс этот не успел достигнуть своих последних пределов; но, продолжая его умственно, невольно приходишь к тому заключению, что он мог иметь только два исхода. Если бы государственный элемент, выражавшийся князьями и их дружиной, получил полное преобладание, то удельной системе предстояло переродиться в настоящий феодализм, в крайнее разложение, пример которого представляет средневековая Германия, но – без объединяющей власти императора и папы; народная свобода погибла бы под гнетом мелких тиранов. При преобладании же народного племенного начала, как это и было в России, самой государственности предстояла гибель через обращение князей в мелких племенных вождей, без всякой между собой связи; народная воля была бы спасена,

но племена не слились бы в один народ под охраной одного государства. Во избежание этого был необходим новый прием государственности, и он был дан России нашествием татар.

Сверх призвания варягов, заменившего собой западное завоевание, – призвания, которое оказалось слишком слабым, дабы навсегда сообщить государственный характер русской жизни, – оказалась надобность в другой форме зависимости – в данничестве. Но и данничество это имело тот же слабый прививной характер, как и варяжское призвание. Когда читаем описания татарского нашествия, оно кажется нам ужасным, сокрушительным. Оно, без сомнения, и было таковым для огромного числа отдельных лиц, терявших от него жизнь, честь, имущество; но для целого народа как существа коллективного и татарское данничество должно почитаться очень легкой формой зависимости. Татарские набеги были тяжелы и опустошительны, но татарская власть была легка, сравнительно с примерами данничества, которые представляет нам история (например, сравнительно с данничеством греков и славян в Турции). Степень культуры, образ жизни оседлых русских славян и татарских кочевников были столь различны, что не только смешение между ними, но даже всякая власть последних над первыми не могла глубоко проникать, должна была держаться одной поверхности. Этому способствовал характер местности, который дозволил нашим завоевателям сохранить свой привычный и любезный образ жизни в степях задонских и заволжских. Вся эта буря прошла бы даже, может быть, почти бесследно (как без постоянного вреда, так и без постоянной пользы), если бы гений зарождавшейся Москвы не умел приспособиться к обстоятельствам и извлечь всей выгоды из отношений между покорителями и покоренными. Видя невозможность противиться силе и сознавая необходимость предотвращать опустошительные набеги своевременной уплатой дани, покоренные должны были внести более строгие формы народной зависимости по отношению к государству. Дань, подать, составляет всегда для народа, не постигающего ее необходимости, эмблему наложенной на него зависимости, главную причину вражды его

к государственной власти. Он противится ей, сколько может; нужна сила, чтобы принудить его к уплате. Чтобы оградить себя от излишних поборов, народ требует представительства в той или другой форме, ожидая, что, разделяя его интересы, оно не разрешит никакого побора, который не оправдывался бы самой существенной необходимостью. Московские князья имели ту выгоду на своей стороне, что вся ненавистная сторона мытарства падала на Орду, – Орда же составляла ту силу, которая одной угрозой заставляла народ платить дань. Москва являлась если не избавительницей, то облегчительницей тягости, которую заставляло нести народ иноплеменное иго. Кроме самого понятия о государственной власти (коренящегося в духе славянских народов), в этом посредничестве Московских князей, избавлявших народ от прямого отношения к татарам, кроется, без сомнения, то полное доверенности и любви чувство, которое русский народ сохраняет к своим государям. Таким образом, Московские князья, а потом цари, совместили в себе всю полноту власти, которую завоевание вручило татарам, – оставив на долю этих последних то, что всякая власть заключает в себе тягостного для народа – особенно для народа, не привыкшего еще к гражданскому порядку и сохранявшего все предания племенной воли. Московские государи, так сказать, играли роль матери семейства, которая хотя и настаивает на исполнении воли строгого отца, но вместе с тем избавляет от его гнева и потому столько же пользуется авторитетом власти над своими детьми, сколько и нежной их любовью.

Но когда иноплеменное иго было свергнуто, – страшилище, заставлявшее безропотно сносить всю тягость государственной власти, исчезло, а с ним исчезла и самая сила, посредством которой Московские государи проводили в русский народ государственное объединение. Ее надо было обрести в собственных средствах. Таких средств было очень мало, а препятствий, которые надлежало преодолеть, очень много. Главное препятствие опять-таки составляли пространство и природа русской области. Какая нужда подчиняться суровым требованиям государственного порядка, личной службы, де-

нежным уплатам, когда леса представляли такие непроницаемые убежища, что даже в наши дни, от времени до времени, открываются целые поселения, успевшие скрыться в них от зоркого глаза исправников и становых, когда обширные степи, очищенные от могущественных хищников, представляли столько раздолья и столько свободы, когда реки и моря с беспримерным обилием рыбы доставляли легкое пропитание и даже прибыльный промысел? Какие же были средства у государства без постоянного войска, без многочисленной армии чиновников, без организованной феодальной иерархии и при малом развитии промышленности, при ничтожной городской деятельности, без денег на то, чтобы создать и содержать войско и администрацию? И действительно, государственность на Руси была еще так слаба, что как только прекращение старинного царского дома разорвало ту связь любви и привычки, которая образовалась в течение веков, государство рухнуло под слабыми ударами поляков[31], – даже не государства Польского, а отдельных польских шаек. Его восстановил народный дух, никаким правительством не руководимый. 750 лет, протекших от основания Руси до времени Минина, создали единый цельный народный организм, связанный нравственно духовной связью, но не успели еще образовать плотного государственного тела. Очевидно, что такое обращение при всякой опасности к самым тайникам народной жизни было слишком рискованно и не могло считаться нормальным порядком вещей. Без этого народного духа всякая государственность есть тлен и прах; но ведь государство затем главнейше и существует, чтобы его охранять, – чтобы, будучи оживляемо им, придавать стройность и единство его проявлениям в защите народности. Без этой стройности и единства даже самый бодрый народный дух мог бы оказаться недостаточным для борьбы с силами более сосредоточенными и лучше направленными, нежели силы Польского государства. Но чем же было придать эту силу государству? При тогдашних обстоятельствах не было другого средства, как закрепление всего народа в крепость государству. Годунов почувствовал его необходимость, Петр его довершил.

Для упрочения Русского государства, – чего не могли довершить ни добровольное призвание иноплеменников, ни насильственно наложенное данничество, имевшие слишком легкий, прививной характер, – надо было прибегнуть к крепостной неволе, то есть форме феодализма, опять-таки отличающейся от настоящего самородного феодализма, как искусственно привитая болезнь – от болезни натуральной.

Что крепостное состояние есть форма феодализма в том обширном смысле, который выше был придан этому слову, – в этом едва ли можно сомневаться, так как оно заключало все существенные его признаки: почти безграничная власть лиц привилегированного сословия над частью народа под условием несения государственной службы. Хотя и не таково было начало крепостного права на Руси, но таков был характер его, когда оно достигло своего полного развития при Петре. Для нас, на глазах которых крепостное право было отменено и которые видели все неразлучное с ним зло, – тягость, налагаемая им на народ, кажется чрезмерной, и трудно даже решиться назвать его легкой формой зависимости. Но все в мире сравнительно, а сравнивать надо только явления однородные, и если сопоставить наше крепостное право с европейским феодализмом, смягченный образчик которого мы можем видеть на латышах и эстах Прибалтийских губерний, то, конечно, крепостная зависимость окажется легкой. Одноплеменность и единоверие господ с их крестьянами, а также свойственные русскому характеру мягкость и добродушие смягчали тягость крепостной зависимости во все периоды ее развития; но, кроме этого, каждый из периодов, в которых крепостное право имело особый характер, представлял и особые условия, смягчающие его тягость. Первым периодом можно считать установление крепостных отношений – до окончательного их утверждения введенной Петром ревизией[32]. В это время свободный переход крестьян от помещика к помещику еще не прекратился на деле; кроме того, слабость государственной власти, смуты, занимавшие начало этого периода, были обстоятельствами, не допускавшими развития всей тягости крепостного права. С ревизии, установлен-

ной Петром, это изменилось: крестьяне были отданы в полную зависимость помещикам, на которых лежала обязанность бездоимочной поставки рекрут и уплаты податей; но это, собственно, была тягость, налагаемая государством, а не личным произволом, который почти вовсе не имел возможности проявляться, так как и дворянство так же точно записано в крепость государству и всю жизнь свою обязано было проводить на службе. С грамоты о вольности дворянства[33] начинается третий период крепостного права, в который оно, собственно, потеряло уже причину своего существования. В теории – обратилось оно в чистое злоупотребление, так как государство получило возможность платить своим слугам и содержать их иначе, нежели предоставляя им право на обязательный труд крестьян; на практике – тягость для крестьян также должна была значительно увеличиться после того, как дворяне получили право выходить в отставку и проживать в своих имениях. Но если мы обратим внимание на то, что тогда господствовало еще натуральное хозяйство,– что помещики по большей части довольствовались произведениями своего имения, имели большие запасы хлеба (которым за неимением сбыта кормили многочисленную дворню), большие запасы овса (которым кормили лошадей своих соседей, наезжавших к ним гостить по целым неделям), курили свое вино, настаивали его на ягодах из своих садов и лесов, подслащивали наливки медом из своих пасек и вообще довольствовались произведениями своего имения, не имея ни возможности, ни потребности выручать с него много денег и покупать на них разные удобства жизни, – то увидим, что помещикам не было никакого резона слишком отягощать своих крестьян работой. Дворовые терпели от личного произвола, от вспышек гнева, от жестокости характера или распутства иного помещика, но и это было исключением, а главное – не распространялось на массу крестьянского сословия. Часто даже жестокие владельцы, невыносимые тираны своей дворни, были очень хорошими помещиками для крестьян (как, например, Куролесов в «Семейной хронике» С. Т. Аксакова[34]), чему каждый отыщет в своей памяти не один пример. Последний и

самый тяжелый период крепостного права наступил с того времени, как понятия о роскоши и европейском комфорте проникли из столиц в губернии и уезды, а развивающаяся промышленность и торговля заменили натуральное хозяйство – денежным. Для всякого продукта непосредственного потребления скоро достигается предел, далее которого в нем не чувствует уже надобности самый расточительный человек; для денег же предела насыщения не существует. Поэтому, несмотря на общее смягчение нравов, на уменьшение примеров дикого произвола, на многие законы, стеснявшие произвол помещиков над подвластными им людьми, – самое последнее время существования крепостного права едва ли не было самым тяжелым, как это, впрочем, совершенно основательно указано в самом Манифесте, которым объявлялось прекращение крепостной зависимости в России[35]. Поэтому, кажется мне, я имел право сказать, что и крепостное право – эта русская форма феодализма (точно так же, как призвание варягов – русская форма завоевания, как владычество татар – русская форма данничества), употребленная Московскими государями для политической централизации Руси, – имело сравнительно легкий характер.

Исчезло, наконец, и крепостное право – эти последние подмостки, употребленные при постройке нашей государственности. Русский народ перешел через различные формы зависимости, которые должны были сплотить его в единое тело, отучить от личного племенного эгоизма, приучить к подчинению своей воли высшим, общим целям – и цели эти достигнуты; государство основалось на незыблемой народной основе; и, однако же, в течение этого тысячелетнего процесса племенной эгоизм не заменился сословным; русский народ, не утратив своих нравственных достоинств, не утратил и вещественной основы для дальнейшего своего развития, ибо сохранил владение землей в несравненно большей степени, нежели какой бы то ни было европейский народ. И не только сохранил он это владение, но и обеспечил его себе на долгие веки общинного формой землевладения. Он вполне приготовлен к принятию гражданской свободы взамен племенной воли,

которой (как всякий исторический народ) он должен был лишиться во время своего государственного роста. Доза свободы, которую он может вынести, с одной стороны, – больше, чем для всякого другого народа, потому что, обладая землей, он одарен в высшей степени консервативными инстинктами, так как его собственное положение не находится в противоречии с его политической будущностью; с другой же стороны, сами политические требования, или, лучше сказать, надежды его, в высшей степени умеренны, так как за отсутствием (в течение всей его жизни) внутренней междоусобной исторической борьбы между различными слоями русского общества, он не видит во власти – врага (против которого чувство самосохранения заставляло бы его принимать всевозможные средства предосторожности), а относится к ней с полнейшей доверенностью.

ГЛАВА XI
Европейничанье – болезнь русской жизни

И обуяв в чаду гордыни,
Хмельные мудростью земной,
Вы отреклись от всей святыни,
От сердца стороны родной.
Хомяков[1]

Итак, духовное и политическое здоровье характеризуют русский народ и Русское государство, между тем как Европа – в духовном отношении – изжила уже то узкое религиозное понятие, которым она заменила вселенскую истину и достигла Геркулесовых столбов, откуда надо пуститься или в безбрежный океан отрицания и сомнения, или возвратиться к светоносному Востоку; в политическом же отношении – дошла до непримиримого противоречия между требованиями выработанной всей ее жизнью личной свободы и сохраняющим на себе печать завоевания распределением собственности. Если, однако, мы вглядимся в русскую жизнь, то скоро увидим, что

и ее здоровье – неполное. Она не страдает, правда, неизлечимыми органическими недугами, из которых нет другого исхода, – как этнографическое разложение; но одержима, однако же, весьма серьезной болезнью, которая также может сделаться гибельной, постоянно истощая организм, лишая его производительных сил. Болезнь эта тем более ужасна, что (подобно собачьей старости) придает вид дряхлости молодому облику полного жизни русского общественного тела и угрожает ему если не смертью, то худшим смерти – бесплодным и бессильным существованием.

Кроме трех фазисов развития государственности, которые перенес русский народ и которые, будучи, в сущности, легкими, вели к устройству и упрочению Русского государства, не лишив народа ни одного из условий, необходимых для пользования гражданской свободой, как полной заменой племенной воли, – Россия должна была вынести еще тяжелую операцию, известную под именем Петровской реформы. В то время цивилизация Европы начала уже в значительной степени получать практический характер, вследствие которого различные открытия и изобретения, сделанные ею в области наук и промышленности, получили применение к ее государственному и гражданскому строй. Невежественный, чисто земледельческий Рим, вступив в борьбу с торговым, промышленным и несравненно его просвещеннейшим Карфагеном, мог с единственной помощью патриотизма и преданности общему благу с самого начала победоносно сразиться с ним даже на море, составлявшем до того времени совершенно чуждый Риму элемент. Так просты были в то время те средства, которые употребляли государства в борьбе не только на сухом пути, но даже и на море. Но уже в начале XVII века и даже ранее никакая преданность отечеству, никакой патриотизм не могли уже заменить собой тех технических усовершенствований, которые сделали из кораблестроения, мореплавания, артиллерии, фортификации и т.д. настоящие науки, и притом – весьма сложные. С другой стороны, потребности государственной обороны, сделавшись столь сложными, по необходимости требовали для

своей успешности особого класса людей, всецело преданных военным целям; содержание же этого многочисленного класса требовало стольких издержек, что, без усиленного развития промышленности у государства не хватило бы средств для его содержания. Следовательно, самая существенная цель государства (охрана народности от внешних врагов) требовала уже в известной степени технического образования, – степени, которая с тех пор, особливо со второй четверти XIX века, не переставала возрастать в сильной пропорции.

К началу XVIII века Россия почти окончила уже победоносную борьбу со своими восточными соседями. Дух русского народа, пробужденный событиями, под водительством двух приснопамятных людей: Минина и Хмельницкого, одержал также победу над изменившей народным славянским началам польской шляхтой, хотевшей принудить и русский народ к той же измене. Не в далеком будущем предстояла, без сомнения, борьба с теми или другими народами Европы, которые, с свойственными всем сильным историческим деятелям предприимчивостью и честолюбием, всегда стремились расширить свою власть и влияние во все стороны – как через моря на запад, так и на восток. Der Drang nach dem Osten выдуман не со вчерашнего дня. Для этой несомненно предстоящей борьбы необходимо было укрепить русскую государственность заимствованиями из культурных сокровищ, добытых западной наукой и промышленностью, – заимствованиями быстрыми, не терпящими отлагательства до того времени, когда Россия, следуя медленному естественному процессу просвещения, основанному на самородных началах, успела бы сама доработаться до необходимых государству практических результатов просвещения. Петр сознал ясно эту необходимость, но (как большая часть великих исторических деятелей) он действовал не по спокойно обдуманному плану, а со страстностью и увлечением. Познакомившись с Европой, он, так сказать, влюбился в нее и захотел во что бы то ни стало сделать Россию Европой. Видя плоды, которые приносило европейское дерево, он заключил о превосходстве самого растения, их приносившего, над русским еще

бесплодным дичком (не приняв во внимание разности в возрасте, не подумав, что для дичка, может быть, еще не пришло время плодоношения) и потому захотел срубить его под самый корень и заменить другим. Такой замен возможен в предметах мертвых, образовавшихся под влиянием внешней, чуждой им идеи. Можно, не переставая жить в доме, изменить фасад его, заменить каждый камень, каждый кирпич, из которых он построен, другими кирпичами или камнями; но по отношению к живому, образовавшемуся под влиянием внутреннего самобытного образовательного начала, такие замещения невозможны: они могут только его искалечить.

Если Европа внушала Петру страстную любовь, страстное увлечение, то к России относился он двояко. Он вместе и любил, и ненавидел ее. Любил он в ней собственно ее силу и мощь, которую не только предчувствовал, но уже сознавал, – любил в ней орудие своей воли и своих планов, любил материал для здания, которое намеревался возвести по образу и подобию зародившейся в нем идеи, под влиянием европейского образца; ненавидел же самые начала русской жизни – самую жизнь эту, как с ее недостатками, так и с ее достоинствами. Если бы он не ненавидел ее со всей страстностью своей души, то обходился бы с ней осторожнее, бережнее, любовнее. Потому в деятельности Петра необходимо строго отличать две стороны: его деятельность государственную, все его военные, флотские, административные, промышленные насаждения, и его деятельность реформативную в тесном смысле этого слова, т.е. изменения в быте, нравах, обычаях и понятиях, которые он старался произвесть в русском народе. Первая деятельность заслуживает вечной признательной, благоговейной памяти и благословения потомства. Как ни тяжелы были для современников его рекрутские наборы (которыми он не только пополнял свои войска, но строил города и заселял страны), введенная им безжалостная финансовая система, монополии, усиление крепостного права, одним словом, запряжение всего народа в государственное тягло, – всем этим заслужил он себе имя Великого – имя основателя русского государственного величия. Но

деятельностью второго рода он не только принес величайший вред будущности России (вред, который так глубоко пустил свои корни, что досель еще разъедает русское народное тело), он даже совершенно бесполезно затруднил свое собственное дело; возбудил негодование своих подданных, смутил их совесть, усложнил свою задачу, сам устроил себе препятствия, на поборение которых должен был употреблять огромную долю той необыкновенной энергии, которой был одарен и которая, конечно, могла бы быть употреблена с большей пользой. К чему было брить бороды, надевать немецкие кафтаны, загонять в ассамблеи, заставлять курить табак, учреждать попойки (в которых даже пороки и распутство должны были принимать немецкую форму), искажать язык, вводить в жизнь придворную и высшего общества иностранный этикет, менять летосчисление, стеснять свободу духовенства? К чему ставить иностранные формы жизни на первое, почетное, место и тем накладывать на все русское печать низкого и подлого, как говорилось в то время? Неужели это могло укрепить народное сознание? Конечно, одних государственных нововведений (в тесном смысле этого слова) было недостаточно: надо было развить то, что всему дает крепость и силу, т.е. просвещение; но что же имели общего с истинным просвещением все эти искажения народного облика и характера? Просвещение к тому же не насаждается по произволу, как меняется форма одежды или вводится то или другое административное устройство. Его следовало не насаждать извне, а развивать изнутри. Ход его был бы медленнее, но зато вернее и плодотворнее.

Как бы то ни было, русская жизнь была насильственно перевернута на иностранный лад. Сначала это удалось только относительно верхних слоев общества, на которые действие правительства сильнее и прямее и которые вообще везде и всегда податливее на разные соблазны. На мало-помалу это искажение русской жизни стало распространяться и вширь и вглубь, т.е. расходиться от высших классов на занимающие более скромное место в общественной иерархии, и с наружности – проникать в самый строй чувств и мыслей, подвергшихся

обезнародовающей реформе. После Петра наступили царствования, в которых правящие государством лица относились к России уже не с двойственным характером ненависти и любви, а с одной лишь ненавистью, с одним презрением, которым так богато одарены немцы ко всему славянскому, в особенности ко всему русскому. После этого тяжелого периода долго еще продолжались, да и до сих пор продолжаются еще, колебания между предпочтением то русскому, как при Екатерине Великой, то иностранному, как при Петре III или Павле. Но под влиянием толчка, сообщенного Петром, самое понятие об истинно русском до того исказилось, что даже в счастливые периоды национальной политики (как внешней, так и внутренней) русским считалось нередко такое, что вовсе этого имени не заслуживало. Говоря это, я разумею вовсе не одно правительство, а все общественное настроение, которое, электризуясь от времени до времени русскими патриотическими чувствами, все более и более, однако же, обезнародовалось под влиянием европейских соблазнов и принимало какой-то общеевропейский колорит то с преобладанием французских, то немецких, то английских колеров, смотря по обстоятельствам времени и по слоям и кружкам, на которые разбивается общество.

Болезнь эту, вот уже полтора столетия заразившую Россию, все расширяющуюся и укореняющуюся и только в последнее время показавшую некоторые признаки облегчения*, приличнее всего, кажется мне, назвать *европейничаньем;* и коренной вопрос, от решения которого зависит вся будущность, вся судьба не только России, но и всего Славянства, заключается в том, будет ли эта болезнь иметь такой доброкачественный характер, которым отличались и внесение государственности иноплеменниками русским славянам, и татарское данничество, и русская форма феодализма; окажется ли эта болезнь прививной, которая, подвергнув организм благодетельному перевороту, излечится, не оставив за собой вредных неизгладимых следов, подтачивающих самую основу народной жизненности. Сначала рассмотрим симптомы этой болезни, по крайней мере,

* Признаю это за горькую с моей стороны ошибку. – *Посмертн. примеч.*

главнейшие из них, а потом уже оглянемся кругом, чтобы посмотреть – не приготовлено ли и для нее лекарства, не положена ли уже секира у корня ее.

Все формы европейничанья, которыми так богата русская жизнь, могут быть подведены под следующие три разряда:

1) Искажение народного быта и замен форм его формами чуждыми, иностранными; искажение и замен, которые, начавшись с внешности, не могли не проникнуть в самый внутренний строй понятий и жизни высших слоев общества – и не проникать все глубже и глубже.

2) Заимствование разных иностранных учреждений и пересадка их на русскую почву – с мыслью, что хорошее в одном месте должно быть и везде хорошо.

3) Взгляд как на внутренние, так и на внешние отношения и вопросы русской жизни с иностранной, европейской точки зрения, рассматривание их в европейские очки, так сказать, в стекла, поляризованные под европейским углом наклонения, причем нередко то, что должно бы нам казаться окруженным лучами самого блистательного света, является совершенным мраком и темнотой, и наоборот:

1) Искажения на иностранный лад всех внешних форм быта: одежды, устройства домов, домашней утвари, образа жизни, кажутся для многих совершенно несущественными и безразличными. Но, при тесной связи внутреннего с внешним, едва ли это может быть так. Славянофилы, принявшие в первую пору энтузиазма русскую народную одежду, поступили (кажется мне) совершенно разумно, – неосновательна была лишь, к несчастью, та мысль, что поданный ими пример заслужит скоро всеобщее подражание. Какое могло тут быть подражание, когда искажение русского образа имело на своей стороне даже полицейскую поддержку. Посмотрим, однако же, чего мы лишились, лишившись народной обстановки нашей жизни.

Мы лишились, во-первых, возможности или, по крайней мере, чрезвычайно затруднили возможность зарождения и развития народного искусства, в особенности искусства пла-

стического. История развития греческого, да и вообще всякого народного искусства, показывает нам, что она имеет два корня: формы богослужения и народную одежду, народную архитектуру жилищ, вообще народные формы быта. Если бы не простые и благородные формы греческой туники (так величественно драпировавшей формы тела, прикрывая, но не скрывая, а тем более не уродуя их), могла ли бы скульптура достигнуть того совершенства, в котором мы находим ее в Афинах, в век Перикла, и долго еще после него? Многозначительные и величественные формы нашего богослужения (равно удаленные от протестантской сухости и от католической вычурности и театральности), кроме своего религиозного достоинства могли бы быть и превосходной эстетической школой, если бы, по приобретении усовершенствованных технических приемов, мы сохранили бы другой корень искусства – самостоятельность форм быта.

У всех новейших народов скульптура не составляет самостоятельного искусства, а только влачится в подражательной колее, – или работая над чуждыми им мифологическими предметами, допускающими наготу тела, или одевая своих монументальных героев в греческие и римские одежды. Оно иначе и быть не могло, потому что все европейские костюмы или совершенно уродливы, как наши сюртуки, фраки, пальто, кафтаны времен Людовика XIV и т.д., или хотя и красивы, но вычурны – и потому только живописны, а не изящны: как костюм испанский с буфами на руках и ногах, тирольский с остроконечными шапками и разными шнурочками. Только русское народное одеяние достаточно просто и величественно, чтобы заслужить название изящного. Чтобы убедиться в этом, достаточно подвергнуть разные костюмы монументальной критике. Минин стоит в русской одежде на Красной площади в Москве; Сусанин – в Костроме, перед бюстом спасенного им Михаила Федоровича; есть много статуй, изображающих русских мальчиков и юношей, играющих в бабки или свайку. Не входя в разбор внутренних достоинств этих скульптурных произведений, можно, однако же, смело утверждать, что одеяние этих фигур

удовлетворяет всем требованиям искусства. В новейшее время и у нас и в Европе стали, правда, faisant bonne mine a mauvais jeu[2], пренебрегать требованиями изящности костюма для статуй, жертвуя художественностью исторической правде, и некоторые из этих опытов как будто бы удались, – но какие? Фигура Наполеона и в сереньком сюртучке (или, скорее, пальто), и в уродливой треугольной шляпе кажется величественной. Но это только величие символическое. Сюртучок и шляпа сделались в наших глазах символами двадцати побед – эмблемой несокрушимой воли и воинского гения; человеку же хотя бы и одаренному вкусом и эстетическими чувствами, но вовсе не знакомому с новейшей историей, маленький человечек в сюртучке и шляпе показался бы просто уродством; тогда как для того, чтобы восхищаться дошедшими до нас статуями римских императоров, нет надобности, чтобы они изображали Цезаря или Траяна и чтобы нам была известна эпопея их жизни: какой-нибудь Дидий Юлиан или даже Калигула произведут то же впечатление. Мне случилось видеть колоссальную статую, недавно воздвигнутую в Севастополе в честь адмирала Лазарева. Колоссальная фигура, сажени в три вышиной, на огромном пьедестале, стоящая среди развалин, на высоком и крутом берегу залива, производит издали поразительный эффект. Но как только становится возможным рассмотреть подробности фигуры, – ее мундирный фрак с фалдочками, панталоны в обтяжку, коротенькие ножны морского кортика, – надо привести себе на память все труды, понесенные знаменитым адмиралом при устройстве Черноморского флота, и сопоставить их с печальной участью, постигшей его создание всего 4 года после его смерти[3], чтобы подавить более серьезными и грустными мыслями невольно прорывающуюся улыбку. В колоссальных размерах современный европейский костюм, которым судьба и нас наградила, – колоссально смешон. А между тем художник сделал все, что от него зависело: поза, отливка, отделка до самых мелочей, до складок мундира – все мастерское. Эта уродливость европейской одежды не составляет какой-либо особенности морского костюма: военный мундир, а еще бо-

лее – штатский фрак или пальто, без сомнения, не менее смешны и уродливы. Великий муж, высеченный из мрамора или отлитый из бронзы, в три сажени ростом, во фраке новейшего фасона, в манишке со стоячими воротничками, – это такая смехотворная фигура, на которую едва ли хватит смелости у самого смелого скульптора. Что же, однако ж, делать бедному искусству? Рядить монументальных героев XIX века в тоги и туники – не значило ли бы это, избегая уродливого, впадать в нелепое?.. И между этой Сциллой и Харибдой[4], между этими двумя пропастями – смешного и бессмысленного – есть только одна узенькая тропинка, состоящая в том, чтобы прикрывать

Какой-то чудный выем
Рассудку вопреки,
наперекор стихиям[5],

шинелью или плащом, наброшенными в виде тоги. Как не замереть искусству, поставленному в такое узкое, стесненное положение!

Влияние принятой чужеземной одежды, чуждой формы домашнего устройства и быта не ограничивается мертвящим влиянием на одно ваяние. Все отрасли самобытного искусства от этого страдают. Идеал живописи, сказал Хомяков в статье о картине Ива́нова, единственном отзыве, достойном великого художественного произведения, – есть иконопись. Иконопись в области живописи есть то же, что эпос – в области поэзии, т.е. представление не личных, а целым народом выработанных идеальных представлений, только обделываемых и разнообразимых (в границах эпического типа) личным художественным творчеством. Таким образом, как лица греческой трагедии, так и образы греческого ваяния были всеэллинскими народными эпическими и типическими представлениями, которые только представлялись художнической фантазии Софокла или Фидия с большей живостью и полнотой, чем прочим грекам, и выполнялись ими с недоступным для других совершенством. Греческое ваяние было иконоваянием, греческая драма – ико-

нодрамой. Первоначально и эти бессмертные образы жили, без сомнения, в представлении народа в виде грубых зачатков. Чтобы достигнуть того изящества, в которое они воплотились великими художниками в век Перикла, необходимо было грекам выработать или заимствовать у более развитых народов различные усовершенствованные технические приемы. Это техническое заимствование и было сделано у финикиян, у которых греки научились материальной части лепного, литейного и скульптурного искусств. Но, заимствовав технику, они не заимствовали ни чуждых идеалов, ни способов облекать их в видимые формы. Идеалы остались народными; наружные формы, которыми облекали их, были заимствованы из народного же быта, доставившего все аксессуары, которыми греки одевали и окружали свои художественные произведения.

И у нас существовали, да и теперь существуют, те типы икон, которыми русский народ облекает свои религиозные представления. Чтобы придать им художественное совершенство, так же точно надо было выработать усовершенствованные технические приемы или заимствовать их – но только их – от более зрелых народов. Для первого нужно слишком много времени, да и такое повторение труда народами разных культурно-исторических типов *было* бы совершенно напрасно. Остается затруднение – каким образом ученикам, обыкновенно благоговеющим перед своими учителями (особенно такими учителями, каковы великие итальянские художники), ограничиться одним усвоением себе тех технических приемов, тех материальных средств искусства, посредством которых учителя эти выполняли свои идеалы, не увлекаясь самими этими идеалами, не спускаясь до подражательности, не принося им в жертву тех грубых зачатков художественно-религиозных типов, которые выработало или уже усвоило себе народное творчество. Для художников, предоставленных своим силам, задача эта неразрешима; они должны быть принуждаемы к ее разрешению неумолимыми общественными требованиями. Если бы древнерусский быт сохранился у нас (со всей своей обстановкой, с которой сжился народ) не только в низших, но и в высших

классах, то каким бы образом мог художник, как бы он ни был лично увлечен образцами итальянской живописи, написать образ или картину религиозного содержания (предназначенную для украшения храма) несообразно со строго православными требованиями, – как бы мог он обнажить женское тело, придать кокетливый вид и кокетливый наряд святым девам, придать модный, элегантный и несколько фанфаронский характер, с которыми рисуют теперь святых воинов, представляемых в молодости, как, например, Георгия Победоносца, Александра Невского, Михаила Архангела и т.д.? Все эти свойства, чуждые народному представлению означенных типов, были с тем вместе чужды и формам народного быта, – и потому, проявляясь в картине или образе художника, зараженного чужеземными понятиями, били бы по глазам, не приученным к этим явлениям в обыденной жизни. Если бы художник хотел, чтобы его образа или картины имели сбыт, то он был бы принужден искать примирения между приобретенными познаниями в анатомия, рисунке, перспективе, колорите, в расположении теней и света и т.д. с требованиями своей публики, с привычными ей формами быта, которые необходимо накладывают свою печать даже и на те народные представления, первообразы которых, собственно, жили под другими условиями.

То же самое относится к архитектуре, к музыке. У нас начал уже образовываться естественный и притом весьма разнообразный стиль в постройке церквей, и, хотя бы их строили иностранцы, они непременно должны были сообразоваться с народными требованиями; их не допустили бы иначе до постройки. Если наши церкви по своим размерам и архитектурному великолепию не могут соперничать с готическими соборами Северной Европы или с храмами Италии, то опять-таки по недостатку технической опытности и даже по недостатку материальных средств для возведения столь громадных зданий. Но если бы, по приобретении тех и других, сохранились в высших классах русского народа древние формы быта, а следовательно, вкуса и потребностей, то, конечно, наши города и села не были бы усеяны миниатюрными карикатурами собо-

ра Св. Петра в Риме, а воздвигались бы храмы в самобытном русском стиле – тех размеров и того богатства подробностей, которые, допускались бы усилением денежных и приобретением технических средств. Если бы продолжали существовать старинные формы быта, мы точно так же не допускали бы бравурных арий и концертов, похожих на отрывки из опер, во время богослужения, как (благодаря положительным церковным постановлениям) не допускаем орга́нов в церквах. Во всех этих отношениях мы были бы старообрядцами, только старообрядцами, вооруженными всеми техническими средствами, которыми владеет западное искусство, и потому из этого *старого* произошло бы что-нибудь действительно новое.

Светская архитектура, а также орнаментация домов и домашней утвари не предоставляли в Древней Руси большого развития по простоте тогдашних потребностей, а также и потому, что почти все наши постройки были деревянные. Но с усложнением отношений, с развитием вкуса и потребностей (что не составляет же привилегии европейских народов), с увеличением материальных средств для удовлетворения их, необходимо выросли бы и изукрасились дворцы наших царей и хоромы богачей, – но выросли бы и изукрасились сообразно особенностям наших потребностей, нашего понятия о комфорте, нашего вкуса. Теперь стараются иногда достигнуть этого искусственным путем; но, если это удается еще в церковной архитектуре и орнаментации, потому что предание здесь еще не иссякло, все старания в области архитектуры и орнаментации житейской остаются на степени безуспешных попыток, потому что искусство основывается на жизни, а никак не на археологии, которая может быть для него лишь подспорьем.

Это же относится и к народной одежде. Часто случается слышать, что красивая, всем нравящаяся русская женская одежда не более как театральный костюм, нисколько не похожий на тот далеко не столь изящный, который в действительности носит народ. Как будто народная одежда – мундир, форма которого определена с педантической точностью. Она есть – тип, который изменяется, разнообразится, украшает-

ся, смотря по общественному положению, состоянию, вкусу, щегольству носящих, сохраняя только свои существенные характеристические черты. Народное одеяние не предполагает непременно однообразия и постоянства; оно изменяется по модам даже тогда, когда составляет принадлежность одного простонародья, и изменялось бы, конечно, в большей степени и чаще, если бы составляло принадлежность всех классов. Если народные моды изменяются не столь часто, как моды светского общества, то вовсе не по каким-либо особым свойствам народности костюма, в противоположность общеевропейскому, а потому, что праздность, пустота светского общества, и особенно женской его половины, находит в этой непрестанной перемене главнейшее содержание, наполняющее эту пустоту его жизни. Переменчивость эта зависит много и от того, что управление модами попало в руки французов, народа легкомысленного и переменчивого по преимуществу.

Изменив народным формам быта, мы лишились, далее, самобытности в промышленности. У нас идут жаркие споры о свободе торговли и о покровительстве промышленности. Всеми своими убеждениями я придерживаюсь этого последнего учения, потому что самобытность политическая, культурная, промышленная составляет тот идеал, к которому должен стремиться каждый исторический народ, а где недостижима самобытность, там, по крайней мере, должно охранять независимость. Со всем тем нельзя не согласиться, что поддержание этой независимости в чем бы то ни было искусственными средствами – есть уже явление печальное; и к этим искусственным средствам не было бы надобности прибегать, если бы формы нашего быта, потребностям которого должна удовлетворять, между прочим, и промышленность, сохранили свою самостоятельность. Образ жизни восточных народов требует большого количества ковров. В Персии ковер не составляет роскоши, а есть предмет необходимой потребности для самого бедного класса, – и сообразно этому производство ковров достигло там такого совершенства, что, конечно, для покровительства ковровой промышленности персияне не нуждаются ни в каких

тарифах. То же самое относится к индийским шалям, китайским шелковым материям, фарфору, лакам, краскам. Так и у нас особые формы и потребности нашего богослужения и священнического одеяния требовали усовершенствования чеканки металлов, приготовления глазетов и парчей, отливки колоколов, и во всех этих отношениях мы совершенно независимы от иностранцев. До какой степени совершенствуется отрасль промышленности, соответствующая бытовым особенностям, можно видеть на маленьком примере наших самоваров, от которых французское правительство сочло нужным оградить себя тарифом и разными стеснениями ввоза. Одним словом, так как оригинал всегда выше подражания, то своеобразность быта имеет своим последствием самобытность промышленности и ведет к более смелой промышленной и торговой политике. Но когда промышленность лишается этого характера вследствие искажения быта по чужеземным образцам, то ничего не остается, как ограждать, по крайней мере, ее независимость – посредством покровительства. Теперешние моды, например, суть применения французского вкуса и понятий об изящном к жизненным потребностям; поэтому в так называемых articles de Paris[6] и вообще в модных товарах Франция будет иметь перевес над прочими странами – даже не потому, чтобы эти изделия французской промышленности были в самом деле наилучшими в своем роде (это может быть, но может и не быть), а по одному тому уже считаются они везде лучшими, что они французские.

Вследствие изменения форм быта русский народ раскололся на два слоя, которые отличаются между собой с первого взгляда по самой своей наружности. Низший слой остался русским, высший сделался европейским – европейским до неотличимости. Но высшее, более богатое и образованное, сословие всегда имеет притягательное влияние на низшие, которые невольно стремятся с ним сообразоваться, уподобиться ему, сколько возможно. Поэтому в понятии народа невольно слагается представление, что свое русское есть (по самому существу своему) нечто худшее, низшее. Всякому случалось, я думаю,

слышать выражения, в которых с эпитетом *русский* соединялось понятие низшего, худшего: русская лошаденка, русская овца, русская курица, русское кушанье, русская песня, русская сказка, русская одежда и т.д. Все, чему придается это название русского, считается как бы годным лишь для простого народа, не стоящим внимания людей более богатых или образованных. Неужели такое понятие не должно вести к унижению народного духа, к подавлению чувства народного достоинства?.. А между тем это самоунижение очевидно коренится в том обстоятельстве, что все, выходящее (по образованию, богатству, общественному положению) из рядов массы, сейчас же рядится в чужеземную обстановку.

Но унижение народного духа, проистекающее из такого раздвоения народа в самой наружной его обстановке, составляет, может быть, еще меньшее зло, чем недоверчивость, порождаемая в народе, сохранившем самобытные формы жизни, к той части его, которая им изменила. В мою бытность в Архангельской губернии, где, как известно, никогда не было крепостного права и где, следовательно, нельзя объяснять им недоверчивость и подозрительность к обнемеченным по наружности классам общества, мне случилось иметь следующий разговор с одним из поморских промышленников. Мне любопытно было узнать, как судили о холере поморы, которые по своей развитости далеко превосходят массу нашего крестьянства. Мой собеседник не скрыл от меня, что и у них большинство приписывало эту болезнь отравлению. Да кто же, спросил я, занимался, по их мнению, этим отравлением? – Господа. – Да ведь у вас и господ никаких нет, кроме чиновников; может ли статься, чтобы служащие государю чиновники стали отравлять народ? – Конечно, – отвечал он, – но, по мнению наших дураков, государь об этом не знал, а господ подкупили немцы (под немцами понимались, как само собой разумеется, иностранцы или европейцы вообще). – Да немцам зачем же вас отравлять? – Как зачем? Известно, что немцы русского народа не любят. – Народ понимает инстинктивно ту ненависть, которую питает Европа к России, и потому всякое из ряда обыкновенного выходящее

бедствие, постигающее его, склонен приписывать этой враждебности, хотя, конечно, и преувеличивает ее проявление. Но где же ему с юридической точностью отличать, к чему способна и к чему не способна эта враждебность? Ведь защищает же значительная часть европейского общественного мнения подделку фальшивой монеты, если она имеет целью вредить русским народным и государственным интересам; ведь защищало же оно жандармов-вешателей и кинжальщиков; ведь затыкает же оно уши и закрывает глаза перед ясными уликами злонамеренных политических поджогов; ведь терпит же Европа, и даже не только терпит, но и поддерживает своим нравственным авторитетом, а при нужде и материальной силой, турецкие насилия (грабежи, изнасилования и убийства) над греками и славянами единственно из вражды к России и к Славянству. Можно ли после этого слишком строго судить и русский народ, если он не совсем точно проводит черту, до которой может простираться эта враждебность? Но дело не в этом, а в том, что чужеземная наружность наших объевропеившихся классов вводит народ в соблазн, побуждая его считать их способными к переходу во враждебный России лагерь. «По платью встречают, по уму провожают», – говорит пословица; что же мудреного, что народ по платью нередко судит и о чувствах. До истинных чувств надо еще докопаться, надо, чтобы они в чем-нибудь проявились, а платье видимо с первого взгляда, – и не натурально ли принять подчас за врага того, кто носит вражескую ливрею. Если бы сходство в образе жизни более соединяло якобы аристократическую партию «Вести» с остальной массой русского народа, могла ли бы эта партия считать польских магнатов ближе к своему сердцу, нежели совершенно по всему чуждых ей русских крестьян западных губерний?

Известно также, что одежду войска – отличную от народной – многие считали, между прочим, необходимой потому, что она разъединяет солдат от народа и, в случае возмущения, мешает обоюдному их соединению. В глазах этих политиков одежда и наружность не так, следовательно, ничтожна, как иные утверждают, хотя приписываемое ей в этом мнении зна-

чение совершенно превратно. Говорят, что народная одежда везде отличается от костюма высших классов; отличается, конечно, но сохраняет, однако же, тот же самый тип. В сущности, европейские фраки, сюртуки, пальто – те же камзолы, вамсы, которые носят и крестьяне в европейских государствах, только более тщательно сшитые, из лучших тканей, несколько измененного и улучшенного фасона, – и эти различия идут совершенно постепенно, по мере изменения степеней благосостояния различных классов. То ли у нас, где различие типическое, родовое, а не различие вариаций на ту же тему?

Наконец, характер одежды и всей бытовой обстановки имеет важное влияние на слияние подчиненных народностей с народностью господствующей. В состав Русского государства входит много небольших народностей, которых оно не завоевало, не подчинило себе насильственно, а приняло под свое покровительство. Эти народности (как, например, грузины, армяне) не имеют причины быть враждебными России, и действительно ей и не враждебны. Они, в массе, невозбранно сохраняют свои национальные формы быта. Но отдельные личности, выходя на простор общей государственной жизни, будут всегда стараться перенять жизненную обстановку высших классов господствующего народа. Однако в то же время именно у этих передовых личностей зарождается сожаление о прежней политической самобытности их нации, невозвратно погибшей в историческом круговороте, или мечта о будущем ее возрождении. Оба эти стремления противоположны друг другу, и так как последнее не имеет внутренней основы, то при некоторой силе первого, более реального стремления, оно и исчезает как неосуществимая мечта. Но ежели оно не находит себе противодействия в этом первом стремлении или даже находит себе в нем поддержку, то народное образование этих (по необходимости лишенных политической самобытности) народностей ведет не к слиянию их с господствующей в государстве народностью, а к разъединению с ней, служащему к обоюдному вреду. В старину без всякого насилия разные татарские мурзы, черкесские князья, немецкие выходцы обраща-

лись в русских дворян, ибо им не было другого исхода, как или оставаться в своей племенной отчужденности, или сливаться с русским народом. Но теперь, после того как жизненная обстановка высших классов русского общества лишилась своего народного характера, сделалась общеевропейской, такой исход открылся. Чтобы выступить на арену общей государственной жизни России, нет надобности делаться русским по правам и обычаям, даже нет возможности делаться русским в этом смысле, а надо принять на себя общеевропейский облик. Но этот общеевропейский характер, который по существу своему враждебен характеру русско-славянскому, не ослабляет, а усиливает ту долю отчужденности, которая более или менее свойственна всякому инородцу, – и из этого-то слияния и порождаются те молодая Армения, молодая Грузия, о которых мы недавно услыхали, а, может быть, народятся и молодая Мордва, молодая Чувашия, молодая Якутия, молодая Юкагирия, о которых не отчаиваемся еще услышать.

2) Вторая форма европейничанья, сказал я, заключается в стремлении переносить чужеземные учреждения на русскую почву – с мыслью, что все хорошее на Западе непременно так же будет хорошо и у нас. Таким образом были пересажены к нам разные немецкие бюрократические порядки, городовое устройство и т.д. Чтобы разобрать все эти пересадки и все вредное влияние их на русскую жизнь, надо бы исписать целый том, к чему я не чувствую ни малейшего в себе призвания – да нет и большой надобности в подобном труде, так как опыт достаточно показал, что они у нас не принимаются, засыхают на корню и беспрестанно требуют нового подвоза; и, напротив того, тот же опыт достаточно красноречиво говорит, что те изменения в нашей общественной и государственной жизни, которые вытекают из внутренних потребностей народных, принимаются необыкновенно успешно и скоро так разрастаются, что заглушают чахлые пересадки. Так, величайшая историческая реформа нынешнего царствования, возвратившая русскому народу его исконную свободу (в новизне которой повиделась нашим старообрядцам знакомая им старина), не была произведена по

западному или остзейскому образцу, а по самобытному плану, упрочившему народное благо на многие и многие веки.

Но может показаться, что другая, соперничествующая с ней по своему благодетельному влиянию реформа – судебная – есть не что иное, как пересадка западного судебного устройства. Но, во-первых, она заменила или заменяет собой с Запада же заимствованную форму суда, а если заимствовать, то, конечно, лучше заимствовать хорошее, чем дурное. Во-вторых, если рассмотреть элементы, из которых состоит новое судебное устройство, то не трудно убедиться, что специально западное играет в нем весьма второстепенную роль*. Именно, элементы эти суть: гласность и изустность суда, независимость его от администрации, отсутствие в суде сословности и, наконец, адвокатура. Гласность и изустность были и у нас исконными формами суда. Независимость от администрации есть необходимое следствие усложнения гражданской жизни. Следы ее видны в старом русском суде губными старостами[7] – следы, которые не могли развиться именно потому, что в то самое время, когда осложнение гражданской жизни начало у нас водворяться, нить судебного предания была порвана. Суд присяжных по совести** есть начало по преимуществу славянское, сродное со славянским духом и характером, так что на основании его Хомяков выражал мысль о славянском происхождении англосаксов, которые если и германцы по происхождению, то по самому месту своего жительства необходимо должны были находиться под продолжительным славянским влиянием. Следовательно, мы только воротили свое. Сословность суда, суд пэров, равно как и суд патримониальный[8], а также подчинение низших сословий суду высших суть чисто западные начала; некоторые из них были занесены к нам, и от них мы только

* Все написанное мною здесь – вздор. Реформа только что началась, и хотелось верить, а потому и верилось, что она примет разумный характер; на деле она обратилась в иностранную карикатуру. При большей трезвости мысли это можно и должно бы предвидеть. – *Посмертн. примеч.*

** Есть вздор, – форма, соответствующая лишь первобытному эпическому строю народности, а не усложненности государственной. – *Посмертн. примеч.*

что начинаем освобождаться. Что касается до адвокатуры, то, с одной стороны, она является требованием неспособности человеческой природы к полному беспристрастию. Собственно говоря, вместо состязательного прения между обвинителем и защитником гораздо лучше было бы ввести беспристрастный доклад присяжным, в котором была бы выставлена без преувеличения и без преуменьшения вся сила доказательств за и против обвиняемого. Но такое беспристрастие едва ли достижимо. Попробуйте играть сами с собой в шахматы. Тут, кажется, нет резона пристращаться к черным или к белым; и, однако, наблюдая за собой, непременно заметите, что если не постоянно, то, по крайней мере, по временам берете сторону или правой, или левой руки и играете хуже одной, чем другой. Поэтому и необходимо разделить защиту от обвинения.

Правда, что, с другой стороны, адвокатское обвинение и адвокатская защита носят на себе и чисто западный характер – характер борьбы, которой проникнута вся европейская жизнь. Там, где все было разделено на враждебные партии, общественные слои и корпорации, необходимо должен был принять и суд характер поединка – обвинения и оправдания во что бы то ни стало; и потому-то этот характер судебного словесного поединка есть та скала, которой должны всеми мерами избегать наши присяжные поверенные, чтобы наш новый суд не претерпел крушения*. Наши адвокаты находятся точно в таком же положении, как наши художники, пошедшие в школу к западным учителям. Чтобы наш суд получил самобытный русский характер, нашим адвокатам так же точно нужно уметь заимствовать от своих учителей только технику, а не дух европейской адвокатуры. Для них это точно такая же трудная задача, как и для художников, и точно так же трудно им решить ее без содействия со стороны общества. Может быть, в этом отношении общество сохранило больше самобытности в своих требованиях, чем относительно бытовой обстановки жизни, – уже потому, что правда судебная составляет более насущную потребность для всех слоев общества (в том числе и для не-

* Не избегли, а опять карикатурно усилили. – *Посмертн. примеч.*

объевропеившихся еще), чем требования эстетические. Притом же по отношению к суду никому нельзя будет удалиться в старообрядство, как по отношению к церковному благолепию и обрядности. Поэтому можно надеяться, что дружный напор всего общественного, или (в этом случае правильнее) всего народного мнения заставит адвокатуру держаться народной колеи; а может быть, и нет, – кто знает?*

Посмотрим еще на третью великую освободительную реформу нынешнего царствования – на освобождение печатного слова от уз цензурных. Свобода слова не есть право или привилегия политическая, а [есть] право естественное. Следовательно, в освобождении от цензуры по самой сущности дела не может уже быть никакого заимствования с Запада, никакого подражания; ибо иначе и хождение на двух ногах, а не на четвереньках, могло бы считаться подражанием кому-нибудь. Сама цензура была результатом нашей подражательной жизни, – результатом, ничем не вызванным; прекращение же ее было восстановлением естественного порядка отправлений общественной жизни. Но цензура была не просто уничтожена: она была заменена (для периодических изданий, по крайней мере) новой системой предостережений. Эта система есть ли явление самобытное (т.е. явление, вызванное внутренними потребностями народной и государственной жизни России) или только пересадка, подобная гильдейскому и цеховому устройству городов, и т.д., – пересадка, основанная на том начале, что существующее где-либо в странах просвещенного Запада ipso facto уже полезно, благодетельно, просветительно и необходимо для России? Чтобы решить этот вопрос, надо обратиться к анализу свойств той силы, которой одарена периодическая печать, и тех качеств, которыми система предостережений отличается от судебного преследования за преступления, положительно формулированные законами о печати. Не подлежит сомнению, что система предостережений не основана на принципе юридической справедливости, по которому наказание должно всегда соответствовать преступлению; ибо если даже предположить пол-

* Вышло – нет. – *Посмертн. примеч.*

нейшее беспристрастие в административном месте или лице, заведующем делами печати, то все-таки три предостережения почти всегда гораздо чувствительнее для издателя, которого могут лишить всего состояния, чем самое строгое из судебных взысканий, коим он может подвергнуться. Между тем самая необходимость прибегать к предостережениям – вместо того чтобы подвергать провинившийся журнал суду – показывает уже, что проступок издателя так сомнителен, так неопределителен, что, по всем вероятиям, суд не нашел бы возможности его обвинить. Следовательно, система предостережений должна основываться на началах самозащищения, в котором, без сомнения, нельзя отказать ни обществу, ни правительству и в силу которого последнее прибегает иногда к самым строгим, даже жестоким мерам – для предупреждения действий и не весьма преступных (если смотреть на них с чисто юридической точки зрения), но угрожающих большой бедой обществу. Так, например, простое легкомыслие может заставить человека нарушить карантинные правила; однако за это полагается смертная казнь, ввиду тех страшных последствий, которые может иметь этот необдуманный и легкомысленный поступок. Следовательно, и система предостережений вполне оправдывается, если то зло, которое она должна предупреждать, может иметь последствия, в своем роде подобные нарушению карантинных правил.

Обыкновенно думают, что как полезное, так и вредное действие печати заключается или в сообщении читателям известных убеждений, которых они вовсе не имели, или в изменении тех убеждений, которые они имели. Но убеждение есть стройная система логически связанных между собой мыслей и, следовательно, необходимо предполагает значительную степень умственной развитости и значительный умственный труд. Поэтому масса публики (даже в странах самых образованных), собственно говоря, самостоятельных убеждений не имеет и едва ли может иметь; то, что называется убеждением масс, есть результат привычки, сообщаемой и приобретаемой воспитанием или действием окружающей среды. Поэтому эти убеждения всегда отличаются необыкновенной устойчивостью, образуют-

ся и изменяются не иначе как веками невидимых трудов, целых рядов поколений. Сообщить массе даже нерядовых сословий новые убеждения или изменить старые ее убеждения отдельному писателю или журналу почти невозможно. Это труднее, чем пробуравить скалу. Масса людей, не имея ни времени, ни склонности, ни способности к продолжительному упорному мышлению, одарена, так сказать, отражательной силой по отношению к действию самых логических, самых красноречивых убеждений. Хоть кол на голове теши, она все-таки будет держаться *своего,* извека ей переданного, привычного и действием общественной среды ею усвоенного. Чтобы увериться в справедливости сказанного, стоит только всякому мыслящему и имеющему претензию на убеждение человеку припомнить, многих ли случалось ему в жизни в чем-либо убедить или переубедить и часто ли ему самому случалось бывать в чем-либо убежденным или переубежденным другими. Но если масса (большинство) так мало податлива убеждениям вообще, то такие убеждения, которые составляли бы нравственный принцип деятельности, перевешивающий внушения интереса, апатии, рутины, встречаются еще несравненно реже. А ведь только такое убеждение и имеет практическое значение: только такие убеждения и можно ценить, если они полезны и благотворны; таких только и следует бояться, таким только и стоит противодействовать, если они вредны и пагубны.

Но редки ли, часты ли убеждения вообще, а живые убеждения в особенности, – самым худшим проводником убеждений должно признать периодическую печать, особенно же ежедневные газеты. Разнообразие трактуемых ими предметов препятствует сосредоточению внимания, этому первому условию приобретения какого бы то ни было убеждения. Нынче говорится о Восточном вопросе, завтра – о Люксембургском, послезавтра – об улучшении быта духовенства, потом – о системе общественного воспитания, об обрусении Западного края, о судебной реформе, затем снова возвращаются к Восточному вопросу и т.д., и т.д. И все это читается слегка, между прочим, среди тысячи сообщаемых текущих новостей, от-

влекающих внимание. Каким образом может образоваться, а тем более измениться убеждение чтением такого рода? По отношению к убеждениям большие серьезные сочинения имеют несравненно большее влияние, хотя также не прямое и не непосредственное. Только немногие люди имеют время, склонность и способность их обдумывать и этим путем почерпать новые или изменять старые убеждения. Эти-то немногие люди медленно сообщают их далее, преимущественно посредством школы (в которой молодой ум, еще не развлеченный житейскими заботами, еще гибкий по природе своей, питается ими и усваивает их себе) или посредством небольших кружков людей мысли (сообща вырабатывающих новые убеждения, из коих кое-что мало-помалу входит и в общее сознание).

Это бессилие периодической и особенно ежедневной печати –распространять и изменять убеждения – вполне подтверждается опытом. Например, в двадцатых годах нынешнего столетия явилось во Франции учение сен-симонистов. Сочинения Сен-Симона были усвоены немногими учениками. Они отыскивали с величайшими стараниями новых адептов и составили, наконец, небольшой кружок поклонников новой школы. Для ее распространения стали они издавать журнал «Le Globe»[9]. Много ли приобрел он им сторонников? Почти никого. Такой же ничтожный результат имел и орган фурьеристов «Democratie pacifique»[10]. Скажут, что учения эти не распространились потому, что здравый смысл публики отвергал эти эксцентрические теории; однако же путем отдельных трактатов и личной изустной пропагандой нашли же они себе последователей – и весьма талантливых. Возьмем пример учения, получившего большое распространение и вошедшего в жизнь многих государств, – учения о свободной торговле. Оно проложило себе путь в убеждения публики кафедрами и курсами политической экономии, прениями в палатах, личной изустной пропагандой; но где тот ежедневный журнал, которому оно было бы обязано своим успехом?

Неужели, однако, периодическая печать, почитаемая одной из главных общественных сил нашего времени, в сущ-

ности, ничтожна по своему влиянию? Неужели один предрассудок возлагает на нее такие упования и возбуждает против нее такие опасения? Нет, периодическая, и особенно ежедневная, печать составляет действительно огромную силу; но сила эта основана не на распространении убеждений, а на пробуждении и уяснении интересов, на возбуждении в этих интересах сознания своей силы. Газета, умевшая подметить какой-нибудь интерес, существующий в публике, и оценить его важность, пишет ряд передовых статей, которые его уясняют. Читая статью, читатель видит в ней изложение того, что он думал. Да ведь это мои мысли, восклицает он не без внутреннего удовольствия, чувствуя себя польщенным тем, что высокий газетный авторитет вторит его мыслям. Однако же по большей части читатель несколько ошибается; то, что он считает своими мыслями, были только более или менее неясные, неотчетливые, урывочные ощущения, – и только после прочтения их изложения в газете уясняются они для него самого. Что случилось с одним, то случается и с сотнями, с тысячами читателей. Каждый желает поделиться уясненными ему его интересами с другими и узнает, что они не исключительно ему свойственны, а составляют мнение большинства его знакомых. Таким образом, интересы публики не только уясняются, но получают сознание своей силы, возвышаются на степень общественного мнения. Газеты, следовательно, имеющие действительно общественное значение, суть как бы акушеры общественного мнения, помогающие ему явиться на свет Божий. Справедливость этого также нетрудно доказать самыми убедительными примерами. Газета, имеющая наибольшее общественное влияние, есть, без сомнения, английский «Times»[11]. Но именно она и не проповедует никаких своих мнений, а старается только искусно изложить те, которые господствуют в английском обществе о том или другом вопросе, подметить английские общественные интересы, уяснить их и, таким образом, возвести на степень общественной силы. Я позволю себе привести небольшую выписку из сочинения Кинглека о Крымской войне, в котором, по случаю влияния этой газеты на характер восточной войны, рассказывается история

происхождения знаменитой газеты и той методы, руководствуясь которой она достигла своего влияния. В Англии существовала издавна компания, собиравшая всевозможные новости, рекламы, объявления и печатавшая их в издаваемом ею листке. «Несколько лет тому назад, – говорит Кинглек, – руководители компании заметили, что один важный разряд новостей был неполон и недостаточен. Казалось, что каждому англичанину было бы приятно знать, не отходя от своего камина, что думает масса его соотечественников о главных вопросах дня. Письма, получаемые от корреспондентов, доставляли уже некоторые средства добывать этого рода сведения, и руководителям компании казалось, что с некоторым трудом и за умеренные издержки можно удостовериться в том, какие мнения начинают входить в силу, и предвидеть направление, которое примет их поток. Говорят, что с этим намерением стали они употреблять несколько лет тому назад одно не имевшее занятий духовное лицо, одаренное тонкостью и проницательностью. На него была возложена обязанность слоняться по публичным местам и выслушивать, что думают люди о главных современных вопросах. Ему незачем было прислушиваться к крайним глупостям и еще менее – к мнениям самых умных людей. Его обязанность состояла в том, чтобы выжидать, пока он не заметит, что какая-либо общая обиходная мысль начала повторяться во многих местах и многими людьми, по всем вероятностям, никогда не видавшими друг друга. Эта общая мысль и составляла ту добычу, которую он искал и которую приносил домой к своим хозяевам. Он так искусился в этом упражнении, что, пока он служил компании, она редко бывала вводима в заблуждение, и хотя впоследствии часто бывала надуваема на охоте за сведениями этого рода, но никогда не упускала делать все от нее зависевшее в поисках за сердцем нации».

«Вооружившись данными, таким образом собранными, руководители делали нужные приготовления для их распространения; но они не утверждали смело, что добытое ими мнение именно составляет общественное мнение страны. Метода их заключалась в следующем: они заставляли рассуждать лов-

ких публицистов в пользу мнения, которое, как они думали, нация уже и без того готовилась принять; и если предположить, что полученные ими сведения были верны, то доказательства их, конечно, должны были выслушиваться весьма охотно. Те, которые уже составили себе мнение, видели его установленным и доказанным с гораздо большим искусством, нежели они сами могли бы это сделать; те же, которые еще не успели себе составить этого мнения, весьма сильно к тому побуждались, видя путь, избранный компанией, которая (как всем было известно) употребляла все старания, дабы следить за изменениями духа общества».

«Отчет, который газета давала в мнении, составляемом себе публикой, был столь тесно смешан с доказательствами в пользу этого самого мнения, что тот, кто заглядывал в газету собственно для того, чтобы узнать, как думают другие, поражался при чтении силой доказательств; с другой же стороны, тот, кто воображал, что руководствуется силой логических доказательств, в сущности, только повиновался путеводителю, который сообщал ему, что общество уже пришло к соглашению, заставляя и его идти вместе с толпой. Подобно тому, как произнесение пророчества иногда составляет главный шаг к его выполнению, так и молва, утверждающая, что масса приняла известное мнение, часто производит то совпадение мыслей, которое было преждевременно объявлено уже существующим. Из действия этого двоякого процесса проистекало, конечно, что мнение английской публики было вообще в согласии с тем, что писала компания; и чем более смотрели на газету как на истинное выражение народного духа, тем обширнейшую публичность получала она...»

«Но, хотя компания имела в руках всю эту власть, характер ее был такого рода, что она не могла употреблять ее произвольным, капризным, пагубным образом без того, чтобы не нанести большого вреда своей странной торговле; ибо по самой своей сущности характер ее был не самовластный, а представительный: она была принуждена самим законом своего существования быть в сколь возможно теснейшем согласии со всей нацией».

И у нас есть подобный пример. Газета с наибольшим числом подписчиков, с наибольшим влиянием – без сомнения «Московские ведомости»[12]. Проповедует ли она какое-либо новое учение, навязывает ли свои убеждения публике? В большинстве случаев – нет. Она только с верным тактом схватывает тот интерес, который уже существует в обществе, хотя, по всем вероятиям, и не имеет к своим услугам проницательного духовного лица, которое уведомляло бы ее о состоянии общественного мнения. Такое лицо даже мало бы помогло ей, потому что у нас нельзя еще подслушать общественное мнение: его надо прежде пробудить. Такому умению подметить общественные интересы обязаны «Московские ведомости» своим успехом в Польском вопросе, в вопросе о классическом методе образования в средних учебных заведениях. Но те же «Московские ведомости» показывают, что там, где они удаляются от той методы, которая составляет их силу и значение, они лишаются своего влияния. «Московские ведомости» в торговой политике защищают систему свободной торговли, теорию излишества денежных знаков и т.д., и, несмотря на обширный круг читателей газеты, эти проповедуемые ими теории не прививаются; напротив того, все показывает, что фритредерство со своими суккурсалиями все более и более теряет у нас почву под ногами, что общественное мнение, весьма фритредерски настроенное лет семь тому назад, постепенно приходит к более здравому взгляду на экономические интересы России.

Где, следовательно, наш «Times» уклоняется от своего первообраза, там и действие его ничтожно. Новых убеждений или изменение старых не проведешь посредством ежедневной газеты. Итак, сила периодической прессы не самостоятельная и самобытная, а только условная, находящаяся в теснейшей зависимости от интересов, существующих в публике помимо ее. Если эти интересы не подмечены прессой, если личные убеждения редакции заслоняют от нее интересы большинства, – действие газеты будет ничтожно; если она вздумает проводить идеи, противоречащие интересам публики, – оно будет

еще ничтожнее. Вся сила периодической печати заключается в согласовании с ними.

Ежели поэтому интересы, существующие в обществе, находятся в противоречии с интересами и целями правительства, то не может быть никакого сомнения, что правительство по необходимости должно прибегать к средствам обуздания прессы, дабы воспрепятствовать ей возбуждать эти противообщественные или противоправительственные интересы, уяснять их публике и показывать ей их силу. Тут совершенно уместен такой же образ действия, который с крайней строгостью наказывает простое легкомыслие, если оно может причинить неисчислимые бедствия стране. Но представим себе, что страна, ограждаемая карантином от заразы, населена племенем, не имеющим предрасположения к той эпидемической болезни, которая господствует в данное время. Уместно ли будет, единственно ради сохранения общепринятого правила, для однообразия и симметрии, из подражательности иностранным карантинным постановлениям, расстреливать провинившихся в нарушении карантинных правил? Не достаточно ли будет в этом случае подвергать нарушителей взысканиям на общем юридическом основании – соответствия наказания с виновностью преступника? Не очевидно ли, далее, для всякого добросовестного человека, что в русском обществе противообщественных, противогосударственных, противоправительственных интересов вовсе не существует, а следовательно, и русская периодическая печать (по самому положению своему, независимо от ее доброй воли), будучи могущественна для добра, совершенно бессильна для зла. По отношению к ней, следовательно, случая самозащищения – необходимой обороны – не существует; и ежели какой-либо журнал провинится против постановлений о печати, то эта вина никак не может угрожать какими-либо общественными бедствиями, даже в самых малых размерах, ни теперь, ни в ближайшем будущем, настолько, насколько человеческая проницательность, а следовательно, и человеческая заботливость хватать может. Следовательно, по состоянию общественного духа в России, обыкновенное судебное преследование, возда-

вая должное юридическое возмездие провинившемуся против постановлений о печати, вполне достаточно для своей цели, – и, следовательно, система административных предостережений не коренится в нуждах и потребностях народных, а есть продукт, родившийся при другой обстановке, при других жизненных условиях, к нам из чужи занесенный.

Примеров этих достаточно, чтобы выяснить, что надо понимать под европейничаньем в учреждениях, в правительственных мероприятиях.

3) Третья форма европейничанья (и притом самая пагубная и вредная) состоит в смотрении на явления внутренней и внешней жизни России с европейской точки зрения и сквозь европейские очки. Этот взгляд, во что бы то ни стало старающийся подводить явления русской жизни под нормы жизни европейской, делая это или бессознательно (вследствие иссякновения самобытного родника русской мысли), или даже сознательно (с тем, чтобы придать этим явлениям почет и достоинство, которого они были бы будто лишены, если бы не имели европейского характера), произвел много недоумения и всяческой путаницы в области науки и неисчислимый вред на практике. Мы не будем рассматривать следствий первого рода, а обратим внимание на некоторые только примеры, в которых выказалось (или необходимо должно выказаться) вредоносное влияние этого вида европейничанья на внутренней и внешней жизни России.

В Соединенных Штатах две главные партии, на которые разделяются тамошние политики, носят названия республиканцев и демократов. Названия эти заимствованы из чуждого Америке европейского порядка вещей и поэтому вовсе не выражают сущности стремлений означенных партий. Что значит республиканская партия в стране, где нет монархии и где никто к ней даже не стремится? Что значит демократическая партия там, где все общество устроено на демократических основаниях? Собственно говоря, американские республиканцы суть защитники политической централизации, а демократы – защитники политического обособления штатов. Здесь заимствование из чуждого европейского мира не пошло, однако же, дальше на-

звания и потому представляет лишь номенклатурную путаницу, доходящую до того, что американские демократы суть именно представители аристократических тенденций тамошнего общества. Но эта номенклатурная путаница не имела практического влияния, потому что американцы привыкли жить собственной жизнью. У нас, к несчастью, заимствование номенклатурное производит путаницу гораздо более существенную, потому что наши высшие общественные классы, привыкшие жить умственно чуждой жизнью, невольно переносят вычитанные и высмотренные ими европейские идеалы на действительную жизнь, приурочивая их к нашим общественным явлениям, тождественным *по названию* с европейскими, – названию, данному на основании самой поверхностной аналогии. Таким образом появились на Руси аристократия и демократия.

Самое слово «аристократ», «аристократка» произошло у нас недавно, вместе с великосветскими повестями, наводнявшими одно время нашу литературу и заставлявшими биться сердца провинциальных барынь желанием заслужить это лестное название, уподобив себя, свой образ жизни и господствующий в их домах тон тому представлению, которое они соединяли со словом «аристократия». Аристократия, аристократизм в применении и к России и к русскому обществу не означали и не означают ничего другого, как светский лоск и тон, господствующий в богатых столичных домах, ничего другого, как людей, в течение нескольких поколений успевших, со значительной степенью совершенства, перенять манеры прежних французских маркизов или нынешних английских лордов. Другого смысла русский аристократизм, русская аристократия не имеют. Но там, где нет внутреннего содержания, там внешность, имя, название – все. И вот появились у нас и органы мнимого общественного мнения с аристократическими тенденциями.

Как нелепы и вместе вредны такие из чужого заимствованные взгляды – можно видеть из тех выводов, к которым они приводят. Западная аристократия не есть явление, специально свойственное какому-либо из европейских государств, а институт по происхождению своему общеевропейский в полном смыс-

ле этого слова, получивший некоторую национальную окраску лишь впоследствии, когда народы, входившие в состав единой Франкской монархии, в значительной степени обособились, как об этом было говорено выше. Естественно, что такая общность происхождения вела к солидарности всех европейских аристократических интересов. Поэтому, когда Французская революция объявила у себя дома войну насмерть аристократически-феодальным учреждениям, все аристократии почувствовали себя уязвленными. Даже Англия, пользовавшаяся у себя дома свободными учреждениями, сочла необходимым собрать все свои силы для защиты аристократического принципа. Зная дух, которым во все времена руководствовалась английская политика, нельзя предполагать, чтобы одно бескорыстное негодование (возбужденное безумствами, неистовствами и преступлениями, которыми ознаменовалась Французская революция) составляло побудительную причину, заставившую Англию броситься в достопамятную двадцатилетнюю борьбу с Францией, – борьбу, которая окончилась видимым поражением Франции, в сущности же низвергла аристократический принцип не только на материке, но и в самой Англии. Солидарность всех европейских аристократий была истинной побудительной причиной той борьбы, которая составила историческое содержание конца XVIII и начала XIX века, что и подало повод французским демократам толковать о союзе аристократий и монархий против свободы и блага народов.

В соответствии этому и наш подражательный аристократизм «Вести» и ее партии не мог не прильнуть к этой всеобщей аристократической солидарности и стал требовать союза между мнимой русской аристократией с весьма не мнимым польским шляхетством и остзейским баронством. Какого бы кто ни был мнения об этом последнем, – несомненно, что польское шляхетство есть исконный, коренной и злейший враг русского народа. Итак, обвинения французских демократов против союза европейских аристократий на гибель свободы и благосостояния народов не применяются ли в полной мере к той партии, которая является защитницей и покровительницей поль-

ского шляхетства, – которая говорит, что польский пан ближе к ее сердцу, чем западнорусский мужик? Не проповедует ли она действительно пагубы русского народа, являясь ходатаем и защитником злейшего его врага? Вот к чему приводит подражательство; вот результаты перенесения европейских взглядов и тенденций на русскую почву.

Но если у нас есть европействующие аристократы, у нас так же точно есть и европействующие демократы. Припомним статьи, писанные из нашего демократического лагеря (вроде «Национальной бестактности»[13]), припомним союз наших демократов с польской справой, – и мы увидим, что и демократическое европейничанье так же точно готово было предать русский народ в жертву его злейшим врагам, принимающим, чтобы вернее вредить ему, и аристократическую, и демократическую личину.

Так как и аристократия и демократия составляют действительные элементы, действительные силы европейского общества, то, наряду с исключительными узкими проявлениями их (в виде юнкерства и в виде демагогии, прозванной красной), с той и другой стороны не только можно указать на действительно здоровые проявления этих элементов европейской жизни (на явления, подобные аристократизму графа Бисмарка и демократизму графа Кавура или Гарибальди); но эти здоровые стороны составляют даже главнейшую силу обеих партий. Напротив того, наше аристократическое и демократическое европейничанье за неимением внутреннего содержания должно по необходимости представлять явление, принадлежащее к разряду карикатурных. Что наше юнкерство есть явление заносное, гибридное, ублюдочное, в том, кроме газеты «Весть», едва ли кто сомневается. Чтобы заразиться им, надобно было долгое время вдыхать шляхетские или рыцарские миазмы, так сказать, наполнить ими свою душевную и умственную пустоту, чтобы произвести на свет Божий уродство, подобное теории слияния живучих аристократий наших окраин под господством мертворожденной аристократии нашего государственного ядра, – дабы сообща руководить народом и этим

окольным, невозможным путем произвести государственное объединение, когда народ государственных окраин или уже составляет одно этнографическое и органическое целое с народом государственного ядра, или ничего иного не желает, как слиться с ним в такое единство, а аристократии этих окраин составляют единственное к тому препятствие. При таком невозможном союзе аристократии государственного ядра (если бы она даже существовала) ничего не оставалось бы делать, как содействовать разъединяющим целям своих союзниц.

Но если не русское происхождение этого лжеаристократизма очевидно и никем не оспаривается, то зато нашему лжедемократизму или полнейшему проявлению его, известному под именем нигилизма, хотят во что бы то ни стало приписать русское доморощенное происхождение. Когда наши европейские друзья твердят на все лады, что русское общество и русский народ разъедены самого пагубного свойства социалистическими, материалистическими, демократическими учениями, когда, по их словам, русский демократизм угрожает благосостоянию Европы, так как прежде угрожал ей русский абсолютизм, то этому удивляться нечего, это в порядке вещей – à la guerre comme à la guerre[14]. Но вот что удивительно: каким образом газета, подобная «Московским ведомостям» (обыкновенно столь здраво смотрящая на вещи), под влиянием справедливого, впрочем, недовольства нашей системой общественного образования обращает нигилизм в произведение русской почвы? Это решительно непонятно. Нигилизм – не более не менее как одна из форм нашего европейничанья; и как ни плохи наши гимназии и наши университеты – не они, однако же, произвели эту язву, и как ни полезна, может быть, классическая система учения – не она излечит нас от этой язвы*.

Что такое нигилизм? Нигилизм есть последовательный материализм, и больше ничего. Материализм несколько раз уже получал большое распространение в европейском обще-

* И не излечила; нигилизм продолжает расти. Теперь приписывают его реформе университетов 1863 года, – и это опять сваливание великого зла на совершенно ничтожную причину. – *Посмертн. примеч.*

стве: в XVII веке господствовал он в Англии, в XVIII – во Франции, откуда распространился между высшими классами прочих государств и даже России. Реакцией против этого материализма был германский идеализм, который теперь, в свою очередь, под совокупным влиянием протестантизма (отвергающего всякое положительное религиозное содержание христианства), гегелизма (доведенного до своего крайнего последовательного развития) и, наконец, успехов положительных наук дошел до полнейшего материализма и атеизма. Между тем для жившей задним умом официальной России все еще Франция, по старой памяти, казалась олицетворением всех антисоциальных, антирелигиозных, противонравственных учений; а скромная, глубокомысленная Германия олицетворяла собой противодействующий этим зловредным направлениям спасительный идеализм. И вот нашей системе общественного воспитания был придан исключительно немецкий характер. Не так еще давно молодым людям, отправлявшимся за границу, строго возбранялся въезд во Францию как в страну нравственно-зачумленную, тогда как зараза давно уже оставила французскую почву и перешла в Германию*.

Без самобытного развития, привыкши верить на слово нашим иностранным учителям и в последнее время будучи обучаемы исключительно немецкой наукой, мы заразились самоновейшим и самомоднейшим ее направлением, которое не встречало ни внутреннего, ни внешнего противодействия. К какой нации принадлежат Фохт, Молешотт, Фейербах, Бруно Бауер, Бюхнер, Макс Штирнер – эти корифеи новейшего материализма? Разве они русские или воспитанники русских гимназий, сделавшиеся нигилистами от недостаточно глубокого изучения латинских и греческих классиков? Разве русского происхождения и те учения, которые хотя и не могут быть названы чисто материалистическими, но которые, однако же, служат необходимыми подпорами материализма, как то:

* Она, впрочем, как оказывается, и Франции не оставила, но все же в Германии приняла самую радикальную и наиболее заразную форму. – *Посмертн. примеч.*

Дарвиново учение о происхождении видов, Гукслеевы выводы о близости человека к обезьянам[15], Боклево отвержение человеческой свободы на основании добытых статистикой результатов? Что привнесли русские в эту сокровищницу материалистических учений? Ничего. Самое имя нигилизма, хотя получило, по-видимому, на Руси свое происхождение, очевидно, основано на книге Макса Штирнера «Ich stelle mein Sach auf nichts», с филистерским цинизмом посвященной «meinem lieben Julchen»[16].

Мы и тут повторяли, как попугаи, чужие слова и мысли – как наши деды повторяли учения энциклопедистов, а отчасти учения мистиков, как наши отцы – учения германского трансцендентального идеализма. Если эти учения, получавшие некоторое распространение в русском обществе в былые времена, не могут считаться явлениями русской жизни, то почему же приписывается это нигилизму, имеющему столь же очевидное иноземное происхождение? Или, может быть, со свойственной подражателям склонностью преувеличения мы утрировали заимствованное нами учение? К счастью или к несчастью, наши учителя не оставили нам даже и этой возможности отличиться. Когда утверждают, что человек есть прямой потомок гориллы или орангутанга, что мысль есть такое же отделение мозга, как урина – отделение почек, что считать что-либо священным – столь же нелепый обычай, как *табу* островитян Полинезии, то остается ли еще какая-нибудь возможность к утрировке*?

Со всем тем, однако, если в нигилизме есть что-нибудь русское, то это его карикатурность. Но это свойство разделяет он и с русским аристократизмом, и с русским демократизмом, и с русским конституционализмом, одним словом – со всяким русским европейничаньем. Как бы ни были грубы, как бы ни были дики учения, но ежели они (как новейшие материализм, коммунизм, или цезаризм) представляются результатом долговременного развития, попавшего на ложную дорогу, или след-

* К несчастью, утрировка оказалась возможной на практике; но и это не без помощи доброжелателей наших, а во-вторых, при бестолковости нашей полиции. – *Посмертн. примеч.*

ствием непримиримых противоречий, дошедших до взаимного отрицания различных сторон жизни, то эти учения и эти общественные явления – плод отчаяния целых поколений – имеют величавый трагический характер. Когда же эти самые учения не вызваны внутренней жизнью общества и не более как сбоку припека, то эта трагическая величавость заменяется карикатурностью и уродливостью. Каким же образом понять после этого странные оправдания проживательства за границей для образования детей в иностранных школах во избежание язвы нигилизма, когда из этих-то именно школ и произошел чистокровный нигилизм, по отношению к которому наш нигилизм составляет лишь слабый сколок и бледный отпечаток?

Но и нигилизм, и аристократизм, и демократизм, и конституционализм составляют только весьма частные проявления нашего европейничанья; самый общий вид его, по-видимому менее зловредный, – в сущности же, гораздо опаснейший их всех, есть наше балансирование перед общественным мнением Европы, которую мы признали своим судьей, перед решением которого трепещем, милость которого заискиваем. Такое отношение к иностранному общественному мнению, даже если бы оно не было радикально-враждебным всему русскому, не может не лишить нас всякой свободы мысли, всякой самодеятельности. Мы уподобляемся тем франтам, которые, любя посещать общество, не имеют уверенности в светскости своих манер. Постоянно находясь под гнетом заботы, чтобы их позы, жесты, движения, походка, костюм, взгляды, разговоры отличались бонтонностью и комильфотностью, – они, даже будучи ловки и неглупы от природы, ничего не могут сделать кроме неловкостей, ничего сказать, кроме глупостей. Не то же ли самое и с нашими общественными деятелями, беспрестанно оглядывающимися и прислушивающимися к тому, что скажет Европа; признает ли действия их достойными просвещенного европеизма? Фамусов, ввиду бесчестия своей дочери, восклицает: «Что скажет княгиня Марья Алексеевна!»[17] – и этим обнаруживает всю глубину своего нравственного ничтожества. Мы возвели Европу в сан нашей общей Марьи Алексеевны, вер-

ховной решительницы достоинства наших поступков. Вместо одобрения народной совести признали мы нравственным двигателем наших действий трусливый страх перед приговорами Европы, унизительно-тщеславное удовольствие от ее похвал.

Возьмем определенный, всем известный пример. Европа обвиняет нас в честолюбивых видах на Константинополь, и мы стыдимся этого обвинения, как будто и в самом деле какого-нибудь дурного поступка. Англия завладела чуть не всеми проливами на земном шаре; неизвестно с какой стати захватила скалу на испанской территории[18], господствующую над входом в Средиземное море; а по отношению к нам считается непозволительным хищничеством добиваться свободного входа в наш собственный дом, обладание которым притом сопряжено с лежащей на нас нравственной обязанностью – выгнать турок из славянской и греческой земли. Мы, конечно, можем утверждать факт, что в данное время не имеем этого намерения, как действительно не имели перед восточной войной, как, к сожалению, не имеем (без сомнения) и теперь; но становиться на европейскую точку зрения и видеть в самом желании овладеть Царьградом, выгнать турок, освободить славян какое-то посягательство на права Европы – это непростительное нравственное унижение. Я не говорю здесь о языке дипломатии (у нее свой условный язык, своя условная политическая нравственность: ей приходится с волками жить – по-волчьи выть), а имею в виду только выражение русского общественного мнения. И французская дипломатия не говорит о Рейнской границе, но это не мешает французскому общественному мнению свободно выражать свои мысли и желания об этом предмете, хотя законность их подлежит гораздо большему сомнению, чем законность желаний России.

Точно так же чураемся мы обвинения в панславизме[19], как будто честный русский человек, понимающий смысл и значение слов, им произносимых, может не быть панславистом, то есть может не стремиться всеми силами души своей к свержению всякого ига с его славянских братий, к соединению их в одно целое, руководимое одними славянскими интересами, –

хотя бы они были сто раз противоположны интересам Европы и всего остального света, до которых нам нет и не должно быть никакого дела.

Америка считает между своими великими людьми одного человека, который не освободил ее от чужеземного ига (как Вашингтон), не содействовал утверждению ее гражданской и политической свободы (как Франклин, Адамс, Джефферсон), не освободил негров (как Линкольн), а произнес только с высоты президентского кресла, что Америка принадлежит американцам, – что всякое вмешательство иностранцев в американские дела сочтут Соединенные Штаты за оскорбление. Это простое и незамысловатое учение носит славное имя учения Монроэ[20] и составляет верховный принцип внешней политики Соединенных Штатов. Подобное учение должно бы быть и славянским лозунгом; и никакой страх ни перед какой Марьей Алексеевной не должен удерживать нас от громкого его произнесения во услышание всем, кто пожелает слышать.

Но в одних ли внешних делах имеет влияние голос всегда во всем и постоянно враждебной Европы на наш образ мыслей, на наши поступки? Поверив на слово Европе, что Екатерина совершила великое политическое преступление, присоединив к России искони русские земли[21], – и тем исполнив вековое томительное желание миллионов русского народа, чуть-чуть не было совершено действительное преступление против русского народа, с самыми гуманными целями и намерениями. Страх перед укором в религиозной нетерпимости со стороны Европы заставил принять сторону столь толерантных пасторов и баронов против обращавшихся в православие латышей и эстов, доказывавших тем их глубокое стремление слиться с русским народом, с которым их предки или родичи заодно клали основание Русскому государству. Но лучше остановиться на первых же примерах влияния страха перед Европой на нашу внутреннюю политику и обратиться к внешней истории, где скрывать нечего, где счеты яснее и лучше видно, что мы выиграли и что проиграли, становясь на европейскую точку зрения и надевая европейские очки, чтобы смотреть на наши дела и интересы.

После великой национальной политики императрицы Екатерины, воссоединившей Запад России с Востоком, придвинувшей Россию к Черному и Азовскому морям, на пространстве от Днепра до Кубани, – мы пришли в бескорыстный ужас от неистовств Французской революции, когда она уже сама собой приходила к концу, и в не менее бескорыстное соболезнование к неудачам бескорыстной Австрии. И вот великий Суворов украсился титулом князя Италийского, а русское оружие озарилось неувядаемой славой. Нравственный результат войны 1799 года был велик, показав, к чему способно русское войско под предводительством русского военного гения; но практически полезных результатов она не только не имела, но и не могла иметь, каков бы ни был ее исход. Наполеон без нас смирил революцию и явился охранителем и восстановителем порядка. Честолюбие его еще не успело выказаться, так что и против него не представлялось необходимости принимать заблаговременных мер. Историческая борьба между Англией и Францией, в которой последняя лишилась всех своих колоний, естественным образом вела того, кто взялся быть носителем и представителем ее судеб и стремлений, к желанию померяться со счастливой соперницей. Неисполнение условий Амьенского мира доставило к тому достаточный предлог. Высадка угрожала берегам Англии. Ее деньги и естественное желание Австрии попытаться возвратить потерянное отвлекли на эту последнюю удар, предназначавшийся Англии. Какое бы, казалось, нам до всего этого дело? Но мы стояли на европейской точке зрения, и, уже зная, как Австрия и Англия платят за бескорыстное желание помочь им, тем не менее приступили к новому союзу с этими бескорыстными державами. Война 1805 года не имела и нравственных результатов войны 1799 года. Война 1807 года была необходимым ее продолжением. На этот раз честь России действительно требовала войны. Окончивший ее Тильзитский мир не принадлежит к числу славных миров России, но зато он был, может быть, самым выгодным когда-либо заключенным Россией трактатом. Он доставил ей Белостокскую область, Финляндию и Бессарабию, – и только

потому не доставил Галиции, Молдавии и Валахии, не утвердил самобытности и независимости Сербии, что Россия сама этого не захотела, смотря на все с европейской точки зрения, и с высоты европейства предпочла независимость Ольденбурга независимости Сербии и Славянства. Последовавшая от такого взгляда война 1812 года имела опять великие нравственные результаты для России, могла бы иметь и великие результаты практические, если бы, помирившись с Наполеоном, предоставили Германию и Европу их собственной судьбе.

После 1815 года заняла Россия, по-видимому, царственную роль в Европе; но, имея политический центр своей деятельности не внутри, а вне себя, преследуя идеально-общеевропейские цели, Россия служила политике Меттерниха и (как громоотвод) отводила от нее заслуженную ненависть, скопляя ее на свою сторону. Меттерниху удалось воспользоваться европейской точкой зрения, на которой стояла Россия, чтобы вдвойне обморочить ее: во-первых, вселяя в нее ужас к заговорам карбонариев и к демократическим волнениям, которые (повторяю еще раз), в сущности, столько же ее касались, сколько и возмущение тайпингов; во-вторых, заставляя ее видеть демократическую революцию в священном восстании греков[22]. Этим удалось австрийскому министру вырвать из рук России честь сделаться единственной помощницей и участницей в борьбе ее единоверцев. Эту славу разделили с ней и другие лицемерные друзья греков, экамотировав[23] что можно было из полезных результатов священной борьбы.

Вместо того чтобы быть знаменосцем креста и свободы действительно угнетенных народов, мы сделались рыцарями легитимизма, паладинами консерватизма, хранителями священных преданий версальской бонтонности, – как оно и прилично ученикам французских эмигрантов. Чем искреннее и бескорыстнее усваивали мы себе одну из европейских точек зрения, тем глубже ненавидела нас Европа, никак не хотевшая верить нашей искренности и видевшая глубоко затаенные властолюбивые планы там, где была только задушевная преданность европейскому легитимизму и консерватизму. Эта ненависть не смущала

наших консерваторов; они гордились ею, и она казалась им совершенно естественной. Как же в самом деле было не ненавидеть Россию, – грозную защитницу и охранительницу здравых начал общественности и порядка, – этому сброду демократов и революционеров всех цветов? В симпатиях же друзей порядка и всех консервативных сил они нисколько не сомневались. Наши прогрессисты также не смущались ненавистью европейского общественного мнения, также находили ее естественной, но только не гордились ею, а стыдились ее, как заслуженного наказания за наши антипрогрессивные стремления.

Но вот настала Восточная война. Полезные действия ее у нас превозносятся применительно к пословице: «Гром не ударит, русский мужик не перекрестится». Но едва ли не справедливее приписать те благодетельные внутренние реформы, которые последовали за Парижским миром, не военной неудаче, а единственно благому почину императора Александра, который, без сомнения, предпринял бы их так же точно и при всяком другом исходе Восточной войны. Война эта, однако же, не осталась без действительно благодетельных последствий. Она показала нам, что ненавидела нас не какая-либо европейская партия, а, напротив того, что каковы бы ни были разделяющие Европу интересы, все они соединяются в общем враждебном чувстве к России. В этом клерикалы подают руку либералам, католики – протестантам, консерваторы – прогрессистам, аристократы – демократам, монархисты – анархистам, красные – белым, легитимисты и орлеанисты – бонапартистам. Прислушайтесь хоть к толкам во Французском законодательном собрании о внешней политике империи. Та или другая оппозиционная партия находит слова осуждения и для итальянской, американской, и для германской политики французского правительства; но все партии согласны и между собой, и с императорским правительством в оценке его восточной политики, поскольку она была враждебна России*. Та общая (поглощающая все различия партий и интересов) ненависть к России, которую

* Даже и теперь оскорбленная Германией Франция чурается России. – *Посмертн. примеч.*

и словом и делом обнаружила Европа, начала наконец открывать нам глаза. К сожалению, это отрезвляющее действие Восточной войны не было довольно сильно, потому что ему не помогало хотя сколько-нибудь свободное публичное слово*.

Всякое оскорбительное слово о России было тщательно не допускаемо до нашего слуха, точно до слуха молодой девушки, девственную чистоту и деликатность которой могло бы нарушить все непристойное и грубое. От официальной защиты русского интереса все еще продолжало веять казенщиной, которая нам претила. Мы так привыкли к официальной лжи, что нам виделась и слышалась ложь даже там, где была одна святая истина. Большинство образованных людей не могло еще отстать от старой привычки смотреть европейскими глазами на все наши дела и считало себя весьма проницательным, думая про себя, что Европа ополчилась на нас, дабы наказать нашу нестерпимую гордыню. *Нашу гордыню*, – любопытно было бы посмотреть на эту диковину! В чем, когда и где проявлялась она? Еще после Восточной войны ходила по рукам рукопись, справедливо или нет приписываемая профессору Грановскому, где именно представлялась Восточная война справедливым возмездием за нашу политическую гордыню, хотя, в сущности, она была произведена выходившими из границ политическим смирением и скромностью. Я не смею утверждать, чтобы означенная рукопись была действительно произведением знаменитого профессора; но ежели она и подложная, то при более национальном направлении общественного мнения, конечно, никто бы не вздумал приписывать перу всеми уважаемого лица взглядов такого рода.

Чтобы еще более раскрыть русские глаза на действительное отношение европейского общественного мнения к России, нужно было другое событие: вмешательство Европы в польские дела. То, чего не могла совершить Восточная война, совершило вмешательство Европы в польские дела**, несмотря на

* Глаз не открыл и Берлинский конгресс, а разумного слова и произносить некому: раз – два – и обчелся. – *Посмертн. примеч.*

** На весьма краткое время! – *Посмертн. примеч.*

то, что это вмешательство далеко не имело ни того оскорбительного характера, ни тех тяжелых последствий, как события 1853, 1854, 1855 и 1856 годов. Но на помощь раскрывающим глаза событиям явились тут – зарождавшиеся уже гласность и общественное мнение*.

Все перечисленные здесь и поясненные примерами виды европейничанья суть, конечно, только симптомы болезни, которую можно назвать слабостью и немощью народного духа в высших образованных слоях русского общества. Но, будучи симптомами болезни, они составляют вместе и родотворную причину болезни, от которой она ведет свое происхождение и которая беспрестанно ее поддерживает. Болезнь эта в целом препятствует осуществлению великих судеб русского народа и может, наконец (несмотря на все видимое государственное могущество), иссушив самобытный родник народного духа, лишить историческую жизнь русского народа внутренней зиждительной силы, а следовательно, сделать бесполезным, излишним самое его существование, ибо все, лишенное внутреннего содержания, составляет лишь исторический хлам, который собирается и в огонь вметается в день исторического суда. Какая же сила излечит нас от постигшего нас недуга и, упразднив в нем все, искажающее наш народный облик, обратит и эту болезнь к росту, как обратила уже татарское данничество и закрепощение народа? И прямое действие власти, и сила слова кажутся нам для сего недостаточными. Оскудение духа может излечиться только поднятием и возбуждением духа, которое заставило бы встрепенуться все слои русского общества, привело бы их в живое общение, восполнило бы недостаток его там, где он иссякает в подражательности и слепом благоговении перед чуждыми идеалами, из того сокрытого родника, откуда он не раз бил полноводным ключом, как во дни Минина, и начинал бить в более близкие к нам годины испытании 1812 и 1868 годов**. Для избавления от духовного плена и рабства надобен тесный союз со всеми плененными и порабощенными

* Увы, плохая опора! – *Посмертн. примеч.*

** И 1876, и 1877. – *Посмертн. примеч.*

братьями, необходима борьба, которая, сорвав все личины, поставила бы врагов лицом к лицу и заставила бы возненавидеть идолослужение и поклонение своим открыто объявленным врагам и противникам. Совершить это в силе только суровая школа событий, только грозный опыт истории. Эти целительные события, от которых придется (хотим ли или не хотим) принять спасительные уроки, уже восходят на историческом горизонте и зовутся *Восточным вопросом.*

ГЛАВА XII
Восточный вопрос

Глас Божий: «Сбирайтесь на праведный суд,
Сбирайтесь к Востоку народы!»
И, слепо свершая назначенный труд,
Народы земными путями текут,
Спешат через бурные воды.
Хомяков[1]

Восточный вопрос не принадлежит к числу тех, которые подлежат решению дипломации. Мелкую текущую дребедень событий предоставляет история канцелярскому производству дипломации, но свои великие вселенские решения, которые становятся законом жизни народов на целые века, провозглашает она сама без всяких посредников, окруженная громами и молнией, как Саваоф с вершины Синая. Доказывать этого не надобно. Во всеобщем сознании важность, приписываемая Восточному вопросу, такова, что никто и не думает втискивать его в узкие рамки дипломации, никому не приходит даже в голову предлагать конгресс для его решения; сама дипломация, берущаяся за многое, чувствует, что он ей не по плечу, и только старается отодвинуть самый приступ к его решению, чтобы дать время всем пользоваться настоящим перед страшным историческим кризисом, который на долгое время поглотит собой все внимание, все усилия народов, отодвинув на задний план все другие дела и

заботы. Действуя таким образом, она, конечно, исполняет свою обязанность, состоящую в том, чтобы по мере сил своих сглаживать пути исторического движения и если не предотвращать, то замедлять и ослаблять столкновения.

Это относительное бессилие дипломатии, эта невозможность решать важнейшие международные вопросы путем мирных переговоров считается многими признаком несовершенства того состояния, в котором еще находятся человеческие общества. Естественное и законное стремление к мирному развитию все более и более привлекает симпатии народов к биржевому взгляду на политику. Но если бури и грозы необходимы в физическом порядке природы, то не менее необходимы и прямые столкновения народов, которые вырывают судьбы их из сферы тесных, узкорациональных взглядов политических личностей (по необходимости судящих о потребностях исторического движения с точки зрения интересов минуты, при весьма неполном понимании его сущности) и передают непосредственному руководству мироправительного исторического Промысла. Если бы великие вопросы, служившие причиной самых тяжелых, самых бурных исторических кризисов, решались путем переговоров, с точки зрения самых искусных, самых тонких политиков и дипломатов своего времени, – как были бы жалки исторические результаты этих благонамеренных усилий, которые (при всей их благонамеренности, при всей человеческой мудрости, ими руководящей) не могли же бы предугадывать потребностей будущего, не могли бы оценить плодотворного влияния таких событий, которые с точки зрения своего времени нередко считались и должны были считаться вредными и гибельными. В том, что мировые решения судеб человечества почти совершенно изъяты от влияния узкой и мелкой политической мудрости деятелей, современных каждому великому историческому перевороту, должно, напротив того, видеть один из самых благодетельных законов, управляющих историческим движением.

Но если Восточный вопрос, по всеобщему сознанию, перерастает размеры вопроса дипломатического, то, с другой

стороны, не правы и те, которые, через меру расширяя его пределы, тем самым лишают его глубины исторического содержания. Говоря это, я имею в виду мнение, выраженное нашим известным историком Соловьевым, который видит в Восточном вопросе один из фазисов исконной борьбы между Европой и Азией, из которых первая олицетворяет собой благотворное и животворное влияние моря, а вторая – мертвящее влияние степи, и обе суть как бы исторические Ормузд и Ариман, борьба между которыми составляет существеннейшее содержание истории. Для применения этого взгляда к Восточному вопросу понадобились, конечно, измена Ормузда-Европы своим собственным целям, повторение в обширнейшем размере измены Спарты общему делу Греции, которая привела к Анталкидову миру[2]. Мнение это, кажется мне, не составляет исключительного взгляда г. профессора Соловьева: оно с большей или меньшей полнотой и отчетливостью разделяется теми, которые желают примирить самобытную историческую роль России и Славянства с их европейским характером, – в противность коренной противоположности между интересами Славянского и Романо-Германского мира, в противность с самим (проявляющимся в слове и в деле) сознанием Европы, в тесном и единственно точном значении этого слова.

Против этого взгляда, кажется мне, можно привести несколько совершенно неопровержимых доводов:

1) Борьбы между Европой и Азией никогда не существовало, да и существовать не могло, потому что Европа, а еще более Азия никогда не сознавали себя чем-либо целым, могущим вступать в борьбу, – как, однако же, сознавали себя не только борющиеся между собой государства, но и целые группы государств и народов, связанных между собой политическим и культурно-историческим единством.

2) Никогда не было войны, в которой бы даже случайно и бессознательно все народы Европы ополчались против всех народов Азии – или наоборот.

3) Европа и Азия суть или понятия географические, или понятия этнографические, или понятия культурно-исторические.

Как понятия географические, и притом весьма неестественные, они ни в какую борьбу между собой вступать не могли. Как понятия этнографические, они могли бы соответствовать только: Европа племени арийскому, а Азия племенам семитическому, туранскому и другим. Но, не говоря уже о том, что энтографическое деление не совпадает с делением географическим, как ни расширяй и ни суживай этого последнего, при этнографическом смысле понятий *Европа* и *Азия* пришлось бы видеть в одном и том же племени то Европу, то Азию, смотря по тому, с кем пришлось бы ему бороться. Так, если принять племя иранское за представителя Азии при борьбе его с Грецией, то пришлось бы видеть в нем представителя Европы при борьбе с тураном и со скифами, истинными представителями степи*. Как понятия культурно-исторические – Европа в выше обозначенных нами пределах, с которыми едва ли согласен автор разбираемого теперь мнения, действительно составляет самостоятельное, культурно-историческое целое, но зато Азия ничему подобному не соответствует, никакого единства в этом смысле не имеет и, следовательно, ни в какую борьбу с Европой вступать не может. Борьба должна происходить с каким-либо более определенным противником.

4) Многие войны, которые по их географическому характеру пришлось бы причислить к числу проявлений борьбы между Европой и Азией, в других отношениях ничем не отличаются от многих других войн, веденных как народами Европы между собой, так и народами Азии между собой же. Это сделается до очевидности ясным, если беспристрастно рассмотреть те примеры, которые приводит г. Соловьев в подтверждение своей мысли о борьбе между Европой и Азией, между влияниями моря и степи. Первый выставляемый им пример войны, с лишком 200 лет почти беспрерывно продолжавшейся между греками и персами, еще довольно хорошо подходит под общее приятие борьбы между Европой и Азией, если отвлечься от того, что это выражение есть не более как метафора, по которой

* Если считать скифов и туранцев тюркскими племенами, – что неверно. – *Посмертн. примеч.*

часть принимается за целое, и что часть Азии (по крайней мере, в географическом смысле), именно малоазиатские греческие колонии, была на стороне Европы. Но чтобы этот единичный пример борьбы между Азией и Европой заставить повториться в другой великой исторической борьбе, пришлось вопреки географии причислить Карфаген к Азии. Если считать его Азией, потому что он финикийского происхождения, то и Рим явится точно такой же Азией вследствие арийского, то есть азиатского, происхождения италийских племен. Но ежели влияние степи составляет историческую характеристику Азии в ее борьбе с Европой – представительницей влияния моря, то ведь, несмотря на соседство с Сахарой, представителем моря и, следовательно, Европой, явится во всяком случае Карфаген, а не Рим. После Пунических войн римляне действительно ведут целый ряд войн с государствами, расположенными в Азии; но эти государства, по господствовавшему в них культурному элементу, были государствами эллинскими, следовательно, европейскими по преимуществу, и борьба с ними есть борьба Европы против Европы же, а никак не против Азии. Таким образом, изо всех войн Рима только войны с парфянами соединяют в себе все необходимые качества, дабы считаться борьбой Европы с Азией. Но эти войны были, как известно, событиями весьма второстепенной исторической важности, не имевшими решительного влияния ни на судьбы Римского, ни на судьбы Парфянского государства. Наступает великое время переселения народов, – и если Риму приходится бороться отчасти и с выходцами Азии: гуннами, аварами и т.д., то, с другой стороны, главными противниками его являются народы германские, то есть европейские же. Правда, что в магометанском движении аравитяне являются истинными представителями степи и борются с Европой, но они точно так же борются и с Африкой, и с Азией – и враждебность их к Европе имеет тот же характер, как и враждебность к Персии, с той лишь разницей, что первая оказалась посильнее последней и не так-то легко было с нею справиться.

5) Наконец, если бы Восточный вопрос был действительно одним из фазисов борьбы между Европой и Азией, то

об нем и говорить бы не стоило, ибо не только та небольшая часть Азии, которая принадлежит Турции, но даже и весь этот огромный материк не мог бы противопоставить никакого серьезного сопротивления не только дружному напору Европы, но даже одному могущественному европейскому государству, как это доказывается действиями России в Персии и в Туркестане, Англии – в Индии, Англии и Франции – в Китае.

Общей неверности взгляда на Восточный вопрос не поможет и сравнение действий романо-германской Европы с действиями Спарты во времена Анталкидова мира. Там Спарта, изменяя общему греческому делу, просит помощи у персов и, одержав при их помощи победу над Афинами, содействует заключению постыдного мира. Здесь никем не угрожаемая Европа сама предлагает и оказывает помощь бессильной Турции – для угнетения подвластных ей христиан. Там измена Спарты есть исключение из общего характера деятельности греков в их борьбе с персами, – измена, которую Спарта сама же старается загладить походом Агезилая в Малую Азию; здесь Европа остается верной общему характеру своего образа действий с самого начала своей исторической деятельности, как надеюсь сейчас показать, и потому этот образ действия, как он ни насильствен и ни противен справедливости, не заслуживает, однако же, названия измены. Изменой явился бы он только тогда, когда Европа признавала бы Славянство и Россию своими существенными составными частями; но так как она никогда этого не делала, то из одинаково чуждых ей элементов – славянско-христианского и турецко-магометанского – может обращать свою нежность и свое покровительство на тот, который считает себе более близким, и избирать наиболее выгодный для себя образ действий, не заслуживая еще упрека в измене.

Все эти аномалии и противоречия устраняются сами собой, если распределить исторические явления, вместо искусственного подведения их под общую категорию борьбы между Европой и Азией, сообразно с требованиями естественной группировки исторических событий – по культурно-историческим типам. Тогда окажется, что народы, которые принадлежат к

одному культурно-историческому типу, имеют естественную наклонность расширять свою деятельность и свое влияние, насколько хватит сил и средств, так же точно, как это делает и всякий отдельный человек. Это естественное честолюбие необходимо приводит в столкновение народы одного культурного типа с народами другого, независимо от того, совпадают ли их границы с отчасти произвольно проведенными географическими границами частей света (что, конечно, иногда может случиться) или нет. Первый случай неправильно обобщен и ведет к понятию о мнимой борьбе между Европой и Азией – вместо действительной борьбы, происходившей между типами эллинским и иранским, римским и древнесемитическим, римским и эллинским, римским и германским, наконец, романо-германским и славянским. Эта последняя борьба и составляет то, что известно под именем «Восточного вопроса», который, в свою очередь, есть продолжение древневосточного вопроса, заключавшегося в борьбе римского типа с греческим. Эту-то двойственную, уже с лишком две тысячи лет продолжавшуюся борьбу и предстоит нам рассмотреть в беглом очерке, чтобы получить ясное понятие об истории Восточного вопроса, об его сущности, исторической важности и единственно возможном окончательном решении.

Народы эллинского культурно-исторического типа, столь богато одаренные во многих отношениях, имели, однако же, один существенный недостаток, именно – им недоставало политического смысла, которым, напротив того, был одарен в высшей степени народ римский. Греки, отразив (при помощи овладевшего ими патриотического энтузиазма) нашествие персов, истощали себя в бесполезной междоусобной борьбе, потому что не могли отыскать политической формы для такой взаимной между собой связи, которая соответствовала бы отношению между силами политических единиц, на которые они распались. Эта искомая форма была та, которая известна ныне под именем политического равновесия. Вместо того наиболее сильные из греческих государств (сначала Спарта и Афины, а потом и Фивы) стремились к исключительной гегемонии, для

которой ни одно из них не имело, однако же, достаточного перевеса в силах. Поэтому в течение большей части времени самобытного существования греческой федерации, или политической системы греческих государств, существовал дуализм – сначала Спарты и Афин, а потом Спарты и Фив. Дуализм же есть не более как временное перемирие стремящихся к исключительному господству государств и ничего прочного создать не может. Между тем в это бедственное время междоусобий греческий народ еще не окончил великих задач, возложенных на него историей. Искусство и философия произвели уже лучшие плоды свои, но еще не закончили цикла своего развития; впереди же предстояло еще положить основания положительной науки и применить философию к имевшей быть открытой человечеству религиозной истине, создать христианскую догматику. Греция теряла уже свои политические силы, прежде чем ее гений исчерпал свое содержание.

Тогда в стране, соседней Греции, населенной греческим же или огреченным племенем, которое, однако, до сего времени не принимало участия в общей жизни Греции, явился гениальный муж, который имел и силы, и желание, и умение восполнить недостаток политического смысла греков. Это был Филипп Македонский. Лучший и благороднейший из греков того времени – Фокион понимал, что подчинение Филиппу составляет единственное средство спасения от внутренних смут, единственное средство сохранить и обеспечить самобытность Греции (точно так же, как например, в наше время просвещеннейшие умы в Италии поняли необходимость подчинения Виктору Эммануилу, а лучшие умы Германии – подчинения Пруссии). Но не так думали близорукие демократы с Демосфеном во главе. Филипп сломил, однако же, их сопротивление. Греции было придано то единство, которого ей недоставало. Молодые, бодрые, но еще грубые народы Балканского полуострова (между прочими, может быть, и славяне) были подчинены власти Филиппа до самого Дуная. С этими силами думал он предпринять войну против наследственного врага Греции – персов. Зная характер Филиппа, – вместе пылкий и

благоразумный, решительный и осторожный, – нельзя думать, чтобы в его руках азиатский поход выродился в культуртрегерское предприятие, не знавшее ни меры, ни границ, которое стремился совершить его блистательный сын. Филипп, по всем вероятиям, не простер бы своих завоеваний далее малоазийского полуострова и сирийского прибрежья. В этом виде Греко-Македонское государство, приблизительно в границах, которые занимала впоследствии Византийская империя, заключало бы все условия внутренней силы: просвещение Греции, военное искусство Македонии, непочатые силы молодых, бодрых народов Фракии, Эпира, Мизии и Иллирии[3], богатства Сирии и Малой Азии, в которой греческие элементы имели уже значительное преобладание. Такое государство заключало бы в себе все необходимые элементы для успешного сопротивления даже сокрушительной силе римского оружия. Филиппом могли бы быть положены твердые начала политической самобытности эллинского государства на будущие века, – и древний Восточный вопрос был бы решен в справедливом и истинно полезном для человечества смысле. Но блистательный гений Александра, не знавший предела и меры своей политической фантазии, лишил начатое отцом его здание настоящего центра тяжести. Эллинское просвещение и македонская сила, рассеявшись по необъятным пространствам Востока, не имели достаточной сосредоточенности и устойчивости, чтобы противиться всем элементам разложения, распространенным от Дуная до Инда, которые со смертью завоевателя разрушили его здание. Остатки его или возвратились к своему иранскому типу развития, или подпали под власть Рима, который употребил столько же столетий для сооружения всемирной монархии, сколько Александром было употреблено годов.

Но великие исторические мысли не пропадают. Если человек, употребляя данную ему долю свободы не соответственно с общим, непонятным ему историческим планом событий, начертанным рукой Промысла, может замедлить его выполнение и временно исказить его линии, – план этот все-таки довершается, хотя и иными, более окольными путями. Одна

из неоконченных задач греческой жизни, закладка фундамента положительной науки, совершилась в одном из осколков Александрова здания, под эгидой науколюбивых Птолемеев. Но судьбы Греции все еще не были завершены. И вот, шесть с половиной веков спустя после Филиппа, вступает на римский престол император, родственный ему по характеру и качествам ума. Константин, так же вместе пылкий и сдержанный, решительный и осторожный, переносит столицу на берега Босфора – и тем кладет основание Новогреческой монархии, в которой завершилась культурная жизнь греческого народа применением философского мышления к установлению православной догматики и эллинской художественности к установлению форм православного богослужения.

Но и Рим, и Византия уже изжили свои творческие силы и должны были передать свое наследие новым народам. Наследниками Рима явились германцы, наследниками Византии – славяне; и в этих народах должна была ожить вековая борьба, которая велась всяким оружием между Грецией и Римом.

Передача наследия совершилась также различным образом. Германцы заняли самую область римской культуры и вошли в теснейшее соединение с побежденными и тем быстро развили свою государственность. Славяне долгое еще время оставались на племенной ступени развития, и влияние на них Греции было, так сказать, только индуктивное, весьма постепенно и в гораздо меньшей полноте им передаваемое. С небольшим через триста лет после падения Рима окончился уже (в главных чертах) этнографический процесс образования новых романо-германских народов, и Карл Великий соединил их в одно государственное тело, с самого этого времени всегда сохранявшее, в той или в другой части своей, сильную политическую жизнь. Но оба готовившиеся вступить в борьбу исторические племени были еще соединены общим просветительным началом – единой Вселенской Православной Церковью. Для усиления противоположности между ними и эта связь должна была порваться. Тем же Карлом Великим, который положил первые основы европейской государственности, положено и

начало отпадения Запада от Вселенского единства, и начало той религиозной розни, которая доселе отделяет мир Романо-Германский от мира Славяно-Греческого.

Здесь встречаем мы один из тех великих примеров исторического синхронизма, которые всего очевиднее и поразительнее указывают на разумность проявляющегося в истории мироправления. Исследуя явления природы или истории, мы постепенно восходим от фактов частных к более общим, которые и суть причины первых. Частные явления представляются нам в виде сходящихся лучей, которые все сходятся к некоторым центральным точкам, в свою очередь соединяющимся с другими центрами высшего порядка и т.д. Это отнесение частностей к более общему началу и считаем мы объяснением явлений, к которому наш ум неудержимо стремится. Идя таким путем восхождения от частного к общему, мы доходим до некоторых общих категорий явлений – категорий, которые, однако, не только остаются между собой в раздельности, но по отношению к которым дальнейшее восхождение к одной общей реальной причине даже вовсе и немыслимо. Остановиться на этой раздельности мы не можем, и нам остается лишь или оставаться упрямо глухими к неизбежным требованиям дальнейшего единства, отрицать его, прибегая к учению о случайности, или признать необходимость единства идеального, в котором и сходятся эти различные категории явлений, не имеющие уже общей реальной причины.

Возьмем несколько примеров. Все тела, охлаждаясь, сжимаются и плотнеют. Исключение из этого составляет вода; плотнея до 3,12° Реомюра, она расширяется при дальнейшем охлаждении до своего замерзания, так что лед плавает на поверхности воды. От этого реки и озера не замерзают до дна – и органическая жизнь становится возможной. Конечно, такое свойство воды не составляет чуда в тесном смысле этого слова и, вероятно, объясняется особенностями кристаллизации этого тела; но спрашивается: почему же эта особенность пала именно на воду? Общая реальная причина, – из которой как необходимые следствия проистекали бы и кристаллизацион-

ные особенности воды, и необходимость не другой какой-либо жидкости, а именно воды для органической жизни планеты, и всеобщность ее распространения, – совершенно немыслима; следовательно, остается или признать это за случайность, или возвести эти явления различных категорий к общему идеальному центру, т.е. к разумности мироустройства и мироправления. Я также не вижу, почему бы это значение ослаблялось тем фактом, что не одна вода обладает упомянутым свойством, но еще и расплавленное серебро.

Цветки в некоторых семействах растений так устроены, что непосредственное оплодотворение их цветочной пылью совершенно невозможно. Но в этих растениях есть вместилища сладкого сока, служащего питанием для некоторых насекомых, добраться до которого им иначе нельзя, как приподняв клапанцы, ограждающие пыльники; оплодотворяющая пыль пристает к волосикам, покрывающим тело насекомых, и потом так же невольно отлагается на рыльцах других цветков и тем оплодотворяет их. Морфологические законы строения животных и растительных организмов нам совершенно не известны. Со времени Аристотеля знают, например, что млекопитающему животному нельзя иметь рог, не имея в то же время раздвоенных копыт, и нельзя иметь раздвоенных копыт без отсутствия верхних передних зубов, что насекомому нельзя иметь жала сзади, не имея в то же время четырех крыльев; при двух же крыльях жало, если оно есть, должно быть спереди и т.д. Но чем обусловливается необходимость этой взаимной связи органов, это совершенно неизвестно. Со всем тем весьма естественно предполагать, что реальная причина этой связи существует и эти особенности упомянутого устройства цветков находятся в необходимой связи со всей организацией снабженных ими растений. Но в чем же заключается причина этого гармонического соотношения между инстинктами и устройством насекомых и между устройством цветков? Для этого опять, как и для особенности кристаллизации воды, мыслима только причина идеальная.

Совершенно к таким же заключениям ведет синхронизм многих исторических событий, – синхронизм, без которого

эти события сами по себе потеряли бы большую часть своего значения. Возьмем самый известный пример. Открытие книгопечатания, взятие Константинополя турками и открытие Америки – почти одновременно случившиеся, имели в своем совокупном влиянии такую важность, что она была сочтена достаточной для разграничения великих отделов жизни человечества; и хотя такое понятие о них несогласно с требованиями здравых правил исторической системы, во всяком случае, совокупность этих событий делит на два существенно различные периода если и не историю вообще, то, по крайней мере, историю романо-германского культурного типа. Но самую значительную долю силы и значения придает этим событиям именно их совокупность, их воздействие друг на друга, в несчетное число раз усилившее влияние каждого из них на развитие просвещения, на расширение деятельности европейских народов.

Книгопечатанию без распространения бежавшими из отечества греками сокровищ древнего знания пришлось бы заниматься размножением католических требников и молитвенников, так же точно, как греческим ученым, рассеявшимся по лицу Европы, пришлось бы, вероятно, без помощи книгопечатания заглохнуть в общей массе невежества, как потонули остатки римского просвещения в нахлынувшем на них варварстве. Без открытия Америки и книгопечатание, и рассеяние греков повели бы, вероятно, к чисто подражательной цивилизации, которая пробавлялась бы грамматическими и иными глоссами и комментариями на древних авторов. Явления, к которым мы с детства привыкли, не возбуждают нашего внимания, не составляют для нас задач и вопросов, а кажутся сами по себе уже понятными. Только гений или направленный уже развитой наукой ум могут отрешиться от этого притупляющего влияния ежедневности. Своеобразность тропической американской природы, напротив того, не могла не возбудить самодеятельности в умах. Горы, реки, воздушные процессы, растения, животные, люди – все было в Америке ново и не могло не возбудить любознательности и пытливости. С другой же стороны, Аристотель, Феофраст, Диоскорид, Плиний не могли

уже оказать никакой пользы при решении задач и вопросов, на каждом шагу представлявшихся в Америке. От комментариев на них необходимо надо было перейти к самостоятельным наблюдениям и изысканиям. Мне думается поэтому, что одну из главных причин того направления, которое получила наука в Романо-Германском мире, – направления, состоящего в положительном исследовании природы, – должно искать в том обстоятельстве, что при самом начале культурного развития Европы внимание деятелей ее было обращено поразительными явлениями американской природы на наблюдение и изучение природы вообще, и таким образом возбудилась самодеятельность в пробуждавшихся умах. Но опять, если бы открытия в Новом мире не распространялись путем книгопечатания в массе публики, а составляли достояние немногих, то они не могли бы никогда достигнуть общего влияния на направление пробуждавшейся цивилизационной деятельности. Так же точно без научной подготовки, сообщенной распространением классического образования, Америка представила бы лишь несколько курьезных явлений, которые, пав на необработанную почву, не возбудили бы никакой умственной жизни.

Конечно, каждому из этих трех событий, положивших начало новому повороту в жизни Европы, можно найти весьма удовлетворительное объяснение. Но чем объяснить их современность, которая, собственно, и составляет главное условие их образовательной силы? Где лежит тот общий корень, коего следствиями были бы не только изобретение книгопечатания, взятие Константинополя и открытие Америки, но в котором заключалась бы и та мера толчка, сообщенного историческому движению, вследствие которого явления, принадлежащие к столь различным категориям, достигли бы своего осуществления в один и тот же исторический момент? Очевидно, что его нельзя искать ни в каком реальном событии прошедших времен, ни в каких зачатках нравственных и материальных условий, лежащих в основании исторической жизни народов. Где та сила, которая привела алтайских дикарей на берега Босфора как раз в то самое время, когда пытливость немецких изобре-

тателей отыскала тайну сопоставления подвижных букв и когда соперничество между Испанией и Португалией в морских предприятиях доставило благосклонный прием смелой мысли генуэзского моряка[4]? Причины синхронистической связи столь разнородных событий нельзя, конечно, надеяться отыскать ближе, чем в самом том плане миродержавного Промысла, по которому развивается историческая жизнь человечества.

В половине VIII века ко всем различиям Германо-Романского и Греко-Славянского мира присоединяется еще различие религиозное, через отделение Римской церкви от Вселенского православия. Но в то же время вооружаются славянские народы духовным оружием – самобытной письменностью, которая дает им средство для ограждения и охранения от религиозного честолюбия Запада своих народных начал. В материальном отношении славянские народы, еще по большей части не вышедшие из племенного периода развития, конечно, не могли противопоставить серьезного препятствия Западу, уже облеченному Карлом в броню государственности; но в то же знаменательное время закладывается на дальнем северо-востоке запас государственной силы, на который могли бы опереться западные славяне, когда их собственные силы уже истощаются в борьбе, когда все внешние вспомогательные средства, которыми до времени будет охранять их история, потеряют свое охранительное свойство.

Этим временем оканчивается первый период Восточного вопроса – период закладки и подготовки. Он длится от времени Филиппа Македонского до Карла Великого до разделения церквей, до славянской проповеди св. Кирилла и Мефодия, до основания Русского государства. В этот период Филипп, как бы побуждаемый пророческим инстинктом, стремится обеспечить самобытность политической судьбы греческого народа и греческой культуры; Константин приводит в исполнение его неудавшуюся попытку, когда уже иссякли жизненные силы и Греции и Рима. Наследие их переходит к двум различным племенам – славянскому и германскому, к этнографическому различию которых присоединяется различие в самом способе

передачи унаследованной ими культуры и, наконец, различие вероисповедное.

С началом нового периода начинается и борьба между миром Романо-Германским и миром Греко-Славянским, борьба всяким – и духовным, и материальным оружием. Борьба неравная, в которой противниками являются, с одной стороны, бодрый, свежий, честолюбивый юноша, соединяющий в себе и молодую силу племени, только что выступившего на историческое поприще, и силу государственного устройства; с другой же – дряхлый старец и ребенок, не вышедший еще из тесного круга племенного быта. Могло ли быть сомнение в результатах борьбы?

С самого начала иллирийские славяне, жители восточных отрогов Альп, северного Адриатического прибрежья, попадают уже в вассальное отношение к Франкской монархии. Упорнее, в течение нескольких веков, длится борьба на севере; но зато она и оканчивается не только полным политическим подчинением, но и совершенным почти уничтожением и онемечиванием славян полабских и поморских. В середине – победоносно противится германскому напору Святополк Моравский и (что гораздо важнее) призывает к себе на помощь и духовное оружие, которое приносится ему из православной Византии славянскими первоучителями. Нашествие мадьяр сламывает силу славянского государя. Однако несправедливо, кажется, было бы видеть в мадьярском вторжении (принесшем немало вреда общеславянскому делу впоследствии) главную причину, надломившую славянскую силу в странах среднего Дуная. Еще до вторжения угров усилиями немецкого духовенства удалось лишить Моравское государство его духовной самостоятельности. Мефодий и ученики его принуждены были оставить Моравию и Паннонию и искать убежища в Болгарии вследствие козней епископов Зальцбургского и Пасавского, завладевших умом престарелого славянского князя. Без духовной же опоры облатыненье и обнемеченье западных славян было неизбежно. Может быть даже, что нашествие венгров отвратило это событие, удержав Германию от систематического

напора на славян моравских и паннонских, и тем предохранило их от участи северных братьев.

В окруженной горами Чехии долее сохранилась славянская самобытность, но и она подчинилась латинству и вступила в вассальные отношения к Германской империи. Только память православия жила в ней сильнее, чем в других западнославянских странах, – и она-то прорвалась с неудержимой силой в славной гуситской борьбе, которая, надолго закалив в чехах их народные начала, дала им возможность вновь воскреснуть после полного наружного подавления.

Напротив того, Польша, хотя и осталась материально независимой от немецкого владычества, одна из всех славянских стран приняла без борьбы западные религиозные начала и усвоила их себе, – а потому и была в течение большей части своей истории не только бесполезным, но и вредным членом славянской семьи, изменившим общим славянским началам, стремившимся распространить насилием и соблазном враждебный славянскому миру католический и шляхетско-аристократический принцип в самую глубь России.

Итак, на всем протяжении от Адриатического моря и среднего Дуная до берегов Балтийского моря и от Лабы до Двины и Днепра – напор мира Германского на Славянский, латинства на православие, ознаменовался более или менее полным успехом. К счастью, дела шли иначе на юго-востоке, в пределах нынешней Турецкой империи.

Здесь встречаемся мы с загадочным явлением магометанства. Оно совершило уже теперь весь цикл своего развития и, без всякого сомнения, находится уже в периоде совершенного изнеможения и разложения. Смысл его, общая его идея, как явления совершенно уже законченного, от которого ничего нового уже ожидать нельзя, должны быть, следовательно, совершенно понятны. С общей идеей, с смыслом исторического факта я не соединяю никакого мистического представления, а разумею под этим именем только тот самый общий результат, в котором сосредоточивается наисущественнейшее содержание факта, – точно так же, как под общей идеей целого ряда

естественных явлений разумеется тот закон природы, который все их в себе содержит.

Заключается ли этот общий смысл магометанства в том религиозном прогрессе, который оно заставило сделать человечество? Но оно явилось шесть веков спустя после того, как абсолютная и Вселенская религиозная истина была уже открыта. Какой же смысл могло иметь мусульманское учение после христианства? Некоторые утверждают, что оно составляет форму религиозного сознания, хотя и уступающую высотой своего учения христианству, но зато лучше применимую к одаренным пылкими страстями народам Востока. Не останавливаясь на том, что такое понятие несообразно с достоинством христианства (которое – или такое же заблуждение, как и прочие верования человечества, или имеет характер истины Вселенской, применимой ко всем векам и ко всем народам), мы видим, что такому взгляду противоречит история. Христианство получило свое начало на том же самом Востоке, по которому разлилось учение Магометово, и на нем распространилось с величайшим успехом. Сирия, Малая Азия, Египет, Африка произвели величайших мыслителей и величайших подвижников христианства. Здесь сосредоточилось все умственное движение его, здесь происходили и главнейшие уклонения от христианской истины; здесь же и восстановлялась она торжественным голосом Вселенских соборов. Здесь родились и действовали: Ориген, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Иоанн Златоустый, Кирилл Александрийский, Киприан Карфагенский, Августин Иппонский. Здесь пустыни Фиваиды представили миру высшие образцы самой строгой жизни, самого высокого христианского самоотречения. Каким же образом страны, где достигло христианство такого распространения и такого процветания, могли чувствовать потребность в учении, менее высоком, более потакавшем чувственным стремлениям человеческой природы? Главным поприщем жизни и деятельности магометанства были не страны, населенные язычниками, для грубости которых учение Христово было бы слишком высоко, а, напротив того, страны, давно уже просвещенные этим уче-

нием, воспринявшие его и принесшие плоды, никак не менее обильные и не менее совершенные, чем страны, лежащие под более суровым небом или в более умеренном климате.

Не основательнее и то мнение, которое видит в магометанстве учение, более простое для понимания и более легкое для исполнения и поэтому долженствующее будто бы служить подготовительной ступенью для воспринятая христианства. Факты говорят совершенно противное. Народы, принявшие ислам, закосневают в нем, и между тем как пред силой христианского убеждения пало язычество Греции и Рима, мало-помалу начинало расшатываться огнепоклонничество персов; между тем как христианством было побеждено грубое язычество германских и славянских народов и теперь беспрестанно побеждается еще более грубое язычество дикарей Азии, Африки, Америки и Австралии*; между тем как христианство находило себе многочисленных последователей в Китае и Японии, – магометанство нигде не поддается влиянию христианства. Оно составляет, следовательно, препятствие к его распространению, а не подготовку к его принятию. Итак, с точки зрения религиозной, учение арабского пророка есть очевидный шаг назад – необъяснимая историческая аномалия.

Выкупается ли она богатыми проявлениями других сторон человеческой цивилизации? И на это придется отвечать отрицательно. Один из народов, принявших ислам, первоначальный распространитель его, отличался, правда, любовью к науке и просвещению. Но что же, однако, произвел он? Он сохранил в переводе, большей частью искаженном, некоторые творения греческих философов и ученых, но они гораздо лучше и полнее сохранились бы, если бы страны, отвоеванные арабами, продолжали составлять часть Греческой империи. Арабы сообщили также Европе некоторые открытия и изобретения Китая и Индии, но и в этом отношении заслуга их имеет совершенно отрицательный характер. Заняв промежуточные страны, сделав их недоступными европейцам, они составили преграду не столь непреодолимую, завесу не столь непроницаемую, как, ве-

* И даже древнее верование Японии. – *Посмертн. примеч.*

роятно, сделали бы это племена монгольские или татарские. Но ежели бы эти страны, отделяющие Запад от крайнего Востока, хранившего плоды древнейшей культуры, продолжали быть седалищем христианства и греческой образованности, хотя и склонявшейся уже к своему упадку, – не сделала ли бы, по всем вероятностям, того же самого торговая предприимчивость Венеции, Генуи и других итальянских республик?

Что касается искусства, то религия Магомета была прямо ему враждебна. Только в архитектуре представили магометанские народы изящные образцы. Но неужели мечети Каира и Дамаска, узорчатые мраморы Альгамбры[5] заключают в себе истинный смысл и значение магометанского движения, выкупают собой реки пролитой им крови, груды пепла, развалин и вековое варварство, которыми оно ознаменовалось? Удовлетворился ли бы наш ум, если бы результаты наплыва варваров на образованные страны греко-римского мира ограничивались готическими соборами, зубчатыми стенами и башнями средневековых замков?

Сколько бы мы ни искали, мы не отыщем оправдания магометанства во внутренних, культурных результатах сообщенного им движения. С этой точки зрения оно всегда будет представляться загадочным, непонятным шагом истории. Не находя, таким образом, оправдания этому историческому явлению в его положительных, самостоятельных результатах, приходится отыскивать его во внешних, служебных отношениях к чужим, посторонним целям. И действительно, мы видим, что общий существеннейший результат всей истории магометанства состоит в отпоре, данном им стремлению Германо-Романского мира на Восток, – стремлению, которое еще до сих пор живо в народах Европы и которое составляет необходимую принадлежность той экспансивной силы, того естественного честолюбия, которым бывает одарен всякий живучий культурно-исторический тип, необходимо стремящийся наложить печать свою на все его окружающее. Это честолюбие привело греков на берега Инда и на устье Днепра, Дона и Кубани. Оно вело и римские орды на берега Атланти-

ческого океана и в месопотамскую равнину, в леса Германии и Нумидийские степи.

Общая идея, существенный смысл магометанства заключается, следовательно, в той невольной и бессознательной услуге, которую оно оказало православию и Славянству, оградив первое от напора латинства, спасши второе от поглощения его романо-германством в то время, когда прямые и естественные защитники их лежали на одре дряхлости или в пеленках детства. Совершило оно это, конечно, бессознательно, но тем не менее совершило – и тем сохранило зародыш новой жизни, нового типа развития, сохранило еще одну черту разнообразия в общей жизни человечества, которым, казалось, предстояло быть задавленными и заглушенными могучим ростом романо-германской Европы. Эту мысль, собственно, относительно православия выразил (в начале греческого восстания) константинопольский патриарх Анфимий: «Провидение избрало владычество османов для замещения поколебавшейся в православии Византийской империи (собственно, надо бы сказать императорства) как защиту против западной ереси».

Мысль эта кажется дикой немецкому историку Гервинусу, у которого я заимствовал этот факт, но она глубоко истинна. Представим себе, что Иерусалим и все святые места присоединены усилиями крестоносцев к духовным владениям пап, – что с севера, с запада, юга и востока западные феодальные государства окружают постепенно тающее ядро Византийской империи. Что сталось бы с православием, загнанным на северо-восток, перед блеском католицизма, усиленного и прославленного господством над местами, где зародилось христианство? Оно казалось бы не более как одной из архаических сект христианства, вроде несторианства и разных остатков монофизитства и монофилитства, доселе существующих на Востоке. Что сталось бы также со Славянством? Славяне Балканского полуострова не подверглись ли бы той же участи, которая сделалась уделом славян, подпавшим под владычество Германии? Могли ли бы сербы и болгары устоять против одновременно направленного на них политического гнета, религи-

озного гонения и житейского, бытового соблазна европейской культуры? Результат не может быть сомнителен.

Та же участь, которая угрожала православию, постигла бы и Славянство. И оно, охраняемое горными трущобами или негостеприимной природой Севера, представляло бы лишь материал для этнографических этюдов, как исчезающие племена басков в Пиренеях или гельских народов в горах Шотландии и Валийского княжества. Судьба самой России, отовсюду окруженной (не только с запада, но и с юга) разливом романо-германской силы, не изменилась ли бы совершенно? А если бы часть ее и сохранила политическую независимость, что представляла бы она собой в мире? Какого знамени была бы носительницей? Все грозное значение России заключается в том, что она – прибежище и якорь спасения пригнетенного, но не раздавленного, не упраздненного обширного славянского мира. Без этого она была бы каким-то привидением прошедшего, вторгнувшимся из областей теней в мир живых, и, чтобы сделаться участницей в его жизни, ей действительно ничего бы не оставалось, как сбросить скорее с себя свой славянский облик. Это было бы существование без смысла и значения, следовательно, в сущности, – существование невозможное.

Придаваемое здесь магометанству значение может показаться неверным, потому что самая мысль о завоевании Иерусалима была возбуждена в народах Европы именно тем, что эти священные для христианства места подпали под иго мусульман. Но, если бы этого и не было, разве можно сомневаться, что завоевательный дух католицизма не оставил бы дряхлеющей Византии в спокойном обладании ими, – особенно после того, как собственная сила и значение его были потрясены Реформацией? Не видим ли мы ряда непрестанных домогательств папства подчинить себе Восток? Уния, постигшая русский народ под владычеством Польши[6], не составляет ли указания на участь, предстоявшую и прочим православным народам, если бы османская гроза не заставила Европу трепетать за собственную свою судьбу? Разве честолюбие и политическое искусство венецианской аристократии и Габсбургской династии были бы сдержаннее

ввиду предстоящей добычи в странах балканских, придунайских и на прибрежье Эгейского моря, нежели честолюбие рыцарей, на пятьдесят лет овладевших босфорской столицей[7]?

Магометанство, наложив свою леденящую руку на народы Балканского полуострова, заморив в них развитие жизни, предохранило их, однако же, излиянной на них чашей бедствий от угрожавшего им духовного зла – от потери нравственной народной самобытности[*]. И это влияние не ограничилось народами, подпавшими турецкому игу. Пограничные с ним южные славяне обязаны сохранением своей народной и бытовой самостоятельности той вековой борьбе, которую они вели как для собственной охраны, так и для охраны Германской империи против могущества османов. Когда они составляли главную плотину против турецкого разлива, грозившего поглотить наследственные земли Австрийского дома, было ли время думать об их онемеченье, составлявшем никогда не теряемую из виду задачу всех немецких марк или украин?

Отношение Европы к туркам никогда не было бескорыстно. Как теперь, так и за пять веков видела она в оттоманском могуществе средство распространить свою власть и влияние на народы греческого и славянского православного мира. Как сатана-соблазнитель, говорила она одряхлевшей Византии: «Видишь ли царство сие, пади и поклонись мне, и все будет твое». Ввиду грозы Магомета собирала она Флорентийский собор[8] и соглашалась протянуть руку помощи погибавшему не иначе как под условием отказа от его духовного сокровища – отречения от православия. Дряхлая Византия показала миру невиданный пример духовного героизма. Она предпочла политическую смерть и все ужасы варварского нашествия измене веры, ценой которой предлагалось спасение. Это же понятие о значении турецкого погрома жило и в сердце сербского народа. В эпическом сказании о битве на Косовом поле[9] повествуется о видении князя Лазаря, которому предлагается выбор между

* И теперь мы видим, что эта леденящая рука была полезнее для сербов, чем их освобождение. Россия не поддерживала своего законного на них влияния, отказавшись – надеемся, конечно, на время – на полупути за Славянскую идею. – *Посмертн. примеч.*

земным венцом и победой и между венцом небесным, купленным ценой смерти и поражения. Инстинктивно-пророческий дух народной поэзии как бы видел в победе над оттоманской силой потерю духовной самобытности народа. И поныне предпочитают славяне Турции тяжелое мусульманское ярмо – цивилизованному владычеству Австрии*.

Как за пять веков тому назад мусульманская гроза представлялась Европе весьма удобным предлогом для подчинения себе славян и греков, так точно и теперь преследует она ту же цель, употребляя все свои силы для сохранения турецкого владычества, возведенного в высший политический принцип. Она боится, что на развалинах Турции разовьется самобытная славянская жизнь; она надеется, что долгое томление приведет, наконец, к тому результату, которого она добивалась, собирая Флорентийский собор. Как тогда, так и теперь говорит она христианским народам Турции: «Вступите в духовное вассальство Романо-Германского мира и докажите отступничеством искренность своего отречения, и распадутся сковывающие вас цепи».

Из этого видно, как несправедливо сравнение, делаемое г. Соловьевым, образа действий Европы относительно Турции с образом действия Спарты относительно Персидской монархии, который привел к Анталкидову миру; как несправедлив упрек, делаемый ей в измене общеевропейским интересам в их мнимой борьбе с Азией. Европа ничему не изменяла, но со стальной последовательностью стремится к одной и той же цели как на Флорентийском соборе, так и на Парижском конгрессе**. Цель эта – подчинение себе Славяно-Греческого православного мира какой бы то ни было ценой. Оттоманская же власть (борется ли с ней Европа или поддерживает ее) составляет в ее глазах только средство для достижения этой цели.

Таким образом, как ни велико значение магометанства в развитии Восточного вопроса, оно тем не менее составляет только эпизод в известной под этим именем великой историче-

* Босния и Герцоговина доказывают это теперь своим героическим восстанием. – *Посмертн. примеч.*

** Прибавим, и на Берлинском. – *Посмертн. примеч.*

ской драме. Сначала борется с ним Европа под знаменем христианства как для собственной охраны, так и для распространения своего владычества над Святой землей и прилежащими к ней странами, – и в этой борьбе, известной под именем крестовых походов, она заслуживает полного сочувствия, хотя с точки зрения православия и Славянства должно почитать великим счастьем неудачу этой борьбы. Потом она думает воспользоваться новой магометанской грозой для духовного подчинения себе православных народов, что составляет один из фазисов напора Европы на Славянский мир, – и в этом случае, конечно, не заслуживает ничьих симпатий. Затем она опять борется с нахлынувшим в Европу оттоманским могуществом из-за собственного охранения. В этой борьбе главными деятелями являются сами славяне, которые спасаются этим от духовного и бытового подчинения Европе. Затем, когда миновала опасность, когда турецкое могущество ослабло, Европа продолжает преследование своих эгоистических целей, – и из некогда угрожавшего ей оттоманского владычества (которое она теперь старается поддержать) снова хочет сделать орудие для своих целей: хочет при посредстве его надломить славянскую силу, заставить славян броситься в ее объятия и тем хочет предотвратить образование новой, самобытной культурной и политической силы, не допустить ее до раздела с собой всемирного влияния, которое хочет сохранить, во всей целости, в своем нераздельном обладании. Поступая таким образом и найдя на юго-востоке точку опоры в Турции, которую и поддерживает per fas et nefas[10], она находит на северо-востоке другую точку опоры в Польше, исконной изменнице Славянству, и так же точно per fas et nefas стремится к восстановлению владычества шляхты над миллионами русского, да и самого польского народа, нисколько не стесняясь ею же провозглашенным принципом национальности и без зазрения совести искажая несомненные факты.

Из всех славянских стран одна Польша пользуется ее благорасположением, потому что составляет тип и образец того, как бы Европе хотелось фасонировать и прочих славян для полного порабощения их себе, – даже и в том случае, когда бы им

и дана была чисто внешняя политическая самостоятельность, которую истинные славяне всегда ценили ниже внутренней духовной и бытовой самобытности.

Третью точку опоры и третье любимое детище Европы составляет маленький, но честолюбивый и политически развитый мадьярский народ, который, подобно туркам и полякам, пользуется всеми ее симпатиями, опять-таки вопреки лицемерно провозглашенному принципу национальностей. Но как к Венгрии, так и к Польше мы возвратимся впоследствии.

Поворот Европы от борьбы с турками к их защите и покровительству, поворот совершенно логический и нисколько не заслуживающий названия измены, совпадает с двумя фактами, ознаменовавшими середину прошедшего столетия: во-первых, с ослаблением внутренней силы и энергии Турецкого государства, что лишило его всякого угрожающего значения для спокойствия самой Европы, но с тем вместе лишило и той охранительной способности, которую оно бессознательно и невольно оказывало православию и Славянству; во-вторых, поворот этот совпадает с возмужалостью истинной, от века уготовленной, законной, сознательной защитницы православия и Славянства – России.

С возникновением самобытной славянской силы турецкое владычество потеряло всякий смысл – магометанство окончило свою историческую роль. Царство Филиппа и Константина воскресло на обширных равнинах России. Возобновленная Карлом Западная Римская империя германской национальности, которой в наши дни соответствует политическая система европейских государств, из нее родившаяся, получила себе противовес в возобновленной Иоаннами, Петром и Екатериной Восточной Римской империи славянской национальности, хотя еще и не достигшей своего полного роста, еще не показавшей Европе – cuique suum[11].

Мысль о таковом значении России, которая уже давно предчувствовалась и в Москве и в Царьграде, обнаружилась и определилась в гениальной русской монархине и в гениальном полномочном министре ее Потемкине Таврическом. С этого

времени турецкая власть обратилась в исторический хлам. Эта сила, которую до сего времени можно было характеризовать словами Гете: «Die Kraft, die stets das Bose will und stets das Gute schafft»[12], лишилась способности творить, хотя бы и невольное, бессознательное, добро и сохранила лишь возможность к одному злу – к бесцельному и беспричинному угнетению. И в это-то именно время стяжала Турция постепенно усиливающееся к ней благорасположение Европы, именно этим засвидетельствовавшей несправедливость, своекорыстие и незаконность своей восточной политики.

Здесь оканчивается второй период развития Восточного вопроса – период напора Запада на Восток, или, точнее, период напора Германо-Романского, католического и протестантского мира на православный Славяно-Греческий мир, – период, длившийся от дней Карла Великого до дней Екатерины Великой.

Третий период, в который вступил Восточный вопрос с зарождением мысли о возобновлении Восточной империи, должен быть назван временем отпора Востока Западу, отпора Славяно-Греческого мира миру Германо-Романскому, отпора, который с воцарением великой императрицы начался на всех пунктах пограничной линии, но увенчался полным успехом пока только на севере.

Этот период развития Восточного вопроса имеет еще другую характеристическую черту. Как одно время напор Германского мира против Славянства принял характер борьбы против магометанства, так и славяно-греческий отпор имеет в течение этого периода тот же характер борьбы против магометанства. Оно, замаскировав собой истинных борцов, не дало историческим врагам стать лицом к лицу и узнать друг друга. Отуманенная временной борьбой с магометанством, Европа думала видеть сначала в России, принявшей на себя задачу этой борьбы, союзницу, успехам которой рукоплескало общественное мнение. Даже Австрия в руках антиавстрийского императора Иосифа[13], имевшего своим назначением расшатать основы своей искусственной монархии и во всем поступать наперекор истинным ее интересам, вступила в прямой союз с Екатериной для разгрома

Турции. Только немногие искусившиеся в политике мужи, как французский министр Шуазель, как руководители английской, а временно прусской и австрийской политики, были прозорливее общественного мнения Европы, всеми мерами противодействовали планам Екатерины и наконец заставили войти Европу в ее истинную роль. Впрочем, самый союз Екатерины с Австрией доказывает, что в то время и ее великому уму историческая задача, ею предпринятая, не вполне уяснилась.

Между тем как отпор славянского мира на западной границе России имел почти удовлетворительный исход в царствование самой Екатерины, – возвращением России ее древнего достояния, за единственным исключением Галицкой области, до сих пор преданной на жертву ополячению и онемечению*, – успехи русского оружия и русской политики далеко не были столь решительны в борьбе с Турцией, хотя Россия и вела с ней пять победоносных войн[14]. Для каждого отдельного случая можно найти и частное объяснение этой относительной неудачи. Например, результаты второй турецкой войны при Екатерине были бы, конечно, совершенно иные, если бы главные русские силы были вверены великому Суворову, который успел уже тогда выказать свою гениальность в частных одержанных им успехах. Так же точно, если бы в шестилетнюю войну, которая велась при императоре Александре, главные русские силы были направлены туда, где были замешаны главные русские интересы (вместо беспрестанного отвлечения их для целей, далеко не столь близких и не столь дорогих), то и успех ее не ограничился бы, вероятно, присоединением одной Бессарабии. Но кроме этих частных причин были (как и всегда) причины общие, которые их и объясняют. Таких общих причин было две: неясность целей, которых стремились достигнуть, и отсутствие политики либеральной и национальной вместе, двух качеств, совокупность которых существенно необходима для успешного разрешения Восточного вопроса в смысле, выгодном для России и для Славянства.

---

* И еще угорской Руси, преданной омадьярению; но для присоединения ее не представлялось еще достаточного повода. – *Посмертн. примеч.*

Как в дни Екатерины, так и впоследствии казалось, что могло быть только три исхода, к которым могла стремиться Россия в своих войнах с Турцией: раздел Турции между Австрией и Россией, полное присоединение всей Турции к России и так называемый греческий проект, т.е. возрождение греческой Византийской империи. Первое решение или соединение первого и последнего должны были иметься в виду при союзе России с Австрией против Турции, во время второй екатерининской войны. Нет надобности доказывать в настоящее время, что уступка какой-либо части славянских земель Австрии есть настоящее преступление против Славянства и совершенно противна интересам России*. Второе решение едва ли когда серьезно входило в намерения русского правительства; даже присоединение какой-либо значительной части Турции (например, Молдавии и Валахии) к России – если и имелось по временам в виду, отпугивало, однако, всегда русских политиков многими неудобствами, связанными с таким присоединением к империи многомиллионного инородного населения. Известно, что, когда Турция предлагала императору Николаю взять Дунайские княжества вместо уплаты тяжелой для нее военной контрибуции, он не только не принял этого предложения, но предпочел даже простить значительную часть лежавшего на Турции долга. Этот бескорыстный образ действия едва ли и не был самым полезным для России. Что касается до греческого проекта, то это была бы, без сомнения, самая вредная – в интересах России и Славянства – форма решения турецкой части Восточного вопроса. Россия своими руками создала бы на Балканском полуострове новую Австрию, в которой греческий элемент играл бы такую же роль в отношении славянского, какую в настоящей Австрии играет элемент немецкий; этот элемент, в случае своей слабости, для полного нравственного порабощения Славянства, по всем вероятиям, прибег бы к дуализму грекорумынскому, так же точно, как Австрия с той же целью прибегла к дуализму немецко-мадьярскому. России и тут пришлось

* Преступление, совершенное после последней победоностной войны берлинским отступничеством. – *Посмертн. примеч.*

бы или лелеять врага своего, или самой же разрушать создание рук своих. Но как труден этот последний образ действия – видно из примера Франции, которая принуждена volens nolens терпеть итальянское единство, устройству которого содействовала против своего желания. Ежели бы Россия даже и решилась на такой образ действия, то новая Византия, без сомнения, нашла бы других покровителей и союзников, которые стали бы столь же ревностно поддерживать и укреплять это ярмо, наложенное на шею славянам, как поддерживают теперь ярмо турецкое, и имели бы для этого еще гораздо более благовидные предлоги, чем в их теперешней туркофильской политике.

Что касается до соединения либерального и национального направления политики для успешного развития Восточного вопроса, то прежде всего должно заметить, что, употребляя эти выражения, я делаю уступку общепринятому употреблению; ибо, собственно говоря, либеральная политика совершенно невозможна, если она не национальна, так как либерализм заключается в свободном развитии всех здоровых сторон народной жизни, между которыми национальные стремления занимают самое главное место.

Необходимость национальной политики, т.е. предпочтения своих народных интересов всяким другим, какими бы бескорыстными и возвышенными они ни казались, сама по себе очевидна для решения восточного вопроса; ибо именно так называемые высшие европейские интересы и составляют единственное препятствие к освобождению славян и греков и к изгнанию турок из завоеванного ими Балканского полуострова. Если во время греческого восстания император Александр не послушал своего великодушного свободолюбивого сердца, то единственно потому, что считал необходимым подчинять национальные цели и интересы России – интересам европейского мира и спокойствия, именно высшим целям противодействия революционным стремлениям, снова грозившим охватить европейское общество, – стремлениям, опасаться которых Россия не имела, собственно, ни повода, ни основания. Пока эти или подобные им посторонние России соображения,

как, например, забота о сохранении политического равновесия и т.д., будут иметь влияние на решения России, то само собой разумеется, что нечего и думать об удовлетворительном решении Восточного вопроса, которое – и в действительности, и в общем сознании Европы – непременно должно нарушить если не законные ее права и интересы, то, по крайней мере, то понятие, которое она составила о своих правах и выгодах.

Необходимость либеральной политики для решения Восточного вопроса явствует из того, что политика эта есть политика освобождения, – и не должны ли были казаться лицемерием не только врагам, но и друзьям России ее заботы о свободе народов, когда во внутренней политике она руководилась совершенно противоположными началами. Политика императрицы Екатерины была, без всякого сомнения, национальна и в то же время по возможности либеральна, – но только по возможности, ибо истинного либерализма не могло быть при существовании крепостного права. Сама Великая императрица не была ли принуждена логической последовательностью (вытекавшей из общего положения России) ввести крепостное право в Малороссии, где его доселе не было? Не должны ли были славянские народы чувствовать невольного недоверия к России, вступившей в борьбу за их освобождение и в то же время сохранявшей и распространявшей у себя дома рабство? Не охлаждало ли это к ней симпатий ее единоплеменников и единоверцев, не давало ли права ее врагам говорить ей: «Врачу, исцелися сам»? Насколько возросли эти симпатии на наших глазах, несмотря на неудачу Крымской войны, как только снято было крепостное иго с русского народа! Не это ли внутреннее освобождение дало России возможность решить в свою пользу тяжбу с Польшей, все еще длившуюся, несмотря на наружное ее подчинение, и не оно ли дало окончательное и благотворное направление польской части Восточного вопроса? Только с великого дня 19 февраля[15], и только повторительно ознаменованная святым действием освобождения, получила Россия в свои руки все средства и орудия для решения возложенной на нее великой задачи Восточного вопроса, т.е. полного народно-

го всеславянского освобождения. С этого великого дня исполняются над Россией слова Писания: «Последние становятся первыми». Роли меняются. Проповедники свободы на словах становятся защитниками рабства на деле; а слывшие так долго поборниками рабства и угнетения могут с чистой совестью предносить знамя свободы*.

Для полного успеха остается только устранить другое препятствие, заключающееся в неясности целей и стремлений. Но и в этом отношении сознание далеко подвинулось во всех сферах общества. Пример недавних событий в Италии и Германии[16] указал и России на тот путь, которому она должна следовать. Сами события довершат остальное, заставив отбросить (хотя бы то было поневоле) те уважения, которые налагаются усвоенными привычками и преданиями к существующим и освященным временем интересам, даже незаконным и враждебным, – как ведь умела же это сделать Пруссия ввиду естественных, истинно законных и священных интересов представляемой ею германской народности**.

Ход развития Восточного вопроса со времени направления, данного ему великой монархиней, постепенно разоблачал закрывавший его туман. После трех войн, окончившихся Кучук-Кайнарджийским, Ясским и Бухарестским миром[17] и совершенно расшатавших турецкое могущество, общественное мнение Европы еще не слишком тревожилось успехами России и во время греческого восстания готово было бы рукоплескать победам русского оружия, если бы оно было поднято на защиту родины Гомера и Платона. С другой стороны, Россия еще менее была склонна видеть главное препятствие к освобождению угнетенных турками христиан в общем противодействии не только правительств, но и общественного мнения Европы. Враждебность их выказалась, однако, уже со значительной силой после Наваринской битвы[18] – особенно в Англии, а еще более после

* Так это и было в Сербскую и последнюю Турецкую войну, так продолжается и теперь. – *Посмертн. примеч.*

** К сожалению, наши глаза и теперь еще не прозрели и все еще, даже, может быть, более, чем прежде, поражены бельмами. – *Посмерт. примеч.*

перехода русских через Балканы и заключения блистательного, хотя малополезного Адрианопольского мира[19]. Агитация в пользу Польши значительно усилила враждебное расположение к России, а пробуждение славянского сознания и начинавшая возникать идея панславизма возбудили (преимущественно в Германии) старинную вражду против Славянства, считавшегося умершим, погребенным и осужденным питать и усиливать своими разлагающимися составными частями рост немецкого тела. Исследования Фальмерайера, показавшие, что в жителях Греции течет кровь славянских варваров, а не сынов Древней Эллады, заставили даже умолкнуть возбужденные было классическими воспоминаниями симпатии к возрождавшейся Греции. Хункиар-Скелесский договор[20] имел подобное же влияние в высших, специально-политических, сферах. Славяне не на деле только, а и в теории сделались париями Европы, которым отказывали во всех благах свободы, во всех плодах цивилизации.

Вражда к начинавшему сознавать свои права и свои силы сопернику до того отуманила всякое чувство истины и справедливости в Европе, что она не только стала закрывать глаза перед страданиями турецких христиан, имевших несчастье быть славянами и православными, но даже возгорела любовью к туркам, в которых стала видеть единственный элемент, способный передать Востоку начала истинной европейской цивилизации. Вместо филэллинов Европа (в особенности же Англия) наполнилась туркофилами. Все стали находить, что не магометанство и не турки – враги Европы и ее культуры, а славяне и представительница их – Россия. Когда в 1849 г. славяне австрийские восстали против мнимого мадьярского либерализма, родного брата либерализма польского, когда славяне русские, пришедшие на помощь Австрии, сокрушили его, впрочем, не на пользу себе, то это воззрение еще более утвердилось и укрепилось. Таким расположением умов сумел воспользоваться для своей цели новый император французов, а 1853 и последовавшие за ним годы раскрыли глаза как Европе, так и России.

Древняя борьба Романо-Германского и Славянского мира возобновилась, перешла из области слова и теории в область

фактов и исторических событий. Магометанско-турецкий эпизод в развитии Восточного вопроса окончился; туман рассеялся, и противники стали лицом к лицу в ожидании грозных событий, страх перед которыми заставляет отступать обе стороны доколе возможно, откладывать неизбежную борьбу насколько Бог попустит. Отныне война между Россией и Турцией сделалась невозможной и бесполезной; возможна и необходима борьба Славянства с Европой, – борьба, которая решится, конечно, не в один год, не в одну кампанию, а займет собой целый исторический период*. С Крымской войной окончился третий период Восточного вопроса и начался четвертый, последний, период решения вопроса, который должен показать: велико ли славянское племя только числом своим и пространством им занимаемой земли, или велико оно и по внутреннему своему значению; равноправный ли оно член в семье арийских народов; предстоит ли и ему играть миродержавную роль наравне с его старшими братьями; суждено ли ему образовать один из самобытных культурных типов всемирной истории – или ему предназначено второстепенное значение вассального племени, незавидная роль этнографического материала, долженствующего питать собой своих гордых властителей и сюзеренов? Вся историческая аналогия** убеждает нас в противном – и заставляет употребить все средства, все силы, всю энергию на этот решительный спор, который не может уже долго откладываться.

ГЛАВА XIII
Место Австрии в Восточном вопросе

Из предыдущей главы видно, что Восточный вопрос есть развитие одной из тех великих всемирно-исторических идей, которые запечатлевают собой целый период в общей жизни

* И это стало еще яснее после последней Турецкой войны и Берлинского трактата. – *Посмертн. примеч.*

** И хотя и в настоящую минуту дело находится в том же колеблющемся положении, вся историческая аналогия и пр. – *Посмертн. примеч.*

человечества, – ряд событий, которому не было подобного со времени падения Западной Римской империи и великого переселения народов, положивших основание жизни германо-романского культурно-исторического типа. Ни одно из событий так называемой Новой истории не может равняться с ним своей всемирно-исторической важностью, ибо все они: основание Карловой монархии, развитие папской власти, Реформация, революция – были только проявлениями внутреннего развития одного культурного типа, а Восточный вопрос есть борьба между двумя разнородными типами, вероятный исход которой должен доставить совершенно новое содержание исторической жизни человечества, – столь же отличное, как то, которое представляла жизнь Древней Греции сравнительно с жизнью Египта, Индии, Вавилона и Ассирии, Персии, Иудеи, или жизнь того, что должно называть Европой, сравнительно с жизнью Рима. В чем же заключается желанное для Славянства решение его, в возможности и необходимости которого нас удостоверяет вся историческая аналогия, истинный смысл истории? Что народы Балканского полуострова: сербы, болгары, греки, румыны – должны достигнуть полной народной и политической независимости и самостоятельности, что туркам нет места по северную сторону Геллеспонта, Босфора и Пропонтиды, – в этом не может быть сомнения, но этим далеко не исчерпывается еще предложенная миру Восточным вопросом задача.

Восточный вопрос касается всего Славянства, всех народов, населяющих Европейский полуостров и не принадлежавших к числу народов германского и германо-романского племени, не принадлежащих, следовательно, к Европе в культурно-историческом смысле этого слова, не живших активно исторической европейской жизнью, а только захваченных ею и до поры до времени пассивно служивших чуждым для них целям и стремлениям. Кроме России и Турции народы эти составляют еще большинство населения Австрии – и потому необходимо включить и это государство в наше рассмотрение Восточного вопроса, прежде чем можно будет представить удовлетворительное, сообразное с требованиями истории решение его.

Здесь не лишним будет предпослать краткий очерк истории образования Австрийского государства, т.е. истории слепления разных выморочных имений, отдаваемых в приданое, переходящих из рук в руки и, наконец, сосредоточившихся в руках наиболее счастливых наследников.

Известен латинский стих «Tu felix Austria nube»[1]. Но это счастье было сначала уделом не Австрии, т.е. не эрцгерцогства Австрийского, а Чехии, которая долгое время была центральным ядром этой политической кристаллизации, от которой выделился даже сам австрийский центр, от которой приставали к этому последнему разные крохи и которая наконец сама была поглощена более счастливым соперником. Чешский король Отокар, кроме Чехии и Моравии, владел и эрцгерцогством Австрийским. Во время похода рыцарей против языческой Литвы[2] в числе его вассалов был граф Рудольф Габсбургский. Когда этот последний был избран германским императором, Отокар не хотел ему подчиниться. Рудольф, воспользовавшись находившейся в его руках немецкой силой, победил Отокара, отнял у него герцогство Австрийское и отдал его своему сыну Альберту в 1278 году. Двадцать лет спустя Альберт вступил на императорский престол и царствовал 10 лет – до 1308 года. Он злодейски умертвил Отокарова внука и последнего наследника Вячеслава в 1301 году, в видах присоединения его владений к своим, но сам был убит племянником, после чего императорская корона вышла из рода Габсбургов на 130 лет, в течение которых царствовало 6 императоров, из коих четверо, Люксембурского дома, были вместе с тем и королями чешскими, но и в это время продолжалось скопление наследств в Габсбургском доме.

В 1308 году был избран императором Генрих VII Люксембургский, которому досталось и Чешское королевство, за прекращением рода чешских королей с умерщвлением Вячеслава. После смерти Генриха, отравленного в причастии во Флоренции в 1313 году, сын его Иоанн наследовал только чешскую, а не императорскую корону. Он участвовал в походах тевтонских рыцарей и приобрел Силезию покупкой от польских королей и был убит в 1346 году при Креси[3]. При Иоанне чешские

владения временно значительно увеличились. Герцог тирольский, также Иоанн, которому принадлежали, кроме Тироля, Штирия и Каринтия[4], оспаривал право Иоанна Богемского на чешский престол на том основании, что был женат на тетке Вячеслава. С 1308 по 1329 год считал он себя королем богемским. Мир между обоими претендентами заключен на том, что дочь и единственная наследница герцога тирольского Маргарита Карманоротая (Maultasche) была выдана замуж за старшего сына Иоанна Богемского. Казалось, следовательно, что почти вся нынешняя Цислейтания[5], с Силезией вместо Галиции, должна была сосредоточиться под властью чешских королей. Но у Маргариты не было детей. После 11 лет брака ушла она от мужа и вышла в 1342 году замуж за Людовика Бранденбургского, сына германского императора Людовика IV Баварского, который после борьбы с сыном Альберта Австрийского, Фридрихом Красивым, окончившейся поражением этого последнего при Мюльберге, занял в 1322 году императорский престол и царствовал до 1347 года.

Иоанн, разгневанный на своего сына за то, что у него не было детей от Маргариты и что через это Чехия потеряла Тироль, Штирию и Каринтию, лишил его первородства и сделал маркграфом Моравским. Он женился вторично и на этот раз имел детей. У Маргариты от ее второго брака также был сын, но он умер в малолетстве, в 1363 году, и она передала свое богатое наследство детям своей тетки с материнской стороны, эрцгерцогам австрийским; сама же умерла в 1366 году. С этого времени, следовательно, Австрия состояла уже из эрцгерцогства, Штирии, Каринтии и Тироля.

Еще при жизни Людовика IV Баварского, после смерти Иоанна Богемского, папа провозгласил императором сына его, Карла IV, на которого перешли права первородства после изгнания его старшего брата в Моравию за его вредное в политическом отношении бесплодие. Этот германский император и король Чехии жил постоянно в Праге, открыл Карлсбад, отличался любовью и справедливостью к Славянству, за что ненавидим был немцами и прозван ими Pfaffen-Kaiser[6]. Он царствовал с 1347 по

1378 год и купил за 200 000 талеров Бранденбург[7], куда сначала назначил курфюрстом своего сына Вячеслава, а в 1373 году совершенно включил Бранденбург в состав Чешского королевства, которое, если бы сохранило все свои владения, отошедшие к Австрийскому дому, почти простиралось бы косой полосой от берегов Балтийского до берегов Адриатического моря.

Сын его Вячеслав, король Чехии, курфюрст бранденбургский, император германский, занимал императорский престол с 1378 по 1400 год. Бранденбург отдал он двум своим братьям, Сигизмунду и Иоанну, вышвырнул исповедника жены своей Иоанна Непомука (католического святого) в Молдаву, был заперт чехами в тюрьму, откуда ушел с помощью дочери лодочника. Немцы лишили его императорского престола, но чешским королем оставался он до 1419 года, когда умер апоплексическим ударом от страха перед именем Жижки.

В течение 10 лет носил императорскую корону Рупрехт Пфальцский, по прозванию Щипцы, после которого был избран императором Сигизмунд, курфюрст бранденбургский с 1378 года, король венгерский с 1387, император германский с 1410 и король чешский с 1419 года. Он был сосватан на дочери Фридриха V, бургграфа нюренбергского, предка прусских Гогенцоллернов, но женился на дочери короля венгерского и по смерти тестя наследовал это королевство.

Таким образом, Чехия была могущественнейшим государством своего времени, мало чем уступавшим величиной нынешней Австрийской империи, ибо, собственно, австрийские владения и Галиция заменялись Силезией и Бранденбургом.

Во время императорства Сигизмунда, 15 июня 1415 года, сожжен Гус на Констанцском соборе, и немного ранее в том же году продан Бранденбург Фридриху VI, бургграфу нюренбергскому, за 400 000 золотых гульденов. Таким образом, оба государства, совместно господствовавшие впоследствии над Германией, Пруссия и Австрия, суть отпрыски Чешского королевства. Вскоре и сама Чехия вошла в состав этой последней. Сигизмунд оставил после себя только дочь, которая вышла замуж за Альберта, эрцгерцога австрийского. В 1438 году по-

лучил он корону чешскую, венгерскую и императорскую под именем Альберта II и, соединив воедино все австрийские земли, умер в следующем же году. Затем, как известно, Австрия лишилась Силезии, но взамен приобрела по трем польским разделам Галицию и южную часть Царства Польского (отошедшую в герцогство Варшавское и присоединенную в 1815 году к России), а также Венецианскую республику по Кампоформийскому миру[8] и Ломбардию на Венском конгрессе, которых лишилась на наших глазах, сохранив, однако же, венецианское наследие – Далмацию. С этого времени все римско-германские императоры, за исключением Карла VII (1742 по 1745), принадлежали к Габсбургскому дому.

Таков был формальный принцип образования Австрийской монархии. Но случайное совпадение наследств не может же служить единственной связью разнороднейших элементов. Для этого необходима была и какая-нибудь объединяющая идея. Таких объединяющих идей, заключавшихся во временных внешних целях, было две: 1) защита раздробленной, разъединенной Германии от натиска централизованной Франции с запада; 2) защита как самих соединившихся под австрийским скипетром земель, так и вообще Европы от натиска турок, разлившихся по Балканскому полуострову. Обе эти роли пали главнейшим образом на славян разных наименований, составлявших главную массу австрийских народов и главную силу монархии Габсбургов – не только по численности своей, но и по своему воинскому духу.

Немцам не худо бы помнить, что не только спокойствием, давшим им возможность развить свою культуру, но даже самим существованием своим в качестве самобытного народа, ныне сплачивающегося в крепкое политическое тело, обязаны они славянам, – как тем, которые вошли в государственную с ними связь, так и самобытным славянским государствам, боровшимся за них в течение длинного ряда веков. Германская империя после периода своей силы и славы, во времена императоров из домов Франконского, Саксонского и Гогенштауфенского, пришла в состояние совершенного хаоса и расслабления, так что

лишилась всякой внутренней силы. Император, избранный из рода, не имевшего больших наследственных владений, не имел средств заставить себе повиноваться бесчисленных средних и мелких властителей, из которых каждый преследовал свои личные цели даже ввиду врагов империи и нередко из своих личных эгоистических целей соединялся с этими врагами. Поэтому в течение целого ряда веков избирательная корона передавалась государям сначала из Чешского, а потом из Австрийского дома, наследственные владения которых давали им средства выдерживать тяжесть императорских обязанностей и своими силами защищать империю от внешних врагов. Собственные войска империи, никогда не поспевавшие вовремя, дурно устроенные, дурно вооруженные (в полном смысле die elende Reichasarmee[9], как окрестила типографская ошибка имперскую армию[10], спешно собиравшуюся против Фридриха Великого), доказали свою неспособность защищать интересы Германии как во времена Людовика XIV и Наполеона, так и на наших глазах в заменившем империю Германском союзе. Но главные силы Австрийского дома, на плечах которых лежала в течение 400 лет оборона Германии от врагов империи – турок и французов, были силы славянские. О борьбе против турок и говорить нечего: преимущественное участие в ней славян слишком ясно и очевидно, но здесь и собственный славянский интерес был глубоко затронут. Но без славянской силы и завоевания французов не ограничились бы Эльзасом, Лотарингией и Франш-Конте. Если немцы могут еще распевать:

Sie sollen ihn nicht haben
Den alten deutschen Rhein[11],

то этим обязаны они единственно тому, что волны этого древнего немецкого Рейна и соседние равнины не раз обагрялись славянской кровью, проливавшейся за немецкое достояние и за немецкую честь.

Когда не хватало внутренней, прицепленной к Германии славянской силы, являлась славянская помощь извне. Когда

турки осадили Вену, спасителем явился с польскими и русскими войсками Ян Собесский[12]. Когда революционная Франция и гений Наполеона громили и порабощали Германию, три раза являлись русские на помощь и (в четвертый) были главными участниками освобождения Германии, – главными, несмотря на то, что этим оскорбляется германское самолюбие, не хотящее признать великой услуги, оказанной Германии Россией без малейшего к тому интереса, даже против своего интереса.

Что русские были главными участниками в так называемых Befreiungskriege[13], неопровержимо доказывается числами. Вот несколько сведений, извлеченных из сочинения г. Богдановича, относительно меры участия русских в войне 1813 года:

Под Люценом	русских	54 000	пруссаков	38 000
Под Бауценом	русских	65 000	пруссаков	28 000
Под Кацбахом	русских	56 000	пруссаков	38 000

Под Кульмом в первый день – одни русские: сначала 12 000, потом 16 000, причем выбыло из строя 7002 человека. При осаде крепостей: Данцига – 13 000 русских, Кюстрина – 4000 русских, Глогау – 5000 русских и 3000 пруссаков. Под Лейпцигом: русских 127 000, пруссаков 71 000, австрийцев 89 500, шведов 18 000, итого на 160 000 немцев всех наименований 127 000 русских; из числа этих войск выбыло из строя на 21 000 русских 21 300 пруссаков и австрийцев. Но сколько еще было славян в австрийских войсках и какова, следовательно, будет славянская доля в великой войне за освобождение, im grossen Befreingskriege? Что же так много говорят немцы о заслугах, оказанных ими славянскому миру, и России в особенности?! Посчитаться не трудно, кто у кого окажется в долгу*.

Таким образом, смысл австрийского конгломерата народов, идея Австрийского государства, как выражается чешский историк Палацкий, заключалась в обороне расслабленной и раздробленной Германии против напора французов и турок, –

* И эти заслуги России [для] Германии не повторились ли в 1870, в 1871 гг.? – и отплатились Берлинским конгрессом. – *Посмертн. прим.*

обороне, в которой главное участие пало на долю славян. Идея эта была вызвана внешними случайными обстоятельствами, с прекращением которых, очевидно, упразднилась и сама эта идея, т.е. необходимость и смысл существования Австрийского государства, которое, исполнив свое временное назначение, обращается точно в такой же исторический хлам, как и сама Турция, после того как не предстоит более в ней надобности для охранения православия и славянства посторонними силами. Вольная и невольная, сознательная и бессознательная польза, приносимая как Турцией, так и Австрией, прекратилась: остался один гнет, одно препятствие к развитию народов, которым пришла пора освободиться от тяжелой опеки.

Здесь встречаемся мы опять с одним из великих исторических синхронизмов, указывающих нам на то, что исторические процессы совершаются не случайно, а что и внешняя их форма и внутреннее содержание находятся в таинственном взаимодействии, так что само случайное в истории оказывается в согласии с внутренним содержанием ее и в подчинении ему. Австрийские земли соединились в одно целое посредством ряда наследств и брачных договоров как раз в то время, когда предстояло противопоставить отпор турецкому могуществу и подготовлявшемуся французскому объединению. Эта формальная основа Австрийского государства была разрушена, династическое право наследства прекратилось опять-таки в тот самый момент (год в год), когда прекратилась и самая цель, для которой была необходима искусственная связь, соединившая в одно целое столько народов юго-восточной Германии и юго-западного Славянства.

В 1740 году умирает Карл VI без мужских наследников – и этим самым упраздняется та формальная связь, которая соединяла страны, известные под именем наследственных земель Австрийского дома. Но в этом же самом году упраздняется и та двоякая цель, ради которой эта связь существовала, – цель, которая придавала ей смысл и идею.

По древнему германскому преданию, сидел в пещере Зальцбургских гор, погруженный в многовековой сон, пред-

ставитель исчезнувшего величия Германии – рыжебородый император Фридрих. Он должен был проснуться и выйти из своей пещеры, когда загорится для немецкого народа заря новой славы и нового величия. В 1740 году вышел он из своей пещеры и явился миру под тем же самым именем и положил основание нового немецкого царства. Невзрачный прусский король был прямым продолжателем и возобновителем здания, начавшего разваливаться после могучего Барбароссы.

С этого времени Пруссия взяла в свои руки судьбы Германии и на наших глазах почти уже довела их до славного завершения*. Еще более ста лет после этого считалась Австрия предводительницей Германии – и только теперь устранена из нее. Но дела ей там давно уже не было. Она только мешала и продолжала свою роль лишь в силу раз полученного толчка, не уничтоженного еще трением событий. Со стороны Франции Германия не нуждается более ни в австрийской, ни вообще в славянской защите. Пруссия, т.е. сама Германия, сумеет себя защитить**. Следовательно, и славяне должны получить свободу действия по окончании их служебной исторической роли.

В том же 1740 году умерла русская императрица Анна[14], и после кратковременных смут вступила Елизавета на престол своего великого отца. Какая же связь между этим событием и завершением австрийских судеб? Государственная реформа, которую претерпела Россия и которая с государственной точки зрения и в границах государственности была совершенно необходима, перешла, однако же, должную меру, вышибла и сбила Россию с народного, национального пути. Пока жив был великий реформатор, господствовал еще над всем русский интерес, по крайней мере, в политической сфере. Но со смертью Петра немецкое влияние, которому был дан такой огромный перевес, не переставало возрастать, так что во времена Анны можно было сомневаться, не исчезнет ли, не сотрется ли совершенно русский национальный характер с русского (только по

* А вскоре после написания этих слов и вполне завершила. – *Посмертн. прим.*

** И это оправдалось. – *Посмертн. прим.*

имени) государства, не обратится ли русский народ в орудие, в материальное средство для немецких целей.

Подобные примеры бывали в истории. Все государства, возникшие из развалин Александровой монархии (Египет, Сирия, Понт и пр.), были греческими по духу и по господствовавшей в них культуре, а сами народы, их составлявшие, до того утратили свою самобытность и свой характер, что ежели бы, например, мы не имели других источников для сведений о Боспорском царстве, кроме выкапываемых из развалин и гробниц пантикапейских и фанагорийских древностей[15], то должны бы были полагать, что приазовские страны были исключительно населены греками. Ежели бы до отдаленных веков дошли отрывочные сказания о временах Анны, о деятельности Бирона, то без знакомства с предшествовавшими и последовавшими событиями будущие историки непременно бы заключили о нашествии немецких народов из некоей могучей страны Курляндии, подчинивших себе Россию, впоследствии, правда, изгнанных, но оставивших глубокие следы своего владычества, еще долго не исчезавшие. Самое призвание Анны, условия, которые хотели с ней заключить, отвержение их и т.д. должны были бы казаться остроумным критикам баснями, которыми народное тщеславие хотело прикрыть свое порабощение иноплеменниками. Нам, конечно, известно, что, к счастью, дело было не так; но несомненно, что русский характер истории Русского государства был обеспечен за ним после крутой реформы только с воцарением императрицы Елизаветы, хотя проявился с блеском лишь в великое царствование Екатерины. Следовательно, только с воцарением императрицы Елизаветы Русское государство соединило возможность сильной внешней государственной деятельности, доставленной ей реформой, с возможностью иметь русскую политику, преследовать русские государственные цели.

Главнейшая цель русской государственной политики, от которой она не должна никогда отказываться, заключается в освобождении славян от турецкого ига, в разрушении оттоманского могущества и самого Турецкого государства. С того

времени, следовательно, как славянское дело могло быть поручено славянским же рукам, – и другая цель существования, другая идея австрийского конгломерата народов упразднилась совершенно. Таким образом, Австрийское государство было в один и тот же момент лишено историей и своего формального принципа, и внутренней причины своего бытия, т.е. лишено *оправдания* неестественного скопления разнородных элементов *причинами внешней необходимости.*

То и другое думал заменить Карл VI куском пергамента, известного под именем «Прагматической санкции»[16]. Но как ни крепка и ни долговечна по древнепергамскому способу приготовленная ослиная кожа – лист ее все-таки составляет недостаточно прочное и надежное основание, чтобы воздвигнуть на нем могущее противиться разрушительному действию времени государственное здание, не имеющее внутреннего смысла и не оправдываемое даже внешней необходимостью.

В 1740 году Австрия, собственно, окончила свое историческое существование. С этого времени начинается ее распадение: она теряет Силезию, изгоняется из Германии Наполеоном I, позже формируется в особую империю, достигает временного преобладания в Германии и в Италии, но в конце концов изгоняется из обеих; готова была рухнуть под ударами ничтожной революции и небольшого мадьярского народца, спасается (своими и русскими) славянскими силами, но, лишившись внутреннего смысла своего существования, прибегает к всевозможным паллиативам для продолжения жизни, которая, не будучи оживотворяема духом, поддерживается только историческою инерцией*.

Уже с царствования Марии Терезии начинается падение и разложение Австрии. Самый сильный толчок дает ему Иосиф II своими реформаторскими попытками. Понимая, что Австрия лишена всякой внутренней связи, – что это только сброд племен и народов, соединенных случаем и внешней необходимостью, – он задумал придать ему внутреннее единство германизацией

* Теперь толкается Германией к порабощению и всего турецкого славянства, то есть из бесполезной становится абсолютно вредной. – *Посмертн. прим.*

ее частей. Иосиф II первый ввел во внутреннюю политику Австрии систему централизма, к которой столь же безуспешно прибегали впоследствии Бах и Шмерлинг[17]. Этим пробудил Иосиф заснувший было дух народности как в славянах, так и в прочих народах Австрии. Он был первым невольным основателем будущего панславизма. Последовавшие войны с Французской республикой и империей расшатали материальное благосостояние государства; но для поддержки его явился человек, одаренный гениальностью в полном значении этого слова.

Князь Меттерних сумел на тридцать с лишком лет замедлить разрушение обветшалого здания. Охранительный характер его деятельности заключался в совершенной противоположности с характером деятельности императора Иосифа. Иосиф своими либеральными реформами неосторожно вносит дух жизни туда, где ему нет места. Меттерниху удается на время заморить или, по крайней мере, усыпить крепкой летаргией эту неосторожно пробужденную жизнь. Меттерних – не централист, не дуалист, не федералист. Он, как бы это выразить, – опиумист, что ли, – усыпитель, который вполне сознает, что Австрии предстоят только две альтернативы: или спать непробудным сном, быть погруженной в летаргию, или распасться и сгинуть с лица земли. И вот он убаюкивает ее сладкими, дремоту наводящими мелодиями; усыпляет ее всеми удобствами беспечной, дешевой, веселой материальной жизни; завешивает все щели, чтобы не проник в нее свет, затыкает все отверстия, чтобы не дошел шум извне. Но все же наружный свет мог сделаться столь ярким, наружный шум – столь громким, что разбудил бы спящего. Меттерних употребляет все извороты своего гибкого ума, чтобы и снаружи загасить разгоравшийся свет или, по крайней мере, покрыть его толстым непрозрачным колпаком, чтобы повсеместно ввести тишину и спокойствие.

Прежде всего надо было позаботиться об этой тишине в тех трех пространствах, куда непосредственно открывались двери из Австрии: в Германии, в Италии и в турецких владениях. В самом деле, всякое движение в Германии не могло не проникнуть и в немецкие провинции Австрии, а через них и

во всю Австрию, так как немецкие нити расходились всюду; всякое движение в Италии пробуждало Ломбардию и Венецию, а через них и все прочие части; наконец, всякое движение там, где всего менее, по-видимому, можно было ожидать его, на Балканском полуострове (хотя бы на самой оконечности его, в Греции), могло распространиться и на славянские народы Турции, а через них и на единоплеменников их в Австрии. И со всех трех сторон движение действительно начиналось. Его надо было подавить во что бы то ни стало, да еще как подавить – без борьбы, без слишком ощутительных усилий, ибо борьба и усилия суть пробудительные средства. Надо было все сделать одними усыпительными манипуляциями, напущением снотворного тумана или марева. И это было сделано – и при каких еще затруднительных обстоятельствах!

Борьба с Наполеоном пробудила все силы Германии. Из этого пробуждения Пруссия извлекла огромные выгоды. По естественному ходу вещей, по естественному честолюбию этой державы стать во главе германской нации, – к чему побуждали ее все интересы, вся завещанная ей политика, – она должна была поддерживать это движение. Не было недостатка и в людях, понимавших эту необходимость. Меттерних сумел, однако же, ее устрашить мнимыми опасностями, сумел вечную соперницу Австрии обратить в послушное орудие ее целей. Не только народы Германии, но и многие государи ее противились преобладанию австрийского влияния. Либеральные наклонности одних, деспотические других казались одинаково враждебны австрийской системе; и те и другие должны были преклониться перед неподражаемым искусством канцлера.

В Италии предстояли те же препятствия – и со стороны народов, и со стороны государей. Сардиния играла тут ту же роль, что Пруссия в Германии; но тем не менее и здесь все пошло на австрийский лад.

Всего труднее было уладить дело с Грецией. Уже было замечено, что Меттерниху мало было уничтожить всякое враждебное его системе проявление, а надо было еще сделать это без шума, без борьбы, под сурдинку, а если уже необходимость

заставляла прибегнуть к силе оружия, то надо было выставить такую громаду сил, чтобы самая мысль сопротивления исчезла. Так и поступили с Италией, когда возникли возмущения в Неаполе и в Пьемонте. Для усмирения жалких шаек карбонариев была не только употреблена сильная австрийская армия, но как грозное привидение была выставлена русская армия, уже предназначенная к походу, под предводительством Ермолова[18]. Но в деле Греции все заставляло предполагать, что грозная сила России будет на этот раз не на стороне тишины и спокойствия во что бы то ни стало. Это был честный бой за независимость единоверного России христианского народа против невыносимого мусульманского гнета. Тут нечего было бояться революционной и либеральной заразы, – и вообще для России не страшной. В глазах всей России как восстание греков, так и русская им помощь казалась священной обязанностью – чем-то вроде крестового похода, не имеющего ничего общего с политическими треволнениями. Восстание это, следовательно, с самой подозрительно-полицейской точки зрения не могло иметь своим результатом политико-либеральной пропаганды. Все предания русской политики были в пользу такого взгляда. Не вступалась ли великая Екатерина за угнетенных Турцией христиан, не возбуждала ли она греков к восстанию? Сам император Александр не содействовал ли восстанию сербов? Наконец, личный характер русского Государя, либеральный, любящий популярность, мистически религиозный, также заставлял предполагать, что Россия употребит все силы на помощь своим единоверцам, что освободитель Европы захочет украситься еще более блестящим венцом освободителя Востока. Если уже умение Меттерниха заставить Россию действовать в общих европейских делах вопреки ее интересам, вопреки личным склонностям ее монарха, могло назваться чудом политического искусства, то успех его в деле Греции должен считаться истинным шедевром. Кроме главной и прямой цели канцлера – охранения безмятежного сна Австрии и необходимого для этого усыпления Европы, впутывая Россию в свою политику, он достигал еще другой побочной цели; с одной стороны, когда

дело шло об Италии, Испании, Германии, взваливал на Россию всю тяжесть злобы и негодования Европы, с другой, – когда дело шло о Востоке, ослаблял к ней симпатии ее единоверцев и единоплеменников, что, как полезное для Австрии, не могло ускользнуть от прозорливости руководителя ее судеб.

Таким образом, при видимом преобладании России, главной победительницы Наполеона, дом Габсбургов под опекой Меттерниха достиг такого политического влияния, какое едва ли он имел в дни Карла V. Германия и Италия были в полном смысле этого слова вассалами Австрии. В Испании и Португалии установлялась ее система руками Франции. Конфисковав в свою пользу великодушную, но непрактическую мысль Священного союза, Австрия обращала Россию в исполнительницу своих предначертаний. Сама Англия играла такую же непривычную ей роль, подавляя свои симпатии к свободе – если не восточного, то среднего и западного из вдавшихся в Средиземное море полуостровов[19].

Тридцатый год поколебал во многом систему Меттерниха, но искусство его тут и оказалось во всем блеске, ибо он доказал, что умеет не только проводить и охранять свою систему, но восстановлять и исправлять ее, насколько возможно, если чужая неловкость или действительно неотразимый ход событий произведут в ней широкую брешь. Если это не гениальность, то я не знаю, что может заслужить это имя в области политики.

Обыкновенно Меттерниху отказывают в высших способностях государственного человека, утверждая за ним не более как славу ловкого дипломата, как за каким-нибудь Кауницом или Талейраном, – на том основании, что будто бы он не умел оценить духа времени, не понимал силы идей и потому вступил с ними в неравную борьбу, окончившуюся после 33-летнего торжества совершенным распадением его системы (еще при жизни его) и чуть не гибелью Австрии. Действительно, без постижения духа времени и понимания направления, которому следуют события, нельзя быть истинно великим политиком, а много-много что ловким дипломатом, и потому делаемый Меттерниху упрек был бы совершенно справедлив,

если бы он поступал по своей системе, будучи правителем Англии, Франции, Пруссии, России, Италии, всякого иного государства, только не Австрии, которая могла сохранить свое существование единственно под условием недеятельного сна. Что среди XIX века умел он длить этот сон целую треть столетия – доказывает, что он понимал и дух времени, и силу идей; ибо без этого понимания своего врага не мог бы он так долго и так успешно с ним бороться. А было необходимо или бороться, или вовсе отказаться от звания австрийского государственного мужа. Он был в положении доктора, имеющего дело с неизлечимым недугом и делающего чудеса искусства, чтобы продлить жизнь своего пациента. Неужели в случае неизлечимости болезни врач обязан вовсе отказаться от больного? Или еще вернее, он был в положении коменданта крепости: вел мины и контрмины, апроши и контрапроши, делал вылазки, разрушал осадные работы неприятеля, строил под огнем внешние верки[20]. Крепость наконец все-таки была взята, ибо нет крепостей неприступных. Справедливо ли судить коменданта, как военачальника в чистом поле, который, несмотря на свои искусные стратегические маневры, все-таки был разбит в данной им генеральной битве? «Зачем вступил он в бой, не соразмерив своих и неприятельских сил, – могут сказать в его обвинение, – ведь руки были у него развязаны и ему была дана полная свобода действий». Но к коменданту крепости такое обвинение неприложимо, ибо факт осады существует помимо его воли. Неужели защита была напрасна, когда в конце концов сдача все-таки была неминуема? Другое дело, если бы можно было доказать, что, выйдя из тесной крепостной ограды и действуя своей армией в чистом поле, комендант, обратившись в военачальника, мог бы наконец выиграть войну. Кто так думает, тот может, конечно, обвинять Меттерниха, но мне кажется, что доказать можно только противное. Чтобы сохранить органическое вещество, не живущее уже органической жизнью, ничего другого не остается, как герметически закупорить его в плотный сосуд, прекратить к нему доступ воздуха и влажности или же заморозить.

Несмотря на свою бесспорную гениальность, последний охранитель Австрии не может, однако же, конечно, никому внушить симпатии. Чтобы определить загадочное значение его в ряду замечательнейших исторических личностей, деятельность или судьба которых имела решительное влияние на участь царств и народов, с которыми они были соединены, – посмотрим на те разряды или категории их, в числе которых, по характеру его деятельности, могло бы найтись место и для австрийского канцлера.

Первую категорию государственных мужей составляют те, которым в полной мере приличествует наименование великих политиков: люди, соединяющие с тонким пониманием окружающих их обстоятельств, с умением пользоваться находящимися в их руках средствами, с более редким даром создавать эти средства, с непреклонной волей достигнуть одушевляющих их целей, – почти пророческую прозорливость в выборе этих целей, – в сознании (большей частью инстинктивном) сообразности их с общим ходом исторического движения. Без этого последнего дара Провидения, находящегося как бы в противоположности с остальными, более прозаического свойства, практически рассудочными способностями, – нет истинно великой политической деятельности. Государственные люди, достойные названия великих политиков (Цезарь, Константин, Карл Великий, Петр, Фридрих II, Екатерина), сообщили, по-видимому, направление целому периоду истории их народов. Но ход исторического развития, без сомнения, не зависит от воли самого могучего гения; никому не дано определять его; с ним можно только сообразоваться, а для этого необходимо в известной мере его предвидеть, более или менее сознательно его предчувствовать. Дар прозорливости, дар предвидения, дар практического пророчества составляет, следовательно, необходимое условие истинно плодотворной политической деятельности. Но условие это определяется не одними личными свойствами исторического деятеля, а также тем положением, в которое поставило его Провидение, – той стороной, на которой он стоит в борьбе всемирных интересов. Великих политиков отмечает своим перстом

не одна природа, осыпающая их своими дарами, но и счастье, соединяющее судьбу их с судьбами тех народов, тех исторических интересов, которым предназначены успех и победа.

Есть поэтому другой разряд лиц, которые, по силам своего духа, смело могут выдержать сравнение с Цезарями, Карлами и Петрами, но деятельность которых осуждена историей на неудачу и бесплодие. Они привлекают с неотразимой силой все наше сочувствие величием выдержанной ими борьбы и в то же время служат уроком человеческой ничтожности. Это личности трагические. Как недосягаемый образец трагического величия стоят два карфагенских героя – отец и сын, две человеческие индивидуальности, слившиеся в одном историческом образе. Всем обязанные несокрушимым силам своего духа, они показали, как много может сделать человек и как ничтожна в то же время вся человеческая деятельность. Неподдержанные своим отечеством, Амилькар и Аннибал объявили, от своего собственного имени, непримиримую войну Риму. Современник их, Архимед, сказал: «Дайте мне точку опоры, и я поверну Землю»; они создали не только рычаг, но и самую точку опоры, опираясь на которую хотели перевернуть судьбы мира. Подкупая подарками правителей Карфагена, чтобы те не мешали им доставить своему отечеству всемирное владычество, они покорили и организовали Испанию, дабы, опираясь на нее, низвергнуть ненавистное им могущество Рима. Титан в полном значении этого слова, Аннибал, взгромоздив Альпы на Пиренеи, чтобы завладеть книгой судеб, едва не вырвал из нее значительнейшей ее страницы. Герой драмы не под силу самому Шекспиру, он боролся не против судьбы, тяготевшей по воле богов над проклятым семейством или родом (как потомки Лая и Атрея у Эсхила и Софокла), а вступил в бой с предопределением судьбы мира – и шестнадцать лет заставлял колебаться весы всемирной истории. Митридат, Витикинд повторили его тяжелую историческую роль.

По выказанному Меттернихом политическому искусству его можно бы смело причислить к разряду великих политиков; но судьба, заставившая его действовать в пользу осужденного историей дела, придает ему трагический характер неудачи в

борьбе. Но назовем ли эту борьбу трагической, неотъемлемый, существенный характер которой составляет величие? Аннибал, Митридат, Витикинд имели несчастье защищать дело, осужденное историей; но они тем не менее были представителями великих народностей, серьезных исторических интересов. Какую народность представляет Австрия, какой интерес представляет она собой? Противоположность между величием средств и ничтожностью целей, для коих они употребляются, выражаемая басней о горе, рождающей мышь, составляет один из существеннейших элементов комического. Деятельность Меттерниха носит поэтому неизгладимую печать трагикомизма (печать трагизма по своей судьбе, печать комизма по целям, которые имела в виду), и этот трагикомический характер по необходимости связывается со всякой австрийской государственной деятельностью, после того как само существование Австрии потеряло свой смысл и свою идею, – с деятельностью Бахов, Шмерлингов, Белькреди или Бейстов.

В 1848 году крепость, защищаемая Меттернихом, была взята штурмом; герметически закупоренный сосуд – разбит, снотворный туман – рассеян. Неминуемость разрушения наступила, потому что наступило пробуждение. Где мы? – начали себя спрашивать просыпающиеся народы, что всегда составляет первый вопрос, представляющийся спросонок. – В Австрии. – Кто мы? – Чех, словак, серб, хорват, русский, мадьяр, немец, итальянец. – Зачем же не в Чехии, не в Сербии, не в России, не в Венгрии, не в Германии, не в Италии? И что же такое Австрия, которая нас всех заключает? Где же это внешнее могущество, нас всех подчинившее? Где же сама Австрия, наложившая на нас и свою власть, и свое имя, – подменившая во время сна нашу жизнь своей жизнью? Ведь не эрцгерцогство же это австрийское, – эта Австрия по преимуществу, Австрия катекзохин? Нет, – отвечают они себе, оглянувшись кругом, – вне нас и нет никакой Австрии. Австрия – это только склейка, припай, цемент, смазка, которыми склеили или слепили нас во время сна, какими-то случайными средствами: придаными, завещаниями, брачными контрактами для каких-то внешних

случайных целей, в свое время, может быть, и очень хороших, полезных, необходимых, но теперь давно уже отошедших в область теней и призраков, не имеющих уже ничего общего с чувствуемыми стремлениями, нуждами, потребностями живых, проснувшихся людей. Склейка и спайка только мешают нашим движениям, не дают нам идти в ту сторону, куда нам путь лежит; делают из нас искусственно составленных сиамских братьев; каждое движение одного из нас причиняет другому неловкость, боль и порождает взаимное неудовольствие; наши усилия взаимно нейтрализуются, обращаются в ничто.

И пошли народы расколупывать замазку, которая, собственно, и составляет то, что слывет под именем Австрии. Кто, как итальянцы, занялся этим делом вполне проснувшись, с полным сознанием того, что он делает, куда намерен, освободившись, пойти, – для того и смазка оказалась некрепкой. Кто, напротив того, как славяне, занялся своим делом как-то в дремоте, в полусне, думая и действуя как бы под влиянием тумана, нагнанного ночными грезами, – у тех дело не спорится, и им продолжают еще мерещиться разные небывальщины. Кому грезится еще какая-то идея Австрийского государства, которой давно уже нет на белом свете, которой даже никогда и не было, а была временная случайная цель для союза народов. На других напущен новый польско-европейский туман, представляющий им родной славянский облик русского народа в виде пугала с оскаленными зубами, стремящегося их поглотить и обратить в состав собственного громадно-чудовищного тела.

Несмотря на этот полусон, расколупка тем не менее идет вперед, – и внешние и внутренние события работают над ней делом, словом, помышлением, вольно и невольно, сознательно и бессознательно, и самый туман начинает рассеиваться, полусон переходит в полное бодрствование. Австрийские государственные люди, у которых никогда не было недостатка в понимании своего положения, очень хорошо видят это, но, не имея возможности употребить в дело прежнего опробованного меттерниховского снотворного способа, дошли до необходимости придумывать новые способы склейки расклеивающегося. Та-

ковых способов придумано доселе три, и едва ли есть возможность придумать какой-нибудь четвертый. Способы эти, как известно, называются: централизмом, т.е. германизацией, дуализмом, или германизацией в соединении с мадьяризацией, и, наконец, федерализмом, или псевдославянизацией Австрии.

Собственно говоря, нет надобности по очереди опровергать пригодность этих способов для воссоздания разрушающейся после Меттерниха Австрии. Достаточно было бы показать, что централизм не может служить основой австрийской государственной жизни, так как остальные две методы заключают в себе внутреннее противоречие – противоречие с идеей государства, которая, как я старался показать выше, есть стройная плотная форма, приданная национальности для увеличения силы ее противодействия внешним враждебным влияниям, стремящимся ее разложить или подчинить себе. Очевидно, что государство тогда только может соответствовать своему предназначению, когда будет движимо одной национальной волей, что возможно лишь в следующих трех случаях: 1) когда в состав государства входит одна национальность; 2) или когда численное и нравственное преобладание господствующей народности так сильно, что включенные в государственный состав слабые национальности не могут оказывать никакого действительного сопротивления выражению ее национальной воли, и, следовательно, собственный интерес побуждает их слиться в одно с ней целое; или, наконец, 3) когда главная национальность хотя и не преобладает численно, но одна лишь имеет политическую волю; прочие же, хотя и многочисленные, составляют лишь материал, которым верховная национальность может распоряжаться по своему произволу. Этот случай, очевидно, может иметь место лишь тогда, когда подчиненные народности составляют только единицы этнографические, никогда исторической жизнью не жившие, а если и жившие, то потерявшие сознание своей исторической роли.

Во всех этих трех случаях в государстве будет по самой сущности дела господствовать система политического централизма, – хотя бы в административном отношении части его

пользовались самой широкой самостоятельностью. Когда эта система становится неприменимой, то и государство делается невозможным, потому что оно есть политический индивидуум, политическое неделимое, а индивидуума, имеющего две или несколько несогласованных, неподчиненных волей, даже представить себе невозможно, ибо тут заключается внутреннее противоречие, так сказать, делимое неделимое. Но доказывать, что в Австрии централизм невозможен, также излишне; ибо труд этого доказательства взяла на себя история, которая довела эту невозможность до сознания самих австрийских государственных людей. Из этого оставалось бы только просто-напросто заключить, что Австрия есть государство невозможное, как оно на самом деле и есть. Но если совершившийся факт имеет для всех доказательную силу, то нельзя того же сказать о логических выводах; поэтому, если мы можем удовольствоваться доказанной историей невозможностью централизации в Австрии, то едва ли будет иметь ту же убедительность доказываемая логикой невозможность всякой иной системы, кроме централизма как политического принципа государства. Люди, видя, что что-либо не подходит под их стремления и надежды, стараются всеми мерами избежать того, к чему необходимо ведет логическая последовательность, всеми силами из нее выбиваются, – и потому необходимо рассмотреть с большей подробностью те невозможности, которые заключаются в дуализме и в федерализме, проследить шаг за шагом их несбыточность.

Одно чисто пассивное сопротивление мадьяр, устранение их от участия в общих государственных делах Австрии в годину испытания, принудило правительство отказаться от системы централизации, или общего и одинакового подчинения всех этнографических элементов монархии – элементу немецкому. Элемент этот оказался на деле слишком слабым для того, чтобы служить всесоединяющим, всесдерживающим государственным цементом, – и немцы должны были прибегнуть к помощи мадьяр, дабы ценой полной с собой равноправности и самобытной государственности купить их содействие для сохранения владычества над славянами и румынами. Од-

нако же и оба господствующие элемента, цислейтанский немецкий и транслейтанский мадьярский, все еще почти вдвое малочисленнее элемента славянского, так что в настоящее время австрийская государственность основывается единственно на разъединенности славян, так сказать, на их политическом несовершеннолетии. Много ли ручательств за крепость государства представляет такое чисто отрицательное основание? И не очевидно ли, что если бы славяне оказали хотя бы наполовину столь же энергическое сопротивление, как мадьяры, то дуализм должен был бы пасть по той же причине, по которой пал централизм, и с такой же точно легкостью. Но призвание мадьяр на помощь для удержания славянских народностей в вассальном положении и составит именно ту причину, которая должна усилить славянское сопротивление.

В 1848 и 1849 годах славяне, входившие в состав Венгерского королевства, спасли Австрию от мадьярского возмущения, а теперь, в награду за то, лишены значительной доли своей самостоятельности и подчинены мадьярам. Дух мадьярской дерзости и мятежа достиг всех своих притязаний; славянская же верность принесена ему в жертву – все, дескать, стерпят. Неужели и этот урок окажется бесполезным? Расчет слишком прост, чтоб его не понять, и едва ли урок этот может пропасть даром. Чтобы воспользоваться им, надо лишь дождаться первого удобного случая, каким оказалась для мадьяр война 1866 года и который долго ждать себя не заставит.

Другой, не менее ясный урок заключается в том, что мадьяры достигли всех своих целей, строго придерживаясь исторического права, по которому Венгрия была включена в сборную Габсбургскую монархию как самостоятельная равноправная часть; но точно то же историческое право имеет и Чешское королевство, заключавшее в себе нынешние цислейтанские провинции: Богемию, Моравию и Силезию. Чехи уже почувствовали это и требуют для себя того же, что получили мадьяры. Военное положение, к которому этого рода требования привели Богемию, могло лишь заставить скрыться под спуд пробудившееся сознание равноправности чешской коро-

ны с венгерской, но не могло его уничтожить,– и оно должно возникнуть с новой силой при первом внешнем толчке, с которой бы стороны он ни произошел.

В-третьих, для всех славянских племен, вошедших в состав Транслейтании, подчинение мадьярскому элементу гораздо тягостнее и, так сказать, оскорбительнее, нежели прежнее общее подчинение всех австрийских народов элементу немецкому, которое могло, по крайней мере, оправдываться великим историческим и культурным значением немецкого племени, между тем как мадьяры не могут иметь этого рода претензий, стоя в культурном отношении ниже славян. Преобладающему значению немецкого элемента много содействовала еще и привычка долгого господства немцев, которое основывалось на авторитете Священной Римской империи, нередко признававшейся в качестве верховного сюзерена даже многими, в сущности, независимыми владениями. Наконец, первенствующее положение немцев совпало с национальностью Австрийского владетельного дома и, следовательно, освящалось приверженностью к династии Габсбургов, которая была совершенно искренння со стороны всех австрийских славян.

Итак, с одной стороны, пример слабости, данный австрийским правительством, и пример настойчивости мадьяр, увенчанный успехом, с другой стороны, – устранение тех оснований (именно культурно-исторического долговременного авторитета, приобретенного всей средневековой историей Европы, и династического влияния), которыми могло еще держаться господство одной привилегированной народности над прочими, – отняли всякую почву под ногами дуализма, лишили этот новый принцип австрийской государственности всякого разумного смысла, всякого исторического обаяния. Он имеет поэтому гораздо менее ручательств на сколько-нибудь прочное, долговременное существование, чем самый (осужденный уже историей) централизм. Посему в числе приверженцев дуализма можно считать только небольшой мадьярский народец, приобретающий при этом дуализме роль, на которую не имеет права ни по своей действительной политической силе, ни по

своему культурному значению, да еще несколько отвлеченных политиков, вроде г. Бейста, считающих возможными всякого рода механико-политические комбинации, не оживляемые никаким разумным, реальным, жизненным началом.

Не только австрийские славяне, но и большая часть австрийских немцев не сочувствуют дуализму и не могут забыть, что возвышение мадьяр совпадает с унижением Австрии, с выделением ее из Германии, в которой они не могут не видеть своего настоящего отечества. Только мадьяры, находя в дуализме единственное средство для осуществления самых заветных своих надежд на преобладание в землях Венгерского королевства, – такого же случайного политического агрегата, как и вся Австрийская монархия, – имеют к нему положительное сочувствие. Все же прочие поборники его, из немцев, имеют к нему сочувствие отрицательное как к средству, замедляющему торжество федерализма, в котором большинство австрийских народов видит спасение Австрии и осуществление своих заветных стремлений к политической равноправности и полноправности и по отношению к которому дуализм составляет действительно лишь переходную ступень от централизма, так сказать, первый шаг к его осуществлению. Следовательно, дуализм должен сокрушиться под ударами славян или даже от пассивного сопротивления их, при удобном случае, – как сокрушен централизм противодействием мадьяр*.

Но возможнее ли федерализм? Так как симпатии большинства славян на стороне федерализма, то с тем большим вниманием должны мы рассмотреть эту последнюю надежду австрийской государственности, а также ее сообразность с истинными интересами Славянства.

Прежде всего может показаться странным и даже необъяснимым, почему австрийские государственные люди, спра-

* И это уже начинает осуществляться. Стремление вознаградить на Востоке потери, понесенные в Италии и Германии, заставило льстить славянству, уделить права Чехии и словакам. Политическая неподвижность начала поддаваться; Австрия включает в себя еще чужеродные элементы, Боснию и Герцоговину, – надо будет идти далее по славянскому пути – немцы и мадьяры против этого. – *Посмертн. примеч.*

ведливо слывущие самыми искусными политиками, убедившись в невозможности сохранения неограниченной монархии и исключительного господства немецкой национальности в Австрии, не решились прямо удовлетворить желаниям и требованиям большинства своих подданных, дабы основать таким образом Австрийское государство на самом многочисленном элементе его населения, к чему начал было как будто бы стремиться Белькреди. По-видимому, это могло бы даже дать австрийскому правительству средство через удовлетворение несравненно менее радикальным требованиям славян – сдерживать мятежные и сепаратистские стремления мадьяр, точно так же, как в меньших размерах оно сдерживало поляков, покровительствуя в самых скромных размерах русским в Галиции. Казалось бы, основываясь преимущественно на славянах, Австрия, хотя и в форме федерации, могла бы, в сущности, сохранить в гораздо большей степени государственное единство, чем при настоящей дуалистической форме. Но это только так кажется.

В судьбе славянской народности, точно так же, как в судьбе Православной Церкви, есть что-то особенное: только они представляют примеры того, что, будучи религией и народностью большинства подданных в государстве, они, однако же, вместо того, чтоб быть господствующими, – суть самые угнетенные. Такую диковинку представляют нам Турция и Австрия. В первой православие есть религия большинства, а последователи его тем не менее терпят наиболее угнетения; во второй славяне составляют половину всего разнородного населения империи, а из всех ее народов пользуются наименьшими правами и беспрестанно приносятся в жертву немцам и мадьярам. Если такое угнетенное состояние православных в Турции объясняется тем, что турки видят в них своих тайных врагов, готовых воспользоваться всяким случаем для освобождения себя от ненавистного ига, то к Австрии и это объяснение неприложимо. Славяне, без различия племен, были всегда самыми верными подданными Австрии, – не только более верными, чем мадьяры, но даже чем и самые немцы. В 1849 году только

они одни сохранили преданность Австрийскому дому и спасли Австрию, конечно, с помощью славян неавстрийских.

Чем же это объясняется? По нашему мнению, весьма верным тактом австрийского правительства, которое (вопреки и примерам, и хорошо ему известным чувствам славян) понимает, что все-таки ему нельзя основываться на славянах, что даже политическая равноправность их с прочими народами должна повести к гибели Австрии, что ей можно существовать только при германизации и (в помощь ей) мадьяризации славян. Оно понимает, и давно уже понимает, что на Востоке есть такой магнит для Славянства, который волей или неволей как для самого магнита, так и для славянских частиц вырвет их из объятий Австрии. Представим себе славян австрийских, славян турецких, славян русских, соединенных между собой в той или другой политической форме. К такому союзу должны, по необходимости, по самому географическому положению своему, присоединиться вкрапленные в Славянство (как гнезда или жилы совершенно особенных минералов в облекающую их горную породу) мадьяры, румыны и греки. Для славян открывается при этом такая блистательная будущность, которая не может не манить их к себе. Племя, которому рисуется в будущем такое первостепенное, мироДержавное место, не может удовольствоваться местом второстепенным или третьестепенным, простой терпимостью наравне с мелкими неисторическими народностями. Но для всей этой будущности Австрия, в какой бы форме мы себе ее ни представляли, составляет, очевидно, препятствие, которое во что бы то ни стало, рано или поздно, должно быть уничтожено.

Напротив того, с разрушением Австрии и немцы, и особенно мадьяры, необходимо теряют. Историческая роль их суживается, значение их уменьшается. Австрийские немцы могут, правда, присоединиться к германской нации, имеющей рано или поздно соединиться в одно целое, благодаря настойчивости Гогенцоллернов и гению Бисмарка*; но с тем вместе теряют они господство над 30 миллионами немцев, что так тяже-

* Что и свершилось. – *Посмертн. примеч.*

ло для всякого истого европейца, в особенности же германца, для которого насилие и господство составляют вторую природу, как бы они ни прикрывались фразами о равенстве и либерализме. Для мадьяр исторические обстоятельства сложились точно таким же образом, только в усиленной степени. Этот мелкий, честолюбивый и властолюбивый народец в каких-нибудь 5 миллионов душ теряет с падением Австрии всякую надежду на раздел господства с немцами, при коем на его долю досталась гегемония в группе народов более чем 15 миллионов душ. С распадением Австрии к тому же им некуда примкнуть, как то могут сделать немцы, потому что среди окружающих их народностей они совершенные бобыли; им ничего не остается, как мало-помалу распуститься в славянском море – подобно тому, как распустились в нем их некогда многочисленные финские родичи. России было на роду написано низвести своих западных соседей – шведов, поляков и турок – с той исторической высоты, на которую они было забрались вследствие благоприятствовавших им исторических случайностей, но на которую они не имели никаких прав по своим действительным внутренним силам. Под ударами России лопнули эти политические лягушки, тщившиеся раздуться в быка. К числу таких же лягушек принадлежит, без сомнения, и мадьярский народец, – и рано ли, поздно ли, а ему предстоит та же участь и от той же руки. И это он чувствует и трепещет.

Итак, от разрушения Австрии славяне возвышаются в своей исторической роли, немцы же и мадьяры понижаются – и одной этой черты достаточно, чтобы убедиться, что многочисленнейший этнографический элемент Австрийского государства не может служить его политическим фундаментом. Австрийские государственные люди, заменив централизм дуализмом, выказали, следовательно, свой обычный политический такт, ища опоры расшатавшемуся зданию Австрийской империи в тех народностях, интерес которых требует поддержки, а не разрушения его.

В самом деле, при системе дуализма немцы и мадьяры имеют очевиднейший интерес удерживать славян в политиче-

ском соединении с собой. Но представим себе, что федерализм принят за основной принцип австрийской государственности. Этим самым славяне получают преобладающее значение в австрийском союзе народов, а немцы лишаются своего господствующего положения и меняют его на положение подчиненное. Естественное стремление их к слитию в одну великую германскую нацию теряет свой единственные противовес, заключавшийся в господстве над несколькими миллионами инородцев, в подчинении которых германизму они видели свое высшее историческое призвание. Вместо того чтобы довольствоваться подчиненной ролью, не должны ли они будут стремиться всеми силами выделиться из союза, ничем их к себе не привязывающего, и слиться со своими германскими братьями, – и кто препятствует им делать это? Конечно уж не славяне, которые и по внутренним свойствам не стремятся к господству над иноземцами, а по интересам своим должны быть очень счастливы отделаться от тесного сожительства с немцами под одной политической кровлей, ибо через это должно усилиться значение и влияние славянского элемента в союзе.

Но выделились ли бы немцы или нет из федеративной Австрии, какой смысл имел бы этот союз народов с преобладающей славянской окраской? Все живое, органическое должно заключать в себе внутреннюю сущность, смысл, идею – то, что мы называем душой его и чему оно служит только оболочкой, видимым выражением. Только эта идея связывает части тела в органическое единство, дает ему возможность противиться вредоносным внешним влияниям, располагает эти части сообразно его специфическому, образовательному типу. Мы со вниманием прочли «Идею Австрийского государства» Палацкого, но идеи этой никак не могли усмотреть.

Политическое тело, будет ли то государство или менее тесный союз народов, может образоваться, до известной степени объединиться и соединиться под влиянием случайной временной цели внешней безопасности. Если угодно, и такого рода образовательный принцип можно назвать идеей государства, употребляя здесь слово «идея» не в настоящем, строгом

смысле этого слова. Такую идею Австрийское государство действительно имело, как было показано выше. Но и это его значение, этот его внутренний смысл, этот суррогат идеи, некогда оправдывавший существование Австрии, давно уже улетучился, и вместо живого тела мы имеем только случайный политический агрегат, не распадающийся на части только по силе привычки, по косности, для преодоления которой не было еще достаточно сильного внешнего толчка.

Идея, животворящая государство, не есть какое-либо отвлеченное мистическое представление, а, напротив того, – нечто, живущее в сознании всех или огромного большинства граждан государства, поддерживающее его жизнь, существование, независимо от правительства, часто вопреки самым очевидным, самым вопиющим его ошибкам, и выказывающее все свое могущество в таких кризисах, когда административный или вообще правительственный механизм оказывается несостоятельным или даже вследствие стечения неблагоприятных обстоятельств совершенно останавливается и разрушается. Почти всякое государство, не лишенное жизненности, представляет в течение своей истории несколько таких примеров, в которых народ приносит все в жертву сознательно или инстинктивно живущей в нем идее и тем самым спасает ее и себя. Что заставило русских ополчиться на поляков в 1612 году, оставить и сжечь Москву в 1812, французов последовать за Иоанной д'Арк или выставить 13 стотысячных армий в 1793 г., испанцев – бороться с Наполеоном, наводнившим их страну своими войсками? Что заставило, наконец, самых венгерских славян и мадьяр восстать за Марию Терезию, как не эта живущая в них государственная идея, которая в этих случаях и во множестве других действовала на миллионы точно так же, как действует начало самосохранения на отдельные личности? Но очевидно, что для проявления этого начала необходимо, чтоб организм был живой, т.е. чтобы он заключал в себе животворящую идею.

Выше старались мы показать значение народности как органа, посредством которого совершается прогресс человече-

ства в едином истинном и плодотворном значении этого слова, и значение государства, хранителя народности и всех тех задатков развития, которые в ней заключаются, для возможно полного проявления всех сторон всечеловеческой жизни. Нам не нужно поэтому доказывать здесь вновь, что под идеей, образующей, объединяющей, животворящей и сохраняющей государство, можно разуметь только идею народности. В начале этой главы было также доказано, что историческая идея (или, лучше сказать, суррогат идеи), объединявшая и оживлявшая агрегат народов, подпавших по наследственному праву под владычество Габсбургского дома, уже более ста лет как перестала существовать; и теперь спрашивается, в чем может заключаться смысл австрийской федерации? Почему должны именно те народы, которые были соединены под скипетром Габсбургов, составить между собой союз на радость и горе, на жизнь и на смерть? Всякое общежитие (как отдельных людей, так и племен) непременно налагает на членов своих разного рода ограничения – стеснения, которые приходится сносить, обязанности, которым приходится жертвовать многим. Во имя чего будут сноситься эти ограничения и стеснения, во имя чего – приноситься жертвы? Историческая идея уже давно перестала существовать, – и федерация, то есть полноправность и равноправность всех составляющих Австрийское государство народностей, возвратит каждой полную свободу распоряжаться своей судьбой. Всякий особенный интерес, несогласный с другими интересами, всякое влечение отдельных племен к родственным им политическим телам, русских к России, сербов к Сербии, немцев к Германии, – кем и чем будут они сдерживаться? В чем будет заключаться соединительная сила, которая с некоторым успехом могла бы противиться этим разъединительным силам, как теперь еще противится им старая привычка, подкрепляемая немецким и мадьярским господством? Запечатленная резким географическим характером страна, строго самой природой начерченные естественные границы, каковы, например, островное положение Англии, полуостровное – Скандинавии, Италии, Индии, могут ино-

гда служить объединительными началами для народов; но где же естественные границы Австрии? Остается, следовательно, опять-таки только начало народное, этнографическое, которое действительно только одно и может служить прочной основой государственности, одно придает ему истинный смысл и значение. Но где же этнографическая основа австрийского агрегата народов? Преобладающее значение имеет в нем, без сомнения, элемент славянский; но, с одной стороны, достаточно ли он преобладающий, чтобы наложить славянскую печать и на несколько миллионов немцев, сильных своей культурой, навыком к долговременному политическому господству и, наконец, своей органической связью с объединяющейся Германией, и на несколько миллионов мадьяр, сильных своей политической опытностью, привычкой к господствующей роли? О румынах, имеющих также поддержку в соседних румынских княжествах, даже и не говорю. С другой стороны, какое же основание ограничивать эту федерацию, с преобладающим славянским характером, теми лишь славянами, которые жили в странах, доставшихся по наследству Австрийскому дому? Не значит ли это проводить границу по живому телу?

Итак, австрийская федерация не имела бы за себя ни исторических, ни этнографических, ни географических причин бытия; как же можно надеяться, чтобы она могла жить действительно исторической жизнью, быть чем-нибудь иным, нежели одним из моментов разложения австрийского политического тела, – и притом моментом, в сильнейшей степени ускоряющим это неизбежное событие?

Чтобы пополнить эти доказательства невозможности Австрии и в федеративной форме, бросим взгляд на практические результаты, которые необходимо должны бы были произойти от федеративного устройства Австрии. При самом лучшем, так сказать, идеальном решении этой задачи, то есть при полной равноправности народов, составляющих эту федерацию, разнородность состава австрийского союза была бы такова, что тому или другому племени непременно приходилось бы совершенно напрасно тратить и истощать свои силы для целей не

только чуждых ему, но часто даже и совершенно враждебных. Пусть, например, Франция объявит войну Германии. Весьма естественно, что и австрийские немцы захотели бы помочь своим единоплеменникам; но какое дело вмешиваться в эту борьбу чехам, сербам или галицким русским? Или пусть, как в 1853 году, Россия пойдет войной на Турцию, чтобы содействовать освобождению сербов и болгар. Исключая случаев совершенно особенных, временных политических комбинаций, Германия, по всем вероятностям, стала бы этому противиться*. Неужели же австрийским славянам идти против русских славян, для того чтобы препятствовать освобождению турецких славян, или австрийским немцам служить интересам, не согласным с интересами немцев германских? Такие действия племен и народов, входящих в состав иноплеменных государств, конечно, возможны при сильной правительственной власти, опирающейся на живую силу преобладающего народа; но возможно ли это при равноправности членов федерации – и именно при отсутствии такой преобладающей правительственной силы? Недавнее американское междоусобие служит ответом на этот вопрос. Как только политика центрального правительства оказалась несоответствующей интересам некоторых штатов, они сочли себя вправе выделиться из союза и подняли знамя междоусобной войны. Хорошо, что идея американского государства была так живуча, что могла воодушевить большинство его граждан на всевозможные жертвы и усилия для сохранения политического единства союза. Но откуда взяться этой силе в австрийской федерации и не неизбежен ли для нее жребий расторгнуться при первом внешнем толчке или при возникновении первого несколько серьезного вопроса, который возбудил бы рознь между членами федерации?

Отсутствие всякой внутренней основы, смысла, идеи в союзе или федерации австрийских народов заставило многих

* Так и случилось в 1877 и 1878 годах. Особая политическая комбинация воспротивилась этому. Но Германия воспользовалась слабостью русской политики, но Австрия все-таки не рискнула на борьбу с Россией, а действовала только хитростью. – *Посмертн. примеч.*

друзей Славянства обратиться к более широкой мысли федеративного объединения австрийских народов с народами, несущими прямое или косвенное иго Турции. Этим путем исправляются многие неестественности в группировке народов; так, например, сербы Княжества соединяются с сербами Баната[21], румыны Молдавии и Валахии – с румынами Трансильвании под одну политическую кровлю; христианам Турции предоставляется, по-видимому, более светлая будущность. И – обстоятельство замечательное – такого рода осчастливливающие славян планы не встречают того озлобленного сопротивления в общественном мнении Европы, которым обыкновенно встречается все могущее служить к освобождению, благоденствию и возвеличению славян. Даже и в политических сферах едва ли можно предвидеть сильное противодействие осуществлению такого плана – в свое время, конечно. Г. Бейст, например, по всему, что слышно, не прочь бы усилить славянский элемент присоединением к Австрии Боснии и Герцеговины. Г. Бисмарк также, при случае, не прочь бы был направить честолюбие Австрии на северовосточный угол Адриатического прибрежья и на низовья Дуная. Едва ли бы много стала возражать против этого и турколюбивая Англия*. Что же касается до императора Наполеона, то и ему это было бы с руки по многим соображениям. Уже одно такое отношение европейских людей мысли и дела к этому, по-видимому, благоприятному для Славянства плану делает его уже весьма сомнительным в моих глазах.

В самом деле, при отсутствии всякой исторической основы для такой комбинации, при отсутствии также и географических объединяющих условий, только национальные, этнографические требования могли бы заменить собой эти недостатки. Но и такую национальную идею, которая удовлетворяла бы этому более обширному союзу разнородных племен, так же трудно отыскать, как и в более тесной, чисто австрийской федерации. Славянский элемент усилился бы, правда, несколькими миллионами сербов и болгар; но в такой же мере усилился бы и инородческий элемент – присоединением мно-

* И все это оправдалось. – *Посмертн. примеч.*

гих миллионов румынов, греков и рассеянно живущих турок. А главное, большинство славян все-таки оставалось бы вне Славянского союза. Союз этот продолжал бы поэтому составлять случайную комбинацию, которая должна удовлетворять разного рода случайным и временным потребностям и соображениям, но не имела бы никакой действительной реальной основы, никакой внутренней причины бытия. В сущности, следовательно, и эта комбинация невозможна, потому что неразумна. Если посмотрим на дело с более практической точки зрения, эта неразумность и невозможность обнаружатся в еще более ярком свете.

В самом деле, почему мысль об усилении Австрии на Востоке не только не встречает себе сопротивления в Европе, но даже пользуется там почти повсеместным сочувствием? Присоединение к Австрии Дунайских княжеств, или Боснии с Герцеговиной скоро привело бы всю Европейскую Турцию к совершенному разложению, и трудно было бы назначить предел, до которого могли бы простираться объединительные планы Австрии, так что первый шаг по этому пути угрожал бы образованием огромного государства с 50-миллионным населением, обладающего богатейшими странами. Казалось бы, что такая перспектива не должна бы быть приятной руководителям европейской политики; и без сомнения, она и была бы им очень неприятна, если бы такое огромное государство, обладающее всеми условиями физической силы, имело хотя бы малейшие задатки силы нравственной, которая одна только и животворит.

Чтобы понять, почему перспектива такого государства вместо того, чтобы пугать Европу, пользуется ее сочувствием, надо лишь вникнуть в те причины, по которым Турция пользуется таким же сочувствием в настоящее время.

Наш взгляд никто, конечно, не упрекнет в излишнем пристрастии к Европе, – упрекнут многие скорее в недоброжелательстве к ней, – и, однако ж, мы не возьмем на совесть утверждать, чтобы варварство, турецкие порядки, турецкое угнетение, турецкая безурядица сами по себе возбуждали сочувствие Европы. Симпатия эта – только страха ради славян-

ска. Собственно говоря, ее и нет вовсе, а совершенно напротив, естественное человеческое сочувствие большинства и в Европе на стороне угнетенных; но оно подавляется политическим расчетом, страхом перед брезжущей на горизонте зарей славянского объединения, перед тем колоссальным соперником, который имеет восстать, если это объединение состоится. Турция составляет препятствие к возникновению всеславянского сознания – и поэтому только она и люба Европе. Но Европа не может не видеть, что Турция и турки дурно исполняют свою роль. Помнят ли читатели сцену из теперь забытого, а некогда делавшего много шуму романа Евгения Сю «Вечный жид», когда иезуит Роден упрекает иезуита д' Эгриньи в неумении вести дела ордена, в употреблении грубых материальных средств и насилия там, где должна быть пущена в ход тонкая интрига, основанная на нравственных пружинах, не для того только, чтобы заставить наследников опоздать ко дню открытия завещания, но чтобы принудить их добровольно отказаться от баснословного богатства в пользу ордена? Таким Роденом, запасным иезуитским провинциалом, является в глазах Европы Австрия с ее католическим, немецким, мадьярским и польским элементами. Турция оказывается несостоятельной не только для обезнародения славян, но даже просто для удержания их в своей зависимости, так что на это дело Европа принуждена тратить свои собственные дипломатические, нравственные, религиозные, финансовые, а подчас и военные силы. Следовательно, вся надежда на Австрию. Не успешнее ли поведут дело немцы и мадьяры, чем турки?

Пока не заглохнет мысль о славянском общении, пока славянские народы не потеряют своего славянского характера, – что может совершиться на разные лады: или религиозным, политическим и цивилизационным совращением, начиная с высших и постепенно спускаясь к низшим классам общества, как это, например, удалось относительно мадьяров и вообще значительной части так называемой интеллигенции в разных славянских землях*, или полным отступничеством от

* И в Сербии теперь проявляется. – *Посмертн. примеч.*

Славянства, как, например, в Польше; или, наконец, полным поглощением славян другими народностями, как в странах поморских и полабских, – до тех пор Европа все будет находиться под дамокловым мечом, опасаясь, что то или другое событие (могуществом факта), тот или другой нравственный или политический деятель (могуществом слова или примера) возбудят чувство всеславянского общения. Ведь прорвалось же такое чувство в Италии при появлении Кавура и Гарибальди; ведь прорвалось же оно и в Германии, несмотря на весьма сильный господствовавший в ней партикуляризм, как только успешно приступил к осуществлению своих смелых замыслов гениальный Бисмарк. Есть только одно верное средство обезопасить себя от взрыва: уничтожить запас пороха или вообще скопление горючих материалов; а не то если не людская преднамеренность или неосторожность, то молния с неба воспламенит их в предназначенный час.

Нельзя не признать также, что цели и намерения Европы относительно славян во многом облегчатся при замещении Турции австро-турецкой федерацией. Теперь необходимость защищать турецкое варварство и угнетение часто ставит Европу в самое неловкое положение, часто срывает маску лицемерия с ее лица и дает бедным славянам всмотреться в настоящие черты Змея Горыныча, не терпящего славянского духа и готового пожрать их. Тогда же полный простор и раздолье лицемерному участию; все фразы о либерализме, гуманности и цивилизации смело могут быть пущены в ход; вся забота нежной мачехи в том только и будет состоять, чтоб предохранить своих любезных пасынков-приемышей от алчности русского колосса. Скольких увлечет волк в овечьей шкуре, если и без этой шкуры стольких удается ему заманивать?

Между тем Европа может с полным спокойствием производить свои опыты над обезнародением и ассимиляцией славян при помощи австро-турецкой федерации, потому что ни образование такого, по-видимому, могущественного, политического тела, ни даже скопление такого количества славян под одной державой нисколько не могут ее тревожить, так как эта

федерация никакой внутренней силы иметь не может. Всякое славянское племя в этой федерации будет иметь, по крайней мере, по одному, а то и по нескольку внешних и внутренних врагов, – и частные интересы внутренних врагов будут более совпадать с интересами врагов внешних, чем с общими пользами и выгодами федерации, так что при всяком внешнем столкновении ей будет постоянно угрожать, кроме внешней опасности, и внутренняя измена с той или с другой стороны. Бросим, в самом деле, взгляд на положение каждого из славянских племен, долженствующих войти в этот союз.

Начнем с чехов. Без всякого сомнения, Германия никогда не забудет, что страны, населенные чешским племенем, составляли некогда одно из курфюршеств Священной Римской империи немецкой национальности, – не забудет пролитой ею крови для воспрепятствования развитию и укреплению в ней самобытной славянской жизни, – и поэтому никогда не откажется от овладения этой страной, составляющей передовой бастион славянского мира, если не будет принуждена к тому внешней силой. Итак, чехи и моравы будут иметь постоянного врага в немцах, не входящих в состав федерации. С другой стороны, немцы внутренние, как населяющие Чехию и Моравию, так и живущие в австро-немецких землях, не всегда ли будут стараться усилить в этих странах немецкий и ослабить славянский элемент? В этом, следовательно, цели и стремления их будут совпадать с целями немцев германских, и, – если бы деятельность их была безуспешна и славянское влияние стало бы получать чувствительный перевес в делах федерации, не заодно ли с Германией стали бы они стремиться к присоединению к ней не только самих себя, но и этих славянских стран? Не так же ли точно стали бы поступать мадьяры по отношению к входящим в состав Венгерского королевства комитатам, населенным словаками: не стали ли бы они охотно содействовать присоединению к Германии Чехии и Моравии с тем, чтобы им предоставлена была полная воля и оказываема помощь мадьярить словаков? Они ослабляли бы через то силу славянского влияния на дела федерации, избавлялись бы от влиятельного

соперника и в то же время получали бы долю в добыче. Итак, чехи и словаки имели бы против себя немцев внешних, немцев внутренних и мадьяр.

Положение сербских племен – сербов, хорватов и словенцев – было бы еще хуже. Немцы, входящие в состав федерации, конечно, не отказались бы внутренне от удержания за собой и постепенного онемечения славян Штирии и Крайны, в чем, конечно, пользовались бы сочувствием и содействием немцев германских, и в случае выделения из союза, конечно, старались бы захватить с собой славянские части этих провинций. Итальянцы, со своей стороны, не оставят, конечно, притязаний на Адриатическое прибрежье, в этой общей борьбе со Славянством не останутся, конечно, без помощи немцев и, со своей стороны, не откажут им в ней. Наконец, и мадьяры, дабы удержать за собой или возвратить себе сербские части нынешнего Венгерского государства (Воеводство, Военную границу, Славонию и Хорватию), конечно, охотно вступят в союз со внешними и внутренними врагами сербских племен, итальянцами и немцами, по тем же причинам, которые указаны были выше, когда мы говорили о чехах.

Русские галичане станут в подобное положение относительно поляков и мадьяр, которые, конечно, подадут друг другу руку помощи, дабы полячить и мадьярить их. Да и сама Россия показала бы пример самого нелепого, неполитического бескорыстия, если бы при таком положении дел не воспользовалась естественными симпатиями русских галичан и не предъявила бы своих исконных прав на свою родовую отчину.

Румынов до поры до времени всеми средствами стали бы, конечно, стараться ставить во враждебное отношение к сербам и болгарам, льстя их народному тщеславию; в сущности же, они были бы предоставлены в жертву мадьяризму, так что, по всем вероятностям, им пришлось бы разыгрывать роль поляков, поглощаемых немцами, а враждующих против русских.

Наконец и болгары имели бы внешнего врага в греках и внутреннего – в румынах, поддерживаемых и натравляемых мадьярами.

Я уже не говорю о раздорах между самими славянскими племенами – словаков с чехами, сербов с хорватами и болгарами, – раздуваемых при помощи религиозной розни и честолюбивых стремлений к преобладанию одних племен и щепетильных претензий других на независимость и самостоятельность*.

Итак, славянской федерации угрожали бы непрестанно: в мирное время – подземная работа, ведущая к их обезнародению то проповедью либерализма, гуманности и общечеловеческой европейской цивилизации, то покровительством крайнему партикуляризму, но всегда в ущерб общеславянскому духу и интересам; в дни же великих международных столкновений – отторжение той или другой области при сочувствии явном или тайном содействии многих членов самого союза. Присоединив к этому симпатии Европы вообще ко всяким антиславянским стремлениям, можно ли сомневаться в конечном исходе такого порядка вещей?

Могут спросить, почему же эти гибельные влияния не оказывают своего действия теперь на агрегат австрийских народов? Во-первых, они оказывают его и теперь, как можно видеть из примера всех последних войн Австрии, в которых та или другая из существенных составных частей ее или не принимала деятельного участия в общем деле, как Венгрия в 1866 г., или прямо содействовала врагам Австрии, как итальянские провинции в 1859 г. Во-вторых, все эти элементы распадения не могут действовать с той энергией теперь, когда интересы господствующих народностей, немецкой и мадьярской, заключаются в том, чтобы славянские элементы, находящиеся в подчинении у них, не выделились из государственного состава, ибо они могут надеяться все в большей и большей степени обращать эти элементы в материал для своего господства и в орудие для своих целей. Если бы же славянский элемент грозил получить преобладание, – как это непременно должно бы случиться в федерации австрийских и турецких народов, – то общегерманские симпатии немецкой части населения (не сдерживаемые жаждой господства, сделавшегося невозможным) и

* И это оправдалось. – *Посмертн. примеч.*

оскорбленное честолюбие мадьяр (роль которых в федерации могла быть только весьма второстепенной и подчиненной), конечно, не отступили бы от преследования своих особенных видов и частных целей перед чувством официального патриотизма к официальному отечеству.

Таким образом, и обширная австро-турецкая, так же точно, как и более тесная чисто австрийская федерация, может составить не более как ступень в разложении противоестественных политических групп, Австрии и Турции, потерявших всякое значение и всякий разумный исторический смысл, – ступень, предшествующую новой группировке их составных элементов. Но ступень эта может сделаться весьма опасной, ибо может привести эти элементы к судьбе несравненно печальнейшей, нежели та, под гнетом которой они теперь томятся и страдают*. Мы видели, что в видах Европы австро-турецкая федерация может быть только средством для удобнейшего обезнародения славян – и вместе орудием, направленным против России, т.е. к разъединению славян. Если бы и этой последней цели удалось достигнуть врагам Славянства и России, то можно быть уверенным, что они и этим удовольствовались бы только до поры до времени. Пока славянские народы сохранили бы свои народные черты, пока в них не совершенно умерло бы еще сознание Славянства, – это сознание, как бы ни затемнялось оно мелкими племенными соперничеством и враждой и напускным страхом, как бы ни держали его под спудом, все-таки не было бы лишено возможности просветления и пробуждения, как это уже не раз случалось со многими племенами, почитавшимися мертвыми и похороненными, как это было и с самими славянами. Поэтому самый простой и очевидный расчет заставил бы Европу, покровительствуя, по-видимому, федерации, рукоплеща и содействуя ей, если бы удалось вовлечь ее на гибельный путь враждебности к России, тем не менее стараться под шумок содействовать ослаблению и разложению союза отторжением от него частей и передачей их мало-помалу

* И это оправдывается; но унывать не должно, помня, что все это лишь момент разложения. – *Посмертн. примеч.*

тем, которые представляли бы сильнейшее ручательство, чем федерация (хотя бы и с антирусским направлением), что в их руках не проснется уже славянский дух.

И Турция, и Австрия потеряли всякий смысл. Никогда не имея внутренних основ и причин существования, они лишились теперь и того временного и случайного значения, которое служило оправданием их политического бытия; другими словами, они умерли – и, подобно всякому трупу, вредны в гигиеническом отношении, производя своего рода болезни и заразы. Что умерла Турция, в этом согласны едва ли не все, но ясный взгляд на вещи показывает, что столько же мертва и Австрия, и ни централизм, ни дуализм, ни просто австрийский, ни австро-турецкий федерализм не оживят ее. С исчезновением исторической идеи, под влиянием которой группировались народные элементы в политическое тело, элементы эти становятся свободными и могут соединиться вновь не иначе как при воздействии на них нового жизненного принципа, который, сообразно преобладающему, верховному значению народности во всякого рода политических комбинациях (начиная от цельного сосредоточенного государства до политической системы), не может быть не чем иным, как принципом этнографическим. В настоящем случае принципом этим может быть только идея Славянства, но не идея какого-нибудь частного австрийского, турецкого или австро-турецкого славянства, а идея *Всеславянства.*

Те западнославянские публицисты, которые, обманываемые своим узким национально-племенным взглядом или иными неосновательными теориями, не хотят признавать в Славянском мире центральности России, этого истинного солнца славян, – уподобляются древним астрономам, которые, не умея отвлечься от ложного понятия центральности земли, громоздили эпициклы на эпициклы, чтобы этими искусственными комбинациями как-нибудь согласовать наблюдаемые ими явления со своими ложными теоретическими представлениями. Публицисты эти так же точно принуждены громоздить политические эпициклы в виде различных федеральных комбинаций,

с воображаемыми центрами притяжения, для поддержания своих противоестественных теорий о том, что центр тяжести славянской системы лежит будто бы где-то посреди австрийских земель. Когда знаменитый чешский историк Палацкий говорил, что если бы не было Австрии, то ее нужно было бы создать в интересах Славянства, – не утверждал ли он этим, что Славянство не имеет никакой реальной основы, не проповедовал ли системы настоящих эпициклов (в полнейшем значении этого слова) с их нереальным, мнимым центром притяжения? Жалкое, бедное Славянство, в интересах которого может быть нужна такая политическая нелепость, как Австрия!

Степень сосредоточенности, плотности и единства которой могут и должны достигать политические тела, зависит, как показано было выше (гл. X), главнейше от двух условий: от степени родства между народными элементами, входящими в состав политического тела, и от степени опасности, угрожающей ему со стороны других государств. По этнографическим условиям славяне действительно должны составить федерацию; но федерация эта должна обнять все страны и народы – от Адриатического моря до Тихого океана, от Ледовитого океана до Архипелага[22]. Сообразно этим же условиям, а также согласно с фактами истории и с политическим положением в непосредственном соседстве с могущественным и враждебным Романо-Германским миром, – федерация эта должна быть самая тесная, под водительством и гегемонией цельного и единого Русского государства. Такая Всеславянская федерация, удовлетворяя вполне требованиям этнографического принципа, подобно всякому полному решению вопроса упраздняет вместе с тем и все прочие несообразности и препятствия, которые возникли перед нашим умственным взором на каждом шагу для федерации австрийской и австро-турецкой.

И во Всеславянскую федерацию должны волей или неволей войти те неславянские народности (греки, румыны, мадьяры), которых неразрывно, на горе и радость, связала с нами историческая судьба, втиснув их в славянское тело. Но эта чуждая этнографическая примесь, так сказать, теряясь в мас-

се славян, не может уже иметь для Всеславянского союза того вредного разлагающего влияния, как для частных славянских союзов. Этого мало. Главные из этих неславянских членов славянской федерации, греки и румыны, не могут даже считаться в ней чуждой примесью, потому что недостаток кровного родства восполняется для них родством духовным: не будучи славянами, они – православные. Но и этого мало. Эти народы не так чужды славянам и по крови, как некоторые думают и как многие того бы желали; они, так сказать, пропитаны славянскими элементами и в системе славянских народов составят аналогичное звено с теми романскими народами европейской системы, которые, как французы, пропитаны германскими элементами. Неславянского в них – собственно лишь тщеславные притязания на обособление, раздутые в их интеллигенции соблазнами, наущениями и подстрекательствами наших западных недоброжелателей. В этом отношении стоит лишь указать на замену при Кузе славянского алфавита молдаво-валахов латинским и на замещение множества славянских слов румынского языка французскими словами с румынскими окончаниями, вследствие чего новый литературный румынский язык сделался непонятным для народа. Что касается до мадьяр, то к ним применяется пословица: «Любишь кататься, люби и саночки возить». Вторгнувшись в славянские земли, получив в них ничем не оправдываемое господство, которым пользовались в течение нескольких веков, они должны разделить и все судьбы великого племени, переменив первенствующее и господствующее положение на второстепенное и подчиненное. Впрочем, и это племя, подобно румынам и теперешним грекам, сильно смешано со славянами. Что касается внешних врагов славян, которые при сочувствии и содействии внутренних врагов в австрийской или австро-турецкой федерации могли сделаться столь страшными для них, то и они теряют свое значение относительно Всеславянского союза, сил которого хватит на то, чтобы и волос не смел упасть с главы славянской.

Итак, Всеславянская федерация – вот единственно разумное, а потому и единственно возможное решение Восточного

вопроса. Но прежде чем подробнее рассматривать его и разбирать все возражения, которые могут быть против него сделаны и делаются со стороны друзей и недругов, нам должно еще обратить все наше внимание на один из самых существенных элементов этого вопроса, которого мы еще не касались, но который по справедливости считается его гордиевым узлом. Этот узел желательно было бы не рассечь, а развязать, т.е. решить по справедливости, или (иными словами) сообразно с внутренними существенными требованиями дела. Я разумею вопрос о Константинополе.

ГЛАВА XIV
Царьград

И своды древние Софии
В возобновленной Византии
Вновь осенят Христов алтарь!
Пади пред ним, о Царь России,
И встань, как Всеславянский Царь!
Ф. Тютчев[1]

По поверью, распространенному в русском народе и занесенному к нам, без сомнения, от греков вместе с христианством, – Иерусалим есть средоточие, или, как выражаются в просторечии, «пуп», Земли. И таков он в действительности с высшей духовной точки зрения, как место, где взошло людям духовное солнце. Но с точки зрения более земной и вещественной, нет места на земном шаре, могущего сравниться центральностью своего местоположения с Константинополем. Нет на земле другого такого перекрестка всемирных путей. На запад открывается непрерывный морской путь сначала между Европой и Азией, а потом между Европой и Африкой, как бы каналом, то расширяющимся, то суживающимся до самого Западного океана. К югу такой же канал, прерываемый лишь нешироким, теперь прорытым перешейком[2], ведет между Азией

и Африкой до Южного океана. На востоке некогда непрерывное море разбилось, правда, на три бассейна: Понта, Каспия и Арала, разделенные широкими перешейками. Но человеческое искусство начинает уже пополнять недоделанное, или, пожалуй, испорченное природой, так как и тут названные моря, железная дорога от Поти до Баку, а со временем, может быть, и Аму, возвращенная в свое старое русло[3], поведут в самую глубь Азиатского материка. Наконец, на север Днепр, Дон, соединенный железным путем с Волгой, и Дунай соединяют Константинополь со всеми славянскими землями и ведут в глубь России и Европы.

Этим мировым географическим преимуществом соответствуют и местные топографические удобства. Босфор, глубокая и широкая река соленой воды в 35 верст длиной, со многими вдающимися в берега углублениями или бухтами, представляет обширную безопасную гавань для судов, служащих внешней мировой торговле, тогда как наиболее врезывающаяся в материк внутри самого Константинополя бухта, известная под именем Золотого Рога, представляет такие же удобства для каботажных судов и для доставки товаров разным частям города.

Прибавим к этому единственное в мире как по удобству защиты, так и по важности защищаемого стратегическое положение, прелестный климат, несравненную красоту окружающей природы, наконец, великие мировые, истинно царственные исторические воспоминания и соединенное с ними громадное нравственное значение. Такие единственные в своем роде естественные преимущества сделали то, что Константинополь не разделил судьбы того царства, которому служил столицей, подобно другим великим центрам исчезнувших с лица земли народов. Между тем как Фивы, Мемфис, Вавилон, Ниневия, Карфаген – не более как археологические курьезы[4]; между тем как Афины и Александрия живут жизнью весьма второстепенных провинциальных городов, и даже сам вечный, дважды миродержавный Рим обратился в музей редкостей с каким-нибудь полуторастотысячным населением и имеет быть

разжалован из мирового города в столицу второстепенного государства, Константинополь, понимая под этим названием совокупность всех населенных мест вдоль берегов Босфора, составляющих одно сплошное и неразрывное целое, все еще имеет до полутора миллиона жителей, несмотря на совершенную неспособность теперешних его обладателей извлекать выгоду из доставшегося им сокровища.

Особенность Константинополя составляет еще то, что никакое изменение в торговых путях, никакое расширение исторического театра не могут умалить его исторической роли, а, напротив того, всякое распространение культуры и средств сообщения должны в большей или меньшей степени отразиться на усилении его торгового, политического и вообще культурного значения. Открытие морского пути в Индию нанесло смертельный удар Венеции и прочим торговым итальянским республикам; возникновение Петербурга доконало Новгород; прорытие Суэзского перешейка должно снова перенести главный центр торгового движения на берега Средиземного моря и не может не уменьшить торгового значения самой даже Англии, что она и поняла своим верным инстинктом и стала делать bonne mine a mauvais jeu, когда уже ясно увидела, что нельзя долее противиться делу, которому суждено перейти из области предположений в область положительных фактов. Рим мог сохранить свою господствующую роль только до тех пор, пока главная историческая сцена сосредоточивалась на прибрежьях Средиземного моря, и даже когда жизненное движение приняло более обширные размеры в восточной части этого бассейна вследствие походов Александра, усилившегося значения Александрии, развития христианства, он должен был поделиться своим господством с Константинополем. Если бы Италия даже не была опустошена и Рим не был разрушен варварами, то все-таки он должен бы был лишиться своей роли единственно от культурного и политического развития стран, лежащих на север от Дуная и на восток от Рейна; и ежели в течение так называемых Средних веков вновь усилилось его значение, то единственно благодаря новому религиозному эле-

менту, воплотившемуся в Риме. Совершенно иначе отражались и должны отражаться улучшение торговых путей, развитие и расширение культурной и политической жизни почти на всем пространстве Старого Света – на судьбе Константинополя. Будучи в свое время центром Древнего мира, он сделался центром магометанского Востока, и теперь в самом унижении своем есть узел и центр европейской политики, хотя и не активный, а страдательный только.

Что же предстоит ему в будущем? Всякое усиление развития в Центральной и Южной Европе, в равнинах России, на Кавказе, возрождение Европейской Турции, Малой Азии, Персии, Северной и Восточной Африки, проникновение культуры в глубь Азиатского материка – все это должно отразиться новым блеском на Босфорской столице. Это город не прошедшего только, не жалкого настоящего, но и будущего, которому, как Фениксу, суждено возрождаться из пепла все в новом и новом величии. Он и носит поэтому четыре названия, каждое из которых соответствует особому фазису в его развитии, особому отделу в его исторических судьбах.

Первое название *Византия*, данное древними греками, соответствует тому времени, когда значение и важность города определялись лишь его топографическими удобствами. Изобилие рыбы в проливе, соединяющем два моря, теснящейся по временам во вдавшийся в материк Золотой Рог, – послужило первой приманкой для поселенцев. Под этим названием город, стоя наряду со многими другими, расположенными на Босфоре, Геллеспонте и Пропонтиде городами, не перерос значения промежуточного торгового пункта между Понтом и Архипелагом. Второе имя *Константинополь*, хотя и звучит по-гречески, есть, однако же, название римское. Под этим именем господствовал он над частью римского наследия и действовал на исторической сцене, ограничивавшейся прибрежьем Средиземного и Черного морей. Имя это приличествовало ему, пока последний остаток римского мира не испустил своего последнего вздоха, и давно уже вместе с прежним значением перешло и это имя в область прошедшего, сделалось достоянием

истории. Теперешнее название *Стамбул*, данное ему турками, не имя, а позорное клеймо. Оно не получило всесветного гражданства, оставшись только местным, и должно исчезнуть вместе с завоевателями. Оно имеет характер эпизодический, как и самая роль турок в Восточном вопросе есть только вставочный эпизод, да и роль всего магометанства – эпизод во всемирной истории. Но Босфорская столица, сказали мы, не только город прошедшего, но и будущего. И славяне, как бы предчувствуя его и свое величие, пророчески назвали его *Царьградом.* Это имя, и по своему смыслу, и потому, что оно славянское, есть будущее название этого города.

Неудивительно, что такой город, как Константинополь, обращает на себя внимание всех политиков; что вопрос, кто будет им обладать, после того как теперешние его обладатели принуждены будут удалиться с исторической сцены, тревожит все умы, не остающиеся равнодушными к великим интересам современной истории, так что один частный Константинопольский вопрос весит, по крайней мере, столько же на весах современной политики, как и весь остальной обширный Восточный вопрос.

В этой запутанной исторической тяжбе прежде всего представляется уму: кто же, собственно, имеет право на Константинополь? То есть кому должен бы он принадлежать, если б политические соперничества не заслоняли собой и не затемняли юридической правды, если бы вопросы политические разрешались, подобно юридическим, на основании документов владения? Говоря другими словами, кто законный наследник, к которому должна перейти Босфорская столица после гибели и изгнания похитителя, оказавшегося несостоятельным, неспособным не только к обладанию таким жизненным историческим узлом, как Константинополь, но даже и вообще к национальной политической жизни?

По-видимому, вопрос этот решается очень легко. Турки взяли Константинополь у греков, и грекам, следовательно, должен быть он возвращен. Но у каких греков был он взят и каким грекам имеет быть возвращен? Греки Древней Эллады,

упустив случай слиться с родственными им македонянами и образовать великое Восточное Царство, подпали власти римлян и вошли как составной элемент во всемирное Римское государство, восточной части которого мало-помалу придали свой особый колорит и характер, что и выразилось во внешнем политическом строе отделением Восточной империи от Западной. Эта Восточная империя, по причине малочисленности греческого элемента, никогда не была греческой в этнографическом смысле этого слова. Греческой была в ней собственно культура, цивилизация, которая не проникала и не могла проникать в глубины народных масс. Одним словом, Восточная Римская империя, даже в эпоху своего величия, была настолько же греческой, насколько заменившая ее Оттоманская империя – турецкой, или даже еще менее.

Поэтому, когда северные народы, в конце концов, славяне заняли большую часть Балканского полуострова, в массе они вполне сохранили свои славянские народности, и только верхушки общества отчасти огречились. Не так было, например, в Италии, где новые германские поселенцы: готы, герулы, лангобарды, смешавшись с прежде жившими тут племенами, приняли от них не только язык, но и наружный облик. Греки же, собственно, остались там только, где искони составляли преобладающий этнографический элемент: в Морее, Элладе, Фессалии, в части Эпира, в юго-западной окраине Македонии[5], по островам Эгейского моря. С центральной частью Восточной империи – Балканским полуостровом – произошло, следовательно, то же самое, что и с ее более отдаленными провинциями – Сирией, Египтом, где арабское завоевание быстро стерло следы завоевания греко-римского, потому что следы эти и не проникали далее поверхности общества. Во всех этих странах, как я уже сказал, греческой была только культура да еще государственная власть, а этнографический состав населения греческим не был. Поэтому с разрушением государства, с уничтожением культуры было разрушено все, в живых ничего греческого уже более не осталось и для восстановления его потребовалось бы не возрождение, а настоящее воскресение,

которое и в историческом смысле столь же невозможно, как и в физиологическом.

Итак, возвращение Константинополя его законному наследнику невозможно, потому что наследника этого нет более в живых. Он был последний в роде и умер тогда же, как было отнято у него его последнее достояние, в котором, собственно, и воплощался угасавший остаток его жизни, и теперь достояние это – выморочное в полном смысле этого слова.

Права, которые предъявили бы на Константинополь наследники того имени, которое носила Восточная империя, принадлежат поэтому к совершенно особому разряду так называемых исторических прав, по которым поляки требуют себе Белоруссию, Волынь, Подолию, Галич, даже Киев и Смоленск; мадьяры хотят преобладать над словаками, русскими, хорватами, сербами, румынами, живущими в пределах земель венгерской короны; по которым итальянцы, во имя прав Древнего Рима, могли бы требовать владычества над Францией, Англией, Испанией, Северной Африкой и т.д. По таким же правам греки, имеющие уже в силу одного исторического документа притязание на Константинополь, могли бы в силу другого документа, с таким же точно основанием, предъявлять претензии на все страны от Адриатического моря до Инда и от Понта, Кавказа, Каспия и Амударьи до Индийского океана. В силу таковых прав, законными претендентами на верховное владычество в России могли бы явиться какие-нибудь калмыцкие, бурятские или монгольские орды. Это историческое право, из-за которого пролилось в прошедшем столько слез и крови, которому настоящее обязано столькими неправдами и притеснениями, должно бы ввергнуть мир в совершенную путаницу, в настоящий хаос нелепостей, если бы вздумали проводить его сколько-нибудь последовательным образом.

Все эти короны Стефанов, Ягеллонов, Палеологов[6] – весьма почтенные вещи, пока лежат в исторических музеях древностей, откуда могут вызывать весьма почтительные размышления о делах минувших, о бренности человеческого величия. Эти исторические мертвецы, как и всякие другие покойники,

заслуживают почтительной памяти и доброго слова от живых людей, но только пока спокойно лежат в своих могилах. Если же они вздумают скитаться по белому свету и смущать народ своим появлением в виде разных оборотней, вампиров и вурдалаков, предъявляя свои исчезнувшие права на то, что уже перешло во владение живых, – то, чтобы успокоить их, ничего не остается, как, по славянскому обычаю, вбить им осиновый кол[7], и чем скорее, тем лучше. Этот осиновый кол, конечно, не более как пустой предрассудок в отношении к простым мертвецам, ибо эти и без того никогда не выходят из своих могил, но для мертвецов исторических, имеющих невероятную наклонность вставать из своих усыпальниц и тревожить живых наяву и во сне своими нелепыми притязаниями, – осиновый кол самая законная и разумная мера, служащая к обоюдному благу как умерших, так и живых. Осиновый кол – вот все права, которые можно признать за коронами Палеологов, Ягеллонов и св. Стефанов. На него же напрашиваются и короны Сулейманов[8] и Габсбургов, которые хоть и не легли еще в свои могилы, а сидят между живыми, но давно уже смердят и заражают политическую атмосферу гнилыми миазмами. О, как взыграет славянское сердце, когда Россия, поняв свое историческое призвание, с честью погребет и этих мертвецов, насыплет над ними высокий могильный холм, заострит осиновый кол и забьет его по самую маковку, – чтобы на пустом месте заиграла широкая, самобытная славянская жизнь!

Историческое право имеет огромное значение и заслуживает всякого к нему внимания и уважения, когда, будучи историческим, оно продолжает корениться в действительных потребностях людей текущего века, продолжает составлять их прирожденное, неотъемлемое право, когда, составляя заботу дня минувшего, оно еще продолжает быть насущной заботой и дня настоящего. О, тогда голос его громок и оно вдвойне уважительно! Стремления Греции к освобождению выигрывали, конечно, много в своей силе и в симпатиях, которые всюду внушали, от того, что греки, сражаясь за настоящую свою независимость, за свободу не мнимого, а действительного гре-

ческого народа, восстановляли вместе с тем свободу страны Мильтиадов и Эпаминондов; но и эти славные воспоминания не могли бы иметь никакой цены, если бы народ, населявший новую Грецию, потеряв сознание своей особенности и самобытности, слился со своими победителями.

Исторические права всеми своими свойствами подобны арифметическому нулю, который, в отдельности сам по себе ничего не знача, удесятеряет, однако же, значение единицы, влево от него стоящей. Так, Западная Русь не потому должна составлять одно целое с остальной Россией, что входила некогда в состав Руси времен Владимиров, Ярославов, Мстиславов[9], а потому, что, будучи настоящей Русью в эти давно прошедшие времена, она по языку, по вере, по всему существу своему всегда оставалась ею, кто бы над нею ни господствовал, и теперь продолжает быть такой же настоящей Русью, как и в оные времена, несмотря на измену своих высших классов. Поэтому и лежит на России двойное или, лучше сказать, удесятеренное право и удесятеренная обязанность заботиться о том, чтобы вся Русь была Русью, – право и обязанности настоящие, живые, бытовые, удесятеренные в своем значении правом историческим, т.е. этими же настоящими, живыми, бытовыми правами, не прерывавшимися в течение веков, насколько хватает сознательная и бессознательная народная память.

Но что такое, например, корона Стефанов? Случайное завоевание и подчинение исконных придунайских жителей, славян, вторгнувшейся мадьярской орде, которая, хотя и приняла христианство и европейский склад и лад, не сумела, однако, или не смогла обратить чуждые ей племена в свою плоть и кровь, уподобить их себе, так же точно, – как не сумели или не смогли этого сделать эллинизированные римляне Византии со вторгнувшимися в их пределы славянами, или вторгнувшиеся турки с греками, болгарами и сербами; как не умели или не хотели этого сделать благородные ливонские рыцари с латышами и эстами. Поэтому и все притязания эти, и им подобные суть притязания выходцев из могил, ночных призраков и привидений, полуночных кикимор, на которых живые люди, под

страхом причисления к сонму сумасбродов и умалишенных, не должны обращать никакого внимания.

Итак, Константинополь составляет теперь в тесном юридическом смысле res nullius, предмет, никому не принадлежащий. В более же широком и высоком историческом смысле он должен принадлежать тому, кто продолжает воплощать в себе ту идею, осуществлением которой служила некогда Восточная Римская империя. Как противовес Западу, как зародыш и центр особой культурно-исторической сферы, Константинополь должен принадлежать тем, которые призваны продолжать дело Филиппа и Константина, дело, сознательно поднятое на плечи Иоаннами, Петром и Екатериной[10].

Но оставим эти высшие соображения и удовольствуемся пока тем, что в тесном юридическом смысле Константинополь есть res nullius, на которую никто не может изъявлять притязаний по праву, как законный наследник. За отсутствием оснований юридических вступают в свои законные права основания утилитарные, и мы должны и можем спросить: если никто не имеет прямого права на Константинополь, кому может представить обладание им истинную, действительную пользу?

Все состязающиеся могут быть разделены в этом отношении на три категории: с одной стороны, великие европейские державы; с другой – мелкие государства вроде Греции, с третьей – Россия.

Из великих европейских держав Пруссия остается в этом деле совершенно в стороне. Очевидно, что обладание Константинополем не только не принесло бы ей никакой пользы, но было бы даже для нее совершенно невозможно. Австрии мог бы принадлежать Константинополь не иначе как если бы она преобразилась в ту австро-турецкую федерацию, о которой мы говорили в предыдущей главе и которая, как там было доказано, была бы гибельна для народов, которые ее бы составили, продолжила бы лишь агонию, в которой томится Австрия. Остаются, следовательно, только две великие морские державы: Франция и Англия, для которых обладание Константинополем, по крайней мере, возможно по причине их значитель-

ного морского могущества. Но польза, которая проистекла бы для них из того, была бы чисто отрицательного свойства. Хотя Константинополь, как мы видели, замечательнейший перекресток всемирных путей на земном шаре, он лежит, однако же, совершенно в стороне от того движения, в котором они, в особенности же Англия, играют такую первостепенную роль. Вся польза от обладания Константинополем ограничивалась бы для них тем вредом, который наносился бы этим России. Это было бы, так сказать, право вонзать нож в тело России и поворачивать его в ране, когда им заблагорассудится, чтобы производить нестерпимую боль, простирая свое влияние и господство не только на все южное побережье России, но и глубоко внутрь страны посредством естественных и искусственных путей сообщения, рек и железных дорог.

Самая невыносимость такого положения поставила бы Россию в непрестанную, явную или глухую, враждебность к ним. При всяком столкновении с каким бы то ни было другим государством морская держава, обладающая Константинополем, могла бы быть уверена, что будет иметь Россию против себя, и это опасение необходимо должно бы было умалить значение и влияние ее на всех прочих театрах политической деятельности. Мы видели, какой вред проистекал для Австрии от обладания Венецией, после того как начала Италия сплачиваться в одно политическое целое: Венеция была естественным союзником всякого врага Австрии. Но что же значит враждебность еще не сформировавшейся, не объединившейся Италии в сравнении с враждебностью России?

Одно удержание Константинополя, на которое теперь, очевидно, не хватает всех сил Турецкой империи, потребовало бы при беспрестанном опасении столкновения с Россией по меньшей мере армии в 150 000 или 200 000 человек и эскадры в несколько десятков панцирных[11] и других судов, которые должно было бы постоянно держать в окрестностях Константинополя. Так как эти силы требовалось бы содержать сверх всех тех, которыми обладающая Константинополем западная держава могла бы располагать в других местах, то отрицатель-

ное значение этого обладания – вред, приносимый России, – ложился бы на ее государственный бюджет тяжестью, по крайней мере, в 100 миллионов рублей. Хотя Франция, по словам ее государственных людей, и довольно богата, чтобы платить за свою славу, но такой роскоши ненависти не может себе позволить ни Франция, ни Англия, ни какое другое государство, как бы богато оно ни было.

Надо, однако же, сказать, что ни Франция, ни Англия и не имеют, собственно, притязаний на обладание Константинополем. Они очень хорошо понимают, что польза его была бы для них чисто отрицательной и что вся цель их достигнута, если только он не будет в руках России. Поэтому и поддерживают они владычество Турции как готовый факт, которого незачем придумывать и осуществлять с большими или меньшими усилиями, борясь с предвиденными и непредвиденными препятствиями. В случае же, если бы владычество Турции, несмотря на всю их поддержку, оказалось несостоятельным, они всего скорее согласились бы вручить этот ключ Черного моря нарочно усиленному с этой целью второстепенному государству, именно – Греции.

Какую же пользу принес бы ей этот подарок? Мы видели, что с точки зрения права Константинополь ей вовсе не принадлежит, с точки же зрения пользы он был бы ей пагубен. Это был бы настоящий Пандорин ящик[12], наполненный смутами, раздорами, которые в конце концов должны бы неминуемо повести к потере политической самостоятельности. «Noblesse oblige»[13], говорит французская пословица. Иной носитель громкого имени, граф, князь, герцог, маркиз, изнемогает под бременем своего общественного положения, которое, волей или неволей, обязан поддерживать, хотя, не обремененный блеском своего имени, мог бы по своим средствам вести счастливое, спокойное, безбедное существование. Такое же бремя наложил бы Константинополь на слабое государство. Защита первого в мире стратегического пункта фортификационными работами, сухопутной армией и флотом от первого внезапного нападения, по крайней мере, пока не подоспеет помощь извне, истощала бы его слабые финансовые средства.

С другой стороны, слабая Греция была бы вечно между двух огней, между Россией, которая, конечно, употребляла бы все усилия, чтобы заменить обладание ключом от главного выхода из своего дома так называемым политическим влиянием, и между враждебными России европейскими державами, которые, вручая Греции этот ключ, имели бы, собственно, в виду сделаться действительными его хозяевами. Ей ничего бы не оставалось, как или впасть в совершенную зависимость от одной стороны, сохраняя только лишь тень и внешность государственного верховенства и свободы, или же играть незавидную роль переметной сумы, попеременно переходя из одной зависимости в другую и теряя уважение и симпатии обеих соперничающих сторон. Одним словом, это было бы для Греции повторение роли Турции, с тем, однако же, различием, что Турция все-таки составляет государство с лишком с тридцатимиллионным населением, которое слабо только потому, что потеряло свои жизненные силы. Но каково же народу и государству свежему и бодрому находиться в положении, которое едва выносимо для умирающего, потому что они приняли на себя задачу не по силам? Такое междоумочное положение не могло бы долго продолжаться. Небольшое Греческое государство скоро впало бы в истощение, в маразм, и Константинопольский вопрос, не погашенный, а тлеющий под пеплом, воспламенился бы с новой силой.

Итак, ни великие западные державы, ни Греция не только не извлекут никакой пользы из обладания Константинополем, но он будет для них тяжелым бременем, которое трудно будет выдерживать даже первым и которым вторая неминуемо будет подавлена.

Совершенно в ином свете представляется обладание Константинополем для России. Выгоды, которые он бы принес ей, поистине неоценимы и неисчислимы.

1) Недавний горький опыт показал, где ахиллесова пята России, которой так долго искали враги ее, и, напротив того, опыты многих веков, и притом самые решительные, произведенные с огромными средствами и под руководством самых

искусных операторов, доказали до очевидности, что с других сторон, и с запада и с севера, она неуязвима. Уязвимость с востока давно уже миновала; осталась, следовательно, только уязвимость с юга. Это не эмпирические только данные, а факты, подлежащие самому удовлетворительному объяснению, ибо проистекают из положения России и из существенных свойств и особенностей характера ее силы и могущества.

Всякое нападение с запада встречает себе отпор всех сухопутных сил России, которые всегда составляли, составляют и будут составлять главную опору ее могущества. Обширные непроходимые болота и леса разрезывают пространство вдоль западной границы России на два совершенно отдельные театра военных действий, совокупное нападение на которые возможно только в случае весьма мало вероятного союза обоих наших западных соседей, Пруссии и Австрии, следовательно, в большинстве случаев Россия может быть совершенно спокойна или за области, лежащие к югу, или за лежащие к северу от Полесья и болотистой системы Припяти*. Слабый пункт наш с этой стороны, – конечно, Польша, но политические отношения наши касательно ее таковы, что при всякой войне, имеющей в виду Польшу, могущественнейший из наших соседей – Пруссия – никогда или, по крайней мере, надолго не может находиться в числе наших врагов. Но силы России заключаются не в одной ее армии, а в духе всего народа, который всегда был готов скорее видеть свои дома и имущества в объятиях пламени, нежели в руках неприятеля, и с этим-то народом пришлось бы иметь дело всякому врагу, вторгнувшемуся в пределы России.

Со стороны Балтийского моря возможны только диверсии, случайные нападения на те или другие пункты; базисом же для правильного систематически организованного действия оно не может служить по той простой причине, что всякий успех, достигнутый летом, должен бы быть оставлен зимой.

Напротив того, с юга Россия открыта ударам держав, обладающих большими морскими средствами. Сухопутная оборона берегов требует громадных сил и со всем тем, однако же,

* И эти болота имели глупость осушить! – *Посмертн. прим.*

мало действительна. Достигнув какого-нибудь выгодного для себя результата, неприятели могли бы сохранить его и обратить его в новую точку опоры для дальнейших предприятий. Конечно, вторжение в глубь России и с этой стороны было бы нелегко, пожалуй, даже невозможно, но в том-то и дело, что тут нет и надобности в таком вторжении. Овладения морскими берегами или даже одним только Крымом было бы достаточно, чтобы нанести России существеннейший вред, парализовать ее силы. Обладание Константинополем и проливами устраняет эту опасность и обращает южную границу России в самую безопасную и неприступную.

2) У нас вошло в жалкую моду говорить, что Россия довольно, даже слишком велика, что ей не нужно завоеваний, что новые приобретения были бы ей в тягость, что они и так уже ей в тягость. Конечно, приобретение приобретению рознь, но что касается вообще до жалобы на слишком огромную величину России, я, право, не вижу, о чем тут жалеть. Англия, которая ведь больше России, не тяготится своими обширными владениями, разбросанными притом по всему лицу Земли. Да и понятие о величине, росте весьма относительно, и правильное суждение о них приобретается, кажется мне, только из отношения достигнутого роста к внутренней экспансивной силе растущего. Дуб и в три обхвата толщиной и в пятнадцать сажень вышиной нельзя еще назвать слишком большим, переросшим свои нормальные размеры! Государство также не может считаться достигшим полного своего роста, сколько бы оно ни заключало в себе квадратных миль или верст, когда вне границ его живет еще около трех миллионов соплеменников господствующему в нем народу. Оно достигнет полного роста, только когда соединит воедино весь тот народ, который его сложил, поддерживает и живит его; когда оно сделалось полным хозяином всей земли, населяемой этим народом, то есть будет держать в руках своих входы и выходы из нее, устья рек, орошающих ее почти на всем протяжении их течения, и устья своих внутренних морей, – одним словом, когда оно достигло осуществления своей внешней исторической задачи. Не надо еще, говоря о пространстве Рос-

сии, забывать и того, что она находится в менее благоприятных почвенных и климатических условиях, чем все великие государства Европы, Азии и Америки, что, следовательно, она должна собирать элементы своего богатства и своего могущества с большего пространства, нежели они.

Большое пространство имеет, конечно, свои неудобства, и главнейшее из них, без сомнения, большое протяжение границ. Но приобретение Константинополя доставило бы России еще ту совершенно особенную выгоду, что вместо увеличения этого неудобства оно уменьшило бы его в значительной степени, сократив, так сказать, концентрировав, две с половиной тысячи пограничной линии вдоль прибрежий Черного и Азовского морей в одну точку. Поэтому, если Константинополь в руках Англии и Франции потребовал бы от этих государств значительной армии и флота для обороны этого пункта сверх тех сил, которые они должны и без того содержать, в руках России он дозволил бы ей, по крайней мере, в такой же степени сократить ее военные силы и сопряженные с ними издержки.

3) Внешняя сила государств, действительно могущественных, всегда слагается из двух элементов: из армии и флота, которые не могут никогда заменить друг друга, как бы ни усиливали один элемент в случае отсутствия или крайней слабости другого*. Ни чисто морское, ни чисто сухопутное государство не могут считаться вполне могущественными, хотя, по географическому положению государств и другим условиям, смешение этих двух элементов внешней политической силы может и должно встречаться в весьма различных пропорциях. Вся история подтверждает это положение.

Карфаген, Венеция, Голландия, вся сила которых почти исключительно основывалась на их морском преобладании, должны были скоро сойти с занимаемого ими первенствующего места, и – или погибнуть, или отступить на второй и даже дальнейший план. Англия, напротив того, располагающая, кроме своих господствующих на морях флотов, значительными сухопутными силами, имеет значение истинной мировой

* И это доказала последняя Турецкая война. – *Посмертн. прим.*

державы, могуществу которой, по всем вероятиям, еще не скоро наступит конец, и если наступит, то не от внешних, а от внутренних причин. С другой стороны, самый Рим, этот идеал континентального могущества, должен был сделаться, хотя на время, сильной морской державой (что во время óно было возможно), дабы не уступить другому видов на всемирное владычество. Как парализовались мощь и успехи Людовика XIV и Наполеона тем, что флоты их были разгромлены англичанами? Наша отсталость в морском деле, неимение паровых судов отразились на невыгодном исходе Восточной войны по крайней мере в такой же степени, как и отсутствие исправных внутренних путей сообщения, и, конечно, в гораздо большей степени, чем дурное состояние нашего огнестрельного оружия. Во скольких случаях было ослабляемо наше влияние именно по недостаточности нашего флота? Упомянем лишь о продаже американских колоний, которая этим только и объясняется; о возмущении в Канаде, которое, конечно, имело бы благоприятнейший исход, если бы мы могли подкрепить наши желания достаточным числом панцирных и других судов. Не гораздо ли плодотворнее для нас и даже для обеих сторон была бы наша дружба с Америкой как в канадском, так и в других делах, если бы мы со своей стороны могли протянуть американцам дружескую руку из нескольких десятков броненосцев?

Но, хотя по словам поэта, обращенным к России,

И семь морей немолчным плеском
Поют тебе хвалебный хор[14],

шесть из них или вовсе ни на что, или мало на что ей годятся, по крайней мере, в отношении к военным флотам и к политическому могуществу. Аральское море, если оно было на счету у поэта, принадлежит к первой категории, т.е. ровно никуда не годится, так что было бы даже полезнее его высушить, направив впадающие в него Дарьи в Каспийское море; Ледовитый океан относится к тому же разряду, исключая лишь его Беломорский залив, имевший некогда и могущий вновь приобрести большое

торговое значение. Каспийское море очень важно, но только не в политическом, а в рыболовном отношении. Восточный, или Великий, океан, на который возлагали такие сангвинические надежды после присоединения Амурского края, при хорошем употреблении его берегов может быть поприщем морских партизанских действий, да и то не в больших размерах. Но, несмотря на эффект, произведенный «Алабамой» в американской междоусобице и Денисом Давыдовым в Отечественную войну[15], все-таки, кажется мне, можно оставаться при убеждении, что партизанские действия как на море, так и на суше никогда еще не имели, да едва ли когда и будут иметь сколько-нибудь решительное влияние на судьбы народов или войн.

Относительно Балтийского моря, единственного, на котором мы имеем теперь флот, я должен причислить себя к сторонникам того мнения, считаемого некоторыми непатриотическим, которое видит в Балтийском флоте не более как средство, хотя важное и даже существенно необходимое, для обороны наших балтийских берегов или, может быть, далее только для содействия Кронштадту и Кроншлоту[16] к обороне Петербурга.

Входы и выходы из Балтийского моря не в наших руках и попасть в наши руки никоим образом не могут. Мы не можем, следовательно, по нашему произволу оказывать влияние на ход всемирных событий нашей балтийской морской силой. После победоносных войн со Швецией[17] и упадка сил этого государства, поднявшегося было на не соответствующую ему высоту могущества, мы могли думать, что господствовали, по крайней мере, хотя в этом внутреннем море; но и это господство было только мнимым, ибо союзные флоты Англии и Франции заставили нас укрыться в укрепленной гавани[18]. С усилением Пруссии и объединением Германии перевес на водах Балтийского моря должен, по естественному ходу вещей, со временем перейти к Пруссии, потому что она владеет лучшей незамерзающей частью его и, вероятно, скоро будет иметь свой собственный вход и выход из него посредством Гольштейнского канала[19]. Если даже при больших усилиях с нашей стороны мы и не уступим Германии перевеса, которым доселе пользовались

в Балтийском море, по крайней мере, во время мира с великими морскими державами, то, во всяком случае, должны будем разделить с ней наше господство. Невозможно, чтобы Германия, обладающая значительным торговым флотом и приобретшая вместе с Гольштейном превосходные гавани, не стремилась сделаться действительно сильной морской державой и чтобы усилия ее не увенчались успехом. Это до такой степени естественно, что противиться такому ходу вещей было бы весьма странно с нашей стороны, ибо всегда нерасчетливо становиться поперек дороги тому, что выдвигается вперед естественным ростом событий. Противиться усилению значения Пруссии или вообще Германии на море из-за того, что это дает нам соперника на Балтийском море, значило бы принять в отношении к ней ту несправедливую и недоброжелательную политику, которой руководствуется Европа на Востоке, политику, которую можно назвать в полном смысле отрицательной, так как она заключается единственно в нанесении нам и развитию единоверных соплеменных и сочувственных нам народов всевозможного вреда без всякой прямой от этого для себя пользы.

Впрочем, и жертва, налагаемая на нас разделом господства на Балтийском море, не так велика, как кажется; ибо и до сего времени мы должны были разделять его с таким могущественным соперником, перед которым не только Пруссия и Германия, но даже и английское морское владычество совершенно ничтожны. Я разумею владычество державы льда. Правда, у нас с ней заключен оборонительный союз, по которому она охраняет наши берега в течение полугода; но зато она в союзе с нашими врагами в случае наступательных с нашей стороны действий, целые полгода не выпуская наших флотов из гаваней и заставляя их возвращаться в них к определенному сроку во что бы то ни стало под страхом совершенного отрезания отступления. Может ли существовать при таких условиях деятельная влиятельная морская сила?

Одно Черное море в состоянии дать России силу и влияние на морях, – и притом именно тот род силы и влияния, тот характер морского могущества, к которому она способна по

всем своим географическим, этнографическим и политическим условиям. Россия не может быть сильна на море в том же смысле, как Англия, Америка или даже Франция, – быть, так сказать, океанической морской державой, корабли которой разбросаны по всем широтам и долготам и разносят имя и влияние своего отечества по островам и прибрежьям всего земного шара. Такой морской державой не может она быть не потому только, что не имеет ни колоний, которые следовало бы защищать, ни торговых флотов, которым надо бы было оказывать покровительство на дальних морях, но и потому, что такая разбросанная деятельность совершенно не в духе России и русских. Она двигается только дружным напором, стеной, как волна морского прилива, медленно, постепенно, но зато неудержимо затопляющая берег, а не как отдельные ключи, там и сям пробивающиеся сквозь почву.

Так же точно не может Россия иметь такой морской силы, которая, как в Англии или Америке, так сказать, вытекает из недр народной жизни, которая основана, с одной стороны, на сотнях тысяч матросов, составляющих целое многочисленное сословие и могущих в случае нужды снабдить государство обширным контингентом опытных моряков; с другой же – на верфях, машинных, пароходных и других промышленных заведениях, приготовляющих всякого рода снасти и предметы для потребностей торгового флота, заведениях, которые в случае нужды также могут снабжать государство новыми и новыми запасами судов и разных морских принадлежностей в неопределенном количестве. Россия может иметь только государственный флот, т.е. содержимый и питаемый во всех отраслях своих государством на государственные же средства, который, следовательно, при огромных расходах на сухопутную военную силу, всегда составляющую и всегда будущую составлять главную опору русского могущества, не может никогда быть ни многочислен, ни поддерживаем резервом, всегда готовым заместить убыль как в людях, так и в судах и материалах.

Поэтому Россия, подобно искусному и осторожному полководцу в укрепленном лагере, принуждена заменять отно-

сительный численный недостаток своего флота счастливо избранным местоположением и фортификационными верками. Такой укрепленный морской лагерь, единственный в целом мире, и дает России природа в Черном море, с его рядом дефилей – Дарданеллами и Босфором и Керченским проливом, с передовым плацдармом – Мраморным морем – с обширным внутренним пространством, самим Черным морем – как бы рейдом, в котором флот может обучаться и приобретать всю необходимую морскую практику; с редьюитами или цитаделями в Керченской и Севастопольской бухтах; с запасными арсеналами в Николаеве. При удобном случае флот может делать вылазки; разгромлять неприятельские эскадры, которые ему под силу; защищать Адриатическое и Эгейское прибрежья; высылать крейсера в Средиземное и Красное море; угрожать Суэцкому каналу, Мальте, Тулону; укрываться в случае неудачи или перед превосходными неприятельскими силами в свое недоступное убежище; устраиваться и комплектоваться там на просторе и выступать на новые подвиги при изменившихся благоприятствующих обстоятельствах, всегда располагая выбором удобного времени.

4) Наконец, в нравственном отношении обладание Константинополем, центром православия, средоточием великих исторических воспоминаний, дало бы России громадное влияние на все страны Востока. Она вступила бы в свое историческое наследие и явилась бы восстановительницей Восточной Римской империи, – подобно тому, как некогда монархия Франков восстановила империю Западную, и таким же образом начала бы новую, Славянскую, эру Всемирной истории.

Итак, защита и полное обеспечение той именно границы, с которой Россия наиболее уязвима; сокращение в одну точку 2500 верст пограничной линии и соединенная с этим экономия военных и финансовых сил; единственное средство приобрести значение сильной морской державы; огромное нравственное влияние – вот те прямые положительные выгоды, которые доставило бы России обладание Константинополем, тогда как для всех прочих государств обладание им было бы или гибель-

но, как для Греции, или доставило бы чисто отрицательную выгоду, состоящую в возможности постоянно вредить России, сопряженную притом с огромным вредом для самих себя.

Если мы, однако же, глубже вникнем в предмет, то найдем, что прямое и непосредственное присоединение Константинополя и его окрестностей к России не осталось бы и для нее без очень вредных, может быть, даже и гибельных последствий.

Гюго в своей оде к скульптору Давиду говорит про низверженные с пьедесталов статуи:

Et de leur bronze auguste on ne peut faire
Que des cloches pour la prière,
Ou des canons pour le combat[20].

Так и некоторые города, хотя и низверженные с пьедестала своего прежнего величия, суть представители такой великой властительной идеи, имеют такое царственное значение, что при всех переменах своей исторической судьбы они должны занять первое место в том государстве, в состав которого входят, – непременно делаются или остаются его столицей. Так Италия нигде не может отыскать своего центра, кроме Рима; так и наша Москва, несмотря на то, что была развенчана Петром, все-таки остается, – и по жизненному значению своему, и по понятию, которое соединяет с ней народ, и по своей исторической и экономической роли истинной столицей Русского государства, его жизненным узлом. Таков и Царьград, и вступать с ним в этом отношении в борьбу опасно не только Петербургу, но даже и самой Москве. Но с другой стороны, столица, лежащая не только не в центре, но даже вне территории государства, не может не произвести замешательства в отправлениях государственной и народной жизни, не произвести уродства неправильным отклонением жизненных физических и духовных соков в политическом организме.

Сравнительно в малых размерах испытала это уже Россия на себе официальным перенесением государственного центра из Москвы в Петербург. Я привожу это только в виде

примера и не намерен распространяться об этом предмете, так как он был много раз обсуждаем в нашем обществе словесно, рукописно и печатно, и особенно нового к известному уже я ничего прибавить не имею. Но Петербург, несмотря на все, что было для него сделано, на все потраченные на него силы, по самым своим топографическим и климатическим условиям, по сложившемуся в нем характеру жизни, сильно окрашенному столь несочувственным русскому сердцу немецким элементом, по чопорности, холодности, натянутости, одним словом, по официальности своего строя, заключает в себе очень много отталкивающего для русских людей, между которыми во всех слоях общества очень мало таких, которые любили бы его, – я не говорю об уроженцах и кровных петербургских жителях, ибо, как известно, привычка – вторая натура. К тому же Петербург не имеет никакого исторического обаяния, в нем не совершилось ни одного события, которое заставляло бы сжиматься от горя, биться от гордости, расширяться от радости русское сердце. Если в нем обдумывалось и утверждалось такое великое дело, как освобождение крестьян, то Петербург, как Петербург, нисколько в этом не участвовал. Во сколько же раз должна быть сильнее притягательная сила Константинополя! Цель стремлений русского народа с самой зари его государственности, идеал просвещения, славы, роскоши и величия для наших предков, центр православия, яблоко раздора между нами и Европой, – какое историческое значение имел бы для нас Константинополь, вырванный из рук турок вопреки всей Европе! Каким дух занимающим восторгом наполнило бы наши сердца сияние нами воздвигнутого креста на куполе святой Софии! Прибавьте к этому перечисленные в начале главы несравненные преимущества Константинополя, его мировое, торговое значение, восхитительное местоположение, все очарования юга. При всем этом дозволено, конечно, опасаться, чтобы Константинополь, сделавшись столицей России, не привлек к себе в слишком значительной степени нравственных, умственных и материальных сил России и тем не нарушил в ней жизненного равновесия.

Итак, Константинополь не должен быть столицей России, не должен сосредоточивать в себе ее народной и государственной жизни и, следовательно, не должен и входить в непосредственный состав Русского государства. Чтобы доставить России все исчисленные выше выгоды, не нанося ей легко предвидимого вреда, – освобожденный Константинополь, преображенный в настоящий Царьград, должен быть сам по себе чем-то больше, нежели столицей Русского царства, в отношении же к России быть меньше этого; не должен быть с ней в слишком тесной связи, иметь такое материнское значение, на которое имеет право только одна Москва. Одним словом, Царьград должен быть столицей не России, а всего Всеславянского союза.

Таким образом, общий взгляд на развитие культурно-исторических типов, показавший нам, что оно достигает наибольшей полноты, силы и блеска при известном отношении между требованиями единства и разнообразия составных элементов, исследование тех условий, в которых находятся славянские народы Австрии и Турции, их отношений друг к другу и к окружающим их со всех сторон враждебным стихиям, и, наконец, рассмотрение судеб Константинополя приводят нас к одному и тому же решению Восточного вопроса – к федерации славянских народов и всех вкрапленных между ними инородных племен.

Мы видели, что только России может принести обладание Константинополем действительную, положительную пользу, – но это справедливо только по отношению к европейским государствам; всем же тем народам, которые живут в прилежащей к Черному морю части Турции, равно как и по всему бассейну нижнего и верхнего Дуная, – Константинополь представляет многие из тех выгод, которые может извлечь из него Россия. Поэтому невключение Босфорской столицы в непосредственный состав Русского государства требуется не только частными интересами этого последнего, но и самой справедливостью. Наконец, предложенное решение судьбы Константинополя, в сущности, более всего соответствует и истинным видам на него греков. Он дорог им как символ величия их предков; но,

будучи отдан в их полное и исключительное владение, он, разжалованный в столицу незначительного государства, или потерял бы свое всемирное историческое значение, или раздавил бы само это государство под тяжестью этого значения, как здание, раздавливающее свой фундамент, несоразмерный с его громадностью. Маленький греческий народ, хотя бы столицей его был сделан Константинополь, никаким образом не воскресил бы в себе Византийской империи. Царство Константина, Феодосия и Юстиниана может ожить только в форме славяно-греческой федерации, и только таким образом может и Греция принять участие в его славе и величии.

Итак, с какой бы стороны мы ни подступали к делу, – Всеславянская федерация с Россией во главе, со столицей в Царьграде, – вот единственно разумное, осмысленное решение великой исторической задачи, получившей в последнее время название Восточного вопроса. Всмотримся же, насколько возможно, в самые существенные, в самые крупные черты этой федерации. Из фактов всемирно-исторического опыта, расположенных сообразно требованиям естественной системы, мы, между прочим, вывели (см. гл. V), что, дабы цивилизация, свойственная самобытному культурно-историческому типу, могла зародиться и развиться, необходимо, чтобы народы, к нему принадлежащие, были политически независимы, и что цивилизация культурного типа тогда только достигает полноты, разнообразия и богатства, когда разнообразные этнографические элементы, его составляющие, не поглощены одним политическим целым; на этих основаниях и полагали мы, что почвой для развития славянской культуры должна быть федерация независимых славянских народов. В другом месте нашей книги (см. гл. X) мы выразили и старались доказать ту мысль, что тесность политической связи, долженствующей соединять родственные между собой народности, определяется не только степенью их родства, но еще и степенью той опасности, силой того давления, которому эти народности подвержены извне, обороной от которого и должна именно служить объединяющая их политическая форма сожительства. Неумение

сообразовать степень федеративной связи с этими внешними обстоятельствами может легко послужить причиной гибели народной самостоятельности, как это и случилось с Грецией в македонские и римские времена.

Положение славян лицом к лицу с враждебным им Западом есть та причина, которая заставляет желать для них весьма тесной федеративной связи под политическим водительством и гегемонией России, – на что Россия имеет законнейшие права, как по сравнительным силам своим с прочими членами славянской семьи, так и по ее многовековым опытом доказанной политической самостоятельности. Несмотря на частые уклонения России от здравого политического пути, особенно в последнее послеекатерининское время, все-таки она и только одна она между всеми славянскими государствами сумела при самых неблагоприятных обстоятельствах не только сохранить свою самостоятельность, но объединить почти весь русский народ и образовать могущественнейшее в мире государство.

Но для политической крепости Всеславянского союза недостаточно еще бесспорного предоставления в нем России гегемонического преобладания; сами второстепенные группы или члены союза должны представлять во внутреннем своем устройстве также достаточное ручательство силы и единства. Дробление, к которому так склонны преимущественно австрийские славяне, долго жившие под воздействием принципа «Divide et impera»[21], не должно переходить границ больших лингвистических и этнографических групп, на которые они делятся. Деление по мелким племенным оттенкам, в каждый из которых легко вселить притязание на политическую самостоятельность, имело бы то существенное неудобство, что такие мелкие единицы имели бы весьма мало побудительных причин участвовать всеми своими силами в тех тягостях, которые налагаются великой политической ролью.

Участие мелкого члена большого государственного союза во внешних делах сравнительно так ничтожно, что приходящаяся на него доля успеха совершенно исчезает в славе, приобретаемой преобладающим членом союза, а доля неудачи – в

падающих исключительно на него стыде и ответственности; между тем как, в сущности, материальное бремя, ложащееся на население мелкого государства, при справедливом распределении тягостей совершенно одинаково с тем, которое приходится нести подданным могущественного главы союза. Это материальное бремя не только не получает нравственного вознаграждения славой и влиянием, но ничтожность доставляемого им контингента служит даже обыкновенно предметом глумлений и насмешек над разными Рейсами и Липпе[22]. Посему мелкие члены союза, мало интересуясь общими внешними делами его, по возможности уклоняются от союзных обязанностей, несут их только формально, и в конечном результате все бремя войн и вообще ведения внешних дел союза падает почти исключительно на могущественнейшего его члена. Примером сему может служить бывшая Германская империя. В ней вся тяжесть обороны падала на австрийские наследственные земли. Напротив того, государства средней величины, которые хотя и не могут оспаривать первенствующего влияния у главы союза и обращать его гегемонию в систему пагубного дуализма, как в бывшем Германском союзе, имеют, однако же, достаточное сознание своей силы, чтобы принимать деятельное участие в делах союза и интересоваться ими. Войска и флоты этих государств имеют достаточно силы, чтобы существенным образом помогать в общих усилиях и заставить ощущать свое отсутствие; их армии могут быть даже главными деятелями на побочных театрах войны. Поэтому на такое государство в достаточной силе ложится и блеск общей славы, и стыд общей неудачи для того, чтобы оно напрягало все свои частные усилия для поддержания и приобретения первой и для избежания второго.

Мелкие государства представляют, правда, меньше противодействия объединительным замыслам главы союза, скорее подчиняются ей, сохраняя даже во внутренних делах одну лишь форму независимости. Пруссия, например, конечно, менее может ожидать противодействия со стороны Брауншвейга или Ольденбурга, чем со стороны Саксонии, но, с нашей точки зрения, это не выгода и не преимущество, а, напротив того, –

вред и недостаток, ибо для величия и культурного значения семьи славянских народов нужно, чтоб образ Славянского мира представлялся не в виде слияния славянских ручьев с русским морем, по выражению Пушкина, а в виде обширного океана с самобытными, хотя соединенными и соподчиненными частями, т.е. морями и глубокими заливами. Нужно не поглощение славян Россией, а объединение всех славянских народов общей идеей Всеславянства как в политическом, так и в культурном отношении, и в первом – главнейше и преимущественно для возможности осуществления последнего.

Посему думаем мы, что только большие этнографические и лингвистические группы, на которые разделяется Славянский мир, могут составлять те политические единицы, совершенно независимые во внутренних своих делах, которые должны войти как самостоятельные целые в Общеславянский союз.

Приверженцы самостоятельности всякого мелкого этнографического оттенка возражают против этого, что таким образом приносятся в жертву некоторые более честолюбивые народности, как, например, чехи и сербы, [а также] другие народности, более скромные, и выставляют также на вид трудно примиримые исторические соперничества, существующие между некоторыми племенами, которые попеременно играли в отношении друг к другу преобладающую роль. Возражение это имело бы действительно силу, если бы вопрос заключался в образовании вполне самодержавных, верховных славянских политических единиц, не соединенных между собой никакой определенной связью, на развалинах нынешних Турции и Австрии. Тогда действительно имело бы место какое-нибудь специальное сербское честолюбие, которое стремилось бы для своего усиления не только преобладать над словенцами и хорватами, как мадьяры над немадьярскими элементами Венгрии, но даже включить как подчиненную народность в состав своего государства этнографически вполне самостоятельных болгар. Но всякое не только специально чешское или специально сербское честолюбие, но даже и специально русское честолюбие должно при тесной федерации славянских

народов поглотиться одним – всеславянским честолюбием. При таком устройстве политической судьбы Славянского мира нужно только, чтобы второстепенные члены союза были достаточно сильны, чтобы охранять свою внутреннюю самостоятельность, чтобы не расплываться в ничтожестве крайнего раздробления, чтобы иметь сознание своего деятельного влияния в общем ходе союзных дел. Что касается до внутренних распорядков каждого из непосредственных членов союза, то ничто не препятствует предоставить их составным частям всю желаемую степень административной децентрализации и областной самобытности.

Таким образом, соответственно главным этнографическим группам, на которые разделяются как Славянский мир, так и племена, принадлежащие к нему по месту своего жительства, а большей частью также по своим действительным, ненапускным нравственным тяготениям, – Всеславянский союз должен бы состоять из следующих государств:

Русской империи с присоединением к ней всей Галиции и угорской Руси.

Королевства Чехо-Мораво-Словакского, состоящего, кроме собственной Чехии, из Моравии и северо-западной Венгрии, населенной исключительно или преимущественно словаками, приблизительно с 9 000 000 жителей и 1800 кв. миль пространства.

Королевства Сербо-Хорвато-Словенского, состоящего из княжества Сербского, Черногории, Боснии, Герцеговины, Старой Сербии, северной Албании, Сербского воеводства и Баната, Хорватии, Славонии, Далмации, Военной Границы, герцогства Крайны, Герца, Градиски, Истрии, Триестского округа, двух третей Каринтии и одной пятой Штирии по Драву, – с населением приблизительно в 8 000 000 на 4500 кв. милях пространства.

Королевства Болгарского с Болгарией, большей частью Румынии и Македонии с 6 000 000 или 7 000 000 жителей и с лишком 3000 кв. миль.

Королевства Румынского с Валахией, Молдавией, частью Буковины, половиной Трансильвании, приблизительно по реку

Марош, и с населенной преимущественно молдаванами западной окраиной Бессарабии, взамен которой Россия должна бы получить отошедшую от нее часть южной Бессарабии с Дунайской дельтой и полуостров Добруджу. Это составило бы около 7 000 000 населения и более 3000 кв. миль.

Королевства Эллинского с присоединением к нынешнему его составу Фессалии, Эпира, юго-западной части Македонии, всех островов Архипелага, Родоса, Крита, Кипра и малоазийского побережья Эгейского моря, приблизительно с 2800 или 3000 кв. миль и с населением с лишком в 4 000 000 жителей.

Королевства Мадьярского, т.е. Венгрии и Трансильвании, за отделением тех частей их, которые не населены мадьярским племенем и должны отойти к России, Чехии, Сербии и Румынии; приблизительно с 7 000 000 жителей и около 3000 кв. миль пространства.

Царьградского Округа с прилегающими частями Румынии и Малой Азии, окружающими Босфор, Мраморное море и Дарданеллы, с полуостровом Галлиполи и островом Тенедосом, приблизительно с двумя миллионами народонаселения.

Такой союз по большей части родственных по духу и крови народов, в 125 млн. свежего населения*, получивших в Царьграде естественный центр своего нравственного и материального единства, – дал бы единственно полное, разумное, а потому и единственно возможное решение Восточного вопроса. Владея только тем, что ему по праву принадлежит, никому не угрожая и не боясь никаких угроз, он мог бы противостоять всем бурям и невзгодам и спокойно идти путем самобытного развития в полноте своих народных сил и при самом счастливом взаимодействии разнообразных родственных стихий, его составляющих, образуя, соответственно своему этнографическому составу, религиозному просвещению и историческому воспитанию, особый культурно-исторический тип, укрепленный долголетней борьбой против враждебных внешних сил, держащих в настоящее время народы его в разъединении, борьбой, без которой он не может установиться.

* Теперь 140 миллионов – *Посмертн. примеч.*

Рассуждая о Восточном вопросе, мы говорили о его турецкой и австрийской части, говорили о первостепенном значении в нем Царьграда, но ни слова не сказали еще о польской части этого сложного и запутанного дела. Мы не сделали этого до сих пор потому, что, на наш взгляд, Польский вопрос не может получить окончательного решения вне общего решения всех славянских вопросов; так что нам казалось необходимым выяснить сначала всю нашу мысль во всей ее определенности о судьбе и целях Славянства, прежде чем начать говорить о Польском деле.

Смотря по тому, как сложатся политические обстоятельства, каков будет характер действия русского правительства, какова степень их твердости и постоянства, какое господствующее направление примет русское общественное мнение, как будет оно воздействовать и непосредственно на польские элементы, и на деятелей правительства, наконец, смотря по характеру развития польского общества и господствующих в нем идей, – Польше предстоят в будущем, конечно, весьма различные судьбы, которые, однако же, кажется нам, могут быть все подведены под четыре возможности. Мы говорим здесь, конечно, только о Польше в собственном, настоящем смысле этого слова, т.е. стране, населенной польским народом. Что касается до западных губерний, то само собой разумеется, что им, пока жива сама Россия, не может предстоять никаких иных возможностей, кроме всеполнейшего и полнейшего, всестороннего слияния с остальными частями государства.

Допустим, во-первых, дурной поворот дел для России, – что мечты поляков сбудутся, что им удастся образовать, в тех или других размерах, независимое государство. Оно сделается, несомненно, центром революционных интриг (как это мы видели даже в маленьком Кракове, когда он был вольным городом), преимущественно направленных на западные губернии России. Очевидно, что России нельзя будет этого терпеть, что при первой возможности она должна будет стараться уничтожить вредное для нее гнездо. Польша должна, следовательно, сделаться театром часто повторяющихся войн и терпеть в ма-

териальном отношении страшные разорения, как это и было в последние времена Речи Посполитой. Но, чтобы иметь возможность противостоять России, Польше необходимо будет жить в наилучших ладах с ее западными соседями, немцами, которые, конечно, не упустят случая своими капиталами, колонизацией, политическим и культурным влиянием прибрать к своим рукам эту страну так же хорошо, как если бы она состояла в непосредственной зависимости от Германии, – одним словом, не упустят сделать то, что уже было сделано при подобных обстоятельствах с Восточной и Западной Пруссией, с Силезией. Независимость Польского государства была бы гибелью польского народа, поглощением его немецкой народностью.

Но, может быть, возразят, что, получив независимость, поляки добровольно примкнут к России и, перестав быть ее подданными, станут верными ее союзниками и доброжелателями. Кто же мешал им действовать таким образом, когда Царство Польское, именно в этих видах, было восстановлено и присоединено к России Александром I[23] со всеми возможными льготами, на правах чисто личного соединения? Каких новых льгот не достигли бы они таким путем? Кто мешает им действовать так даже и теперь, чтобы, без сомнения, скоро вернуть те льготы, которые они мало-помалу растеряли своими повторенными безумствами?[24] Очевидно, что ни вследствие характера нынешней польской интеллигенции, когда ей дана будет полная возможность развернуться, ни вследствие беспрерывных подстрекательств наших западных друзей – такой исход дела не представляет ни малейшей вероятности. С другой стороны, можно указать на чехов, хотя и окруженных со всех почти сторон немцами, но не потерявших, однако, своей народности. Но чехи не имеют, во-первых, надобности дружиться с немцами для каких бы то ни было посторонних целей, и в них именно видят они главных и даже единственных своих врагов. Во-вторых, вся предыдущая история чехов, все славные деяния их, как в давно, так и недавно прошедшее время напоминают им их борьбу с немцами, их стремление возвратиться к тем живым корням Славянства, которыми оно по-

черпает свою духовную, нравственную жизнь, напоминают им их вклады в общую славянскую сокровищницу.

Вторая возможность наступает, если Польша останется, как и теперь, в соединении с Русским государством, а польское общество останется тем же неизлечимым больным, каким оно до сих пор было; если как эмигранты, так и внутренние зловредные элементы сохранят свое влияние и, вербуя себе все новых и новых адептов в подрастающей молодежи, увековечат эту язву, которая так долго разъедает всю страну. В этом случае, возможном только при непоследовательностях со стороны русского правительств и русского общественного мнения, при послаблении от времени до времени польским интригам, – русская рука в общем ходе дел все-таки принуждена будет чаще и чаще надевать ежовую муравьевскую рукавицу[25] и все крепче и крепче сжимать ее. Это будет продолжением теперешнего порядка вещей, болезненного как для России, так и для Польши.

Если, напротив того, и русская государственная, и русская общественная сила будут действовать последовательно, в здраво понятых русских интересах, которые суть вместе с тем и здраво понятые польские интересы, без всякого мироволенья польщизне, будет ли то якобы во имя цивилизации или во имя крупного землевладения и каких-то сословных интересов, которыми никакое действительно русское сословие не интересуется, – то дóлжно ожидать, что и в самой Польше здравые народные инстинкты возымеют верх над вредными, разъедающими польское общество началами и стремлениями. В этом отношении, как и во многих других, наибольшую пользу должно ожидать не столько от непосредственного действия на самую Польшу, сколько на западные губернии России. Если в них дан будет перевес многочисленнейшим народным русским стихиям, а польские элементы, по большей части искусственно вызванные, будут обращены в подобающее им ничтожество, так чтобы польские замыслы и мечтания не находили там даже и того поверхностного отзыва и сочувствия, которыми они доселе питались, то сами эти замыслы и мечтания скоро бы улетучились или, по крайней мере, сделались бы совершенно без-

вредными, не имея под ногами, не скажу почвы, ибо таковой они и теперь не имеют, но обольщающего их миража почвы, для воссоздания Польского государства в противозаконных и противоестественных пределах 1772 года. В этом случае польскому народу предстояло бы или постепенное слитие с родственным ему русским народом, или же, при сохранении своей национальности, очищенной продолжительным русским влиянием от приставших к ней зловредных, искажающих ее примесей, стать, подобно всем славянам, дружественным товарищем и пособником русскому народу в великом общеславянском деле, приобретая и для себя постепенно все большую и большую долю самостоятельности.

Первое не только маловероятно, но даже маложелательно.

Маловероятно потому, что народ, живший исторической жизнью, отпечатлевший ее в обширной литературе, почти лишен возможности совершенно переродиться, перестать быть самим собой, если его не обезнародят насильственными мерами, а главное, не поработят промышленным преобладанием, не растворят в наплыве пришлых элементов. Относительно поляков это возможно для немцев, но никак не для русских: ибо никогда еще не видано, чтобы промышленные силы и колонизация направлялись из страны менее населенной, менее истощенной, более девственной в страну с более густым населением, более эксплуатируемую, с более напряженным промышленным движением.

Маложелательно потому, что русский народ и теперь уже так многочислен, что не нуждается в усилении за чужой счет, а потеря одной из составных частей Славянства лишила бы его одной из разнообразящих его черт, так существенно важных для богатства и полноты жизни культурно-исторических типов. Эта польская черта в общем славянском характере представляется нам чем-то искажающим его и потому ненавистным. Но разберем, в чем и где заключается это искажение. Оно – не в польском народе, не в специально польских качествах ума, чувства и воли, в которых мы найдем много драгоценного, много сочувственного; укажем, в этом отношении, на трех по-

ляков – представителей этих трех сторон человеческого духа: Коперника, Мицкевича и Костюшко. Искажение это заключается в так называемой польской интеллигенции и именно в трех сторонах ее: католическо-ксендзовской, аристократическо-шляхетской и демократическо-революционной. Подводя общий итог и этим трем сторонам польской интеллигенции, мы увидим, что он заключается в коренном извращении, обезображении польско-славянской натуры чуждыми ей европейскими влияниями – подражательным европейничаньем.

Этим мы вовсе не хотим сказать, чтобы производящие это влияние явления европейской жизни были дурны сами по себе; мы утверждаем только, что они, пересаженные на чуждую, несвойственную им почву, обращаются в уродство. Католичество, хотя оно уже и само по себе одно из искажений христианства, принесло, однако же, на той почве, где самобытно развилось, много величественных явлений и полезных плодов; но на польской почве обратилось оно в ксендзство. Аристократизм, произведший в Европе вообще рыцарство, в Англии – славный институт пэрства, во Франции – ее блистательное дворянство и изящные, хотя и искусственные формы общественной жизни, даже в Венгрии – ее политически развитое магнатство, столько сделавшее для промышленного преуспеяния страны и просвещения народа; в Польше же этот аристократизм обратил высшие сословия в ясновельможное панство и шляхетство, а низшие – в быдло. Наконец, демократизм и революция, которым Европа обязана уничтожением многих злоупотреблений, многими свободными учреждениями, которые слишком долго было бы здесь перечислять даже в виде примеров, – производили в Польше только сеймики, конфедерации, «не позволям», народный жонд, кинжальщиков и жандармов-вешателей. Итак, тройственное искажение польского народного характера вкравшимися в него в течение исторической жизни Польши чуждыми элементами – вот что должно быть ненавистно нам в поляке, и только одно это*.

* Так и у нас, революция и европейничанье произвели нигилизм и гнусность террористов. – *Посмертн. прим.*

Но не об усилении ли этого самого чуждого влияния и у нас в России хлопотало и хлопочет так называемое западничество во всех его разнообразных оттенках, от идеализма Грановского до нигилизма Добролюбова и Писарева, с одной, до феодализма, или, если угодно, цивилизованного крепостничества «Вести» и «Нового времени»[26], с другой, и до отступничества патера иезуита Гагарина[27] – с третьей стороны? Все они одинаково черпают свои идеи не внутри русской жизни, а вне ее; не стараются отыскать сохранившееся еще зерно истинно русской жизни и развить его в самобытное самостоятельное целое. У всех этих направлений один идеал – Европа. Этот идеал одни видят, правда, в отживших уже или отживающих ее формах: в английской аристократии или даже в мекленбургском юнкерстве. Другие, так сказать, нормальные либералы и западники, – в том, что составляет современную жизнь Европы, в ее конституционализме, промышленном движении, крайнем развитии личности и т.д. Третьи, наконец, видят этот идеал в явлениях, продуктах и деятелях начавшегося разложения европейской жизни: в разных социальных системах или в революционной организации и пропаганде. Как ни различны эти три категории предметов поклонения, они все-таки явления одной и той же цивилизации, одного и того же культурного типа, который всеми ими принимается за единственно возможный, общечеловеческий, и потому все эти несамостоятельные направления мысли и жизни в России одинаково подводятся под общее родовое определение – западничества, или европейничанья. Поэтому, например, нет ничего странного в том, что «Весть» может поклоняться Грановскому, объявлять его знамя своим знаменем, гореть общим с ним негодованием против славянофилов и заодно с издателями его биографии клеветать на них. Все это одного поля ягоды!

Не в этом ли заключается и причина сочувствия, оказываемого полякам всеми этими оттенками одного и того же направления? Для них (все равно, сознают ли они это или не сознают) поляк (опять-таки поляк шляхетный) есть, в сущности, осуществление того идеала, по которому они хотели бы

выкроить и русского, желая видеть в нем вполне оевропеенного славянина. Многие станут чураться такого предположения; скажут, что, по их мнению, идеал не поляк, а чистокровный француз, немец, англичанин, или, еще лучше, ни один из них в частности, а европеец вообще. Но, по несчастью, во-первых, такового европейца вообще вовсе не имеется; во-вторых же, русский, как он ни кажется податлив, все-таки не бесформенная мягкая глина, из которой лепи что угодно, а нечто данное и определенное уже природой, которое можно извратить, исказить, но нельзя пересоздать; точно так же, как и поляк не мог превратиться ни в отвлеченного, ни в конкретного какого-нибудь европейца, а мог сделаться только искаженным и обезображенным славянином. Таковы будут всегда результаты отрешения от национальных и вообще от естественных определений, в каковом отрешении, по формуле знаменитого московского профессора[28], будто бы и заключается сущность исторического процесса.

Остается, следовательно, один только последний, четвертый случай, который был бы не только возможен, но вместе с тем и желателен, – на него мы указали уже выше. Но эта счастливая судьба может открыться для Польши и поляков не иначе как при посредстве Всеславянской федерации. В качестве члена союза, будучи самостоятельна и независима, в форме ли личного соединения с Россией или даже без оного, она была бы свободна только во благо, а не во вред общеславянскому делу. Силы Польши были бы в распоряжении союза, а всякое действие ее против России было бы действием не против нее только, а против всего Славянства (одну из составных частей которого она сама бы составляла), было бы, следовательно, изменой против самой себя.

Таким образом, Всеславянская федерация, и только одна эта форма решения Восточного вопроса, решает удовлетворительно все отдельные стороны Славянской задачи: русскую, австрийскую, турецкую, царьградскую и польскую, потому что она одна доставляет твердую почву, на которой возможно самобытное развитие славянского культурно-исторического

типа, политически независимого, сильного извне, разнообразного внутри.

Мне остается еще обсудить те возражения, которые или сами собой представляются уму, или даже были уже делаемы против Всеславянской федерации, мысль о которой, хотя, собственно, и не нова, не была еще, кажется мне, высказана с полной ясностью и определенностью. Надеюсь, что при этом обсуждении не только важность, но даже неизбежная необходимость этой федерации для всех частей славянского мира будет выказываться все в большем и в большем свете.

ГЛАВА XV
Всеславянский союз

Всеславянский союз есть единственная твердая почва, на которой может возрасти самобытная славянская культура, – условие sine qua non ее развития. Таков общий смысл, главный вывод всего нашего исследования. Поэтому мы не станем приводить теперь доказательств значения, пользы и необходимости такого устройства Славянского мира с культурно-исторической точки зрения; в этой главе я имею в виду раскрыть важность, пользу и необходимость объединения славянской семьи в союзной федеративной форме лишь с более узкой, чисто политической точки зрения.

Мы видели выше, что с общей культурно-исторической точки зрения Россия не может считаться составной частью Европы ни по происхождению, ни по усыновлению; что ей предстоят только две возможности: или вместе с прочими славянами образовать особую, самостоятельную культурную единицу, или лишиться всякого культурно-исторического значения – быть ничем. Немудрено усмотреть, что это вполне применяется и к политической сфере в тесном смысле этого слова. Можно ли быть и оставаться членом союза или общества, во всех отношениях нам враждебного, терпящего нас единственно ради извлечения из нас выгод без соответственного возна-

граждения. Союз, общество, – одним словом, всякая связь лиц, народов и государств, – возможны только при взаимности, обоюдности услуг и выгод; когда же первые требуются только от одной стороны, а вторые достаются только другой, то такие отношения нельзя назвать другим именем, как эксплуатацией слабого, глупого или доверчивого сильным, умным, лукавым, или попросту – одурачиваньем. Если вникнем в роль, которую Россия играла в обществе европейских государств, в так называемой политической системе Европы, с самого того времени, как стала деятельным членом ее, то едва ли найдем другие выражения для характеристики этой роли.

Под вступлением России в европейскую политическую систему можно, конечно, понимать не иное что, как усвоение себе ею европейских интересов, принятие живого участия в тех партиях, на которые Европа разделяется, содействие – не только нравственным, но и материальным влиянием – той партии, которой она сочувствует, и такое же противодействие той, к которой относится враждебно. Простой же союз с тем или другим государством для достижения своих собственных выгод, для какой-нибудь временной общей цели не может еще считаться вступлением в систему той политической группы, к которой принадлежат эти случайные, временные союзники. Так, хотя в великой Северной войне[1] Россия воевала заодно с Польшей, Данией, Саксонией против Швеции, нельзя еще сказать, чтобы в этой войне Россия действовала в качестве государства, принадлежащего к европейской политической системе. Она воевала для достижения своих особых, специально русских целей, пользовалась при этом помощью других государств и еще в гораздо большей степени помогала им, – вот и все. Точно так же могла бы она, например, вступить в союз с Персией и Афганистаном для общей войны с Хивой, Бухарией и Кокандом, что нисколько не значило бы, что она стала членом среднеазиатской политической системы государств, если бы даже такая и существовала. В прошедшем столетии видим мы еще и такой пример: мы вмешались в совершенно чуждое нам европейское дело – в Семилетнюю войну; но это было со-

вершенной случайностью. Личное нерасположение Елизаветы к Фридриху поставило войска наши против прусского героя, личное же благоговение перед ним Петра III поставило их на его сторону, а политический смысл Екатерины, отозвав их, прекратил вмешательство России.

Совершенно другое видим мы с воцарением Павла, который раскаялся, правда, под конец в принятой им политической системе, как видно из одобренной им записки Ростопчина[2], но не успел ее переменить. С этого только времени европейские интересы начинают интересовать нас как наши собственные; мы начинаем желать успеха тому или другому из них, делая его своим интересом, хотя интерес этот и не имеет никакого специального к нам отношения. Поэтому, собственно говоря, Россия вступила в европейскую политическую систему не ранее кануна XIX столетия – именно суворовской Итальянской войной, ибо это была первая война, веденная нами из-за чуждых нам европейских интересов, в которых с этих пор мы и не переставали принимать участие, как в наших собственных, даже гораздо более, чем в наших собственных, почти постоянно жертвуя этими последними первым. Какую же пользу, спрашивается, извлекли мы из этого? Какая война, которую мы вели в качестве члена европейской системы, какой союз, какой мирный договор, который мы заключили в качестве европейской державы, принесли нам действительные выгоды? Мало того, в какой войне из веденных нами со специально русскими целями, в каком трактате или вообще в каком политическом отношении наши тесные отношения к Европе не служили препятствием, путами, связывающими наши действия?

Лучшим примером в этом отношении может служить знаменитый Священный союз. Каких жертв не приносила Россия для его целей! Испанские и итальянские волнения двадцатых годов заставляли ее, нуждавшуюся в отдыхе после напряжений наполеоновских войн, содержать многочисленную армию; восставшая Греция была предоставлена своей собственной судьбе; Краков был отдан Австрии; Венгрия усмирена. Но когда пришло время Священному союзу принести нам поль-

зу против союза западных держав, когда от наших союзников требовалось не помощи, а только строгого, беспристрастного нейтралитета, – Австрия перешла на сторону наших врагов, и союз рушился. И потом не наше ли влияние оказало неоцененную услугу Франции, воздержав Германию от вмешательства в Итальянскую войну; не Россия ли своим дружелюбным вмешательством предотвратила войну, готовую вспыхнуть из-за люксембургского вопроса? Пусть нам укажут хоть на одно подобное действие европейских держав на пользу России. Чего ни делала Россия для Германии и для Австрии, как ни бескорыстничала, а все же слыла за льва, рыкающего, ищущего, кого поглотить.

Новейшие события, начиная с Восточной войны и оканчивая войной Пруссии с Австрией, показали ясно, что нам не на кого опереться в Европе и что даже опоры этой нельзя купить никакими жертвами. Служа чужим целям, Россия могла казаться как бы настоящей главой Германии, но и это обольщение исчезло. Германия получила настоящую главу, имеющую на то все права, и мы остались одни не на деле только – так было уже давно, но и в самом нашем представлении о политическом порядке вещей. И оно должно быть так.

Эксплуатируя Россию, не принимая ее в настоящее, действительное общение с собой, Европа, с своей точки зрения, вполне права. Не принадлежа, в сущности, к Европе, Россия самыми размерами своими составляет уже аномалию в Германо-Романско-Европейском мире; и одно естественное увеличение роста ее народонаселения должно все более и более усиливать эту аномалию. Одним существованием своим Россия уже нарушает систему европейского равновесия. Ни одно государство не может отважиться воевать с Россией один на один, как это всего лучше доказывается Восточной войной, когда четыре государства, при помощи еще Австрии, более чем наполовину принявшей враждебное отношение к России, при самых невыгодных для нас, при самых выгодных для себя условиях, должны были употребить целый год на осаду одной приморской крепости[3], – и это не вследствие присутствия на русской

стороне какого-нибудь Фридриха, Суворова или Наполеона, а просто вследствие громадных средств России и несокрушимости духа ее защитников.

Нельзя не сознаться, что Россия слишком велика и могущественна, чтобы быть только одной из великих европейских держав; и если она могла занимать эту роль вот уже семьдесят лет, то не иначе как скорчиваясь, съеживаясь, не давая простора своим естественным стремлениям, отклоняясь от совершения своих судеб. И это умаление себя должно идти все в возрастающей прогрессии по мере естественного развития сил, так как по самой сущности дела экспансивная сила России гораздо больше, чем у государств Европы, и несоразмерность ее с требованиями политики равновесия должна необходимо выказываться все в сильнейшем и сильнейшем свете. Говоря это, я, конечно, рассматриваю вопрос с общей точки зрения, а не в применении к какому-либо частному случаю, когда, по стечению разных обстоятельств, и слабый противник может одержать верх над гораздо сильнейшим. Всякие рассуждения подобного рода предполагают непременно ограничительное условие, выражаемое общепринятой формулой: «при всех прочих равных условиях».

Однако же при соседстве с Европой, при граничной линии, соприкасающейся с Европой на тысячи верст, совершенная отдельность России от Европы немыслима; такой отдельности не могли сохранить даже Китай и Япония, отделенные от Европы диаметром земного шара. В какие-нибудь определенные отношения к ней должна же она стать. Если она не может и не должна быть в интимной, родственной связи с Европой как член европейского семейства, в которое, по свидетельству долговременного опыта, ее и не принимают даже, требуя невозможного отречения от ее очевиднейших прав, здравых интересов, естественных симпатий и священных обязанностей; если, с другой стороны, она не хочет стать в положение подчиненности к Европе, перестроясь сообразно ее желаниям, выполнив все эти унизительные требования, – ей ничего не остается, как войти в свою настоящую, этнографическими и

историческими условиями предназначенную роль и служить противовесом не тому или другому европейскому государству, а Европе вообще, в ее целости и общности.

Но для этого, как ни велика и ни могущественна Россия, – она все еще слишком слаба. Ей необходимо уменьшить силы враждебной стороны, выделив из числа врагов тех, которые могут быть ее врагами только поневоле, и переведя их на свою сторону как друзей. Удел России – удел счастливый: для увеличения своего могущества ей приходится не покорять, не угнетать, как всем представителям силы, жившим доселе на нашей земле – Македонии, Риму, арабам, монголам, государствам Германо-Романского мира, – а освобождать и восстанавливать; и в этом дивном, едва ли не единственном совпадении нравственных побуждений и обязанностей с политической выгодой и необходимостью нельзя не видеть залога исполнения ее великих судеб, если только мир наш не жалкое сцепление случайностей, а отражение высшего разума, правды и благости.

Не надо себя обманывать. Враждебность Европы слишком очевидна: она лежит не в случайных комбинациях европейской политики, не в честолюбии того или другого государственного мужа, а в самых основных ее интересах. Внутренние счеты ее не покончены. Бывшие в ней зародыши внутренней борьбы развились именно в недавнее время; но весьма вероятно, что они из числа последних: с улаживанием их или даже с несколько продолжительным умиротворением их, Европа опять обратится всеми своими силами и помыслами против России, почитаемой ею своим естественным прирожденным врагом. Если Россия не поймет своего назначения, ее неминуемо постигнет участь всего устарелого, лишнего, ненужного. Постепенно умаляясь в своей исторической роли, ей придется склонить голову перед требованиями Европы, которая не только не допустит ее до влияния на Восток, не только устроит (смотря по обстоятельствам, в той или другой форме) оплоты против связи ее с западными славянскими родичами; но, с одной стороны, при помощи турецких, немецких, мадьярских, итальян-

ских, польских, греческих, может быть, и румынских пособников своих, всегда готовых разъедать несплоченное славянское тело, с другой – своими политическими и цивилизационными соблазнами до того выветрит самую душу Славянства, что оно распустится, растворится в европействе и только утучнит собой его почву. А России, не исполнившей своего предназначения и тем самым потерявшей причину своего бытия, свою жизненную сущность, свою идею, – ничего не останется, как бесславно доживать свой жалкий век, перегнивать как исторический хлам, лишенный смысла и значения, или образовать безжизненную массу, так сказать, неодухотворенное тело, и в лучшем случае также распуститься в этнографический материал для новых неведомых исторических комбинаций, даже не оставив после себя живого следа.

Будучи чужда Европейскому миру по своему внутреннему складу, будучи, кроме того, слишком сильна и могущественна, чтобы занимать место одного из членов европейской семьи, быть одной из великих европейских держав, – Россия не иначе может занять достойное себя и Славянства место в истории, как став главой особой, самостоятельной политической системы государств и служа противовесом Европе во всей ее общности и целости. Вот выгоды, польза, смысл Всеславянского союза по отношению к России.

Для западного славянства значение союза еще важнее. Россия, не сделавшись представительницей Славянского мира, конечно, лишится через это исторической цели своего существования, представит миру жалкий образец исторического недоросля в громадных размерах; но, если смотреть с более низменной точки зрения, она все-таки может еще долго – годы и века – не только сохранять внешнюю государственную независимость, но быть даже великой политической силой, хотя и лишенную внутреннего смысла и содержания. Для прочих славянских племен вопрос поставлен гораздо резче. Здесь дело идет не об историческом смысле их жизни, не о величии исторической роли, а просто о существовании, – так сказать, о хлебе насущном для их народной жизни. Вопрос *быть или*

не быть представляется в самой обыденной и потому именно в самой грозной, трагической форме. В XIII главе вопрос этот рассмотрен нами в достаточной подробности и возвращаться к нему незачем. Здесь считаю нужным выставить на вид только те особенные, специальные выгоды, которые должны проистечь из всеславянского объединения для каждой из частей, долженствующих сделаться членами союза, в отдельности.

Начнем с *Греции*, так как, по-видимому, включение ее в союз умаляет ее историческую роль, и блестящее, но обманчивое марево восстановления Византии – исключительного присвоения Константинополя – может ослеплять ее взоры. Мы уже видели, каким пандориным ящиком был бы для нее этот коварный дар. Посмотрим на те существенные, действительные выгоды, которые проистекут для нее от вступления в союз. Ни почвенные, ни топографические условия Греции не позволяют сделаться ей государством земледельческим или промышленным. Торговля есть та отрасль деятельности, которая и по природным наклонностям греческого племени, и по долгой привычке, и по местным условиям материковой части Греции, островов Архипелага и западного Малоазиатского прибрежья должна служить главнейшим основанием богатства и процветания эллинского народа. На это указывают не одни только географические и этнографические условия, но и сам исторический опыт; ибо как в славнейшие времена Греции благосостояние ее основывалось на торговле, так и во времена упадка и порабощения она же служила главным промыслом греков. С восстановлением политической самобытности части Греции народ ее направил в ту же сторону главную свою деятельность.

Торговля в восточной половине Средиземного моря, в Архипелаге и в Черном море находится в значительной степени в руках греков и производится на греческих судах, так что это возбудило и возбуждает даже зависть Англии, как показывает происшествие с Пасифико[4]. Но с открытием Суэцкого канала торговая область Греции должна неизмеримо расшириться; торговля ее может переменить свой местный характер на

всемирный. Кроме восточной части Средиземного моря с его заливами и отраслями, Красное море, Индийский океан, Бенгальский залив сделаются как бы внутренними морями для греческого торгового флота; они будут, так сказать, под боком у Греции, и ни для кого не сократятся торговые пути в той же степени, как для нее. Но обширную торговлю (особливо в отдаленных морях) можно вести не иначе как опираясь на значительный военный флот, который мог бы охранять торговый флаг на всех точках земного шара. Без этого нет достаточной уверенности, достаточной опоры для торговых предприятий. Вот почему чувствует недостаток военного флота Северная Германия и надеется, что когда он будет пополнен Пруссией, то торговая деятельность ее возрастет в огромных размерах. Как зависима участь страны, ведущей морскую торговлю, не опираясь на достаточную военную силу, достаточно поясняет тот же пример Пасифико. Но где же взять Греции довольно могущественный флот для того, чтобы она могла опереть на него свое торговое мореплавание, имеющее все задатки на то, чтобы получить всемирный характер? Кроме могущественного славяно-греческого союза – этой единственной формы, в которой и может только возродиться Восточная Римская империя, – никто не может создать достаточного для сего морского могущества.

Для *Болгарии* общий союз славян с Россией во главе имеет особенную существенную важность. Из всех славянских племен находится она под самым сильным гнетом, ибо живет в наиболее тесном сожительстве со своими покорителями. В ней всего менее сохранилось предание о государственности, память о независимом политическом существовании. Она чувствует свою угнетенность, чувствует свою отдельность от своих угнетателей – и потому не может слиться с ними, изменив своим культурным началам, и, конечно, стремится к освобождению. Но как воспользоваться свободой, как перейти из племенного быта в политический – к самобытной государственности? Подобные примеры видели мы, правда, на Греции, на Сербии, на Румынии; но последний пример не представляет

собою ничего привлекательного и есть именно та скала, которой должно избегать, чтобы не потерпеть крушения. Примеры Греции и Сербии во многом существенном отличаются от того, что может предстоять Болгарии. Они достигли независимости долговременной борьбой, в течение которой являлись выдающиеся из ряда личности – передовые предводители, жившие народной жизнью, понимавшие дух и потребности народа. Народ привык к ним, и таким образом образовались из самого народа элементы общественного устройства. В Сербии сохранилась даже память о народном представительстве – в скупщинах. Ничего этого нет в Болгарии.

В такой стране, следовательно, общественное и государственное устройство налагаются извне: составляются конституции по рецепту, заимствованному из общих теорий, из чуждых примеров. Вместо организации существующих в стране действительных интересов, устанавливается господство так называемой интеллигенции, – чему жалкий пример представляют соединенные Валахия и Молдавия. Если образование углубляет корни свои в народную жизнь и есть та же жизнь, только достигшая своего высшего развития, то, конечно, личности, обладающие этим образованием, имеют не только право, но и обязанность служить руководителями народа как в его политической, так и в его умственной и нравственной жизни. Такие примеры гармонического внутреннего развития народной образованности вообще не слишком часты, – и лучшим из них может служить Англия. Ни Россия, ни другая какая-либо славянская страна не могут ими похвалиться, а без такой народной основы так называемая интеллигенция не что иное, как более или менее многочисленное собрание довольно пустых личностей, получивших извне почерпнутое образование, не переваривших и не усвоивших его, а только перемалывающих в голове, перебалтывающих языком ходячие мысли, находящиеся в ходу в данное время под пошлой этикеткой – современных.

Но как ни внешне наше русское просвещение, как ни оторвана наша интеллигенция (в большинстве своем) от народной

жизни, она не встречает, однако же, в русском народе и в России tabulam rasam для своих цивилизаторских опытов, а должна волей или неволей сообразоваться с веками установившимся и окрепшим народным бытом и порядком вещей. Для самого изменения этого порядка интеллигенция принуждена опираться, часто сама того не замечая, на народные же начала; когда же забывает об этом (что нередко случается), то народ, составивший уже долгим историческим путем общественный организм, извергает из себя чуждое, хотя бы то было посредством гнойных ран, или как бы облекает его хрящеватой оболочкой и обособляет от всякого живого общения с народным организмом; и чуждое насаждение в своей мертвенной формальности хотя и мешает, конечно, правильному ходу народной жизни, но не преграждает его, и она обтекает и обходит его мимо. Не то со странами совершенно новыми, как можем удостовериться на примере Румынского государства, где был полный простор для действий цивилизирующей интеллигенции.

Чтобы подобная участь не постигла и Болгарию, ей необходимо устраиваться под крылом России и под влиянием других, более ее политически развитых членов Славянского союза, в теснейших сношениях и в связи с ними, – сначала как самобытная в административном отношении область и впоследствии только как самобытное политическое тело. Такое покровительство, такая опека беспристрастной ко всем славянским народностям России необходимы для Болгарии еще в другом отношении – именно для того, чтобы страна эта, населенная самостоятельным славянским племенем, могла сохранить свою самостоятельность, не сделавшись жертвой честолюбия соседней Сербии*.

* Сказанное здесь не оправдалось ли буквально? Болгарская интеллигенция не старалась ли произвести сумбур? – и только благодаря поддержке России отклонялось доселе вредное ее влияние. А с другой стороны, не впала ли Россия в ошибку, введя в Болгарию конституционализм? – *Посмертн. прим.*

По решению Берлинского конгресса в Болгарии до установления нового режима было введено верховное правление русского комиссара (таковым был генерал Дондуков-Корсаков), который и созвал в Тырнове собрание в апреле 1879 г. для выработки текста Конституции. – *Ред.*

Для самой *Сербии* тесная связь с Россией и всем Славянством не менее полезна для подавления в ней неправильных честолюбивых инстинктов, для направления их в должную сторону: не на Болгарию*, а на находящиеся под владычеством Австрии страны, населенные сербским и родственными с ним хорватским и словенским племенами. Бодрый и крепкий сербский народ должен опасаться польского обычая честолюбиво присваивать себе чужое, упуская свое. В его борьбе с объитальяненьем, омадьяреньем и онемеченьем своей земли сербский народ может найти нужные силы и надежду на успех только в политическом союзе со всем Славянством, под главенством России.

Еще в большей степени относится это к племени *чешскому*, область которого вдается как бы бастионом, передовым укреплением в немецкие земли, и внутри которого немецкие поселения сделали огромные успехи. Ни внутренняя борьба с немцами, ни внешние нападения, которых не избегнуть этому яблоку раздора между Славянством и Германством, не могут быть ведены с успехом без тесного соединения со всем Славянством.

Румыны могут надеяться на присоединение к ним половины Трансильвании, Буковины и части Бессарабии не иначе, как с согласия и при содействии России, и только при ее беспристрастном умирительном влиянии возможно для них успешное противодействие захватам мадьяризма; только опираясь на несравненно более родственное им Славянство, могут они бороться с разъедающим галломанством и подражательностью их жалкой интеллигенции.

В предыдущей главе видели мы, что даже *Польша* может найти возможно благоприятный исход ее долгих томлений – единственно в недрах Всеславянского союза, в тесном единении и дружбе с Россией.

Для одной *Венгрии* перспектива такого союза, полагающая предел всем ее честолюбивым высоко заносящимся планам, не может представляться в радужном свете, но и она

* И это все не подтвердилось ли? – *Посмертн. прим.*

может надеяться на удовлетворение всем своим законным стремлениям; только своим беззаконным властолюбием пришлось бы ей поступиться.

Таковы выгоды для каждого из народов, которые могли и должны бы образовать самобытные государства в великой Всеславянской федерации, от союза, который объединил бы их. Если присоединить к этому ту блистательную, величавую, миродержавную историческую роль, которую обещает такой союз всему Славянству, – то казалось бы, что он должен составлять если не непосредственную цель стремлений всех славян, сознающих себя славянами, то, по крайней мере, предмет их желаний – их политический идеал. И действительно, мы можем назвать не одно знаменитое славянское имя, для которого мысль о славянском объединении в той или другой форме представляла такой идеал. Назовем для примера некоторых из них, которые более или менее ясно высказали его, как, например, Хомяков, Погодин, Ганка, Коляр, Штур. Однако же многие даже из неевропействующих славян относятся к политическому объединению своего племени под главенством России вовсе не с тем сочувствием, которого можно и должно было бы ожидать.

Клеветы поляков и Европы – при малом знании и даже, можно сказать, совершенном незнании России, при незнакомстве с нашими порядками, выставляемыми совершенно в ложном свете, – проникают так глубоко, что даже многие из передовых славянских мыслителей, всей душой преданных Славянскому делу, пугаются каких-то призраков. Их страшит, с одной стороны, относительно самих себя – призрак властолюбия России, будто бы стремящейся уничтожить самобытность славянских народностей, поглотить их, как поглотила Польшу; с другой – относительно судеб человечества и цивилизации вообще – призрак всемирного владычества, которое для пропитавшегося гуманитарностью славянского сердца представляется чем-то ужасным, если бы даже это владычество принадлежало не иному кому, как им же самим, бедным угнетаемым славянам, угнетение которых никого не страшит,

никому не кажется несообразным с истинной человечностью. Что славянская независимость, развитие славянского могущества противны Европе – это в порядке вещей. Напрасно и смешно было бы, с нашей или с какой бы то ни было стороны стараться переуверить ее в этом. Но грустно, что так могут рассуждать сами славяне, даже сами русские. По мере сил наших постараемся рассеять этот напускной туман, начиная с властолюбия России.

Ответом и опровержением будут служить сами факты. Распространяться тут нечего; укажем лишь на всем известные примеры того, как поступала Россия с включенными в состав ее областями. Финляндии, отвоеванной у шведов, была дарована полная отдельность и самостоятельность[5]: отдельное войско, не выходящее из пределов Финляндии, отдельная денежная, торговая и финансовая системы, даже конституция и парламент; к ней была присоединена от России уже около ста лет принадлежавшая ей область; русский язык не был введен в ее школы; православие не сделано господствующей религией; она не была обращена в рынок для наших мануфактур; ни одной копейки финляндских доходов не идет на Россию; одним словом, ни в нравственном, ни в материальном отношениях Россия не только не эксплуатировала Финляндии, а, совершенно наоборот, всегда простирала к ней свою руку помощи. Остзейский край не только не был обрусен, но самое могучее орудие его обнемечения – Дерптско-германский университет[6] был основан русским правительством и на его счет содержится. Не только русское правительство не содействовало обрусению края, но противопоставляло ему преграды, даже когда оно вызывалось естественным ходом вещей, – и все опять-таки из страха прослыть угнетателем народностей, политически соединенных с Россией. Самый пример Польши, так часто выставляемый против России, есть, в сущности, лучшее доказательство того же. Польша пользовалась, по соединении с Россией, государственной самобытностью и конституционной жизнью; при русском владычестве распространилось польское влияние на Западную Россию при

посредстве Вильненского университета, целой системы народного образования и многого другого. Только явные, грубые попытки поляков присоединить к себе силой Западную Россию открыли нам глаза, – и то, как кажется, только на время. Хотя я говорю все это, конечно, уже вовсе не в похвалу России, ее правительству и ее общественному мнению, но тем не менее эти явления ясно указывают, что от государства, поступавшего подобным образом с включенными в состав его частями, союзникам его нечего опасаться за свою независимость как политическую, так и народную; нечего бояться за переступление пределов чисто внешнеполитической союзной гегемонии. Всякая более тесная внутренняя связь была бы, конечно, предоставлена единственно той родственной, национальной симпатии, которая не могла бы не привлекать друг к другу членов славянской семьи, после того как разделяющие их внешние преграды были бы сломаны и они взялись бы за общее историческое дело.

Но этого мало. Если Россия поступала таким образом часто к собственному своему вреду, то будет ли она поступать иначе, когда самый очевидный, самый простой расчет будет побуждать ее воздерживаться от всякого вмешательства во внутренние дела своих союзников, не касаться ни их политической, ни их народной самостоятельности?

В самом деле, в чем могут заключаться для России ближайшие, осязательные политические выгоды от образования Всеславянского союза (о высшем культурно-историческом значении которого мы здесь не говорим)? Конечно, в увеличении внешнего могущества, в обеспечении (как себя, так и своих союзников) от напора враждебного Запада, дабы в спокойствии силы и братском общении мочь развивать задатки своего внутреннего нравственного и материального благосостояния и величия. Простейшее и единственное средство для достижения этой цели – невмешательство во внутренние дела своих союзников и беспристрастное примирительное влияние на взаимные отношения их между собой в их спорах, притязаниях и честолюбивых поползновениях.

Чего бы достигла, напротив того, Россия, стремясь уничтожить внутреннюю самостоятельность союзных с ней славянских и других государств, включить их в свой государственный состав, даже в случае успеха такого стремления? Вместо сорока миллионов верных, дружественно расположенных союзников, она приобрела бы сорок миллионов недовольных подданных; а насколько таковые увеличивают силы государства, имеем мы достаточно убедительные примеры на отношениях Польши к России, Ирландии к Англии, и всего более Венгрии и Венеции к Австрии.

Если и не обращать даже внимания на различия в нравственных и физических качествах народов, – принимая их равными, за невозможностью численного определения меры этих различий, – все-таки сравнительное могущество государств не будет в прямой зависимости от числа их подданных, потому что весьма важную роль занимают здесь те отношения, в которых находятся подданные к объединяющему их в одно политическое тело государству. При всех прочих равных отношениях (просвещения, богатства, порядка и благоустройства) они могут относиться к нему или как деятельные, активные граждане, почитающие его цели своими целями, его славу своей славой, его силу залогом своего благосостояния, а потому служащие ему и поддерживающие его всеми своими нравственными и вещественными средствами, – или как пассивные подданные, беспрекословно повинующиеся государственной власти, но чуждые ему по духу, не считающие его дела своими делами и, следовательно, безучастно относящиеся к его судьбам, – или, наконец, как враждебные, только силе подчиняющиеся подданные, не только безучастные к судьбе государства, но отрицающие его, считающие свои цели вразрез расходящимися с его целями.

Большинство государств обладает подданными всех этих категорий. Но соединение этих трех элементов всего разительнее в Британском государстве, которое обладает не менее как двумястами миллионов подданных, что (при просвещении, богатстве, выгодном географическом положении Англии и

большинства ее колоний) составило бы поистине беспримерное могущество, если бы все эти миллионы могли считаться действительно активной его поддержкой. Но только население собственно Англии с Валлисом и Шотландией может быть причислено к этой категории. Туземное население Индии и прочих колоний, не исключая даже Канады, должно считаться в разряде пассивных подданных, от которых государство может надеяться разве только на извлечение некоторых финансовых выгод; ибо даже Канада едва ли бы стала защищаться с некоторой энергией в случае нападения со стороны Соединенных Штатов. Наконец, огромное большинство ирландского населения совершенно враждебно Англии, – и потому не столько усиливает ее доставляемыми им материальными выгодами, сколько ослабляет, поглощая некоторое количество сил Англии на свое охранение.

Так и в России. Активное ее население, кроме русского, т.е. великорусского, малорусского и белорусского племен, состоит еще из большинства финских, грузинских, частью даже татарских племен; между тем как, например, сибирские дикари и кочевники составляют только население пассивное; поляки же (впрочем, народ не сам по себе, а по влиянию на него ксендзов и шляхты) –население враждебное.

При статистическом исчислении могущества государств только подданные первой категории могут быть принимаемы за положительные единицы (которые, строго говоря, надо бы еще умножать на некоторые коэффициенты, зависящие от нравственных и материальных качеств народа); пассивные подданные должны быть принимаемы при этом если не за полные нули, то, по крайней мере, за весьма малые дробные величины; подданные же третьей категории – за единицы отрицательные.

Но известно, что человеку, дабы физически удержать в своей власти другого, надо значительно превосходить его силой; то же отношение сил сохраняется и в применении к целым народам, или телам политическим, чем и объясняется успешность борьбы восстававших народов против государств,

стремившихся удержать их под своей властью, как, например, голландцев против Испании, греков против Турции и т.д. Поэтому, считая одного активного подданного на одного враждебного, мы еще в слишком слабой степени численно представим то ослабление государственного могущества, которое происходит от расхода сил на удерживание, или, так сказать, на нейтрализацию его враждебных элементов.

Принимая население Всеславянского союза в сто двадцать миллионов душ, враждебные же элементы, польский и мадьярский, по необходимости включаемые в него, миллионов в двенадцать или тринадцать (причем мы не обращаем еще внимания на примирительный исход, открывающийся полякам таким союзом, на который было указано выше), – свободные активные силы союза простирались бы до девяносто пяти миллионов. Ежели же бы Россия нарушением внутренней самостоятельности государств и народов союза успела привести их в свое подданство, в какой бы то ни было форме, – она приобрела бы сорок миллионов враждебных подданных, что, по принятому нами расчету, уменьшило бы ее свободные активные силы до тридцати миллионов. При огромности ее азиатских границ, требующих сильного охранения на Кавказе, в Средней Азии и на прочих окраинах, едва ли бы оставалось ей более двадцати миллионов населения для противопоставления Европе. При всегдашней готовности Европы воспользоваться слабостью России, она, конечно, поспешила бы подать руку помощи угнетенным Россией народам, сделавшись (как теперь относительно поляков) их первым, хотя и лицемерным другом, – и вместо ожидаемого увеличения могущества Россия должна бы была рухнуть под собственной своей тяжестью.

Итак, свобода славян и прочих народов в союзе между собой и с Россией обеспечивалась бы, с одной стороны, простым здравым политическим смыслом, инстинктом самосохранения России; с другой – все прошедшее России, самые пороки русских и вообще славянских добродетелей служили бы ручательством за справедливый, безобидный характер тех вза-

имных отношений, которые развились бы между главой союза и его членами. Кто сделал большее, от того можно ожидать меньшего: кто дал национальную и даже политическую свободу частям, включенным в состав государства, как, например, Финляндии и даже враждебной Польше, – отняв ее лишь после самых безумных двукратных злоупотреблений ею в видах самосохранения и ограждения свободы части русского народа, на которую злоумышляли поляки, – тот не посягнет на независимость своих союзников.

Другое пугало, отпугивающее от Всеславянства, есть опасение всемирной монархии – страх перед мировладычеством. Из только что приведенного объяснения ясно, что если бы такое мировладычество и было естественным, необходимым следствием Всеславянского союза, то оно, во всяком случае, было бы не специально русским, а Всеславянским, и славянам, казалось бы, нечего его пугаться. Древних римлян не пугала мысль о всемирном владычестве, Англия не страшится идеи всемирного владычества на морях, распространения своих владений, опоясывающих моря и океаны цепью больших и малых британских колоний; также не пугает и Америку мысль о безраздельном владычестве от Гренландии до Огненной Земли. Что за странная скромность – отступать перед великой будущностью, чураться ее из-за боязни быть слишком могущественным и сильным и, даже пародируя мысль Вольтера о Боге (которого надо бы было выдумать, если бы он не существовал), применять ее к Австрии в видах предотвращения такого несчастья?

Но дело не в том. Самый страх этот не имеет никакого основания. Великий Славянский союз, обеспечив свободу славян и плодотворное взаимодействие их друг на друга, не мог бы угрожать ничьей независимости, ничьим законным правам. В этом опять-таки убеждает самый простой статистический расчет. Население той только части Европы, которая в настоящее время играет деятельную политическую роль, то есть Германии (за выделом всей не немецкой части Австрии), Франции и Англии, с прибавлением лишь окруженных ими

Бельгии и Голландии, которые волей или неволей должны всегда за ними следовать,– равнялось бы уже населению всего Славянского союза; с присоединением же Италии, Испании с Португалией и Скандинавских государств на стороне Европы был бы излишек, по крайней мере, в пятьдесят миллионов душ. Следовательно, на первое время славянская система государств все еще была бы значительно слабее Европейской по числу своего населения и могла бы считаться непреоборимой только в защите и обороне славянской независимости и самобытности. Силы уравнивались бы лишь несколько вышеприведенным стратегическим местоположением Константинополя и Чешского бастиона.

Но, имея в виду обильное любовью к человечеству славянское сердце, считающее священнейшей обязанностью жертвовать своими славянскими целями и интересами – никому не известным общечеловеческим целям (что, при наинелепейшем смешении этого общечеловеческого с европейским, или западным, идет, конечно, единственно на пользу этого европейского – всегда и во всем враждебного славянскому), нельзя ограничиться доселе приведенными доказательствами: надо показать, что не независимость только, а и политическое могущество славян существенно необходимы для правильного и гармонического течения общечеловеческих дел; что политическое могущество Славянства не только не может угрожать порабощением всему миру всемирным владычеством, а одно только и может противопоставить достаточную преграду мировому владычеству, которое все более и более приобретает (и уже в значительной мере приобрела) Европа.

В нашей книге мы рассматривали уже ход европейской истории с различных точек зрения: с точки зрения развития насильственности как одной из основных психических черт германо-романской народности и видоизменения ее сообразно с изменениями господствовавшего направления умов; затем с точки зрения воспитания народа историческими событиями, которое получила Европа, – в сравнении с тем, которое получила Россия; и, наконец, с точки зрения отношения

к тому политическому узлу, который связывает культурно-исторические типы германо-романский и славянский и которому в непосредственном будущем предстоит так или иначе расплестись, – узлу, называемому Восточным вопросом. Само собой разумеется, что таких точек зрения множество едва ли не бесчисленное, и постройка полной системы истории каждого культурного типа (то есть поставление всех явлений ее в настоящую естественную взаимную связь) требовала бы предварительного исследования всего сложного хода ее со всех или, по крайней мере, с весьма значительного числа таких разных точек зрения. Это и составило бы аналитическое разложение совокупности исторических явлений, крайне сложной, в какой бы хронологический момент мы ее ни взяли.

Всякая особая сторона жизни имеет свои корни и свой ход развития; множество таких сторон идут параллельно, переплетаются друг с другом и взаимно действуют друг на друга. Очевидно, что, следуя хронологической последовательности событий во всей их сложности (хотя бы то было при тщательном исследовании их прагматической связи), этой сложности распутать невозможно. Так, перед установлением естественной системы в ботанике гениальный Михаил Адансон расположил формы растительного царства по шестидесяти различным системам, основания которых были заимствованы им ото всех органов растений, или, говоря другими словами, он обозрел растительное царство с шестидесяти разных точек зрения весьма различной степени важности и достоинства. Совокупив затем эти различные точки зрения или системы воедино, соподчинив их между собой, он представил первый удачный и сознательный опыт естественной системы растительного царства.

Только подобный прием, думается мне, может привести к плодоносным результатам при построении научной истории. Существует, правда, и другой прием, – тот, который был употреблен Бернаром Жюсье опять-таки в ботанике: это – физиогномическая оценка сродства и различия форм, так сказать постижение относительной важности и значения форм

гениальным инстинктом. Прием этот в замечательной степени удался – для форм растительного мира; но сложность явлений исторических чрезмерно велика, и притом они не стоят перед лицом исследователя в такой конкретной жизненности и действительности, как явления природы, – так что едва ли можно надеяться на подобный же успех в истории, следуя тому же пути.

Такое всестороннее исследование европейской истории потребовало бы, конечно, гораздо больших сил и знаний, нежели те, которыми мы обладаем, да и цель наша совершенно иная. Мы намерены только бросить взгляд еще на одну сторону европейской жизни, – на связь, существующую между той борьбой, посредством которой постепенно устанавливались правильные взаимные отношения членов европейского семейства, и между внешней деятельностью их, т.е. их политическим влиянием на страны и народы, не принадлежащие к германо-романскому культурному типу. Это необходимо для разъяснения занимающего нас теперь вопроса: угрожает ли образование Всеславянского союза всемирным владычеством или, напротив того, не составляет ли он необходимого обеспечения свободы и разнообразия в жизненных проявлениях человеческого рода, – необходимого оплота от всемирного владычества, грозящего с совершенно иной стороны.

Монархия Карла Великого была тем центром, из которого развилась европейская система государств. Из нее выделились непосредственно три национальности, игравшие главную роль в Средних веках и до сих пор ее сохранившие: немецкая, французская и итальянская, каждая из которых различными путями стремилась к внутреннему объединению, чему внешние обстоятельства, народный характер и внутренние порядки в различной мере содействовали или препятствовали. Впоследствии к ним присоединились находившиеся вне Карловой власти Испания, занятая в течение всех Средних веков внутренней борьбой с магометанством, и Англия, которую ее островное положение отдаляло от тесного вмешательства в общеевропейские дела до того времени, пока развитие морского

дела не доставило сильного влияния флотам. Эти пять народов были и продолжают быть первенствующими членами европейской политической системы. Прочие, как голландцы и шведы, хотя и играли временно значительную роль, но роль эта не могла быть постоянной по причине числительной слабости этих народов. Но пять главных европейских народностей (если принять во внимание одни общие, неизменные основания их могущества, а не исторические случайности, влияние великих людей, государственного устройства и тому подобное) почти одинаковой силы; настолько, по крайней мере, одинаковой, что самые слабые из них, говоря вообще, достаточно сильны для обороны от нападений соседей.

Самая многочисленная из этих национальностей – немецкая, в которой без подчиненных ей славянских и других народов, насчитывается до 43 или 44 миллионов душ. Но такой перевес числительности уравновешивается невыгодным во многих отношениях географическим положением Германии, как то: неокругленностью границ, значительным протяжением с запада на восток, врезыванием с юга и востока славянских областей, срединностью местоположения, подверженного нападениям с разных сторон. Невыгоды эти даже таковы, что для сохранения независимости Германии со стороны Франции и Турции необходима была до самых последних времен помощь как тех славян, которых удалось ей включить в свой состав, так и независимых славянских государств: Польши и России.

На пять или на шесть миллионов меньшая числительность французов – с избытком вознаграждается округленностью, так сказать, сосредоточенностью занимаемой ими страны.

Англия, население которой еще на семь или на восемь миллионов меньше, получает непреодолимую оборонительную силу от ее островного положения, которое, однако же, ослабляет ее наступательную силу. Почему, не имея ни возможности, ни выгоды приобрести и надолго сохранить власть над какою-либо частью материка, она наиболее заинтересована в том, чтобы ни одно из европейских государств не получило слишком сильного перевеса над другими.

Италия, числом своего населения еще несколько уступающая Англии, ограждена с севера Альпами, а с прочих сторон окружена морем, которое, при заинтересованности Англии в сохранении равновесия между европейскими державами, представляет наилучшее ограждение.

Наконец, Испания, население которой уменьшилось до каких-нибудь 15 миллионов лишь вследствие случайных и временных причин, дурного государственного устройства, еще лучше Италии ограждена физическими условиями страны, отделенной от единственной своей соседки, Франции, цепью Пиреней и, сверх того, еще перерезанной в разных направлениях высокими горными хребтами, могущественными охранителями независимости даже слабых народов.

Из такого отношения сил главных европейских народностей вытекает как необходимое следствие, что так называемая система политического равновесия – не искусственная какая-либо комбинация, умышленно придуманная дипломатами, а естественный нормальным порядок вещей в применении к Европе в тесном и единственно верном значении этого слова, – порядок, который не только не противоречит принципу национальности, но в нем именно находит свое твердое незыблемое основание точно так, как в славянском мире, по тем же самым причинам, естественный порядок вещей может основываться только на гегемонии России. Посему порядок, основанный на равновесии европейских государств, есть единственный устойчивый, и, как бы его ни колебали, он всегда восстановляется тем, что называется силой вещей.

Но понятно, что при том слабом значении, которое до самого последнего времени имел принцип национальности в европейском мире, это нормальное отношение между членами европейской семьи не могло быть понято и постигнуто с самого начала, а лишь мало-помалу выяснилось ходом событий, игрой политических сил, из коих каждая стремилась к своему полнейшему проявлению, к преобладанию над прочими. Собственно говоря, когда политическое равновесие и было понято, то на деле (а не на лицемерном языке дипломатии или на

наивном языке мнимой науки народного права) оно никогда не признавалось за какой-либо принцип права, а осуществлялось только как факт, часто независимый от произвола политических деятелей.

Это нормальное для европейских государств состояние политического равновесия нарушалось как самым течением событий (тем, что мы называем историческими случайностями), так и естественным стремлением к гегемонии в разные времена разными народностями, преимущественно под влиянием страстей и честолюбивых планов тех личностей, которые сосредоточивали в себе интересы этих народностей. Но все эти попытки оказывались с течением времени несостоятельными, удаваясь только на сравнительно короткий срок, ибо по самой сущности своей противоречили тому распределению политической силы и могущества, которое лежало в самом основании германо-романской системы государств.

При таком естественном равенстве основных сил первенствующих европейских народностей та из них, которая (вследствие своего государственного устройства или характера господствовавшей в ней личности) обладала наибольшей внутренней крепостью и единством или получала особое могущество от стечения благоприятных для нее исторических случайностей, стремилась достигать преобладающего значения и господства тем, что старалась подчинить себе завоеванием то государство, которое, по противоположным причинам, находилось в состоянии раздробленности и слабости. Если бы такое стремление удалось, то завоевательное государство, приобретя почти двойную силу, тем самым должно бы получить такое преобладание, что система политического равновесия должна бы была перейти в гегемонию. Но этого не случилось ни разу на сколько-нибудь продолжительное время – частью от противодействия других государств, инстинктивно или сознательно чувствовавших тот вред, который это им бы принесло, частью же от влияния событий, так сказать, посторонних, т.е. явлений, проистекавших из совершенно иного порядка причин.

Естественно, что войны, основанные на внутренней борьбе европейских государств из-за раздела политической силы и могущества (под категорию которых подходят все чисто завоевательные и так называемые войны за наследство престолов и в которые постепенно переходили даже и те, которые проистекали из совершенно иного порядка вещей, именно из мира нравственного, как войны религиозные и революционные), должны были нейтрализовать силы Европы на других театрах всемирной деятельности и отвлекать их от завоеваний и распространении европейского влияния в других частях света.

За такой борьбой следовало, конечно, утомление; но если спокойствие, происходившее или от временного осуществления гегемонических планов, или от установления равновесия, было довольно продолжительно для восстановления истощенных сил, то они получали исход во внешней деятельности, шли на завладение внеевропейскими странами. Таким образом, внутренняя борьба между главными членами европейской системы служила как бы обеспечением независимости внеевропейских стран и народов. Это отношение между постепенным развитием и осуществлением системы политического равновесия европейских государств, с одной стороны, и между развитием власти и влияния Европы на внеевропейские страны – с другой, – имею я намерение теперь проследить в беглом очерке.

Активную роль в нарушениях политического равновесия в начале европейской истории играла преимущественно Германия, впоследствии же Франция. Промежуток времени между этой переменой ролей, который почти совпадает с переходом так называемой Средней истории в Новую, заняла с необыкновенным успехом Испания. Напротив того, пассивную роль (предмет, на который направлялись честолюбивые стремления этих народов) занимала от начала до самого последнего времени преимущественно Италия. Она была главным орудием, посредством которого Германия, Испания и Франция надеялись достигнуть гегемонии, потому что с самого падения Западной Римской империи и до наших дней она ни разу не успевала

достигнуть внутреннего объединения в какой бы то ни было форме. Временно же доставалась эта пассивная роль из первостепенных государств еще Испании и Германии по той же причине внутренней разъединенности; а из второстепенных народностей – голландской.

Германия во времена Оттонов, побуждаемая доставшимся ей идеальным наследством римского императорства, стремится подчинить себе Италию и в значительной степени успевает в этом, так как ни с какой стороны не встречала противодействия. Испания занята в то время борьбой с маврами; Англия удалена от деятельного участия в делах европейского материка своим островным положением; Франция при последних Карловингах и первых Капетингах – в самом разгаре феодальных смут, доведших королевскую власть почти до полного ничтожества. Здесь встречаем мы первый пример противодействия со стороны явлений – порядка, совершенно чуждого равновесию политических сил: именно, со стороны явлений мира нравственного, представителями которых в то время в германо-романской области были папы. Они отстаивают независимость Италии и устанавливают своим духовным влиянием тот период равновесия, который мы назвали (см. гл. X) периодом первого гармонического развития германо-романского культурного типа, – равновесия, основанного, однако, не на политическом равновесии сил народностей, составлявших Европу, а на нравственной гегемонии папства. И вот в период этого равновесия Европа в первый раз устремляет избыток сил своих под влиянием христианской идеи на Восток; завоевывает Палестину, на полстолетия овладевает даже Византийской империей, но не может окончательно утвердиться на восточном прибрежье Средиземного моря вследствие энергического сопротивления магометанского мира. Более долговечны приобретения, доставленные ей Венецией и Генуей на востоке Средиземного и в Черном море, которые также, однако, вырываются из рук ее турками.

Продолжительное напряжение приводит к ослаблению общих сил; а, с другой стороны, внимание каждого государ-

ства занято внутренней борьбой с феодализмом, из которой первой победительницей выходит Франция, объединенная гением своих королей – в особенности же Людовика XI. И вот уже при сыне его она начинает стремиться к европейской гегемонии посредством завоевания Италии. Попытка эта продолжается при Людовике XII и Франциске I, но союзы пап, Венеции и императора лишают ее полученных было успехов.

Активная роль переходит к Испании. Окончательная победа над маврами совпадает со счастливой случайностью умения оценить гениальные предложения Колумба, которые доставили ей владычество над Америкой. Случайность наследства соединяет в способных руках Карла V богатые Нидерланды, рыцарскую закаленную в боях Испанию и первенствующую в Европе своим традиционным величием Германскую империю. Италия завоевывается; в руках Карлова брата находятся наследственные австрийские земли. Одним словом, вся Европа, кроме Франции, Англии и Скандинавских государств, сосредоточивается под одной властью. Все усилия Франции послужили лишь к ограждению ее собственной независимости. Политическая гегемония утверждена в размерах небывалых со времени Карла Великого.

Если бы такой порядок продолжался, очевидно, что и оставшиеся независимыми государства низошли бы до второстепенной зависимой роли. Но опять сила иного, не политического порядка вещей разрушает это могущество, скопившееся в одних руках. Религиозные войны переходят мало-помалу в войны за равновесие – и все оканчивается общим ослаблением сил, из которого Германия долго, а Испания даже до сих пор не может выйти.

Равновесие устанавливается Вестфальским миром, – и вот опять в это время власть Европы расширяется на прочие части света, преимущественно руками Голландии, успевшей уже ранее других отдохнуть (после усилий, которых стоило ей отвоевание своей независимости), а также Англией и Францией, основавшими свои первые колонии в Северной Америке.

После религиозных бурь первая оправляется и укрепляется внутри опять-таки Франция, и при Людовике XIV со всей ясностью выказывается ее стремление к гегемонии. Этот государь с верным тактом в первый раз избирает предметом своих действий не Италию, как все его предшественники в стремлении к преобладанию, а одно из второстепенных (по численности населяющего его народа) государств – Голландию, промышленные богатства, торговля, флот и колонии которой усилили бы в случае удачи могущество Франции в несравненно большей степени, нежели приобретения гораздо обширнейших и многолюднейших стран. В конце его царствования случай представляет ему еще другую цель – Испанию.

Ни то, ни другое вполне не удается главнейше по сопротивлению Англии, по всем условиям своего политического и государственного устройства не могущей содержать многочисленных сухопутных армий и естественно противящейся всякому излишнему скоплению силы в одних руках. В это время начинает она приобретать владычество на морях и становится, так сказать, излюбленным мечом Европы в других частях света, ибо между тем как в руках Испании заморское владычество служило орудием для усиления ее владычества в Европе, в руках Англии, не имеющей и не могущей иметь притязаний на владения на континенте Европы, служило оно гарантией равновесия.

За Утрехтским миром[7] следует опять период утомления и равновесия сил, или (выражаясь точнее) равновесия общей слабости, во время которого зарождаются семена будущего единства Италии и Германии, созревающие в наши дни. Прекращение мужского поколения династии Габсбургов и раздробленное, разъединенное положение Германии соблазняют Францию даже времен Людовика XV подчинить ее своему влиянию. Проистекающие из сего – равно как и из честолюбия Пруссии – войны ведут к усилению этой последней и дают Англии случай прибрать к своим рукам заморские владения Франции и отчасти Испании. Но это были

не новые приобретения, а только замена одних европейских властителей другими.

Французская революция выводит Европу из летаргии. И тут войны, начавшиеся с противодействия революционным идеям и их пропаганде, переходят в войны за утверждение французского главенства в Европе. Под влиянием революционного одушевления, а потом военного гения Наполеона, Франция достигает своей цели, последовательно покоряя слабые или внутренне разъединенные Нидерланды, Италию и Германию.

Для восстановления равновесия в этот раз, точно так же, как и во времена Карла V, не хватает собственных сил Европы, а противодействие из иного, не политического порядка вещей, проявившееся только в Испании, недостаточно, чтоб сломить могущество Наполеона. Помощь Европе приходит извне. России суждено было совершить свою служебную роль для восстановления европейского равновесия вопреки ее истинным выгодам.

После Венского конгресса наступает опять продолжительный, почти сорокалетний мир. Европа отдыхает и успешнее, чем когда-либо, обращает свои силы на распространение и утверждение своего владычества над неевропейскими странами. Между тем как во время войн за равновесие одна из воюющих сторон (в последнее время Англия) только отнимала колонии своих неприятелей, теперь, при свободных, не занятых внутренней борьбой силах, европейское владычество утверждается в новых, бывших до сих пор независимыми, странах. Франция завоевывает Алжир и утверждает свое преобладание в Северной Африке, приобретает колонии в Австралии. Англия окончательно покоряет западный Индийский полуостров и переходит на запад за Инд, а на восток – за Брамапутру, завоевывая значительную часть Бирманской империи, присваивает себе весь Австралийский материк, Вандименову землю[8], Новую Зеландию и даже пробивает брешь в Китае, которую впоследствии все более и более расширяет при содействии Франции.

Со вступлением на французский престол Наполеона III порядок, установленный Венским конгрессом, рушится. Наполеон, будучи наследником имени и преданий своего дяди, не может не стремиться к восстановлению французской гегемонии, но избирает совершенно иные пути для достижения этой цели, чем все его предшественники. Он хочет, сообразно своему характеру, приобрести ее не завоеванием той или другой страны, представляющей для сего удобства по своему внутреннему разъединению, а эскамотацией[9] общественного мнения Европы и все более и более проясняющегося сознания национальной самобытности.

Воцарение Наполеона само по себе не нарушало нисколько политического равновесия Европы. Внутренние раздоры не нейтрализировали ее сил. Наполеон находит для них самый вожделенный предмет внешней деятельности и замышляет прежде всего примирить Европу с собой, со своим именем, представлявшимся ей дурным предзнаменованием. С самым верным пониманием европейского общественного мнения он возбуждает Европу как бы к Троянскому походу против России, Агамемноном[10] которого он сам становится. Успех увенчивает его предприятие, потому что с русской стороны не оказывается такого же понимания вещей. Россия не может отделаться от мысли, что она – часть европейской семьи, и не может понять другой мысли, что она – глава славянской семьи. Она продолжает считать себя представительницей и защитницей одной из сторон европейской жизни, именно легитимистской и антиреволюционной, и только уже после покидает поневоле эту роль, за неимением кого представлять и кого защищать. Священный союз рушится[11] в тот самый момент, как только (в первый раз с его основания) ему приходится оказать свое действие на пользу России. Но Россия все-таки не хочет придать с самого начала войне настоящих ее размеров и настоящего ее значения, опасаясь быть поставленной в ряды пособников возмущения против его султанского величества.

Как бы то ни было, успех против России узаконивает, легитимирует в глазах Европы Наполеона. Достигнув этой пред-

варительной цели, он приступает к первому шагу, который должен доставить ему гегемонию в Европе, и избирает орудием для сего Италию, подобно большинству своих предшественников, германских императоров и французских королей; но предполагает действовать опять-таки по совершенно новому плану. Он намеревается не покорить, а освободить Италию и, сделав из нее бессильную федерацию с включением Австрии и папы, поставить ее в полнейшую от себя зависимость. Но эскамотация не удается, потому что еще более ловкий Кавур, при помощи благородного энтузиаста Гарибальди, эскамотирует у Наполеона единство Италии. Пришлось удовольствоваться Ниццей и Савойей.

Таким образом, вместо утверждения французской гегемонии, оказалось, что европейское равновесие получило более широкую основу. Главная причина, побуждавшая, или (лучше сказать) соблазнявшая, честолюбцев стремиться к преобладанию, – разъединенность Италии, – заменилась независимостью и единством ее, которые, окрепнув, сделаются новым столбом основанной на равновесии сил европейской политической системы.

Наполеон, однако, не унывает: североамериканское междоусобие представляет ему случай загладить обнаружившиеся перед Европой честолюбивые стремления*. Северо-Американские Штаты, несмотря на все свое республиканство и всю свою свободу, не по сердцу Европе, как и монархическая Россия. Такое отношение выказалось к ним во время испытания, которому подверглась могущественная республика в первой половине шестидесятых годов. Между частными лицами симпатии к заатлантической республике довольно, правда, развиты; так же точно, как во времена Екатерины ее либеральные меры и планы и даже ее победы над турками внушали сочувствие к России вождям европейского общественного мнения.

* Он стремился распространить европейское влияние на Америку Мексиканской экспедицией, пользуясь междоусобной войной Североамериканских штатов. Но Штаты заставляют французов удалиться, и, следовательно, внеевропейское могущество спасает Америку от европейского преобладания. – То же должен делать и Всеславянский союз. – *Посмертн. примеч.*

Но как тогда передовые политики (Шуазели, Фридрихи) определили общественное мнение Европы в недоброжелательстве и враждебности к России, так точно и теперь передовые политические люди относятся столь же недружелюбно к Северо-Американским Штатам. Посему утверждение европейского могущества на Американском материке было бы, конечно, делом приятным и угодным Европе.

Начиная дело, в котором (в случае успеха) европейские симпатии были бы на его стороне. Наполеон имел, собственно, в виду возвысить значение латинской расы и стать во главе ее в той или другой форме, имея повод считать себя ее предопределенным представителем. В самом деле, по происхождению итальянец с отцовской, креол – с материнской стороны, француз, так сказать, по усыновлению, он связан по жене с испанской народностью.

Победа Севера[12] разрушила, как известно, его планы и надежды, и вскоре постигла его другая, более горькая неудача. Граф Бисмарк еще более смелым и ловким маневром, чем Кавур, усыпив или обманув как его, так и многих других, положил широкие и прочные основания единству Германии. Семена, посеянные Утрехтским миром (основание Сардинского и Прусского королевств), взросли и принесли, наконец, плод свой сторицей: Италия и Германия вышли из своей разъединенности.

Таким образом, мы видим, что все предлоги и соблазны к нарушению системы политического равновесия Европы (основания которой, как мы сказали, лежат в самом этнографическом составе ее и в топографическом характере стран, занимаемых ее главнейшими племенами) один за другим постепенно исчезают – и политическое равновесие после всякой новой борьбы все более и более укрепляется, становится все более и более устойчивым. Чего не могли сделать конгрессы при содействии коллективной дипломатической мудрости Европы, то устраивается само собой, из самых стремлений к нарушению естественного для Европы политического порядка вещей, и в настоящее время в этом отношении можно смотреть

на него как уже на почти совершенно установившийся, ибо все пять главных европейских народностей достигли и объединения, и независимости. Возможно и вероятно поглощение меньших народностей большими, как то: Португалии – Испанией, раздел Бельгии и Голландии между Францией и Германией, объединение Скандинавских государств; но все это едва ли в состоянии произвести общее возмущение в европейском мире. Собственно говоря, нерешенным остается только один существенный вопрос равновесия: примирится ли Франция с имеющим рано или поздно совершиться расширением прусской гегемонии на юго-западную Германию и на все вообще германское племя*?

Но так ли это или не так – для нас важен теперь тот несомненный факт, что с объединением всех главных европейских народностей и, следовательно, с совершенным почти устранением поводов и соблазнов к нарушению политической системы равновесия падают все прежние препятствия в распространении европейского владычества над прочими частями света.

Действовавшее с самого начала европейской истории, сильное своим религиозным фанатизмом и воинственностью магометанство пало вместе с духом, одушевлявшим последователей этого учения. Громадность, массивность и отдаленность таких политических тел, как Китай и Япония, занимающих Восточную Азию, утратили свое оборонительное значение с применением пароходства к военным целям, ибо теперь стало возможным перевозить на противоположное полушарие массы войск, достаточно сильные для быстрого и энергического подавления того сопротивления, которое они могли бы оказывать, и даже доставлять эти войска глубоко внутрь страны по рекам. Наконец, самое действительное препятствие к всемирному владычеству Европы – внутренняя борьба европейских государств за установлением правильных между ними отношений тоже устраняется почти полным уже достижением устойчивого равновесия. Вся честолюбивая деятельность Европы (а недостатка в ней нет) в большей и большей степени обратится на

* Опять, не подтвердилось ли это? – *Посмертн. примеч.*

то, что – не Европа, как бывало всегда во времена перемирий во внутренней ее борьбе; Drang nach dem Osten от слов не замедлит перейти к делу.

К счастью, по мере того, как падали только что поименованные старые препятствия к всемирному владычеству Европы, возникли два новые, которые одни только и в состоянии остановить ее на этом пути, положить основание истинному всемирному равновесию. Эти два препятствия: Американские Соединенные Штаты и Россия. Но первые ограничиваются ограждением Нового Света от посягательств Европы и по своему положению они сравнительно мало заинтересованы в том, как будет она распоряжаться со Старым; да по причине этого же положения, и не могут, сами по себе, оказывать большого влияния на этом театре действий. Следовательно, вся тяжесть охранения равновесия сил в Старом Свете лежит на плечах России. Но если Американские Штаты, благодаря своему заокеанскому положению, совершенно достаточно сильны для успешного выполнения доставшейся на их долю задачи, нельзя того же сказать о России.

При доказанной долговременным опытом непримиримой враждебности Европы к России можно смело ручаться, что, как только она устроит свои последние домашние дела, когда новые элементы политического равновесия ее системы успеют отстояться и окрепнут, первого предлога (как во время Восточной войны) будет достаточно для нападения на Россию; а таких предлогов доставят всегда в достаточном количестве Восток и Польша.

Но бороться с соединенной Европой может только соединенное Славянство. Итак, не всемирным владычеством угрожает Всеславянский союз, а, совершенно напротив, он представляет необходимое и вместе единственно возможное ручательство за сохранение всемирного равновесия, единственный оплот против всемирного владычества Европы. Союз этот был бы не угрозой кому бы то ни было, а мерой чисто оборонительной – не только в частных интересах Славянства, но и всей Вселенной. Всеславянский союз имел бы

своим результатом не всемирное владычество, а равный и справедливый раздел власти и влияния между теми народами или группами народов, которые в настоящем периоде всемирной истории могут считаться активными ее деятелями: Европой, Славянством и Америкой, которые сами находятся в различных возрастах развития.

Сообразно их положению и общему направлению, принятому их расселением и распространением их владычества, – власти или влиянию Европы подлежали бы преимущественно Африка, Австралия и южные полуострова Азиатского материка; Американским Штатам – Америка; Славянству – Западная, Средняя и Восточная Азия, т.е. весь этот материк за исключением Аравии и обоих Индийских полуостровов.

Но, возразят нам, всемирное владычество Европы совсем не то, что всемирная монархия – этот страшный враг прогресса; ибо Европа – не одно государство, а собрание совершенно независимых государств. Такой взгляд на опасности, которыми угрожает всемирное владычество, был бы крайне близорук. Всемирная ли монархия, всемирная ли республика, всемирное господство одной системы государств, одного культурно-исторического типа – одинаково вредны и опасны для прогрессивного хода истории в единственно справедливом смысле этого слова; ибо опасность заключается не в политическом господстве одного государства, а в культурном господстве одного культурно-исторического типа, каково бы ни было его внутреннее политическое устройство. Настоящая глубокая опасность заключается именно в осуществлении того порядка вещей, который составляет идеал наших западников: в воцарении не мнимой, а действительной столь любезной им общечеловеческой цивилизации. Это было бы равнозначительно прекращению самой возможности всякого дальнейшего преуспеяния или прогресса в истории внесением нового миросозерцания, новых целей, новых стремлений, всегда коренящихся в особом психическом строе выступающих на деятельное поприще новых этнографических элементов.

Чтобы убедиться в этом, стоит только обратиться к сокровищнице исторического опыта. Представим себе, что владычество римлян было бы всемирным не в гиперболическом, а в действительном смысле. За отсутствием внешнего толчка, который ускорил бы разложение громадного римского культурно-исторического типа, пришедшего в гниение вследствие внутренних причин, и развеял бы по всем ветрам поднимавшиеся из него заразительные миазмы, – откуда явилось бы обновление? Само христианство не могло влить новой жизни в это испортившееся тело и успело только высказать свою несовместимость с римским порядком вещей. Сам божественный Основатель его не сказал ли, что вино новое не вливается в мехи старые, ибо и мехи лопнут, и вино прольется. Не все ли было равно в этом единственно существенном отношении, составлял ли бы Рим монархию, республику или даже просто ряд связанных между собой (или даже не связанных) какою-либо определенной политической связью государств? Не одинаковы ли были, в сущности, последствия разложения греческого культурного типа, хотя он и был разбит на многие независимые друг от друга политические единицы: царства Македонское, Сирийское, Египетское, греческие республики и даже республиканские федерации? Не видим ли мы, напротив того, что там, где (как в Китае) не происходило разрушения древних переживших себя культур, обновление не приходило изнутри? В устаревших политических телах, точно так, как и в отдельных людях, с иссякновением родника живых сил остается одна лишь форма, за которую они хватаются, как за священный Ковчег Завета, и в охранении ее во что бы ни стало видят свое единственное спасение.

Ни отдельные люди, ни целые народы не могут в старости переродиться и начать жить иным образом, исходить из новых начал, стремиться к другим целям, – что, как мы видели, есть необходимое условие прогресса. Следовательно, для того чтобы культурородная сила не иссякла в человеческом роде вообще, необходимо, чтобы носителями ее являлись новые деятели, новые племена с иным психическим строем, иными просвети-

тельными началами, иным историческим воспитанием; а следовательно, надо место, где могли бы зародиться эти семена нового, – надо, чтобы не было все подчинено влиянию, а тем менее власти одного культурно-исторического типа. Большей клятвы не могло бы быть наложено на человечество, как осуществление на земле единой общечеловеческой цивилизации. Всемирное владычество должно, следовательно, страшить не столько своими политическими последствиями, сколько культурными. Не в том дело, чтобы не было всемирного государства, республики или монархии, а в том, чтобы не было господства одной цивилизации, одной культуры, ибо это лишило бы человеческий род одного из необходимейших условий успеха и совершенствования – элемента разнообразия. Итак, мы можем сказать с полной уверенностью, что Всеславянский союз не только не угрожает всемирным владычеством, но есть единственное предохранение от него.

Но возможно ли существование такого союза или, по крайней мере, сколько-нибудь продолжительное устойчивое существование его? Не показывает ли исторический опыт, что большая часть федерации были весьма недолговечны и притом не пользовались большой политической силой. Если вникнуть в условия этой слабости и недолговечности, то легко усмотреть, что на это существовали всегда особые причины, заключавшиеся не в самой федеративной форме, а в каких-либо случайных недостатках, зависевших от того, что форма не соответствовала своему содержанию, – причем, конечно, никакая форма долговечной и устойчивой быть не может, а, так сказать, по необходимости разрывается содержанием или задушает его.

Мы уже определили выше те данные, которыми обусловливается возможность и пригодность федеративного устройства. Мы только вкратце припомним их читателям, так как они несложны и могут быть выражены в следующих немногих положениях.

Один и тот же народ не может* составлять федерации, если не удален от своих соседей труднопреодолимыми физиче-

* И не должен. – *Посмертн. примеч.*

скими препятствиями, как то: обширными морями, высокими хребтами и т.п.

Не могут составлять постоянной федерации народы, не связанные племенным сродством.

Смотря по отношениям, существующим между этнографическими элементами, составляющими федерацию, она должна быть устроена или по типу равновесия частей, или по типу гегемонии.

Наконец, федерация при дуалистическом типе невозможна – она быстро уничтожает сама себя.

Все неудачи, которым подвергались федерации, подводятся под эти причины. В самом деле, мог ли единый немецкий народ в Германском союзе, разделенный по разным королевствам, герцогствам и княжествам единственно вследствие исторических случайностей, довольствоваться федеративной формой, не имеющей никаких внутренних основ и причин бытия, а между тем обрекавшей его на относительную слабость и беспомощность среди окружавших его крепких своей политической централизацией соседей? С другой стороны, могло ли это чисто искусственное дипломатическое здание воздержать первого честолюбца, чувствующего свои силы и умеющего отдавать предпочтение сущности вещей (хотя бы неоформленной) перед пустой (имеющей лишь внешнюю условную обязательность) формой? Еще менее залогов долговечности представляла эта федерация по причине дуалистической формы, при которой Пруссия должна была стараться исключить Австрию, а Австрия низвести Пруссию в разряд второстепенных или третьестепенных государств, дабы достигнуть через это бесспорной гегемонии.

Древняя Греция могла держаться в федеративной форме, пока географическое положение и слабость соседей обеспечивали ее от внешних врагов. Но и тут главная причина ослабления ее политического могущества и, наконец, уничтожения ее независимости заключалась в дуализме Спарты и Афин; тогда как этнографический состав Греции требовал вначале устройства федерации по типу равновесия частей, а после – тесного

сближения с Македонией, добровольного и сознательного подчинения ее гегемонии.

Напротив того, Швейцария весьма устойчиво сохраняет свое федеративное устройство, ибо природой страны обеспечена от внешних нападений и утверждена в своей независимости общепризнанным нейтралитетом, а устройство ее по типу равновесия с достаточной удовлетворительностью соответствует действительному распределению сил по кантонам.

Америке прилична федеративная форма, потому что самое географическое положение уже обеспечивает ее независимость, а невыяснившаяся еще народность, находящаяся в период своего этнографического образования, делает возможной всякую провизуарную[13] форму государственности, которой еще не с чем сообразоваться.

Если применим эти требования к Славянству, то легко убедимся, что этнографические стихии его именно таковы, что никакая форма политического соединения, кроме федеративной, не может их удовлетворить. Притом соседство могущественной и враждебной Европы заставляет принять форму тесного федеративного соединения, а сравнительная сила славянских племен, так же как и историческое воспитание и приобретенная вследствие его Россией политическая опытность, с такой очевидностью требует гегемонического типа федерации, что относительно этого может возникнуть сомнение только в головах обезнародившейся, оторванной от всякой действительности почвы польской шляхты.

Таким образом, все внутренние и внешние условия соединяются для доставления устойчивости и долговечности именно федеративной форме устройства Славянского мира.

Но пусть при всем этом политический союз славян будет недолговечен, пусть век его ограничится тем же сравнительно коротким сроком, который выпал на долю покойного Германского союза.

Это допустимо без особенного вреда для Славянства, если в течение этого времени самобытность и независимость его успеет получить признание со стороны теперешних его

врагов, – если враждебность Европы к независимому самобытному Славянству прекратится, будет ли то по сознательной необходимости примириться с раз осуществившимся фактом, или по сознанию своей слабости ниспровергнуть его. Пусть примет тогда Славянство более просторную форму политической связи между своими членами, пусть обратится из тесного федеративного союза в политическую систему государств одного культурного типа. Главная цель его (которая не политическая, а культурная) будет уже достигнута: общие соединенные усилия для достижения независимости и самобытности, так же как и продолжительное сожительство, так сказать, под одной политической кровлей разольют по всем слоям общества разных славянских народов чувство и сознание соединяющего их племенного родства.

С другой стороны, продолжительная, многократно возобновляющаяся борьба с Европой, без которой не может осуществиться судьба Славянства, посеет спасительное отчуждение от того, что идет от врагов, и тем более заставит ценить и любить свое родное исконно славянское. Если бы такое отношение к чуждому европейскому и своему славянскому и перешло даже должную меру справедливости, перешло в исключительность и патриотический фанатизм, то на время и это было бы в высшей степени благодетельно и целебно после столь долговременного искривления нормальных отношений в противоположную сторону. Так, чтобы выпрямить дерево, которое долго гнул ветер в одну сторону, надо насильственно перегибать его в другую. Поэтому борьба Славянства с Европой – этот последний все ближе и ближе надвигающийся, все более и более созревающий фазис Восточного вопроса – имеет, думаем мы, столь же важное значение, как и торжество Славянства и утверждение его независимости и самобытности*.

* И этот фазис уже начался с последней Турецкой войны (1878–1879 гг.). Но Россия, дурно ведя войну с начала, после значительного истощения своих финансовых и военных сил, после многих сделанных ошибок не решилась на эту борьбу и приняла постыдный Берлинский мир, вредное влияние которого доселе продолжается. Но своими последствиями он неизбежно приведет к этой борьбе. – *Посмертн. примеч.*

Затем необходимым плодом политического объединения Славянства явился бы общий язык, которым не может быть иной, кроме русского; он успел бы приобрести должное господство для того, чтобы между всеми членами славянской семьи мог происходить плодотворный обмен мыслей и взаимного культурного влияния.

Таким образом, существенное единство было бы достигнуто; а с достижением внутреннего содержания форма много бы потеряла важности и значения,– если только, повторяю я, обстоятельства так бы сложились, что эта форма перестала бы быть необходимой оградой и обороной сущности.

Многие истинные и искренние друзья Славянства и теперь видят главное в этой сущности, так что стремления и желания их клонятся только к достижению духовного единства возведением русского языка в общий язык науки, искусства и международных сношений между всеми славянскими народами. Говоря безотносительно, мы совершенно разделяем их образ мыслей, но полагаем только, что такой взгляд на предмет совершенно непрактичен: именно потому, что духовное единство есть главное, существенное, высшее; политическое же объединение – сравнительно низшее. Это низшее и должно быть прежде всего достигнуто, дабы высшее могло осуществиться; с него нужно начинать, так как это фундамент.

Мне кажется, что возведение русского языка в общеславянский, пока славянские племена не освобождены политически (пока они составляют части посторонних чуждых политических тел и принуждены собой питать, укреплять и поддерживать эти тела), с одной стороны, дело столь же мало осуществимое, как известный способ ловить птиц, посыпав им соли на хвост; с другой же – мало полезное, если бы и было осуществимо. Доказательством этому последнему может служить Галиция, где (по самому племенному составу ее жителей) русский язык есть язык народный; и что же, можно ли довольствоваться таким единством? Несмотря на единство языка, существует ли настоящее духовное единство между Россией и Галицией? Да и самому языку этому не

угрожает ли постоянная опасность то от разных искажений, правительственно в него вводимых или поддерживаемых, то обращением его в язык каких-то парий, который устранен от науки, от литературы, от всех высших проявлений человеческой мысли.

Несколько лет общей борьбы, в простом буквальном смысле этого слова, – борьбы, веденной за одно и то же святое дело, несколько лет политического сожительства сделают больше для духовного единства славян, для возведения русского языка в общеславянское средство обмена чувств и мыслей, нежели столетия самых напряженных неустанных усилий путем частных совещаний, изустных и печатных проповедей.

При политической разъединенности сознание потребности в общем языке может быть только чисто идеальным, к которому могут быть способны лишь немногие избраннейшие люди Славянства, да и из них – только те, которые или по редкой светлости своего взгляда, по горящему в них глубокому народному чувству, или по особенно благоприятным обстоятельствам развития не поддаются разъедающему Славянство европейскому влиянию. Напротив того, политическое объединение обратит распространение русского языка по всему Славянству в насущную будничную потребность не одних только высокообразованных и развитых личностей, не одних ученых или литераторов, а всякого практическим делом занимающегося человека. Самые простые меры, принятые к обучению в школах русскому языку, могут в немного лет доставить ему то же распространение, то же господство, которое получил немецкий язык между австрийскими, турецкий – между турецкими и которое, без сомнения, скоро получит мадьярский между венгерскими славянами.

Как велико значение политического объединения для распространения языка между инородцами, даже враждебно расположенными к языку господствующего племени, можно видеть на примере поляков наших западных губерний и прибалтийских немцев. Несмотря на недостаточность и даже

ошибочность мер, которые принимались русским правительством для водворения русского языка между высшими сословиями Западной России и Балтийских губерний, несмотря также на систематическую оппозицию поляков и немцев принять русский язык языком школы и администрации, – он все-таки известен большинству их и, во всяком случае, распространен между ними в несравненно большей степени, чем между самыми дружественно расположенными к нам славянскими племенами Австрии и Турции. Как же быстро должно распространиться знание русского языка в славянских землях после их освобождения и политического союза с Россией, где место враждебности займет дружественное расположение, которое, без сомнения, еще значительно усилится, когда славянам будет подана братская рука помощи для завоевания их свободы и утверждения нашего общего величия, славы и благоденствия?

Еще одно соображение: те ревнители и друзья Славянства, которые для укрепления славянского общения желали бы ограничиться чисто нравственным образом действия (каковому образу мыслей было представлено довольно много примеров на знаменитом Славянском съезде в Москве и Петербурге[14]), утверждают свой взгляд на том, что славянские идеи еще мало проникли как в наше, так и в западнославянские общества. По их мнению, общение научное, литературное, так сказать, союз славянских душ и сердец заключается в высшей, сверхполитической сфере, и к нему только и должно стремиться. Я знаю, что многие из выражавшихся в этом духе изустно и письменно, накладывали узду на свою мысль и слово из-за внешних соображений, ради разного рода благоприличии; но некоторые искренно так думают. Такое эфирное общение и единение душ и сердец может действительно существовать в одной сфере человеческих отношений, но только в одной – в той, которая выше всего земного: в сфере религиозной. Но интерес народный, как он ни возвышен, хотя идет непосредственно после интереса религиозного, есть все-таки интерес вполне и совершенно земной и должен

быть достигаем и средствами более положительного, земного и материального свойства.

Славянство, говорят, еще не подготовлено к политическому объединению, племенные распри разделяют его; понятия его о России самые смутные, и даже, может быть, отношения к ней недоверчивые. Но оно никогда и не подготовится, никогда не оставит своих личных споров и соперничеств, никогда не поймет и не узнает России, одним словом, никогда не дозреет, если не будет выдвинуто силой событий из своей мелочной атмосферы на всемирно-историческую арену великим историческим толчком. Думать, что педагогическую роль истории для западных славян, точно так же, как и для нас самих, можно заменить изустной или письменной пропагандой, – значит не понимать истинной меры своих собственных сил и сил своих противников, принимать борьбу (долженствующую решить нашу судьбу) на самом невыгодном для нас театре действий.

Не до́лжно обманываться: на поприще влияния на общественное мнение, в борьбе словом, происками, соблазнами Европа несравненно сильнее и деятельнее нас по весьма простым и понятным причинам. Все поприща деятельности в Европе переполнены интеллектуальными силами; дабы существовать, они должны эмигрировать, эксплуатировать еще девственные страны, каков Восток. В одном Константинополе – целая обширная колония европейских купцов и промышленников, и все они – вольные и невольные пропагандисты европейской идеи, даже если вовсе и не сознают ее. У нас между тем – недостаток в этих силах, к какому бы поприщу мы ни обратились. Мы не можем ничего уделить из них для проповеди русской идеи.

Этого мало. Европа имеет двух пособников для проведения ее целей и планов на Востоке, два разряда организованного миссионерства: католическое духовенство (преимущественно иезуитство) и революционную эмиграцию (в особенности, польскую). Что противопоставим мы им? Всякий иностранный правительственный агент – вместе с тем пропагандист евро-

пейского влияния, все равно какого бы образа мыслей он ни держался, к какой бы партии ни принадлежал; ибо как бы глубоко они ни разделялись между собой, разделение это не доходит до отрицания европейской идеи. Клерикал, ультрамонтан может в этом отношении смело подать руку самому красному демократу и социалисту. То ли у нас? Наш консул или вообще правительственный агент (по самой нашей служебной организации) есть только официальный чиновник, который ни в каком случае не может быть деятелем русской пропаганды уже по одному тому, что это подало бы повод к бесконечным толкам и клеветам и сейчас же обратило бы на себя внимание как турецкого, так и австрийского правительств.

Надо ли говорить о том, что самые литературы немецкая, французская, английская имеют несравненно большее влияние на славян, чем русская, – уже по большему распространению между ними европейских языков, из коих немецкий есть официальный язык для большинства славян.

Поэтому открытая борьба, которая возбудит как с нашей, так и с славянской стороны могущественные симпатии единоверия и единоплеменности, скрывающиеся в глубине духа самих народных масс, симпатии, в сравнении с которыми все те пули, коими происки и соблазны Европы втекают к славянским народам, – все равно что тихо журчащие ручейки перед всколыхавшимся морем, быстро перевернет все выгоды на нашу сторону. Ими надо только суметь воспользоваться, да и этому нужда научит.

Борьба с Западом – единственное спасительное средство как для излечения наших русских культурных недугов, так и для развития общеславянских симпатий, для поглощения ими мелких раздоров между разными славянскими племенами и направлениями. Уже назревший Восточный вопрос делает борьбу эту помимо чьей бы то ни было воли неизбежной в более или менее близком будущем. Вероятности успеха в этой борьбе должны составить предмет следующей главы; но прежде считаем необходимым оговориться. Положительная оценка тех сил, которыми в данное время может владеть Россия,

и сравнение их с силами вероятных врагов наших не может входить в число наших соображений; ибо в этом деле, как само собой разумеется, мы совершенно не компетентны, да едва ли и кто-нибудь может считать себя компетентным там, где дело идет о мировой борьбе, предстоящей хотя, по всем вероятиям, и в близком, но все-таки в неопределенном будущем. Наше дело может состоять не в исчислении русских армий и флотов, оценке их устройства, вооружения и тому подобного, а только в рассмотрении кроющихся в России элементов силы, как они высказались в явлениях ее истории, и в анализе того образа действий, которого она должна держаться для обеспечения себе вероятного успеха.

ГЛАВА XVI
Борьба

Что ни поп – тот батька.
Русская пословица

Одна лишь выгода из сего (из войны 1799 года) произошла – та, что сею войною разорвались все почти союзы России с другими землями. Ваше Императорское Величество давно уже со мною согласны, что России с прочими державами не должно иметь иных связей, кроме торговых. Переменяющиеся столь часто обстоятельства могут рождать и новые сношения и новые связи, но все сие может быть случайно, временно.
Граф Ф.В. Ростопчин

Святая истина!
Император Павел [1]

Рано или поздно, хотим или не хотим, но борьба с Европой (или, по крайней мере, со значительнейшей частью ее) не-

избежна из-за Восточного вопроса, т.е. из-за свободы и независимости славян, из-за обладания Царьградом, – из-за всего того, что, по мнению Европы, составляет предмет незаконного честолюбия России, а по мнению каждого русского, достойного этого имени, есть необходимое требование ее исторического призвания. Можно медлить, отдалять по тем или другим соображениям как с нашей, так и с европейской стороны грозный час наступления борьбы, но она не может быть устранена иначе, как если или Европа почувствует всю справедливость славянских требований и добровольно уступит им, на что, как по всему видно, весьма мало надежды; или если Россия, как говорят враги ее, действительно окажется

Больной, расслабленный колосс[2],

расслабленный нравственно, переставший внимать не только голосу народной чести, но и самым громким побуждениям инстинкта самосохранения, готовый отказаться от всех преданий своей истории, отречься от самого смысла своего существования*. Но и этого мало. Если бы Россия даже дошла до такой степени унижения, оно было бы слишком невероятно, чтобы ему поверили: в нем увидали бы притворство и уловку и нас все-таки не оставили бы в покое.

Самый процесс этой неизбежной борьбы, а не одни только ее желанные результаты, – как это не раз уже было высказано нами, – считаем мы спасительным и благодетельным, ибо только эта борьба может отрезвить мысль нашу, поднять во всех слоях нашего общества народный дух, погрязший в подражательности, в поклонении чужому, зараженный тем крайне опасным недугом, который мы назвали европейничаньем. Нас обвинят, может быть, в проповеди вражды, в восхвалении войны. Такое обвинение было бы несправедливо: мы не проповедуем войны – уже по одному тому, что такая проповедь была бы слишком смешна из наших слабых уст; мы утверждаем лишь, и не только утверждаем, но и доказываем, что борьба

* Увы! Начинает оказываться. – *Посмертн. примеч.*

неизбежна, и полагаем, что хотя война очень большое зло, однако же не самое еще большее, – что есть нечто гораздо худшее войны, от чего война и может служить лекарством, ибо «не о хлебе едином жив будет человек».

Считая борьбу с Европой неизбежной в более или менее близком будущем, мы полагаем нелишним бросить взгляд на то, какие залоги имеются у нас на успех в этой борьбе, каковы вероятности удачи, в чем заключаются средства, на которые мы можем рассчитывать, каков должен быть наш образ действий, дабы обеспечить за собой вероятность успеха. Очевидно, что для этого нам предстоит рассмотреть и оценить как наши внутренние – нравственные и материальные – силы, так и тот путь, которому должны мы следовать в наших отношениях к Европе. Но прежде чем перейти к этому специальному предмету настоящей главы, мы остановимся на одном общем историческом соображении, которое громко говорит в нашу пользу, обещая нам успех, потому что успех этот, так сказать, лежит в общем направлении исторического тока событий.

Слово «закон» в применении к разным отраслям человеческого знания имеет весьма различное значение и достоинство. В некоторых немногих точных науках он есть правило, выражающее собой весьма простое отношение, которому необходимо следует целая обширная категория явлений, – и притом правило, не только постижимое умом, но необходимо вытекающее из его требований. К этим законам применяется изречение Гете: «Was der Geist verspricht, das halt die Natur»[3]. Таков, например, знаменитый закон всемирного тяготения. Другие законы суть гипотетические положения, внутренней необходимости которых мы не сознаем, может быть, потому, что ум наш слишком слаб для постижения этой необходимости. Но положения эти, будучи, однако же, раз приняты, удовлетворительно изъясняют целый ряд явлений. Таков, например, химический закон атомизма, оптический закон волнообразного движения эфира. Оба эти разряда законов составляют не только норму, с которой явления сообразуются, но еще и объясняют их.

В науках с более сложным предметом, каковы все науки о человеке и обществе, под именем законов разумеется просто частое повторение явлений, для которого мы не можем придумать даже и гипотетического объяснения. Так, например, статистика показывает нам, что число рождающихся мальчиков находится в постоянном отношении к числу рождающихся девочек. Законы, которые успели подсмотреть в морфологии организмов, подходят также под этот разряд. Так, например, со времен Аристотеля говорится, что животные с раздвоенными копытами не имеют верхних передних зубов, имеют отрыгающий жвачку желудок и, с небольшими исключениями, рога на лбу. Но почему это так? Где внутренняя причина этих явлений? Где хотя бы гипотетическое им объяснение?

В этом последнем, более тесном и ограниченном смысле можем мы, следовательно, назвать законами такие исторические явления, которые неизменно повторяются с самого начала истории при весьма различных местных временных обстоятельствах, указывая этим на какой-то неизвестный, присущий историческому движению план.

На одно из таких исторических повторений (или, пожалуй, исторических законов) желаем мы обратить теперь внимание. Закон этот, который можно назвать законом сохранения запаса исторических сил, проявляется в следующем: в начале истории народа, еще в этнографический период его развития, или вскоре по выходе из него, обыкновенно случается, что некоторая его часть, находясь в особенно выгодных географических условиях и в близких непосредственных сношениях с достигшими более высокой степени культуры соседними народами, находится в благоприятных условиях для скороспелости с ее выгодными и невыгодными сторонами. В этой части племени развивается самородное или заимствованное просвещение или, по крайней мере, зачатки его; начинается, а иногда и достигает высшей степени совершенства религиозная, политическая, культурная жизнь. Но основание, на котором построено это развитие, непрочно, ибо корни его не распространяются по всему этнографическому телу, которое

одно могло бы придать им крепость и устойчивость, и потому внешние бури часто угрожают гибелью этому первоцвету. Между тем остальная часть племени под охранительным покровом могучей природы (лесов, степей, горных хребтов) продолжает вести свою тихую, по большей части еще племенную, этнографическую жизнь, не расточая, а все еще скопляя элементы будущей силы. Расположившись на границах области распространения своего племени, эта запасная часть его часто вливает свою кровь, свою жизнь, свой дух в чуждые инородческие племена, в соседстве и даже вперемежку с которыми оно живет, мало-помалу уподобляет их себе и таким образом составляет обширный запас сил, как бы политический и культурный резерв, который в свое время явится на выручку своих аванпостов, когда в них станет иссякать внутренний источник жизни или сломят их внешние бури. Этим доставляется возможность общеплеменной жизни глубже проникнуть, шире раскинуться и зацвести в более широких размерах если не во всех, то в некоторых, по крайней мере, отношениях. Этот закон имеет и другое более общее значение, относясь к обновлению высших, так сказать, культурных общественных классов свежими силами, притекающими из низших, так сказать, этнографических общественных классов. В такой общественной форме явление это обращало на себя нередко внимание исследователей и составляет даже род этнографической аксиомы. Но на его чисто историческую сторону, сколько мне известно, едва ли было обращено внимание.

Первый ясный пример этого явления, столько раз имевшего впоследствии повториться, представляет нам Древняя история Западной Азии. Мидийское царство, основанное народом, принадлежащим к иранскому культурному типу, достигло известной степени цивилизации под влиянием вавилонской образованности и с тем вместе утратило свой народный характер и потому быстро клонилось к упадку и разложению, в котором находилась уже эта древняя семитическая культура. Племя персов, воинственное и полудикое, еще сохранившее иранский тип, покорив Мидию, вдохнуло новые силы в иран-

ские племена и соединило их в огромную монархию, составляющую цветущий период иранского культурно-исторического типа, непродолжительность которого опять-таки зависела от разъедающего влияния вавилонизма – тем сильнейшего, что самые центры вавилонской культуры были включены в состав государства.

Второй пример представляет нам история Греции. Греческая жизнь развилась до своего блестящего цвета в столь благоприятных для культуры местностях Пелопоннеса и Эллады под возбудительным влиянием Египта и Финикии, с которыми могла стоять в довольно близких отношениях через посредство перекинутых, как мост, многочисленных островов. Внутренние раздоры и вообще отсутствие здравого политического смысла быстро приводили в упадок благосостояние Греции, приготовляя ее в добычу первого сильного политического тела, которому она встретилась бы на пути. Но среди дикой горной страны жил, внутренне укрепляясь, до поры до времени вне политической и культурной исторической сферы, остаток греческого племени в смешении с инородческими элементами, которые он эллинизировал. Из Македонии был подан Греции якорь спасения Филиппом. Слившись с родственной Македонией, подчинившись добровольно и сознательно ее гегемонии, Греция могла бы, по всем вероятиям, продолжать жить самобытной жизнью, не опасаясь самого Рима.

Парфяне, также иранское племя, обитавшее на границах Скифии и в смешении со скифскими элементами и находившееся вне пределов исторической жизни в блестящее время Персидской монархии, подобным же образом высвобождают из-под греко-македонского влияния восточную часть завоеваний Александра, охраняют ее от римлян – и тем дают возможность новому возрождению иранской культуры во времена Сасанидов[4].

Переходя к так называемым новым временам, мы видим загнанных в горы испанских готов, кладущих основание освобождению своего отечества от власти мавров и подготовляющих блеск и величие новой Испании.

На равнинах России первые семена гражданственности и образованности развиваются в Поднепровье и в пригорьях Карпатов под влиянием Византии. Внутренние раздоры, татарский погром, вторжение Литвы, польская власть разрушают эти начинания русской жизни. Но на северо-востоке, в глухой лесной стране, русская колонизация в стороне от деятельной исторической жизни образует сильный запас русской силы, русит финские племена и, окрепнув, является восстановительницей единства России, собирательницей земли Русской под знаменем Москвы и продолжателей ее дела: Петра и Екатерины.

Средняя, частью Южная и Северо-Восточная Италия в приморских местностях и на равнинах Ломбардии живет многообразной роскошной политической и культурной жизнью, изживается и становится добычей чужеземцев. Но у подошвы Альп, в диком Пьемонте, не принимавшем участия в многозначительной исторической жизни Италии, сохраняется нравственная сила и энергия среди населения, смешанного с племенами не чисто итальянского происхождения,– и в наши дни является Пьемонт возродителем и соединителем Италии.

Ту же роль в течение части Средних и Новых веков играл Бранденбург, или Бранибор относительно Северо-Восточной Германии, которую объединил под именем Прусского королевства. Эта отдаленная немецкая Украйна – Марка – распространяла германизацию между северо-западными славянскими племенами, мало вмешиваясь в средневековую жизнь, кипевшую по Рейну, Везеру, верхнему Дунаю и Эльбе. Но когда иссякла в этих странах всякая политическая сила, из Бранденбурга положено было основание возрождению немецкого могущества в Прусской монархии.

В наши дни тем, чем был Бранденбург для Прусского королевства, сделалось Прусское королевство для Германии вообще.

Итак, древняя область персов, Македония, страна парфян, Астурия, Суздаль и Москва, Пьемонт, Бранденбург, Пруссия – страны, сохранившие еще свою племенную этнографическую энергию в то время, когда области, заселенные

ранее их развившимися и вступившими на деятельное политическое и культурное поприще братьями (Мидия, Греция, Персидская монархия, Испания, Юго-Западная Русь, Италия, Средняя и Западная Германия), уже потеряли свою политическую силу и или подпали власти иноплеменников, или влачили бессильное существование, – явились восстановителями, возобновителями исторической жизни этих раньше начавших жить братьев. Они были, так сказать, хранителями запаса сил своего племени.

Аналогия говорит нам, что совершенно то же отношение существует между западными славянами, окруженными народами германо-романскими, волей и неволей захваченными круговоротом их жизни, потерявшими в нем свою политическую самобытность и независимость, и Россией, составляющей громадный запас славянских сил. Голос всей истории свидетельствует нам, что запас этот не пропадет втуне, что и он предназначен к тому, чтобы, как во всех предыдущих случаях, возродить, восстановить, обновить собой славянскую жизнь в более обширных размерах. Этого требует закон исторической экономии, столь же разумный, как и закон экономии природы, ничего напрасно не создающей, извлекающей все следствия из своих посылок. Против исторического тока событий, – как против рожна, – прать невозможно; и в этих общих соображениях почерпаем мы, между прочим, уверенность, что русское и славянское святое, истинно всемирно-историческое и всечеловеческое дело не пропадет.

Перейдем теперь от этих общих соображений к более частным и специальным.

В продолжение этой книги мы постоянно проводим мысль, что Европа не только нечто нам чуждое, но даже враждебное; что ее интересы не только не могут быть нашими интересами, но в большинстве случаев прямо им противоположны. Из этого, однако, еще не следует, чтобы мы могли или должны были прервать всякие сношения с Европой, оградить себя от нее Китайской стеной; это не только невозможо, но было бы даже вредно, если бы и было возможно. Всякого рода сноше-

ния наши с ней неизбежно должны быть близкие; они только не должны быть интимными, родственными, задушевными. В политическом отношении не может быть другого правила, как око за око, зуб за зуб, – отмеривание той же мерой, которой нам мерят.

Но если невозможно и вредно устранить себя от европейских дел, то весьма возможно, полезно и даже необходимо смотреть на эти дела всегда и постоянно с нашей особой, русской точки зрения, применяя к ним как единственный критерий оценки: какое отношение может иметь то или другое событие, направление умов, та или другая деятельность влиятельных личностей к нашим особенным русско-славянским целям; какое могут они оказать препятствие или содействие им. К безразличным в этом отношении лицам и событиям должны мы оставаться совершенно равнодушными, как будто бы они жили и происходили на Луне; тем, которые могут приблизить нас к нашей цели, должно всемерно содействовать – и всемерно противиться тем, которые могут служить ей препятствием, не обращая при этом ни малейшего внимания на их безотносительное значение – на то, каковы будут их последствия для самой Европы, для человечества, для свободы, для цивилизации. У нас должно быть свое собственное, особое понятие обо всех этих предметах и твердая вера в то, что, только действуя в своих видах, можем мы споспешествовать им во сколько от нас зависит, – что цель наша свята и высока, что одно только ведущее к ней и лежит в наших обязанностях, – что только служа ей, а не иначе как-нибудь, можем мы содействовать всему высокому, какое бы имя оно ни носило: человечества, свободы, цивилизации и так далее.

Или так, или никак. В эпиграфах, избранных для обозначения одной из существеннейших мыслей этой главы, заключается вся наша политическая мудрость: примирение так называемой политики принципов с политикой случайных обстоятельств (Gelegenheitspolitik). Без ненависти и без любви (ибо в этом чуждом мире ничего не может и не должно возбуждать ни наших симпатий, ни наших антипатий), равнодушные

и к красному и к белому, к демагогии и к деспотизму, к легитимизму и к революции, к немцам, к французам, к англичанам, к итальянцам, к Наполеону, Бисмарку, Гладстону, Гарибальди, мы должны быть верным другом и союзником тому, кто хочет и может содействовать нашей единой и неизменной цели. Если ценой нашего союза и дружбы мы делаем шаг вперед к освобождению и объединению Славянства, приближаемся к Царьграду, не совершенно ли нам все равно, купятся ли этой ценой Египет Францией или Англией, Рейнская граница – французами или Вогезская – немцами, Бельгия – Наполеоном или Голландия – Бисмарком?

Придерживаясь с непреклонной строгостью и последовательностью такого взгляда и такого образа действий, нечего заботиться о благоприятных комбинациях политических созвездий. Будь ясно сознанная, вполне усвоенная, горячо любимая цель и ясное понимание дела – за счастьем дело не станет. Смотрите, как служило оно Екатерине, пока и ее не увлекли, с одной стороны, жажда европейских похвал как охранительнице интересов нейтральной торговли, с другой – негодование на неистовства французской революции, а может быть, и ложный, напрасный страх перед нею. А после нее сколько всходило благоприятных созвездий на политическом горизонте Европы, какие блистательные гороскопы можно было по ним предсказывать и осуществлять: европейские коалиции против Франции, дружба с Наполеоном в 1807 году, торжество над ним в 1812! 1848 и 1849 годы! Решительный образ действий в 1853 году! Сколько случаев в недавнем прошедшем, если б не очки со стеклами, поляризованными под европейским углом наклонения, – если бы не сочувствие эмигрантам, не легитимизм, не либерализм, не филантропизм, не германофильство в особенности, не бескорыстное сочувствие всему тому, что до нас не касается! Таким бескорыстием можно, конечно, хвалиться в дипломатических депешах и циркулярах, извлекая из него хотя эту крайне умеренную выгоду; но при исторической оценке событий едва ли может оно заслужить какую-нибудь похвалу, ибо это бескорыстие есть, в сущности, жертва вверен-

ных нам священных действительных интересов легкомысленному тщеславию или фантастическому страху.

Много потерянных случаев, много упущенного времени, но была бы только твердая решимость, ясно сознанный план, глубокое убеждение в величии, святости нашего исторического призвания, в неизбежной необходимости совершить его или постыдно стушеваться, срамно сойти с исторического поприща, – а случаи не замедлят вновь представиться. Главная помеха, препятствовавшая нам схватывать эти случаи на лету и пользоваться ими, заключалась в мысли о полезности и необходимости и для нас (как и для Европы) системы политического равновесия, рыцарски бескорыстными охранителями которого мы и сделались, – в мысли, которая, в свою очередь, проистекала от тщеславно-унизительного желания втереться в члены древней и славной европейской семьи и от жалкого самообольщения, будто нас в нее приняли. Тщеславно-унизительного говорю я, потому что в политической, так же как и в частной, жизни нет ничего унизительнее тщеславия, нет сильнейшей противоположности, как между истинной благородной гордостью, которая довольствуется оценкой своей совести и своего убеждения, и между по природе своей заискивающим, подлаживающимся тщеславием.

Мы недавно видели, что система политического равновесия есть нормальный естественный порядок для внутренних политических отношений между европейскими государствами, тот устойчивый порядок вещей, к которому они стремились чуть не с самого своего возникновения и который (как сознательной, так и бессознательной деятельностью факторов европейской жизни) все более и более укреплялся с течением времени, получая все более и более широкое основание, тогда как нарушавшие его случайности все более и более устранялись или, по крайней мере, ослабевали. Если Россия не принадлежит к Европе ни по кровному родству, ни по усыновлению, если главные цели Европы и России (или, точнее, Славянства, которому она служит представительницей) противоположны одна другой, взаимно отрицают друг друга уже по коренной

исторической противоположности, глубоко лежащей в самом основном плане целого длинного периода всемирной истории (как мы старались показать это в XII главе), то само собой разумеется, что Россия заинтересована не в охранении, не в восстановлении этого равновесия, а в совершенно противном.

Европа не случайно, а существенно нам враждебна; следовательно, только тогда, когда она враждует сама с собой, может она быть для нас безопасной. Положение это до очевидности подтверждается как соображениями самыми наглядными, так и свидетельством событий.

В самом деле, каждое европейское государство находит себе оплот и защиту в системе равновесия. Пруссия быстро, неожиданно для самой себя, побеждает Австрию; влияние Франции останавливает Пруссию, принуждает довольствоваться умеренными выгодами и тем спасает Австрию, или, по крайней мере, оказывает ей большую услугу. Пусть бы осталась победительницей Австрия, возвратила бы некогда отторгнутую Пруссией Силезию, как этого желали и надеялись, – прежнее соперничество между Францией и Габсбургами не замедлило бы обнаружиться, и Пруссия была бы предохранена от излишних потерь или (в худшем случае) получила бы в этом возобновившемся соперничестве точку опоры для возвращения утраченного. Пусть Пруссия усилилась бы через меру, обратившись в единую и цельную Германию, овладев Рейном (считающимся у немцев национальной немецкой рекой от истоков до устья) через возвращение к Германии Эльзаса, Лотарингии и Франш-Конте, через подчинение Голландии, – не нашла ли бы Франция помощи даже у исконного врага своего – Англии, тревожимой опасением возникновения сильного морского могущества Германии? Еще в сильнейшей степени встревожилась бы Англия победами и завоеваниями Франции, присоединением к ней Бельгии, овладением всем левым берегом Рейна. Так же точно в случае слишком честолюбивых видов Франции на Италию нашла бы и эта последняя защитников и покровителей в Пруссии и Англии, может быть, даже в самой Австрии.

Все это слишком очевидно для того, чтобы умножать число примеров и долее на этом настаивать. Но пусть бы соседи ополчились на Россию и, победив, стали бы распоряжаться с ней по произволу. Пусть отняли бы шведы Финляндию и даже Лапландию до Белого моря, пруссаки – якобы немецкий Прибалтийский край и часть Ковенской губернии для сохранения связи; пусть восстановленной Польше с западной Галицией отдали бы весь Северо-Западный край; Австрии в соответствии с теорией об особой русинской народности – Волынь, Подолию и Киев, а Румынским княжествам – Бессарабию, Турции – Крым и Закавказье, последнее хоть пополам с Персией. Услышался ли бы в Европе хотя один голос в пользу России, во имя принципа нарушенного равновесия? Конечно, ни одного! Все бы нашли, напротив, что этим-то и утверждено равновесие настоящим образом; даже и те, которым ничего бы не досталось в добыче (как Франция и Англия), нашли бы себя утешенными и вознагражденными восстановлением Польши, усилением Швеции и Турции, большим простором своему влиянию, своим проискам на Востоке.

Итак, между тем как каждое из европейских государств в том или другом случае извлекает известную пользу от системы равновесия, на Россию оно никакого полезного влияния не оказывает и оказывать не может. Наоборот, всякое сколько-нибудь значительное нарушение равновесия непременно нарушает безопасность европейских государств, вредит их влиянию, их свободе действий. Усиление Пруссии угрожает Франции, Австрии, а дойдя до известной степени, – при овладении, например, всем течением Рейна до его устья, даже и Англии; усиление Франции заставит опасаться Пруссию, Англию и даже Италию; усиление Австрии (если бы таковое было возможно) противно интересам Пруссии, Италии, а перейдя известную меру, даже и интересам Франции. Усиление Италии не согласуется с выгодами Австрии и Франции. Все эти державы, следовательно, заинтересованы так или иначе в сохранении равновесия, за исключением самого нарушителя в каждом данном случае.

Напротив того, никакое усиление любого европейского государства нисколько не опасно для России, не вредит само по себе ее интересам, если не нарушает каких-либо особенных ее выгод. Пусть приобретет Франция левый берег Рейна и Бельгию, пусть получит к тому же решительное влияние на дела Апеннинского полуострова. Какая беда от этого России? Франция все-таки не станет через это достаточно сильной и могущественной, чтобы мочь одной вести против нее успешную наступательную войну. Пусть увеличится Пруссия до всевозможных пределов, т.е. соединит всю Германию (даже и австрийскую), завладеет Голландией, – все еще будет ей далеко не под силу выходить против России один на один. Другое дело, если бы Пруссия овладела славяно-австрийскими землями; но это было бы вредно для России не нарушением политического равновесия, а тем нравственным ущербом, который был бы ей нанесен подчинением славянского элемента немецкому, из-под которого он начал выбиваться. Итак, полезная для Европы система политического равновесия не только совершенно бесполезна для России, но еще и нарушение ее чьим бы то ни было преобладанием (столь вредное для европейских государств) для России совершенно безвредно.

Но и этого мало; весьма нетрудно убедиться, что между Европой и Россией и в этом, как и во всех других отношениях, прямая и полная противоположность. Именно равновесие политических сил Европы вредно, даже гибельно для России, а нарушение его с чьей бы то ни было стороны – выгодно и благодетельно. В самом деле, пусть достигнут решительного преобладания Франция или Пруссия, единственные два государства, которые могут рассчитывать на это при настоящем положении дел; пусть осуществят они самые честолюбивые мечты свои. Мы уже видели, что усиление их могущества само по себе для России безвредно; но те, которые от этого пострадают, – чьи выгоды, права или безопасность будут нарушены, – обратят свои взоры к России, от нее будут ждать своего спасения. Счастливый победитель со своей стороны будет домогаться дружбы России

или, по крайней мере, ее нейтралитета, дабы удержать за собой свое господствующее положение. Обе стороны готовы будут приобрести дружбу России всякого рода уступками, весьма далеко простирающимися.

Но если все в нормальном состоянии, если Европа обеспечена внутри, то силы ее естественно обращаются на внешние дела; ее естественная враждебность к России, не сдерживаемая внутренними опасениями, выказывается на всем просторе, постоянно – словом и печатью, а с появлением где-либо энергического деятеля слова обращаются в дело. Вместо дружбы, наперерыв предлагаемой ей и нарушителем равновесия, и потерпевшим от нарушения, Россия встречает общую дружную ненависть и вражду. Убедительнейшие примеры тому и другому видели мы в продолжение текущего столетия.

Франция, воспламененная сначала революционным энтузиазмом, а потом славолюбием, под руководством великого военного гения получает очевидное, с каждой новой войной усиливающееся преобладание. Несмотря на неудовольствие, которое возбудили приобретения Екатерины от Турции и Польши, и, наконец, самое разрушение Польши, западные державы заискивают расположения России, ищут ее помощи. Павел дает ее. Эгоизм Австрии обращает в ничто успехи коалиции; но хуже ли от этого положение России? Первый консул отсылает русских пленных без выкупа и заключает с Павлом союз[5]. Но и прежние союзники не обижаются и всеми мерами переманивают Александра на свою сторону.

После двух неудачных войн с Наполеоном победитель, вместо того, чтобы искать себе вознаграждения от России, отдает ей целую область[6], предлагает раздел Европы и (в виде залогов большего) предоставляет завладеть при первой возможности Финляндией, Бессарабией, Молдавией и Валахией. Но эти увеличения не возбуждают ни зависимости, ни негодования в других. Хоть еще бери, только помоги.

Россия берет сторону обижаемых, побеждает непобедимого, – не довольствуясь этим, хочет низвергнуть его, освободить Европу. На ее зов откликается Пруссия, Швеция, а

наконец, и Австрия. Россия в лице Александра предводительствует Европой, а Наполеон ничего не домогается, кроме личного свидания с ним. Все наперерыв предлагают России свою дружбу и то, что посущественней дружбы. И побежденная, и победительница – Россия сохраняет истинно господствующее положение с самого начала революции до 1815 года и, хотя не совсем искусно им пользуется, приобретает все-таки огромные выгоды.

1815 годом устанавливается равновесие; Россия делает огромные материальные и нравственные жертвы для его охранения – и в награду ей несется целая буря клеветы, ненависти, вражды. По-видимому, она играет господствующую роль, но роль эта бесплодна: она только напрасно истощает Россию. Равновесие в своем апогее: ни июльская, ни февральская революции[7] не могут его поколебать; но является энергический политический человек в Европе[8] и становится во главе настоящего троянского похода против России.

Поход против России во время нарушенного равновесия, под руководством одного из величайших военных гениев, державшего в своих руках силы и судьбы Европы, – оканчивается полным поражением врагов. Поход против России во время равновесия, руководимый самыми отъявленными посредственностями, оканчивается полным их успехом, несмотря на то, что Россия стала (материально, по крайней мере) вдвое сильнее, чем в 1812 году.

Конечно, много было разнообразных причин, приведших за собой этот странный неожиданный результат; но, бесспорно, одна из важнейших между ними заключалась как в заботе России оставаться верной преданиям равновесия, так и в состоянии европейского общественного мнения, везде враждебно настроенного именно сорок лет продолжавшимся равновесием. Сопричислившись к европейской семье, мы, конечно, не могли приготовляться и принимать мер для борьбы со всей Европой. В числе наших врагов при Наполеоне I было много тайных друзей; при Наполеоне III считавшиеся друзьями оказались врагами.

Вот как выразилось на деле влияние политического равновесия Европы и его нарушения на судьбы России. Его можно выразить следующей формулой: при всяком нарушении равновесия Европа естественно разделяется на две партии: на нарушителя с держащими волей или неволей его сторону и на претерпевших от нарушения, стремящихся восстановить равновесие. Обе эти партии естественным образом стараются привлечь на свою сторону единственного сильного соседа, находящегося по сущности вещей (каковы бы ни были, впрочем, формы, слова и названия) вне их семьи, вне их системы. Обе партии заискивают, следовательно, в России. Одна ищет у ней помощи для сохранения полученного ею преобладания; другая – для освобождения от власти, влияния или опасности со стороны нарушителя. Россия может выбирать по произволу. Напротив того, при существовании равновесия политическая деятельность Европы направляется наружу – и враждебность ее к России получает свой полный ход: тут вместо двух партий, наперерыв заискивающих в России, Европа сливается в одно, явно или тайно враждебное России целое.

Нам необходимо, следовательно, отрешиться от мысли о какой бы то ни было солидарности с европейскими интересами, о какой бы то ни было связи с той или другой политической комбинацией европейских держав и прежде всего приобрести совершенную свободу действия, полную возможность соединяться с каждым европейским государством под единственным условием, чтобы такой союз был нам выгоден, нимало не взирая на то, какой политический принцип представляет собой в данное время то или другое государство.

Взглянем с этой точки зрения на всевозможные для России отношения к главнейшим представителям европейского могущества.

Прежде всего устраним из этого обзора Австрию, которая может быть для России не пособницей в достижении ее целей, а только предметом, на который – так же как и на Турцию – может и должно быть обращено ее действие.

Самый отъявленный и самый постоянный противник России на Востоке, с самого окончания наполеоновских войн – Англия. Один из ее знаменитых государственных мужей[9], как известно, выразился, что он не намерен говорить с тем, кто не понимает важности независимости Константинополя для Англии. Эта фраза служит и до сего дня девизом английской политики на Востоке, разделяя судьбу многих афоризмов, так хорошо характеризуемых немецким выражением Schlagwörter[10].

Если бы, однако же, что называется, припереть английского политика к стене, требуя от него ясных и определенных доводов и доказательств, – он пришел бы, кажется мне, в большое затруднение и даже в совершенный тупик.

Если эту важность для Англии Константинополя (и вообще независимости Турецкого государства) полагать в экономической эксплуатации Турции английской промышленностью и торговлей, то значение ее с этой точки зрения, во-первых, не столь велико, чтобы невозможно было вступить с Россией в разного рода обоюдовыгодные сделки; во-вторых же, англичане слишком практический народ, чтобы не понять, что даже и при самой невыгодной для Англии системе торговой политики России польза, которую стала бы извлекать она из стран нынешней Турции, – при замене турецкого владычества славянской независимостью под гегемонией России, – увеличилась бы в несколько крат, как явным тому доказательством служат Новороссийские степи, обратившиеся под русским владычеством из притона кочевников в житницу Англии и Европы с цветущими городами вроде Одессы, Бердянска, Ростова, Таганрога, Николаева.

Другой, гораздо более важный интерес Англии на Востоке (принимая это слово в обширном смысле) заключается в обеспечении ее индийских владений; но по отношению к этому жизненному для Англии вопросу еще труднее понять связь, существующую между ним и собственно так называемым восточным вопросом в тесном смысле. Что общего, в самом деле, между Индией и тем, будет ли Константинополь в руках России или нет? Не вникая в стратегическую воз-

можность или невозможность похода русских в Индию, можно смело, однако же, утверждать, что если эта возможность существует, то она существует уже и теперь без овладения Константинополем; если же ее не существует, то взятие Константинополя ни на волос не изменит этого положения дел. Александр Македонский отправился, правда, в свой персидский поход и дошел до Индии, переправившись в Азию через Геллеспонт; но трудно понять, зачем бы избирать и русским этот окольный путь, когда у них в руках Волга и Каспийское море, которые доведут их из самого центра русского могущества до Астрабада[11], откуда останется не более половины расстояния от Константинополя в Индию.

Со своей стороны, мы убеждены, что поход в Индию есть вещь совершенно возможная. Если султан Бабер и много других восточных завоевателей могли добраться до Индии и покорить ее, то трудно представить себе резон, почему бы возможное для них стало невозможным для России, которая частью занимает уже те самые места, которые служили точками исхода для магометанских завоевателей, частью же всегда может заставить Персию вступить с собой в союз добровольный или принужденный, – которая обладает кавказской армией, привыкшей к жаркому климату и к горным переходам.

Последствия такого похода, предпринятого даже с малыми силами и даже неудачного, были бы самые гибельные для английского могущества, – так же точно, например, как и французская высадка на английский берег, хотя бы и неудачная. В стране торговой и промышленной по преимуществу все основано на кредите, на вере; и вера англичан в неприкосновенность английской территории (в одном случае) так же, как вера туземцев в неприкосновенность английского владычества в Индии (в другом) были бы поколеблены, нарушены. Что не удалось один раз, может при больших усилиях, при лучшем ведении дела удастся в другой. С момента этих вторжений дамоклов меч постоянно висел бы над Англией.

Но, с другой стороны, очевидно, что Россия не имеет ни малейшего интереса овладевать Индией или какой бы то ни

было частью ее. Такое приобретение легло бы на нее таким излишним и тяжелым бременем, что смело можно утверждать, если бы оно выпало ей даже как наследство от умершего дяди набоба, ей ничего бы не оставалось, как продать его за какую бы то ни было цену, а если бы никто ничего не дал, то отдать хоть даром. Поэтому английская Индия ограждена от вторжения русских не столько физической, сколько нравственной невозможностью индийского похода, – невозможностью, из которой существует одно и только одно исключение. Поход в Индию есть единственное оборонительное средство России в войне с Англией.

Правда, что Англия сама по себе не может нанести России вреда слишком значительного; однако же в ее руках если не прекратить внешнюю торговлю России, то, по крайней мере, сильно препятствовать ей, заставить принять сухопутное направление: блокировать русские гавани, бомбардировать русские приморские города.

На все это Россия ничем не может отвечать: роль ее в войне должна быть чисто пассивной, если она не прибегнет к походу в Индию, который, при малочисленности там англичан, при расположении туземного населения, может иметь самые важные последствия одним своим началом, одной предшествующей ему молвой, расцвечаемой восточным воображением.

Но отношения России к Англии, в сущности, таковы, что война между ними может возникнуть единственно из-за Восточного вопроса, так что существование Турции, обладание ее Константинополем не только нимало не обеспечивает английских ост-индских владений от возможности вторжения русских, но составляет единственную причину, которая когда-либо может навлечь на Англию эту беду.

С другой стороны, в так называемом Восточном вопросе есть сторона, существенно важная для Англии: это – обладание Египтом, после того как прокопан Суэцкий канал. Чего не мог сделать Наполеон I, благодаря Нельсону и Сиднею Смиту[12], то сделал Лессепс[13]. Государство, имеющее могущественный флот на Средиземном море, как, например, Франция, всегда будет

иметь значительный перевес перед Англией в доставке войск и военных материалов в Индию, в отправлении каперных судов[14] в Красное море, в Индийский и Великий океаны. Поэтому если бы лица, управляющие политикой государств, были действительно таким олицетворением холодного расчетливого рассудка, какими их себе обыкновенно представляют, если бы даже направление государственной политики действительно в такой мере от них зависело, как обыкновенно думают, – то ничего не могло бы быть легче соглашения России и Англии по Восточному вопросу взаимовыгодной сделкой между этими государствами. Но на деле происходит не так: и на политические, как и на всякие другие человеческие отношения, имеют огромное влияние страсти и предрассудки, в которых руководимые ими (как лежащими, вне всякого сомнения, политическими аксиомами) не могут дать себе никакого отчета, но, тем не менее, безусловно им следуют, подчиняясь добровольно или принуждаясь к тому силой покорного предрассудку общественного мнения.

Как бы то ни было, между Россией и Англией лежит в настоящее время всемогущий предрассудок, и конец его владычества еще не предвидится; поэтому в Восточном вопросе мы не только не можем рассчитывать на помощь и содействие Англии, но должны рассчитывать на то, что, как и в прошедшую Восточную войну, будем иметь ее в числе самых отъявленных наших врагов, если только ко времени решения этого вопроса какая-либо счастливая диверсия не отвлечет слишком значительной доли ее сил, чем, конечно, должно бы уметь воспользоваться!

Интересы России и Франции на Востоке, в сущности, не противоположное интересов России и Англии, и, кроме того, вознаграждение, которое Россия могла бы предложить Франции за содействие или даже за непрепятствование только достижению ее целей, – гораздо значительнее. В самом деле, задушевное стремление Франции, которое, несмотря на все толки об умеренности и наступившей эре мира и прогресса, увлекло бы за собой всю французскую нацию, состоит в при-

обретении того, что французы называют своей естественной границей, т.е. Рейна, которая доставила бы Франции округ Баварии, округ Дармштадта, зарейнскую Пруссию, Бельгию, Люксембург, Лимбург и голландскую провинцию – Северный Брабант, едва ли не самые богатые на материке Европы страны населением и производительностью всякого рода. На Востоке Франция издавна стремится утвердить свое влияние в Египте и Сирии и не отказалась бы утвердить в них и свою власть, а также овладеть всем северным берегом Африки, чтобы таким образом не на словах только, а на деле обратить Средиземное море во французское озеро. Во всех этих домогательствах, которых Франции никогда не достигнуть одними собственными своими силами, единственным пособником ей могла бы быть Россия; ибо очевидно, что Пруссия не стала бы помогать ей в приобретении рейнской границы, Англия – в приобретении Бельгии и Египта, даже Австрия, по причине все-таки немецкой окраски ее государственности, не могла бы поднять руки на германское отечество, хотя и исключенная из него. Для одной России, с единственно разумной точки зрения ее интересов, все эти приобретения Франции могут казаться совершенно безразличными, от которых ей, что называется, ни тепло, ни холодно; ибо, как мы видели выше, всякое значительное усиление Франции заставляет как ее, так и Пруссию наперерыв заискивать в России.

С другой стороны, и образование системы славянских государств, и даже самое овладение Россией Константинополем ничем не угрожают интересам Франции, которая сама может получить такую богатую долю из наследства Турции. При таком положении дела, при таком отношении между интересами обеих сторон сделка казалась бы возможной, но опять-таки, если бы делами человеческими, как в частной, так и в народной жизни, безраздельно управляли одни рациональные интересы.

Между Россией и Францией стоит также целый ряд предрассудков, уже издавна препятствующих им сблизиться. Со стороны Франции – это предрассудок польский и католиче-

ский; со стороны России – предрассудок немцелюбия и легитимизма или ненавидения революции. Нельзя не заметить той странности в отношениях между Россией и Францией, что эти государства (интересы которых в стольких отношениях сходятся) были враждебны друг другу, можно сказать, с самого открытия постоянных между ними сношений. В течение всего этого времени, объемлющего более 130 лет, враждебность эта или, по крайней мере, взаимная недоброжелательность прекращалась лишь на самые короткие сроки; союзы между этими государствами (несмотря на очевидную их выгодность для обоих) скоро прерывались и обращались если не в открытую войну, то, по крайней мере, в натянутое отношение по вине то той, то другой стороны.

Положение Польши сзади Германии естественно должно было внушить к ней дружественное расположение Франции, соперницы Германской империи и Габсбургского дома. Подобные же причины поставляли Россию в дружественные отношения с германскими государствами, в особенности с возникавшей Пруссией, для которой Польша была настоящим камнем преткновения на ее пути. Непререкаемое право России, честолюбие Пруссии, оправдываемое жизненной необходимостью, алчность Австрии, которая в лице представительницы своей Марии Терезии плакала, но брала, и, наконец, безурядицы Польши привели эту последнюю к гибели. Падение Польши совершенно изменило политическую группировку государств. Россия и Германия сделались соседями, но частью старая привычка, частью другие причины взяли верх над требованиями здравого политического интереса. Франция вместо того, чтобы искать дружбы и опоры против своего антагониста Германии в действительно могущественной России, продолжала по старой памяти мечтать об исчезнувшей и всегда слабой Польше. Наполеон I, мало склонный к сантиментальности в политике, ясно понял положение дел и дружественно обратился к России, сначала еще в 1800, а потом в 1807 году. Продолжению этого союза помешали уже русские предрассудки, и когда во время Турецкой войны 1828 и 1829

годов они готовы были рухнуть, их подогрела революция 1830 года, возбудившая русскую *легитимизмоманию*[15] и *революциофобию*, – да простят мне эти варварские слова. С другой стороны, польский мятеж 1830 и 1831 годов вновь подогрел франко-польские симпатии! Все это усилилось революцией 1848 года и Восточной войной. Таким образом, этот ряд напрасных столкновений, натянутых, недружелюбных отношений, ратное товарищество французов и поляков, польские агитации, сочувствие к политическим изгнанникам произвели в России политико-дипломатическое предание; во Франции же – настоящий народный предрассудок, не могущий уже выслушивать голоса здравого политического расчета.

Естественное покровительство Россией православных интересов на Востоке и взятая на себя Францией роль поддержки интересов латинства, после того как самый нравственный источник его – римско-католическая вера – иссяк уже в душах французов, усиливает еще больше этот антагонизм. То, что для Франции времен Людовика Святого было бы естественным, необходимым образом действий, становится теперь лишь новым предрассудком, который мы назвали католическим.

Так представляется дело, конечно, только с политической точки зрения; с высшей же исторической точки получает оно совершенно иное значение и объяснение. Франция, как мы видели, есть истинный, так сказать, нормальный представитель Европы, главный практический проявитель европейских идей с самого начала европейской истории и до настоящего дня. Россия есть представительница Славянства. И вот, вопреки всем расчетам политической мудрости, всем внушениям здравого политического расчета, эти два государства, так сказать, против воли своей, становятся почти постоянно враждебными соперниками, с самого начала их деятельных взаимных сношений, и этому антагонизму не нынче, конечно, предстоит окончиться.

Обстоятельства, как бы руководимые высшей силой, перед которой ничтожны все комбинации человеческого разума, слагаются так, что отношения, проистекавшие из требования

порядка вещей низшей сферы или категории исторических явлений, уступают требованиям высшей исторической сферы, пересоздаются по ее нормам. В круге исторических событий, объемлемых явлениями германо-романского культурного типа, Франция была постоянным соперником и врагом Англии и Габсбургского дома; но при расширении исторической сферы, при столкновении Германо-Романского мира со Славянским, не только Англия и Франция примиряются и начинают действовать заодно против России, но последние войны Франции с Австрией и Австрии с Пруссией ведут к тому, что Австрия становится как бы под покровительство Франции. Таким образом, эта последняя, будучи, как мы сказали, истинным представителем Европы, становится главным врагом Славянства на всех театрах действия: в Турции, в Австрии и в Польше. Непреодолимым током событий принуждается страна, называющая себя защитницей всех угнетенных народностей, или прямо принимать сторону утеснителей Славянства – турок, мадьяр и немцев, или брать под свою опеку ту славянскую народность, которая изменила своему племенному знамени.

Итак, заключим мы, вопреки всем расчетам политической выгоды, Россия должна будет видеть и Францию, наравне с Англией, в числе главных своих врагов и противников при решении Восточного вопроса.

Из деятельных сил Европы в их отношениях к России и Славянству остается нам рассмотреть еще одну Пруссию. Задача этого государства, столь блистательно им начатая еще во времена Великого Фридриха, столь блистательно им продолженная под руководством Бисмарка, но далеко еще не конченная, заключается, бесспорно, в объединении Германии, в доставлении немецкому народу политической цельности и единства. Цель эта недостижима без помощи и содействия России. В самом деле, не Франция, ни Австрия – под страхом самоуничтожения – не допустят ни распространения прусского преобладания на юго-западную Германию и на австронемецкие земли, ни обращения уже достигнутого в северной Германии преобладания в полное прусское единство. Северо-

Германский союз с 30 миллионами подданных, еще не совершенно объединенных новой для них государственностью, предоставленный своим собственным силам, не может, конечно, бороться против 70 или 80 миллионов при недружелюбном расположении юго-западной Германии, при самом невыгодном стратегическом положении, при враждебности Дании, при возможности быть окруженным с трех сторон, ибо преобладание Франции на море открывает для нее и все северное прибрежье Германии. Правда, Фридрих Великий совершил некогда такое, и, по-видимому, даже еще большее чудо, но не без благоприятствовавших, однако же, ему обстоятельств. Да и Фридрихи не всегда под рукой.

Как поэтому ни покажется это странным почитателям прусского военного могущества, которого, впрочем, в известной и весьма значительной мере, мы и не думаем отрицать, Пруссия и в новом своем виде Северо-Германского союза, и после озарившего ее блеска славы на полях Садовой находится, в сущности, в том же политическом положении, как в последние годы Семилетней войны, как перед кампанией 1806 и 1807 годов, как в 1813 году во время войны за германскую независимость, т.е. что не только ее политическая сила и могущество, но, может быть, даже самое ее существование зависят от тесного дружественного отношения к России. Да будет здесь кстати упомянуто, в каком жалком заблуждении находятся те ультраостзейские патриоты, которые воображают, что в видах охранения их мнимых привилегий можно угрожать России прусской силой и воодушевлением германского патриотизма. Этим можно пугать разве только детей, да и то малых и неразумных.

Утверждая это, мы не думаем унижать Пруссии, не отдавать справедливости ее политическому могуществу, ее военной силе, ее умению употреблять ее с ловкостью и искусством; мы говорим только, что ее положение как в географическом, так и в политическом смысле так невыгодно, что и этих значительных сил недостаточно не только для расширения прусского могущества вопреки Франции и Австрии, но, может быть, даже

и для сохранения уже приобретенного; и что поэтому союз с Россией ей необходим. Конечно, и для России важна помощь Пруссии, ибо ни на какую другую, в Старом Свете по крайней мере, ей рассчитывать невозможно. Но дело в том, что, как ни важно для России благоприятное ей и Славянству решение Восточного вопроса, она может его долго и очень долго ждать; вопрос же о существовании России или даже об ослаблении ее могущества в ближайшем будущем серьезным образом не может быть даже и поставлен.

Пруссия, – я не говорю Германия, – есть все-таки не более как политическая комбинация, которая может быть весьма различным образом видоизменяема, ибо ведь нет на свете прусского народа; Россия же есть первичный, самобытный, великий исторический факт, основания которого лежат в таинственных глубинах всемирно-исторического плана развития судеб человеческого рода. Поэтому хотя при настоящей комбинации политических созвездий Россия и Пруссия взаимно нуждаются друг в друге, и, следовательно, взаимно друг от друга зависят, но нужда Пруссии настоятельнее, а поэтому и зависимость сильнее, и это не худо помнить и знать.

Прибавим к сказанному, что в Восточном вопросе интересы обоих государств тожественны, по крайней мере, в ближайших фазисах его развития. Для Пруссии, во-первых, выгодно, чтобы главнейшее внимание России было обращено на юго-западную, а не на северо-западную ее границу. С приобретением, или, лучше сказать, с возвращением, полной собственности на Черное море Россия может без ущерба предоставить более простора Пруссии на Балтийском море. С уничтожением обоим им враждебной политической комбинации, именуемой Австрией, с обращением ее в комбинацию славянского, а не мадьяро-германского характера Пруссия выигрывает в могуществе, ибо влияние в Германии вообще и особенно в юго-западной Германии не на трактатах только, а на самом деле будет уже исключительно принадлежать ей, и, таким образом усиленная, она будет иметь уже одного только соперника – Францию, который перестанет быть для нее опасным.

Опять странное историческое явление, удивительная комбинация! Западные славяне и немцы были в течение всей европейской истории враждебны друг другу; первые были угнетаемыми, вторые угнетателями; а властительная историческая судьба заставляла и заставляет представителей Германства и Славянства – Пруссию и Россию – содействовать друг другу в достижении их, по-видимому, противоположных целей. Пруссия, собственно говоря, возросла под крылом России и теперь может только на нее опереться для довершения германского единства, которое, в свою очередь, становится первым звеном в отделении славянского от немецкого; и Пруссия побуждается не только собственным интересом, но даже необходимостью содействовать интересам России на Востоке.

Мы полагаем, что в теперешнем положении дел Россия не может иметь другого союзника, как Пруссия, так же точно, как и Пруссия другого союзника, как Россия; и союз их может быть союзом благословенным, потому что у обоих цель правая.

Так представляется дело на первых порах. Что будет дальше – другой вопрос. По достижении первых успехов, безобидных для обеих сторон, отношения могут и, вероятно, даже должны перемениться. Но в политике руководствуются непосредственным, на очереди стоящим интересом, а не отдаленными непредусмотримыми возможностями.

От ресурсов, которые может предоставить внешняя политика, перейдем к тем несравненно более надежным источникам силы и ручательствам успеха, которые может Россия почерпнуть внутри самой себя и в той самой великой задаче, которую ей предстоит совершить во что бы то ни стало.

Как уже было упомянуто выше, мы вовсе не намерены предлагать статистики России с военной и финансовой точек зрения, не только по некомпетентности нашей в этом деле, но еще гораздо более по некомпетентности всякого рода статистических выкладок в такого рода задачах, в решении которых всегда играли, играют и будут играть главную, преобладающую роль факторы из нравственного порядка вещей, совершенно не поддающегося обыкновенной статистике. История,

явления которой преимущественно принадлежат именно к сфере духовно-нравственной, в этом отношении гораздо плодотворнее. Попытаемся же вникнуть в характер внутренней силы России и при помощи исторических сравнений хотя несколько определить величину той силы, которую может выказать Россия.

Для сравнения, как говорится, для установки понятий возьмем в пример последнюю борьбу России с Европой при самой невыгодной для нас обстановке. Нерешительность, медленность наших дипломатических и военных действий, главное же – ложная оценка наших отношений к считавшейся в дружественной связи с нами Австрии, обратили сухопутную войну в морскую, которую Россия должна была встретить совершенно не приготовившись. И, однако же, всем известно, каких усилий стоило совокупным силам Франции, Англии, Сардинии и Турции вырвать одну крепость из наших рук. Взглянем же, чем усилилась с того времени Россия.

Пути сообщения, которые были самой слабой нашей стороной во время Восточной войны[16], с того времени совершенно изменили свой характер, и недалек тот день, когда с окончанием Московско-Смоленской и с проведением Смоленско-Брестской и Севастопольской дорог центр государства будет соединен с главными точками окраин.

Умирение Кавказа освобождает двухсоттысячную армию, которая им, так сказать, поглощалась и нейтрализировалась. Для определения отношения, которое имела кавказская война к войне Восточной, достаточно вспомнить, что две дивизии, из коих одна из Крыма, были отправлены на Кавказ в первый год войны, и оценить вероятное влияние их, если бы они были под рукой при Альме или Инкермане[17].

Но и железные дороги, и умирение Кавказа ничтожны в своем влиянии на увеличение средств России, если сравнить их с преобладающим событием настоящего царствования – с освобождением крестьян. При крепостном состоянии всякое воззвание к поднятию народного духа, к защите свободы отечества звучало какою-то горькой иронией; и потому в са-

мых даже крайних случаях, как в 1812 году, правительство могло обращаться за помощью только к привилегированным сословиям – дворянству и купечеству; сама же сила народная – крестьянство – составляла не деятельный элемент государственного могущества, а только материал – предмет или объект пожертвований. Дворянство точно так же жертвовало на защиту отечества по стольку-то со ста душ, как купечество по стольку-то со ста рублей. Ежели, однако, и при таком порядке вещей возможен был в России двенадцатый год, то мы, как сказочный богатырь, и сами не знаем той силы, которую в состоянии выказать теперь. Смотря с одной лишь чисто деловой, так сказать, официальной точки зрения, мы видим, что в прежние времена всякое быстрое усиление армии устройством ополчений вносило смуту в общий государственный строй и сомнение в правительство, что делать с временно вступившей на службу массой народа. Возвращать в прежнее крепостное состояние, – как оно всегда и делалось, – значило возбуждать сильное и справедливое неудовольствие в людях, жертвовавших жизнью отечеству наравне с теми, которые поступили в ряды защитников его обыкновенным путем рекрутского набора; объявление же их свободными как выходящих в отставку солдат могло не только нанести расстройство помещичьим хозяйствам, но, что гораздо важнее, обратить сотни тысяч людей в бесприютных бродяг. Собственно говоря, одним освобождением крестьян силы России увеличились и в материальном и в нравственном отношении до неисчислимых размеров.

Относительно войны, как и большинства других человеческих дел, многие держатся мнения знаменитого австрийского полководца Монтекукколи, который говорил, что для войны нужны три вещи: деньги, деньги и деньги; а в них, как известно, излишка у нас не чувствуется. Как ни важны финансовые вопросы при обыкновенном мирном течении дел, даже при войнах, ведущихся из-за поддержки политического равновесия, приобретения или удержания провинции, из-за торговых или колониальных выгод и тому подобного, мы смеем думать,

что они отступают на второй, третий или еще более задний план, когда дело идет о духовной жизни и смерти народов, то есть об исполнении ими их исторического призвания. И для народов и государств, так же как и для частных лиц, всевластные миллионы теряют свое значение там, где разыгрывается вопрос о жизни и смерти. Мы не знаем, да мало и нуждаемся знать – так ничтожен этот вопрос, – при пособии какой финансовой системы отразили греки полчища персов, выдержали римляне удары Аннибала, отвоевали некогда швейцарцы и голландцы свою независимость? С другой стороны, нам в точности известны все финансовые комбинации, которыми Национальный Конвент думал помочь отчаянному финансовому положению революционной Франции; но знаем также, что влияние их на ход дел равнялось нулю, что Францию спасло не то или другое банкирское ухищрение, а напряжение всех нравственных сил страны, и при безденежье умевшей выставить тринадцать стотысячных победоносных армий против внешних и внутренних врагов республики. Не займами также и не финансовыми операциями выдержала и Россия 1812 год. В решительные минуты, в кризисы народной жизни, а другого характера и не может принять борьба России с Европой за Славянство – выступают на первый план не деньги, даже не та или другая военная организация, а два нравственных двигателя, при посредстве которых только и возможно то напряжение всех сил народных, которое все сокрушает и ничем само сокрушимо быть не может. Это – дисциплина, или дар повиновения, и энтузиазм, или беспредельная готовность к самопожертвованию. Что касается до первой, то всем известно, в какой мере обладает ею русский народ. В такой мере, скажем мы, что по искреннему вдохновенному слову русского царя, главы и представителя русского народа, эта первая сила всегда в состоянии возбудить вторую.

Нравственная особенность русского государственного строя заключается в том, что русский народ есть цельный организм, естественным образом, не посредством более или менее искусственного государственного механизма только, а

по глубоко вкорененному народному пониманию, сосредоточенный в его государе, который вследствие этого есть живое осуществление политического самосознания и воли народной, так что мысль, чувство и воля его сообщаются всему народу процессом, подобным тому, как это совершается в личном самосознательном существе. Вот смысл и значение русского самодержавия, которое нельзя поэтому считать формой правления в обыкновенном, придаваемом слову «форма», смысле, по которому она есть нечто внешнее, могущее быть изменено без изменения сущности предмета, могущее быть обделано как шар, куб или пирамида, смотря по внешней надобности, соответственно внешней цели. Оно, конечно, также форма, но только форма органическая, то есть такая, которая не разделима от сущности того, что ее на себе носит, которая составляет необходимое выражение и воплощение этой сущности. Такова форма всякого органического существа, от растения до человека. Посему и изменена или в настоящем случае ограничена такая форма быть не может. Это невозможно даже для самой самодержавной воли, которая, по существу своему, то есть по присущему народу политическому идеалу, никакому внешнему ограничению не подлежит, а есть воля свободная, то есть самоопределяющаяся. Это-то внутреннее, нравственно-политическое единство и цельность русского народа, объемлющие собою всю государственную сторону его бытия, и составляют причину того, что русский народ может быть приведен в состояние напряжения всех его нравственных и материальных сил, в состояние, которое мы называем *дисциплинированным энтузиазмом*, волей его государя, независимо от непосредственного возбуждения отдельных единиц-личностей, составляющих народ, тем или другим интересом, событием или вообще возбуждением. А восьмидесятимиллионный народ, способный, по искреннему слову главы своего и представителя, составляющего живой центр его сознания, чувства, мысли и воли, прийти в состояние дисциплинированного энтузиазма, – есть сила, которой мир давно уже, или даже вовсе еще, не видал.

Когда папа составлял нравственный центр европейского мира, слово его могло воспламенить и подвигнуть Европу на крестовые походы – предприятие, не лежавшее в ближайших интересах ни государей, ни феодалов, ни народов тогдашней Европы. Но не говоря уже о том, что теперь у ней нет такого живого средоточия, самые крестовые походы представляют лишь пример энтузиазма недисциплинированного, ибо они происходили под влиянием пап и духовенства – деятелей неполитических, которые посему и не могли придать им характера правильности и стройности. К тому же и это великое народное движение, собственно говоря, охватило не всю народную массу, а одно лишь высшее рыцарское сословие.

Другой пример чудес, совершенных народным энтузиазмом в огромных размерах, представляет нам Франция во время революции. Под совокупным влиянием реакции против долговременных притеснений, угнетавших народ, идеи свободы, проникших до низших слоев общества, патриотизма, возбужденного угрозами вторгнувшихся иностранцев, и ужаса, наводимого террором, – возбужденная Франция отразила и победила Европу. В этом случае можно сказать, что энтузиазм обнял собою если не весь народ, то значительнейшую его часть и что он был хотя и на скорую руку, но хорошо дисциплинирован Конвентом, или, точнее, Комитетом общественной безопасности, и потому мы можем принять Францию того времени за мерило возбужденных народных сил. Двадцатипятимиллионное население – без армии, без флота, без организованных финансов, при противодействии большинства духовенства и дворянства, при федеративных стремлениях, обнаружившихся во многих главных центрах населения, при восторженном сопротивлении Бретани и Вандеи, воспламененных противореволюционным энтузиазмом, – торжествует над этими внутренними врагами и препятствиями и победоносно борется с соединившимися против него Пруссией, Австрией, Германией, Испанией и Англией. Что же в состоянии совершить восьмидесятимиллионное население России, приведенное правотой и святостью защищаемого им дела и

полновластным над ним словом ее государя также в состояние напряжения своих нравственных и материальных сил? Простой арифметический расчет показывает, что при всех прочих равных обстоятельствах сила, которую Россия может выказать, будет равняться тройной силе, обнаруженной Францией в грозную эпоху ее борьбы с первой европейской коалицией. Но обстоятельства далеко не равны, ибо Россия обладает еще, сверх силы народного энтузиазма, всем своим нормальным государственным могуществом и внутри ниоткуда не может ожидать мало-мальски серьезного противодействия; ибо все, что считается теперь таковым, отвеется прочь легче пустой шелухи и мякины при первом дуновении ветра.

С другой стороны, какого же противодействия можем мы ожидать? Весьма велики, конечно, нормальные государственные силы Европы или даже той коалиции, которая образуется против России, когда наступит время серьезного решения Восточного вопроса, коалиции, имеющей, по всем вероятиям, составиться из Франции, Англии, Австрии, а может быть, и Италии. Но едва ли представляет история пример, чтобы одни нормальные государственные силы когда-нибудь торжествовали над народом, находящимся в состоянии напряжения всех своих нравственных и материальных сил, в состоянии дисциплинированного энтузиазма, если несоразмерность сил не переступила всяких пределов, как в недавней борьбе кандиотов с турками[18]. Народ в состоянии героизма (как всего лучше обозначить это возбуждение его сил) может быть побежден только таким же героическим возбуждением. Но европейские народы в настоящий момент своего развития лишены той живой, органической цельности и того единства, при которых вся их жизненная энергия сосредоточилась бы в одном лице или в одной коллегии, представителе их политического сознания, чувства, мысли и воли, которые могли бы поэтому воспламенить их своим искренним властительным словом. Эти времена давно прошли для Европы. Конечно, всякий народ, живые силы которого еще не замерли, может быть одушевлен энтузиазмом под непосредственным влиянием событий, затрагивающих его

жизненные интересы; но для того, чтобы такое единодушное, восторженное настроение овладело непосредственно целыми народами, необходим сильный толчок, потрясающий весь народный организм, который бы, пересилив все частные многообразные эгоистические стремления, происходящие под влиянием бесчисленных личных побуждений, так сказать, заставил бы созвучно биться все сердца.

Счастье и сила России в том и заключается, что сверх ненарушимо сохранившихся еще цельности и живого единства ее организма, само дело ее таково, что оно может и непосредственно возбудить ее до самоотвержения, если только будет доведено до его сознания всеми путями гласности; тогда как ее противники не могут выставить на своем знамени ничего, кроме пустых, бессодержательных слов: будто бы попираемого политического равновесия якобы угрожаемой цивилизации, – которыми не расшевелить народного сердца, а разве только возбудить вопли уличных крикунов и ротозеев. С одной стороны, борьба будет за все, что есть священного для человека: за веру, за свободу угнетенных братьев, за свое историческое призвание, которое хотя логически и не сознается массами, но лежит в нравственной основе всякого великого народа. С другой – за угнетение племен, в противность высказываемым самими же противниками принципам равноправности национальностей; за действительное турецкое варварство, как плотину против разлива какого-то мнимого московитского варварства; за фантастический польский народ, занимающий в европейских головах место действительного русского народа, угнетавшегося польским шляхетством; одним словом, за ложь, фальшь и напускное марево.

Итак, великая борьба, предстоящая в более или менее близком будущем русскому народу, и по правоте и святости дела, которое он должен будет защищать, и по особенным свойствам его государственного строя, может и должна принять характер героический. Чтобы уяснить себе, чего вправе мы ожидать от русского народа в таком настроении духа, обратимся опять к истории, с тем чтобы из ее опыта вывести те

условия, которым мы обязаны успехами, приобретенными в войнах, утвердивших русское государственное величие. Исследование это, должны мы сказать со стыдом и сожалением, не бесполезно, потому что дух сомнения в себе и самоунижения, порожденный поклонением всему европейскому, дошел до того в так называемых образованных классах нашего общества, что часто слышится, что будто даже войско наше не может быть поставлено в уровень с лучшими европейскими армиями, каковы, например, прусская или французская. И это считается многими за просвещенный, беспристрастный взгляд, в противность казенно-патриотическому.

С начала XVIII столетия, то есть с того времени, как Россия вступила в тесные военные и мирные отношения с Европой, ей, и только ей одной, выпало на долю бороться с тремя величайшими военными гениями новейших времен, которые были в то же время и полководцами, и государями, а следовательно, могли располагать полной свободой действия и всеми ресурсами своих стран: я разумею Карла XII, Фридриха II и Наполеона I, – и из борьбы со всеми тремя Россия вышла победительницей.

Если мы посмотрим на великие военные подвиги других народов, то найдем, что они в значительной мере зависели от сравнительной слабости военного таланта их противников. Только Рим победил Аннибала и Россия – Карла, Фридриха и Наполеона, несмотря на то, что войсками их предводительствовали гораздо слабейшие полководцы*. Явление это заслуживает того, чтобы в него вникнуть. Не будучи специалистом в военном деле, я полагаю, однако же, что не встречу серьезного возражения, сказав, что условия, составляющие силу армии, могут быть подведены под следующие пять категорий: численность войска, тактическое обучение его (куда причисляется и боевая опытность), качество вооружения, талант военачальника и, наконец, нравственный дух, одушевляющий войска.

* Победа англичан над Наполеоном под Ватерлоо была, во-первых, единичным фактом, во-вторых, обязаны они ей главнейше случайности – своевременному прибытию пруссаков. – *Посмертн. прим.*

Оценивая по этим категориям сравнительную силу русских и шведов в великую Северную войну, всякий согласится, что тактическое обучение и боевая опытность, качество вооружения и талант военачальника были на стороне шведов; ибо хотя Петр Великий, без сомнения, бесконечно превосходил Карла как государь и политический деятель вообще, много уступал ему, однако же, в военных дарованиях. Принимая во внимание, как велико было превосходство шведов в трех означенных отношениях и как маловажно, при таком положении дел, значение одного численного перевеса, едва ли можно будет приписать главнейше ему нашу окончательную победу.

Еще поучительнее пример Семилетней войны. В эту войну, которая ничем не затрагивала русского сердца, имели русские четыре значительных столкновения с пруссаками: под Эгерсдорфом, Цорндорфом, Цюлихау и Кунерсдорфом. В трех из них мы одержали победу и под одним Цорндорфом – поражение. Под Цорндорфом и Кунерсдорфом имели мы дело с самим Фридрихом, и поэтому только на эти два и обратим внимание. Не подлежит сомнению, что в тактическом обучении прусская армия, – тогда первая в мире, – значительно превосходила русскую; что участвовавшие в бесчисленных сражениях и походах, закаленные в боях пруссаки были также несравненно опытнее и привычнее в боевом деле русских, находившихся долго в мире, а с самого Ништадтского мира и вовсе не имевших случая мериться с европейскими войсками. Вооружением прусская армия превосходила также все остальные. Известно, например, что введенным герцогом Дессауским железным шомполам приписывали австрийцы свои неудачи. Что касается до военного гения Фридриха, одного из величайших полководцев всех времен и народов, то наши Фермеры и Салтыковы не могут идти с ним ни в какое сравнение. Правда, что численность была опять на нашей стороне; но перевес этот терял всякое значение под Цорндорфом, где русская армия была расположена одним огромным каре, причем ни одна часть войска не могла помогать другой. И что же оказывается? Фридрих был столь уверен не только в победе, но в совершен-

ном уничтожении русской армии, что предшествовавшими маневрами совершенно отрезал ей пути к отступлению. Он прорывает, конечно, каре, но разрозненные, разорванные части смыкаются и продолжают оказывать прежнее сопротивление. Эти несвязные разрозненные части переходят в перипетиях битвы из обороны в наступление, столь стремительное, что Фридрих находится в опасности быть разбитым, и только его кавалерия спасает его. Битва продолжается даже отдельными кучками. Здесь-то сказал Фридрих свои известные слова, «что русские – стены из мяса (murs de chaire), что их мало убить, но, убив, надо еще повалить». Утомленные, обессиленные сопротивлением расстроенной русской армии, пруссаки сами спешат открыть ей прегражденный было путь к отступлению.

Под Кунерсдорфом перевес численности также на нашей стороне, хотя далеко не в такой степени, как перевес австрийцев или французов в знаменитых проигранных ими пруссакам сражениях. Известно, как своим косвенным боевым порядком умел Фридрих парализовать этот численный перевес своих неприятелей. Нападая на один из флангов малоподвижных, растянутых противников со значительным превосходством сил на пункте атаки, он свертывал его и приводил этим в расстройство всю армию. Этот маневр был употреблен и под Кунерсдорфом и с тем же полным вначале успехом. Дурное расположение русской артиллерии дало ему возможность почти беспрепятственно подойти и вступить в бой. Русские были опрокинуты. Но то, чего было достаточно с другими, не помогало с русскими. Отступая перед натиском превосходных сил именно настолько лишь, насколько были им принуждаемы, русские свертываемым флангом приближались к центру, и местный перевес прусских сил становился все менее и менее чувствительным. Как упругость пружины, возрастающая по мере сжатия, увеличивалось и сопротивление русских, пока, наконец, оно не пересилило натиска и пруссаки не были отброшены, разбитые наголову. Прусское могущество было бы уничтожено в самом своем зародыше, если бы Салтыков не считал, что ему не было никакого интереса загребать своими

руками жар для австрийцев. Сам Фридрих объяснял причину своего поражения, относя ее к недостатку храбрости и мужества своих закаленных в боях полков. Если мы примем во внимание, что в отношении к военному искусству Фридрих сделал и на этот раз все, от него зависевшее, мы невольно придем к заключению, что он был прав, то есть, что, как ни велики были нравственные качества его воинов, они оказались недостаточными, когда пришлось мериться с русскими.

К тому же результату приводит сравнение русских с французами. В борьбе против Наполеона, кроме прочих не подлежащих сомнению преимуществ французов, самая численность была на их стороне. Что же помогло русским в конце концов побороть непобедимого и, например, избежать поражения под Бородином, где, как говорят тактики, еще целая треть русской армии вследствие расположения ее на защищенном самой природой правом крыле не могла принять своевременного участия в бою? Для объяснения этого явления мы не можем сделать ничего лучшего, как повторить те слова графа Л. Н. Толстого, которыми он делает окончательную оценку результатов Бородинской битвы.

«Не один Наполеон испытывал то, похожее на сновидение чувство, что страшный размах руки падает бессильно, но все генералы, все участвовавшие и не участвовавшие солдаты французской армии, после всех опытов прежних сражений (где после вдесятеро меньших усилий неприятель бежал), испытывали одинаковое чувство ужаса перед тем врагом, который, потеряв *половину* войска, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения. Нравственная сила французской армии была истощена. Не та победа, которая определяется подхваченными кусками материи на палках, называемых знаменами, и тем пространством, на котором стояли и стоят войска, – а победа нравственная, та, которая убеждает противника в нравственном превосходстве своего врага и в своем бессилии, была одержана русскими под Бородиным... Прямым следствием Бородинского сражения было беспричинное бегство Наполеона из Москвы, возвращение по старой Смоленской дороге, погибель

500-тысячного нашествия и погибель наполеоновской Франции, на которую в первый раз под Бородиным была наложена рука сильнейшего духом противника»[19].

Ежели четыре из пяти разрядов условий, составляющих силу войска, в значительной степени склонялись в пользу наших неприятелей, то ничего не остается предположить, как то, что пятым элементом этой силы, то есть нравственным духом, самоотверженностью, обладали русские в степени несравненно большей, нежели их противники, кто бы они ни были, – шведы, пруссаки или французы, – кто бы ими ни предводительствовал – Карл, Фридрих или Наполеон, – обладали в такой степени, что эта сила перевешивала все остальные преимущества, бывшие на стороне наших неприятелей.

То же самое говорит нам другая черта русской военной истории. Еще ни разу не клала оружия сколько-нибудь значительная часть русской армии, хотя не раз и нам случалось попадать в отчаянное положение; между тем как и пруссаки, и французы – об австрийцах уже и не говорю – сдавались большими отрядами, целыми дивизиями или оставляли крепости, почти не защищаясь.

Но из пяти элементов военной силы тактическое обучение и качество вооружения суть условия, достижение которых зависит от собственных наших усилий и, следовательно, всегда могут быть приобретены. Числительность войск зависит от числа народонаселения и от его способности отзываться на голос отечества, и силы восьмидесятимиллионного русского народа, готового на самые напряженные усилия, могут считаться в этом отношении неистощимыми, после того как русский царь получил возможность обращаться ко всем сословиям своего народа прямо, без всяких посредников. Талант военачальника есть дело случая или дар Провидения, которых, конечно, никто предусмотреть не может. Нравственный же дух войска, а следовательно, и населения, из которого оно набирается, – главная, как мы видели, сила, в конце концов решающая успехи войн и которой русские обладают, по свидетельству истории, в высшей степени, – принадлежит к постоянным, коренным

свойствам народным, которые не могут быть ни приобретены, ни заменены чем бы то ни было.

Присоединив к этому возможность возвести эти всегда присущие русскому народу свойства до степени дисциплинированного энтузиазма или героизма, тогда как противники наши лишены этой возможности и по неправоте, и по отвлеченности интересов, которые придется им защищать, мы увидим, что превосходим их в этом деле духовной силой, за которой всегда остается победа в последнем результате.

В этом пересмотре наших сил мы далеко еще не все перечислили. Мы имеем вне границ наших не менее двадцати пяти миллионов верных союзников в греках, в турецких и австрийских славянах, которым мы должны только дать возможность стать за нас. Многие, судя по литературным и другим партиям, разделяющим славянские племена, – преимущественно австрийские, – по движению в части чешской молодежи в пользу поляков во время последнего мятежа и тому подобным явлениям, сомневаются в преданности славян России. Но это происходит только оттого, что они не там ищут этого сочувствия и преданности, где должны искать и где они имеют настоящую цену и силу. Когда даже среди нашего русского общества встречается непонимание русских интересов, сочувствие полякам, балтийским немцам, взгляд на наши политические и иные отношения с враждебной нам европейской точки зрения, – как же удивляться, что те же недоразумения, что тот же туман единой истинной и спасительной европейской цивилизации отуманивает головы многих из тех лиц, которые составляют так называемую «интеллигенцию» и в западнославянских странах. Но и тут, как везде, опора и сила наша не в этих выветрившихся поверхностных слоях, а в самом народном ядре, которое живым инстинктом полагает на Россию все надежды свои, к ней устремляется всеми своими сочувствиями.

При обыкновенном ходе исторических дел эта народная сила нема, не подает своего голоса ни в брошюрах, ни в газетах, ни на общественных обедах со спичами, ни на митингах. Прислушиваясь лишь к этим громко заявляющим о себе голо-

сам, не думают ли многие еще и теперь – не думали ли недавно почти все, – что, например, вся западная окраина России, начиная от Наровы до Днестра, враждебно настроена против России? Между тем опыт показал, что войска, усмирявшие польское восстание (в Юго-Западном крае, по крайней мере), в той же степени охраняли польское панство от мести народной. Так же точно русскую сторону держит народ и в Северо-Западном и в Балтийском крае. Но воочию обнаружилось это в Западном крае только вследствие мятежа. Этого мало: эта проба показала, что даже в самой Польше, в этой классической стране русобоязни и русоненавидения, народ на нашей стороне.

Пусть только развяжет война путы дипломатического приличия, и мы увидим, как отзовутся славянские народы на искренний, прямой призыв России, который один только и может разом перетянуть на нашу сторону весы в борьбе с враждебными нам силами, к которому, следовательно, мы будем вынуждены самой силой обстоятельств, – призыв, отсутствие которого было главной причиной неудачи Восточной войны, но которого тогда сделать было нельзя (по невозможности сочетания политики либеральной и национальной) до освобождения крестьян, как уже было замечено выше.

Великое дело освобождения дало нам в руки еще новую силу, еще новое орудие. Было время, когда Франция, гордясь добытыми ею плодами свободы, угрожала противникам своим так называемой пропагандой как рычагом и домкратом, который мог сдвинуть с самых оснований их государственное здание, основанное не на знаменитых началах 1789 года. Оружие это, всегда тупое и бессильное по отношению к нам, теперь давно уже выпало из рук Франции и по отношению к европейским государствам; ибо что может предложить Франция прочим народам, чем бы они уже не пользовались еще в большей степени, нежели сами французы? Напротив того, Россия, эта страна варварства, застоя и абсолютизма, приобрела внезапно такое нравственное оружие, сила которого не вполне еще ясна и для нас самих, хотя уже мы имели случай раз употребить ее в дело с неимоверным успехом, ибо

не только умиротворили им Польшу, но обратили даже всю массу тамошнего народонаселения в преданных России подданных, от нее лишь чающих своего спасения и устройства своего благосостояния. Нравственная сила эта называется – крестьянским наделом! Знамя, на котором будет написано: Православие, Славянство и Крестьянский Надел, то есть нравственный, политический и экономический идеал народов славянского культурного типа, не может не сделаться символом победы, нашим «*Сим победиши*», которое внесет в ряды наши и наших союзников уверенность торжества и ужас и смятение – в ряды наших противников.

ГЛАВА XVII
Славянский культурно-исторический тип (Вместо заключения)

Предыдущей главой я, собственно говоря, кончил принятую на себя задачу. Частный случай – ход Шлезвиг-Голштинского вопроса сравнительно с ходом вопроса Восточного перед Крымской войной, – дал мне повод выставить на вид враждебность Европы к России и Славянству. Затем старался я объяснить причины этой враждебности, которая только с особенной ясностью и общностью выразилась в этом деле, но проникает и обнимает собой все отношения Европы к Славянству – от самых частных до самых общих сфер.

Это исследование привело к тому заключению, что враждебность эта кроется в глубокой розни, существующей между мирами Славянским и Германо-Романским, – розни, которая проникает до самых оснований общего плана развития всемирной истории. Только ложное, несообразное с истинными началами научно-естественной систематизации явлений понимание общего хода истории, отношения национального к общечеловеческому и так называемого прогресса могли привести к смешению понятий частной европейской, или германо-романской, цивилизации с цивилизацией обще-

или, правильнее, всечеловеческой; оно породило пагубное заблуждение, известное под именем *западничества,* которое, не сознавая ни тесного общения между Россией и Славянством, ни исторического смысла этого последнего, – отмеривает нам и братьям нашим жалкую, ничтожную историческую роль подражателей Европы, – лишает нас надежды на самобытное культурное значение, то есть на великую историческую будущность. После этого общего, так сказать, теоретического, взгляда я старался развить и дополнить его указаниями на главные стороны различия между славянским и германо-романским культурно-историческими типами и на гибельные следствия, к которым привело нас это западничество, или европейничанье, на практике, составив ту болезнь, которой страдает русское общественное тело, – болезнь, под которую подводятся все наши общественные недуги. Лекарством от этой болезни может служить, по нашему мнению, только целебная сила самых исторических событий, которая одна только и может поднять дух нашего общества, страдающего именно упадком и принижением духа. Излечение возможно и вероятно потому, что болезнь, по счастью, не проникла еще далее поверхности общественного слоя. Это одаренное целебной силой событие, или, точнее, целый ряд событий, видим мы в последнем действии борьбы, известной под именем Восточного вопроса, основания которого лежат глубоко в общем ходе всемирного исторического развития, – в борьбе, которая в непродолжительном времени должна наложить печать свою на целый исторический период. Важность этой неминуемо предстоящей борьбы заставила нас вникнуть как в те возражения, которые делаются против единственно полезного для Славянства решения ее, заключающегося в полном политическом освобождении всех славянских народов и в образовании Всеславянского союза под гегемонией России, так и в залоги нашего успеха в этой борьбе.

Начав с общих историко-философских соображений, я спустился, таким образом, в область частного, политического, указывая на тот путь, которым Россия и Славянство ведутся

и должны наконец привестись к осуществлению тех обещаний, которые даны им их этнографической основой, теми особенностями, которые отличают их в числе прочих семейств великого арийского племени. Этим могли бы мы, следовательно, заключить наши исследования, но нам остается еще исполнить данное выше обещание. В одной из предыдущих глав мы сказали, что неверующие в самобытность славянской культуры возражают против нее вопросом: «В чем же именно будет состоять эта новая цивилизация, каков будет характер ее науки, ее искусства, ее гражданского и общественного строя?» Отклонив это требование в такой форме как нелепое, ибо удовлетворительный ответ на этот вопрос сделал бы самое развитие этой цивилизации совершенно излишним, я обещал, однако, и на него ответить в общих чертах, насколько это возможно сделать на основании существенного характера доселе бывших цивилизаций, в сравнении с теми зачатками ее, которые успели уже выразиться в славянском культурно-историческом типе. Теперь пришло время исполнить это обещание, и это заставляет меня снова обратиться в область общих исторических соображений.

В таком крайне трудном, так сказать, гадательном деле, как характеристика будущего хода культурно-исторического движения, – хотя бы то было в самых общих чертах, – нам не остается иного пути, чтобы не впасть в совершенно бессодержательные мечтания, как подвести под самые общие категории деятельность прошедших культурно-исторических типов, уже довершивших свое дело или, по крайней мере, уже ясно обозначавших свое направление, так сказать, сосредоточить исторические результаты их жизни в возможно краткие и всеобъемлющие формулы. Затем сравнить эти общие достигнутые ими категории результатов с теоретическими требованиями от полного и всестороннего хода исторического движения. Таким образом могут быть выяснены исторические desiderata[1]. Сравнение их с культурными задатками, которые Славянство успело уже проявить в своей исторической жизни, должно показать, насколько вправе мы

ожидать в будущем осуществления этих desiderata от дальнейшего хода славянского развития, если оно пойдет правильным, вышеуказанным нами путем, на котором первый необходимый шаг есть достижение полной политической независимости, а вместе и славянского единства, сообразно с требованиями 2-го и 4-го законов развития культурно-исторических типов.

Прежде всего предстоит нам, следовательно, прибегнуть к установлению тех общих категорий, под которые подводились бы естественным образом все стороны народной деятельности, которые обнимали бы собой все разнообразные обнаружения исторической жизни, обозначаемые словами «культура» и «цивилизация».

Общих разрядов культурной деятельности, в обширном смысле этого слова, не могущих уже быть подведенным один под другой, которые мы должны, следовательно, признать за высшие категории деления, – насчитывается не более и не менее четырех, именно:

1) *Деятельность религиозная,* объемлющая собой отношения человека к Богу, – понятие человека о судьбах своих как нравственного неделимого в отношении к общим судьбам человечества и Вселенной, то есть, выражаясь более общими терминами: народное мировоззрение не как теоретическое, более или менее гадательное знание, во всяком случае, доступное только немногим, – а как твердая вера, составляющая живую основу всей нравственной деятельности человека.

2) *Деятельность культурная, в тесном значении этого слова,* объемлющая отношения человека к внешнему миру, во-первых, *теоретическое, научное,* во-вторых, *эстетическое, художественное* (причем, конечно, к внешнему миру причисляется и сам человек как предмет исследования, мышления и художественного воспроизведения) и, в-третьих, *техническое, промышленное,* то есть добывание и обработка предметов внешнего мира применительно к нуждам человека и сообразно с пониманием как этих нужд, так и внешнего мира достигнутым путем теоретическим.

3) *Деятельность политическая,* объемлющая собой отношения людей между собой как членов одного народного целого и отношения этого целого как единицы высшего порядка к другим народам. Наконец,

4) *Деятельность общественно-экономическая*, объемлющая собой отношения людей между собой не непосредственно как нравственных и политических личностей, а посредственно – применительно к условиям пользования предметами внешнего мира, следовательно, и добывания, и обработки их.

Нам следует теперь рассмотреть, в какой мере каждый из культурно-исторических типов, – жизнь которых составляет содержание всемирной истории, – проявлял свою деятельность по этим общим категориям, на которые эта деятельность разделяется, и каких достигал в ней результатов.

Первые культуры: Египетскую, Китайскую, Вавилонскую, Индийскую и Иранскую мы можем, по всей справедливости, назвать первичными или аутохтонными, потому что они сами себя построили, так сказать, сосредоточив на разных точках земного шара слабые лучи первобытной догосударственной деятельности человечества. Они не проявили в особенности ни одной из только что перечисленных нами сторон человеческой деятельности, а были, так сказать, культурами подготовительными, имевшими своей задачей выработать те условия, при которых вообще становится возможной жизнй в организованном обществе.

Все было в них еще в смешении; религия, политика, культура, общественно-экономическая организация еще не выделились в особые категории деятельности, и напрасно приписывают этим первобытным цивилизациям – в особенности Египетской и Индийской – специально религиозный характер. Конечно, в эти первобытные времена, когда анализ играл еще весьма слабую роль в умственной деятельности человека, находившегося под подавляющим влиянием великого целого, – мистико-религиозное направление проникало весь строй тогдашнего общества; но это значит только, что религиозная область, как и все прочие, еще не выделилась, не

обособилась. Астрономические занятия халдейских жрецов, геометрические – египетских были такими же священнодействиями, как и совершение религиозных церемоний. Касты объяснялись и оправдывались происхождением людей из различных частей тела Брамы. Если в таких примерах можно видеть доказательства вмешательства религии в науку и в общественно-экономический строй, то с таким же точно правом можно утверждать вмешательство науки и экономического общественного строя в религию, как оно и на самом деле было. В Китае, прозаическое, реальное направление которого не давало такого простора мистико-религиозным воззрениям, тем не менее существует тоже смешение религиозной с прочими сферами деятельности: земледелие есть священнодействие. Но так же точно смешаны наука и политика: так, например, экзамен есть единственное средство повышения в служебной иерархии, астрономические наблюдения составляют предмет государственной службы. Несправедливо поэтому называть древние Египетское и Индийское государства – теократиями. В Индии, как известно, духовная каста – брамины, были совершенно чужды политического честолюбия. Честолюбие и гордость их были совершенно иного характера: они почитали свое духовное призвание – религиозное, научное, художественное – чем-то несравненно высшим, чем грубое, земное политическое дело, которое и предоставляли низшим кастам, требуя для себя лишь почета, а не власти. В том же роде было и влияние египетских жрецов.

Религия выделилась как нечто особенное и вместе высшее только в цивилизации Еврейской и была всепроницающим ее началом. Только религиозная деятельность еврейского народа осталась заветом его потомству. Религия эта была беспримесная, а только сама налагала на все свою печать, и все остальные стороны деятельности оставались в пренебрежении, и в них евреями не произведено ничего заслуживающего внимания их современников и потомства. В науке они даже не заимствовали ничего от своих соседей – вавилонян и египтян; из искусств процветала у них одна лишь религиоз-

ная поэзия; в других отраслях художественной деятельности, так же, как и в технике, они были столь слабы, что даже для постройки и украшения храма Иеговы – центра их народной жизни – должны были прибегнуть к помощи финикиян. Политическое устройство еврейского народа было до того несовершенно, что он не мог даже и охранять своей независимости не только против могущественных государств, как Вавилон, Ассирия, но даже против мелких ханаанских народов, и вся политическая их деятельность, так же, как и самое общественное экономическое устройство, составляли полное отражение их религиозных воззрений. Но зато религиозная сторона их жизни и деятельности была возвышенна и столь совершенна, что народ этот по справедливости называется народом богоизбранным, так как среди него выработалось то религиозное миросозерцание, которое подчинило себе самые высокие, развитые цивилизации и которому суждено было сделаться религией всех народов, единой, вечной, непреходящей ее формой. Это заключение, как заметили мы уже выше, нисколько не изменяется, – будем ли мы держаться того взгляда, что учение Ветхого и Нового Завета суть постепенно выработанные этим народом формы мировоззрения, или постепенно сообщавшееся ему свыше Откровение.

Следовательно, еврейский культурно-исторический тип можем мы назвать не только преимущественно, но даже исключительно религиозным.

Подобно тому, как еврейская культура была исключительно религиозна, – тип эллинский был типом культурным и притом преимущественно художественно-культурным. Перед этой стороной развития отступали все остальные на задний план. Можно даже сказать, что в самом психическом строе древних греков не было пригодной почвы, на которой могла бы развиваться экономическая, политическая и религиозная стороны человеческой деятельности. Этому столь богато одаренному в культурном отношении народу недоставало ни экономического, ни политического, ни религиозного смысла. Об общественно-экономической стороне развития нечего

много распространяться. Народ, у которого рабство было не только случайным, временным явлением, так сказать, подготовительным процессом для достижения иных высших форм общественного устройства, а фундаментальным фактом, на который опиралась вся их политическая и умственная жизнь со всей ее философской гуманностью и эстетической роскошью, – такой народ не мог содействовать развитию социально–экономической идеи.

В политическом отношении греки не могли даже возвыситься до сознания *политического* единства своего племени, хотя они и сознавали себя особой культурной единицей в противоположность всем остальным народам-варварам. Только персидская гроза при общей опасности зажгла в них общий греческий патриотизм, но и то весьма несовершенным образом. Спартанцы умышленно опоздали на Марафонское поле[2]; Аргос и Виотия[3] от страха покорились Ксерксу и не участвовали в борьбе против него; пелопоннесцы настаивали на том, чтобы предать в жертву врагам материковую Грецию и защищаться на Коринфском перешейке[4]. Когда с исчезновением опасности прошел и патриотический энтузиазм, политическая история Греции обращается опять в историю внутренних раздоров и междоусобных войн по самым жалким и ничтожным причинам. Из-за своих эгоистических видов, из-за узкой идеи преобладания ищут спартанцы помощи персов. Заметим, что это делалось не во времена первобытной грубости и дикости нравов и не во времена упадка, а в самое цветущее время умственного развития греков. Знаменитый Демосфен, не понимая положения вещей, не имея смысла для постижения Общегреческой идеи, употребляет свое красноречие, дабы увлечь афинян на гибельный путь сопротивления Филиппу; и афиняне, столь же лишенные политического смысла, следуют его советам, а не Фокионовым. И так продолжается дело до самого покорения римлянами.

Подобным же образом и религиозное учение греков высказывает отсутствие истинного религиозного смысла и чувства. Их религиозное мировоззрение – одно из самых мелких

и жалких и совершенно недостойно народа, занимающего такое высокое место в философском мышлении. Из трех сторон религии, которыми она удовлетворяет трем сторонам человеческого духа – догматики, этики и культа, – только этот последний, соответственно художественной организации греков, имеет действительное значение. Догматика их не представляет ни глубины, ни стройности, собственно говоря, не имеет даже никакого содержания, ибо не заключает в себе ни метафизики, ни космогонии, ни учения о духовной сущности мира, ни теории его происхождения. Учение о миоправительном Промысле – чуждо этой догматике; и высшая идея, до которой могло возвыситься религиозное миросозерцание греков, состоит в слепом, бессознательном фатуме, в олицетворении закона физической необходимости. Сообразно с этой бедностью догматического содержания и этическая сторона не имеет почвы, основания. Она не представляет нам свода нравственных правил, освященных высшим божественным авторитетом, который служил бы непреложным руководством в практической деятельности. История похождений их божеств, которая могла бы заменить нравственный кодекс живым примером, есть скорее школа безнравственности и соблазна. Во всех этих отношениях религия греков не может выдержать никакого сравнения ни с философским пантеизмом браманизма, где под грубыми формами всегда скрывается глубокий смысл, ни с глубокой метафизикой буддизма, ни с возвышенным учением Зороастра, ни со строгим единобожием магометанства. Религия играла столь невидную роль в греческой жизни, что никогда не имела своего Священного Писания, ибо нельзя же назвать этим именем Гесиодову «Теогонию», – скорее систематизированный сборник народных легенд, чем религиозный кодекс, своего рода Четьи-Минеи[5], а не Библия, – которой притом же не приписывалось никакого авторитета.

Все эти религиозные сказания служили лишь материалом для воплощения художественной фантазии греков и возводились при посредстве ее в художественные типы прекрасного, без всякого таинственного и нравственного значения.

Сообразно с таким значением греческой религии и носит она на языке всех народов название мифологии по преимуществу, то есть мифологии, которая не служит оболочкой чему-то высшему, сокровенному, а заключает в себе уже все свое содержание и есть сама себе цель, – одним словом, есть тело без души. Религия греков есть, собственно говоря, поклонение самодовлеющей красоте, и потому от нее веет эпикуреизмом, который и есть, собственно, особенное греческое мировоззрение, – их национальная философия, проявлявшаяся во всей их практической жизни и прежде, и после того, как она была формулирована Эпикуром. Нравственность их заключалась единственно в чувстве меры, которое и есть все, что может дать эстетическое мировоззрение. Но это чувство меры – скорее основной принцип искусства наслаждаться жизнью, чем начало нравственно-религиозное, сущность которого всегда заключается в самопожертвовании.

Столь же односторонен, как греческий и еврейский культурно-исторические типы, был и тип римский, развивший и осуществивший с успехом одну лишь политическую сторону человеческой деятельности. Политический смысл римлян не имеет себе подобного. Небольшое зерно кристаллизирует около себя племена Лациума и подчиняет себе мало-помалу, – постепенно, систематически, а не завоевательными порывами, – весь бассейн Средиземного моря и всю западную европейскую окраину Атлантического океана. Свободолюбивые римляне никогда, однако же, не теряют дара повиновения, дара подчинения своей личной воли воле общей, для воплощения которой среди республики оставляется ими место для диктатуры, которая у них – не политическая случайность, зависевшая от преобладания, приобретаемого честолюбивым дарованием, а правильный институт, имеющий вступать в действие при известных обстоятельствах. Этого мало. Сообразно возрастанию государства они изменяют форму правления, переменяя республику на империю, которая делается учреждением вполне народным, держащимся не внешней силой, ибо сколько было слабых, ничтожных императоров, – а

волей народной, инстинктивно чувствовавшей необходимость империи для поддержания разросшегося государства в трудные и опасные времена. Взаимные отношения граждан определяются, в продолжение государственной жизни Рима, самым точным и полным образом и составляют собой совершеннейший кодекс Гражданских законов.

Но и в Риме, так же как и в Греции, рабство составляет основной, фундаментальный факт общественного строя. Культурная деятельность в тесном смысле этого слова также совершенно незначительна: в науке, в философском мышлении, так же, как и в искусствах, за исключением архитектуры, Рим не производит ничего оригинального. Заключалась ли причина этой непроизводительности в самых нравственных, духовных условиях латинской расы, или в подражательности римлян, в их порабощении грекам в сфере науки и искусства, – это не подлежит теперь нашему разбору; для нас достаточно самого факта.

Сказанное о религии греков относится вполне и к римлянам. Она также бедна внутренним содержанием, лишена глубокого догматического и этического содержания и смысла, также лишена Священного Писания; и только по этой бессодержательности мог Рим относиться с таким индифферентизмом ко всей религиозной форме, так что боги всех покоренных народов становились и его богами, национальные божества римлян слились с божествами Греции, став, так сказать, их переводами – Юпитер сделался синонимом Зевса, Нептун – Посейдона и так далее. Существенное отличие заключалось лишь в том, что, как сообразно основной черте психического строя греков, их религия получила исключительно эстетический характер, – религия римлян, так же соответственно основным свойствам их мировоззрения и культуры, получила характер политический. Посему те только учения, которые не могли подчиниться такому политическому взгляду на религию, последователи которых не могли поклоняться обожествленному Римскому государству, готовому под этим условием усыновить себе предмет их специального поклонения, претерпевали религиозное гонение.

Таким образом, цивилизации, последовавшие за первобытными аутохтонными культурами, развили каждая только одну из сторон культурной деятельности: *Еврейская* – сторону *религиозную*, *Греческая – собственно культурную*, а *Римская – политическую.* Поэтому мы должны характеризовать культурно-исторические типы: еврейский, греческий и римский – именем *типов одноосновных.*

Дальнейший исторический прогресс мог и должен был преимущественно заключаться как в развитии четвертой стороны культурной деятельности – общественно-экономической, – так и в достижении большей многосторонности посредством соединения в одном и том же культурном типе нескольких сторон культурной деятельности, проявлявшихся доселе раздельно. На эту более широкую дорогу, более сложную ступень развития и выступил тот тип, который под именем европейского, или германо-романского, главнейшим образом занял историческую сцену после распадения Западной Римской империи.

Подобно логическому процессу мысли в индивидуальном духовном существе раскрылись и в логическом ходе всемирной истории – путем анализа – отдельные стороны культурного движения из первоначального смешанного (не дифференцированного) состояния, представителями которого были древнейшие государства Азии и Африки; а затем наступил, по-видимому, момент для процесса синтетического слияния в истории германо-романских народов. Обстоятельства времени благоприятствовали осуществлению такого синтеза. Религиозная истина в вечной форме христианства была открыта и усвоена с покорностью и восторгом новыми народами, богатыми дарами духовной природы, к числу которых нельзя не причислить и пламенного религиозного чувства. В этом же религиозном учении скрывалась, как в зерне, необходимость уничтожения рабства; и действительно, оно оказалось лишь переходящей формой быта германо-романских народов. Политическим смыслом и способностью для культурного развития: научного, художественного и промышленного, оказались эти народы также богато одаренными.

Всем этим великим задаткам не суждено было, однако же, осуществиться вполне, и препятствием к сему послужили насильственность их энергического характера и павшее на благоприятную почву сильное влияние римского властолюбия и римского государственного строя. Мы уже видели, как этим путем искажена была христианская истина через искажение существенно важного понятия о значении церкви, которая обратилась в религиозно-политический деспотизм католицизма. Этот церковный деспотизм в соединении с деспотизмом феодальным, коренившимся в насильственности германского характера, и с деспотизмом схоластики, коренившимся в подобострастном отношении к формам древней науки, – обратили всю историю Европы в тяжкую борьбу, окончившуюся троякой анархией: анархией религиозной, то есть *протестантизмом,* думавшим основать религиозную достоверность на личном авторитете; анархией философской, то есть *всеотрицающим материализмом*, который начинает принимать характер веры и мало-помалу замещает в умах место религиозного убеждения; анархией политико-социальной, то есть *противоречием между* все более и более распространяющимся *политическим демократизмом* и *экономическим феодализмом.*

Так как эти анархии суть предвестники и орудия разложения, то и не могут, конечно, считаться живыми вкладами в общую сокровищницу человечества; и германо-романский культурно-исторический тип не может считаться успешным представителем ни религиозной, ни общественно-экономической стороны культурной деятельности.

Напротив того, с политической и собственно так называемой культурной стороны результаты исторической жизни Европы громадны. Народы Европы не только основали могущественные государства, распространившие власть свою на все части света, но и установили отвлеченно-правомерные отношения как граждан между собой, так и граждан к государству. Другими словами, они успели соединить политическое могущество государства с его внутренней свободой, то есть решили в весьма удовлетворительной степени обе

стороны политической задачи. Если свобода эта не дает на практике ожидавшихся и ожидаемых еще результатов, то это зависит от неразрешения или неправильного решения задачи иного, именно общественно-экономического порядка. Хотя, конечно, различные народы Европы не в одинаковой степени обладают этим политическим смыслом, однако же, последние события доказали, что и те из них, которые долго не могли устроить своего политического положения, как итальянцы и немцы, – достигли, однако же, наконец, или, по крайней мере, весьма приблизились к достижению политического единства – первого и необходимого условия политического могущества.

Еще выше и обильнее плоды европейской цивилизации в собственно культурном отношении. Методы и результаты европейской науки находятся вне всякого сравнения с совершéнным всеми остальными культурными типами, не исключая даже греческого. Таковы же плоды и промышленной, технической деятельности. Со стороны искусства, хотя народы Европы и должны уступить пальму первенства грекам по степени совершенства достигнутых результатов, они, однако же, значительно расширили его область и проложили в ней новые пути. По всем этим причинам должны мы усвоить за германо-романским культурно-историческим типом название *двуосновного политико-культурного типа* с преимущественно научным и промышленным характерами культуры в тесном смысле этого слова.

Обращаюсь теперь к миру Славянскому, и преимущественно к России как единственной независимой представительнице его, с тем, чтобы рассмотреть результаты и задатки еще начинающейся только его культурно-исторической жизни, с четырех принятых точек зрения: религии, культуры, политики и общественно-экономического строя, дабы таким образом уяснить, хотя бы в самых общих чертах, чего вправе мы ожидать и надеяться от славянского культурно-исторического типа, в чем может заключаться особая славянская цивилизация, если она пойдет по пути самобытного развития?

Религия составляла самое существенное, господствующее (почти исключительно) содержание древней русской жизни, и в настоящее время в ней же заключается преобладающий духовный интерес простых русских людей; и поистине нельзя не удивляться невежеству и дерзости тех, которые могли утверждать (в угоду своим фантазиям) религиозный индифферентизм русского народа.

Со стороны объективной, фактической, русскому и большинству прочих славянских народов достался исторический жребий быть вместе с греками главными хранителями живого предания религиозной истины – православия и, таким образом, быть продолжателями великого дела, выпавшего на долю Израиля и Византии, – быть народами богоизбранными. Со стороны субъективной, психической русские и прочие славяне одарены жаждой религиозной истины, что подтверждается как нормальными проявлениями, так и самыми искажениями этого духовного стремления.

Мы уже указали на особый характер принятия христианства Россией не путем подчинения высшей по культуре христианской народности, не путем политического преобладания над такой народностью, не путем деятельной религиозной пропаганды, а путем внутреннего недовольства, неудовлетворения язычеством и свободного искания Истины.

Самый характер русских, и вообще славян, чуждый насильственности, исполненный мягкости, покорности, почтительности, имеет наибольшую соответственность с христианским идеалом. С другой стороны, религиозные уклонения, болезни русского народа – раскол старообрядства и секты – указывают: первый – на настойчивую охранительность, не допускающую ни малейших перемен в самой внешности, в оболочке святыни; вторые же, особенно духоборство, – на способность к религиозно-философскому мышлению. У других славянских народов мы видим гуситское религиозное движение – самую чистую, идеальную из религиозных реформ, в которой проявлялся не мятежный, преобразовательный дух реформы Лютера, Кальвина, а характер рестав-

рационный, восстановительный, стремившийся к возвращению к духовной истине, некогда переданной свв. Кириллом и Мефодием. С другой стороны, и у западных славян в глубоко искажающем влиянии латинства на польский народный характер видим мы опять доказательство, что религиозное учение не скользит у славянских народов по поверхности, а способно выказать на его благодарной ниве вполне все, что в нем заключается; причем посеянное зерно, смотря по его специфическим особенностям, вырастает в добрый плод или в плевелы и волчцы.

Правда, что религиозная деятельность русского народа была по преимуществу охранительно-консервативной, и это ставится ему некоторыми в вину. Но религиозная деятельность есть охранительная по самому существу своему, как это вытекает из самого значения религии, которая или действительное откровение, или, по крайней мере, почитается таковым верующими. На самом деле, или, по крайней мере, во мнении своих поклонников, религия непременно происходит с неба и потому только и достигает своей цели – быть твердой, незыблемой основой практической нравственности, сущность которой состоит не в ином чем, как в самоотверженности, в самопожертвовании, возможных лишь при полной достоверности тех начал, во имя которых они требуются. Всякая же другая достоверность, философская, метафизическая и даже положительно научная, недостижима: для немногих избранных, умственно развитых, – потому, что им известно, что наука и мышление не завершимы, что они не сказали и никогда не скажут своего последнего слова, что, следовательно, к результатам их всегда примешано сомнение, возможность и необходимость пересмотра, переисследования, и притом в совершенно неопределенной пропорции; для массы же – по той еще более простой причине, что для нее она недоступна.

Поэтому, как только религия теряет свой откровенный характер, она обращается, смотря по взгляду на достоинство ее догматическо-нравственного содержания, – или в философскую систему, или в грубый предрассудок.

Но если религия есть Откровение, то очевидно, что развитие ее может состоять в раскрытии истин, изначала в ней содержавшихся, точнейшим их формулированием по поводу особого обращения внимания на ту или другую сторону, ту или другую часть религиозного учения в известное время. Вот внутренняя причина строго охранительного характера религиозной деятельности всех тех народов, которым Религиозная Истина была вверена для хранения и передачи в неприкосновенной чистоте другим народам и грядущим поколениям.

Если таков характер истинной религиозной деятельности вообще, то это относится с особенной силой к православному христианству после отделения Западной церкви. По православному учению непогрешимость религиозного авторитета принадлежит только всей церкви, а, следовательно, и раскрытие истин, заключающихся в христианстве, может происходить не иначе как путем Вселенских соборов, – единственных олицетворений церкви, – собиранию коих с VIII века препятствовали исторические обстоятельства. Следовательно, строго охранительный образ действия и требовался именно от тех, кому была вверена Религиозная Истина; иначе порвалось бы живое предание того, в каком моменте развития (или, правильнее, раскрытия Религиозной Истины) находилось Вселенское православие перед латинским расколом; затерялась бы та точка, к которой всякий жаждущий истины мог бы обратиться с полной уверенностью, что он найдет в ней всю Вселенскую Истину – и ничего кроме нее.

С этой точки зрения само русское старообрядство получает значение как живое свидетельство того, как строго проводилась эта охранительность. Где незначительная перемена обряда могла показаться новшеством, возмутившим совесть миллионов верующих, там, конечно, были осторожны в этом отношении; и кто знает, от скольких неблагоразумных шагов удержало нас старообрядство после того, как европейничанье охватило русскую жизнь!

Итак, мы можем сказать, что религиозная сторона культурной деятельности составляет принадлежность славян-

ского культурного типа, и России в особенности, – есть неотъемлемое его достояние как по психологическому строю составляющих его народов, так и потому, что им досталось хранение Религиозной Истины; – это доказывается как положительной, так и отрицательной стороной религиозной жизни России и Славянства.

Если обратимся к политической стороне вопроса, – к тому, насколько славянские народы выказали способности к устройству своей государственности, мы встречаем явление, весьма не ободрительное с первого взгляда. Именно, все славянские народы, за исключением русского, или не успели основать самостоятельных государств, или, по крайней мере, не сумели сохранить своей самостоятельности и независимости. Недоброжелатели Славянства выводят из этого их политическую несостоятельность. Такое заключение не выдерживает ни малейшей критики, если даже не обращать внимания на те причины, которые препятствовали доселе славянам образоваться в независимые политические тела, а принять факт, как он существует. Факт этот говорит, что огромное большинство славянских племен (по меньшей мере, две трети их, если не более) образовали огромное, сплошное государство, просуществовавшее уже тысячу лет и все возраставшее и возраставшее в силе и могуществе, несмотря на все бури, которые ему пришлось выносить во время его долгой исторической жизни. Одним этим фактом первой величины доказан политический смысл славян, по крайней мере, значительного большинства их.

Когда Германская империя после не слишком продолжительного века своей славы и могущества обратилась в политический monstrum[6], вправе ли были бы мы заключить, что германское племя не способно к политической жизни? Конечно, нет; ибо то же германское племя образовало могущественную Британскую империю, и по одному этому политическое настроение Германии должны бы мы были приписать невыгодным внешним и внутренним условиям, в которых находилась временно эта страна, а не коренной

неспособности, что и подтвердилось высказывающим глубокий политический смысл образом действий Пруссии, которого она держится уже с давних времен (по крайней мере, со времени Великого Курфюрста) и который увенчался на наших глазах действиями Бисмарка.

В этом суждении о политической неспособности славян сказывается та же недобросовестность или, в лучшем случае, тот же оптический обман, как и в суждениях о мнимом недостатке единства Русского государства, потому-де, что в состав его входит, может быть, около сотни народов разных наименований. При этом забывается, что все это разнообразие исчезает перед перевесом русского племени, – если к качественному анализу явления присоединить и количественный. Если бы все западные и юго-восточные славянские народы были бы действительно неспособны к политической жизни, то все-таки за славянским племенем вообще до́лжно было бы признать высокий политический смысл ввиду одного лишь Русского государства.

Но справедлива ли мысль о государственной неспособности других славянских народностей, кроме русской? Западные славянские племена еще в эпоху гибкости и мягкости, которыми отличается этнографический период народной жизни, находились под непрестанным враждебным политическим и культурным воздействием ранее их сложившихся народов германо-романского культурного типа.

Несмотря на это, образовалось уже в IX столетии могущественное Моравское государство, получившее было и зародыши самобытной культуры – в православии и славянской письменности, но которые после были в нем вырваны враждебным немецко-католическим влиянием. Нашествие угров разорвало связь между западными славянами. Южная часть их не могла отыскать центра своего тяготения под влиянием Византии, вторгнувшихся турок, захватов Венеции, мадьярских завоеваний, австрийской марки. Северная часть, получив духовное оживление реформой Гуса, успела образоваться во время Подибрада[7] в особое благоустроенное государство; но мог ли

устоять этот славянский остров или выступ среди немецкого разлива, не опираясь на всю силу соединенного Славянства?

Не мог, точно так же, как не может и теперь без прямого и деятельного участия России в его судьбе.

Независимое бытие Польши было продолжительнее; но если Польша была более других западных славянских стран свободна от непосредственного внешнего политического давления Германо-Романского мира, зато она более всех подчинилась нравственному культурному господству Запада путем латинства и феодального соблазна, действовавшего на ее высшие сословия; и, таким образом, сохранив до поры до времени свое тело, потеряла свою славянскую душу, а, чтобы обресть ее, должна была войти в тесное, хотя, к сожалению, и недобровольное соединение с Россией.

Если, поэтому, из всех славян один русский народ успел устроиться в крепкое государство, то обязан этим столько же внутренним свойствам своим, сколько и тому обстоятельству, что по географическому положению занимаемых им стран ему дано было пройти первые формы своего развития в отдалении от возмущающего влияния чуждой западной жизни.

В примере Малороссии, долго разъединенной с остальной Россией и добровольно соединившейся с нею после отвоевания своей независимости, видим мы доказательство, что не одно великорусское племя, как думают некоторые, одарено глубоким политическим тактом; и поэтому можем надеяться, что при случае такой же смысл и такт выкажут и другие славяне, добровольно признав после отвоевания своей независимости, гегемонию России в союзе; ибо, в сущности, обстоятельства, в которых находилась Малороссия во времена Хмельницкого и западные славяне теперь, – весьма сходны. Народный энтузиазм, благоприятное стечение обстоятельств, гений предводителя, выдвинутого вперед народным движением, может быть, и могут доставить им независимость, как при Хмельницком, но сохранение ее, а главное, сохранение общего славянского характера жизни и культуры, невозможно без тесного взаимного соединения с Россией.

Что бы ни сказало будущее, уже по одному тому, что до сих пор проявлено славянами, и преимущественно русской отраслью их, в политической деятельности, мы вправе причислить племена эти к числу наиболее одаренных политическим смыслом семейств человеческого рода.

Мы считаем у места обратить здесь внимание и на особый характер этой политической деятельности, как она выразилась в возрастании Русского государства.

Русский народ не высылает из среды своей, как пчелиные улья, роев, образующих центры новых политических обществ, подобно грекам – в древние или англичанам – в более близкие к нам времена. Россия не имеет того, что называется владениями, как Рим и опять-таки Англия. Русское государство от самых времен первых Московских князей есть сама Россия, постепенно, неудержимо расширяющаяся во все стороны, заселяя граничащие с ней незаселенные пространства и уподобляя себе включенные в ее государственные границы инородческие поселения. Только непонимание этого основного характера распространения Русского государства, происходящее опять-таки, как и всякое другое русское зло, от затемнения своеобразного русского взгляда на вещи европейничаньем, может помышлять о каких-то отдельных провинциальных особях, соединенных с Россией одной отвлеченной государственной связью, о каких-то *не-Россиях* в России, по прекрасному выражению г. Розенгейма, и не только довольствоваться ими, но видеть в них политический идеал, которого никогда не признает ни русское политическое чувство, ни русская политическая мысль. Должно надеяться, что и этот туман рассеется, подобно многим другим.

По этой же причине Россия никогда не имела колоний, ей удававшихся, и весьма ошибочно считать таковой Сибирь, как многие делают. Колонисты, выселяясь из отечества даже добровольно, не по принуждению, быстро теряют тесную с ним связь, скоро получают свой особый центр тяготения, свои особые интересы, часто противоположные или даже враждебные интересам метрополии. Вся связь между ними ограничивается

покровительством метрополии, которым пользуется колония до поры до времени, пока считает это для себя выгодным. Колонии несут весьма мало тягостей в пользу своего первоначального отечества, и если принуждаются к тому, то считают это для себя угнетением и тем сильнее стремятся получить полную независимость.

Кроме национального характера народов, выделявших из себя колонии, на такое отношение их к своему прежнему отечеству имеет, конечно, большое влияние и географическая раздельность вновь заселяемых стран.

При расселениях русского народа мы не видим ничего подобного. Куда бы ни заходили русские люди, хотя бы временные и местные обстоятельства давали им возможность или даже принуждали их принять самобытную политическую организацию, как, например, в казацких обществах, – центром их народной жизни все-таки остается старая Русь-Москва, высшая власть в понятии их продолжает олицетворяться в лице русского царя. Они спешат принести ему присягу, поклониться ему новыми странами, которыми они завладели, вступить в непосредственную связь с Русским государством. Держась своего устройства, они не выделяют себя из русского народа, продолжают считать его интерес своим интересом, готовы жертвовать всем достижению его целей. Одним словом, они образуют не новые центры русской жизни, а только расширяют единый, нераздельный круг ее. Посему и новые заселения заводятся только по окраинам стран, сделавшихся уже старой, настоящей Русью. (Я говорю про самобытные народные расселения, а не про правительственные колонизационные предприятия.). Расселения скачками через моря или значительные промежутки не удаются, хотя бы им покровительствовало правительство. Не удалась нам Американская колония, не удается что-то и Амур.

Такому характеру расселения русского народа, в высшей степени благоприятному единству и цельности Русского государства, соответствует и уподобительная сила русского народа, претворяющая в свою плоть и кровь инородцев, с которыми

приходит в соприкосновение или столкновение, конечно, если этому не противополагается преград ошибочными правительственными мероприятиями.

Но основание, расширение государства, доставление ему прочности, силы и могущества составляют еще только одну сторону политической деятельности. Она имеет еще и другую, состоящую в установлении правомерных отношений граждан между собой и к государству, то есть в установлении гражданской и государственной свободы, без способности к которой нельзя признать народ вполне одаренным здравым политическим смыслом. Итак, способен ли русский народ к свободе?

Едва ли надо упоминать, что наши доброжелатели дают на это отрицательный ответ: одни – считая рабство естественной стихией русских, другие – опасаясь или представляясь опасающимися, что свобода в руках их должна повести ко всякого рода излишествам и злоупотреблениям. Но на основании фактов русской истории и знакомства с воззрениями и свойствами русского народа можно составить себе только диаметрально противоположное этому взгляду мнение: именно, что едва ли существовал и существует народ, способный вынести большую долю свободы, чем народ русский, и имеющий менее склонности злоупотреблять ею.

Это основывается на следующих свойствах, присущих русскому человеку: на его умении и привычке повиноваться, на его уважении и доверенности к власти, на отсутствии в нем властолюбия и на его отвращении вмешиваться в то, в чем он считает себя некомпетентным; а если вникнуть в причины всех политических смут у разных народов, то корнем их окажется не собственно стремление к свободе, а именно властолюбие и тщеславная страсть людей к вмешательству в дела, выходящие из круга их понятий. Как крупные события русской истории, так и ежедневные события русской жизни одинаково подтверждают эти черты русского народного характера.

В самом деле, взгляните на выборные должности во всех наших сословиях, в особенности в купечестве, мещанстве и крестьянстве. Эти должности, доставляющие власть и почет,

считаются не правами, а обязанностями или, лучше сказать, общественными повинностями, и исключение составляет разве одна должность предводителя, дающая почет, а не власть.

Если ищут ме́ста мировых судей, членов и председателей земских управ, то главным образом из-за доставляемого ими жалованья, довольно значительного по деревенской, уездной и даже губернской жизни. Это все равно что государственная служба с хорошим жалованьем, дающая притом возможность не оставлять своих хозяйственных дел. Любопытно было бы посмотреть, если бы только в таких делах дозволительно было делать опыты, – как стали бы у нас процветать земство и мировой институт, если бы наполнить их, по теориям «Вести», безвозмездными деятелями так называемой аристократии?

Эти черты русского народного характера, во всяком случае, показывают, что власть имеет для нас мало привлекательности, и, хотя многие считают это за какой-то недостаток, мы не можем видеть ничего дурного в том, что наши общественные деятели хотят, чтобы труд их на общую пользу был материально вознаграждаем, так как совершенно безвозмездным он ведь никогда не бывает, ибо удовлетворение властолюбия, тщеславия, гордости – такая же мзда.

Те же вышеперечисленные свойства русского народа составляют внутреннюю причину того, что Россия есть едва ли не единственное государство, которое никогда не имело (и, по всей вероятности, никогда не будет иметь) политической революции, то есть революции, имеющей целью ограничение размеров власти, присвоение всего объема власти или части ее каким-либо сословием или всей массой граждан – изгнание законно царствующей династии и замещение ее другой.

Все смуты, которые представляет русская история, могущие по своей силе и внешнему виду считаться народными мятежами, всегда имели совершенно особый, не политический, в строгом значении этого слова, характер. Причинами их были: сомнение в законности царствовавшего лица, недовольство крепостным состоянием, угнетавшим на практике народ всегда в сильнейшей степени, чем это имел в виду закон, и, наконец, те

элементы своеволия и буйства, которые необходимым образом развивались на окраинах России – в непрестанной борьбе казачества с татарами и другими кочевниками. Эти три элемента принимали совместное участие в трех главных народных смутах, волновавших Россию в XVII и XVIII столетиях, так что каждый из них играл попеременно преобладающую роль.

В смутах междуцарствия главным двигателем было самозванство, но при значительном участии недовольства только что вводившимся прикреплением крестьян к земле и казацкой вольницы[8].

Бунт Стеньки Разина был, главнейшим образом, произведением этой вольницы, начинавшей опасаться, что вводимые более строгие государственные порядки ограничат ее своеволие. Но так разрастись могли эти смуты опять-таки только при недовольстве крестьян на закрепощение их, а легальными поводами опять-таки старались придать всем этим беспорядкам характер законности в глазах народа.

Наконец, главная сила Пугачевского бунта заключалась именно в возмущении крепостных людей, для которых бунт малочисленного яицкого казачества служил, так сказать, лишь первой искрой, зажегшей пожар. Участие приуральских кочевников усилило и этот бунт, а имя Петра III должно было доставить ему законность в глазах народа, который всегда чувствовал свою солидарность с верховной властью и от нее чаял исполнения своих заветных и справедливых желаний.

С обеспечением правильности и законности в престолонаследии, с введением гражданственности и порядка в казачестве и, наконец, с освобождением крестьян иссякли все причины, волновавшие в прежнее время народ, и всякая, не скажу, революция, но даже простой бунт, превосходящий размер прискорбного недоразумения, – сделался невозможным в России, пока не изменится нравственный характер русского народа, его мировоззрение и весь склад его мысли; а такие изменения (если и считать их вообще возможными), совершаются не иначе как столетиями и, следовательно, совершенно выходят из круга человеческой предусмотрительности.

Если, таким образом, устранены все элементы смут, могшие в прежние времена волновать русский народ; то, с другой стороны, прошли и те обстоятельства, которые требовали постоянного напряжения всех сил народных в государственное ярмо в трудные времена государственного устроения, борьбы с внешними врагами, при редком еще населении и слабом развитии его сил. Таким образом, и внутренние, и внешние препятствия к усвоению русскому народу всех даров свободы потеряли свой смысл, значение и причину существования.

Искусственное созидание этих препятствий во имя предосторожности от совершенно мнимых опасностей было бы похоже на дорогостоящее устройство плотин и валов против наводнения в высоколежащей, никаким разливам не подлежащей местности; или толстых крепостных стен, бастионов и равелинов в городе, находящемся вне всякой опасности от неприятельских нападений.

Во сколько умеренность, непритязательность и благоразумие характеризуют и русский народ, и русское общество – это доказали с очевидной ясностью события последних лет. Насколько хватает исторической памяти человеческого рода, едва ли можно найти более быстрые, внезапные перемены в главных общественных условиях народной жизни, как те, которые совершились на наших глазах не более как в двенадцать лет, то есть считая от Манифеста об улучшении быта помещичьих крестьян. Феодальное рабство уничтожалось во Франции постепенно – веками, так что в знаменитую ночь 4 августа[9] оставалось Национальному собранию отменить лишь сравнительно незначительные его остатки; между тем как у нас крепостное право было еще в полной силе, когда его отменили разом, со всеми его последствиями. Переход от тягостной зависимости к полной свободе отношений был мгновенный: столетия сосредоточились в какие-нибудь три года, потребовавшиеся на совещания и выработку плана. При быстром приведении в действие новых положений, по объявлении народу Манифеста о воле и, следовательно, по прекращении его зависимости от помещиков, новые власти ми-

ровых посредников не были еще установлены, так что народ оставался в эти критические (по общим понятиям) минуты некоторое время без непосредственной ближайшей власти; и, однако же, порядок нигде существенным образом нарушен не был, и никакие подстрекательства не могли вывести его из исполненного доверия к правительству спокойствия ни тогда, ни после. Главный деятель по приведению в исполнение Высочайшей воли об освобождении крестьян, Яков Иванович Ростовцев, выразился о состоянии России в эпоху совещаний о способах освобождения, что Россия снята с пьедестала и находится на весу. Оно и всем так казалось, а в особенности со злорадством смотревшим на реформу и ждавшим от нее чуть не распадения ненавистного им колосса; а на деле оказалось, что и тут (как и всегда) она покоилась на своих широких, незыблемых основаниях.

Возьмем другой пример. Предварительная цензура была ослаблена, – а наконец, и совершенно отменена. И тут переход был столь же быстр и внезапен от того времени, когда малейший пропущенный в печати анекдот, заключавший намек на неловкость манер или неизящность костюма чиновников какого-либо ведомства, имел жестокие последствия для автора и для цензора, – к тому положению печати, когда вопросы религии, нравственности общественного и государственного устройства сделались обыкновенными темами для книг, брошюр и журналов. Разница была громадная, опять-таки больше той, которая замечается между французской печатью времен Людовиков XV и XVI и времен революции: ибо что же можно было прибавить к тому, что мы находим в сочинениях Дидро, Гельвеция, Гольбаха, Ламетри, Мирабо, свободно ходивших по рукам при Людовике XV и XVI, несмотря на чисто номинальное запрещение? Но русская литература и русское общество и тут оказали то же благоразумие, ту же умеренность, как и русский народ при коренном изменении его гражданского и общественного положения. Вредные учения, – начинавшие проповедоваться частию внутренней прессой, частию же имевшими еще большее влияние по при-

влекательности всего запрещенного заграничными изданиями, – были убиты, лишены значения и доверия в глазах публики не правительственными какими-либо мерами (которые в этом отношении не только бессильны, но даже обыкновенно противодействуют своим целям), а самой же печатью, и по преимуществу – московской.

Итак, что же мы видим? Злоупотребления и гнет, которые испытывала Россия перед реформами настоящего царствования, были не менее, во многих управлениях – даже более чувствительны, чем те, под которыми страдала Франция до революции; преобразование (не по форме, конечно, а по сущности) было не менее радикально, чем произведенное Национальным собранием; но между тем как прорванная плотина во Франции произвела всеобщий разлив вредных противообщественных стихий и страстей, – в России они не только не могли нарушить спокойствия, уважения и доверенности к власти, а еще усилили их и укрепили все основы русского общества и государства. Не вправе ли мы после этого утверждать, что русский народ и русское общество во всех слоях своих способно принять и выдержать всякую дозу свободы, что советовать ограничить ее можно только в видах отстранения самосозданных больным воображением опасностей или (что еще хуже) под влиянием каких-нибудь затаенных, недобросовестных побуждений и враждебных России стремлений?

Итак, заключаем мы, и по отношению к силе и могуществу государства, по способности жертвовать ему всеми личными благами, и по отношению к пользованию государственной и гражданской свободой русский народ одарен замечательным политическим смыслом. По чертам верности и преданности государственным интересам, беспритязательности, умеренности в пользовании свободой, выказанным славянскими народами в Австрии, и в особенности в Сербии, мы можем распространить это же свойство и на других славян. Если Польша в течение исторической жизни своей показала пример отсутствия всякого политического смысла, то и этот отрицательный пример только подкрепляет наше положение, показывая, что

искажение славянских начал, разъедавшее ее душу и тело, должно было принести и соответствующие тому плоды.

В отношении к общественно-экономическому строю Россия составляет единственное обширное государство, имеющее под ногами твердую почву, в котором нет обезземеленной массы, в котором, следовательно, общественное здание зиждется не на нужде большинства граждан, не на необеспеченности их положения, где нет противоречия между идеалами политическими и экономическими. Мы видели, что именно это противоречие грозит бедой европейской жизни, вступившей уже в своем историческом плавании в те опасные моря, где, с одной стороны, грозит Харибда цезаризма, или военного деспотизма, а с другой, – Сцилла социальной революции. Условия, дающие такое превосходство русскому общественному строю над европейским, доставляющие ему непоколебимую устойчивость, обращающие те именно общественные классы в самые консервативные, которые угрожают Европе переворотами, – заключаются в крестьянском наделе и в общинном землевладении.

Этимологическое сходство слов «община» и «общинный» в переводе на французский язык со словом «коммунизм» дало повод злонамеренной недобросовестности смешивать эти понятия, дабы набрасывать неблаговидную тень на нашу общину, а, кстати уже и вообще на всю деятельность людей, заботящихся о благосостоянии крестьян, особенно, если это противно интересам польским и немецким. При этом забывается, главным образом, что наша община, хороша ли она или дурна по своим экономическим и другим последствиям, есть историческое право, – точно такая же священная и неприкосновенная форма собственности, как и всякая другая, как сама частная собственность; что, следовательно, желание разрушить ее никак не может быть названо желанием консервативным! Европейский социализм есть, напротив того, учение революционное не столько по существу своему, сколько по той почве, где ему приходится действовать. Если бы он ограничивался приглашением мелких землевладельцев соединять

свою собственность в общинное владение, так же точно, как он приглашает фабричных работников соединить свои силы и капиталы посредством ассоциаций, то в этом не было бы еще ровно ничего преступного или зловредного, но дело в том, что в большинстве случаев земли нет в руках тех, которые ее обрабатывают, что, следовательно, европейский социализм, в какой бы то ни было форме, требует предварительного передела собственности – полного переустройства землевладения и всего общественно-экономического строя. Беда не в социалистических теориях, которые имеют претензию быть лекарствами для излечения коренной болезни европейского общества. Лекарства эти, может быть, действительно вредны и ядовиты, но какая была бы в них опасность, если бы они могли спокойно оставаться на полках аптек по неимению в них надобности для здорового организма? Лекарство вредно, но вредна и болезнь сама по себе. Планов для перестройки здания много, но нет материала, из которого его можно бы было возвести, не разрушив предварительно давно законченного и завершенного здания. У нас, напротив того, материал в изобилии и сам собой органически складывается под влиянием внутренних, зиждительных начал, не нуждаясь ни в каких придуманных планах постройки.

Эта-то здравость общественно-экономического строя России и составляет причину, по которой мы можем надеяться на высокое общественно-экономическое значение славянского культурно-исторического типа, имеющего еще в первый раз установить правильный, нормальный характер той отрасли человеческой деятельности, которая обнимает отношения людей между собой не только как нравственных и политических личностей, но и по воздействию их на внешнюю природу, как источник человеческих нужд и потребностей, – установить не отвлеченную только правомерность в отношениях граждан, но реальную и конкретную.

Нам остается рассмотреть, можно ли ожидать, чтобы славянский культурно-исторический тип занял видное место в культурном отношении, в тесном значении этого слова.

Нельзя не сознаться, что совершенное до сих пор русским и другими славянскими народами в науках и искусствах – весьма незначительно в сравнении с тем, что сделано двумя великими культурными типами: греческим и европейским.

Такому невыгодному для славян факту, очевидно, может быть дано двоякое объяснение: или это коренная неспособность их к культурной деятельности, или же сравнительная их молодость, недавность вступления на поприще исторической деятельности и неблагоприятные в этом отношении обстоятельства их развития. Если можно будет показать несомненное и притом значительное влияние этой последней причины, если к тому же ход развития вообще требует, чтобы культурная деятельность следовала за политической деятельностью славян, то очевидно, что только второе объяснение будет иметь все вероятия на своей стороне.

Что касается вообще до возраста славянской культуры, взятого сравнительно с возрастом европейской, то промежуток времени, протекший с выступления германских народов из периода их этнографической жизни в период исторический, превосходит четырьмя столетиями исторический период жизни славянских государств. Так же точно и германская письменность, то есть первое зерно культурного развития – перевод Библии на готский язык Ульфилой, пятью веками старше соответствующего ему славянского перевода свв. Кириллом и Мефодием. Прибавим к этому, что почти все новые европейские народы начали свою историческую жизнь уже на почве старой культуры, следовательно, на почве, более богатой питательными веществами, возбуждающей и ускоряющей рост, которая, однако, могла на них действовать только благодетельно, ибо гибельная подражательность исчезнувшим народам Римского мира была лишь в слабой степени возможна. Со всем тем Средняя история европейских народов, то есть преимущественно государственный период их жизни, продолжается около тысячи лет, так что только теперь прожили славяне государственной жизнью столько, сколько народы германо-романские к началу так называемой

Новой истории. Но одно летосчисление не имеет еще большого значения в вопросах этого рода. Мы заметили выше, что после этнографического периода жизни, в течение которого устанавливаются и определяются особенности психического строя народов, – то, что делает их особыми и самобытными историческими субъектами, – вступают они непременно в период деятельности государственной. Мы не видим в истории ни одного примера, чтобы собственно культурная деятельность начиналась ранее если не совершенного окончания, завершения государственной деятельности (ибо и в народном, как и в индивидуальном, организме все его отправления продолжают совершаться до смерти, но только не с одинаковой силой), то, по крайней мере, ранее завершения самой насущной задачи государственности – утверждения национальной независимости и определения национально-государственных границ. Если и бывали примеры, что культурная деятельность некоторых народов продолжалась и после потери независимого политического существования, – то ни разу еще не случалось, чтобы культура начиналась под иноплеменным игом. Этот не имеющий исключений факт выставили мы как один из законов развития культурно-исторических типов, и не трудно понять причину его всеобщности.

В самом деле, если народ покорен еще во время энергии его жизненных сил, не успевших еще достигнуть культурного развития, то, очевидно, что все нравственные силы самых высокоодаренных в нем личностей устремляются на то, чтобы возвратить утраченное высшее народное благо – независимость; весь героизм народный получает характер патриотически-воинственный. Если, напротив того, эта народная энергия усыпает, вследствие ли действительного истощения сил, или вследствие искусной усыпительной политики завоевателей, и чуждое влияние начинает мало-помалу распространяться между побежденными, – то по естественному ходу вещей влияние это охватывает преимущественно высшие сословия, те, которые имеют возможность получать образование; образование же всегда имеет в таком случае характер,

свойственный господствующей, победительной народности. В эту же среду попадают и те исключительные личности из низших сословий, где народность вообще долее сохраняется, которые возвышаются своими необыкновенными способностями и талантами. Таким образом, и в этом случае все результаты умственных трудов подчиненной народности идут в умственную сокровищницу победителей и обогащают ее. Но и этот случай редок. Влияние чуждого по духу воспитания и общественной обстановки, не соответствующих внутреннему духовному складу народа, не может прийти в гармоническое соотношение с его духовными потребностями. Это будет воспитание львенка – орлом.

Трудно научить француза и англичанина хорошо думать на немецкий лад, и, наоборот, еще труднее должно быть это для славянина, ибо разделяющее их этнографическое расстояние – значительнее. Само собой разумеется, что то, что я говорю здесь о причинах, препятствующих возникновению культуры между народами, не пользующимися политической независимостью, относится в некоторой мере и к духовной подчиненности народов одного культурного типа – другому. Только в этом случае бесплодность культуры не имеет такого рокового, необходимого характера, ибо в общественной обстановке сохраняется некоторая степень национальной самобытности, остается народный язык не только как средство для обиходного обмена мыслей, но и как орган литературы и вообще просвещения, и в некоторой части мыслящих людей теплится сознание необходимости в самобытном, народном характере культуры. Если, кроме того, являются люди, выходящие вон из ряда силой своего таланта, то плоды деятельности их идут самым естественным путем, без особых усилий, на пользу своего народа; наконец, прочие стороны исторической деятельности политически независимого народа действуют возбудительно и на самую культуру. Эти соображения показывают, что нам нет надобности много распространяться о причинах недостаточности самобытной, научной и художественной культуры у западных славян, не пользующихся высшим народным бла-

гом – независимостью, имевших несчастье потерять его еще до наступления культурного периода их жизни.

Однако во времена того полунезависимого существования, которым пользовалась Чехия до включения ее в состав наследственных земель Габсбургского дома, – полунезависимого, потому что она все-таки была включена в состав враждебной Славянству Германской империи, – обнаружились замечательные ростки культуры, которые принесли бы и плод свой, будучи воспитаны на религиозной и глубоко народной почве гуситства, если бы весь этот героический порыв к славянской самостоятельности не был потушен в славянской крови, – не был задавлен соединенной силой латинства и германства.

Мы можем поэтому сосредоточить все наше внимание на России как на единственном независимом славянском государстве. Строение государства, сказали мы, есть первая историческая деятельность народа, выведенного обстоятельствами из этнографического быта, и должно быть доведено до известной степени, прежде чем начинается, собственно, так называемая культурная деятельность. Очевидно, что затрата сил должна быть пропорциональна трудности задачи; а трудность государственной задачи, выпавшей на долю русского народа, была такова, что нечего удивляться, что она длилась тысячу лет, поглощая все силы народные, когда несравненно легчайшая задача западных народов потребовала для своего совершения такого же времени. Я упоминал уже об особенного рода препятствиях, которые представляла русская государственная область для установления и утверждения на ней государственного строя жизни, – препятствиях, заключавшихся главнейше в том, что ее обширные леса и степи давали возможность редкому населению, жившему еще этнографическими формами быта, уклоняться от тягостей, налагаемых государством, – ускользать от них без активного сопротивления.

Такая область, выпав на долю населения, уже прежде привыкшего к жизни в государстве, обладавшего уже значительной степенью образованности (как это случилось в Соединенных Штатах Америки), область, при совершенной

безопасности извне не требовавшая сильной сплоченности, сосредоточенности государственного тела, – направляла деятельность народную на борьбу с внешней природой, на приобретение богатства, цену которого население уже понимало; и это придало американской культуре характер преимущественно технический, промышленный. В России, напротив того, при опасности от внешних врагов, угрожавших со всех сторон, – вначале преимущественно с востока, а потом с запада, – недостаток государственной сосредоточенности, при которой только и было возможно напряжение всех сил народных для отпора врагов, неминуемо повлек бы за собою невозвратимую утрату народной независимости. Отсюда вытекла необходимость напряженной государственно-политической деятельности, при возможно сильном, то есть самодержавном и единодержавном правлении, которое своей неограниченной волей направляло бы и устремляло частную деятельность к общим целям подобно тому, как условия американской жизни вели к деятельности технической, при возможно слабом федеративно-демократическом правлении. В обоих случаях деятельность научная и художественная должны были отступить на задний план; для них не наступило еще время.

Эта напряженная государственная деятельность времен Московского государства еще усилилась Петровской реформой, существенный характер которой был чисто политически-государственный, а вовсе не культурный. В сущности, все было принесено в жертву государству, как оно и необходимо было по потребностям времени. Как по этой причине, так и по совершенно напрасной и вредной переделке русской жизни на иностранный лад должно признать, что реформа сама по себе была скорее препятствием, чем содействием истинному культурному развитию, условия для которого были бы благоприятнее, если бы самобытные русские культурные силы только возбуждались постепенным знакомством с европейской наукой и европейским искусством. Но это выкупается тем, что преобразование, утвердив политическое могущество России, спасло главное условие народной жизни – политическую само-

стоятельность государства. Со времени Петра, по весьма справедливо принятому у нас выражению, весь народ был запряжен в государственное тягло, – дворянство непосредственно, а прочие сословия посредственно: купечество – по фискальному характеру, приданному промышленности, крестьянство же – закрепощением его государству или дворянству.

Необходимость такого закрепощения всех сил народных исключительно политическим целям обусловливалась тем, что европейские государства, с которыми Россия должна была volens nolens вступить в тесные политические отношения в течение жизни своей, успели уже густо заселиться, прийти к стройному порядку и накопить много научных и промышленных результатов. Армии, не превосходившие в течение Средних веков немногих десятков тысяч, со времени Людовика XIV стали уже считаться сотнями тысяч воинов, весьма разнообразно вооруженных, с дорогостоящим оружием, приготовление которого требовало уже значительного технического развития страны. Еще в большей мере относится сказанное к флоту.

В этом отношении Америка, с которой нередко сравнивают Россию, составляет с ней, как уже было замечено, полнейшую противоположность. Не имея врагов вокруг себя, она могла экономизировать все то, чего стоило другим охранение политической самобытности. Если взять в соображение лишь то, что должна была истратить Россия на свое вооружение со времени европейского замирения Венским конгрессом, то одно это составит уже миллиарды, которые Россия, подобно Америке, могла бы употребить на свою сеть железных дорог, на торговый флот и всякого рода технические усовершенствования промышленности и земледелия. Последнее междоусобие потребовало и от американского народа сильного напряжения для сохранения своего единства, а следовательно, могущества и действительной независимости. Это напряжение стоило в финансовом отношении несколько миллиардов и около полумиллиона человеческих жизней. Если бы в Америке было постоянное войско на службе центрального правительства, то, конечно, возмущение было бы подавлено в самом начале не-

сравненно легче и быстрее, но в общей сложности правильная военная организация все-таки обошлась бы Америке дороже, чем выказанное ею единовременное усилие, которое притом пришлось делать уже тогда, когда долговременная экономия сил страны, не тратившихся на потребности государственной обороны, уже скопила огромные богатства, не могшие бы без этого в таком количестве образоваться. Если бы, однако же, Америка находилась в положении Европы, то делать такие чрезвычайные усилия приходилось бы слишком часто, и американская система обошлась бы дороже европейской и даже просто-напросто была бы невозможна.

Европейские государства занимают в этом отношении среднее положение между Америкой и Россией. Каждое из них, хотя и было сначала окружено другими государствами, от которых должно было обороняться, – но эти государства, вместе возникнув, параллельно и совместно росли и развивались, и потому ни одно из них не могло в значительной степени превзойти другие плотностью населения, скоплением промышленных средств, технической и военной образованностью, а следовательно, ни одно не было принуждено напрягать в одну сторону все развитие сил своих, дабы не отстать от своих соперников. От деятельности государственно-политической, не имевшей надобности достигать крайнего предела своей напряженности, оставалось посему довольно свободных сил, могших получать применение на других поприщах деятельности.

Для уяснения того, каким образом напряженная государственная деятельность русского народа могла и должна была препятствовать его культурному развитию, проследим, какими путями общий характер народной деятельности, обусловленный силой обстоятельств, влияет на частную деятельность. Самое грубое и, может быть, наименее действительное в этом отношении средство составляет непосредственное принуждение правительственной властью. Не говоря о том времени, когда каждый должен был служить всю свою жизнь, вспомним, давно ли прошло время, когда дурно смотрели на каждого

неслужащего из того сословия, которое по своим средствам и положению, одно только и могло заниматься светским, не материальным трудом?

Обратим внимание далее на более действительное, положительное средство тех привилегий и выгод, которые представляла всякому молодому человеку государственная служба. Людей со столь сильным природным влечением к определенному призванию, что оно могло бы пересилить это привлекательное влияние выгодности, всегда и везде бывает так мало, что в общем ходе дел человеческих на них возлагать все надежды трудно.

Но и этого мало: сообразно с государственными целями, и характер образования в учрежденных правительством воспитательных заведениях состоял в приготовлении молодых людей и даже детей к известной отрасли государственной службы. Очевидно, что при таком порядке вещей должен был образоваться у родителей известный идеал для будущей карьеры их детей, к которому они и приготовляли их с малолетства и, что еще гораздо важнее, сообщали им, так сказать с пеленок, то же воззрение на жизнь и ее требования.

Такое влияние общественной среды не может не действовать, думаем мы, на самый характер умственных и нравственных влечений, на свойство способностей еще совершенно особенными, чисто физиологическими путями. Совершенно непонятным, таинственным для нас способом передаются от родителей детям их физические свойства: физиологические черты, некоторые болезненные расположения, умственные и душевные качества. Весьма было бы странно, если бы не передавались таким же образом и постоянные душевные настроения. Только приняв эту последнюю передачу, можно объяснить себе так называемые золотые века литературы, искусств и наук. Во второй половине XV и XVI веков живопись составляет главный интерес итальянской жизни: она доставляет почет, славу, богатство; все мало-мальски образованные классы народа восхищаются произведениями этого искусства, думают, говорят о них; общественные сим-

патии направляются в эту сторону. Не вероятно ли, что те особые сочетания элементов физической организации, которые производят в своем результате то, что мы называем художнической натурой, получают вследствие этого гораздо более шансов осуществиться? С другой стороны, тот идеал деятельности, который носился с детских лет перед итальянцами, содействовал развитию таких натур.

Ко всем этим причинам, по которым деятельность частных лиц сообразуется с настроением общественной среды, в которой она действует, – вследствие чего деятельность русских людей должна была получить государственно-политический характер, мы должны прибавить, – для объяснения слабости результатов в отношении чисто культурном, – тот факт, что народное образование не успело еще проникнуть в народные массы. Образование, кроме общего полезного действия на развитие уровня народных способностей, необходимых, так сказать, для жизненного обихода, дает возможность натурам особенно даровитым, рассеянным, без сомнения, по всем слоям общества, – сознать свои духовные силы и выйти на простор из узкой доли, отмежеванной им судьбой. Наконец, научная и художественная деятельность может быть только плодом досуга, избытка, излишка сил, остающихся свободными от насущного, исторического труда. Много ли их могло оставаться у русских и других славян?

Все эти соображения дают, кажется мне, вполне удовлетворительный ответ, почему не могли до сих пор Россия и прочие славянские страны занять видные места в чисто культурной деятельности, хотя бы те способности, которыми они одарены природой, представляли им к этому полную возможность. Но задатки этих способностей, тех духовных сил, которые необходимы для блистательной деятельности на поприще наук и искусств, бесспорно представлены уже и теперь славянскими народами при всех неблагоприятствовавших тому условиях их жизни; и мы вправе, следовательно, ожидать, что с переменой этих условий разовьются и они – в роскошные цветы и плоды.

В самом деле, не представили ли уже разные славянские народы громкие имена в разных отраслях науки: Коперника, Рокитанского, Пуркинье, Шафарика, Остроградского, Пирогова? Но примеры всех цивилизаций показывают, что не только культурная деятельность наступала после более или менее успешного решения политическо-государственной задачи, но что и в ней широкое развитие науки всегда было последним плодом, – что искусство предшествовало науке. Сообразно с этим и в славянской культуре задатки самобытного художественного развития гораздо обильнее задатков самобытного научного развития.

Привыкнув презрительно смотреть на все русское, мы не замечаем, что в некоторых отраслях изящной словесности мы представили образцы, которые могут равняться с высшими произведениями европейских литератур. Мы смело можем утверждать это о русской комедии, басне и лирике. Углубляться в сравнительное критическое исследование русской литературы и русского искусства мы не хотим и не можем по выше приведенным уже причинам; но чтобы не оставить сказанного нами в виде голословного, совершенно бездоказательного утверждения, представлю, по крайней мере, несколько примеров.

Чтобы найти произведение, которое могло бы стать наряду с «Мертвыми душами», дóлжно подняться до «Дон-Кихота». Внешней целью Гоголя было представить в комическом виде злоупотребления и плутовство чиновничества губернского мира и грубость помещичьего быта, так же точно, как внешней целью Сервантеса – осмеять странствующее рыцарство. Но у обоих художников глубина их поэтической концепции захватила несравненно дальше их прямой, непосредственной цели, по всем вероятиям, совершенно бессознательно для них самих. Дон-Кихот вышел живым олицетворением до героизма возвышающихся, благороднейших душевных качеств, которым недостает поприща для плодотворной, нормальной деятельности по причине бедности содержания испанской жизни. Еще век тому назад испанский героизм мог проявляться в

блистательной деятельности конквистадоров; во времена же Сервантеса испанскому герою не было практического выхода, ему оставалась только область фантазии. И наш Чичиков есть своего рода герой, но – сообразно привитому нам характером века воззрению, – герой практической жизни, умный, твердый, изворотливый, неунывающий, Улисс[10] своего рода, только, с одной стороны, лишенный всякой идеальности стремлений, – ибо откуда им взяться в жизни, отрешенной от своих начал и, однако же, не усвоившей чужих (так как это последнее невозможно), с другой же – не могущий направить своей деятельности на что-либо действительно практически полезное, также по бедности содержания русской жизни, по ее узкости, стесненности, недостатку простора. Людям с практическим складом ума приходилось обращаться к целям чисто личным, грубо-эгоистическим, к хитросплетениям плутовства, и притом плутовства, имевшего связь и соотношение с учреждениями государственными, которые проникали собой всю русскую жизнь. Если характер героя русской трагикомической поэмы не привлекает наши человеческие чувства, как герой испанский, то зато мы лучше понимаем причину извращения его природы общественной средой, тогда как сумасбродство Дон-Кихота представляется лишь случайным результатом его болезненной фантазии, разгоряченной чтением нелепых романов. Сообразно этому вся обстановка «Мертвых душ» несравненно выше обстановки «Дон-Кихота», в котором всего только и есть что два характера – самого ламанческого героя и его наперсника Санхо.

«Старосветские помещики» и «Шинель» Гоголя представляют высшие образцы истинного юмора, которым невольно внушается нам искреннее, глубокое сочувствие к самым мелким, ничтожным, комическим личностям, подмеченными в них чертами истинной человечности.

«Борис Годунов» Пушкина, хотя и не драма в строгом смысле этого слова, а драматизированная по форме эпопея, есть совершеннейшее в своем роде произведение после драматических хроник Шекспира. По красоте формы, совершенству

исполнения, художественности воспроизведения действительности с ним не могут равняться ни «Валленштейн», ни «Вильгельм Телль» Шиллера, принадлежащие к этому же разряду поэтических произведений.

Русская литература представляет пример и другого высокого эпического произведения, – это «Война и мир» графа Л. Толстого. В нем исторический фон картины не служит только сценой для развития интриги романа, а напротив того, как в настоящей эпопее – события и выразившиеся в них силы и особенности народного духа составляют главное содержание произведения, содержание, в котором сосредоточен весь его интерес, откуда разливается весь свет, освещающий картину, и с этими событиями, как и в действительной жизни, переплетаются судьбы частных лиц. «Война и мир» есть эпическое воспроизведение борьбы России с Наполеоном. Научные гипотезы автора, рефлективная сторона его произведения, конечно, несколько портят творческую, художественную его сторону, но не столько ошибочностью воззрений или, точнее, преувеличенностью их, сколько своей неуместностью. Недостаток этот далеко не имеет, однако же, того значения, которое приписали ему большинство наших критиков, потому что все эти места легко отпадают как нечто внешнее, постороннее художественному настроению величавой поэмы. Произведение графа Л. Толстого и колоссальный успех его принадлежат к знаменательнейшим признакам времени, ибо они доказывают, что мы способны еще к эпическому пониманию нашего прошедшего, что оно способно восторгать нас, что мы, в сущности, лучше, чем мы кажемся. Пусть укажут нам на подобное произведение в любой европейской литературе!

Образцов истинной драмы не представляет, правда, русская словесность, но много ли их во всех европейских литературах?

Собственно говоря, после Шекспира не было ни одного истинного драматурга, по крайней мере, у тех народов, литература которых общеизвестна; ибо и Шиллер, занимающий, по мнению лучших критиков, первое место после Шекспира, не

произвел ничего, могущего удовлетворить тем требованиям, которые мы вправе предъявить драме. Так, даже лучшие из его драм, «Вильгельм Телль» и «Валленштейн», не заключают в себе настоящего драматического элемента.

В области других искусств мы можем указать, по крайней мере, на одну картину, которая стоит наряду с высшими произведениями творчества и если не пользуется у нас достойной ее славой, то единственно по нашему неумению ценить своего, по привычке все мерить на чужой аршин, по отсутствию в картине эффектности, господствующего в Европе жанра, по глубине ее содержания, потому что главное достоинство ее заключается в том, что мы можем назвать душой произведения. Только истинно самобытные русские люди, как Гоголь и Хомяков, поняли и отдали справедливость «Явлению Христа народу» Ива́нова. Если так называемая композиция, то есть выражение глубокой идеи посредством образов, составляет одно из главнейших и даже, может быть, главнейшее достоинство художественного произведения, то картина эта есть, в полном смысле этого слова, произведение первоклассное.

Задача художника состояла в изображении того разнообразного впечатления, которое должна была произвести на мир идея христианства при первом своем появлении; – впечатление, которое, как в зерне, заключало бы то влияние, которое она произвела при дальнейшем своем развитии удовлетворением высших духовных потребностей и возбуждением против себя страстей и интересов. Одним словом, по замыслу художника картина его должна была служить фронтисписом, – увертюрой великого начинавшегося действия. Такая задача должна была воплотить в телесных образах высшие проявления духа без помощи аллегории, без помощи сверхъестественного; и потому художник не имел в своем распоряжении тех средств, которые доставляют атрибуты, усвояемые нашей фантазией надземному миру. На почве и средствами самой строгой действительности должна была быть представлена самая идеальная духовность. Такую трудную задачу едва ли когда-нибудь задавал себе художник. Неудивительно, что на решение ее

употреблено столько лет; – зато и вышло оно изумительно глубокое и вместе поразительно ясное, так что по картине читаешь мысль художника, как по книге.

Во-первых, надо было выразить, что это есть первое явление Христа на поприще исторической деятельности. Никому еще не известный, Он сам по себе не мог произвести впечатления на неподготовленную массу одним своим появлением; Он еще погружен в Самого Себя, ибо не перешагнул границы внутренней деятельности, которой подготовлял Себя к Своему высокому служению. Поэтому и сделал художник из фигуры Спасителя только идеальный центр картины, находящийся вне ее движения. Дабы узнать Его и указать народу, необходим истолкователь, одаренный духом пророчества, предвидения, и в Иоанне Крестителе представлен нам истинный тип сурового и пламенного пророка-пустынника, в духе Илии. По верности и силе выражения нельзя ничего вообразить реальнее и типичнее этой фигуры, составляющей действительный, всем двигающий, повелевающий центр композиции. Если Рафаэлем создан тип Святой Девы, то за Ива́новым останется слава создания типа Предтечи. Духом он узнал Спасителя мира в образе медленно и спокойно приближавшегося по горе человека, и вдохновенным взором, восторженным движением рук и всего тела передает провиденное и постигнутое духом – народу, который не сам по себе, а через него обращается к Христу, к чему-то великому, имеющему исполнить судьбы его; – обращается с теми разнообразными побуждениями, ожиданиями и опасениями, которые волновали его. Эти различные восприятия Великой Идеи, осуществлением которой был Христос, сгруппированы в трех отделах, на которые распадается вся масса лиц картины. За Иоанном, влево от зрителя, соединены ученики его и будущие ученики Христа, которые примут учение Его в духе Истины, в его настоящем глубоком смысле. Справа спускается с горы толпа равнодушных и враждебных, привлеченных из Иерусалима распространившейся молвой о подвигах пустынножителя. Среди этой толпы едут римские всадники, люди из другого

мира, до которых все происходившее, по-видимому, вовсе не касалось или касалось как предмет административного, полицейского наблюдения, – до которых и влияние этих событий должно было после достигнуть. В средине – группа только что вышедшего из воды еврея с молодым сыном, не успевшим еще одеться, – олицетворяет мысль, ставшую в среднее отношение к Спасителю, между его истинными последователями и его врагами. Это представители тех, которые будут кричать: «Осанна»[11] – и через несколько дней равнодушно смотреть на крестную смерть; тех, которые ожидали от Мессии политического могущества и всех земных благ. Это грубое, корыстное восприятие Христова учения выражено с необыкновенной ясностью на лице еврея, радующегося грубой, земной радостью. Еще равнодушнее мальчик, сын его; в нем заметно простое, безучастное любопытство, и между тем как занято его внимание, тело как бы содрогается от ощущения свежести только что окончившегося купания. Подобной же животной радостью улыбается и раб, который в глубоком своем унижении еще не в состоянии понять и оценить духовного значения христианства, а только инстинктивно чувствует предстоящее улучшение и своей жалкой участи.

Это распределение фигур на три группы соответствует, следовательно, трем главным видам, под которыми было впоследствии воспринято учение Христово. Однако же, оно не составляет чего-либо искусственно придуманного, так сказать, фортеля, для уяснения зрителям мысли художника, а вытекает самым естественным образом из содержания сюжета. В самом деле, алкавшие истины должны были прежде всего явиться на призыв к Покаянию, исходившему из пустыни; и вот они уже успели принять крещение Иоанново, остались слушать учение его, сделались спутниками Пророка. Ближе всего к нему другой Иоанн, который, следуя указанию взора и движения рук Предтечи, устремляется духом к появившемуся на горизонте духовному Солнцу, и тело его невольно следует полету духа. Те, которых влекли к Иоанну не жажда духовная, а земные обетования, должны были явиться на зов после передовых деяте-

лей обновления. Поэтому они только что окрестились, только что вышли из воды в момент, представленный картиной. После всех должны были явиться враждебные силы Иерусалима, чтобы взглянуть, чем это волнуется народ, откуда смятение, и сообразно этому они и представлены только что идущими к Иордану. На лицах написано недоверие, гордое презрение и враждебное чувство к могущему нарушить их влияние и силу.

Такова концепция картины, сосредоточивающей в себе, как в фокусе, весь этот ряд впечатлений и проистекших из них впоследствии событий. О частностях картины – об удивительном ландшафте, о жарком, степном, пыльном воздухе, о свежести, разлитой над Иорданом, о красоте, правильности, жизненности, рельефности фигур – я не стану говорить, как о предметах, не составляющих художественной специальности нашего великого мастера. Я так распространился о картине Ива́нова потому, что, по моему мнению, в ней яснее, чем где-либо, выразились особенности русского эстетического взгляда.

В скульптуре имеем мы также одно выходящее из ряда художественное произведение – это группа «Преображения» Пименова для Исаакиевского собора, где ее портит, однако же, позолота. Я обращу внимание лишь на удивительную для скульптурных фигур позу Илии и Моисея, представленных летящими. Так как, конечно, они ведь должны же на чем-нибудь держаться, то точку опоры их составляют складки ниспадающей одежды. И здесь придется сделать то же замечание, что и о распределении фигур на три группы в картине Ива́нова. Летящие фигуры поддерживаются отвисшей одеждою; но если бы этого не требовала техническая необходимость, если бы фигуры могли сами собой держаться на воздухе, то одежда должна бы была все-таки спускаться точно такими же складками по законам тяжести и свойствам материи. Одежда не составляет подставки, а исполняет эту роль как бы случайно, между прочим. Рифма есть, но стих не для рифмы написан; если бы и не требовалось созвучного окончания, то же слово должно бы быть употреблено как самое меткое, выразительнее, прямее и лучше всего передающее смысл. Я обратил внимание на эту

побежденную техническую трудность, как на свидетельство того строгого исполнения требований естественности и реальности, которое составляет одну из отличительных черт русского искусства, так же, как русской поэзии.

Знатоки музыки видят ту же ясность мысли, художественность и законченность, соединенные с оригинальностью и богатством мелодии, – в музыкальных произведениях Глинки.

Прочие славянские народы, давно уже не пользующиеся политической самостоятельностью, не представляют, правда, чего-либо выходящего из ряда вон в области искусства и литературы. Одни поляки имеют еще первоклассного поэта в Мицкевиче, в произведениях которого отражается как оригинальность и высокий лиризм личности поэта, так и ничтожность и, так сказать, карикатурность жизни и быта польского общества, как они представлены в «Пане Тадеуше», в котором поэт вовсе не имел намерения представить сатиры на своих соотечественников, а, напротив того, относился с полным сочувствием к изображаемому им быту. Но зато те из славян, которые находятся или, по крайней мере, недавно еще находились на непосредственной ступени развития, как воинственные сербы, – представляют замечательные образцы чисто народного творчества, не соединенные еще в целое части народной эпопеи.

Итак, мы видим, что славянский культурный тип представил уже достаточно задатков художественного, а в меньшей степени и научного, развития, по которым мы можем, во всяком случае, заключить о его способности достигнуть и в этом отношении значительной степени развития, и что только относительная молодость племени, устремление всех сил его на другие, более насущные стороны деятельности, которые их поглощали, – не дали славянам возможности приобрести до сих пор культурного значения в тесном смысле этого слова. Это не должно и не может приводить нас в смущение, ибо указывает на правильность хода развития.

Пока не расчищено место, не углублен в почву крепкий фундамент, нельзя и не должно думать о возведении прочного

здания, – можно лишь строить временные жилища, от которых мы вправе ожидать и требовать только того, чтобы они в некоторых частях обнаружили дарования строителя. Фундамент этот – политическая независимость племени, и, следовательно, к достижению его должны быть направлены все славянские силы. Это необходимо в двояком отношении: во-первых, потому, что без сознания племенной цельности и единства, в противоположность прочим племенам, и не только без сознания, но и без практического его осуществления (которое одно только и в состоянии низвести это сознание в общее понимание народных масс) невозможна самобытность культуры, то есть, собственно говоря, невозможна сама культура, которая и имени этого не заслуживает, если не самобытна. Во-вторых, потому, что без плодотворного взаимодействия сродных между собой, освобожденных от чуждой власти и влияния народных единиц, на которые разделяется племя, невозможно разнообразие и богатство культуры. Некоторый образец этого оплодотворяющего влияния видим мы уже на том взаимодействии, которое имели друг на друга великорусский и малорусский духовные склады.

В отношении к славянам это необходимое предварительное достижение политической независимости имеет, в культурном, как и во всех прочих, отношении, еще ту особенную важность, что сама борьба с Германо-Романским миром, без которой невозможна славянская независимость, должна послужить лекарством для искоренения той язвы подражательности и рабского отношения к Западу, которая въелась в славянское тело и душу путем некоторых неблагоприятных условий их исторического развития. Только теперь наступает исторический момент для начала этого культурного развития; ибо только с освобождением крестьян положено начало периоду культурной жизни России, закончившей этим государственный период своей жизни, существенное содержание которого (заметили мы выше) заключается именно в ведении народа от племенной воли к гражданской свободе путем политической дисциплины. Но прежде как условие sine qua non успеха, ей,

сильной и могучей, предстоит трудное дело – освободить своих соплеменников и в этой борьбе закалить себя и их в духе самобытности и всеславянского самосознания.

Итак, на основании анализа существеннейших общих результатов деятельности предшествовавших культурно-исторических типов и сравнения их частию с высказавшимися уже особенностями Славянского мира, частию же с теми задатками, которые лежат в славянской природе, можем мы питать основательную надежду, что славянский культурно-исторический тип в первый раз представит синтез всех сторон культурной деятельности в обширном значении этого слова, – сторон, которые разрабатывались его предшественниками на историческом поприще в отдельности или в весьма не полном соединении. Мы можем надеяться, что славянский тип будет первым полным *четырехосновным культурно-историческим типом.* Особенно оригинальной чертой его должно быть в первый раз имеющее осуществиться удовлетворительное решение общественно-экономической задачи. Какое взаимное отношение займут в нем три прочие стороны культурной деятельности, которая из них сообщит ему преобладающую окраску, не будут ли они преемственно занимать эту главную роль? Какой, наконец, качественный характер примет собственно культурная деятельность, до сих пор наименее других сторон деятельности успевшая определиться, – этого, конечно, предвидеть невозможно.

Осуществится ли эта надежда, зависит вполне от воспитательного влияния готовящихся событий, разумеемых под общим именем Восточного вопроса, который составляет узел и жизненный центр будущих судеб Славянства!

Главный поток всемирной истории начинается двумя источниками на берегах древнего Нила. Один – небесный, божественный, через Иерусалим и Царьград, достигает в невозмущенной чистоте до Киева и Москвы; другой – земной, человеческий, в свою очередь, дробящийся на два главные русла: культуры и политики, течет мимо Афин, Александрии, Рима – в страны Европы, временно иссякая, но опять обогаща-

ясь новыми, все более и более обильными, водами. На Русской земле пробивается новый ключ: справедливо обеспечивающего народные массы общественно-экономического устройства. На обширных равнинах Славянства должны слиться все эти потоки в один обширный водоем.

И верю я: тот час настанет,
Река свой край перебежит,
На небо голубое взглянет
И небо все в себе вместит.
Смотрите, как широко воды
Зеленым долом разлились,
Как к брегу чуждые народы
С духовной жаждой собрались![12]

II

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

Несколько слов по поводу конституционных вожделений нашей «либеральной прессы»

С некоторого времени все чаще и чаще стали появляться в наших либеральных журналах более или менее ясные и определенные намеки на то, что единственно действительным лекарством для уврачевания наших общественных зол и бед было бы введение у нас конституции по образцу просвещенных государств Запада. Намеки эти столь часто повторяются, что в части нашей печати, держащейся других воззрений, выражаемые этими намеками вожделения должны были быть разоблачаемы и опровергаемы. И я желал бы сказать по этому предмету несколько слов. Прежде всего, дабы избежать действительных недоразумений или умышленных уверток, надо точно определить, что разуметь под словом *конституция*. В обширном смысле оно обозначает государственное устройство вообще, и в таком смысле конституцией обладает и Россия. Но, конечно, не об этом идет речь. Всякому известно, что слово *конституция* имеет еще и другой, несравненно более тесный, но, по этому самому, и более точный, определенный смысл.

Под конституцией разумеется такое политическое учреждение, которое доставляет гарантию, обеспечение известного политического и гражданского порядка не только от нарушения его подчиненными агентами власти, но и самим главой государства. Конституция есть, следовательно, ограничение верховной власти монарха или, точнее, раздел верховной власти между монархом и одним или несколькими собраниями, составленными на основании избрания или родового наследственного права. В этом ограничении, в этом разделении власти вся сущность дела: есть оно – есть и конституция; нет его – нет и конституции, и никакая гласность, никакие совещательные

учреждения, при посредстве которых желания, потребности, нужды народа могли бы доходить до сведения верховной власти, конституции в этом смысле еще не составляют.

Конечно, я никому не скажу чего-либо нового, утверждая, что все осуществленные на деле и даже все мыслимые формы правления несовершенны по самому существу своему, и что ежели каждая из этих форм, т.е. различные виды монархий, аристократий и демократий, обладают свойственными им достоинствами и преимуществами, то каждая из них имеет и свойственные ей недостатки; словом, что идеальной формы правления не существует, что поиски за таковой были бы поисками за философским камнем, вечным движением, квадратурой круга. Но этого мало. Если бы такая форма действительно существовала в теории, то на практике от нее было бы очень мало пользы, ибо вопрос заключается не в абстрактном существовании такого политического идеала, а в применимости его к данному случаю, то есть к данному народу и государству в данное время, и, следовательно, вопрос о лучшей форме правления для известного государства решается не политической метафизикой, а историей. Я позволил себе написать эти немногие строки общих мест, *труизмов*, лишь для того, чтобы показать, что всякие рассуждения о пользе, бесполезности или вреде конституции для России, по меньшей мере, рассуждения праздные, – что им должен предшествовать другой, гораздо более радикальный вопрос: возможна ли конституция в России? И отвечаю на него: нет, конституция в России совершенно и абсолютно невозможна, но есть власти и могущества на земле, которые могли бы ей даровать ее.

Во всех современных политических учениях более или менее ясно и открыто провозглашается, как политический идеал, принцип державности или верховенства народа. Для осуществления его на практике требуют всеобщей подачи голосов, которая действительно введена уже во многих государствах, и должна в непродолжительном времени внестись и во многих других, например в Италии. Но и это, по справедливому в сущности мнению крайних демократов, не дает

не малейшего ручательства в том, что страна действительно управляется сообразно с желаниями большинства. Как очевидный пример противоречия образа действия правительства, избранного всеобщей подачей голосов, с желаниями этого большинства, может служить изгнание духовных орденов из Франции и атеизация французских школ, когда все деревенское население, да и значительная часть городского остаются приверженными к католицизму. Для осуществления на деле этого верховенства народа придумано новейшими радикалами учение о крайнем федерализме, не таком, какой, например, существует в Соединенных Штатах или в Швейцарии, где штат или кантон заключает в себе от сотни тысяч до нескольких миллионов граждан, а о федерации самых элементарных общественных единиц, т.е. общин. Немного нужно размышления, чтоб убедиться, что и при таком общественном устройстве верховенство народа останется такой же фикцией, как и при всеобщей подаче голосов в больших государствах. Конечно, свои мелкие общественные дела народ будет в состоянии решать вполне самостоятельно, ежели угодно державно – ведь это все дела такого рода, которые и теперь, при любом государственном устройстве, сам народ может решать и решает при правильно устроенном самоуправлении. Но дела более общего характера, обнимающие собой интересы целых групп общин и, наконец, всего федеративного государства, через это не упразднятся, и, по отношению к ним, масса народа будет столь же не компетентна, как и теперь в любом централизованном государстве. Чтобы выразить свою волю, надо прежде всего иметь ее, а дабы иметь, надо обладать сколько-нибудь отчетливым мнением о предмете, относительно которого должна выразиться эта воля. И напрасно думают, что этого можно достигнуть просвещением народа. Просвещение это во всяком случае может быть только самым элементарным, а предметы политические, точно также как и научные, требуют образования обширного, требуют сосредоточения мысли, а это в свою очередь требует досуга, которого работающий на фабриках, пашущий земли и вообще материально трудящий-

ся народ иметь не может. Словом, державность и верховенство народа, понимаемые в смысле управления внешними и внутренними делами государства на основании воли народа, есть фикция, абсурд, нелепость, по той уже вышеупомянутой весьма простой причине, что для управления на основании воли народа по меньшей мере необходимо, чтобы такая воля была, а ее-то и нет и быть не может.

Но верховность народа имеет и другой смысл. В этом смысле она не составляет ни права, ни какого-либо политического идеала, которого можно и нужно бы было стремиться достигнуть, а есть простой факт, всеобщий, неизбежный, неизменный, состоящий в том, что основное строение всякого государства есть выражение воли народа его образующего, есть осуществление его коренных политических воззрений, которых не лишен ни один народ, ибо иначе он и не составлял бы государства, да и вообще не жил бы ни в какой форме общежития, и ежели такое коренное народное политическое воззрение затемняется, утрачивается, то и государство, им образуемое, разлагается и исчезает: это не теорема, а аксиома, не требующая доказательств, истина сама по себе понятная.

Всякая идея, дабы осуществиться, перейти в действительность, в факт, должна иметь в подкладке своей силу для своей реализации, а где же искать эту силу для идеи политической как не в массе, не в совокупности народа, который по ней устраивается в государство и поддерживает его против всех внутренних и внешних врагов в течение своей исторической жизни? Все исключения, которые можно представить против всеобщности этого закона, только кажущиеся. Например, скажут, неужели болгары, греки и вообще вся христианская райя составляющие большинство населения европейской Турции, своей волей поддерживала турецкое государство? Конечно, нет, но эти народы никогда турецкого государства собой и не составляли, они были вне его, чужды ему во всех отношениях и удерживались в нем внешней силой, точно так, как, например неприятельская армия удерживает в своем повиновении занятую ею страну. Тут внешнее насилие постоянно действовало в

течении нескольких столетий, а не только в тот исторический момент, когда произошло завоевание. Само собой разумеется, что мы говорим не о завоевании, а о правомерном, самого себя поддерживающем государственном строе. Но бывают случаи, которые сильнее говорят против нашего положения, чем пример турецкой райи. Несомненно, существуют примеры, что в ином государстве распространено всеобщее недовольство не какими-либо частными отдельными правительственными мерами, а самым основным политическим строем его и, несмотря на это, он сохраняется и продолжает существовать многие и многие годы. Но не должно забывать – что однако же так часто забывается – что все так называемые политические, экономические и вообще общественные силы не самобытны, не непосредственны, как, например, силы физические, а могут действовать лишь через посредство индивидуального сознания, – а для того, чтобы достигнуть его, чтобы оно уяснилось и определилось, требуется очень и очень много времени; а пока это не произойдет, старый порядок продолжает держаться, по инерции, по привычке, и в этом случае все распадается при первом толчке, пришедшем извне или изнутри.

Можно представить и такое фактическое возражение. Если государственный строй есть выражение народной воли, то каким образом объяснить непрерывные перемены этого строя во Франции в последнее столетие, в течение которого различного вида и характера республики, империи и королевские монархии сменяли друг друга? Неужели народная воля могла столь быстро меняться, воля, которая имела даже возможность ясно и открыто себя заявлять и, по-видимому, заявляла себя? Иные думают даже, что некоторые из этих перемен, например, установление второй империи, было чистым подлогом, подтасовкой голосов. Мнение очевидно несправедливое; если и был в самом деле подлог, он мог простираться на сотню, другую тысяч голосов, с целью представить в большем блеске единодушие французской нации, а не на все миллионы действительно поданные в пользу Наполеона. Дело очевидно в том, что как отдельный человек, так и целый народ может

потерять твердость, ясность и определенность своих убеждений, и результатом этого будет в обоих случаях шаткость всех поступков. С народом, как существом коллективным, может произойти еще и иное: убеждения народа могут потерять свою цельность, свое единство, разделиться так, что ни одно из них не будет иметь бесспорно преобладающей силы. Тогда, очевидно, то или другое из них будет брать перевес, смотря по случайным обстоятельствам. Это без сомнения и имело и имеет до сих пор место во Франции. Конечно вандейцы, жители Бретани, имели в эпоху первой Французской революции весьма определенное и ясное политическое убеждение и выразили его в своем героическом восстании, но убеждение это было совершенно не то, которым было одушевлено население Парижа. После всех этих треволнений в духе французского народа осталось твердым и незыблемым только одно политическое убеждение самого общего характера, то, что Франция должна быть независимой и сильной державой, – и это убеждение свое проявил он и в 1870 и 1871 годах, проявляется и теперь, не жалея никаких жертв на устройство своих вооруженных сил. Но затем какая государственная форма должна быть усвоена этой непременно сильной и независимой Францией, это для большинства французов стало неясным и неопределенным, а для тех, для кого оно и определенно, и ясно, для тех, кто имеет политические убеждения (верные или неверные, это все равно), они чрезвычайно различны.

Диаметральную противоположность с французским представляет в этом отношении русский народ. Его политические воззрения, его политическая воля до того ясны, определенны и цельны, что даже их нельзя назвать воззрениями, убеждениями и даже волей, потому что понятие воли предполагает выбор, оценку pro и contra[1]. Политические воззрения и убеждения, государственная воля русского народа составляют непреложный политический инстинкт, настоящую политическую веру, в которой сам он не сомневается и относительно которой никто, сколько-нибудь знакомый с нашим народным духом, усомниться не может. Я позволю себе привести следу-

ющее место из моей книги «Россия и Европа», ясно выражающее мою мысль:

«Нравственная особенность русского государственного строя заключается в том, что русский народ есть цельный организм, естественным образом, не посредством более или менее искусственного государственного механизма только, а по глубоко вкорененному народному пониманию, сосредоточенный в его государе, который вследствие этого есть живое осуществление политического самосознания и воли народной, так что мысль, чувство и воля его сообщаются всему народу процессом, подобным тому, как это совершается в личном самосознательном существе. Вот смысл и значение русского самодержавия, которое нельзя поэтому считать формой правления в обыкновенном, придаваемом слову "форма", смысле, по которому она есть нечто внешнее, могущее быть изменено без изменения сущности предмета, могущее быть обделано как шар, куб или пирамида, смотря по внешней надобности, соответственно внешней цели. Оно, конечно, также форма, но только форма органическая, то есть такая, которая не разделима от сущности того, что ее на себе носит, которая составляет необходимое выражение и воплощение этой сущности. Такова форма всякого органического существа, от растения до человека. Посему и изменена или в настоящем случае ограничена такая форма быть не может. Это невозможно даже для самой самодержавной воли, которая, по существу своему, то есть по присущему народу политическому идеалу, никакому внешнему ограничению не подлежит, а есть воля свободная, то есть самоопределяющаяся» (стр. 501).

Сомневаться, что таково именно понятие русского народа о власти русского Государя, невозможно; спрашивать его об этом бесполезно и смешно. Такой вопрос был уже задан ему самой историей, и ответил он на него не списками голосов, опускаемыми в урны, а своими деяниями, своим достоянием и кровью. Было время, когда государство в России перестало существовать, когда была tabula rasa[2], на которой народ мог писать, что ему было угодно. Он по слову Минина

собрался и снарядил рать, освободил Москву и вновь создал государство по тому образцу, который ясными и определенными чертами был запечатлен в душе его. Изменился ли с того времени этот постоянно присущий ему образ, и если бы, избави Боже, ему пришлось вновь проявить эту свою творческую, зиждительную деятельность, не так ли же точно он бы поступил, как и в приснопамятных 1612 и 1613 годах? Пусть всякий вдумается в этот вопрос и ответит на него перед своей совестью, не кривя душой!

Но при таком понятии народа о верховной власти, делающем русского Государя самым полноправным, самодержавным властителем, какой когда-либо был на земле, есть однако же область, на которую, по понятию нашего народа, власть эта совершенно не распространяется, – это область духа, область веры. Может быть, скажут, что тут нет никакой особенности русского народа, что вера всегда и везде составляет нечто не подлежащее никакой внешней власти, что всевозможные принуждения и гонения никогда не достигали своей цели. Но дело не в принуждениях и гонениях, а в том, что многие, в других отношениях высокоразвитые и свободолюбивые народы, не придавали такого первенствующего, наисущественнейшего значения внутреннему сокровищу духа, – так что предоставляли решение относящихся до него вопросов государственной власти, между тем как за малейшее право внешней, гражданской, или политической, свободы стояли с величайшей твердостью. Укажу лишь на пример свободолюбивой Англии, в которой, начиная с Генриха VIII, правительственные власти составляли догматы, литургию и обряды нового вероисповедания таким точно путем, как составляются всякие другие законодательные билли. Таким путем состряпанное вероисповедание и есть англиканское, которое из рук правительства было принято тогда же большинством английского народа, и теперь им удерживается. Рыцари наших прибалтийских губерний перешли из католичества в лютеранство – слыхал ли кто-нибудь о сопротивлении этому переходу со стороны эстонского и латышского народа? Да и во время реформации все исходило от

владетельных князей, баронов, городов, а про народ в различных договорных актах того времени говорилось, что он должен следовать за своим сюзереном и, действительно, он за ним послушно следовал. Надо ли указывать на то, что не так понимал и понимает дело веры русский народ?

Я уже сказал, что и политический строй Русского государства составляет предмет настоящей политической веры русского народа, которой он держится и будет, несмотря ни на что, твердо и неизменно держаться именно как веры. Если, следовательно, когда-либо русский Государь решится дать России конституцию, то есть ограничить внешним формальным образом свою власть, потому ли, что коренная политическая вера его народа была бы ему неизвестна, или потому, что он считал бы такое ограничение своей власти соответствующим народному благу, то и после этого народ, тем не менее, продолжал бы считать его государем полновластным, неограниченным, самодержавным, а следовательно, в сущности, он таковым бы и остался. Конечно, Государь, подобно всякому человеку, может и должен себя ограничивать; но он не может сделать, чтобы это самоограничение, т.е. истинная свобода, стало ограничением внешним, формальным, извне обязательным, т.е. принудительным. В самом деле, в чем бы это внешнее ограничение заключалось, на что опиралось бы оно, когда народ его бы не признал и не принял? А он его не принял бы и не признал бы, потому что мысли об этом не мог бы в себя вместить, не мог бы себе усвоить, как нечто совершенно ему чуждое. Конечно, он исполнял бы всю повеленную ему внешнюю обрядность, выбирал бы депутатов, как выбирает своих старшин и голов, но не придавал бы этим избранным иного смысла и значения как подчиненных слуг царским, исполнителей его воли, а не ограничивателей ее. Чтобы ему ни говорили, он не поверит, сочтет за обман, за своего рода «золотые грамоты». Но если бы, наконец, его в этом убедили, он понял бы одно, что у него нет более царя, нет и русского царства, что наступило новое московское разорение, что нужны новые Минины, новые народные подвиги, чтобы восстановить царя и царство...

Итак, внешнее формальное ограничение царской власти – что и составляет единственный смысл, который можно соединить со словом конституция – немыслимо и не осуществимо; оно осталось бы пустой формой, не дающей никаких других гарантий или обеспечений политических и гражданских прав, кроме тех, которые верховная власть хочет предоставить своему народу, насколько и когда этого хочет – как всегда от ее воли зависящий, и ни от чего иного не зависящий дар.

Для гарантий, для обеспечения прав, скажем прямо, для ограничения царской власти, очевидно, нужно иметь опору вне этой власти, а этой-то опоры нигде и не оказывается. Желаемая конституция, вожделенный парламент ведь никакой иной опоры, кроме той же царской воли, которую они должны ограничивать, не будут и не могут иметь. Каким же образом ограничат они эту самую волю, на которую единственно только и могут опираться? Ведь это nonsense, бессмыслица. Архимед говорил, что берется сдвинуть даже шар земной, но лишь под условием, что ему дадут точку опоры вне его. Только Мюнхаузен считал возможным решить подобную задачу иным образом, вытащив себя за собственную косу из болота, в которое завяз.

Как же назвать после этого желание некоторыми, конечно весьма немногими, в сущности, русской конституции, русского парламента? Как назвать учреждение, которое заведомо никакого серьезного значения не может иметь, как назвать дело, имеющее серьезную форму, серьезную наружность при полнейшей внутренней пустоте и бессодержательности? Такие вещи на общепринятом языке называют мистификациями, комедиями, фарсами, шутовством, и русский парламент, русская конституция ничем кроме мистификации, комедии, фарса или шутовства и быть не может. Хороши ли или дурны были бы эта конституция и этот парламент, полезны или вредны – вопрос второстепенный и совершенно праздный, ибо он подлежит другому, гораздо радикальнейшему решению: русская конституция, русский парламент невозможны как дело серьезное, и возможны только как мистификация, как комедия. Придать серьезное значение конституционно-

му порядку вещей в России – это ни в чьей, решительно ни в чьей власти не находится.

В наш век, очень обильный курьезами, мы видели уже в одном государстве пример такой конституционной мистификации, такой парламентской комедии. Шутовское представление было дано в Константинополе в 1877 году, после того как русские войска перешли уже через Прут. Сам устроитель его Мидхат[3], дарователь – султан, участники – депутаты и зрители (публика эта, впрочем, была очень малочисленна, ибо едва ли кто из подданных султана удостаивал малейшего внимания отчеты, печатаемые в газетах, о дебатах Стамбульского парламента), все без исключения знали, что устроена была мистификация и комедия. Впрочем, она имела еще некоторое оправдание. Мистификация была рассчитана не на турецкую, а на европейскую публику. Даже нельзя сказать, чтобы и ее надеялись обмануть. Дело было предпринято с совета и согласия Англии, с мыслью, не удастся ли обмануть Россию, не отступит ли она перед упреками европейского общественного мнения в гонении свободных государственных форм, в гонении зарождающейся свободы. Но фарс был слишком груб. Россия пошла своим путем, и даже со стороны европейского общественного мнения упрека этого не последовало.

Но даже и этого жалкого оправдания не выпало бы на долю желаемой некоторыми петербургской комедии. При чтении некоторых наших газет, мне представляется иногда этот вожделенный петербургский парламент: видится мне великолепное здание в старинном теремном русском вкусе, блистающее позолотой и яркими красками; видится великолепная зала вроде Грановитой палаты, но конечно гораздо обширнее, и в ней амфитеатром расположенные скамьи; сидящие на них представители русского народа во фраках и белых галстуках, разделенные, как подобает, на правую, левую стороны, центр, подразделенный, в свою очередь, на правый, левый и настоящий центральный центр; а там вдали, на высоте, и наша молниеносная гора, – гора непременно: без чего другого, а без горы, конечно, уже невозможно себе представить русского

парламента; затем скамьи министров, скамьи журналистов и стенографов, председатель с колокольчиком и битком набитые элегантными мужчинами и дамами, в особенности дамами, трибуны, а наконец и сама ораторская кафедра, на которую устремлены все взоры и направлены все уши, а на ней оратор, защищающий права и вольности русских граждан. Я представляю себе его великолепным, торжествующим, мечущим громы из уст и молнии из взоров, с грозно поднятой рукой; слышу восторженные: слушайте, слушайте, браво, и иронические: о-го! Но между всеми фразами оратора, всеми возгласами депутатов, рукоплесканиями публики мне слышатся, как все заглушающий аккомпанемент, только два слова, беспрестанно повторяемые, несущиеся ото всех краев Русской земли: шут гороховый, шут гороховый, шуты гороховые!

Неужели пало на голову России еще мало всякого рода стыда, позора и срама, от дней Берлинского конгресса до гнусного злодеяния 1 марта[4], чтобы хотеть навалить на нее еще позор шутовства и святочного переряживанья в западнические костюмы и личины!

Происхождение нашего нигилизма. По поводу статьи «Этюды господствующего мировоззрения»

Помещенная под выписанным заглавием статья г. К. Толстого в № 16 «Руси» (1884) показалась мне чрезвычайно интересной, как искренний голос человека, принадлежавшего к числу адептов учения, окрещенного у нас именем «нигилизма», затем понявшего его ложность и возвратившегося к более правильному взгляду на вопросы нравственности и политики, и откровенно излагающего, что именно заставило его, а вероятно и многих других, примкнуть к нигилистическому исповеданию, а затем отрешиться от него. В конце статьи автор изъявляет благодарность за всякие указания на ошибки и неясности.

Мне захотелось заслужить ее, указав на то, что представляет, по моему, неясности и недоразумения именно по вопросу о происхождении и широком распространении нигилистического учения, получившего такую странную привлекательность для молодежи и для немолодежи в оные дни, а затем изложить и собственные мои мысли по этому предмету.

Если я верно понял мысль автора, то причина, оттолкнувшая людей из поколения начала шестидесятых годов от христианских идеалов, заключалась в загрязнении и опошлении их разными Иудушками или Тартюфами, и что такое же загрязнение и опошление новых идеалов нигилистической этики Юханцовыми[1] и собратией заставили многих, подобным же образом, отвратиться и от этих последних. Что таков действительно был исторический процесс смены убеждений у автора и у многих других отдельных лиц, к чести их чувств, но не к чести их логики, – этому вполне я верю; и тому, что «у большинства вера эта (новая, нигилистическая) была вполне искренняя и горячая, что во всем процессе перемены идеалов не было ни следа (у большинства только конечно, а не у всех же) преднамеренного самораспускания, подделки, фальши и вообще какой-нибудь недобросовестности». Но если все это так было, то какое же было непонимание целей, какое отсутствие всякой логики! Говоря так, я имею в виду не вообще материалистическое учение, полагающее свое основание в области чистого мышления, а не в потребности новых нравственных начал, – а именно нигилистический материализм, который при самом своем возникновении вступил прямо в нравственную сферу и потому в ней же и коренится, по выражению г. К. Толстого. Да, изумительная нелогичность господствовала в умах! Только она и позволяет понять недоумение автора, когда он, описав процесс возникновения Юханцовых и вообще того, что он весьма верно называет порнофикацией русского общества, из новых идеалов, восклицает: «Таков обыкновенный процесс опошления идеалов», и, вслед за тем, еще недоумевает, говоря: «Но в данном случае необыкновенна та быстрота, с которой наши новые идеалы опошлились, между тем как идеалы хри-

стианства так долго господствовали, и еще доселе продолжают господствовать над человечеством». Удивляться тут нечему и не над чем недоумевать. Причина всего этого заключается не только в различии качеств самих идеалов, которое, конечно, признает и сам автор, но еще и в другом, весьма существенном для занимающего нас вопроса, обстоятельстве, которое, по-видимому, не столь для него ясно. Дело в том, что ни в Иудушках, или, общее и понятнее, ни в Тартюфах, с одной стороны, ни в Юханцовых с собратией, с другой, нет ни малейшего загрязнения и опошления идеалов, а есть нечто совершенно иное. Все Иудушки, Тартюфы и вообще все исказители христианства или заведомо отрекаются от его идеалов, заведомо поступают совершенно вопреки им и лишь маскируются их личиной; или, по крайней грубости своего ума и чувства, вовсе не понимают этих идеалов; или, наконец, по слабости и немощи человеческой природы, не согласуют с ними своей жизни вообще, или в отдельных случаях, также более или менее ясно сознавая это. Очевидно, что ни в одном из этих трех случаев нет ни загрязнения, ни опошления христианских идеалов, продолжающих по-прежнему пребывать чистыми и недосягаемо высокими, а есть только или полное их отрицание, или теоретическая, или практическая непоследовательность им, или обе вместе. Но точно так же и новые Иудушки и Катоны[2] от нигилизма, как называет их наш автор, вовсе не опошляют и не загрязняют своих новых этических идеалов. Совершенно напротив, эти практические нигилисты только одни из последователей нового учения и выказали полное логическое его понимание, одни только и были вполне последовательны, верны его духу.

Глубокое различие и даже совершенная противоположность между идеалами и последователями христианства, с одной стороны, и идеалами и последователями нигилизма (так для краткости буду называть новое учение), с другой, заключается между прочим в том, что практика никогда не достигала, если позволено так выразиться, теории христианства; в новом же учении, напротив того, практики превзошли самых последовательных теоретиков и в правильности его понима-

ния, и в логической строгости выводов из него. Собственно они одни и заслуживают название нигилистов, потому что они одни остались вполне верными новому нравственному кодексу, правильно вывели из него все его действительные, а не мнимые последствия и осуществили их, в степени весьма близкой к совершенству, в жизни. Можно ли после этого назвать этих столпов нигилизма загрязнителями и опошлителями своего учения? Теоретики же его оказались слабыми, непоследовательными, не понимающими сущности дела. Поэтому они и свернули с настоящего пути нигилизма куда-то в сторону, прицепили к своим метафизическим основам совершенно не идущий к ним и чуждый хвост, в котором, скажу не обинуясь, все-таки, по счастливой непоследовательности человеческой природы, стали видеть сущность и главное содержание своей новой, собственно уже псевдонигилистической веры. На многое, и чересчур многое, хватило у них духу, но все же не хватило на строгое и последовательное проведение ими же признанных начал. Этого хватило только у Юханцовых с собратией, которых можно называть чем угодно, только никак уже не загрязнителями, не опошлителями начал, ими исповедуемых.

Для доказательства, стоит только несколько вникнуть в Символ новой веры, как он изложен самим г. К. Толстым.

«Существование Верховного Разума, построившего вселенную и пекущегося о ней, нет возможности допустить. Это член первый. Вне материи и сил ей присущих вселенная ничего в себе не содержит. Это второй член. Человек есть машина, с разрушением которой исчезает всякая ее способность в какой бы то ни было работе. Это третий член». И в этих трех членах и заключаются все, так сказать, метафизические основы учения. Все дальнейшее уже будет этическими и политическими следствиями, из коих правильно выведено только первое: «цель жизни есть счастье», что и примем за четвертый член Символа. Но уже определение счастья совершенно не согласно с только что приведенными началами. Счастье должно будто бы состоять в свободном упражнении всех способностей и в возможно

полном удовлетворении всех потребностей. Последнее конечно так, потому что удовлетворения потребностей несомненно приносят удовольствия, совокупность которых и составляет счастье. Но упражнение всех способностей! С какой стати? Не всех, а очевидно только тех, упражнение коих приносит удовольствие! Нужны ли доказательства? Возьмем очень известный пример: знаменитый музыкант России, конечно, обладал композиторскими способностями, но, как известно, в течение значительной части своей жизни совершенно перестал упражнять их. Значит, удовольствия это упражнение ему не доставляло. Очевидно, что с точки зрения, на которую мы стали, счастьем может быть названо лишь то, что или прямо доставляет удовольствие, или, по расчету каждого, может доставить ему средства для удовольствий в будущем, в течение того времени, конечно, в которое машина его, по вероятному расчету, может действовать, т.е. сознавать и ощущать, – вот и все.

Еще неосновательнее и непоследовательнее, с точки зрения доставления счастья, дальнейшее разделение способностей и потребностей на естественные и искусственные, и неизвестно откуда взятая необходимость уничтожения потребностей названных искусственными. «Справедливо ли это разделение и эта необходимость подавления некоторых потребностей с какой-либо объективной точки зрения, – до этого», – скажет последовательный адепт нигилистического учения, – «верующему лишь в вышеизложенный трех или, пожалуй, четырехчленный Символ, нет никакого дела, и нет ни малейшего основания признавать это деление и соглашаться на подавление потребностей отнесенных к разряду искусственных. Для меня важно только то: приятно ли мне будет это подавление, или болезненно, и если даже и не болезненно и не неприятно, то не лишит ли меня это подавление некоторой доли удовольствий, которые я мог бы испытывать при удовлетворении этих не нравящихся кому-то потребностей, если бы они во мне сохранились? А при таком положении дела, во имя чего же я соглашусь на их подавление, то есть на пожертвование долей моего счастья вопреки четвер-

тому члену Символа? Без крайней непоследовательности, без ничем не мотивированного отступления от моего четырехчленного Символа, я решительно не могу признать ни за собой, ни за кем-либо другим права на такую ампутацию или кастрацию. Я человек с чрезвычайно тонкой способностью ощущать разного рода материальные наслаждения. Я люблю приятные щекотания нервных сосочков моего языка разными изящными яствами и питиями, различаю их и наслаждаюсь ими с тонкостью Лукулла[3] или Апиция[4]. Фламинговы или соловьиные языки, приправленные гастрономическими соусами, или страсбургские пироги доставляют мне неизъяснимое наслаждение, и потому составляют значительную долю моего счастья. С какой же стати я подчинюсь решению каких-то непоследовательных нигилистов-теоретиков, неумеющих сколько-нибудь логически связать предыдущее с последующим, посылок с заключением, и вздумавших поместить такие гастрономические потребности в разряд искусственных?»

«Но, может быть, теоретики сделают мне в этом случае уступку, допустив, что гастрономические потребности естественны, – благо ведь и животные, доставляющие норму для деления, имеют их в некоторой, хотя бы очень слабой степени. Вот и моя собака, когда не голодна, не ест куска черного хлеба, а с наслаждением проглатывает, если я обмочу его в жирный соус. Благодаря собаке и вообще зоологическим наблюдениям нигилистов-теоретиков я могу успокоиться. Но ведь я не удовольствуюсь этой снисходительностью. Я не только гастроном, но еще и очень тщеславный человек. Похвалы, лесть, всякое поклонение моей особе и фимиам, мне воскуриваемый, приносят мне невыразимое удовольствие и потому также составляют значительную долю моего счастья, можно даже сказать, оставив в стороне разные пустяки и мелочи, составляют все мое счастье, достижению которого я готов всем пожертвовать, – но этим счастьем никому и ничему. Оглядываюсь на собак и зоологию вообще и вижу, что тут они уже решительно против меня, что они возвещают на все голоса, что потребность моя наиискусственнейшая, и что пощады ей никакой оказываемо

быть не может, по нигилистической лжелогике. Из-за чего же опять я пожертвую ею в угоду систематическим фантазиям моих учителей?»

Пойдем далее.

«Люди соединяются в общество во имя материальных удобств и взаимной выгоды»... «Это довольно согласно с Символом» – скажет мой логически-последовательный адепт, – кроме, однако же, словечка *взаимной*; но ввиду согласия в главном, спорить не стану и лицемерно приму и это словечко, тем более, что неопровержимо могу заключить: если “взаимной”, то, конечно, и моей, а так как в этом для меня и вся сила, ибо ведь, если другим есть нечего, – мой желудок голода не ощущает, и если других бьют плетьми или палками, – моей спине не больно, то в этом именно смысле и буду я понимать слово *взаимной*. Но ведь и это мало: ясно и очевидно, что если будут пусты желудки, и спины будут подвергаться ударам плетей и прочего, и если я буду иметь при этом некоторую возможность распоряжаться увеличением и уменьшением этой пустоты, учащением или разряжением этого палочного дождя, падающего на спины, то из этого проистекут немалые для меня удобства и выгоды, ибо во избежание этих, частью от меня зависящих, зол, и в видах приобретения противоположных им благ, многие будут мне угождать, или, как говорится, многих буду я в состоянии эксплуатировать из числа моих сочленов по обществу. Конечно, этот способ приобретения счастья требует двух условий, очень впрочем ценимых адептами нового учения: ума и энергии при совершенной бессовестности; но совести откуда же и взяться при исповедывании нашего нового Символа?»

«Следовательно, энергетическим, умным и логически последовательным исповедникам нигилистической веры, и мне в том числе, предстоит решить очень простую задачу: при допущении даже возможности осуществления радикального общественного переворота, будто бы вытекающего, как логическое требование, из означенных принципов или членов Символа, будет ли доля личного моего счастья, понимаемого в истинном, сообразном с учением смысле, больше или меньше той,

которой можно надеяться достигнуть при эксплуатации не будущего, находящегося еще за горами, а теперешнего общества? Ответ не может быть сомнительным. Та тысячемиллионная доля общего счастья человечества, или точнее его материального благосостояния и его материальных наслаждений, которая падает на мой удел, может ли она идти в сравнение с той, которую я имею гораздо вернее и безопаснее благоприобрести от эксплуатации моих сочленов теперешнего общества, при том уме, той энергии и той бессовестности, которые в себе сознаю? Ведь первая доля ни в каком случае не может многим превосходить того, что мне может тогда доставить, положим, и при более благоприятных, чем ныне, кооперативных условиях, один мой личный труд. Пусть будет она равняться концентрированным воедино долям благосостояния или счастья теперешних двух и даже трех русских мужиков, или хотя бы и французских, английских или немецких фабричных рабочих, – больше ведь уже нельзя предположить по самому щедрому расчету. Куда же как еще далеко этой доле до счастья, доставшегося, например, г. Юханцову, не только во времена его славы и блеска, но и после того, как его дело сорвалось, и ему пришлось искупить свою логическую последовательность новым принципам жительством в местах отдаленных!»

«По всем этим соображениям, – продолжал бы мой адепт, – хотя я, пожалуй, и согласен, что единственным критерием нравственных отношений между членами общества, вытекающим из основных положений нашего Символа, является арифметика, но, однако же, совершенно не та арифметика, которую приняли по своей крайней нелогичности теоретики нигилизма. Моя арифметика провозглашает вовсе не равенство и не равноценность всех членов общества, и вовсе не то, “что выгода большинства есть абсолютное добро, а выгода меньшинства – абсолютное зло”. Это совершенно не касающийся до меня вывод, какой-то сбоку припеку к единственно признаваемой мной обязательной для меня метафизике, заключающейся в не раз упоминавшемся Символе. Он ясно, громко гласит мне, без малейшей возможности непонимания или недоразумения:

аз есмь единица, всезатмевающая, всепоглощающая – и только аз един. Все прочие – ничтожные дробишки; и это только из вежливости, – а собственно нули, только тогда нечто для меня значащие, когда, как и по обыкновенной арифметике, будучи справа ко мне приставлены, удесятеряют, усотеряют, утысячеряют долю моего счастья... Если мне возразят: ты, мнящий себя быть этой исключительной единицей, а всех прочих принимающий за нули, ведь и сам подвергаешься такому же пониманию и тебя за нуль со стороны других, также мнящих себя единицами, – я не убоявшись отвечу: это уже мое дело защитить свои притязания, на то я от природы умен и энергичен, а по исповедываемому мной Символу бессовестен. Разве вы не принимаете борьбы за существование, за верховный мироправительный закон, только недавно нам возвещенный и потому вероятно и не успевший еще попасть в наш Символ, как четвертый или пятый его член? Оно правда, соглашусь я далее, за умных и энергичных признают себя многие, но ведь большинство их конечно ошибается, и пусть себе ошибается, тем лучше для действительно умных, энергичных и последовательных. Результатом этого может быть только то, что общество, и до, и после проповедуемого переворота, разделялось, разделяется и будет разделяться на овец поедаемых и стригомых, т.е. глупых и непоследовательных, каково большинство, и на волков поедающих и лжепастырей стригущих, т.е. умных, энергичных и, главное, последовательных. Таким образом, и при новом учении, хотя в сущности все останется старым по старому, но, однако же, со значительным, смею даже сказать с огромным, усовершенствованием, и это без всякой надобности в каком-либо внешнем перевороте. Что теперь считается аномалией, противоречием нравственному закону, и от времени до времени в том или в другом даже отчасти и исправляется, как это недавно и у нас в России случилось в освобождении крестьян, – то сделается общим правилом; ибо в теперешнем обществе, как оно ни несовершенно, зло значительно умеряется потребностями, считаемыми нашими теоретиками искусственными, то есть потребностями нравственными и религи-

озными, ощущаемыми и признаваемыми многими умными, энергичными и последовательными с их точки зрения людьми, потребностями, которые при распространении нашего Символа конечно отойдут в область предрассудков и никого уже беспокоить не будут».

«Новая нравственная арифметика, не та, которую приняли непоследовательные теоретики нигилизма, ибо та на воздухе висит, а та, которая только что была строго логически выведена из нашего нового Символа, отождествляется с новой нравственной философией, которую по аналогии с метафизическим учением Фихте можно, пожалуй, назвать этикой субъективного эвдемонизма, то есть учением, по которому только счастье лично мной ощущаемое может иметь притязание на реальное значение; счастье же всех остальных существ должно являться мне как пустой бред, греза, галлюцинация, на которые никакому умному и последовательному адепту учения нет не только никакой надобности, но даже и никакой возможности обращать малейшее внимание».

Вот единственно как должен и как мог бы говорить действительно последовательный ученик того нового учения, которое изложил нам г. К. Толстой, как учение начала шестидесятых годов, прозванное нигилизмом. Эти единственно возможные из него выводы – не какие-либо запутанные комбинации, за которыми трудно было бы следить обыкновенному здравому смыслу, а выводы простые, ясные, как говорится, на ладони лежащие и сами собой напрашивающиеся всякому дающему себе самый малый труд в них вникнуть. Поэтому никоим образом не могут быть они и названы загрязнением, опошлением или искажением идеалов, из коих проистекают, тогда как они напротив того очевиднейшие и законнейшие следствия из основ нового мировоззрения. Не тому должно удивляться, что опошление этих идеалов, и то весьма неполное и несовершенное, – (ибо, по словам нашего автора, теперь еще имеют они много приверженцев, именно будто бы все группы нашей интеллигенции, кроме славянофилов и консерваторов), – потребовало только тридцати лет; а удивительно

скорее то, что такое мировоззрение могло почитаться источником для нравственного идеала в течение хотя бы тридцати минут. Как могла несостоятельность его сразу не броситься в глаза людям, и искавшим то именно нравственных идеалов? Так же точно, возможно ли себе представить, чтобы примеры лицемерия Иудушек и Тартюфов, и примеры грубого непонимания христианства, которые, как мы выше видели, никоим образом нельзя признать за загрязнение, опошление или искажение его действительных идеалов, могли возбудить жажду к отысканию новых высших идеалов и утолить ее, хотя бы на самый краткий срок, теми основными мировоззрениями, как бы плохо их кто ни понимал, которые нам излагает и по-моему совершенно верно излагает, г. К. Толстой? Эти воззрения ровно никаких нравственных начал в себе не содержат – разве только те, которые излагает Карлейль в своей философии свиней: «Что такое справедливость?» (и нравственность, можно прибавить). – «Моя собственная доля в свином корыте, и никакой вашей доли». – «Но что составляет мою долю?» – «А в этом-то и лежит великое затруднение. Свиная наука, размышляя над ним долгое время, решительно ничего не могла установить. Моя доля – хрюк, хрюк, – моя доля будет вообще то, что я могу захватить, не будучи повешен или сослан на каторгу».

Поэтому и нельзя согласиться с положением, что жажда нравственного идеала могла служить причиной как происхождения, так и распространения нигилистического мировоззрения между нашей молодежью шестидесятых годов и вообще в нашем обществе, и должно думать, что наш автор в этом обманывается. Таким образом, и это новое объяснение происхождения печального явления нашей жизни, известного под именем нигилизма, должно быть причислено к числу несостоятельных. Таковыми же представляются мне и все те, которые предлагались с разных сторон и стали ходячими в разных частях нашего общества, смотря по излюбленному в них направлению. Перечислим и разберем их вкратце, прежде чем предложим свое.

Одни, впрочем, немногие, связывают происхождение и распространение нигилизма с крепостным правом, и притом двояким образом: во-первых, тем, что некоторые, лишившись своих выгод и прав, были подвинуты этим к отмщению за понесенный ими ущерб, точно так, например, как рабовладельцы Соединенных Штатов, и сделались возбудителями, тайными, конечно, всяких противообщественных учений, как материала для последующих противообщественных действий. Во-вторых, тем, что люди, испорченные крепостной зависимостью от них крестьян, привыкшие к приобретению средств к жизни чужим трудом, очутились в безвыходном положении и, будучи не способны к какой бы то ни было трудовой деятельности, обратились в самый пригодный материал для восприятия вредных учений. Странное дело! – такое мнение высказывалось и со стороны очень либеральных людей, и со стороны очень нелиберальных. Оно до такой степени невероятно и противоречит фактам, что на опровержение его не стоит и тратить слов. Достаточно сказать, что весь кодекс нигилистического учения был уже готов до освобождения крестьян, хотя, впрочем, возможно, что несколько неудачников и этого происхождения увеличили собой нигилистический контингент.

Приписывают также нигилизм влиянию наших политических врагов, преимущественно, конечно, поляков. Нет никакого сомнения, что всякими вредными для России, ослабляющими ее внутренние силы, явлениями поляки готовы воспользоваться и, по мере возможности, им содействовать, а следовательно и нигилизм им на руку; но породить его они, конечно, не могли, уже по одному тому, что явление в области мысли (хорошее или дурное) возбуждается только словом печатным или устным и производится не вдруг, а постепенно и исподволь. Когда поляки получили некоторую возможность таким образом действовать, нигилизм был уже готов. Но главное здесь то, что идеи нигилистического пошиба между поляками вовсе не господствовали и имели, может быть, менее хода, чем в какой-либо другой стране, так как мысли их были направлены совершенно в иную сторону, не к материализму,

а напротив того, к фантастическому идеализму и таковой же религиозности, с совершенно им специальной лжепатриотической окраской. Следовательно, чтобы передать нам вредное учение, они должны бы были его искусственно сочинить собственно с целью преподнесения его нам, и сделать это заранее, предуготовительно. Но это есть уже сама по себе вещь совершенно несообразная, ибо развивать и распространять с успехом можно только то, во что сам веруешь искренно и сильно. Возможность распространения ложных учений, религиозных и других, путем сознательного обмана давно уже всеми отвергнута. Наконец, мы просто знаем, что фактически ничего подобного не было во времена предшествовавшие обнаружению нашего нигилизма, когда он подготовлялся, возрастал и развивался. Идеи конституционализма, политической свободы, революции, также как идеи о неправоте России в завладении так называемыми польскими, а в сущности коренными русскими землями, – идеи, которые господствовали и господствуют между поляками, могли быть ими распространены и развиваемы у нас, как без сомнения это издавна и делалось; но относительно идей философского, эстетического и нравственного характера, к числу коих, конечно, принадлежит, хотя и как уродливый выродок, и нигилизм. Поляки, думаю я, неповинны, т.е. неповинны в их зарождении и первоначальном распространении, хотя, видя их зловредность для России, они, конечно, впоследствии не преминули содействовать их дальнейшему преуспеянию и распространению, а главное – придаче им той политической и социальной окраски, которая согласовалась с их целями. Еще более, думаю я, виновны они не только примером *ржонда*[5], жандармовешателей, кинжальщиков, но без сомнения и прямым участием, в порождении террористического направления тайных обществ, совершивших столь ужасные преступления и принесших столько зла.

Далее, приводят нигилизм в генетическую связь с нашим школьным делом, и притом двумя диаметрально противоположными путями. Одни утверждают, что наша последняя учебная реформа средних учебных заведений, классицизм, и

вообще более строгое, а по мнению их даже чересчур строгое и требовательное отношение к занятиям учеников, как в течении курсов, так и при экзаменах, заставляя многих выходить из заведений до срока, не получив ни прав, ни знаний для каких бы то ни было занятий, обращали их в неудачников, не имевших куда головы преклонить и без средств зарабатывать себе хлеб насущный. Для этих несчастных, недовольных, озлобленных, не оставалось, говорят, иного пути, кроме пути крайнего отрицания, на который ничего и не стоило их натолкнуть. Совершенно верно, что и эти неудачники могли увеличивать и действительно увеличивали контингент нигилистов, но что не в них заключался корень зла – об этом, кажется, также нечего и говорить

Другие, напротив того, утверждают, и по-видимому с гораздо лучшим основанием, что плохое состояние школ после изменения учебного плана в сороковых годах, когда в средних заведениях было ослаблено изучение классических языков, и в особенности после реформы 1863 года, было главной причиной нигилистической заразы. Конечно, рассуждая с очень общей точки зрения, – в дурном учении, имеющем своим результатом неправильное понятие о вещах, или, что еще хуже – неспособность различать правильное от неправильного, истинное от ложного, можно видеть корень всякого нравственного зла. Но то вполне хорошее учение, которое давало бы в своем результате сообщение всем обучающимся правильного понятия о лицах, вещах и взаимных отношениях их, а главное – сообщало бы безошибочный критерий для различения лжи от истины, есть конечно и навсегда останется pium desiderium[6] уже по одному тому, что это зависит не только и даже не столько от правильного преподавания, сколько от правильного восприятия и усвоения преподаваемого. При той же степени достижения этого идеала учения, образования и даже воспитания, до которой до сих пор доходили люди, можно, кажется, с достаточной вероятностью утверждать, что отношение числа отклонений от правильного здравого пути к числу последований ему в смысле приближения к нравствен-

ной истине – очень мало зависит от состояния школ и даже вообще от состояния просвещения, как бы ни было оно, напротив того, влиятельно в других отношениях. Гораздо сильнейшее и можно сказать даже почти исключительное влияние в этом важнейшем деле имеют те господствующие в обществе и так сказать носящиеся в воздухе идеи, все равно истинные или ложные, которые приобретают власть над умами и сердцами людей, и влекут их неудержимо за собой в хорошую или дурную сторону, и или ставят их на высокую степень нравственного совершенства, или ввергают в бездну зла: первое видим мы, например, в первые века христианства, а второе в оргиях французской революции.

Что не плохое состояние наших школ вообще, и не отсутствие в них классического обучения в особенности было причиной возникновения и распространения у нас нигилизма, видно до очевидности ясно из того, что в той стране, где обучение вообще, и притом именно классическое, находится уже давно на высокой степени совершенства – именно в Германии – преимущественно возник и распространился неоматериализм, не в кругу народа конечно, но в кругу интеллигенции, которая ведь только одна и пользуется как средним, так и высшим образованием, и в этом кругу спустился он довольно низко по лестнице общественных положений; а материализм есть не только корень нигилизма, но в теоретическом смысле даже совершенно с ним совпадает. Разве имена Фейербаха, Штрауса, Штирнера, Фохта, Молешотта, Бюхнера, Геккеля не имена корифеев и учителей нового материализма? Не они ли вместе с тем духовные отцы и родоначальники нашего нигилизма? Ибо, если это учение исходило в прошедшем столетии из Франции, от энциклопедистов и последователей их, то со второй половины настоящего столетия, и даже несколько ранее, не вырабатывалось ли оно преимущественно в Германии и не оттуда ли перешло и к нам?

Но не только чистый теоретический нигилизм заимствован нами оттуда, – не оттуда ли перешел к нам и социализм в новейшей форме его развития? И как для первого прямыми и непо-

средственными учителями конечно были означенные немецкие материалисты, так для последнего такими же учителями были для нас Лассаль, Маркс и другие немецкие социалисты.

Итак, скажу я, ни классицизм, ни другая какая-либо педагогическая метода не может предохранить от порождения, развития и распространения как материализма и нигилизма, так и вообще ложных учений, также как и противоположная им не может их породить, конечно, если она не прямо направлена на их сообщение учащейся молодежи. Само собой разумеется, что, говоря это, я вовсе не имел намерения сказать что-либо в осуждение принятой у нас теперь педагогической методы. Единственным моим желанием было показать, что нигилизм не есть наше русское самобытное явление, происшедшее как результат частных зол и неустройства нашей жизни; ни экономических и общественных, как крепостное право; ни политических, как неправильные наши отношения к Польше; ни педагогических, как плохое состояние наших школ. Я хотел также показать, что хотя исправление как этих, так и многих других частных зол в высшей степени желательно, но что от каждого такого врачевания и можно ожидать только частных изменений, которые по общей связи между всеми процессами органической жизни народа и государства, хотя и должны оказать некоторое полезное влияние и на прочие отправления общественной жизни, но все же останутся улучшениями частными, а не будут панацеями, от коих позволительно было бы ожидать всевозможных благ и исцеления от всевозможных зол, – нигилизм же есть симптом общей болезни. Но какой же именно? Где источник его? В чем состоит это болезненное состояние, которое проявилось столь опасным симптомом?

Мы уже собственно ответили на этот вопрос. Если нигилизм не результат какого-либо из частных зол наших, не протест, хотя и ложно направленный, против которого-либо из них, или против всех их в совокупности, если, далее, он не самобытное и специальное наше явление, а нечто заимствованное, как это показывают непреложные, неопровержимые факты, то и он есть дитя общей нашей болезни – подражательности.

Наш автор, с разбора мнений коего я начал свое рассуждение, говорит: «Не мы его выработали (новое мировоззрение, названное нигилизмом), оно старо как мир, – мы только собрали его по кусочкам из разных мыслителей всех веков и народов да сшили самодельными нитками». Нет, и в этом было бы еще слишком много чести: такая компиляция, такое соображение и прилаживание разных частей в одно целое, хотя бы и лыком шитое, было бы уже трудом несколько самостоятельным. Хотя древность учения и нахождение его у разных народов несомненны, но ни в древности, ни в современной разноплеменности мы ничего не исследовали, не отыскивали, не сопоставляли, не извлекали, а, как я уже сказал, взяли и теоретический материализм, и порождение его (хотя и незаконное) – новейший социализм – преимущественно из последнего немецкого издания, как в последнее время во всем привыкли это делать. Прежде подражательность наша была по крайней мере несколько эклектичнее.

Самостоятельность наша в деле нигилизма оказалась только в одном, – в том, в чем всякая подражательность самостоятельна, именно мы утрировали, а, следовательно, и окарикатурили самый нигилизм, точно также как и новейшие методы утрируются и принимают карикатурный вид, переходя на головы, плечи, талии провинциальных модниц и франтов.

Все различие между нашим нигилизмом и нигилизмом заграничным, западным, заключается единственно в том, что там он самобытен, а у нас подражателен, и потому тот имеет некоторое оправдание, будучи одним из неизбежных результатов исторической жизни Европы, а наш висит на воздухе, ничем не поддерживается и ничем не оправдывается, и, несмотря на всю его печальность, есть явление смешное, карикатурное, составляет сюжет комедии, разыгранной нами на сцене истории, как впрочем и многие другие комедии и фарсы.

Вот если бы говорилось о самобытном европейском нигилизме, то было бы вполне уместно обращаться к загрязнению, опошлению и искажению идеалов, для объяснения бегства от них, жажды и алчбы новых идеалов.

В самом деле, посмотрим на идеалы религиозные, христианские! Мы увидим не Иудушек и Тартюфов, а родственные нам прибалтийские славянские племена и рядом с ними литовцев, латышей, эстов, затопленных в своей крови, обращенных в рабство во имя христианского идеала, насильственно им навязываемого, что, конечно, есть его загрязнение и искажение; увидим то же самое и в новооткрытой Америке; увидим Крестовые походы против еретиков: альбигойцев, вальденцев, гугенотов[7], увидим Варфоломеевскую ночь; увидим святую инквизицию и святой иезуитский орден, употребляющий для своих целей отраву, убийство, развращение нравственности казуистикой; увидим торговлю благодатью, продажу индульгенций, искупающих прошедшие, настоящие и будущие грехи, по стольку-то за штуку или за дни, недели, месяцы и годы. Все это мы увидим совершаемым не каким-либо Тартюфом или каким-нибудь отдельным лицом и не как сознательно-лицемерное или бессознательно-грубое отступление от христианского идеала, – а как нечто якобы логически вытекающее из этого идеала, и притом, и это главное, совершаемое и проповедываемое теми, кто считал себя поставленным хранить Святую Святых и непогрешимо истолковывать ее истины и тайны, то есть самой Римско-католической церковью. Немудрено, что наконец умы и сердца отвернулись от этого идеала, как от действительно загрязненного, опошленного и искаженного. Протест и реформа понятны именно как бегство от загрязненного и как жажда нового, лучшего, высшего идеала. Казалось, он и воссиял в своей первобытной чистоте. Но лекарство вышло едва ли не хуже болезни. Идеал очищался, но очистка огнем рационалистической критики улетучила его, скобление выскоблило до разрежения в полное ничто, то есть в идеал чисто личный, субъективный и, следовательно, произвольный, а по произвольности и необязательный; ибо всякий может его составлять по образу и подобию своему, своих чувств, страстей и мыслей. Ковчег его, церковь, была разбита. Одни ложным пониманием и ложными выводами загрязнили идеал до неузна-

ваемости и оттолкнули от него души людей, другие улетучили его до полного исчезновения ложной методой очистки.

Подобно тому, как римский католицизм был нравственным и религиозным идеалом европейских народов, феодализм был их идеалом политическим, проистекавшим от завоевания. Цепь властей вершилась в императоре и нисходила от него через королей, герцогов, графов и баронов до последних звеньев власти, распределяясь между ними и над покоренными народами, и над завоеванными землями. Правильные отношения между этими звеньями, правомерное определение и ограничение власти сюзеренов над вассалами и главных вассалов – в свою очередь сюзеренов, – над второстепенными, и таковое же определение и ограничение подчиненности вассалов к сюзеренам, которая называлась лояльностью, и взаимные их рыцарские отношения к равным, – вот в чем состоял политический идеал как чисто германских, так и романо-германских народов. Положение низших подвластных людей уже ни в какой расчет не принималось до такой степени, что даже уже в очень позднее время, уже в начале так называемых Новых веков, когда возникло протестантство и повлекло за собой ряд религиозных войн, при установлении мирных договоров во Франции и Германии обращалось внимание лишь на религию сюзеренов разных степеней; масса же народа должна была следовать религии своих господ, и это не на практике только, а в самой теории, и потому вовсе и не считалось сколько-нибудь несправедливым, каким-либо угнетением или насилием ни со стороны господ, ни со стороны народа. Этими договорами определялось таким образом, кому быть католиком и кому протестантом. Так ведь, например, и в нашем Остзейском крае рыцари сложили с себя обет монашества и приняли реформу, а за ними последовали и подвластные им латыши и эсты, без всякой проповеди, без всякого убеждения. Это сделалось как нечто само собой разумеющееся, без всякого насилия и принуждения со стороны господ, так же, как и без всякого сопротивления или протеста со стороны народа. Русский, читая это, ошалевает, становится в тупик. До такой степени кажется ему

это диким, непонятным, немыслимым, не вмещающимся в его сердце и ум, точно как если бы дело шло о происходящем на другой планете, а не у нас на земле. Вот где были истинные, а не метафорические крепостные души, в полном, реальном значении этого слова!

Для отрицания такого идеала не было уже, конечно, никакой надобности в его загрязнении или искажении; он уже сам по себе носил в себе достаточное для этого количество и лжи, и грязи. В чистом виде он и существовал поэтому недолго, а постепенно разрушался уже со второй половины так называемых Средних веков; но совершенно был разрушен на практике и отвергнут в теории лишь Французской революцией и последовавшими за ней, как во Франции, так и в других странах Европы мелкими революциями. Но так же точно, как при протестантском идеале, последовавшем за католическим, и тут, вместе с отвержением ложного идеала (а не загрязненного и искаженного только) была разрушена и самая идея власти, ибо высшие народные идеалы не сочиняются, не составляются искусственно, а коренятся в этнографической сущности народа. Они зарождаются и вырабатываются в бессознательно творческий период их жизни, вместе с языком, народной поэзией и прочими племенными особенностями. Впоследствии, в исторический сознательный период их жизни, эти идеалы только развиваются и укрепляются, или же разрушаются, но не восстанавливаются и не изменяются иными органическими идеями. Как невозможно при помощи таланта и искусства сочинить вторую «Илиаду», так же точно невозможно выработать народу при помощи науки новый политический идеал, ибо это значило бы заменить живое и органическое, всегда и во всем бессознательно родящееся, мертвым и механическим, сознательно составляемым. За потерей первого и является необходимо это механическое и мертвое заместительное органического и живого. Таковое и было найдено в договоре, то есть в воплощении взаимного недоверия. В первый раз сознательно и научно принцип этот был формулирован Руссо, и хотя учение его об общественном договоре в сущности, в

теоретическом учении о государстве, и неверно, но в применении к данному фазису исторической жизни европейских народов – договор составляет действительно единственно возможный источник власти, ибо естественного, природного, бытового начала власти, по разрушении феодального начала, у них уже не стало, а где есть еще остатки, и там они постепенно ослабевают и исчезают. Отсюда вытекает, например, часто встречающаяся у европейских публицистов мысль, что монархия невозможна без аристократии, служащей ей вместе проводником к народу и столпом, на который она опирается. Соответственно этому пониманию монархии, в Германии, например, где также настоящий феодальный аристократизм очень расшатался, ослабел и представляет уже очень некрепкий столп и слабую опору, стараются поддержать и даже создать мужицкую аристократию, разными мерами, придумываемыми для воспрепятствования разделов, через наследство ли, через долги ли, крестьянских майоратов или миноратов, чтобы таким образом выставить против разных разлагающих элементов новую консервативную силу. С европейской точки зрения, оно и понятно, что так оно и должно бы быть. Для европейца – феодализм, или договор: другой альтернативы для основания политической власти и не существует. Но договор требует всякого рода взаимных гарантий, и единственной санкцией их исполнения для подвластных служит и может служить лишь право возмущения, право революции, право, возводимое даже в обязанность. Это начало гарантий, вытекающее из договора, и составляет новый, так сказать, протестантский политический идеал, известный под именем конституционализма.

Само собой разумеется, что и в политическом отношении те, коих томят жажда и алкание идеала, должны бежать от этого механизма и мертвечины; а как живого и органического найти не могут, то полное отрицание, то есть нигилизм, и остается их единственным прибежищем, – нигилизм же в политике называется анархией. Они как бы говорят: в нашей долгой исторической жизни мы ничего не нашли кроме лжи, а вне ее,

если бы что и было, оно для нас бесполезно, ибо если нельзя самим себе составить идеала искусственного, то тем еще менее можно взять его напрокат, заимствовав снаружи, и в таком случае единственное, чего мы можем желать, будет возможно полнейшее и возможно скорейшее разрушение существующего, дабы настала возможность на просторе, без всяких помех и препятствий, народиться и органически выработаться новому политическому идеалу.

Но с разрушением феодального политического идеала, вместе с тем и принципа власти вообще, уничтожены не были и все его экономические и социальные последствия. Частью они остались со своим феодальным характером, в других же частях построились сообразно новому революционному или протестантскому характеру. Феодальным осталось отношение народа к земле, оставшейся за ее феодальными завоевателями, или за теми, коим она была передана продажей или иными способами приобретения. Сохранившиеся же от прежнего времени и вновь образовавшиеся вследствие громадного развития промышленности капиталы и отношение к ним труда устроились по новому принципу свободного договора, – приведшему здесь к желанному в политике анархическому результату, к формуле: laisser faire, laisser passer[8], которая и была возведена в экономический идеал, освященный и новой наукой политической экономии.

Эта свободная игра экономических сил, никаким авторитетом не стесняемая, никакой предвзятой целью не направляемая, должна была произвести экономическую гармонию, насколько эта последняя вообще достижима. В недавнее время и еще наука из разряда особенно уважаемых положительных наук явилась как бы на помощь политической экономии, объявив, что удивительные результаты гармонии и целесообразности, коим уже издавна привыкли изумляться в области органической природы, были также достигнуты ничем иным, как той же формулою: laisser faire, laisser passer, т.е. свободной борьбой органических форм за право существования, производящей естественный подбор, коему мы обязаны как всей гармонией

органической природы, так и самим разнообразием органических существ. Следовательно, научная санкция была полная. Но тем не менее многие из взиравших на эту гармонию, как она установилась в области экономических отношений, усмотрели, что отношения эти, исходя по-видимому из начал совершенно противоположных феодализму, привели, однако, к совершенно тем же результатам, т.е. к феодализму индустриальному, вместо прежнего феодализма земельно-аристократического. Но здесь логика их покинула, и от анархии они стали апеллировать к анархии же; от анархии частной, в одной области человеческих отношений (экономической), к анархии полной, распространяющейся на все отношения.

Не все однако же поступили столь нелогично. Иные, видя, что жалкое, вполне зависимое положение рабочих классов прямо происходит от применения принципов анархии к экономическим отношениям, обратились к началу противоположному, именно к началу организации труда, т.е. к распространению власти государства и на экономическую область. Но логичнее были они только по-видимому, потому что в политическом отношении придерживались договорного начала. Но очевидно, что, при всяком договоре каждая из договаривающихся сторон выторговывает у противной стороны как можно больше, а уступает ей в замене как можно меньше. Такова уже природа всякого договора. Следовательно, сбыточное ли дело, чтобы управляемые уступили управляющим при договоре такую власть, которой они не имели даже при феодальном устройстве власти? Не наше дело, однако же, показывать теперь, насколько логичны, или нелогичны умы, дошедшие до отрицательного отношения как к экономической, так и к другим сторонам жизни европейских народов: мы имеем в виду ведь только показать, как могли у них самобытно развиться различные виды отрицания или нигилизма. С этой точки зрения, мы можем сказать, в параллель вышесказанному о религиозном и политическом нигилизме, что экономический идеал организации труда властью составляет такую же переходную ступень, как протестантизм в области религии и конституционализм в области политики, и

что неудовлетворительность его привела и тут к полному отрицанию, или нигилизму, т.е. к анархизму. Но особую характеристическую черту по отношению к экономическому идеалу составляет тот ложный круг, в котором приверженцы его должны вращаться, как я уже об этом упоминал, апеллируя от анархии к анархии же, как что их единственное логическое прибежище заключается в том, что они апеллируют от анархии частной к анархии общей, как бы говоря: хотя экономическая система обществ и была построена на анархическом принципе laisser faire, laisser passer, тем не менее, однако же, она оказалась неудовлетворительной, потому что была недостаточно анархична, будучи стесняема религиозными и политическими принципами, которые также должны сделаться анархичными, чтобы первый мог принести все ожидаемые от него плоды.

Взглянем теперь на развитие философии, к области которой ведь, собственно, принадлежит и нигилизм, насколько он теория и миросозерцание. Европейские народы получили свое философское наследие от народов классической древности, и преимущественно от греков, – наследие, к которому в течение долгого времени и они относились подражательно, сначала, в средневековой схоластике, к философии Аристотеля, переданной им арабами, а потом и к прочим философским системам со времен Возрождения. Хотя эта подражательность и была совершенно иного свойства, чем наша, ибо соединялась по крайней мере с тщательным изучением воспринимаемого, она все-таки оставалась бесплодной и только связывала умы, лишая их смелости самостоятельного мышления и исследования. Но на подражании в Европе не остановились, а дерзнули мыслить самостоятельно и самобытно, начав со знаменитого Декартова сомнения, с целью отыскать твердую точку опоры для достоверности познания сущего, буде таковая имеется. Известно, в чем ее нашел, или думал найти, Декарт. С этого, по общему понятию, начинается развитие новой философии. Положенное французским мыслителем начало развивалось, видоизменялось, дополнялось и, казалось, завершилось стройной системой действительного познания сущего в мона-

дологии и предустановленной гармонии Лейбница, составившей таким образом в философии явление аналогическое, или скорее параллельное, тому, чем были католицизм в религии и феодализм в политике. В довершение этого параллелизма, и тут начинается в критической философии Канта критика достигнутого, по-видимому, метафизического идеала. Она отвергает возможность познания вещей самих в себе, в их действительной сущности, т.е. метафизически отрицает метафизику, так же точно, как критическое протестантское богословие богословски отрицает всякое положительное богословие. Но после того, как метафизическое умозрение обошло это затруднение ловким приемом, – тем что самая критика познавания, утверждающая его недостаточность для познания сущности вещей, сама подвержена тому же сомнению, – и снова стало себя утверждать, как тождественное в ходе своего развития с самим объективным процессом развития мира, оно снова получило временное господство над умами. Это изумительное притязание возбудило общую против себя реакцию, приведшую к совершенному отрицанию философии вообще, т.е. к нигилизму и в этом отношении.

Как бы навстречу этому движению, и положительная наука – эта слава и величайшее приобретение нового, или точнее Кельто-Романо-Германского мира, – также пришла к отрицательному к самой себе отношению. Под этим отрицанием положительной наукой самой себя, или нигилизмом в науке, разумею я позитивизм, или так называемую положительной философию Конта. Утверждая, что наука ограничивается исследованием явлений и их законов, т.е. собственно говоря того, что замечается общего в различных более или менее обширных группах или разрядах явлений, и отвергая для науки возможность познания причин, и в то же время отрицая возможность всякого другого способа – методы – познавания, кроме положительно научного, – позитивизм очевидно низводит значение науки к ее практической применяемости и к удовлетворению любопытства, т.е. к приятному занятию разгадками разных задач, предлагаемых миром нашему любопытству.

Показывая в кратком очерке, как во всех проявлениях жизни европейская мысль доходила до отвержения своих начал, или до нигилизма, я вовсе не имел намерения доказывать этим путем ложность начал, лежащих в основании всех сторон жизни европейских народов. Моя цель заключалась единственно в констатировании того, что эти отрицательные результаты, между весьма многими другими положительными, были достигнуты там вполне самобытным и самостоятельным путем, точками отправления для коего послужили действительные явления тамошней жизни, и это после долгого хода развития, правильность или неправильность, законность или незаконность коего остается теперь для нас совершенно в стороне.

Можем ли мы указать на такую же самобытность в истории нашего нигилизма? Можем ли указать на точки его отправления из реальных же явлений нашей жизни, в том смысле, чтобы идеалы лежащие в их основе были подвергнуты критике, которая заставила бы от них отвернуться и пуститься в погоню за новыми высшими идеалами, заставила бы отыскивать их в поте лица и уже за сознательным отвержением первых и необретением вторых остановиться на всеобщем отрицании, на нигилизме? Можно ли указать на самостоятельный путь этого критического процесса развития?

Прежде всего спросим: в чем заключаются пункты обвинения против учения Православной Церкви, по коим она могла бы подлежать укору в загрязнении или искажении христианского идеала? Ведь Иудушки для этого очевидно не годятся! Тут, без сомнения, необходимо бы указать на явные противоречия с идеей христианства в учении или в практической деятельности, подобные тем, на которые нам указывает история римского католицизма, и которые фактически породили против себя протест, или на то зерно, на тот зародыш саморазрушения, который заключает в себе протестантизм, и разлагающее, улетучивающее действие которого на само понятие церкви также фактически проявилось в истории. Если видим что-либо подобное в нашей церкви, то никак не у нигилистов, а пожалуй у различных наших сектантов, как у старообрядцев,

так и у мистиков и рационалистов. У них мы действительно найдем критику нашей церкви и идеала ее, – справедливую или нет, до того мы ведь не касаемся; мы констатируем только исторический процесс, и можем сказать: да, у наших сектантов мы находим самобытно-отрицательное отношение к нашей церкви. Но в каком же родстве находятся с ними наши нигилисты? Что между ними общего? Столь мало, что даже когда они хотели подделаться к ним, были совершенно отвергнуты, как нечто совершенно чуждое.

Если вникнем в отношение нигилизма, да и прочих, менее радикальных течений нашей интеллигенции, как к нашему религиозному, так и ко всем прочим нашим идеалам, то, пожалуй, и действительно найдем, что составляло в их глазах загрязнение и искажение этих идеалов. Это было то, что эти идеалы носили на себе печать всяческого отвержения, именно, что они были свои, русские. Такой печати было вполне достаточно, чтобы, не вникая в сущность и глубь их, уже просто и прямо считать их вполне негодными. Если всякая мелочная бытовая черта считалась уже чем-то достойным презрения, потому что была русской, – как это, например, отразилось в самом языке тем презрительным оттенком, который присвоился у нас слову «доморощенный», – то во сколько же сильнейшей степени должно было это относиться к тому, что выставлялось, – horribile dictu![9] – русским идеалом религиозным, политическим, экономическим! Этого одного, конечно, было достаточно для их отвержения. Может ли что хорошее происходить от Назарета!

Отношение наших отрицателей к политическому идеалу русского народа было, если возможно, еще проще, еще элементарнее. Вникать в его сущность, в его особенности сравнительно с политическими идеалами других народов, без чего ведь никакое критическое отношение невозможно, – об этом никто и помышления не имел. Не обращалось внимания и на то, что это идеал чуть не ста миллионов людей, не со вчерашнего дня появившийся, а переживший столько исторических превратностей, мало того, не раз восстанавливавшийся самим русским

народом, когда ход событий делал его более или менее полным хозяином своих судеб. Правда, была черта в общественном и политическом строе России, которая не могла не считаться настоящим загрязнением и искажением политического идеала ее народа. Я говорю о крепостном праве.

Но кому же было неизвестно, что оно никогда не было основной характерной чертой его быта, необходимым продуктом его истории, существенной составной частью его общественного и политического идеала, подобно западному феодализму, а только случайной, временной политической или скорее административной мерой? Именно на этом примере крепостного права не оправдалась ли вера русского народа в его политический идеал, не пало ли рабство по манию русского царя? И вот тут-то явилась во всей своей силе ирония судьбы. Как раз в то самое время, когда осуществлялись надежды народа, когда политический идеал его столь блистательно и беспримерно оправдывался, в это самое время нарождался нигилизм, т.е. нарождалось отрицание, между прочим и даже главным образом этого самого идеала. Какое доказательство подражательности, несамобытности, беспочвенности нашего нигилизма может сравняться с этим совпадением? Не очевидно ли после этого, что он не исходил из явлений русской жизни, как из точек своего отправления? Более посчастливилось, правда, самобытным экономическим явлениям русской жизни: общине и артели. Но почему? Как, по Канту, на неведомую нам сущность вещей самих в себе мы надеваем субъективные формы нашего созерцания: пространство и время, и только в них их постигаем, также точно и наши демократы, социалисты и нигилисты надевают на совершенно неведомую им сущность экономических явлений русской жизни, общину и артель, формы западного социализма, и вне их не могут их постигнуть ни поклонники, ни хулители. Какое же после этого может быть и тут самостоятельное отношение, будет ли оно критическое или утвердительное!

Про философию и говорить нечего: самостоятельного философского движения в России не было, не было даже и того,

хотя бы подражательного, усвоения древней и новой философии, какое мы видим в средневековой Европе, не говоря уже о свободном и самостоятельном к ней отношении; следовательно, не могло быть и самостоятельной критики, которая бы привела к ее отрицанию, и отрицание это могло быть также только заимствованным, подражательным.

Итак, если все отрицательные положения нашего нигилизма суть повторения таких же положений западной мысли, если, сверх сего, нельзя признать, что точками отправления этих отрицаний служили явления русской жизни, что эти отрицания были плодом самостоятельной критической русской мысли, в каковом случае можно было считать наш нигилизм самостоятельной проверкой западного нигилизма, пришедшей от новых точек отправления самобытным трудом и развитием мысли к одинаковым результатам с западным нигилизмом; то ничего не остается, как признать его за явление вполне подражательное.

Прямой ход доказательств привел нас, следовательно, к признанию подражательного характера нашего нигилизма. Но в явлениях такой сложности, как все явления общественные, и в особенности как направления мысли и общественного мнения, один прямой ход доказательств редко бывает достаточен и вполне убедителен. Тут необходимо озираться по сторонам и тщательно осматривать – не изменяется ли наш вывод разными побочными обстоятельствами, не вошедшими в круг тех оснований, на коих мы его построили, и однако же существенно на него влиявшими, и не пришли ли мы через эту односторонность к ошибочным заключениям, по-видимому строго и безукоризненно логическим. Эта прямолинейность мысли, как назвал ее, кажется, Достоевский, и есть именно то, что называется радикализмом, который ничто иное, как крайний рационализм. Но этот крайний рационализм или радикализм даже и в области мысли, не говоря уже о практике, пригоден только в одном отделе знания – в математике.

Здесь, действительно, начав с верного, само по себе очевидного первоначального положения и правильно умоза-

ключая (на что строгая метода всегда дает возможность), мы неизбежно приходим и к верному выводу, без возможности ошибиться по пути. Но почему это так? Потому что всякое первоначальное математическое положение есть наше собственное же определение, про которое мы можем утверждать, что в него ничего не вкралось от нас независимого, само по себе данного; можем утверждать, что все, что мы в него вложили, в нем действительно и есть, и что напротив того, в нем кроме этого ничего нет другого, независимого, особенного, т.е. такого, которое не вытекало бы уже из принятого, как необходимое его следствие. Например, мы говорим: окружность есть замкнутая кривая линия, внутри которой есть точка – центр, от коей все точки кривой находятся в равном расстоянии. Это не более, как наше собственное определение, на которое мы были только наведены действительно существующими фигурами, похожими на окружность; и поэтому именно то свойство, которое мы вложили в нашу идеальную кривую, в ней не только вполне и в совершенстве есть, но и никакого другого, независимого от этого свойства в ней нет. Очевидно, что ни в каком действительно эмпирически данном случае это условие не соблюдено, или, по крайней мере, нам неизвестно, что оно соблюдено, ибо во всех этих случаях данное, в них заключающееся, не нами в них вложено, а существует от нас независимо, само по себе, нами же лишь замечено или открыто, и поэтому, строго говоря, мы никогда не может быть уверены, что чего-либо из этого независимо от нас данного мы не пропустили, или по ошибке туда чего-нибудь не привложили лишнего, там не находящегося. Во избежание возможных от сего ошибок, ничего не остается, как, не довольствуясь прямым логическим выводом, осматриваться кругом, по сторонам, не оказывается ли где чего-либо противоречивого в наших выводах с иными, вне нашего прямого вывода лежащими следствиями нашего положения.

Применяя это рассуждение к занимающему нас вопросу о русском нигилизме, мы действительно легко увидим, что есть такие обстоятельства, которые кажутся несогласующи-

мися с нашим выводом, а именно: Во 1-х, если наш нигилизм явление подражательное, западный же явление – самобытное, происшедшее от самостоятельного критического мышления, постепенно развивавшегося и исходившего из точек отправления данных тамошней жизнью; то как могло случиться, что наша интеллигенция (употребляю это слово в общепринятом у нас смысле) в сильнейшей мере одержима нигилистическим мировоззрением, чем интеллигенция западная? Хотя мы и не имеем статистики умственных направлений, ни у нас, ни на Западе, но можем, кажется, с достоверностью утверждать, что если даже абсолютное число лиц придерживающихся нигилистических учений в Европе (на континенте по крайней мере) и больше, чем у нас, то относительное число их к общему числу лиц могущих причисляться к интеллигенции будет, напротив того, к несчастью, у нас гораздо значительнее. Во 2-х, если наш нигилизм – подражание, то почему предметом этого подражания в такой преобладающей степени стал именно нигилизм, а не другое какое явление, другой какой-либо плод европейской жизни и мысли, которых они ведь в продолжение своего долгого пути произвели много, и притом прекраснейших, прежде чем в некоторых из течений своих дошли до нигилизма? В 3-х, нигилизм родился, развился, разросся и распространился у нас внезапно, в тот самый момент, как только представилась ему возможность высказаться в слове и деле. Как же объяснить эту быстроту и внезапность? Когда и как успела подражательность именно в этом одном направлении обхватить собой такую значительную часть нашей интеллигенции, чтобы оно могло стать господствующим? Не указывает ли это, напротив, на долговременное подготовление, а следовательно и как бы на некоторую продолжительную подготовительную работу мысли, что уже предполагает и некоторую самостоятельность ее?

На все эти три вопроса, думается мне, можно дать вполне удовлетворительные ответы только с точки зрения на наш нигилизм как на явление подражательное, а не с какой другой.

Относительно меньшее распространение нигилизма в Европе зависит от других причин. Западная жизнь в своем долго-

временном и славном течении не могла не породить сильной приверженности и любви к различным фазисам или этапам своей эволюции. Возьмем для примера французский легитимизм. Много ли в этой почтенной партии лиц действительно верящих в возможность возвращения старинной французской монархии, с ее знаменем белым, украшенным лилиями, и со всем, что им символизируется? Должно думать, что очень мало, – так мало, что едва ли и остались такие после смерти графа Шамбора[10]; да весьма сомнительно, чтобы и тот верил в осуществимость своей мечты. Но древняя слава, древний блеск французского королевства – этого le plus beau royaume, apres celui des cieux[11], – действуют так обаятельно не столько на умы, сколько на сердца многих французов, не потерявших исторического чувства, что вопреки невозможности в глазах их рассудка восстановления этой золотой для них поры, они предпочитают отвращать глаза от действительности и жить в этом прошедшем своей любовью и своими сердечными привязанностями. Радикалы, стоящие теперь во главе школьного дела во Франции, стремятся вытравить из молодого поколения эту любовь и уважение к прошедшему, стараются вселить в него убеждение, что французская история, то, что достойно носить название истории, началась только с 1789 года. Но пока это им плохо удается, и XVII век продолжает для французов сиfive в ореоле всякого рода величия, тогда как у нас изречение, что Петр I создал Россию, было так легко и охотно принято за великий исторический афоризм.

Но не одни легитимисты питают такую бескорыстную любовь к прошедшему. Все режимы, испытанные Францией в столь богатое переворотами последнее столетие, оставили искренних и жарких поклонников. Суровый, грозный и преступный 1793 год идеализуется своими поклонниками, чтителями единой, нераздельной, демократической, беспримесной (даже для идей социализма) республики. Имеет их не мало и славная Первая империя, и конституционная буржуазная Июльская монархия, и даже так осрамившаяся под конец Вторая империя. Про Англию и говорить нечего. Любовь ее к прежним

формам жизни слишком известна и многими ставится ей даже в укор. Но что такое немецкий романтизм, некогда господствовавший в литературе, а ныне перешедший на музыку, как не любовь и поклонение древнему величию и древней славе империи Гогенштауфенов? И мы не ошибемся сказать, что этот романтизм, как излюбленная немецкая идея, осуществился в соответствующей времени форме в Бисмарковом единстве Германии. Возьмем, как пример из другой области жизни, знаменитого Ренана. По своим взглядам на религию он, конечно, полный радикал, но назовем ли его нигилистом в этом отношении? Нет, потому что он сохранил любовь к старому идеалу – не христианства только, но и католицизма. У него сердце в разладе с умом. Многие называют это сентиментальничаньем, – пусть так; я, повторю еще раз, не хвалю и не осуждаю, а только констатирую факт. Другая причина, ослабляющая относительное значение нигилизма в Европе, еще важнее. Так как развитие жизни и мысли было там органическое, самобытное, то все стороны его не шли в ногу. Одни остановились на одном пункте, другие на другом; разумно или не разумно, последовательно или непоследовательно, логично или нелогично, но в пункте, на котором кто остановился, и видит он если и не абсолютную, то относительную истину, которая, хотя может и должна развиться и идти далее, но не тем путем, которым пошли ушедшие дальше его, а иным, хотя бы еще вовсе неизвестным. Все эти промежуточные станции или этапы представляются им если и не полной целью пути, то законной и необходимой остановкой, и потому они далеки от нигилизма или полного отрицания. А если что и отрицают, то не весь пройденный путь, но только часть его после известного поворота, – не все достигнутые результаты и полученные плоды, а только те, которые выросли после того, как была покинута настоящая дорога. Другие находят и весь путь правильным, и думают продолжать плавание не изменяя румба компаса. Так это и в религии, и в политике, и в экономическом и общественном быте, и в искусстве, и в философии, и в положительной науке. Очевидно, что при таком положении дела остается много мест

незанятых нигилизмом в общественном мнении, много людей упорно стоящих на различных этапах развития.

У нас этой любви к прошедшей жизни не было и не могло быть там, где мысль была настроена подражательно, ибо подражательность необходимо предполагает отсутствие любви к своему. Если бы она сохранилась, то как бы бросили свое и обратились к чужому? Подражательность и любовь к своему – понятия взаимно исключающие друг друга.

Далее, если наш нигилизм подражание, а не самобытное явление, то само собой разумеется, что он не мог иметь своих фазисов развития, а следовательно никому из подражателей и не на чем было остановиться: не было станций, этапов, точек отдохновения и опоры, на которых можно бы было остановиться и стоять с любовью сердца и с упорным убеждением ума. Но если не было точек опоры и остановки за отсутствием хода самобытного развития, то почему же было не найтись таковым в самом ходе подражательности? Почему должна была эта подражательность обратиться как к предмету достойному подражания, только к крайним точкам пути пройденного европейским развитием, точкам, оказавшимся отрицательными, нигилистическими? Это и составляет наш второй вопрос.

Отвечать на него также не трудно: таков уже неизбежный, необходимый результат всякой подражательности, в чем бы она ни заключалась, к какой бы области жизни и мысли не относилась. Подражательность, по самому существу своему, характеризуется самой крайней радикальностью некоторого особого рода и свойства, – радикальностью не по существу, а по временной последовательности явлений. Сакраментальные слова ее суть: «современная жизнь», «современная наука», «современное мышление», «современный покрой шляпки или платья», или «последнее слово», все равно, – науки, философии, жизни или меблировки салонов. Иначе ведь и быть не может. Подражательность, сказали мы, да и без наших слов это само собой понятно, предполагает отсутствие любви к своему; а кто отрешился от этой любви – любви прирожденной, самобытной, роковой, то какую же собственно любовь может

он иметь к чему-либо чужому? Ни к чему особенному, ибо это особенное не разобрано и не взвешено подражателем. Любезно ему в чужом то, что оно чужое, что оно принадлежит тому, кого оно считает достойным подражания, и в этом чужом привлекательным, достойным подражания очевидно может ему казаться лишь самое новое, самое последнее. В самом деле, с чего, с какой стати будет он подражать тому, что отвержено уже самим оригиналом, что им самим найдено несостоятельным и что он уже отбросил или ниспроверг, если еще не на деле, то по крайней мере уже в мысли? Очевидно, что только то, на чем остановилась передовая мысль, может, по мнению подражателя, заслуживать подражания. Скажут, что и подражатель мог бы отнестись критически к явлениям чужой жизни; но тогда, и поэтому самому, он не был бы уже подражателем, а самобытным деятелем или мыслителем, а если бы был самобытным, то начал бы со своих исходных точек, подверг бы их сначала изучению, а затем критике, и вел бы дело самостоятельной работой. Но именно этого-то наши подражатели, как всякому известно, и не делали, не делали потому, что свое без исследования признали негодным и недостойным исследования, а себя неспособными к исследованию, доверившись чужим силам, как бы говоря: «вам и книги в руки». Доверившись же чужому уму и ходу чужой жизни, они должны были признать последние результаты деятельности этого ума за самое верное решение задачи из всех доселе предложенных как жизнью, так и мыслью. Подражатель и становится подражателем потому, что счел себя некомпетентным судьей в существе дела и потому принужден довольствоваться единственным оставшимся для него критерием или признаком истины – формальной последовательностью явлений по времени. Кто клянется словами учителя, тот может клясться ведь только его последними словами, а не теми, конечно, которые он уже сам отверг. Для подражателя жизнь и мысль предмета его подражания, – в нашем случае Запада или Европы, – развивалась закономерно и правильно; мы же только зрители этого процесса, осчастливлены возможностью пересаживать к себе готовые плоды его.

Но какие же именно, если они различные? Конечно те, которые составляют последние слова, последние результаты развития образца. Тут и рассуждать нечего, да и не должно сметь рассуждать, – остается лишь благоговеть и воспринимать то, что он предлагает последнего, а следовательно и наилучшего. Другого признака для лучшего, по самой сущности подражания, у подражателя нет, и быть не может.

В конце пятидесятых годов случилось мне быть в Уральске и на тамошних вечерах видеть всех казачек, какого бы чина их мужья или отцы ни были, одетыми в русский костюм, в бархатных, глазетовых, атласных сарафанах, очень красивых и нарядных. Любовь к своему родному, значит, предохраняла их еще лет около тридцати тому назад, – не знаю как теперь, – от подражания иноземным модам. Потому, что мы видим вокруг себя, это было явлением очень необыкновенным, странным, но однако же совершенно понятным и объяснимым. Любили они свое, старое, родное, казавшееся им красивым и удобным, и потому чужого не принимали. Но мыслимо ли, спрашиваю я, встретить в каком бы то ни было захолустье, перенявшем уже чужую одежду – старомодные платья, шляпку, прическу и т.п., знай что они старомодны, иначе как в маскараде? Столичный житель конечно найдет, что провинциальные щеголи и щеголихи во многом отстали от последних парижских мод; но ведь это только потому, что последние моды до них не дошли, а те, которым они следуют, они все-таки считают за последние. Критиковать же моду, находить, что новое хуже такого-то или такого-то старого, конечно не им, не их столичным собратьям в голову не войдет, потому что они подражатели, и в качестве таковых ни в какую критику не считают себя в праве пускаться, а всегда признают последнее превосходным и восхитительным. Последнее, новейшее – для них единственно мыслимый критерий для распознавания лучшего, удобнейшего, красивейшего в одежде, меблировке, сервировке стола, одним словом – во всем, к чему они относятся подражательно. Так же точно, если кто не имеет самостоятельного суждения о музыке, живописи и вообще о художественных произведениях, и однако

же желает или считает себя обязанным высказывать о них свое мнение, то и ему ничего не остается, как руководствоваться новейшими, последними из известных ему книжных или журнальных оценок. В глазах подражателя и в высших сферах жизни и мысли какой-либо интерес, значение и важность может иметь не жизнь или наука, а только последнее их слово: иначе он ведь рискует, по совершенно правильному с его точки зрения понятию, принять какой-нибудь старый, негодный, уже пережитой хлам за настоящий образец жизни и мысли, которым он и сам желает подражать и других подражать заставить. В таком образе мыслей находит подражательность не малую еще поддержку и подкрепление в учении о прогрессе. Если все движется поступательно и улучшительно, то не вполне ли естественно и разумно принять последнее за тождественное с наилучшим, с наиболее приближающимся к истинному? Конечно, говоря вообще, и при прогрессе считаются возможными и отклонения в сторону, и сбивания с пути, но ведь это принимается только вообще, так сказать, для очистки совести; а в частности, где же тут разбирать и дело ли это подражателя! Это пусть уже разбирают те, которые почище, те, которые сами поставляют прогресс. Если и ошибутся, то заметят ошибку и повернут в другую сторону; не велик будет труд повернуть вслед за ними.

Но во время появления нашего нигилизма случилась на небе европейской жизни и мысли такая конъюнкция или расположение руководящих светил, что радикализм, присущий подражательности, т.е. радикализм современности и последнего слова, совпал с радикализмом по существу, который и есть нигилизм, – конъюнкция, которая и доселе продолжается. Посему нигилизм и должен был получить господство в умственном направлении нашей подражательной интеллигенции.

Теперь последнее затруднение! Хотя новейшие моды, благодаря подражательности, принимаются очень скоро при нынешних средствах сообщения и распространяются весьма быстро; хотя, с другой стороны, и наш нигилизм явление также вполне подражательное: но все же его почти внезапное

явление и быстрое распространение подобное разливу воды, прорвавшей плотину, или пламени, охватившему солому, может казаться непонятным, недостаточно объясненным нашим истолкованием его подражательностью. Ведь образ мыслей, по самому существу своему, не может столь быстро меняться, как покрой одежды, меблировка комнат или сервировка стола. Даже эти две последние менее быстро меняются, чем первый, потому что на них затрачивается некоторый капитал, и не всегда есть средства для их скорой замены, при всем желании ее сделать. А мысли, идеи – ведь их надо хоть сколько-нибудь себе усвоить; между новыми и старыми должна же предварительно произойти какая-нибудь борьба. А тут в конце пятидесятых и в самом начале шестидесятых годов произошла точно перемена декораций. Конечно, в глазах тогдашней интеллигенции авторитет гг. Чернышевского, Добролюбова, Писарева и прочих был очень высок, но ведь и сам этот авторитет надо было сначала им приобрести, так как это были все люди новые, а как известно, сам авторитет свой приобрели они ни чем иным, как проповедью тех же крайних идей, совокупность которых, вслед за Тургеневым, была прозвана нигилизмом. Мы вертимся, следовательно, в ложном кругу: авторитет упомянутых лиц должен нам объяснить быстроту распространения идей; а только проповедь самих этих идей и доставила им авторитет, ибо других предшествовавших заслуг или прав на него за ними не водилось, да никто их им и не приписывал. Следовательно, должна была существовать в публике особая восприимчивость именно к этим идеям, особая внутренняя к ним симпатия. Как же, кем или чем были они произведены? В чем состояло подготовление к столь быстрому восприятию и распространению нигилизма в разных слоях нашей интеллигенции, заставивших некоторых думать и утверждать, будто есть какое-то естественное сродство с нигилизмом в самом духе русском?

Подражательность началась у нас с реформ Петра I, в своей страстности далеко перешедших за должную меру заимствований, необходимых тогда собственно лишь для не-

которых чисто государственных потребностей. Эта подражательность распространялась постепенно на все области жизни и мысли, все возрастая и возрастая, и по разрядам явлений, к которым относилась, и по кругу сословий и лиц, которых охватывала из Петербурга, как из центра. Весьма было бы интересно проследить за ходом этого распространения в обоих смыслах. Для пояснения моей мысли я приведу здесь лишь факт, что, начавшись в области чисто государственной, с войска, флота (где действительно была необходима) и администрации, подражательность долго, почти все прошлое столетие не налагала печати своей на нашу внешнюю политику, которая за небольшими лишь исключениями оставалась самобытной и чисто национальной до самой смерти Екатерины Великой, и во благо нам было это. Только с этого времени потеряла наша внешняя политика национальность направления, и тем обратила всю нашу мощь в служебную силу для чуждых нам европейских, преимущественно же немецких интересов; а когда в течение нынешнего столетия и призывалась на короткое время народно-русская политика, под давлением ли общественного мнения, как в 1877 году, или по собственному почину руководящих лиц, как в 1828–1853 годах, это направление не имело выдержки, и даже при благоприятных результатах войн, достигнутых большими жертвами крови и денег, мы поступались ими.

Но подражательность эта, все возрастающая и расширяющаяся, была все-таки бессознательной. Мы даже обольщались мыслью, что идем путем самостоятельного развития. Только с конца тридцатых и начала сороковых годов, наша подражательность была приведена к сознанию, и притом с двух противоположных точек зрения. Одни, славянофилы, обличали ее и усматривали в ней корень и причину всех наших внутренних зол и неустройств, всей нашей культурной слабости. Другие, западники, напротив того, видели все зло нашей жизни в недостаточности нашей подражательности, в ее односторонности и несмелости. По их мнению, все зло заключалось в путах, налагаемых на нас национальностью, в путах, препятствующих

нам свободно двигаться вперед по пути прогресса, начертанному Западом. Они обличали, отрицали и опровергали тогда, как и до сих пор это продолжают делать, мечту самобытности, и в заимствовании сущности и форм западной жизни и мысли видели единственный путь спасения, единственный путь истинного прогресса.

Это западническое направление, проповедовавшееся в наиболее распространенных журналах и с кафедр талантливейшими и влиятельнейшими профессорами, завоевывало себе все больший и больший круг читателей и слушателей уже по одному тому, что гармонировало со всем подражательным характером, складом и строем нашей культуры. Скоро стало оно господствующим и в сознании нашей интеллигенции, как уже и прежде было на деле, и, несмотря на разные правительственные течения, на подтягивания и ослабления цензурных поводьев, продолжало преобладать в течение всех сороковых и пятидесятых годов.

Этой проповедью сознательной подражательности были вытравлены из умов всякие начала самобытности, жившие в них хотя бы в качестве предрассудков или иллюзий. Даже всякое стремление к самобытности было заклеймено названиями обскурантизма, косности и т.п. нелестными эпитетами, и этим самым была возбуждена алчба и жажда напитаться и напиться приготовленным уже и для нас на Западе брашном и питием. Умы, таким образом настроенные, были как губка готовая всосать в себя жидкость, или как пустой сосуд, ожидающий своего содержания и готовый всей силой пустоты втянуть его в себя, лишь только ему будет дано прикоснуться к нему своим горлышком.

Это западническое учение само по себе никакого содержания еще не предлагало, а только приготовляло к его восприятию. Но мы уже видели – каково непременно должно быть то содержание, которое соответствует подражательности, к которому она влечется, как бы по некоторому избирательному сродству, которого она настоятельно требует по свойству ее особого рода радикальности.

Часто можно слышать упрек, что подцензурная литература сороковых, а частью даже и пятидесятых годов, подготовила умы к нигилизму, который внезапно обнаружился в первые годы прошедшего царствования, той затаенной проповедью отрицательных начал, которую тогдашние журналы умели искусно проводить в том, что печаталось в них между строк. От этого упрека, думаю я, должно их совершенно освободить. Этим я не хочу сказать, чтобы в них не было такого междустрочного содержания. Оно было. Отыскать и указать его было бы нетрудно. Но, не говоря уже о том, что оно не столь обыкновенно и часто встречалось, как полагают, и то, что встречалось, не имело и не могло иметь почти никакого действия на массы умов, по той весьма простой причине, что было понятно только для тех, которым и без того содержание этого междустрочного писания уже было известно, и которым следовательно оно ничего нового не сообщало, которых ничему не научало. Так называемое писание между строк есть своего рода письмо символическое, потому что оно под видимым смыслом скрывает другой, потаенный. Но символическое письмо, за редкими исключениями, может быть разгадано или только теми, кто имеет ключ к нему, или теми, кому уже известно его содержание. Так ведь, например, и иероглифы были прочитаны Шамполионом лишь благодаря тому, что ему посчастливилось найти греческий перевод иероглифической надписи. Но какой труд, какое внимание требуются для прочтения всякой криптографии! – и можно ли предположить, чтобы обыкновенный читатель, не любящий и не привыкший слишком углубляться в смысл им читаемого, и только слегка по нем скользящий, задал себе труд отгадывать смысл этого таинственного междустрочного письма, хотя конечно он и гораздо легче отгадывался чем египетские иероглифы? Так, недавно обратила на себя внимание и наделала много шума одна олеография, разосланная «Нивою», как премия ее подписчикам. Удивительные вещи указывались в ней, также будто бы междускладочно (если позволено так выразиться) в ней нарисованные. Признаюсь, и после указаний я немного тут разобрал. Но если бы указаний не было, если бы

шум не был поднят, то независимо от того, есть ли что между складками или нет, олеография успела бы преспокойно отвисеть свое время на стенах и быть заброшенной на чердаки и в чуланы, не обратив на себя ничьего внимания в тайнописном отношении. Точно то же было и с противоцензурной, отрицательной, нигилистической, что ли, междустрочной проповедью журналов сороковых годов. В большинстве случаев обыкновенный читатель даже и не догадывался, что между строками что-нибудь написано, – и если оно и было в самом деле написано, то совершенно для него незаметными симпатическими чернилами, подносить которые к жару или посыпать проявительным порошком ему и в голову не приходило, да и порошка такого у него вовсе не было.

Нет, но эта тайная междустрочная проповедь отрицательных начал, или точнее только намеки на них, во всяком случае отрывочные, бессвязные и мало кому вполне понятные, послужили подготовкой нигилизму. Подготовкой этой была явная, открытая проповедь подражательности, хорошо известная и самой цензуре и той высшей полицейской власти, которая имела своим специальным назначением следить за направлением умов. И не только была она им известна, но сверх сего была и одобряема ими и им сочувственна, ибо вполне гармонировала со строем нашей жизни и только приводила к осознанию весь ход последнего периода нашей истории.

Кроме утверждения в умах этого стремления, этой сознательной уже жажды и алчбы к подражанию, ничего более и не требовалось для наполнения их нигилизмом при данных условиях, при данном положении европейской жизни и мысли; ибо, как я уже показал выше, не сама жизнь, не сама наука, не сама мысль важны для подражателей, а только последнее их слово.

При других условиях подражаемого образца и явления были бы другие. Умы подражательные, из коих и жизнью, т.е. ходом исторического процесса, и литературной, и изустной проповедью вытравлено самобытное содержание и любовь к своему, могли бы одинаково наполниться всякими отвлеченными идеалами: и средневековым романтизмом, и аристокра-

тизмом, и любой философской системой так же точно, как и нигилизмом, смотря по тому, какое направление было бы в данный момент последним словом жизни или мысли той культурной среды, которая служит им образцом для подражания. Но, во всяком случае, результат этот, каким бы он ни был, был бы в сущности одинаково вредным, хотя бы и не проявлялся в форме столь острой болезни, как наш нигилизм.

Я собственно кончил, но однако ж для полноты должен представить еще одно разъяснение. Неужели не нашлось своевременно в России умов достаточно прозорливых, чтобы понять всю ложь, весь вред, все бессмыслие подражательности и противостоять ей? Я уже заметил, да и всем это известно, что почти одновременно с западничеством возникло у нас и противоположное направление умов, вполне это понимавшее и видевшее единственный путь спасения и преуспеяния в самобытности развития. К этому направлению принадлежали люди высокоталантливые, высокообразованные, и притом не только проникнутые идеями русской жизни, но и гораздо лучше своих противников знакомые с ходом развития западной жизни и западных идей, – с европейской жизнью, наукой и мыслью. Но бессознательная подражательность была уже так вкоренена в умы самих власть имущих, что, инстинктивно симпатизируя с западническим направлением, приняли и они возжигаемый славянофилами спасительный маяк за обманный огонь, ведущий корабль на подводные скалы и мели. Известно, что не только когда западническое направление процветало под строгой цензурой, но и когда значительная степень свободы, сначала под легкой цензурой, а потом и вовсе без нее, была дана нашей литературе, когда не только неопределенно-западнические, но уже и прямо-нигилистические идеи могли открыто печатно излагаться и страстно проповедоваться: издания славянофилов, как наивреднейшие, запрещались одно за другим: «Молва», «Парус», «День», «Москвич» – как костями покрыли скорбный путь, которым должно было пробиваться русское самобытное направление. Даже издание, не относившееся собственно к славянофильскому направлению, но род-

ственное ему тем, что также стояло за самобытность, именно «Время» Достоевского, было запрещено при самом свободном взгляде на литературу из-за пустой обмолвки или недоразумения по польскому делу, между тем как другие журналы и газеты, явно сочувствовавшие польщизне, продолжали благоденствовать. Так претила всякая мысль о самобытности! А противодействие часто талантливой и страстной проповеди подражательности противниками по меньшей мере столь же талантливыми, конечно, имело бы весьма сильное влияние в то именно время, когда учение о сознательной подражательности только что начиналось, не успело еще окрепнуть, утвердиться в умах и находилось, как говорится в химии, in statu nascenti[12]. Впоследствии, когда, на свободе распространившись и утвердившись, оно получило, подобно всякому учению, в значительной мере характер догматичности, неоспоримости и предрассудка, искоренить его уже было трудно. Я не хочу этим сказать, что если бы славянофильскому направлению дана была та же свобода развиваться и распространяться своевременно путем печати, как направлению противоположному, – то мы совершенно бы избавились от нигилизма: но полагаю, что смело можно утверждать, что он никогда бы не занял тогда господствующего положения в среде нашей интеллигенции, всегда встречал бы в значительной ее доле сильный отпор, и потому не получил бы того повального характера, тех пагубных последствий, какие имел и до сих пор еще имеет.

Таким образом, по не зависящим, как у нас говорится, от редакции причинам, западническое направление, сознательно стоявшее за подражательность, не имело достойных себе противников. Таковыми были лишь издания с так называемым казенным направлением, которые своей бездарностью, тошноту возбуждающим подобострастием, льстивостью и лживостью тона, в сущности, служат отрицательным образом тому же делу, как и западнические, выгодно оттеняя их собой.

При этом невольно воскликнешь: какой неразумной и страшной силой может сделаться цензура, какие медвежьи услуги может она оказывать, как велик может быть приноси-

мый ею вред при всем желании принести пользу, и потому как должна она быть осторожна не столько в том, что она допускает, сколько в том, что она запрещает! Так в настоящем случае не в том должно ее обвинять, что она пропускала междустрочные намеки, – мы видим, что они были почти безвредны, и не в том, что под сенью ее процветало западническое подражательное направление, – какой мало-мальски законный предлог могла бы она иметь, чтобы стеснять его? – а в том, что она яростно преследовала то единственное направление, которое могло бы служить противовесом учению о подражательности, из коего проистекает все наше зло: как нигилизм, – указанным мной косвенным путем, – так и всякое другое, в какой бы то ни было стороне жизни и мысли.

Итак, кажется мне, на все три вопроса ответил я удовлетворительно, показав: как и почему относительное распространение нигилизма значительнее в нашей интеллигенции, чем на Западе; почему подражательность наполнилась именно нигилистическим, а не другим каким содержанием; и наконец – почему нигилизм мог так быстро, почти внезапно возникнуть и так широко распространиться, и что послужило подготовлением к этому*.

Из этого же разбора причин и условий происхождения и распространения нашего нигилизма выясняются и те средства, которыми это печальное явление нашей умственной жизни могло бы быть уврачевано и устранено. Один из этих путей был бы тот, от нас не зависящий, если бы сама подражательность

* Остается просить глубокоуважаемого автора, чтобы он так же тщательно, в среде самих *жизненных на Руси явлений*, раскрыл причины, благоприятствовавшие успеху заносного нигилизма, побуждавшие свое, *родимое зло* лечить лекарством от чужой болезни или одевать в чужую болезнь. Человек болен, например, простым расстройством желудка от неудобоваримой пищи и воображает, что он болен – ну хоть холерой, которая эпидемически свирепствует у соседей! А мнимо-больные подчас хуже настоящих больных. Ложь подражания была не в одной области отвлеченной мысли, а во всей общественной и государственной русской *жизни*, – хотя и бессознательная, как говорит автор, однако тем не менее вносившая фальшь и кривду в общественную атмосферу, в сердца и умы, сбивавшая с толку самые усилия сознания.

наша получила другое направление, что могло бы случиться лишь, если бы отрицательное нигилистическое направление потеряло свою силу и значение в своем первоисточнике – на Западе, если бы оно там перестало считаться передовым. Вслед за этим поворотом в любую сторону, по истечении некоторого времени, конечно и наша подражательность повернула бы туда же. Но на это рассчитывать невозможно, ибо логический процесс должен совершить свое полное роковое течение. А если бы и можно было рассчитывать, то такое излечение вовсе и нежелательно, ибо было бы только переменой одной болезни на другую, хотя и менее острую: мы все продолжали бы носиться по ветру учений, без балласта, руля и компаса, завися единственно от состояния погоды, от ведра или ненастья за нашим западным горизонтом. Другой путь был бы обращением к самобытности во всех сферах мысли и жизни. Кроме этого – все будет лишь временно и слабо действующим паллиативом, хотя и полезным в том или другом отношении.

Г. Владимир Соловьев[1] о православии и католицизме

Сближение между нами возможно ли?
Кроме решительного отрицания,
иного ответа нельзя дать на этот вопрос.
Истина не допускает сделок.

Хомяков.
Несколько слов православного христианина.

В одном из своих писем к Пальмеру[2] Хомяков сказал: «Я уверен в справедливости того мнения, что важнейшее препятствие к единению заключается не в тех различиях, которые бросаются в глаза, т.е. не в формальной стороне учений, но в духе, господствующем в западных церквах, в их страстях, привычках и предрассудках, а главным образом, в том чувстве самолюбия, которое не допускает сознания прежних заблуж-

дений, в том горделивом пренебрежении, вследствие которого Запад никогда не решится признать, что Божественная истина столько лет охранялась отсталым и презренным Востоком». Слова эти с удивительной точностью оправдались при отделении так называемых старокатоликов, которые, отшатнувшись от папской непогрешимости, утвержденной как догмат, по-видимому не имели бы уже никаких причин не присоединиться к православию, ибо все, догматически отличающее их от нас, осталось висящим на воздухе по расторжении цепи папской непогрешимости. Чтобы сказать эти слова и повторить их за ним, нужно было и у Хомякова, и у всех православных непоколебимое убеждение, что христианская истина на стороне этого Востока; и вдруг от человека и глубоко религиозного, и много занимавшегося религиозными вопросами, и много размышлявшего о богословских предметах, слышим мы как раз слова, диаметрально противоположные только что приведенным. Проповедь самоотвержения обращается к нам, к смиренному Востоку. Оказывается, что мы должны победить страсти, привычки и предрассудки, победить то чувство самолюбия, которое не допускает сознания прежних заблуждений, унаследованных от Византии. Не должно ли было это всех удивить? Меня, по крайней мере, это удивило до крайности.

Г. Соловьев в нескольких статьях своих в «Руси» и в «Известиях С.-Петербургского Славянского Благотворительного Общества» посмотрел на это дело не с точки зрения полного беспристрастия, а принял в нем явно и открыто сторону римского католичества. Это видно из его изложения исторического хода события, неправильно называемого разделением церквей, события, в котором, по его мнению, главная вина падает на Византию и византизм. То же видим и в других местах этих статей, например, в объяснении смысла и значения магометанства. Автор наш говорит: «Между православной верой и жизнью православного общества не было сообразности». Это совершенно верно, но ведь и на Западе точно так же, как и на Востоке; почему же он говорит, относя свои слова исключительно к Востоку: «Православно исповедуя единого Христа

в согласном сочетании божественной и человеческой природы, византийские христиане в своей полуязыческой действительности разрывали этот союз... Победившие ересь в мысли, побеждались ею в собственном действии; православно рассуждавшие жили еретически». Опять справедливо, но будто только византийские христиане? Все это рассуждение, продолжаясь в том же духе, оканчивается словами: «Восточные христиане потеряли то, в чем грешили, в чем не были христианами – независимость политической и общественной жизни». Будто западные христиане были в этом отношении более христианами, чем восточные?

Так же точно все недостатки, все пороки Византии выставляются на справедливый позор, а о подвиге той же Византии, величайшем, самом геройском подвиге самоотвержения, когда-либо совершенном народом, упоминается как о действии, заслуживающем укора, а не похвал, и о постыднейшем акте торга и духовного соблазна, совершенном Римом, не упоминается вовсе. Взирая на эти два исторические поступка, я счел себя вправе сказать: «Как сатана соблазнитель, говорил Рим одряхлевшей Византии: видишь ли царство сие? пади и поклонися мне, и все будет твое». – Ввиду грозы Магомета собирает он Флорентийский собор и соглашается протянуть руку помощи погибавшему не иначе, как под условием отречения от православия. Дряхлая Византия показала миру невиданный пример духовного героизма. Она предпочла политическую смерть и все ужасы варварского ига измене вере, ценой которой предлагалось спасение. Откуда это меряние двумя мерами?

Это явное пристрастие настолько изумило меня, так противоречило всему, чего я ожидал от г. Соловьева, а с другой стороны, все доводы его показались мне столь мало убедительными, и цели его столь неясными и туманными, что становилось странным, как мог он сам убедиться первыми, или увлечься последними. Из этого родилось у меня невольно некоторое подозрение, что г. Соловьев не относился свободно к своему предмету, что он был прельщен, соблазнен, подкуплен. Но да не приходит ни он, ни читатели в ужас от

моей дерзости. Да, думаю я, подкуплен, но ведь, само собой разумеется, не деньгами, не лестью и ничем сему подобным, а чем-то совершенно иным, чем мог бы быть подкуплен даже человек честности Аристида[3], бескорыстия Сократа, смирения христианского подвижника.

Г. Соловьев человек, без сомнения, с философским направлением ума. Качество довольно редкое и очень ценное, но, однако же, как и всякое умственное и даже как и всякое нравственное качество, имеющее и свои слабые стороны, заставляющие впадать в пороки своих добродетелей. Опыт нам показывает, что главный недостаток или порок философствующих умов, т.е. метафизически философствующих, есть склонность к симметрическим выводам. При построении мира по логическим законам ума, является схематизм, и в этих логических схемах все так прекрасно укладывается по симметрическим рубрикам, которые, в свою очередь, столь же симметрически подразделяются. Затем находят оправдание этому схематизму в том, что будто бы он ясно проявляется в объективных явлениях мира. Взглянем на столь эмпирическое, по-видимому, дело, как зоологическая и ботаническая систематика; и к ней Окены, Фицингеры, Рейхенбахи, все люди высокого ума и с большими положительными знаниями, находили возможность прилагать свои симметрические, схематические формулы.

В таких симметрических делениях принимали за таинственного направителя гармонии развития или эволюции некоторые числа: кто *четыре*, как пифагорейцы, кто *пять*, как английский зоолог Мак-Ли (Mc'Leay), но излюбленнейшим числом было *три*. Трихотомия была любимейшей формулой схематически-симметрического деления. Когда грубые, неуклюжие факты не поддавались этой симметрии, их подталкивали, подпихивали, давили, по меткому французскому выражению, un coup de plume[4].

Вот эту-то любовь к симметрически-схематической троичности заметил я и у нашего многоуважаемого автора, и подозреваю, что именно она прельстила, соблазнила, подкупила его, – сейчас увидим, каким образом. Сначала укажем

на примеры таких симметрических делений с их почти неизбежными un coup de plume.

Начинается дело со знаменитого противоположения Востока и Запада, будто бы имевшего место с самого начала человеческой истории, вероятно, как проявление не менее, чем симметрическая схема, излюбленной метафизикой полярности. Но на беду, в начале истории – должно ведь, конечно, разуметь культурной истории, оставив в стороне каменные века – мы знаем только Восток, т.е. страны западной, южной и восточной Азии и Египет, без малейшей примеси Запада. Этот Запад, т.е. Европа, был тогда покрыт сплошным покровом варварства, или скорее дикости, и в этом качестве никакой культурной противоположности Востоку представлять не мог. Следовательно, история началась без полярного противоположения. Это первый un coup de plume, первое подталкивание и подпихивание фактов с тем, чтобы заставить их гармонировать с логической схемой.

Далее, за характеристику Востока принимается подчинение человека во всем сверхчеловеческой силе, а за характеристику Запада – самодеятельность человека. Но ни один народ в мире не заботился и не заботится менее о сверхъестественной силе как та треть человечества, которая живет в Китае, как раз на самом настоящем Востоке. Следовательно, эту неудобную и неподатливую на схемы треть человечества приходится выкинуть из истории. Второй un coup de plume. Вообще этот несносный Китай стоит поперек всем априористическим построениям истории! Выключение его мотивируется тем, что Китай уже чересчур восточен по своей замкнутости и неподвижности. Но замкнутость его происходила от чисто внешних географических причин, по духу же и направлению не менее его были замкнуты Индия и Египет. Что же касается до неподвижности, то очевидно, что народ, сделавший большую часть основных культуродных изобретений, не мог быть неподвижным, что теперешняя и давняя уже неподвижность – не отличительное свойство духа его, а возрастной признак его долговременной национальной и государственной жизни.

В доказательство того, что теософическая идея связывала все мышление восточных народов и обращала в теургию все творческое воздействие человека на природу, между прочим приводится и то, что земледелие было у них богослужебным обрядом. Но таковым было оно и есть именно у китайцев, наименее теософического, а, следовательно, и наименее теургического народа изо всех живущих и когда-либо живших на земле.

Но и народы Востока проявляют свою общую характеристическую черту в различных формах: «Индия пришла к признанию истинного божества, как чистой, от всего *отрешенной бесконечности*. Это есть истина, хотя и не вся истина. Религиозная мысль Востока не остановилась на индийском миросозерцании». «Тут, – продолжает наш автор, – скрывается раздвоение и противоречие». Это доказывается, и далее выводится «таким образом умозрительная противоположность сверхсущей истины и ложного бытия заменяется *нравственной противоположностью добра и зла.* Вместо Брамы и Майи являются Ормузд и Ариман»[5], т.е. мировоззрение иранское. Но и на этом дело не останавливается. Все дело в борьбе, цель ее – торжество доброго начала. Торжество злого начала – смерть. Торжество доброго – жизнь всему, и если торжество полное – то жизнь вечная. «*Идея жизни и жизни вечной* лежит в основе египетской религии и культуры». Вот и прекрасно, показаны три формы религиозной жизни Востока. Это развитие выставлено как эволюционный процесс, следовательно, как процесс преемственный, что подтверждается еще следующим местом: «Религиозный человек Востока, *на последней ступени своего развития – в Египте*, обоготворил идею жизни». Да иначе какой бы и смысл имели эта великолепная трихотомия и эти дивные три момента развития, если бы не выражались последовательно? Только какое понадобилось для них подталкивание и подпихивание фактов, какой жестокий coup de plume, точно землетрясение, перепутавшее всю хронологию, всю последовательность явлений во времени! Египет не последняя, а первая ступень развития религиозного человека Востока,

несколькими тысячелетиями предшествовавшая развитию религиозного человека в Индии и Иране. Да и индийская ступень не предшествовала иранской, а по меньшей мере была ей одновременна – я разумею браманизм, буддизм же несомненно явился гораздо позже магизма, совершенно обратно тому, что требовалось бы по схеме.

Но толчки, подпихивания и удары перьев не прекращаются. «Когда римские легионы, – говорится далее, – явились за Евфратом и близ границ Индии, а евреи Петр и Павел стали проповедовать новую религию на улицах вечного города, – восточного и западного мира уже не было, – произошло двойное объединение исторического человечества (т.е. по-прежнему должно бы быть всего цивилизованного человечества, кроме Китая), внешнее во всемирной империи, и внутреннее во Вселенской церкви». – Вот до чего доводят симметрические схемы! Ведь г. Соловьеву, так же как и всем нам, хорошо известно, что римские легионы никогда и близко не подходили к границам Индии; что за Евфратом их большей частью били и истребляли; что между Римской империей и Индией лежал целый культурный тип Ирана, как раз вскоре после этого времени расцветший в новом блеске и славе; что наконец всемирная Римская империя – не более как метафорическое выражение, гипербола, и притом очень смелая. Употреблять ее, как точное выражение действительности, всего менее позволительно там, где идет дело о противоположении Востока и Запада, как двух полюсов, определяющих собой характер развития всемирной истории, когда из всего того, что г. Соловьев называет Востоком, только Египет и вошел в состав этой империи, и, следовательно, только по отношению к нему одному и можно говорить о внешнем упразднении Востока. Но это искажение фактов требовалось для схематического построения истории, дабы вместо якобы «двух культур (когда их было не две, а несколько), стоявших доселе рядом, можно было поставить две концентрические сферы жизни: одну высшую – церковь, а другую низшую – гражданское общество».

В другой статье своей г. Соловьев, исходя из верного, принятого церковью, начала тройственности достоинств, заключавшихся в лице Иисуса Христа, как пути к истине и жизни: достоинства Царя, Первосвященника и Пророка, выводит тоже, кажется мне, совершенно верно, что и в церкви, «когда первосвященник, царь и свободный деятель согласны между собой, тогда они могут собирательно совершать такое же служение, какое Христос совершал единолично, что тогда они действительно представляют собой всю церковь». Но когда он переходит к изложению проявившегося в истории разделения этих служений и вражды между ними, то прибегает и тут к натяжкам, к подталкиванию и к подпихиванию фактов, дабы уложить их в свою схему: «Христианский Восток, – говорит он, – избрал царя носителем единовластия, представителем единства, верховным вождем и управителем своей жизни; христианский запад сосредоточился вокруг первосвященника». Я и тут спрашиваю, когда же это было? Ведь тут говорится о религиозной жизни церкви, а не о политической. Первым христианским царем был Константин, но власть его была совершенно одинаковой во всех отношениях, как на Востоке, так и на Западе, и ни на том, ни на другом он одинаково не считался верховным вождем и управителем жизни церковной; во всяком же случае, если даже и признать, что считался, то в одинаковой мере в обеих половинах империи. Ближайшие преемники его, хотя и жили в Константинополе, т.е. на Востоке, имели принципиально ту же власть и те же границы власти во всей империи. Когда Феодосий разделил империю, то и Аркадии, и Гонории достались опять-таки и на Востоке, и на Западе одинаковые доли власти, совершенно одинаковое царское достоинство. Когда Юстиниан на время и отчасти воссоединил Запад с Востоком, значение его было одинаково и в гражданском, и в религиозном смысле, на всем пространстве его владений. До сих пор никакого различия в этом отношении между Востоком и Западом не было. Затем на Западе общего всему христианству единого царя даже и в принципе не стало. От этого положение западного первосвященника стало

различаться от положения первосвященников восточных. Но когда единая царская власть снова восстановилась на Западе в лице Карла Великого, то значение царя опять стало одинаковым и на Западе, и на Востоке, и следовательно, нельзя сказать, чтобы во все это время с самого появления христианских царей «явилось разделение между царским Востоком и первосвященническим Западом» – первосвященническим стал он значительно позже, в это же время в обоих были цари равного достоинства: в одном реальный, а в другом фиктивный наследник двух половин Римской империи. По дальнейшему развитию мысли г. Соловьева выходит, что это разделение между царским Востоком и первосвященническим Западом и составляет настоящую причину разделения церквей. Это видно, во-первых, из того, что сейчас вслед за этим внутренняя западная вражда между царской и первосвященнической властью выставляется как причина беззаконного проявления третьего начала – начала свободной проповеди; а во-вторых, из того, что, по мнению автора, антагонизм восточного и западного христианства коренится в почве церковно-политической, в том, что католики укоряют нас в цезаропапизме, а мы их в папоцезаризме. Но не трудно усмотреть, что при этом объяснении происхождения протестантства факты насилуются; как и в прежде приведенных примерах, они перестанавливаются во времени для удобной укладки в схему. Во-первых, почему же вина сваливается на царскую власть, не захотевшую подчиниться первосвященическому единовластию; не эта ли последняя скорее хотела себе присвоить то, что ей вовсе не принадлежало? Но, как бы это там ни было, очевидно, что не борьба между царской и первосвященнической властью возбудила беззаконное проявление третьего начала – свободной проповеди или протестантство. Эта борьба происходила во времена Гогенштауфенов, Гвельфов и Гиббелинов[6], и тогда ничего подобного протестантству не произвела; когда же это последнее возникло, то кесарь и папа не были во вражде: и немецкие, и испанские Габсбурги, и французские Валуа были в союзе с папой против ереси.

Здесь не лишним будет еще заметить, что мысль г. Соловьева: «Когда первосвященник, царь и свободный деятель согласны между собой, тогда они могут собирательно совершать такое же служение, как Христос совершал единолично, тогда они действительно представляют собой всю церковь», – была нарушена никем иным, как папами, хотевшими соединить в лице своем все эти три достоинства, присваивая себе и исключительное первосвященничество, то есть включая в себя всю иерархию, и исключительную царскую власть, которая только от него должна была получать все свое значение и всю свою санкцию, и все пророчество – присваивая единственно себе непогрешимость церкви и тем совершенно уничтожая в ней всякую свободную деятельность, осуждая ее на полное рабство.

Указывая на все эти подпихивания, подталкивания и перемещения фактов ради умещения их в схему, я не имел собственно в виду представить критики тех пролегоменов автора, которые он почел за нужное положить в основу своих тезисов; не имел в виду, во-первых, потому, что это заняло бы много времени и места, а главное потому, что такая критика была бы бесполезна, так как и за устранением всей этой подготовительной части г. Соловьев мог бы оставаться при своей точке зрения на разделение церквей, и при желаемом им соединении их. Я хотел лишь извлечь несколько примеров того, как схематическая симметрия может прельщать, соблазнять и подкупать умы, известным образом настроенные и направленные. Но где же именно то симметрическое построение, которое, по мнению моему, собственно и подкупило г. Соловьева, то, которому я приписываю неверность его взгляда на разбираемый им важный вопрос?

В одном из прежних своих сочинений, да и в разбираемых теперь статьях, г. Соловьев проводит ту мысль, что осуществление христианского идеала должно выразиться по отношению к мысли в *теософии*, т.е. в христианской религиозной философии и науке; по отношению искусства и вообще воздействия человека на природу – в *теургии*; а по отношению к взаимным отношениям людей и к человеческому обществу, т.е. в политике

в обширном значении этого слова, – в *теократии*. *Теософию*, хотя, конечно, еще неполную и несовершенную, мы уже имеем в религиозной философии; что такое и как должна проявиться *теургия*, это, вероятно, еще покажет нам автор. До сих пор едва ли кто имеет о ней ясное понятие, – я по крайней мере его не имею; во всяком же случае теургическая деятельность может наступить лишь по осуществлении христианской политики. Следовательно, главная потребность настоящего времени, главная цель, к достижению которой надо стремиться, заключается в *теократии*. Но ее и искать нечего – она давно уже осуществлена на западе в папстве. Ограничиваясь однако только частью христианства, эта теократия не имеет полного характера вселенскости, настоящей кафоличности, и потому несовершенна.

Прельстительное, соблазнительное, подкупательное действие такой идеи на ум, философски, или, вернее, метафизически настроенный, и потому склонный к схематической симметрии, понятно. Симметрическая схема этой троичности должна непременно осуществиться. Мы видели, как сама фактическая последовательность исторических явлений не могла устоять против подобных стремлений. Они все затуманивают, все собой заволакивают: и чувство религиозной истины, и подавно уже чувство национальности. И вот г. Соловьев видит далее в русском народе – народ по преимуществу теократический; ему, следовательно, и предстоит совершить великий подвиг соединения разрозненного, осуществление вселенской теократии, дабы на ее основании и при ее помощи осуществилась во всем блеске и славе теософия в теории и теургия на практике. Призвание это, как оказывается, должно состоять не в провозглашении миру новой великой идеи, а в великом нравственном подвиге, подвиге, состоящем в великом акте самоотречения, духовного самопожертвования, который русский народ уже два раза совершал в более низких сферах деятельности: раз при призвании варягов, а другой раз при Петре. Следовательно, и тут, как бы в подтверждение верности и логичности вывода, основательности надежд, опять является та же соблазнительная тройственность и симметричность. Оце-

нивать значение совершенных уже подвигов мы не станем, но приступить к оценке того, который нам еще предстоит, необходимо. В одном, конечно, согласится со мной и г. Соловьев: что самим величием подвига еще не до́лжно соблазняться, потому что даже и самоотречению, и самопожертвованию – этим величайшим нравственным подвигам, как и всему на свете, есть предел и мера, и эти предел и мера – истина. Истине, конечно, можно и до́лжно все принести в жертву! А лжи? Нужно, следовательно, прежде чем приступить к жертве, взвесить и оценить с величайшей осмотрительностью то, чему нас призывают принести величайшую из возможных жертв.

Зло, устранить которое мы приглашаемся актом самоотречения, есть разделение церкви. Разделение церкви! – да разве это вещь возможная? Если под церковью разуметь вообще религиозное, или даже и христиански-религиозное общество, то почему же нет! – и разделение и подразделение, и всякое дробление вполне возможны, да и на деле множество раз повторялись. Но если разуметь под церковью таинственное тело Христово, тело, коего Он глава, и одушевляемое Духом Святым, – а ведь так понимает церковь г. Соловьев, – то ведь тело это есть святой таинственный организм в реальном, а не в метафорическом только смысле; а ежели организм, то и индивидуальность – особь особенного высшего порядка. Как же может тело это разделиться, оставаясь живым, сохраняя свою живую индивидуальность? Недопустимость, невозможность этого очевидны. Итак, возможно только или отделение, т.е. отпадение от церкви, или же так называемое разделение должно быть чем-то кажущимся, несущественным, т.е. не более как прискорбным недоразумением. Другой альтернативы тут нет и быть не может. Следовательно, предстоит рассмотреть, если было отделение, отпадение, – то кто, чем и когда отпал? Если же так называемое разделение церквей было лишь прискорбным недоразумением, то чем можно его рассеять и устранить?

Чтобы приступить к решению первого вопроса, кажется мне, всего проще держаться тех рубрик, которые сам г. Соловьев выставил в № 19 «Руси» 1883 года, в виде 9 вопросов.

1) «Постановления Вселенских соборов о неприкосновенности Никейской веры относятся ли к *содержанию* этой веры, или же к букве Символа Никео-Константинопольского?»

Не обинуясь отвечу: к содержанию, и притом в том самом смысле, как понимает эти слова сам г. Соловьев в статье «О расколе в русском народе и в обществе»*, где говорит: «Точно также и разность в чтении Символа между господствующей церковью и старообрядцами могла бы иметь значение для веры и благочестия только в том случае, если бы ею затрагивался догматический смысл Символа, т.е. если бы ею *изменялось выражаемое в сказанном члене Символа понятие и определение о Духе Святом*. Догматичны и *общеобязательны* определения Символа лишь в силу их смысла, ибо тут смысл может быть одинаков для *всех народов и времен*, может иметь вселенское католическое значение, которое никак не принадлежит отдельным речениям и буквам».

Затем г. Соловьев предлагает прямо 2-й вопрос: «Содержит ли в себе прибавление Filioque[7] непременно *ересь*?» Но мне кажется, что по логической последовательности тут один вопрос пропущен, так что вопрос о еретичности вставки должен был оказаться уже третьим, который сам собой разрешается ответом на второй – пропущенный. Мы позволим себе поэтому его вставить:

2) Изменение Никео-Константинопольского Символа, введенное Римской церковью, относится к содержанию ли веры или только к букве Символа?

К букве Символа относится, по справедливому объяснению самого г. Соловьева, то различие, которое замечается в чтении его Православной Церковью и старообрядцами, т.е. вставка или выпуск слова «*истинного*», не изменяющее смысла, потому что во всяком случае все, приписываемое в этом члене Символа Духу Святому, приложимо только к Богу истинному, а само слово было бы только плеоназмом. Ну, а Filioque, исповедание исхождения Духа Святого не от Отца только, но и от Сына, – разве также только плеоназм и необходимо подразуме-

* «Религиозные основы жизни», с. 159.

вается при исповедании исхождения Его от Отца, так же точно, как подразумевается *истинная* Божественность Духа Святого, при исповедании прочих частей этого члена Символа? Ведь вопрос именно в этом заключается, в том, как г. Соловьев поставил его в своей статье о расколе. Следовательно, и отвечать на этот вопрос, который (хотя и не самим г. Соловьевым сделанный), нельзя иначе, как тем, что изменение Символа, введенное Римской церковью, относится к самому содержанию веры, а не только к букве Символа.

Случается слышать, что это Filioque не изменение Символа, а только лишь дополнение его. Но что же это значит? Дополнение есть один из видов изменения. Изменение может быть сделано, сколько мне известно, только тремя способами, или тремя видами этого родового понятия, но и не менее, как этими тремя: опущением, замещением и дополнением. Все эти три вида изменений могут, смотря по своему содержанию, одинаково изменять или только букву, или самый смысл изменяемого. И опущения и замещения могут быть так же точно невинны и несущественны, как дополнения могут быть важны и существенны. Например, *дополнение* в том же члене Символа слова «*истинного*» будет столь же несущественно, как и *опущение* его (если бы оно находилось в первоначальном тексте). Можно пойти еще далее. В Символе есть слова: «света от света», поставленные для пояснения рождения Сына от Отца. Если бы это уподобительное пояснение и было какой-нибудь местной церковью опущено, то, полагаю, существенного изменения смысла Символ не потерпел бы. Ересью такой пропуск во всяком случае нельзя бы было назвать, а только формальным нарушением заповеданной неприкосновенности его. Так же точно можно бы, без сомнения, и заменить некоторые слова Символа другими, хотя может быть и менее обозначительными, но без существенного изменения его смысла. Но если бы кто вздумал сделать во 2-м члене дополнение совершенно аналогическое со сделанным в 8-м латынянами, сказав про Второе Лицо Св. Троицы: «иже от Отца и Духа Святого рожденного», как это и спрашивает Фотий в окружном посла-

нии к восточным патриархам, – какого рода было бы это дополнение: изменяющее лишь букву, или и самый смысл Символа? Из этого очевидно, что изменение в форме дополнения может быть столь же существенно, как и в прочих формах: опущения и замещения.

Из логической последовательности частей Символа очевидно, что о каждом Лице Св. Троицы сначала устанавливается внутреннее отношение его к другим Лицам, а затем доля его участия в спасении рода человеческого. Так и о Третьем Лице говорится о вдохновении Им пророков и о подобающем Ему поклонении, а прежде этого, конечно, об Его отношении к другим Лицам; а если это так, то одинаковыми ли будут понятия православия и Римской церкви об отношении Лиц Св. Троицы между собой? Слишком явно, что не одинаковы. Следовательно, смысл Символа изменен в самом его содержании, а не в букве только. Если бы в Символе вовсе ничего не говорилось о внутреннем отношении Третьего Лица к другим Лицам, если бы там было лишь сказано: «и в Духа Святого, Господа животворящего..., с Отцом и Сыном спокланяема и славима»... то латинская формула могла бы считаться только дополнением (правильным или неправильным – это другой вопрос), а не изменением его по смыслу и содержанию. Теперь же изменение по содержанию неоспоримо, ибо нельзя ведь требовать, чтобы ко всякому утверждению прибавлялось во избежание недоразумений и отрицание всего, могущего противоречить этому утверждению, т.е. нельзя требовать, чтобы было сказано: только, единственно от Отца исходящего, ибо если что утверждается, то тем самым уже и отвергается все несогласное с этим утверждением. Иначе ведь и конца бы не было формулировке веры, которая должна быть возможна краткой и сжатой.

После этого ответ на 2-й (а по нашему счету на 3-й) вопрос является сам собой, как результат ответа на два первых. 3-й (2): «Слово Filioque, прибавленное к первоначальному тексту Никео-Константинопольского Символа, содержит ли в себе непременно *ересь*?»

Да, содержит непременно, потому что относится не к букве Символа, а к смыслу и содержанию его.

Но как же согласить с этим выставляемые г. Соловьевым в свою пользу столь высокоавторитетные слова Филарета Московского, не хотевшего произнести суда над Римской церковью?[8] Г. Киреев в ответе своем приписывает это тому, что сочинение покойного митрополита, на которое указывает г. Соловьев, было издано еще задолго до Ватиканского собора[9]. Мне кажется, что и в этом нет надобности. Осуждения не хотел он произнести по христианскому смирению, тем более, что высокочтимый голос его мог бы считаться отголоском самой церкви, – по смирению, правило которого в этом отношении выражено так незабвенным Хомяковым в его катехизическом учении о церкви: «Так как церковь земная и видимая не есть еще полнота и совершение всей церкви, которым Господь назначил явиться при конечном суде всего творения, то она творит и ведает только в своих пределах, не судя остальному человечеству, и только признавая отлученными, т.е. не принадлежащими ей, тех, которые от нее сами отлучаются». Позволительно думать, что сказанное митрополитом Филаретом имело ближайшее влияние на приведенные слова Хомякова, так как и там проведена та же мысль.

И при суде над обыкновенным преступником, если он даже не отрицает дела им совершенного, не считая его противозаконным, а напротив того, с горделивой смелостью выставляет его деянием похвальным, он все-таки не считается виновным, а только обвиненным, и по фикции невинным, пока не произнесен приговор тем, кто к тому призван. Но, однако же, хотя и удерживаются от произнесения над ним осуждения, тем не менее все считают деяние его преступлением и не позволят себе совершить его. Так и тут, воздерживаясь от обвинений Римской церкви в ереси, не судя ее, мы можем и должны судить самих себя, т.е. думать, что не можем последовать учению ее именно из опасения стать повинными в ереси. Мы не осудим Римскую церковь, заклеймив ее названием ереси, как не призванные к суду, но можем и должны опасаться именно

как ереси тех отклонений от православного учения, которые допустила Римская церковь.

Впрочем, как бы сильно кто ни выражался об этом предмете, сильнее выразиться он не может, чем сам папа Иоанн VIII в письме к Фотию[10], которое приведем здесь: «Нам известны неблагоприятные слухи, которые были вам переданы на наш счет и на счет нашей церкви; вот для чего я хотел объясниться с вами, прежде даже, чем вы бы мне об этом написали. Вам небезызвестно, что ваш посланный, объясняясь с нами о Символе, нашел, что мы соблюдаем его, как первоначально получили, не прибавляя к нему и не опуская ничего, потому что знаем то наказание, которого заслуживает тот, кто дерзнул бы коснуться до него. Итак, чтобы успокоить вас на счет этого предмета, который сделался для церкви поводом к соблазну, мы объясняем вам еще раз, что не только мы произносим его так, но что мы осуждаем даже тех, которые *в своем безумии имели дерзость поступать иначе*, в принципе, как нарушителей Божественного слова и подделывателей учения Иисуса Христа, апостолов и отцов, которые передали нам Символ через соборы. *Мы объясняем, что доля их – доля Иуды*, за то, что действовали как он, так как, хотя они и не сами тело Господа предают смерти, но раздирают верных Божиих, которые суть члены его, расколом, предавая их, как и самих себя, вечной смерти, как было поступлено недостойным апостолом. Я предполагаю, однако же, что Ваша Святость, которая исполнена мудрости, не может не знать, что нелегко заставить разделять это мнение наших епископов и изменить в короткое время столь важный обычай, укоренившийся уже в течении стольких лет. Посему-то мы думаем, что не должно никого принуждать к оставлению этой прибавки, сделанной к Символу, но что должно действовать с умеренностью и благоразумием, увещевая мало-помалу к отказу от этого *богохульства*. Итак, те, которые нас обвиняют в разделении этого мнения, говорят неправду. Но те, которые утверждают, что еще есть между нами лица, которые осмеливаются так произносить Символ, не слишком удалены от истины. Итак, прилично, чтобы Ваше Братство не слишком при-

ходило в соблазн на наш счет и не удалялось от *здравой части тела нашей церкви*, но чтобы оно содействовало своим усердием, своей кротостью и благоразумием *обращению тех, которые удалились от истины*, дабы заслужить с нами обещанную награду. Здравие о Господе, католический и достоуважаемый брат»*. Если не какие-нибудь поношения и бранные слова называются богохульством, а учение, то чем иным может оно быть в мнении самого папы, как не ересью? И однако, менее чем через полтораста лет (в 1015 году) это самое богохульство было принято самими папами, как нераздельная часть Символа. Какова непогрешимость!

На вторую часть вопроса: на каком же Вселенском соборе эта ересь подвергалась осуждению? – кажется мне, также не трудно отвечать. На всех тех, на которых был установлен Никео-Цареградский Символ, и на всех тех, на которых постановления двух первых соборов были подтверждены, и неприкосновенность Символа провозглашена. В самом деле, если какой-либо догмат установлен, как торжественное свидетельство, что такова именно была постоянная вера Вселенской церкви, к чему же еще повторять то же свидетельство при всяком случае, когда какое-либо общество верующих (хотя бы это была самая многочисленная и уважаемая местная областная церковь) отступает от этого догмата, и не одинаково ли это относится как к тому случаю, когда догмат был формулирован по поводу бывшего уже уклонения от содержимой в ней истины, или в предупреждение еще будущих и неслучившихся еще уклонений? Если поэтому не предстоит надобности в новом повторительном провозглашении догмата, например, о единосущности Отца и Сына (формулированного по поводу явившейся до собора ереси), то так же точно не предстоит ее и для всех тех частей Символа, против коих никто еще не восставал до их вселенского утверждения. Позволю себе для пояснения снова обратиться к примеру законодательства гражданского. Совершен проступок, не предусмотренный законом,

* Guettee, «La pap. schism», p. 347–348. – Гетте Рене Франсуа. Папский раскол.

как положительное нарушение права. Очевидно, суд будет в затруднении и даже в невозможности поставить решение, ибо для сего требуется еще предварительный законодательный акт. Но если точный и определенный закон уже постановлен, какая надобность в повторительном законодательном акте для подтверждения закона при его нарушении? И тут достаточность законодательного акта совершенно независима от того, – был ли закон установлен ввиду случавшегося уже правонарушения, или ввиду только предупреждения правонарушений, возможных в будущем.

4 (3): «Если сказанное прибавление, появившееся в западных церквях с VI века и около половины VII ставшее известным на востоке, заключает в себе ересь, то каким образом бывшие после сего два Вселенские собора: шестой в 680 и седьмой в 787 годах не осудили эту ересь и не осудили принявших ее, но пребывали с ними в церковном общении?»

Ответ на этот вопрос отчасти тоже уже дан. Не осудили снова потому, что оно было уже осуждено ясной формулировкой догмата об исхождении Св. Духа. Но почему же пребывали в общении? Потому, что прибавление Filioque было ересью, появившейся в области Римского патриархата, но не было еще тогда ересью Римского патриархата, как свидетельствует отказ Льва III[11] допустить изменение Символа двадцать с лишком лет после седьмого Вселенского собора. Почему же было и не оставаться в общении с этим патриархатом в целом и с представителями его на соборах? В Римском патриархате было тогда или, пожалуй, даже имело тогда большое распространение ложное богословское мнение, противоречащее ясно формулированному догмату Символа, одинаково принятого как на Западе, так и на Востоке. Вероятно и на Востоке также были тогда распространены некоторые ложные богословские мнения, как это во все времена бывает. Вот и все; из-за чего же повторять на соборе догмат и из-за чего прекращать общение? Да и этого мало: в сущности он был повторен, т.е. подтвержден, так как соборы обыкновенно подтверждали решение прежних соборов, и папские легаты наравне с прочими участвовали в этом

подтверждении*, следовательно ни они, ни римский патриарх, который они собой представляли, не могли быть почитаемы состоящими в ереси, как, еще гораздо после этого, это прямо выражает папа Иоанн VIII в только что приведенной выписке. Как частное (сколько бы оно ни было распространено) неправильное мнение, оно и могло и должно было быть предоставлено внутреннему распоряжению областной Римской церкви, тогда в целом не только еще вполне православной, но особенно уважаемой по твердости и непоколебимости ее в борьбе против иконоборства.

На 5 (4) вопрос: «Не дозволительно ли всякому православному следовать о прибавлении Filioque мнению св. Максима Исповедника, толкуя это прибавление в православном смысле?» – кажется мне, должно отвечать, что толковать это прибавление, как и вообще всякое мнение, можно и должно только в том смысле, в каком толкуют сами принимающие его, т.е. в настоящем случае римские католики; а они без сомнения толкуют его в смысле предвечного исхождения Св. Духа, как ипостаси Св. Троицы. Если же придавать какому бы то ни было мнению – религиозному, философскому, научному, политическому, литературному не тот смысл, который придают ему те, кто его установили и приняли, а свой особый смысл; то можно согласиться почти со всем, с чем угодно. Так, например, понимая по-своему народное верховенство (souveraineté du peuple), можно утверждать, что мы, русские, придерживаемся тех же политических воззрений, как фран-

---

* Седьмой вселенский собор говорит в правиле 1-м: «Начертанные прежними вселенскими соборами правила и постановления пребывают несокрушимыми и непоколебимыми... Всецелое и непоколебимое содержит постановление сих правил, изложенное от всехвальных Апостолов, святых труб Духа, и от шести святых вселенских соборов» – Макария, Введение в православное богословие, стр. 308. А на VI соборе читалось послание папы Агафона к императору Константину от 679 года, где сказано: «С простотой сердца и с твердостью преподанной от отцов веры мы соблюдаем все, что только правильно определено святыми достопочтенными предшественниками нашими и пятью великими соборами» (Ibid. стр., 324). Как же после этого VI собору было не продолжать состоять в общении с западным патриархатом?

цузские республиканцы, последователи Жан-Жака-Руссо, потому что ведь весь Русский народ желает самодержавия, видит в нем свой политический идеал.

6-й (5) вопрос: «Помимо Filioque какие другие учения Римской церкви и на каких Вселенских соборах осуждены как *ересь*?»

Догматических учений, в строгом смысле этого слова, принимаемых Римской церковью и отвергаемых Православной кроме различия в Символе только два: провозглашенные на последнем ватиканском соборе как догматы учения: о беспорочном зачатии Пресвятой Девы Марии и о непогрешимости папы, говорящего ex cathedra[12]. О первом я говорить не буду как потому, что оно действительно не было осуждено ни на одном Вселенском соборе, так и потому, что вместе с учением о папской непогрешимости падает и все то, что только на ее авторитете и зиждется. Учение же о папской непогрешимости так же точно ересь против догмата Символа о церкви, как Filioque ересь против догмата о Третьем Лице Св. Троицы.

Надо только заметить, что неправильное понятие о церкви, в котором заключается вся сущность различия между православием и латинством, в начале было выражено не еретическим словом, а еретическим поступком, который по неизбежному логическому развитию довершился в наши дни и еретическим словом. В чем состоял и какие последствия имел этот еретический поступок, изложено со всей желательной полнотой, ясностью и убедительностью в богословских статьях Хомякова.

Если каждый протестант признает за собой полное право решения того, в чем заключается религиозная истина; то же право присвоила себе и областная Римская церковь, с той однако разницей, что если протестант и присваивает себе право на определение религиозной истины, то зато и обязанность признания этого определения ограничивает своим лицом; тогда как Римская областная церковь считает признание своей узурпации обязательным для всех. Но протестант и основывает свое понятие о церкви на началах разума, а не на предании;

предания не находилось также и в пользу западного патриархата, как обладателя религиозной истины, и потому область надо было заменить лицом, патриархат патриархом, на что можно было частью отыскать, частью подделать некоторое подобие предания. Истинное предание, также как и писание, усваивают непогрешимость только церкви как единому целому, – и римский католицизм этого не отвергает, но только сосредоточивает церковь, по крайней мере в отношении знания истины, в одно лицо. Подобно Людовику XIV, сказавшему l`état c`est moi[13], и папа говорит: церковь – это я. Но где же это основание? Церковь есть существо единое и вечное; поэтому раз данная ей сила и власть с ней, как с единым и вечным, во век и пребывает. Но папа существо смертное, и посему, если кому-либо из пап и была бы присвоена полнота церковной власти, то он не только от кого-нибудь должен был ее получить, но и кому-либо передать, и на эту преемственную передачу должно бы быть установлено какое-нибудь вполне достаточное для достижения своей цели средство, точно так, как, например, все эти условия исполнены при передаче той доли власти или значения церковного, которые присвоены епископу, священнику – рукоположением, и даже всякому мирянину – крещением. Чем же выполняются эти условия для каждого отдельного папы? Если даже признать, что эта полнота власти или это сосредоточение в одном лице атрибута всецерковности и было присвоено первому папе, т.е. апостолу Петру; то, так как ни он и ни один из последующих пап не передавал того, чем во всем мире только один и обладал, своему преемнику – этим путем передача происходить не могла.

Или же при поставлении всякого нового папы совершается некое особое 8-е таинство? Как говорит Хомяков: «Кто приурочивает учительство к какой-либо должности, предполагая, что с ней неразлучно связан божественный дар учения, тот впадает в *ересь* таинства рационализма, или логического знания»*; и в другом месте: «Что касается до совершенства веры, то признавая его обязательным для каждого христиа-

* Полн. собр. соч. Хомякова, т. II, стр. 59.

нина (ибо христианин лишается чистоты веры не иначе, как действием греха), церковь не может допустить притязания какого-либо епископа на такое совершенство, иначе на непогрешимость в вере; по ее понятию, такое притязание есть верх нелепости. Что бы подумали, если бы епископ заявил притязание на совершенство христианской любви, как на принадлежность своего сана? А притязание на непогрешимость веры не то же ли самое?» и в выноске дополняет это: «Предположить, что мнимо-непогрешительный епископ обладает совершенством не веры в точном смысле слова, а только логического познания в вещах мира невидимого, значило бы допустить небывалое *таинство рационализма*, иначе сказать, допустить предположение, что существует таинство, сообщающее человеку силу, не чуждую даже и бесам»*. Но такого таинства не признают и сами католики, а если бы и признавали, то опять-таки, кто же передает папе специальную благодать этого таинства, так как ведь обладающие низшей степенью благодати, потребной для совершения таинства, не могут передать высшей ее степени?

Или при каждом избрании папы совершается непосредственное, прямое повторение раз совершившегося сошествия Духа Святого в день пятидесятницы? Но никто не имеет дерзости утверждать этого.

Или вся церковь, несомненно обладающая даром непогрешимости в установлении и охранении божественной истины – каким-либо актом сполна передает этот дар папе? В чем же состоит этот акт? В избрании папы конклавом кардиналов? Но мы знаем историческое значение этого звания. Первоначально назывались кардиналами семь епископов городов в ближайших окрестностях Рима: Остии, Порто, Ст. Руфины, Альбы, Сабины, Тускули и Пренесты. Почему же сосредоточивалась в них полнота церковных даров? Да сверх того мы знаем еще, что этой коллегии кардиналов, каковы бы ни были ее значение и преимущества, – право на избрание пап было присвоено только на поместном Латеранском соборе 1059 года, а что до этого папы избирались весьма различным образом, часто

* Полн. собр. соч. Хомякова, т. II, стр. 122.

римскими патрициями, духовенством и народом; на каком же основании можно бы было присвоить этим избирателям всецерковное полномочие?

Или не принять ли, наконец, за основание главенства, верховенства и конечно непогрешимости пап то изумительное, невероятное основание, которое приводит г. Соловьев? Я охотно сознаюсь, что, не будучи начитан в богословских ухищрениях католической полемики, не берусь решить – римским ли богословам, или самому г. Соловьеву принадлежит открытие этого, для меня по крайней мере, нового краеугольного камня, лежащего в основе папского здания. Своими словами передать мысль эту я не могу, из опасения так или иначе невольно исказить ее, и потому буквально переписываю, и только позволю себе подчеркнуть некоторые выражения и сделать в скобках некоторые примечания. «Эта кафедра (т.е. римская) должна быть в *реальном* смысле кафедрой св. Петра, т.е. за настоящего руководителя земной церкви во всем течении ее исторического бытия должен быть принят один и тот же могучий и бессмертный дух первоверховного апостола, *таинственно связанный с его могилой в вечном городе и действующий через весь преемственный ряд пап*, получающий таким образом единство и солидарность между собой. Таким образом, *видимый папа является орудием*, часто весьма несовершенным, а иногда и совсем негодным, *посредством которого незримый руководитель церкви* (т.е. ведь дух апостола Петра) *проводит свое действие* и направляет исторические дела земной церкви в каждую данную эпоху; так что каждый папа есть не столько глава церкви, сколько вождь данной исторической эпохи. Но если в это свое время он умеет вести временные дела церкви в согласии с ее вечными целями, (да как же бы ему не уметь, если он, независимо от своих личных качеств – все-таки остается орудием духа апостола Петра?) если он является чистым и достойным орудием Вечного Первосвященника и Его верховного апостола (значит, он орудие не только духа ап. Петра, а и самого Иисуса Христа), тогда христианское человечество прямо видит через

него то, что больше его, и признает в нем своего истинного вождя и главу» (значит, иногда только вождь, а иногда и глава вместе; кто же судит непогрешимого и решает о его достоинстве?). В этих немногих строках столько удивительного, что и не перечислишь всех недоумений, которые рождаются при их чтении. У церкви значит, две главы невидимые: Иисус Христос – глава всей церкви небесной и земной, и дух апостола Петра – только земной, и еще третья глава видимая – папа, впрочем не постоянная, а только перемежающаяся, иногда бывающая, иногда нет, и в последнем случае заменяемая вождем, но все-таки остающаяся орудием духа Петрова. Далее, если, несмотря на недостоинство и даже совершенную негодность, папа все-таки остается орудием духа апостола, то и тут является, без сомнения, некоторое таинство, которое, однако же, мы уже не вправе назвать восьмым, потому что это будет таинство некоего особого низшего разряда, таинство, коим недостойному сообщается благодать не Божия, а апостольская только, и через это таинство ряд пап оказывается рядом оракулов, через которых говорит дух апостола, по крайней мере, когда папы говорят ex cathedra. Могучий и бессмертный дух апостола таинственно связан с его могилой в Риме! Почему же только его духу дана такая привилегия, или только на его дух наложена такая повинность? – оснований для этого не видно. Такая связь духа с могилой и оракульское действие на пап не будет ли тем, что Хомяков называет фетишизмом места? И если эта связь существует, переставали ли папы быть орудием духа, когда жили в Авиньоне и перестанут ли, когда переселятся в Фульду или на остров Мальту, как имели намерение? Если столькое зависит от освящения места могилой, то не гораздо ли большую таинственную силу должен бы иметь Иерусалим? И значение главы, или, по крайней мере, вождя церкви, не вернее ли бы было присвоить Иерусалимскому, чем Римскому патриарху?

Из всего сказанного об этом предмете видно, что, хотя догмат Символа о церкви и читается одинаково и в тех же самых словах, как православными, так и римскими католиками,

но смысл, соединяемый ими с этими словами, совершенно различный, так что тот и другой смыслы не могут считаться правильными, и если один православен, то другой еретичен, а ведь в смысле, в содержании веры и вся сущность дела, говорит сам г. Соловьев. Если отнести этот смысл, это значение догмата о церкви к тому времени, когда был изменен Никео-Цареградский Символ, то окажется, что латиняне относили тогда понятие о ее святости и кафоличности единственно к своему римскому патриарху, так как присвоили ему право провозглашения обязательного для всей церкви исповедания веры, ибо когда присвоили себе это право относительно одного члена Символа, – уже нет никаких оснований, почему бы они могли не счесть себя в праве поступить точно также и относительно всего Символа, любая часть которого ведь не более же священна и неприкосновенна, чем всякая другая. Если же отнести понимание догмата о церкви к последующим временам, и в особенности ко времени после последнего Ватиканского собора, то очевидно, что понятие это заключает в себе по крайней мере следующее догматическое учение: верую во единую святую, кафолическую и апостольскую церковь, всецело передавшую свой существеннейший атрибут быть органом познания божественной истины единому лицу папы. Г. Соловьев утверждает, что такая передача столь же законна и сообразна с духом церкви, как и передача этого атрибута ее собору. «Это не значит, говорит он, чтобы Православная Церковь принимала самую форму соборности за непременное ручательство истины... Верить в собор вообще или в соборное начало никто не обязан... Соборное начало само по себе есть начало человеческое, и как все человеческое, может быть обращено и в хорошую и в худую сторону... Ясно, таким образом, что соборность не ручается за истинность, а следовательно не может быть предметом веры». Это все совершенно справедливо. Поэтому Православная Церковь и не верит в собор как в собор, подобно тому как Римская церковь верит в папу как в папу. Православная Церковь верит только в самое себя, а потому и в такой собор, который ею утвержден,

который есть ее проявленный голос, выражающий истинное, изначала ей присущее, исповедание, и потому нарекает его Вселенским. А это-то, по самому существу дела, несообразно, несовместимо с догматическим признанием непогрешимости папы в деле учения, признанием без рассуждения, без оценки им провозглашаемого или имеющего еще быть им провозглашенным, признанием, так сказать, предварительным, как было бы несообразно и несовместно с таковым же признанием непогрешимости и собора. Церковь никогда не признавала непогрешимости собора вообще или собора с такими-то и такими-то определенными признаками, а признает только непогрешимость тех семи соборов, которые сама, а не кто другой, нарекла Вселенскими, также как и тех, которые и впредь наречет Вселенскими.

В самом деле, где же ручательство за тождество исповедания церкви с исповеданием папским? А Римская церковь, при самом выгодном для нее толковании догмата папской непогрешимости, должна признавать его совпадение, это тождество не только за все прошедшее время, вопреки истории (признание полуарианского Символа папой Либерием и осуждение Вселенским собором папы Гонория, недопущение одним папой вставки в Символ и допущение ее другим), но и, так сказать, предварительно и за все будущее время бытия земной церкви. Г. Соловьев приводит примеры ложных, еретических соборов, имевших притязание быть Вселенскими.

Но эти примеры свидетельствуют не за него, а против него, ибо доказывают, что критерий истины полагает Православная Церковь не в каком-либо формальном, наружном качестве того или другого исторического собора, а в признании или непризнании голоса собора за свой собственный голос. Как же поступить с папским решением, за которым наперед уже признана непогрешимость? Соборное начало как таковое автор признает за человеческое, и с этим мы не спорим; а единоличное папское начало признает ли он, или не признает за таковое же? Он признает по крайней мере, что папство превращалось в папизм; отрешилось ли оно и теперь от него, для нас безраз-

лично, ибо если превращалось в прошедшем, то может состоять в нем и теперь и превратиться в будущем. Что же делать тогда признающей папство (в католическом смысле) церкви? Ей нет другого выхода, как так или иначе отречься от самой себя, т.е. или не последовать за папой и отказаться от ею же признанного догмата непогрешимости, или же отказаться от собственной своей непогрешимости и святости, последовать за ложью, так как ведь папизм есть ложь и по признанию самого г. Соловьева. При соборном начале, как церковь его понимает, в такую дилемму она и впасть не может. Или же папизм может проявляться только в частных ошибках по церковному управлению, по различным временным мерам, им принимаемым, а не по пониманию и провозглашению религиозной истины? Опять спрашиваю, где же за это ручательство? И мы опять впадаем в 8-е таинство – таинство рационализма.

Соборное начало есть начало человеческое. Правда, и это не ведет нас ни к какому противоречию, ни к какому абсурду. Но можно ли признать единоличное папское начало за божественное? Мы видели, что также нет, хотя по католическому началу и должно бы было, ибо, как же иначе приписывать ему непогрешимость? Утверждать этого не решается по-видимому и г. Соловьев, почему и придумал свою странную гипотезу о духе апостола Петра, таинственно связанном с его могилой. Божественность остается бесспорно и единственно за началом всецерковным и началу соборному может принадлежать лишь постольку, поскольку оно совпадает с ним, а потому и не вводит нас в неизбежное противоречие. Поэтому и признается оно церковью, как средство обнаружения или проявления хранимой ею истины, – только и не более этого. Начала же единичного, папского церковь признать не может, ибо была бы при этом принуждена или признать его за божественное, как таковое, или же, подобно соборному, также за человеческое, и тем подвергнуть себя противоречию, подчиняясь ему, как непогрешимому. Неизбежность этого противоречия церкви самой с собой ясно признавали и сами папы, пока были православными. Не писал ли Григорий Великий Антиохийскому патриарху по

случаю придания титула Вселенского Константинопольскому патриарху: «Ты не можешь не согласиться, что если один епископ назовется Вселенским, то вся церковь рушится, если падет этот Вселенский»*. Очевидно, что тут разумелся не один почетный титул, каковым был, например, почтен папа на халкидонском соборе, а названию *Вселенский* приписывалось то именно значение, которое придается папам, как непогрешимым главам церкви. И действительно, рушилась бы церковь, если бы какому-либо патриарху этот титул мог принадлежать в этом смысле, ибо нет ни одного древнего патриаршего престола, на котором по временам не восседали бы еретики... Так и на римском был полуарианин Либерий, патрипассияне Зефирин и Каллист и монофелит Гонорий, осужденный посмертно VI Вселенским собором и преданный им анафеме, и анафема эта была подтверждена и папой Львом II**. Г. Киреев в своем возражении против г. Соловьева, между прочим, выразился

* Что Григорий I имел в виду наравне с другими патриархами и пап самих, видно из его ответа Александрийскому патриарху Евлогию, который, согласившись не давать титула вселенского Константинопольскому патриарху, титуловал им самого Григория: «*Как вы приказали?* Я прошу вас, не давайте мне никогда слышать это слово – приказание, потому что я знаю, кто я и кто вы. По вашему месту – вы мои братья, по вашим добродетелям – мои отцы. Я вижу, однако, что Ваше Блаженство не совсем удержали то, что я желал доверить вашей памяти, потому что я сказал, что вы *не должны придавать и мне этого титула столько же, как и другим*, а вот в надписи письма вашего вы даете мне, который их отверг, горделивые титулы вселенского и папы. Если Ваша Святость называет меня Вселенским папой, *вы отнимаете у себя то, чем я был бы всецело*». В письме к Императору Маврикию Григорий Великий выражается еще сильнее: «Я говорю без малейшего колебания, что *кто называет себя вселенским епископом или желает этого титула, есть по своей гордости предтеча Антихриста*. (Guette, La papaute schismatique, pag. 219, 221, 223.).

** В письме Льва II к императору Константину Погонату от 7 мая 683 г. сказано: «Мы анафематствуем изобретателей нового заблуждения Феодора Фаранского, Кира Александрийского, Сергия Пирра, Павла и Петра Константинопольских и *также Гонория*, который, вместо того, чтобы очистить эту апостольскую церковь учением апостольским, едва не ниспроверг веры нечестивою изменою». (Guette, La papaute schismatique, pag. 249). Итак, непогрешимый предает непогрешимой анафеме непогрешимого за ересь, видно также непогрешимую. – Сверх сего и папа Адриан II признал это осуждение как факт (ibid., pag. 315).

так: «Отцы соборов не самостоятельные законодатели, а, так сказать, свидетели вероучения своих духовных чад, своих церквей. Соборные постановления отцов санкционируются отдельными церквями и составляют часть непогрешимого учения Вселенской церкви. Я не знаю, почему слова эти показались г. Соловьеву прямым отрицанием церкви»*. В них, собственно, ничего другого не сказано сверх того, что говорит и сам г. Соловьев: «По католическому учению папа (равно как и Вселенский собор) имеет обязанность формулировать церковные догматы, но не имеет никакого права выдумывать свои собственные». Или в другом месте: «Верховный первосвященник не имеет права провозглашать какие-нибудь новые откровения или новые истины, не содержащиеся в данном всей церкви Божественном откровении. Папа не может быть источником или действующей причиной догматической истины». Но что значит формулировать догматы, как не то же самое, что и свидетельствовать о вероучении церкви? Но существенная разница православного и католического понятия заключается в том, что ежели собор, никогда не считаемый непогрешимым предварительно, неверно формулирует учение церкви, т.е. даст неверное свидетельство об учении церкви, то она его не признает истинным собором, как это и было и с разбойничьим собором, и с собором Флорентийским. Но как поступить церкви при неправильной формулировке догмата папой, как поступить в том случае, если даже вместо формулирования догмата он выдумает свой собственный, т.е., по словам г. Соловьева, превысит свою власть, которой границ не положено, поступит вопреки своего права, которого он есть однако же единственный судья и блюститель? Ведь он уже предварительно признан непогрешимым. Падет единый Вселенский и рушится церковь!

* Гетте в своей истории церкви говорит также: «Он (епископ) в силу своего епископского достоинства есть законный (autorise) представитель своей церкви; но эта церковь имела право протестовать, если ее епископ приписывал ей другую веру, чем ту, которую она исповедовала, преследовать своего епископа и заставить его низложить по канонам» (Vol. III, pag. VIII). Так поступила, например, и русская церковь со своим митрополитом, вернувшимся с флорентийского собора.

Очевидно, дело в том, что г. Соловьев совершенно неправильно выразил католическое вероучение, сказав, что папа *не имеет права* чего-либо сделать. Чтобы примирить значение папы со значением церкви, по католическому понятию, должно бы сказать что папа по каким-то таинственным причинам *не имеет не права*, *а возможности* выдумывать свои собственные догматы и что все, что бы он ни признал за догмат, будет уже ipso facto[14] непременно формулировкой догмата, т.е. свидетельством всецерковным, по тем же таинственным причинам. Ведь и о церкви нельзя сказать, что она не имеет права выдумывать новые догматы, а должно сказать, что она по божественному обетованию, по руководительству истинного главы ее, по вдохновению Духа Святого, не имеет этой возможности, хотя про собор можно и должно сказать, что он не имеет этого права.

Кажется, различие между православным понятием о непогрешимости собора и между католическим понятием о непогрешимости папы – достаточно резко и велико. Одно есть совпадение с непогрешимостью самой церкви, достигаемое посредством санкции или, так сказать, ратификации решений собора фактическим признанием церкви; другое же требует для такого совпадения или особого таинства, или таинственного воплощения, концентрации церкви в папе, или, по крайней мере, признания его невольным органом проявления духа апостола Петра, т.е. его оракулом – все таких предположений, на которые, по меньшей мере, не имеется никаких оснований, или, вернее, которые противоречат истинным началам христианства.

«Церковь управляется не снизу, а свыше; образ ее устройства не демократический, а теократический», – говорит далее г. Соловьев. Первое положение справедливо, но против него никто и не возражает; но вторым совершенно ничего не сказано, или сказано тоже, как если б кто думал опровергнуть, что такой-то предмет круглый, утверждая, что он зеленый. Демократический противополагается монархическому или аристократическому, но ни коим образом не противополагается теократическому. Теократия, т.е. непосредственное Божие руководительство церкви может проявляться также точно че-

рез одно лицо, через собрание лиц, как и через совокупность всех сынов церкви, т.е. теократия церковная представляется, по-видимому, одинаково возможной и в форме монархии, и в форме аристократии, и в форме демократии. Я говорю *по-видимому*, т.е., что так это нам вообще представляется; а в сущности тут возможность должна вполне совпадать с действительностью, т.е. всецерковность и есть единственная возможная форма истинной теократии.

В доказательство теократического управления церковью, с чем, конечно, все верующие в церковь согласны, г. Соловьев приводит формулу решения церковных постановлений: «изволися Духу Святому и нам». – Вот этим-то именно изволением Духа Святого и выражается *всецерковное признание* соборного решения. «В этих словах, – говорит Хомяков, – выражается не горделивое притязание, но смиренная надежда, которая впоследствии оправдывалась или отвергалась согласием или несогласием всего народа церковного, или всего тела Христова». Что это не чье-либо частное мнение, доказывается, с одной стороны, свидетельством истории, а с другой прямым свидетельством Православной Церкви в лице восточных патриархов и собора восточных епископов, выразившихся в своем окружном послании от 6 мая 1848 г., признанном и нашим Синодом: «У нас ни патриарх, ни соборы никогда не могли ввести чего-либо нового потому, что *хранитель благочестия у нас есть самое тело церкви*, *т.е. самый народ*»... То же самое выражено и в словах Василия Великого: «Где духовные мужи начальствуют при совещаниях, *народ же Господень последует им по единодушному приговору*, там усомнится ли кто, что совет составляется в общении с Господом нашим Иисусом Христом»*. В этом, значит, и заключается единственное ручательство за изволение Святого Духа; где же оно при папской непогрешимости, при которой одно из двух: или соизволение Духа Святого наперед уже прикреплено к папскому решению, или же принимается совпадение церкви с лицом папы, поглощение ее в нем, через посредство одной из вышеприведенных, ни на чем

* Макарий, Введ[ение] в прав[ославное] бог[ословие], стр. 306.

не основанных и по существу своему несообразных фикций? Одним словом, соборное начало, и только оно одно, хотя само по себе и человеческое, совместимо с понятием о церкви: единоличное же папское начало с ним несовместимо.

Итак, догмат о церкви в Символе хотя и читается и нами и католиками в тех же словах, не совершенно ли различен по смыслу, ему придаваемому в православии и в латинстве? И сообразно ли будет с христианской совестью, хотя бы и под возвышенными предлогами смирения и самоотречения, считать по существу различное за тождественное, потому что оно прикрывается в Символе единством буквы? А при различном понимании, возможно ли церковное единение?

Что касается до неосуждения римского понятия о церкви на Вселенском соборе, то мы скажем, что осуждение на соборе, в котором участвовала бы одна Православная Церковь, было бы излишне, потому что учение о папской непогрешимости несовместно со следствиями, выходящими из понятия о церкви, как оно выражено в Символе; а если несовместно следствие, то несовместны и самые принципы; да кого бы решения такого собора убедили, кроме тех, которые уже убеждены? Такой же собор, в котором участвовали бы и Православная, и Римская Церковь, невозможен, ибо одно уже искреннее согласие на такой собор со стороны последней было бы уже отречением от ее неправильного понятия о церкви, было бы уже полным самоосуждением, ибо и самая ересь ее, по отношению к догмату о церкви, в том и заключается, что под полноправной церковью разумела она в разные эпохи: или свою областную церковь – римский патриархат, или своего верховного иерарха – папу.

7 (6): «Если раскол, по точному определению св. отцов, есть отделение части церкви от своего законного церковного начальства из-за вопроса, обряда или дисциплины, то от какого своего церковного начальства отделилась Римская церковь?», – спрашивает г. Соловьев и этим вопросом утверждает, что для Римской церкви, какие бы новшества она ни вводила в обряд или в дисциплины, раскол невозможен по самому существу дела, по самому определению понятия «раскол». Но, утверж-

дая это, он доказывает слишком много. Он доказывает, что вообще раскол невозможен для всякой автокефальной церкви, ни для русской, например, ни для греческой (королевства), ни для румынской, ни для сербской, ни для каждого из восточных патриархатов. На это, кажется мне, можно отвечать, что и для каждой автокефальной церкви раскол все-таки остается возможным, ибо все они только части Вселенской церкви и, следовательно, не совершенно самостоятельны, не отдельные индивидуальности, а только органы одного тела, обладающие известной долей самостоятельности, а следовательно имеют и свое начальство в совокупности и целости церковной. Позволю себе прибегнуть и тут к сравнению, взятому из другой области. Штаты, составляющие северо-американский союз, ведь также могут быть названы автокефальными, ни один не может считать другого, да и не считает, своим политическим начальством, но таковым, без сомнения должен считать всю совокупность штатов, весь союз; а потому есть и такие стороны политической жизни, произвольно допустив которые, они были бы повинны в политическом расколе. Продолжая наше сравнение, мы можем сказать, что все те общие начала, которые были установлены в первоначальном союзном акте – суть как бы политические догматы союза, обязательные для всех штатов, – и, следовательно, отклонение от них было бы политической ересью. Но относительно рабовладельчества в союзном акте ничего сказано не было, и, следовательно, оно догматом считаться не могло, а подходило под разряд обрядов; но, как известно, это дело не было предоставлено их полному произволу, и из-за него началась война. Вопрос в том: строго ли легально с формальной точки зрения, с точки зрения границ автокефальности, был положен предел их произволу в этом случае? И в церковном отношении весь вопрос приводится к тому же, – к тому: до каких границ простирается автокефальность, включает ли она в себя все, что не относится к догмату в строгом смысле этого слова, отпадение от коего было бы уже ересью? Анализа этого вопроса я на себя не беру, но правильным ответом на него был бы, кажется, тот, что есть

обряды, которые, по несущественности их, предоставляется каждой автокефальной церкви устанавливать совершенно независимо от других; есть еще менее существенные, которые могут быть различны даже и в пределах одной и той же независимой областной церкви; но что есть обряды другие, служащие символическим выражением самого церковного учения или догмата, которые не могут быть предоставлены полной свободе отдельных церквей, какую бы долю самостоятельности за ними ни признавать. Иные своеобразные обычаи Римской церкви, как, например, причащение мирян под одним видом, и принадлежат именно к этому последнему разряду. Самопроизвольное изменение в таких обрядах есть, во всяком случае, соблазн, как это и доказали гуситские войны, а вводить в соблазн всего менее прилично церкви. Чтобы сказали, например, если бы какая-либо из восточных церквей ввела у себя это различие в причащении клира и мирян, не снесясь с прочими церквями, под предлогом своей автокефальности! Посему и на этот вопрос г. Соловьева должно отвечать, что и автокефальная церковь в иных случаях может стать повинной в расколе, ибо хотя такие церкви по отношению их друг к другу и состоят в свободном союзе, но в союзе любви, избегающем паче всего соблазна, и что совокупность всех церквей, т.е. церковь Вселенская, и для них начальство, употребляя этот не совсем тут приличный термин. Если это и не совсем согласуется с определением раскола, приведенным г. Соловьевым, то отвечу его же словами, что во всем надо смотреть на смысл, а не на букву. Специально же в этом случае надо бы знать, к какому времени относится представленное им определение, чтобы решить, какое значение придавалось в нем понятию обряда: ибо всякое определение дается ведь сообразно с фактами, имеющимися в виду, с фактами констатированными, и следовательно надо удостовериться в объеме понятия, заключавшегося в словах: обряд и дисциплина, чтобы определить дело свободы, которая приведенным определением предоставлялась автокефальным церквам, т.е. делала для них возможным или невозможным вообще впадение в раскол.

Если на эти 6, а по моему счету 7 вопросов, ответы сделаны правильно, то ответы на остальные вытекают из них уже сами собой.

8 (7): Римская церковь не может уже теперь почитаться нераздельной частью Вселенской церкви; разделения церквей как невозможного никогда не было, а было отпадение Римской церкви от Вселенской, начавшееся с IX века и завершившееся Ватиканским собором 1870 и 1871 годов, и, хотя оно в корне своем, пожалуй, не было делом человеческой политики, но в дальнейшем развитии и результате своем далеко перешло за границы ее.

9 (8): Стараться о восстановлении церковного единства между Востоком и Западом, конечно, должно, но не жертвуя ради его истиной веры и церкви, ибо, перейдя за эти границы в своем старании, мы именно впали бы в вину подчинения дел веры расчетам человеческой политики, хотя бы то было и ради святого дела славянского объединения. – Наконец,

10 (9): «Если восстановление церковного общества между восточными и западными *православными* есть наша обязанность, то должны ли мы отлагать исполнение этой обязанности под предлогом чужих грехов и недостатков?»

Не должны, если можем по совести считать и западных *православными*, если чужие грехи и недостатки не представляют непреодолимого препятствия для церковного общения; в противном же случае должны пока стараться устранять эти препятствия к общению, а не закрывать на них глаза и не представлять их себе в ложном свете, ибо в таком же ложном свете будем смотреть тогда и на ту истину, причастниками которой сделались по милости Божией.

Так представляется дело, если то прискорбное событие, которое неправильно именуется разделением церквей, совершилось действительно, а не мнимо и признано только, т.е. если совершилось отпадение одной части Вселенской церкви от ее единства.

Посмотрим теперь на него с другой стороны, соглашаясь с г. Соловьевым, что, в сущности, такого факта не было, что

римский патриархат не отпадал, в сущности, от церковного единства, что церковь продолжала сохранять свое существенное единство, несмотря на видимые раздор и разделение, и что, следовательно, произошло лишь прискорбное тысячелетнее недоразумение между двумя половинами христианского мира. В этом случае восстановление церковного общения между ними и возможно и обязательно, и всякие препятствующие этому святому делу сторонние соображения, и прежде всего гордость должны быть отложены в сторону. Тогда оставалось бы лишь ознакомиться со способами, как осуществить это великое дело, и это должен бы нам показать г. Соловьев, так как он всего ближе с ним освоился. Но, к сожалению, такого указания мы у него не находим, встречая лишь одно предложение, которое, во всяком случае, может считаться только предварительным, весьма отдаленным к нему шагом. Эта предварительная мера заключается, по мнению г. Соловьева, в допущении *полной свободы духовного взаимодействия между западным католичеством и нашим православием*.

Эта формула: *полная свобода духовного взаимодействия* – очень обща. Что собственно под ней разуметь? Сейчас вслед за ней г. Соловьев разбирает положение нашей печати относительно церковного вопроса. Свобода духовного взаимодействия, во сколько она выражается в печати, была бы свободой церковной полемики. Это, кажется, разумеет и автор, заключая свою речь желанием допущения полной богословской свободы, ради доставления возможности войти в беспрепятственное общение с церковными силами Запада. Но под полной свободой духовного взаимодействия можно ведь также понимать и свободу католической вообще, и иезуитской в частности, пропаганды в народе. Между этими двумя свободами лежит, однако же, самое резкое, самое существенное различие. Первая есть добросовестная борьба равным окружением, которой, и по моему мнению, не должно быть полагаемо никаких преград, и это даже совершенно независимо от взгляда на римский католицизм, на то, будет ли он считаться нами ересью, расколом или нераздельной частью Вселенской церкви, отделенной

от нас лишь прискорбным недоразумением. Но так же точно и при всех этих трех взглядах не может и не должна быть допускаема пропаганда католичества в народе. В самом деле, если и на нашей, и на их стороне истина, то единственно желательным будет лишь то, чтобы мы взаимно это поняли и признали, и в таком случае к чему с нашей стороны допущение, а с их домогательство проповеди обращения от одной формы истины к другой в среде невежественной, где ведь эта проповедь возможна не иначе, как под условием выставления нашей формы истины ложью? Без этого ведь перемена формы истины невозможна, как ничем не мотивируемая. С этой точки зрения, это не оправдывалось бы даже и в том случае, если бы при равных силах пропаганды мы могли рассчитывать на равный успех в католических странах, ибо это было бы напрасным смущением совестей и даже прямым противоречием тому, чего собственно желает и г. Соловьев. О практических последствиях, об усилении полонизма, я уже и не говорю, ибо не может же и он отрицать, что католичество смешало свое дело с полонизмом и наоборот, и что объединение Славянства, в каком бы смысле его ни понимать, есть дело предназначенное русскому, а не польскому народу. Итак, нам остается только говорить о допущении полной свободы церковной полемики, и в этом я становлюсь совершенно на одну сторону с г. Соловьевым, считая это дело полезнейшим и необходимейшим, хотя польза, которой он от сего ожидает и желает, совершенно отлична от той, которой желаю и ожидаю я. Я ожидаю и желаю от полемики не сглаживания недоразумений – ибо это было бы только заштукатуриванием и замалевыванием наших различий, а, напротив того, выяснения и распространения в нашем сознании в большей определенности, силе и живости истины православия и лжи католичества. Но все равно, какие бы ни были наши желания и надежды; в ближайшем средстве, ведущем к их осуществлению, мы согласны, и вот мои доводы:

Мой отрицательный довод тот, что каких бы мнений кто ни держался о значении цензуры вообще, остается как несомненный факт, что цензура в предметах религиозных и цер-

ковных лишена всякой силы и значения, потому что и сама печать, которую она ограничивает и которая бесспорно составляет одну из величайших общественных сил в вопросах философии, науки, политики и литературы, никогда не выказывала ее или только в слабой сравнительно степени в предметах религиозных. Религиозная мысль в своем течении и развитии не избирала себе и до сих пор не избирает русла печати, и, хотя распространение других идей чрезвычайно ускорилось и расширилось с тех пор, как было проложено для них это новое русло, идеи религиозные все продолжали и продолжают попрежнему держаться древнейшего русла – изустного сообщения. Это для других проявлений мысли столь узкое, мелкое, усеянное столькими препятствиями русло всего имело и продолжает иметь такую ширину, глубину, скорость падения для идей религиозных, что их распространение вдоль него оставляет далеко за собой все, чем может похвалиться печать. Следовательно, заграждение русла печати для распространения религиозных идей уподобляется запиранию узкой калитки, при настежь открытых воротах. Какое распространение идей печатью может сравниться с распространением живым словом трех прозелитивных религий: буддизма, христианства и ислама? Даже распространение ересей Ария, Нестория далеко превосходит его. Реформы Гуса, Лютера, Кальвина[15] много ли были обязаны печати, когда она уже появилась во времена двух последних? И в новейшее время разные секты за границей и у нас: квакерство, методизм, мормонство, хлыстовщина, молоканство, штундизм и даже, распространившиеся в высших слоях общества, редстокизм, пашковское согласие[16] – посредством ли печати распространялись и распространяются? Многим ли задержалось распространение всех видов нашего старообрядчества и раскола тем, что печать была не к их услугам?

Мой положительный довод тот, что религиозные учения только тогда выказывали свое величайшее жизненное воздействие на умы и сердца людей, когда им было против чего бороться, что побеждать. Так было в первые века христианства, когда они боролись против гонений; так было в последовавшие

за тем четыре века, когда они боролись против ересей. Напротив того, когда водворялось мертвящее единство, все равно – устанавливаемое ли властью, или обычаем и жизнью, сила религиозного влияния иссякала. Так и римское католичество иссыхало в самом корне своем, покрывалось плесенью индифферентизма и внутреннего неверия, перед тем как разбудило его реформатское движение. После него, на самом папском престоле вместо развратного, покрытого преступлениями Александра VI, политика и воителя Юлия II, мецената Льва X, мы видим мужей строго благочестивых. Католичество ожило и теперь живет еще тем импульсом, который тогда ему был дан. Когда мысль обращается к религиозным вопросам, неизбежны и уклонения – но это есть признак жизни, и неужели полезно задувать разгорающуюся искру?

Позволю себе по этому случаю одно отступление. Наш знаменитый писатель-художник, граф Л. Н. Толстой оставил свою художническую деятельность и обратился к религиозной и богословской. Сочинения его считаются еретическими, и насколько я знаю, не будучи с ними близко знаком, они и действительно таковы, потому что, признавая в самом строгом смысле нравственную сторону христианства (которую также, может быть, в том или другом неправильно толкуют), они отвергают его догматическую сторону и на этом, конечно, основании не допускаются до печати. Что же этим предупреждается и какая достигается польза? Не предупреждается ровно ничего, потому что всякий, желающий с ними ознакомиться, имеет полную на то возможность; а главное, кому же неизвестны те возражения, которые делаются против христианских догматов со стороны полного неверия? Верующий христианин, не поколебленный столькими нападками на христианство, которые, так сказать, носятся в воздухе, бьют в уши и в глаза, конечно, не поколеблется и доводами графа Толстого, в которых ведь нет же ничего нового, особенного, и который ведь и не имел собственно специально ввиду этого колебания. Но, с другой стороны, не будет ли уже выигрышем то, если кто от полного неверия будет приведен и высоким авторитетом писателя, и его

изложением, к восприятию хотя бы одной высокой нравственной стороны учения, что часто может послужить путем к полному обращению неверующего? На полудороге, так сказать, на скользком склоне, редко кто может остановиться, и, как сказал Хомяков: «Нравственные требования, не оправданные доктриной, скоро теряют свою обязательную силу и превращаются в глазах людей в выражение непоследовательного произвола». Те, на кого подействовали бы с указанной стороны сочинения графа Толстого, не могли бы долго оставаться на этой точке, и или бы снова впали в свое прежнее умственное состояние, или, если бы были сильно поражены нравственным величием учения, жалея с ним расстаться, стали бы искать его догматического оправдания и основания. Не с нравственной ли стороны и всегда начинало христианство свое привлечение и свое просветительное воздействие на умы и сердца людей? На скольких и между русскими, и между людьми других вероисповеданий, имели самое благодетельное влияние богословские сочинения Хомякова, некогда также ведь запрещенные! Какая же польза от мнимого сокрытия сочинений графа Толстого от слуха и взоров? Не иная какая, как только охранение их же от тех возражений и опровержений, которые, без сомнения, были бы на них сделаны, потому что ведь ни один уважающий себя человек не будет писать против того, кто лишен возможности защищаться, да и сами эти возражения и опровержения становятся в сущности невозможными. В чистом проигрыше остается само движение религиозной мысли, лишаемой необходимого ей жизненного возбуждения под мертвящим покровом наружного единства и тем приводимой к покою индифферентизма, самого близкого соседа полному неверию.

Возвращаюсь к г. Соловьеву. Свободная полемика, допущения которой он справедливо желает, может, во всяком случае послужить только к расчищению пути для предполагаемого общения и единства. В чем же будет состоять сама цель, для которой полемика ведь только средство? Какую форму могут принять эти единство и общение? Надо же иметь это в виду, чтобы знать, к чему же наконец стремиться; об этом должно

же ведь составить себе какое-нибудь понятие, ведь должен же светить нам впереди какой-нибудь маяк, по которому мы могли бы направлять наш путь. Г. Соловьев об этом ничего не говорит, предполагая, вероятно, что говорить об этом еще слишком рано. Но мы видим перед собой несколько форм таких возможных общений и единений, т.е. несколько для них оснований. Попробуем разобрать их, и если г. Соловьев видит еще иные, пусть их укажет.

Во-первых, это могла бы быть уния в том смысле, в каком она была осуществлена в православных областях бывшего Польского государства на основаниях постановлений Флорентийского собора, т.е. признания всех догматов католичества, не только уже установленных, но и впредь имеющих быть установленными, с сохранением православных обрядов и славянского богослужения. Но об этом виде единства и общения говорить нечего, ибо г. Соловьев сам положительно от него отказывается. «Желанное соединение церквей никак не может состоять в облатынении православного Востока, или исключительном преобладании Западной церкви», – говорит он. И еще в другом месте: «С нашей стороны для соединения с ними не нужно отказываться ни от чего своего истинного и существенного». Значит, это не то.

Во-вторых, мы могли бы признать догматы католицизма, сохранив вполне и свое церковное управление, и свою церковную независимость, т.е. не признавать ни главенства, ни непогрешимости папы. Но это было бы еще менее тем, чего желает г. Соловьев: ибо, с одной стороны, он говорит, что стоит за непреложность догматических решений семи Вселенских соборов, а с другой – не произошло бы никакого единства, в особенности не установилось бы теократии в том смысле, как он ее понимает и желает. Да и как приняли бы мы догматы, не признавая главного основания, на котором они утверждаются?

В-третьих, мы могли бы сохранить все свои догматы и все свои обрядовые различия, но признать главенство папы, в том же смысле, в котором признают его католики, т.е. непременно и непогрешимость его в деле учения. Этим путем единство по-

жалуй бы и установилось, но ведь только или на счет того, что мы считаем религиозной истиной, или на счет самых очевидных требований логики, против которых устоять невозможно, ибо ведь это значило бы принять основание и не принимать последствий из него вытекающих, признать непогрешимость папы и не признавать того, что он в своей непогрешимости постановил и догматически утвердил. Мы бы остановились на крайне скользкой и узкой ступеньке, на которой не могли бы удержаться и должны бы были неизбежно скатиться в полный римский католицизм, или, по крайней мере, в унию.

Остается еще четвертый возможный вид единства и общения, собственно тот, при котором различия православия и римского католичества являются чистым недоразумением, и потому именно тот, который и должен быть желателен г. Соловьеву: «Все нами признаваемое признается и католиками, ничего нами признаваемого они не отрицают», – говорит г. Соловьев. Значит, это и только это и есть существенное, все же остальное – одно недоразумение и следовательно несущественно. Чего же лучше! Но в деле религии все догматическое непременно и существенно, хотя может быть и не наоборот, т.е. не все существенное вместе с тем непременно и догматично. Об этом можно спорить и рассуждать, и во всяком случае, как в геометрических теоремах, обратное положение потребовало бы особого доказательства. Но, если все догматическое непременно существенно, то во всяком случае все несущественное уже никак не догматично. Несущественным, а следовательно и недогматичным, будет таким образом все, в чем мы различествуем; следовательно, и в Символе веры несущественно, а потому и не догматично все то, чем мы различаемся; не догматична поэтому и вставка Filioque. Вне Символа тоже не существенна и не догматична папская непогрешимость, а догматична только непогрешимость церкви.

Если с обеих сторон это будет признано, то, думается мне, все препятствия к общению и единению будут устранены; признать же это с нашей стороны также, кажется, нет препятствий; а со стороны католиков? Но г. Соловьев говорит: «Что должны

сделать католики для соединения с нами – это их дело». Их дело, конечно; но тем не менее я не понимаю, что такое значит соглашение, если оно делается не с обеих соглашающихся сторон? И какое же это будет единение и общение, если к нему приступают не обоюдно? Для меня это что-то немыслимое. Мы можем согласиться на том основании, что все нам общее существенно и догматично, а все нас различающее существенного и догматичного значения не имеет; но признание это необходимо должно быть обоюдным, т.е. если наша церковь допустит римских католиков к полному церковному общению с собой, то и Римская церковь должна точно также допустить и нас к полному с собой общению. Иначе мы впадем в нелепость, которую Хомяков, обсуждавший этот же вопрос при разборе брошюры князя Гагарина, выставил с поразительной ясностью. Словами его я и окончу свое слишком длинное возражение: «Итак, церковь сложилась из двух провинциальных церквей, состоящих во внутреннем общении: церкви Римской и церкви Восточной» (но не на началах полной обоюдности). «Одна смотрит на спорные пункты, как на сомнительные мнения» (как на несущественное, чего и требует от русского православия г. Соловьев), «другая, как на члены веры» (что опять-таки ей, по-видимому, предоставляет г. Соловьев). «Отлично! Восточный принимает римскую веру; он остается в общении со всей церковью; но половина принимает его с радостью, а другая не смеет судить его, потому что об этом предмете у нее нет определенной веры» (или можем даже выразиться, потому, что признает несущественным то, что признал существенным перешедший в римскую веру). «Возьмем теперь обратный случай. Кто-нибудь из области римской принимает восточное мнение; он необходимо исключается из общения со своей провинциальной церковью, ибо он отверг член ее Символа, то есть догмат веры» (теперь мы должны уже сказать не один, а три догмата ее веры), «а через это самое исключается из общения и с восточными (так как они признают себя в полном общении с западными). Западные исключают человека из общения за то, что он верует тому, чему веруют их братья, с которыми они со-

стоят в общении, а восточные исключают этого несчастного за то, что он исповедует их собственную веру. Трудно вообразить себе что-либо более нелепое. Из этого смешного положения только один выход, а именно: допустить, что латинянин не лишится общения за принятие восточного верования, то есть за оставление догмата. Тем самым латинский догмат низводится на степень простого мнения». То есть мы возвращаемся к первому единственно возможному предположению обоюдности, которое и заключает в себе подразумевательное отступление Римской церкви от всех ее отличительных догматов, в особенности же от папской непогрешимости, в которой все прочие имеют свое единственное основание – не как мнения, а как догматы. Но на такой точке и ей оставаться невозможно. Естественное и неизбежное логическое развитие должно привести от подразумевательного к ясному и отчетливому отказу от всего несущественного, т.е. от всего догматически различающего Римскую церковь от православия, которое тем самым и признается за тождественное с Вселенским вероучением.

Вот неизбежный результат единения и общения обеих церквей при том предположении, что в настоящее время их разделяет только недоразумение, что лишь то существенно и догматично, что обще им обеим. От такого решения вопроса ни русскому народу, ни православию вообще нет причин отказываться; дай Бог, чтобы этих причин не было и у римского католицизма; но неужели же можно обольщать себя надеждой, что их и в самом деле у него не найдется?

В заключении я должен сказать, что та искренность и смелость, с которыми г. Соловьев решился высказать свое мнение, поистине заслуживает уважения и благодарности.

III. ПРИЛОЖЕНИЕ

Семейная хроника рода Николая Яковлевича Данилевского

Труды Николая Яковлевича Данилевского «Россия и Европа» и «Дарвинизм. Критическое исследование», его политические статьи в третьем тысячелетии стали очень актуальными: это рациональный взгляд на мир, естественное понимание истории мировой культуры.

Наш современник игумен Дамаскин (Орловский) в предисловии к монографии Б. П. Балуева «Споры о судьбах России», изданной в Твери в 2001 г., писал: «Данилевский хотя и действовал в области исключительно научной, но, будучи подлинным гением, нигде не вошел в противоречие со Священным Писанием и был не столько строителем гипотез, сколько открывателем законов бытия»[1]. История отдельных народов, национальностей в их своеобразии – вот предмет всемирной истории. Смешение национальных культур в единую культуру противоестественно для человечества. «Бог, как говорит Писание, с той целью смесил языки и разделил народ на народы, чтобы лишить людей возможности все греховные предприятия приводить в исполнение общими силами всего соединенного человечества…»[2] Для того чтобы культурная сила вообще не иссякла в человечестве, прозорливо указывал Данилевский,

«всемирная ли монархия, всемирная ли республика, всемирное ли господство одной системы государств, одного культурно-исторического типа – одинаково вредны и опасны для прогрессивного хода истории»[3].

На свое сочинение «Дарвинизм. Критическое исследование» Н. Я. Данилевский смотрел как на средство опровергнуть «материализм и нигилизм», указывал Н. Н. Страхов в письме к Л. Н. Толстому от 18 мая 1889 г. Крымский исследователь трудов Н. Я. Данилевского С. Н. Киселев справедливо считает, что «лишь немногие провидцы оказались способны возвысить свой голос против духовно-нравственного разложения общества. Всякого, кто призывал к защите вековых устоев национальной культуры от разрушительного влияния чуждых идей, либерально демократическая журналистика причисляла к апологетам реакционности, обрекая на забвение»[4].

В некрологе Н. П. Семенов писал о Н. Я. Данилевском, что это был энциклопедически образованный, глубоко ученый и самобытный мыслитель и натуралист и цельный, необыкновенно симпатичный, до глубины души русский человек. Он принадлежал к числу тех редких людей, которых можно было бы назвать «искателями истины», которой он служил всеми своими трудами, всей душой и всеми своими помыслами.

* * *

Николай Яковлевич Данилевский родился 28 ноября (10 декабря) 1822 г. в самом центре России, в Орловской губернии Ливенского уезда, в селе Оберец (с 1954 г. – это Липецкая область, Измалковский район), крещен был в Покровской церкви села Остров, что в семи километрах от села Оберец. Здесь стоял эскадрон его отца Якова Ивановича Данилевского (1789 –1855). Это был боевой офицер, участник войны 1812 г., в дальнейшем, уже в чине генерала, воевал и в Крымской войне 1853–1855 гг., за службу Отечеству награжден многими орденами и медалями. Мать – Дарья Ивановна Минина, была дочерью местного помещика. У них было еще двое детей – Александр и Елена. Брат

Николая Яковлевича посвятил себя, как и отец, военной службе, сестра в Петербурге окончила Екатерининский институт.

До пяти лет Николай жил в имении матери, затем переезжал с полком, которым в те годы командовал отец. С одиннадцати лет он стал обучаться в пансионе Шварца в г. Дерпте (ныне Тарту). Учителя были и русские и иностранцы, на уроках говорили на языке преподавателя, ежедневно преподавалась латынь. Русские ученики не посещали уроков лютеранского катехизиса, а ходили в дом русского священника на урок Закона Божьего. Когда полк отца переехал в селение Пахры Подольского уезда Московской губернии, Николай стал учиться в Москве, в пансионе Павлова, затем Боргардта. К четырнадцати годам он свободно говорил на четырех языках (французском, немецком, английском и латыни).

С осени 1836 г. по 1843 г. Н. Я. Данилевский – воспитанник Царскосельского лицея, куда одним из лучших претендентов сдал вступительные экзамены. В лицее он учился вместе с Н. П. Семеновым (будущим государственным деятелем), ставшим его другом. За годы обучения в лицее Н. Я. Данилевский получил глубокие знания в филологии, истории философии и юриспруденции и мог служить по «важным частям службы государственной», но посчитал нужным получить знания по естественным наукам. Н. Я. Данилевский стал вольным слушателем на естественном отделении физико-математического факультета Петербургского университета (1843–1847). В эти годы он служил в канцелярии Министерства иностранных дел, но в 1847 г. по окончании университета, где приобрел специальность ботаника и степень кандидата наук, подал прошение об увольнении со службы.

П. П. Семенов Тян-Шанский, с которым Николай Яковлевич обучался в университете, вспоминал: «Данилевский обладал огромной эрудицией: перечитали мы с ним кроме книг, относящихся к нашей специальности – естествознанию, целую массу книг по общей истории, социологии и политической экономике»[5]. Весной 1848 г. Н. Я. Данилевский вместе с П. П. Семеновым совершил свою первую пешую научную экс-

педицию из Петербурга в Москву, а в мае следующего года они по поручению Вольно-экономического общества начали экспедицию по исследованию черноземного пространства России в хозяйственном и естественно-историческом отношении.

Николай Яковлевич Данилевский готовил себя к профессорской деятельности: сдал магистерский экзамен и подготовил диссертацию "Орловская флора", но ее защита не состоялась. 12 июня 1849 г. на реке Красная Меча в Тульской губернии он был арестован и четыре с половиной месяца находился в каземате Петропавловской крепости. С 1845 г., как и многие молодые люди из образованной молодежи того времени, Н. Я. Данилевский посещал кружок М. В. Петрашевского, где читал лекции по теории французского социалиста Ш. Фурье, в которых он затрагивал только экономические вопросы по улучшению жизни народа. Военно-судебная комиссия, выслушав доклад Н. Я. Данилевского, признала, что в его лекциях об учении Фурье ничего революционного и противорелигиозного не было. Н. Я. Данилевского освободили из-под ареста и направили на службу к вологодскому губернатору с учреждением над ним «строгого секретного надзора».

В эти годы к нему пришла первая большая любовь. Летние каникулы Николай Яковлевич проводил в имении своего дяди, в нескольких верстах от села Оберец на реке Малая Чернава. Здесь находились два больших дома, мельница (главным занятием владельцев имения было выращивание хлеба), большой сад, и как неотъемлемая часть культуры – парк, где был показ и природных группировок деревьев и кустарников, и созданных владельцами усадьбы растительных ансамблей. Липовая аллея парка вела к оберецкой Покровской церкви. (В настоящее время она разрушена, около церкви находится могила отца Николая Яковлевича и других родственников). Усадьба была обнесена кустами сирени, ее цветение и до сих пор радует глаз лилово-красными, белыми, темно-фиолетовыми и розовыми цветами. Многие растения были привезены самим Николаем Яковлевичем. В парке до сих пор много розовых ландышей, фиалок, роз. Но сегодняшний парк постепенно погибает, –

между тем можно было бы привлечь к его восстановлению власти и специалистов-ботаников, чтобы место это стало ухоженным культурным центром района.

Сестра Николая Яковлевича – Елена часто гостила у своей знакомой Веры Николаевны Лавровой, вдовы генерала А. Н. Беклемишева (1792–1840) в селе Русский Брод, что в двадцати пяти километрах от села Оберец. Ее мужа, который уже в двадцать лет стал героем Бородинского сражения, наградили золотой шпагой «за храбрость», но из-за болезни он умер рано. Навещая сестру, Николай Яковлевич в 1843 г. познакомился с Верой Николаевной и стал часто бывать в ее имении. В это время он собирал материалы для диссертации и занимался геологическими исследованиями. Николай Яковлевич полюбил Веру Николаевну: красивую, умную женщину. Она ответила ему взаимностью, но не хотела мешать его научным занятиям. Николай Яковлевич был весьма стеснительным в общении с женщинами, да и Вера Николаевна была на семь лет старше его. Они долго переписывались. Объяснение состоялось лишь за два дня до ареста Данилевского. Вера Николаевна дала обещание, что по окончании экспедиции она выйдет за него замуж.

Вологодский период – существенная часть в биографии Н. Я. Данилевского. В Вологде, находясь на службе в канцелярии губернатора, он познакомился с губернским предводителем дворянства Павлом Александровичем Межаковым (1788–1865), а, бывая в его имении Никольское, и с его сыном Александром Павловичем Межаковым (1812–1859), который также являлся членом Русского Географического общества, ученым-орнитологом, занимавшимся исследованием своего края. Об их дружбе говорят письма, хранящиеся в Вологодском архиве. В Вологде Данилевский продолжал заниматься научной деятельностью, написал несколько работ, собирал материал по статистике, климатологии. Известны его две большие статьи: «О движении народонаселения в России за 1846 год» и «Климат Вологодской губернии», которые были высоко оценены Географическим обществом: за первую его удостоили большой премии Жукова, за вторую он получил малую золо-

тую медаль. Регулярно Николай Яковлевич печатал небольшие статьи в Вологодских губернских ведомостях. Сейчас эти работы находятся в областной Вологодской библиотеке.

В конце 1851 г. Николай Яковлевич получил на свое прошение к Государю разрешение навестить в г. Вознесенске больную мать, которая и благословила его на брак. В Вологду приехала и Вера Николаевна; 29 сентября 1852 г. состоялась их свадьба. Н. Я. Данилевского по просьбе самарского генерал-губернатора перевели в Самару в губернское правление переводчиком. Из Самары он написал письмо А. П. Межакову, что для парка в Никольском он покупает растения и семена: «В Самаре везде удобно заводиться цветами, на барках привозят их множество, по списку Вы можете судить, что все растения хорошие». Но вскоре его постигло большое горе: от холеры скоропостижно умерла Вера Николаевна. Об этом в конце июня 1853 г. он писал А. П. Межакову: «Если Вы знаете, как любил я ее, что девять лет все мои чувства, мысли и надежды относились к ней, имели ее как цель и что я пользовался так долго ожидаемым счастьем только девять месяцев, Вы поверите мне, что я остался совершенно без цели в этой жизни. Если бы я говорил это в отчаянии, Вы по справедливости могли бы усомниться в истине моих слов, но я пишу их с полным хладнокровием и обдуманностью. По характеру я не способен к отчаянию, и теперь, когда все прошло, скажу Вам искренне, что как любовь моя, так и горе мое при всей силе их – оставались всегда сознательными и обдуманными. Поэтому прошедшее ручается у меня за будущее, да и я желаю, чтоб было так. Понесенная мной потеря вполне показала мне тщету всего, кроме христианских убеждений, ибо они одни, когда все потеряно *здесь*, дают надежду на возвращение всего *там* в лучшем и совершеннейшем виде».

Многие, с кем сталкивался Николай Яковлевич, находили в нем одаренность, необыкновенный ум, обширные знания. По просьбе Русского Географического общества и самарского губернатора к Государю, вышел указ, согласно которому Н. Я. Данилевского направили в экспедицию по изучению рыболовства в Каспийском море и бассейне реки Волги. По этому поводу он

писал в письме к А. П. Межакову, что соглашается принять в экспедиции участие: «…Иначе поступить было мне невозможно, потому что это может послужить к совершенному моему освобождению. Кроме этого ведь любопытно побывать и на Кавказе, и в Астрахани, и при устье Эльбы, и в киргизской степи… Конечно, собирая статистические данные, я не упущу из вида и собирание растений». Экспедицию возглавил видный ученый Карл Бэр. Н. Я. Данилевский исполнял обязанности статиста и ботаника, но вскоре стал первым помощником Бэра. Экспедиция продолжалась три с половиной года. Изучалась не только биология рыб, но и природа Каспийского моря и прилегающих к нему районов. Н. Я. Данилевский ездил в Баку, в Тифлис, исследовал рыбные промыслы у персидских берегов, хотя в это время шла Крымская война и было трудно свободно передвигаться. В этот период он впервые побывал и начал изучение рыбной ловли на озере Гогча (Севан). Несколько раз он бывал в Астрахани, где еще занимался и организацией астраханского ботанического сада. Продолжателями дела Николая Яковлевича в Астрахани впоследствии стали его сын Николай – центральный парк города создан его руками, и внук Сергей, начальник аэродрома гражданской авиации и директор охотхозяйства. Память об этой династии сохраняется в астраханском краеведческом музее.

В Новопетровской крепости отбывал в эти годы свою семилетнюю ссылку Т. Г. Шевченко. Николай Яковлевич, собирая статистические данные по этой местности у начальника крепости, встречался много раз и близко сошелся с украинским поэтом. Вот что писал Т. Г. Шевченко к Брониславу Залесскому: «Почти вместе с твоим письмом прибыла к нам экспедиция Бэра, а в этой экспедиции находится и твой знакомый Н. Данилевский, а такое явление, как Данилевский… может вскружить и не мою голову. В продолжение его пребывания здесь я почти с ним не разлучался. Он своим присутствием оживил во мне, одиноком, давно прожитые дни». По просьбе Н. Я. Данилевского и с помощью К. Бэра Т. Г. Шевченко был уволен с солдатской службы.

В экспедиции Николай Яковлевич занимался и геологией, и археологией, и палеонтологией, и этнографией, и историей.

В частности, им были переведены с немецкого языка многие работы К. Бэра. Знакомство с великим натуралистом оказало большое влияние на взгляды Н. Я. Данилевского. Результаты экспедиции имели практическое значение: увеличились объемы рыбного промысла, стали внедряться щадящие методы добычи, власти начали задумываться об экологии и природных богатствах местности. Помимо прочего в список промысловых видов включили и рыбу-«бешенку», успешно заменившую поставляемую для военных нужд сельдь голландскую. Пришлось Николаю Яковлевичу в конце экспедиции испытать и тяжело переболеть – брюшным тифом, однако все обошлось благополучно. Сохранилась фотография Николая Яковлевича, сделанная по возвращении его в Петербург.

Официально от полицейского надзора Н. Я. Данилевский был освобожден 26 августа 1856 г. при восшествии на престол Александра II. 5 октября 1857 г. он был зачислен на службу чиновником Министерства гражданских имуществ при департаменте сельского хозяйства. Всю оставшуюся жизнь Николай Яковлевич прослужил в этом министерстве: в 1862 г. стал членом ученого комитета, с 1871 г. входил в состав Совета министерства, с 1884 г. – тайный советник (гражданский аналог военного чина генерал-лейтенанта).

В одном из писем, которое датировано 1855 г., Николай Яковлевич писал Межакову: «Бог даст, по окончании экспедиции побываю у Вас. Потому что Никольское – одно из тех мест, куда меня наиболее тянет».

Следующая экспедиция, которой он руководил уже сам, отправилась на Белое море и Ледовитый океан. Побывал Данилевский, изучая западные берега Белого моря, и в Норвегии, где познакомился с учением Дарвина, труд которого был издан в 1859 г. Зимой 1860 г. Николай Яковлевич, как и обещал, приехал в Никольское, где сделал предложение дочери своего умершего друга двадцатидвухлетней Ольге (1838–1910). Свадьба состоялась по окончании экспедиции 15 октября 1862 г.

Никольское стало домом Николая Яковлевича и одним из центров культуры Вологодского края. В имении был дом-

дворец, построенный по проекту Ринальди (или Баженова), больших размеров (41 комната) и классической формы (конца XVII–начала XVIII в.). К нему пристроена картинная галерея, в которой были собраны картины выдающихся художников: Гвидо Рени, Рембрандта, Рёйсдала. Кистью художника Дж. Доу был написан портрет П. А. Межакова с женой Ольгой Ивановной, урожденной Брянчаниновой – двоюродной сестры святителя Игнатия (Брянчанинова) (1807–1867). Художник Платон Тюрин написал портрет А. П. Межакова с женой Юлией Францевной Тиран, дочерью известной аристократки Елизаветы Филипповны Демут, владелицы знаменитой гостиницы «Демутов трактир» в Петербурге на Мойке. Тюриным был написан портрет их детей, в том числе и Ольги. Была здесь и коллекция английских гравюр. Многие из этих картин сейчас находятся в экспозиции краеведческого музея г. Вологды. При усадьбе был собственный оркестр из 30 человек, домашний театр, великолепная библиотека с книгами по истории, философии, духовной литературе. Сейчас они находятся в Областной вологодской библиотеке. Интересно еще одно произведение искусств в доме Межаковых – стол, вышитый бисером сестрой П. А. Межакова, княгиней Софьей Засекиной. На Всемирной выставке прикладного искусства в 1907 г. в Париже он получил первое место.

Славится своим изяществом и Никольская Заболотная церковь. Неотъемлемой частью ландшафта усадьбы являлся парк, спланированый в английском стиле. Его аллеи, дорожки свободно извивались, открывая зрителю все новые и новые пейзажи. Редкие породы деревьев сочетались с лужайками, красивыми ландшафтами, с искусственными плотинами, прудами, гротами, беседками, каменными горками и придавали парку запоминающийся художественный облик. В Никольском родился первенец Данилевских – сын Григорий (умер в семилетнем возрасте).

Николай Яковлевич продолжал бывать в командировках: в Астрахани, на Псковском и Чудском озерах. А летом 1863 г. ему была назначена экспедиция в Крым для изучения рыболовства в Черном и Азовском морях. Он с семьей уехал на новое место. Сначала они жили в Феодосии, потом в Мисхоре, где родилась

дочь Вера, названная в честь Веры Николаевны, потом в Никитé. Николай Яковлевич продолжал писать свои научные труды. За работу “Исследование Кубанской дельты” в 1865 г. от Географического общества он получил высшую награду – большую Константиновскую медаль. В 1867 г. Данилевские купили имение Мшатка в двух километрах от Фороса. Там в 1868 г. родилась дочь Варя, названная в честь первой владелицы этой усадьбы Варвары Аркадьевны Башмаковой, внучки великого полководца А. В. Суворова. Семья жила в доме бывшего управляющего, т.к. барский дом был разрушен в Крымскую войну, благоустраивала усадьбу, обеспечивая свою жизнь за счет ведения собственного хозяйства. С конца 1864 г. по 1868 г. Николай Яковлевич работал над большим трудом “Россия и Европа”. И в Мшатке особое место занимал парк. В парке нашли свое отражение те культурно-исторические типы, которые были представлены в его книге. Названия отдельных уголков соответствовали представленному в них растительному миру: это весенний сад, гефсиманский сад, каменный сад, или пирамиды, кипарисовый зал, мавританский бассейн и другие. В ландшафт были включены самые разнообразные элементы рельефа, естественной природы и привезенные из других мест декоративные растения.

Часто Николаю Яковлевичу приходилось ездить и в Петербург, и он брал с собой в столицу всю большую семью. Пришлось еще раз побывать и в Вологде, в ходе новой экспедиции по изучению северо-западных озер (1870–1871). В 1871 г. семья опять приехала в Никольское, где родился сын Николай. В Вологде они взяли на воспитание талантливого мальчика-сироту. Алеша рисовал углем на заборе, за этим занятием его и увидела Ольга Александровна. Данилевские дали мальчику хорошее образование. А. И. Зреляков окончил Петербургскую Академию художеств по классу профессора П. Чистякова. В Мшатке родилось еще два сына – Сергей в 1874 г. и Иван в 1877 г. С младшими детьми занималась сама Ольга Александровна, для старших приглашали учителей, иногда давали уроки и приезжающие погостить знаменитости – историк науки и философ Н. Н. Страхов, академик живописи И. Келер. Последний на-

писал в Мшатке несколько картин, которые сейчас находятся в картинной галерее г. Таллина. В гостях у Данилевских бывали Майков, братья Семеновы, И. С. Аксаков, Л. Н. Толстой и другие Близко знаком был Николай Яковлевич и с Ф. М. Достоевским. Ольга Александровна владела французским и немецким языками, обладала талантом художника. Ею был расписан фарфоровый сервиз на пятьдесят шесть персон – подарок к собственной свадьбе. В семье Данилевских жили еще воспитанница Лиза и сводная сестра Ольги Александровны Мария Александровна Межакова. Матерью ее была Мария Александровна Михайлова – воспитанница княгини М. П. Волконской, урожденной Кикиной. Они обе были незаурядные художницы, любившие русский стиль. Отец княгини П. Кикин первым предложил императору Александру I построить храм Христа Спасителя в честь победы в войне 1812 г.

В 1872 г. Министерство назначило Н. Я. Данилевского председателем комиссии для составления правил “О пользовании проточными водами в Крыму”, им был составлен проект документа.

Во время войны с Турцией 1877–1878 гг. Данилевские все свои вещи отправили в горы в деревню Байдары и собирались уезжать сами на случай бомбардировок Мшатки, но маленькую деревушку неприятель не тронул. В эти годы Николай Яковлевич написал политические статьи: “Война за Болгарию” и “Горе победителям”, проникнутые патриотизмом и обнаруживающие глубокое знание истории (при этом стоит учесть, что все справочные материалы вместе с библиотекой были отправлены в горы, а следовательно – недоступны).

В 1879–1880 гг. Н. Я. Данилевский исполнял обязанности директора Никитского ботанического сада. В октябре 1880 г. по решению министерства он был назначен председателем комиссии по борьбе с филлоксерой – бичом виноградников. Для изучения вопроса Николай Яковлевич ездил в командировку в Швейцарию и Францию. Так как среди местного крымского населения ученый пользовался огромным уважением и авторитетом, ему удалось достичь значительных результатов в

самые краткие сроки. 5 ноября 1882 Н. Н. Страхов г. писал Николаю Яковлевичу: «Я всем рассказываю, с каким почтением смотрел на Вас, как Вы в одно время победили филлоксеру и сами разорились».

Четыре года, начиная с 1879, Данилевский писал свой труд по дарвинизму. За годы научных занятий в его библиотеке накопился большой материал на четырех языках. В этом труде Николай Яковлевич первым доказал ложность эволюционного процесса по принципу естественного отбора. Николай Петрович Семенов в некрологе писал, что Данилевский являлся «не только глубоким мыслителем, но и горячим патриотом и ученым-теологом, высоко держащим знамя православия».

Тридцать лет Николай Яковлевич провел в командировках и экспедициях. Практически все законодательство по рыболовству в водных бассейнах Европейской части России принадлежит перу Данилевского. Это был его практический вклад в улучшение экономики страны.

Умер Н. Я. Данилевский 7 (19) ноября 1885 г. от сердечного приступа в гостинице Тифлиса, где остановился на отдых, возвращаясь из своей последней командировки на озеро Гогчу. Он очень беспокоился за состояние рыболовства на озере, последними словами его были: «Испортят они нашу Гогчу». В момент смерти Николая Яковлевича Ольге Александровне было видение. Об этом Н. Н. Страхов писал в письме Л. Н. Толстому от 13 июня 1886 г.: «В самый день и час смерти Ольга Александровна не спала… и не думала о муже в эту минуту. Вдруг ей явилась его голова на подушках с болезненным выражением, она дважды провела рукой по его щеке, говоря: “Милый мой, дорогой!” Но все исчезло, и она вскочила, не понимая и удивляясь тому, что было… На другой день весть о смерти была для нее совершенно неожиданной… и теперь она твердо уверена, что он «приходил проститься»… Почему не предположить, что связь между близкими душами сохраняется и на большом пространстве?»

Его похоронили в Мшатке на площадке парка, окруженной пирамидальными кипарисами. Здесь Николай Яковлевич хотел

построить беседку для своих творческих занятий в «райском саду», живом олицетворении человеческого счастья. В 1891 г. над усадьбой Мшатка на скале ниже Байдарских ворот была построена церковь Воскресения Христова. Все эти места теперь – «колыбель Духа». Н. Я. Данилевский говорил: «Красота есть единственная духовная сторона материи – следовательно, красота есть единственная связь этих двух основных начал мира… Бог пожелал создать красоту – и для этого создал материю»[6].

22 мая 1996 г. рядом с восстановленной могилой Н. Я. Данилевского был заложен камень в фундамент будущей часовни Николаю Чудотворцу. Бывший в то время мэром Ялты Н. Б. Дискин зачитал письмо-покаяние от современного поколения.

Большинство трудов великого русского ученого после революции не переиздавалось. Исключение составляет лишь «Россия и Европа» (М., 1991 г. – составитель С. А. Вайгачёв[7]; СПб., 1995 г. – составитель А. А. Галактионов[8]). Библиографию трудов Николая Яковлевича Данилевского, которая включена в петербургское издание, составил Николай Николаевич Страхов[9].

Профессор Б. П. Балуев, автор монографии о Данилевском, вносит следующее предложение: в ознаменование выдающихся заслуг Н. Я. Данилевского перед российской наукой установить в Москве памятник ученому и назвать его именем одну из улиц; ходатайствовать перед Министерством образования РФ о включении в школьную программу по истории России раздела, посвященного учению Н. Я. Данилевского; просить Международный Славянский комитет учредить медаль Н. Я. Данилевского для ежегодного награждения ею лиц или организаций, отличившихся в деятельности по укреплению дружбы и сотрудничества между славянскими народами.

В. Я. Данильченко-Данилевская
правнучка Н. Я. Данилевского

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абердин (Эбердин) Джордж Гамильтон Гордон (1784–1860) – английский политический деятель, консерватор, министр иностранных дел, премьер-министр во время Крымской войны между Турцией и Россией (1853–1856) – *31*.

Август Гай Октавий (63 до н.э.–14 н.э.) – римский император – *205*.

Августин (354–430) – епископ из Гиппона (Сев. Африка), прозванный Блаженным, крупнейший христианский теолог, последователь философии неоплатонизма – *377*.

Агамемнон – в древнегреческой мифологии царь микенский, предводитель греческого войска в Троянской войне – *505*.

Агафон (VII в.) – римский папа – *689*.

Агезилай II *(Агезилаос)* (442–357 до н.э.) – спартанский царь, полководец –*365*.

Адамс Джон Куинси (1767–1848) – посланник США в России (1809–1814) – президент США – *354*.

Адансон Мишель (1727–1806) – французский ботаник; занимаясь классификацией растений, признавал возможность изменения видов – *181, 495*.

Адриан II (792–872) – папа римский – *698*.

Азия – в древнегреческой мифологии дочь титанов Океана и Фетиды, жена титана Япета, мать Прометея – *73*.

Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886) – публицист, редактор-издатель, поэт и критик, один из идеологов славянофильства – *10, 725*.

Именной указатель составили
Ю. А. Белов и Д. В. Орлов

КОММЕНТАРИИ

Впервые книга «Россия и Европа» Н. Я. Данилевского была издана в журнальном варианте – на протяжении всего 1869 года в журнале «Заря» В. Кашпирева (под фактической редакцией Н. Н. Страхова) публиковались главы труда. В 1871 г. работа вышла отдельным изданием в количестве 1200 экземпляров под редакцией Н. Н. Страхова. Затем последовали издания 1888, 1889 и – пятое – 1895 года. В следующий раз труд был издан спустя почти век – «Россия и Европа» под редакцией С. А. Вайгачева со значительными купюрами увидела свет в 1991 году в московском издательстве «Книга», а в 1995 году в петербургском издательстве «Глаголъ» под редакцией А. А. Галактионова вышло полноценное шестое издание главного труда Н. Я. Данилевского. Вслед за тем последовало еще несколько переизданий «России и Европы»: М.: Древнее и современное, 2002; М.: Эксмо, Алгоритм, 2003; М.: Известия, 2003.

Николай Яковлевич Данилевский – также автор «Сборника политических и экономических статей» (СПб, 1890). Входящие в него статьи в XX веке переиздавались лишь однажды (Горе победителям! Политические статьи. – М.: Амир, 1998).

Двухтомная работа Н. Я. Данилевского «Дарвинизм. Критическое исследование» (СПб, 1885-1889., Ч. 1-2) в современном переиздании не выходила.

ГЛАВА I. 1864 и 1854 годы. Вместо введения

[1] Речь идет о министре иностранных дел Пруссии (1862–1890) Бисмарке, который целью своей политической деятельности видел создание единой Германской империи. В результате

Датской войны (1864) Пруссия отторгла от Дании области Шлезвиг и Гольштейн; в результате Австро-Прусской войны (1866) был создан Северо-Германский союз (1867); в результате Франко-Прусской войны (1870–1871) 18 января 1871 г. прусский король Вильгельм I был провозглашен германским императором, а Бисмарк – назначен на пост рейхсканцлера Германской империи.

[2] Согласно Лондонский протоколу («трактату») 1852 г., Пруссия и Австрия признали целостность владений Датской короны и отказались от своих притязаний на Шлезвиг и Гольштейн – области со значительным процентом немецкого населения.

[3] Кючук-Кайнарджийский мирный договор был подписан в деревне Кючук-Кайнарджи на Дунае в 1774 г. Он завершил Русско-Турецкую войну 1768–1774. Согласно этому договору, Крымское ханство, вассал Турции, было объявлено политически независимым. Россия получила города Керчь, Еникале, Кинбурн; вернула Азов; территория Кабарды вошла в состав России; российский флот стал беспрепятственно плавать по Черному морю и пользоваться проливами. Православную Церковь на территории Турции поставили под покровительство России.

[4] Норвегия с XIV в. находилась в политической зависимости от Дании, и лишь в 1814 г. ей была навязана уния со Швецией, которая действовала до 1905 г., когда Норвегия стала независимым государством.

[5] Принцип liberum veto в Польском сейме, который давал право делегату шляхты без всякой мотивировки отклонять любое решение.

[6] В 1815 г. в Вене Россией, Великобританией, Австрией, Пруссией и побежденной Францией были подписаны акты о послевоенном переустройстве Европы. Кстати, Венский конгресс провозгласил создание Священного союза.

[7] Гольштейн (в отличие от Шлезвига) входил в Германский союз, и этот факт был признан Лондонским протоколом от 1852 г.

[8] Франкфуртское Национальное собрание, созванное в период революции 1848–1849 в Германии и не обладавшее реальной властью, прославилось бесплодными прениями депутатов.

[9] Три раздела Польши (1772, 1793, 1795) были осуществлены по инициативе Пруссии и Австрии, к ним и отошли соб-

ственно польские земли, в состав же России возвращены Белоруссия, Правобережная Украина, часть Литвы, Латгалия и Курляндия.

[10] Боясь широкой популярности Гарибальди, итальянский король Виктор-Эммануил II использовал методы тайной дипломатии и интриги. Кавур также вел двойную игру: вступал в контакты, как с Гарибальди, так и с Наполеоном III.

[11] Недаром Австро-Венгрию, многонациональное государство, называли «лоскутной» монархией.

[12] В 1859 г. Наполеон III предлагал после освобождения от власти Австрии создать на Апеннинском полуострове государство под верховенством Ватикана и покровительством Франции.

[13] Поддержка Египта в его войне с Турцией со стороны Франции ставила под угрозу проливы Босфор и Дарданеллы. А по соглашению России, Англии, Пруссии, Австро-Венгрии и Франции в начале 1840 г. российскому флоту была поручена защита неприкосновенности проливов с условием гарантии их свободного режима для всех стран.

[14] Это случилось в августе 1830 г., а в 1831 г. Лондонская конференция признала Бельгию суверенным государством.

[15] Вооруженная борьба католиков и протестантов в Тридцатилетней войне завершилась подписанием германским императором, королями Франции и Швеции Вестфальского мира в 1648 г.

[16] Турция не признала примирительную Венскую ноту, подписанную в июле 1859 г. послами Франции, Англии, Австрии, России и Пруссии.

[17] Сражение 1853 г. между турецкой эскадрой и русской эскадрой, которой командовал адмирал Нахимов, закончилось уничтожением всех турецких кораблей.

[18] Речь идет о Молдавии и Валахии.

[19] Кардинал Альберони стремился разрушить антииспанскую коалицию Австрии, Англии и Голландии, для чего пытался вовлечь в союз с Испанией Россию и Турцию

[20] Успех в Крымской войне Наполеону III был необходим для поднятия престижа своего непопулярного режима

ГЛАВА II. Почему Европа враждебна России?

[1] Автор четверостишия не установлен.

[2] Защищать «европейские интересы» России приходилось в 1799 г., когда армейский корпус под командованием А. В. Суворова был направлен в Италию на помощь союзной Австрии против Франции; и в 1805 и 1807, когда Россия в коалиции с Австрией, Пруссией и Англией воевала против наполеоновской Франции. Следует, однако, отметить, что обе последние кампании закончились поражением и распадом коалиции, – победила армия Наполеона.

[3] Николай I в 1848 г. для оказания помощи австрийскому правительству направил русские войска под командованием генерала И. Ф. Паскевича для подавления революции в Венгрии.

[4] Россия вступила в Семилетнюю войну (1756–1763) летом 1757 г. и нанесла поражение прусской армии. Однако сразу же после смерти императрицы Елизаветы Петровны в 1762 г. Петр III, большой приверженец прусской армии, приказал русским войскам отступить и заключил мир с Пруссией. Его супруга, императрица Екатерина II расторгла в 1763 г. союз с Фридрихом II, но войны возобновлять не стала.

[5] Ариманом греки именовали Ахра-Майнью (Ахримана) – верховное божество зла в иранской мифологии.

[6] Герцогство Уэльс.

[7] Ништадтский мирный договор 1721 года между Россией и Швецией завершил Северную войну (1700–1721). Согласно этому договору, в состав Российской империи возвратились исконно русские земли: Новгородские, Ижорская земля от реки Луга до реки Нарва, Карельский перешеек с городом Выборгом и Южная Карелия с городом Кексгольмом. Кроме того, от шведов освобождены были Эстляндия с городами Ревель (Таллин), Нарва и Лифляндия с городом Рига.

[8] Ингрия (Ижорская земля).

[9] Речь идет о женитьбе на польской королеве Ядвиге литовского князя Ягайло, который принял затем католичество и стал польским королем.

[10] Политико-религиозный акт объединения Великого Княжества Литовского с Польшей (1569 г.), в результате которого создано государство Речь Посполитая, что, безусловно, укрепило позиции Польши в Ливонской войне с Россией (1558–1583).

[11] Польский княжеский род, к которому принадлежало несколько крупных политических деятелей XVII–XIX вв. Так, во времена царствования Александра I, А. Чарторыйский был министром иностранных дел России (1804–1806) и всячески пытался восстановить династическую унию Польши в составе России.

[12] Журнал, издававшийся в Москве (1858–1859) под ред. Е. Ф. Корша, в котором сотрудничали литераторы демократического и западнического направлений: Н. Г. Чернышевский, М. Е. Салтыков-Щедрин, И. А. Гончаров, И. С. Тургенев и другие литераторы. Журнал одобрял реформы Австрии относительно статуса Галиции, при котором местное управление передавалось польским и украинским дворянам.

[13] В X–XII вв. на этой территории проживали восточнославянские племена, входившие в состав Киевской Руси; в XIV в. на территории Бессарабии возникло Молдавское княжество, которое долгое время находилось под властью Турции; в 1812 г. Бессарабия вошла в состав России; в 1856 г. Измаильский уезд Бессарабской губернии отошел к Румынии, но в 1878 г. был возвращен России. С 1940 г. Бессарабия как часть Молдавская ССР входила в состав СССР; ныне это республика Молдова.

[14] В XIII в. на территории Крымского полуострова была образована провинция Золотой Орды, которая с XV в. стала независимым Крымским ханством. В конце XV в. его завоевывают турки, которые использовали Крым как форпост в борьбе с Россией. Походы русских войск на Крым в XVI–XVIII вв. не имели положительных результатов, и лишь Кючук-Кайнарджийский мирный договор положил конец турецкому господству в Крыму.

[15] Мирный договор между Россией и Францией, подписан 26 июня 1807 г. в городе Тильзит. Согласно ему Россия обязана была выйти из антифранцузской коалиции и присоединиться к антианглийской континентальной блокаде.

[16] В июле 1810 г. Наполеон осуществил аннексию герцогства Ольденбургского вместе с другими феодальными владе-

ниями, входившими в состав Королевства Голландии, что нарушало условия Тильзитского мира.

[17] 17 июня 1812 г. А. Д. Балашов вручил Наполеону в г. Вильно письмо Александра I с протестом против вторжения французской армии в пределы России.

[18] Ссылка на книгу Роттека "Allgemeine Geschichte" ("Всеобщая история" – Фрайбург, 1813–1818).

[19] Конституция, составленная без участия народа и «дарованная» монархом народу. На деле такого рода конституции суть верхушечные компромиссы против народа.

[20] Коцебу Август (1761–1819) – немецкий писатель крайне консервативного направления, агент русского правительства, был убит студентом К. Зандом 23 марта 1819 г.

[21] Смягчающими обстоятельствами (*фр.*)

[22] Президент Греческой республики Иоаннис Каподистрия был убит восставшими крестьянами в 1831 г. Меттерних убедил Александра I, что поддержка Греции равносильна поддержке революции. Русский царь по отношению к Греческой республике, образовавшейся в результате антитурецкого восстания, вел себя нерешительно. В этом и следует искать причину разрыва с Каподистрией, который ушел в отставку с поста русского министра в 1822 г.

[23] С устранением причины устраняется следствие (*лат.*)

[24] Мелкие германские государства, существовавшие до объединения Германии как суверенные.

[25] Простой (подлый) русский, бородатый русский (бородач) (*нем.*)

ГЛАВА III. Европа ли Россия?

[1] Сто раз я призывал вас, сейчас кричу
Вам, раскиданные по всему миру Славяне,
Будем единым целым, а не раздробленными,
Будем или все, *или ничто* (чешск.)

Коллар. Отрывок из поэмы "Дочь Славы"

Чешский поэт и ученый Ян Коллар (1793–1852) – профессор Венского университета, автор научного исследования “О литературной взаимности славян”.

[2] Историческое название Австралии.

[3] Древнее название западной части Среднерусской возвышенности.

[4] Сарпа – крупное озеро в цепи Сарпинских озер на правобережье нижней Волги; Маныч – комплекс озер и лиманов в южной части Ставропольского края.

[5] Я европейский, и ничто европейское мне не чуждо (*лат.*)

[6] Движение (натиск) на Восток (*нем.*) – формула германской восточной политики.

[7] Рожают горы, а родится смешная (ничтожная) мышь (*лат.*)

[8] Излишеством.

[9] Дальний Восток (*англ.*); здесь: вид, обзор.

[10] Чистая доска (*лат.*)

[11] Чистой крови *(фр.)*

[12] Герой пьесы Шиллера “Дон Карлос”, выразитель идей гуманизма и свободы, «гражданин Вселенной».

[13] Часть Польши, Таврия, Крым, Грузия, Казахстан, Средняя Азия, Закавказье, Приамурье.

[14] Вещество (тело) движется не иначе, как будучи текучим (*лат.*)

[15] Шедо-Ферроти – литературный псевдоним барона Ф. И. Фиркса, официозного публициста, автора брошюр, дискредитирующих Россию. В брошюре “Que feraton de la Pologne?” (“Что сделают с Польшей?”) (1864) Шедо-Ферроти протестовал против жесткого правительственного курса в отношении Польши и осуждал катковский «Русский Вестник» за «ультрарусские» высказывания.

ГЛАВА IV. Цивилизация европейская тождественна ли с общечеловеческой?

[1] В римской мифологии богиня мудрости Минерва чудесным образом родилась из головы бога Юпитера.

[2] Событием, приведшим к падению Западной Римской империи, принято считать низложение в 476 г. последнего римского императора Ромула Августула. Однако к этому времени уже бóльшая часть Империи была захвачена племенами готов, вандалов, англосаксов, франков, бургундцев, гуннов и поделена на независимые от Рима государства.

[3] Процесс возникновения и быстрого распространения ислама в начале VII в.

ГЛАВА V. Культурно-исторические типы и некоторые законы их движения или развития

[1] Отрывок из стихотворения А. С. Хомякова “К И. В. Киреевскому” (1848 г.)

[2] Область, населенная в древности кельтами. Самобытная культура Друидической (друиды – жрецы) Галлии существовала вплоть до завоевания ее римлянами в конце II в. до н.э.).

[3] Восточные германцы, населявшие южное побережье Балтийского моря, берега нижней Вислы.

[4] Моисей – первый пророк Бога Яхве, получивший от Него «скрижали» – свод законов, которые мы находим в Ветхом Завете; вождь евреев во время их исхода из Египта в Ханаан.

[5] Своего рода (*лат.*)

[6] Амфиктиония – союз племен и городов-государств (полисов), созданный для охраны общего религиозного культа. Собрания делегатов выполняли функции религиозного суда.

[7] Создан на месте выхода подземных одурманивающих газов. Служительницы оракула в наркотическом состоянии произносили слова, которые жрецы объявляли пророчествами.

[8] Древний Рим и Карфаген воевали между собой с перерывами с 264 по 146 до н.э. Пунические войны закончились победой римлян и превращением Рима в средиземноморскую державу

[9] Научно-философский центр в городе Александрия.

[10] Хронологию этого периода еврейской истории следует датировать XI–V вв.

[11] Древнегреческий поэт, драматург, автор трагедий: “Эдип-царь”, “Антигона”, “Электра” и др.

[12] При французском короле Людовике XIV (1638–1715) усиление власти монарха достигло абсолютных пределов. Для примера приведем его широко известное изречение: «Государство – это Я».

[13] Потомки мифического героя Геракла, которые постоянно вели борьбу за обладание Пелопоннесским полуостровом.

[14] Войны (500–449 до н.э.), которые вели объединенные силы древнегреческих полисов с Персидской державой.

[15] Представители семитской группы, вытесненные из Палестины израильтянами.

[16] Буддизм возник в Индии в VI–V вв. до н.э. как религия и впоследствии получил распространение за ее пределами – в Китае, Монголии, Бирме, Тибете, Индокитае, на Цейлоне.

ГЛАВА VI. Отношение народного к общечеловеческому

[1] Под влиянием европейских революций с 1848 г. в России цензурные комитеты стали контролироваться III отделением полиции. Были арестованы участники кружка М. В. Буташевича-Петрашевского, среди которых (наряду с Ф. М. Достоевским) на четыре месяца в Петропавловскую крепость был заточен и сам Н. Я. Данилевский.

[2] Основная идея западнического направления в 40–50-х гг. XIX в. состояла в том, что в своем общественном развитии Россия отстала от стран Запада, которые достигли более высокого уровня цивилизации, нежели русское общество, а значит – Россия и впредь должна идти тем же путем, что и Европа. Западничество с самого начала было неоднородным. В него входили как либерально настроенные интеллектуалы, так и революционеры. Поэтому Белинского, например, называли революционным западником. В годы, предшествующие крестьянской реформе

1861 г., западничество размежевалось на либералов (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Б. Н. Чичерин и др.) и революционеров-демократов (В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, Н. Г. Чернышевский и др.).

[3] Возглавлял журнал, издававшийся в Петербурге, А. А. Краевский. С редакцией активно сотрудничали В. Г. Белинский, Т. Н. Грановский, А. И. Герцен, Н. П. Огарев. В «Отечественных записках» публиковались литературные произведения А. В. Кольцова, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева и др.

[4] Журнал был основан в 1847 г. А. С. Пушкиным, затем перешел в руки Н. А. Некрасова и И. И. Панаева. С ними активно сотрудничали В. Г. Белинский, А. И. Герцен, И. А. Гончаров, Д. В. Григорович, Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев и др. С середины 50-х гг. к работе в журнале были привлечены Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов, благодаря чему издание стало органом революционеров-демократов.

[5] Направление русской философии, предполагавшее необходимость опоры в процессе развития общества на национальные начала – не до конца подавленные петровской «европеизацией» страны и до сих пор коренящиеся в народе. В своих философско-исторических взглядах разделявшие идеи славянофильства А. С. Хомяков, братья Киреевские и Аксаковы, Ю. Ф. Самарин следовали органической теории, выведенной из шеллингианства.

[6] Отрывок из стихотворения А. С. Хомякова “России” (1840).

[7] Декларация прав человека (*фр.*).

[8] Двухтомное произведение французского социалиста-утописта Пьера Леру “О человечестве, его принципах и его будущем”, изданное в 1840 г.

[9] Работа немецкого зоолога Жозефа Перти “Мистические проявления человеческой природы”, изданная в 1861 г.

[10] «Позвольте делать, позвольте поступать свободно» (дословно: «Как идет, пусть идет») (*фр.*) – формула свободы буржуазной экономической деятельности.

[11] Меркантилизм – экономическая теория, обосновывающая государственную политику, поддерживающую буржуазное

предпринимательство и торговлю. Фритредерство (от *англ.* free trade – свободная торговля) – направление экономической политики буржуазии, требующее свободы торговли и невмешательства государства в экономическую деятельность, частное предпринимательство.

[12] Народы индоевропейской группы языков.

[13] Группа племен, заселяющая Западную и Северную Европу и подвергшаяся романизации; лишь небольшая ее часть сохранилась в Уэльсе, Шотландии, Ирландии.

[14] Нигилизм (от *лат.* nihil – ничто) – отрицание, исключающее положительные идеалы. Идейное течение в России второй половины XIX в., представляющее одну из фракций революционного демократизма, лидером которого был Д. И. Писарев. Абсентизм (от *лат.* absentia – отсутствие) – определенного рода общественный протест, такой, как неучастие в выборах, отказ от использования права голоса, систематическая неявка на заседания коллегиального органа. Шедоферротизм – беспринципные действия прессы, журналистов, подкупленных властями или иными политическими структурами. Сепаратизм (от *лат.* separatus – отделенный) – стремление к национальному отделению от каких-либо государственных образований в целях самостоятельного конституирования. Бюрократизм (буквально: власть стола) – политическое господство лиц (чиновников) и органов государственно-административного управления, поставивших себя над интересами народа. Навеянный демократизм – демократизм, привнесенный в Россию, заимствованный у чуждых, отличных от русского общественного и политического устройства социальных моделей.

[15] Еженедельная политическая и литературная газета, издававшаяся в 1863–1870 гг. Н. А. Безобразовым и выражающая интересы дворянской оппозиции реформам Александра II справа.

[16] Александрийский эллинизм – культура, центром которой стал город Александрия, основанный в 332–331 гг. до н.э. Александром Македонским на Средиземноморском побережье Египта.

[17] Без чего нет; без которого не может быть (*лат.*).

[18] “Исповедь” (*фр.*).

[19] Английский философ Т. Гоббс создал теории естественного права и договорного происхождения государства, согласно которым в первоначальном периоде существования общества, когда еще не было государства, отношения людей достигли состояния «войны всех против всех» («bellum omnium contra omnes» (*лат.*)). Такая угроза самому существованию общества вынудила людей вступить в договор о создании государства как органа, регулирующего отношения в обществе.

[20] Английский натуралист Ч. Дарвин создал эволюционную теорию происхождения видов растений и животных путем естественного отбора, борьбы за существование. В своем двухтомном произведении “Дарвинизм. Критическое исследование” (1885) Н. Я. Данилевский подверг жесточайшей критике дарвиновское учение именно за эту теорию борьбы за существование.

[21] Сторонники этого французского направления буржуазной экономической науки XVIII в. главным источником национального богатства считали земледелие.

[22] Известный английский историк и публицист Т. Маколей написал биографию Ф. Бэкона.

[23] Английский моралист И. Бентам разработал концепцию утилитаризма, согласно которой польза – главный критерий поступков человека и его нравственных норм.

[24] Немецкий врач и химик Г. Шталь сформулировал теорию флогистона, гипотетически предположив существование особой материи, которая якобы обладает отрицательным весом и с помощью которой химики и в дальнейшем пытались объяснить процессы окисления. Опровержение теории флогистона Шталя принадлежит русскому ученому М.В. Ломоносову; когда же французский ученый Лавуазье открыл в 1775 году кислород, флогистонная теория окончательно утратила свое научное значение.

[25] Английский химик и физик Дж. Дальтон обосновал законы химических взаимодействий газов и вывел их из теории атомистического строения вещества.

[26] Голландский механик, физик и математик Христиан Гюйгенс создал волновую теорию света, противопоставив ее ньютоновской (корпускулярной), которая объясняла природу света движением (истечением) мельчайших частиц вещества (корпускул).

[27] Согласно этому учению, теплород есть особая невесомая материя, причина теплоты в теле. Передачу же теплоты понимали как переливание теплорода из одного тела в другое. Опровергнул теорию теплорода русский ученый М. В. Ломоносов.

[28] Закон всемирного тяготения.

[29] Эфир – материя, состоящая, по мнению физиков XVIII–XIX вв., из особо легких и подвижных атомов, или среда, заполняющая пространство и являющаяся, по более поздним представлениям (например, начало XX в.), носителем электромагнитного и гравитационного полей.

[30] К. Вольф, один из основоположников эмбриологии, открыл первичные формы органов у формирующихся зародышей.

ГЛАВА VII. Гниет ли Запад?

[1] Отрывок из стихотворения А.С. Хомякова “Мечта” (1834).

[2] Более роялистом (монархистом, сторонником королевской власти), чем сам король (*фр.*).

[3] Анфимий Тралльский – византийский математик и механик, автор сочинения “Об удивительных механизмах”, строитель Софийского собора (532–537).

[4] Пелопонесская война (431–404 до н.э.) – конфликт между городами-государствами Древней Греции, закончившийся победой и возвышением Спарты.

[5] Римская императорская династия (96–192), представители – Нерва, Траян, Адриан, Антоний Пий, Марк Аврелий.

[6] I тыс. до н.э. – время становлением религиозно-философской системы брахманизма.

[7] Викрамадитья (Викрама) – царь государства Уджайини в Западной Индии (предположительно VI в. до н.э.), под своей

властью объединил почти все земли современной Индии, герой многочисленных преданий и народных сказаний.

[8] Калидаси (Калидаса) – древнеиндийский поэт и драматург V в. до н.э., автор поэм “Род Рагху”, “Рождение Кунары”, “Времена года”, в которых сильны фольклорные мотивы, ярко изображается природа и народная жизнь.

[9] Индийские города, крупные религиозные центры эпохи.

[10] В 1506–1614 был возведен главный католический собор Ватикана.

[11] Федерация древнегреческих городов Пелопоннеса, созданная около 280 г. до н.э. для борьбы с македонской агрессией.

[12] Объединение древнегреческих городов Этолии, созданное в III в. до н. э. для борьбы с внешней угрозой со стороны соседних народов.

[13] Тридцатилетняя война (1618–1648) – один из первых общеевропейских военных конфликтов, затронувший в той или иной степени практически все европейские страны.

ГЛАВА VIII. Различия в психическом строе

[1] Журнал «Страхопуд» издавался в Ведене (1863–1867) и Львове (1872–1873, 1880 –1882, 1886–1892).

[2] Отрывок из стихотворения А. С. Хомякова “Раскаявшейся России”.

[3] Шведский натуралист Андерс Ретциус предложил краниологическую классификацию человеческих рас по черепу на долихо-(длинно-) и брахи-(коротко-) цефальных (головых).

[4] Ученое, военное и кормящее сословие (*нем.*)

[5] Голландский натуралист Петрус Кампер в качестве критерия для различения профиля головы у людей разных рас предложил личнóй (лицевой) угол.

[6] Польскому историку и публицисту Франциску Духинскому принадлежит концепция, согласно которой русские (великороссы), в отличие от украинцев и белорусов, – не славяне, а туранцы, то есть среднеазиаты .

[7] Хочешь – не хочешь (*лат.*)

[8] Еретическое направление в христианстве IV–VI вв., названное по имени Ария (?–336), священника из Александрии, который отрицал догмат о единосущности Бога-Отца и Бога-Сына (Христа).

[9] Движение в Византии VIII–IX вв. против обогащения церкви, начало которому положено императором Львом III, запретившим в 730 г. культ икон и попытавшимся конфисковать церковные богатства.

[10] В этом сборнике подложных церковных актов обосновывалась абсолютность папской власти над всеми христианами.

[11] Меровинги – королевская династия во Франкском государстве (457–751). Один из Меровингов, король Хлодвиг, истреблял в целях укрепления своей власти вождей франкских племен, даже и своих родственников.

[12] Речь идет о богословской брошюре А. С. Хомякова, изданной на французском языке за границей под названием "Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях".

[13] Несторианство – секта в христианстве, подчеркивающая человеческую, земную природу Христа. Монофилитизм – учение, признающее не только божественную и земную природы Христа, но Его единую волю.

[14] Религиозно-философская школа (II–III вв.), которая соединяла христианскую теологию с религиями Древнего Востока и с идеями философии Пифагора и Платона.

[15] Символ веры христианства, сформулированный на Никейском соборе в 325 г. Император Константин настаивал, что Символ веры должен быть обязательным для всех христиан, и отступление от него есть преступление.

[16] Форма правления, когда глава государства одновременно является и главой церкви.

[17] Т.е. после смерти папы Николая I (?–876).

[18] И от Сына (*лат.*).

[19] Миссионерская стратегия, заключающаяся в настойчивых попытках обратить в свою веру лиц иного вероисповедания.

[20] Альбигойцы – французские еретики XП–XШ вв., выступавшие бюргерской оппозицией феодализму; вальденцы – последователи Пьера Вальда, который проповедовал аскетизм.

[21] Ночь на 24 августа 1572 г., вошедшая в историю как ночь кровавой расправы католиков с протестантами (гугенотами). Вдохновительницей резни была французская королева Екатерина Медичи.

[22] Собор в городе Констанца (1414–1418) решал задачи объединения Католической церкви и борьбы с реформаторским движением, прежде всего с гуситами.

[23] Религиозное движение в Англии XVIII в., опиравшееся на учение Кальвина.

[24] Последователи кальвинизма в Англии и Шотландии.

[25] *Здесь:* общее дело (*лат.*).

[26] Имеется в виду жестокость испанских завоевателей Южной и Центральной Америки.

[27] Кули – неквалифицированная, почти дармовая рабочая сила в странах Юго-Восточной Азии (Китае, Индии).

[28] В ходе жестоких подавлений восстаний лионских рабочих в 1831 и в 1834 применялась артиллерия.

[29] В августе 1792 г. республиканцы города Нант санкционировали казнь через утопление роялистов.

[30] В 1839–1842 и в 1856–1858 англичане вели захватнические войны против китайцев; поводом стал запрет китайских властей на контрабанду опиума.

[31] Орудие казни, явившееся и широко использовавшееся для уничтожения «контрреволюционеров» в эпоху Французской революции XVIII века.

[32] Имеется в виду пропагандистская деятельность французских философов и литераторов (А. Вольтера, Д. Дидро, П. Гольбаха, К. Гельвеция, Ж. д'Аламбера и др.), объединившихся вокруг издания “Энциклопедии” и в течение полувека подготавливавших умы обывателей к Французской революции 1789 г.

[33] Имеются в виду кратковременные союзы польского шляхетства с Турцией против России в борьбе за Западную Украину в XVI–XVII веках.

[34] Крещение Руси осуществил в 988 г. Великий князь Киевский Владимир.

[35] Итальянский просветитель Чезаре Беккария одним из первых в буржуазной юстиции потребовал отмены смертной казни.

[36] Имеется в виду отмена в 1815 году в Англии высоких пошлин на импорт злаковых культур, ограничивавших ранее ввоз и сохранявших выгодные для лендлордов цены на хлеб на внутреннем рынке

[37] Бог из машины (*лат.*). Выражение, означающее неожиданную и немотивированную общим ходом событий развязку.

[38] Имеются в виду многочисленные попытки французских историков объяснить поражение Наполеона в войне 1812 г. климатическими условиями (прежде всего, морозными зимами) России.

[39] Имеется в виду упоминание в "Повести временных лет" появления волхва в Ростове в 1091 году, то есть спустя более 100 лет после принятия на Руси православия.

[40] Доблесть, мужество, добродетель (*лат.*).

[41] Восстание крестьян против реализации "Положения 19 февраля" об отмене крепостного права в селе Бездна в апреле 1861 г.

[42] Речь идет о политических интригах верхушки боярства в годы регентства Елены Глинской (1533–1538), матери Ивана IV, и в Смутное время, когда сын польского короля Сигизмунда III Владислав был приглашен на русский престол (1610 г.).

ГЛАВА IX. Различие вероисповедное

[1] Романизм, заменяя единство универсальной веры независимостью индивидуального или епархиального мнения, был сам первой ересью против догмата церкви или подрывом веры как таковой. Реформа была только продолжением той же самой ереси только под другой формой. А. С. Хомяков. Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях.

[2] Протестантская секта, возникшая в Англии во время буржуазной революции середины XVII в. Отражала интересы

мелких бюргеров и фермеров, сектанты отвергали роскошь и воинскую повинность, а высшим проявлением веры считали «внутренний свет» и «добродетель».

[3] Английские и североамериканские протестанты, представители рационалистической ветви протестантизма.

[4] Смелый (сильный) духом, мыслью (*фр.*).

[5] В 1555 г. на церковном соборе был заключен Аугсбургский мир между протестантскими князьями Германии и императором Карлом V. Событие это фактически закрепило политический распад Германии и утвердило независимость ее князей в религиозных вопросах.

[6] Религиозно-политическое воззрение внутри католицизма, предполагающее наделение римских пап неограниченной властью в государственных делах.

[7] Иван Грозный обратился к папе Григорию XIII за посредничеством в конфликте с польским королем Баторием. Ватикан же, воспользовавшись этим, попытался выяснить отношение Русской Православной Церкви и самого царя к Вселенскому Символу веры, в частности – к Filioque.

[8] Лин – первый папа римский (67–76); Анаклет – второй (76–88).

[9] Св. Климент – третий папа римский (88–97).

[10] Члены католического ордена «Общество Иисуса», отличавшегося строжайшей дисциплиной и особой моралью, допускающей тайные акции.

[11] Противодействуя революции в Италии, папа Пий IX издал в 1864 г. энциклику (“Список обязанностей»), с помощью которой стремился сохранить положение Католической церкви. В приложении к ней он составил «Список заблуждений», который осуждал «превратные учения XIX в.», в том числе социализм и коммунизм.

[12] «Не может» (формула категорического отказа) (*лат.*).

[13] По прихоти, произволу; как захочется (*лат.*).

[14] Верховный (наивысший) жрец (*лат.*).

[15] Религиозная секта, возникла в США в первой половине XIX в., пропагандирует теократические идеалы, здоровый образ жизни, трудолюбие и бережливость.

[16] Скрытно, в неразвернутом виде (*лат.*).

[17] Готы – германское племя, мигрировавшее во II в. с южного побережья Балтийского моря на юго-восток в Причерноморье, где столкнулось со славянами (антами). В IV в. образовались группы племен вест- и остготов. Вытесненные из Причерноморья гуннами, вестготы вновь двинулись в Римскую империю. В начале V в. под руководством Алариха захватили Галлию, Италию, разграбили Рим. Бургунды – племя восточных германцев, мигрировавшее в IV–V вв. на Рейн, в бассейн Роны, где и было создано королевство. Позднее бургунды в состав Франкского государства. Вандалы – германское племя, мигрировавшее во второй половине II в. на юг, но, вытесненное гуннами, переселилось на Пиренейский полуостров, а затем в Северную Африку, где основало собственное королевство. В 455 г. вандалы захватили Рим, беспощадно разрушив и разграбив город.

[18] В борьбе за единовластие над всей империей (Западной и Восточной) римский император Констанций II отчаянно нуждался в поддержке всех религиозных движений, в т.ч. и арианства, с которым шел на компромисс. С другой же стороны он притеснял христианских ортодоксов, непримиримых противников арианства, в частности, епископа Александрии Афанасия Александрийского.

[19] Император Византии Лев Исаврянин поддерживал иконоборческое движение и практиковал конфискацию церковно-монастырских земель для обеспечения военных поселенцев.

[20] Византийский император Константин Копроним был продолжателем политики предшественника в отношении секуляризации церковного имущества.

[21] Римский император Феодосий Флавий окончательно признал христианство государственной религией; император Византии Юстиниан I в отношении церкви установил режим цезаропапизма; Феодора – византийская императрица, жена Юстиниана; византийская императрица Ирина восстановила иконопочитание. Напротив, Констанций, Валентиниан, Ираклий, Лев Исаврянин, Константин Копроним проводили политику сдерживания влияния церкви и ограничения имущественных прав церкви.

[22] Философское учение, признающее Бога первопричиной мира, функционирующего и развивающегося вслед за этим уже по своим собственным законам.

ГЛАВА X. Различия в ходе исторического воспитания

[1] Отрывок из философского романа “Sartor Resartus” англичанина Т. Карлейля.

[2] В состоянии становления, зарождения (*лат.*).

[3]Движение с Востока на Запад варварских, германских племен, начавшееся во второй половине IV в. под напором вторгшихся в Европу гуннов.

[4] Соглашение 843 г. о разделе империи Карла Великого между его внуками.

[5] Кочевники.

[6] Как известно, на территории Западной Римской империи Карл Великий создал Франкское государство, где значительная часть земли была передана свободным крестьянским общинам, другая часть – в руки военной знати и церкви на правах частной феодальной собственности. Это способствовало появлению свободных крестьян-собственников и феодалов, которые владели обширными земельными поместьями. В дальнейшем разоряющиеся мелкие собственники превратились в крепостных крестьян.

[7] Земельное наследственное владение, полученное на условии службы придворной, военной или административной.

[8] С XII в. европейские теологи обратились к философии и логике Аристотеля для систематизации и обоснования христианского вероучения. Возникла схоластика («школьная» философия), подчиненная богословию, которая отбросила во взглядах Аристотеля живое и продуктивное, абсолютизировала идеалистические, теологические и телеологические элементы.

[9] Ряд военных экспедиций, которые были предприняты по призыву религиозных проповедников на Ближний Восток в XI–XШ вв. под предлогом освобождения Иерусалима и Гроба Господня от ига мусульман.

[10] Атлас (или Атлант) – герой греческой мифологии, титан, державший на своих плечах небесный свод в наказание за участие в борьбе титанов против богов Олимпа.

[11] Штурм Бастилии – крепости-тюрьмы состоялся 14 июля 1789 г; взятие Тюльери – королевского дворца – 10 августа 1792 г. Это основные вехи революции XVIII в. во Франции.

[12] Расстрел восставших парижских рабочих буржуазным правительством во время революции 1848 г. во Франции.

[13] Сравнение с действиями римского полководца Ма́рия, отразившего в 102–101 гг. до н.э. нашествие германских племен кимвров и тевтонов (германские племена), захватившего Рим и жестоко расправившегося с политическими противниками.

[14] Карловинги (Каролинги) – франкская королевская династия, сменившая в 751 г. Меровингов; Капетинги – династия французских королей (с 987 г.), названная по имени основателя – Гуго Капота.

[15] Оттон и Генрих – немецкие короли саксонской династии, при которых были захвачены чужие земли и создана Священная Римская империя германской нации (IX–X вв.).

[16] Английский король, сын казненного Карла I. С его возвращением на трон в 1660 г. в Англии была восстановлена династия Стюартов.

[17] Французский король из династии Бурбонов. Его регентом в малолетстве был герцог Филипп Орлеанский. При дворе Людовика XV особенно возросла роль фаворитов и фавориток, например, известной мадам де Помпадур.

[18] В июле 1830 г. во Франции свергли Карла X, на короткое время была провозглашена республику, но затем вновь на трон возвели Луи Филиппа.

[19] Здесь сравнивается положение трудящихся в капиталистической Европе с положением илотов – земледельцев в Спарте, которые принадлежали государству и раздавались полноправным гражданам с наделами земли.

[20] Осуществлялась в 30-е гг. XVI в. королем Генрихом VIII, результатом стало возникновение Англиканской церкви. В протестантской Англии главой церкви был король, церковные земли

конфискованы и переданы дворянам, а католическая догматика и обрядность католицизма во многом сохранены.

[21] Легендарный вождь древних евреев, по чьей мольбе Господь на некоторое время остановил движение Солнца, дабы евреи могли победоносно окончить сражение.

[22] Вильгельм I, герцог Нормандии, в 1066 году завоевал Англию, осуществил конфискацию земель англосаксонской знати и передал их прибывшимиз Франции рыцарям и аристократам.

[23] «Государство – это я» (*фр.*).

[24] Год окончания Тридцатилетней войны, в которую были втянуты почти все европейские государства, воюющие то на стороне католиков, то – протестантов.

[25] В противоположность французскому материалистическому направлению (Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах, Ж. Ламетри) в Германии возникла умозрительная идеалистическая философия И. Канта, И. Г. Фихте, Ф. В. Шеллинга, Г. Ф. В. Гегеля.

[26] Восстанием в Аранхуэсе в марте 1809 г., затем в Мадриде – в мае, а вскоре и по всей Испании началось сопротивление французской оккупации. В том же 1809 г. была зафиксирована первая попытка сопротивления нашествию Наполеоновской армии и со стороны германских народов.

[27] Мексиканская экспедиция Наполеона III в 1862–1867 – одна из нескольких захватнических войн (Крымская война, войны в Сирии и в Китае), которые вела Франция при императорском режиме.

[28] Луи Тьер, впоследствии премьер-министр и президент Франции, резко критиковал движение в пользу объединения Италии, что грозило нарушением сложившегося в регионе равновесия.

[29] Крестьянская война тайпинов 1850–1864 против национального гнета Маньчжурской Цинской династии, открывшей пути для экспании в Китай европейцев. Тайпинги – от «Тайпин тяньго» («Небесное государство великого блага») – название организации восставших.

[30] В Киевской Руси в результате дробления владений, наследуемых княжескими родами, сложилась удельная система,

как государственная организация, которая способствовала постепенному ослаблению центральной власти; общегосударственным интересам стали противопоставляться местные, удельные; между княжествами возникали конфликты, войны. Конечно, это не могло не препятствовать объединению русского народа перед лицом внешней опасности.

[31] Польская интервенция 1604–1614.

[32] Согласно «ревизии», т.е. повторной переписи населения, которая была проведена в 1724 г., все «души» мужского пола записывались за помещиками и государством. При этом обнаружилось, что количество крепостного населения страны значительно превышает то количество населения, которое насчитали при предшествующей переписи.

[33] “Манифест” Петра III от 18 февраля 1762 г. «О вольности дворянской» освобождал дворян от обязательной военной службы и тем самым отменял существующее оправдание их права на владение землей и крестьянами, получаемыми за службу.

[34] Герой повестей “Семейная хроника” и “Детские годы Багрова-внука” русского писателя С. Т. Аксакова.

[35] “Манифест” и “Положение” об отмене крепостного права – документы, опубликованные 19 февраля 1861 г.

ГЛАВА XI. Европейничанье – болезнь русской жизни

[1] Отрывок из стихотворения А. С. Хомякова «Не говорите: “То былое...”».

[2] Делая хорошую мину при плохой игре (*фр.*).

[3] Огромные потери при боевых действиях во время Крымской войны 1854–1855 и намеренное затопление военных кораблей на входе в Севастопольскую бухту.

[4] Сцилла и Харибда – мифические чудовища, описанные Гомером в “Одиссее”. Выражение: «Находиться между Сциллой и Харибдой» – означает подвергаться опасности с двух сторон.

[5] Слова Чацкого – героя комедии А.С. Грибоедова “Горе от ума”.

[6] Изделия из Парижа; предметы роскоши (*фр.*).

[7] Представители местной власти, избираемые из среды бояр и дворян от губы (округа, уезда).

[8] Суд пэров – «суд равных», учреждение для разрешения конфликтов в среде высшей аристократии; патримониальный суд – высший суд в Католической церкви.

[9] Журнал «Мир» издавался последователями Сен-Симона во главе с П. Леру в 1824–1831.

[10] Газета «Мирная демократия» выходила в Париже (1843–1851) под редакцией фурьериста В. Консидерана.

[11] Английская газета «Таймс» («Времена») издается в Лондоне с 1785 г.

[12] Газета основана Московским университетом в 1756 г. и издавалась до 1917 г. С 60-х гг. XIX в. она перешла в руки М. Н. Каткова и стала основным органом консервативного направления в русской журналистике.

[13] В этой статье (опубликована в «Современнике» (1861, № 7) автор, Н. Г. Чернышевский, выражает симпатии к польскому народу и проводит мысль, что национальное движение не может рассматриваться вне классовых отношений.

[14] На войне, как на войне (*фр.*).

[15] Английский естествоиспытатель Т. Гуксли (Хаксли), сотрудник и последователь Дарвина, опираясь на данные сравнительной анатомии, доказывал близость человека и высших обезьян, происходящих от общего первоначального предка.

[16] Речь о труде “Я не ставлю мое дело ни во что”. Налицо несоответствие посвящения книги «Моей любимой Юльхен» ее содержанию, т.к. все человеческие ценности М. Штирнер объявляет здесь призраками и пропагандирует крайний эгоизм и цинизм.

[17] Фамусов, Марья Алексеевна – герои комедии “Горе от ума” А. С. Грибоедова.

[18] Мыс Гибралтар, где и по сей день располагается мощная военная база Великобритании.

[19] Концепция объединения славянских народов под эгидой России – так в Австро-Венгрии и Германии в середине XIX

в. называли идеологию западных славян, которые боролись за освобождение из-под власти турок и немцев, а также внешнеполитические действия России в поддержку национальной независимости болгар, сербов, хорватов, чехов, словаков. Мнимая опасность возникновения «Всемирной Российской империи», активно внедрявшаяся в общественное сознание во второй половине XIX в. на Западе, позволяла странам Европы прикрывать собственный антиславянский и антирусский политический курс.

[20] Впервые принципы внешней политики США (в дальнейшем подтвержденные как доктрина Монро) определил Дж. Адамс, посланник США в России (1809–1814). При президенте США Дж. Монроэ в 1823 г. была провозглашена декларация (доктрина Монро) об опеке США над всеми странами Западного полушария.

[21] Результат одно из направлений внешнеполитической деятельности России при Екатерине II – укрепление позиции России в Прибалтике.

[22] В XIX в. греческий народ, боровшийся за независимость, несколько раз (восстание 1821 г.; русско-турецкая война 1828–1829) восставал против владычества Турции и Австро-Венгрии.

[23] Эскамотировать – присвоить обманным путем (от *фр.* escamoteur).

ГЛАВА XII. Восточный вопрос

[1] Отрывок из стихотворения А. С. Хомякова “Суд Божий” (1854).

[2] В 387 г. до н.э. посол от Спарты Анталкид заключил мирный договор между Спартой и Персией, чем завершил Коринфскую войну (395–387 до н.э.). Договор, выгодный Спарте, означал общее ослабление Эллады и торжество Персии, ибо Союз греков распускался и запрещалось всяческое политическое объединение греческих полисов.

[3] Области Балканского региона, которые граничили или входили в состав древнегреческих государств-полисов.

[4] Христофор Колумб (1451–1506) в 1485 году предложил испанскому королевскому двору проект достижения Индии западным путем.

[5] Крепость-дворец мавританских властителей Испании.

[6] Брестская уния 1596 г. – объединение Православной и Католической Церквей на территории Речи Посполитой.

[7] Крестоносцы овладели в 1204 г. Константинополем, разграбили его и создали на территории Византии несколько феодальных государств, самое крупное из которых – Латинская империя (1204–1261).

[8] Этот собор (1439–1442) принял унию Католической и Православной Церквей, которая, однако, осталась нереализованной.

[9] Битва 1389 г. между объединенными силами Сербии и Боснии под предводительством сербского князя Лазаря и турецкой армией Мурада I, которая закончилась победой турок и превращением Сербии в вассальное государство.

[10] Всеми правдами и неправдами (*лат.*).

[11] Каждому свое (*лат.*).

[12] Сила, что всегда желает зла, и всегда творит добро (*нем.*).

[13] Иосиф II (1741–1790) осуществил серию разнообразных реформ, которые после его смерти были отменены как противоречащие национальным интересам.

[14] К победоносным войнам можно отнести войны: 1768–1774; 1787–1791; 1806–1812; 1828–1829; 1877–1878.

[15] Со дня опубликования “Манифеста” и “Положения» об отмене крепостной зависимости”.

[16] Скорее всего, имеется в виду завершение процессов национального объединения. К провозглашенному в 1861 г. Королевству Италии в течение 60-х гг. были присоединены Пьемонт, Венеция, Папская область. В декабре 1870 г. Рим стал столицей Итальянского Королевства. В 1866 г. был образован Северо-Германский союз во главе с Пруссией. Затем в него вошли Ганновер, Кургессен, Нассау, Саксония, Шлезвиг-Гольштиния, Баден, Гессен-Дармштадт, Бавария, Вюртемберг. В январе 1871 г. воссоединение Германии за-

вершилось. Прусский король Вильгельм I был провозглашен германским императором.

[17] Три мирных договора (1774 г., 1791 г. и 1812 г.), завершившие русско-турецкое противоборство в XVII–XIX вв.

[18] Битва 1827 г. между соединенным флотом России, Англии и Франции и турецко-египетскими морскими силами во время освободительной войны греков за независимость.

[19] Мирный договор 1829 г. был подписан Россией и Турцией по завершении войны 1828–1829 г. после взятия г. Андрианополя.

[20] Этот договор между Россией и Турцией заключен в июне 1833 г.. В результате поражений Турецкой армии в войне с вассальным Египтом Турция обратилась к России за помощью. Русская эскадра вошла в Босфор и высадила десантный корпус под Константинополем. Подписанный Ункяр-Искелесский договор установил вечный мир и обязательства взаимной помощи между Россией и Турцией. В секретной статье Турция обязывалась по просьбе России закрывать доступ военных кораблей других государств в проливы.

ГЛАВА ХШ. Место Австрии в Восточном вопросе

[1] «Ты же, счастливая Австрия, заключай браки» (*лат.*).

[2] 1267 г.

[3] В 1346 году, в ходе Столетней войны на поле при Креси англичане одержали решительную победу в сражении с французами.

[4] Южные области современной Австрии.

[5] Провинции Австрии к западу от р. Лейты.

[6] Поповский император (*нем.*).

[7] Бывшие земли полабских славян (Бранибор), завоеванные германцами. Позднее маркграфство, затем курфюршество, княжество, ставшее основой для герцогства (позднее королевства) Пруссия со столицей в г. Берлин.

[8] По этому договору 1797 г., завершившему войну между Францией и Австрией, последняя вышла из антифранцузской

коалиции, отказалась от прав на Бельгию в пользу Франции, признала другие территориальные приобретения Франции в результате побед армии под предводительством Наполеона Бонапарта. Если Венеция, Ломбардия, Далмация были областями, принадлежавшими Австрии, то теперь Венеция и Ломбардия стали провинциями Италии, а Далмация – Югославии.

[9] Жалкая Имперская армия (*нем.*).

[10] Было напечатано: *elende* – жалкая, вместо: *eilende* – быстрая, поспешная

[11] Они не должны им владеть, Древним немецким Рейном (*нем.*)

[12] В 1683 г. армия под его командованием Яна Собесского разгромила турецкие войска, осаждавшие Вену.

[13] Освободительные войны (*нем.*).

[14] Императрица Анна Иоанновна (1693–1740) на русский престол была приглашена Верховным тайным советом при условиях (кондициях) ограничения самодержавия в пользу феодальной знати. Опираясь на поддержку гвардейских офицеров, она затем отказалась от «кондиций» и восстановила самодержавие. Политика государства в ее царствование определялась главным образом фаворитом Бироном и канцлером Остерманом.

[15] Пантикапей и Фанагория – крупные города-полисы в составе Босфорского царства (V–IV вв. до н.э.), расположенного на территории Причерноморья по берегам Керченского пролива.

[16] Эта санкция, введенная Карлом VI в 1713 г., объявляла все владения Габсбургской короны нераздельными, а все права на них из-за отсутствия мужских преемников передавались дочери Марии Терезии. Со смертью Карла ее права были оспорены, что стало причиной войны за Австрийское наследство (1740–1748), приведшей Австрию к значительным территориальным потерям.

[17] Александр Бах и Антон Шмерлинг – австрийские государственные деятели, пытались проводить политику онемечивания восточных провинций Австрии.

[18] Карбонарии (буквально: угольщики) – члены сети тайных революционных организаций по типу масонских лож, возник-

ших в борьбе против австрийского господства и за объединение Италии. В марте 1820 г. почти одновременно карбонарии подготовили и осуществили восстания в Неаполе и Пьемонте (центр – г. Турин), вызвавшие серьезное беспокойство лидеров стран – членов Священного союза. На помощь австрийцам, двинувшим на подавление восстания крупные военные силы, Александр I приказал готовить русскую армию под командованием генерала Ермолова.

[19] Англия, как член Священного союза, поддерживала курс союзников на восстановление монархических режимов в постнаполеоновской Европе, в том числе на Пиренейском (Испания) и Апеннинском (Италия) полуостровах.

[20] Фортификационные сооружения обороняющихся и наступающих сторон в военных действиях.

[21] Феодальное владение, населенное большей частью румынами, венграми и сербами, которое входило в состав Венгрии, а затем Австро-Венгрии. После Первой мировой войны большая часть Баната отошла к Румынии, меньшая – к Югославии.

[22] До островов Эгейского моря (Лемнос, Лесбос, Хиос, Тасос), включая и Константинополь (ныне Стамбул), Мраморное море с проливами Босфор и Дарданеллы.

ГЛАВА XIV. Царьград

[1] Отрывок из стихотворения Ф. И. Тютчева “Пророчество”.

[2] Суэцкий канал.

[3] Река Амударья, которая во времена неолита по руслу Узбой впадала в Каспийское море.

[4] Древние города – столицы и культурные центры, потерявшие свое прежнее значение или исчезнувшие как населенные пункты.

[5] Области Балканского полуострова и его южной части – Пелопоннеса.

[6] Династии польско-литовских королей и византийских императоров.

[7] По древнему обычаю, в могилы дурных людей и врагов вбивался осиновый кол.

[8] Династия турецких султанов.

[9] Великие князья Киевской Руси: Владимир Святой, Креститель (?–1015), Владимир Мономах (1053–1125), Ярослав Мудрый (978–1054), Мстислав Удалой (?–1036).

[10] Речь идет об идее «Москва – третий Рим», выдвинутой в XVI в. Филофеем, иноком Елизарова монастыря, согласно которой между Римом и Россией через Византию («второй Рим») имеется прямое преемство. Эта идея противопоставляется идее Священной Римской империи германской нации.

[11] Бронированные.

[12] Согласно древнегреческой мифологии, сосуд с заключенными в него всеми людскими пороками, бедами и несчастьями Зевс подарил Эпиметею со строгим наказом во что бы то ни стало его не открывать. Однако терзаемая любопытством жена Эпиметея, Пандора, открыла этот сосуд и выпустила на волю все его страшное содержимое.

[13] «Честь обязывает» (*фр.*).

[14] Отрывок из стихотворения А. С. Хомякова “России”.

[15] «Алабама» – крейсер Англии, потопивший около 70 судов северян во время Гражданской войны 1861–1865 гг. между Севером и Югом в США. В данном случае данный факт приводится как пример партизанских действий на море. Другим примером служат партизанские действия созданного Денисом Давыдовым кавалерийского отряда в тылу противника.

[16] Город Кронштадт – военно-морская база и крепость в восточной части Финского залива, а Кроншлот – искусственно сооруженный артиллерийский бастион, который представляет собой насыпные форты, составляющие цепочку укреплений для перегораживания Финского залива.

[17] Имеются в виду следующие русско-шведские войны XVIII и XIX вв.: 1) 1656–1658; 2) «Северная война» 1700–1721; 3) 1741–1743; 4) 1788–1790 и 5) 1808–1809.

[18] На морских подступах к Санкт-Петербургу.

[19] Голштейнский канал был сооружен Германией в 1887–1895.

[20] Из их святой бронзы можно сделать
Только колокола для молитвы
Или пушки для битвы.

[21] «Разделяй и властвуй» (*лат.*).

[22] Мелкие немецкие феодальные государства.

[23] На Венском конгрессе в январе 1815 г. император России Александра I настоял на восстановлении Царства Польского, царем которого и стал.

[24] Вооруженные выступления 30–60-х гг. вызывали ответные действия со стороны России, – непосредственно репрессивные и вообще ужесточающие административный режим в Польше. Однако в то же время в Польше была проведена радикальная земельная реформа, по которой состоялась передача земли в собственность крестьян.

[25] Виленский генерал-губернатор М.Н. Муравьев жестокими мерами подавил польское восстание 1863 г.

[26] «Новое время» – петербургская газета (1868–1917) консервативного направления.

[27] Известный литератор 30-х гг. XIX в. И. С. Гагарин (1814–1882) переехал на Запад, принял католичество и вступил в орден иезуитов.

[28] Т. Н. Грановского.

ГЛАВА XV. Всеславянский союз

[1] Война России против Швеции за овладение выходом к Балтийскому морю (1700–1721).

[2] В своей «Записке» кабинет-министр по иностранным делам Ф. В. Ростопчин, рассматривая международное положение России, рекомендовал Павлу I заключить союз с Францией.

[3] Осада Севастополя (сентябрь 1854 г.–август 1855 г.).

[4] Португальскому судовладельцу Давиду Пасифико до такой степени покровительствовала Англия, что факт разгрома во время народных волнений в 1850 г. его афинского дома английское правительство использовало в качестве предлога для вмешательства в греческие дела.

[5] Финляндия была присоединена к России в 1809 г. и получила статус Великого княжества Финляндского с правами, которых под властью Швеции она не имела.

[6] Ныне Тартуский университет.

[7] Согласно договорам 1701–1714 была завершена война за Испанское наследство.

[8] Остров Тасмания.

[9] Эскамотация (escamote (фр.) – шарик; эскамотаж – действия, производимые фокусником с шариком) – ловкая игра, манипулирование, подмена, сокрытие.

[10] Царь Микен Агамемнон руководил в конце ХШ в. до н.э. объединенными силами греков в Троянском походе в Малую Азию к стенам г. Трои.

[11] Начавшаяся в 1854 г. Крымская война между Россией и Турцией радикально изменили расстановку и соотношение сил в Европе. Распался Священный союз, а его члены даже вступили в войну между собой.

[12] Победа Севера над Югом в гражданской войне в США.

[13] Provisio (*лат.*) – предварительная, предусмотрительная.

[14] В 1867 г. комитет Славянского Благотворительного Общества пригласил большое количество гостей из славянских стран на этнографическую выставку в Москву и Петербург.

ГЛАВА XVI. Борьба

[1] Отрывок из «Записки» Ф. В. Растопчина Павлу I.

[2] Строка из стихотворения А. С. Пушкина «Бородинская годовщина» (1831):

Клеветники, враги России!
Что взяли вы?.. Еще ли росс
Больной, расслабленный колосс?
Еще ли северная слава
Пустая притча, лживый сон?

[3] «Что предвещает Дух, содержит (осуществляет) Природа» (*нем.*).

[4] Династия персидских царей (I–VI вв.), проводившая политику возрождения древнеперсидской культуры.

[5] Павел I ввиду разногласий с союзниками (Австрия, Англия) в 1799 г. покинул коалицию и заключил соглашение с Наполеоном – консулом Франции.

[6] Город Белосток с округом.

[7] Итогом июльской революции 1830 г. во Франции стала смена династии; а итогом февральской, 1848 г. – учреждение республики, которую возглавил Луи Наполеон, племянник Бонапарта.

[8] 2 декабря (18 брюмера) 1852 г. Луи Бонапарт провозгласил себя императором Наполеоном III. Николай I этот «переворот» объявил незаконным, потому что он нарушал решения Священного союза. В свою очередь, Наполеон III принял эту позицию русского царя за личное оскорбление. Вместе с Англией французская империя выступила на стороне Турции против России, что в итоге привело к Крымской войне (1853–1856).

[9] Лорд Пальмерстон, премьер-министр Великобритании в период Крымской войны.

[10] Удачные, меткие слова, лозунги (*нем.*).

[11] Так прежде назывался город Горган в Иране.

[12] Адмирал Нельсон в Абукирском сражении (1797) уничтожил французский флот, отрезал отступление войску Наполеона в Египте и воспрепятствовал закреплению за Францией ее завоеваний в этой части Африки; адмирал Сидней Смит разгромил порт в Тулоне – главную базу французского флота.

[13] Французский инженер Ф. Лессепс разработал проект Суэцкого канала.

[14] Корабли частных лиц, но вооруженные с разрешения правительства для захвата судов враждебных государств.

[15] Легитимизм – следование принципу восстановления монархических режимов.

[16] Русская армия в Крыму обеспечивалась посредством гужевого транспорта, что, конечно же, внесло важный вклад в военные неудачи.

[17] И Альма – река в Крыму, и Инкерман – населенный пункт в близи от Севастополя – упоминаются здесь как места двух неудачных для русской армии сражений в Крымской войне.

[18] Кандиоты – жители о. Крита (итальянское название – Кандия).

[19] Отрывок из романа “Война и мир” Л. Н. Толстого.

ГЛАВА XVII. Славянский культурно-исторический тип. Вместо заключения

[1] Требования, пожелания (*лат.*).

[2] У селения Марафон в Греции в 490 г. до н.э. произошло сражение между персидскими войсками и греческими объединенными силами (преимущественно состоявшими из афинян).

[3] Греческие области.

[4] Этот перешеек соединяет материковую Грецию с полуостровом Пелопоннес.

[5] Древнерусские сборники жизнеописаний святых, поучений, молитв, богослужебных песен, памятных дней.

[6] Чудовище, урод (*лат.*).

[7] Политика короля Чехии Иржи Подибрада, направленная на создание сильного централизованного государства, вызвала враждебное отношение со стороны папства. Подебрад был автором проекта создания межгосударственного объединения с целью ограничения власти Католической церкви.

[8] Началось оно еще в XV веке с отменой в 1580 г. Юрьева дня. 26 октября каждого года разрешался переход крестьянина от одного покровителя к другому. С отменой Юрьева дня связывают установление крепостного права, когда крестьянин становится собственностью помещика. Казачество – это военное сословие, состоящее из вольных людей, вооруженных и организованных как военная сила земледельцев. Оно вербовалось за счет беглых крепостных крестьян, уходящих на окраины страны (Дон, Урал, Терек, Кубань, Нижний Днепр, Нижняя Волга), где они вынуждены были противосто-

ять приграничным народам. Царское правительство с XVII в. использовало казаков в военных целях, включая их в состав регулярной армии, и постепенно ограничивало их вольницу (автономность военно-хозяйственного быта, территориальной администрации, суда и т.д.).

[9] В ночь на 4 августа 1789 г. революционное Национальное (Учредительное) собрание Франции приняло декрет об отмене феодальных повинностей и сословных привилегий, а 26 августа – «Декларацию прав человека и гражданина».

[10] Улисс – персонаж древнегреческой поэмы Гомера «Одиссея».

[11] Молитвенный возглас, восторженное восхваление христиан.

[12] Отрывок из стихотворения А. С. Хомякова «Ключ» и заключительный абзац книги «Россия и Европа» содержат одну и ту же мысль о двух потоках всемирной истории и их слиянии в один, т.е. о снятии противоречий и окончании противостояния миров Германо-Романского и Славянского. Разумеется, Н. Я. Данилевский желал бы это слияние произвести без смешения культурно-исторических типов, которые должны сохранить свою самобытность.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

Несколько слов по поводу конституционных вожделений нашей «либеральной прессы»

Впервые статья опубликована в ‹›Московских ведомостях››, 1881, 20 мая. Настоящий текст печатается по изданию Н. Н. Страхова: Сборник политических и экономических статей Н. Я. Данилевского. – Спб., 1890. – С. 220–230.

[1] За и против (*лат.*).

[2] Чистая доска (*лат.*).

[3] Турецкий генерал Мидхат-Паша – ревностный сторонник Англии и враг России – пытался ввести в Турции конституцию.

В 1881 г. за руководство свержением султана Абдул-Азиза был отправлен в ссылку.

[4] 1 (14) марта 1881 года император Александр II был убит бомбой террориста.

Происхождение нашего нигилизма. По поводу статьи «Этюды господствующего мировоззрения»

Впервые статья опубликована в газете ‹›Русь››, 1884, 15 ноября и 1 декабря. Настоящий текст печатается по изданию Н. Н. Страхова: Сборник политических и экономических статей Н. Я. Данилевского. – Спб., 1890. – С. 231–271.

[1] Юханцов (Юханцев) Петр – публицист, сотрудник министерства финансов, потом общества взаимного поземельного кредита; совершил крупную растрату. В 1879 г. Юханцова судили, адвокатом на судебном процессе был А. Ф. Кони.

[2] Древнеримский политический деятель Марк Порций Катон, заняв должность цензора, пытался вернуть «нравы отцов» – простоту и строгость.

[3] Древнеримский государственный деятель, полководец Лукулл прославился роскошью жизни.

[4] Римский богач и известный гурман Апиций, известен как автор кулинарной книги.

[5] Ржонд (польск.) – порядок, устройство, правительство. «Ржонд народовый» – название революционного правительства в польском восстании 1863 г.

[6] Благочестивое желание (*лат.*).

[7] Альбигойцы – постманихейская секта во Франции (XII–XIII вв.), отрицающая учение о Пресвятой Троице, таинства церкви. Была разгромлена в альбигойских войнах 1209–1229. Вальденсы – еретическая секта, основанная в XII в. лионским купцом Пьером Вальдом. Гугеноты – сторонники реформатского учения Жана Кальвина. Во второй половине XVI в. получили ряд

преимуществ по Нантскому эдикту 1598 г., который был отменен в 1685 г. королем Людовиком XIV.

[8] Предоставить дела своему течению (*лат.*).

[9] Страшно сказать (*лат.*).

[10] Анри Шамбор (1820–1883) – последний представитель старшей ветви Бурбонов, претендовавший на французский престол под именем Генриха V. Однако с 1830 г. вынужден скрываться в эмиграции.

[11] Это лучшее из королевств, какие я знаю (*фр.*).

[12] В момент рождения (*лат.*)

Г. Владимир Соловьев о православии и католицизме

Впервые статья опубликована в журнале ‹›Известия С.-Петербургского Славянского Благотворительного Общества››, 1885, март. Настоящий текст печатается по изданию Н. Н. Страхова: Сборник политических и экономических статей Н. Я. Данилевского. – Спб., 1890. – С. 272–312.

[1] Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) – русский философ, публицист. В своих статьях 80-х гг. XIX в. отрицательно высказывался о Византии, критически относился к православию. Вел резкую полемику с почвенниками с позиций идей западнического направления, и прежде всего с Н. Н. Страховым по поводу учения о культурно-исторических типах Н. Я. Данилевского. Позднее из материалов этой полемики им был составлен сборник “Национальный вопрос в России”.

[2] Богослов У. Пальмер являлся сторонником объединения Православной и Английской Церквей. Он часто бывал в России, но в 1855 году, не получив разрешение на допущение к православному причастию, в конце концов перешел в католицизм.

[3] Афинский государственный деятель Аристид прославился своей честностью и гражданским мужеством, о чем еще в античности написано Плутархом в его биографии.

[4] Росчерком пера (*фр.*).

[5] В индуистской мифологии Брама (Брахма) – высшее божество, творец мира; Майя – иллюзия или обман. В зороастризме Ормузд (Ахурамазда) – благое божество, ему противостоит как темное божество Ариман (Ангро-Майнью).

[6] Сторонниками папства в борьбе с империей в XII–XV вв. в Италии были гвельфы, истоки которых восходят от семьи германских герцогов Вельфов. Их противниками, т.е. сторонниками империи в борьбе с папством являлись гибеллины, и название свое получили от родового замка Гогенштауфенов Верблингена.

[7] Filioque (От Сына – *лат.*) – добавление к Никео-Цареградскому Символу веры, сформулированное ахенскими богословами, которые были близки к Карлу Великому. Это добавление было принято католиками в качестве догмата после двухвековой борьбы.

[8] Московский митрополит Филарет говорил: «Перегородки между нами не достигают неба».

[9] В работе первого Ватиканского собора (1869–1870) участвовало 764 католических иерарха. Ватиканский собор принял “Догматическую конституцию о католической вере”.

[10] Переписка между Константинопольским Патриархом Фотием и Римским епископом Иоанном VIII предшествовала преодолению раскола, возникшего ранее между двумя церквями.

[11] Римский папа Лев III отказался от принятия Filioque.

[12] С кафедры (*лат.*).

[13] Государство – это я (*фр.*).

[14] Фактически (*лат.*).

[15] Еретик Арий учил, что Иисус Христос есть создание Бога-отца, за что и был осужден на 1-м Вселенском соборе (325). Ересь арианства долго смущала церковь, чему способствовало распространение ее у ряда германских племен – свевов, готов, бургундцев, лангобардов, вандалов, гепидов. Патриарх Константинопольский Несторий, начальник несторианской ереси, учил, что Христос не Богочеловек, а праведник. Ересь получила распространение на Востоке и была осуждена III Вселенским собором (431). Идеолог чешской реформации, близкой к Православию, Ян Гус был сожжен по обвинению в ереси. Глава ре-

формации в Германии и основатель немецкого протестантизма Мартин Лютер отрицал культ святых и монашество, учил о спасении только верой. Жан Кальвин акцентировал внимание на Ветхом Завете. Он превратил Женеву в центр протестантизма. И по сей день многие церкви северной Европы считают себя кальвинистскими.

[16] Квакеры (трясущиеся) – английская протестантская секта. Методизм – протестантская секта, основанная в начале XVII в. англичанами братьями Джоном и Чарльзом Уэсли. В 1-й половине XIX в. в США возникла протестантская секта мормонов, которые считают себя потомками десяти исчезнувших «Колен Израилевых». Хлыстовщина (христоверы) – секта, возникшая во 2-й половине XVII в. в России. В начале XX в. хлыстовская секта «Новый Израиль» эмигрировала в Уругвай и частично в Палестину. Молокане – секта протестантского направления, возникшая под влиянием сочинений протестантских мистиков в России в конце 60-х гг. XVIII в. и переселившаяся на Кавказ и в Канаду. Штундизм – религиозное течение на юге России, распространялось немецкими переселенцами и в конце концов слилось с баптизмом. Редстокизм – религиозное течение протестантского толка, распространенное в высших слоях русского общества шотландским проповедником лордом Гренвилем Вальгревом Редстоком, проповеди которого привели к образованию секты пашковцев – во главе с полковником Василием Александровичем Пашковым.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Семейная хроника рода Николая Яковлевича Данилевского

В. Я. Данильченко-Данилевская (1935–2005)

Впервые статья правнучки мыслителя В. Я. Данильченко-Данилевской опубликована в сборнике статей ‹›Очистительный гений Славянства›› – Ростов-на-Дону, 2002. Настоящий текст печатается по сборнику статей ‹›Россия и Славянство: опыт са-

моидентификации››. Серия ‹›Славянский мир››. Выпуск 3. (Отв. редактор – А. В. Белов). – Ростов-на-Дону, 2005. – С. 4–13.

[1] *Игумен Дамаскин* (*Орловский*) Предисловие // Б. П. Балуев Споры о судьбах России. Н. Я. Данилевский и его книга «Россия и Европа». – Тверь, 2001. – С. 5.

[2] *Св. Игнатий* (*Брянчанинов*). Письма // Московский Церковный Вестник. 1989. № 9.

[3] *Данилевский Н. Я.* Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому / Составитель А. А. Галактионов. 6-е изд. – СПб., 1995. – С. 361.

[4] Крымский архив. 1999. № 4. С. 100.

[5] Русские мемуары. М., 1990. С. 477.

[6] *Страхов Н. Н.* Жизнь и труды Н. Я. Данилевского // Н. Я. Данилевский. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому. 6-е изд. – СПб., 1995. – С. XXXП.

[7] *Данилевский Н. Я.* Россия и Европа / Составитель С. А. Вайгачёв. – М., 1991.

[8] *Данилевский Н. Я.* Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому / Составитель А. А. Галактионов. 6-е изд. – СПб., 1995.

[9] *Страхов Н. Н.* Жизнь и труды Н. Я. Данилевского // Н. Я. Данилевский. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-романскому. 6-е изд. – СПб., 1995. С. XXXII–XXXIV.

Комментарии подготовил
Ю. А. Белов

СОДЕРЖАНИЕ

II.
Н. Я. Данилевский
ПОЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

III.
ПРИЛОЖЕНИЕ

Автономная некоммерческая организация Институт русской цивилизации создана в октябре 2003 г. для осуществления идей и в память великого подвижника православной России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева). Предшественником Института был Научно-исследовательский и издательский центр «Энциклопедия русской цивилизации» (1997—2003).

Целью Института является творческое объединение ученых и специалистов, занимающихся изучением истории и идеологии русского народа, проведение научных исследований, конференций, семинаров и систематизация знаний по всем вопросам русской цивилизации, истории, философии, этнографии, культуры, искусства и других научных отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского народа с древнейших времен до начала XXI века. Приоритетным направлением деятельности института является создание 20-томной «Энциклопедии русского народа», а также научная подготовка и публикация самых великих книг русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения и противостояния силам мирового зла, русофобии и расизма.

Редактор Д. В. Орлов
Корректор Н. Н. Самойлова
Компьютерная верстка Д. Е. Поляков
Институт русской цивилизации Тел.: 8-499-242-50-80.

Подписано в печать 24.11.2010 г. Формат 84 x 108 1/32.
Гарнитура «Times». Объем 39,8 изд. л.
Печать офсетная. Тираж 2000. Заказ №
Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

ВЫШЛИ В СВЕТ КНИГИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ИНСТИТУТОМ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:

СЕРИЯ «РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народности, 496 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям, 688 с.

СЕРИЯ «ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

Лебедев С. Слово и дело национальной России, 576 с.

Платонов О. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII – начало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.

СЕРИЯ «РУССКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ»

Ильин И. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.